

ANNALES CONTEMPORAINES

# СОВРЕМЕННАЯ ЗАПИСКИ

ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКИЙ  
и ЛИТЕРАТУРНЫЙ  
ЖУРНАЛЬ

LIII

1933

ПАРИЖЬ

---

**Imprimerie «Union», 13, rue Méchain, Paris**

---

## ОГЛАВЛЕНИЕ

1. И. Бунинъ. — ЖИЗНЬ АРСЕНЬЕВА. . . . .	5
2. А. Купринъ. — ЖАНЕТА. . . . .	27
3. Б. Зайцевъ. — ДОМЪ ВЪ ПАССИ. . . . .	79
4. В. Яновскій. — ПРЕОБРАЖЕНИЕ. . . . .	113
5. Ю. Фельзень. — ПРОБУЖДЕНИЕ. . . . .	146
6. А. Ладинскій. — ЧЕРЕЗЪ УЛИЦУ. . . . .	174
7. А. Гефтеръ. — СМЕРЧЪ. . . . .	192
8. Н. Берберова. — ИЗЪ КНИГИ «НАШЕ СЕРДЦЕ». Стих. . . . .	206
9. А. Гингеръ. — СТИХОТВОРЕНИЯ. . . . .	208
10. В. Злобинъ. — СТИХОТВОРЕНИЯ. . . . .	210
11. Георгій Ивановъ. — ЯМБЫ. . . . .	210
12. Ант. Ладинскій. — СТИХОТВОРЕНИЕ. . . . .	211
13. Н. Оцуль. — ПЯТЬ СТИХОТВОРЕНИИ. . . . .	212
14. В. Смоленскій. — СТИХОТВОРЕНИЯ. . . . .	214
15. М. Цвѣткова. — ЖИВОЕ О ЖИВОМЪ. . . . .	215
16. В. Макажковъ. — ИЗЪ ПРОШЛАГО. . . . .	251
17. Ф. Родичевъ. — ПИСЬМО Ф. РОДИЧЕВА В. МАКЛАКОВУ. . . . .	278
18. Ф. Родичевъ. — ИЗЪ ВОСПОМИНАНИИ. . . . .	285
19. П. Биццали. — ТРАГЕДИЯ РУССКОЙ КУЛЬТУРЫ. . . . .	297
20. В. Вейдле. — ЧИСТАЯ ПОЭЗИЯ. . . . .	310
21. Георгій Адамовичъ. — ЛИЦА И КНИГИ. . . . .	324
22. Ф. Степунъ. — ХРИСТИАНСТВО И ПОЛИТИКА. . . . .	335
23. В. Войтинскій. — МИРОВОЙ ХОЗЯЙСТВЕННЫИ КРИЗИСЪ. . . . .	353
24. М. Вишнякъ. — О «НЕО-БОЛЬШЕВИЗМЪ» И «НЕО-СОЦИАЛИЗМЪ». . . . .	386

### КУЛЬТУРА И ЖИЗНЬ.

25. М. Алдановъ. — ПРИ ЧТЕНИИ ТУРГЕНЕВА. . . . .	412
26. Н. Мельникова-Папоушкова. — ЖЕНСКОЕ ТВОРЧЕСТВО ВЪ ЧЕШСКОЙ ЛИТЕРАТУРЪ. . . . .	418
27. А. Савельевъ. — У КОРНЕИ. . . . .	427
28. Ст. Ивановичъ. — ПАРАДОКСЫ ФРАНЦУЗСК. СОЦИАЛИЗМА. . . . .	435
29. К. Гульевичъ. — РУССКАЯ ЭМИГРАЦИЯ И ЛИГА НАЦИИ. . . . .	448

### 30. КРИТИКА И БИБЛИОГРАФИЯ.

П. Бицилли. — Галина Кузнецова: Прологъ. Изд. «Совр. Зап.»	453
М. Цетлингъ. — Екатерина Бакунина: Тѣло. Романъ. . . . .	454
В. Вейдле. — Alfred Hackel: Die Trinität in der Kunst. . .	456
В. Вейдле. — П. Бицилли: Ренессансъ въ исторіи культуры. . .	457
Н. Лосскій. — Свящ. Г. В. Флоровскій: Византійскіе Отцы. . .	459
П. Бицилли. — Marquis de Lur-Saluces: Lomonossov. . .	460
П. Бицилли. — Georges Vernadsky: La Charte constitutionnelle de l'Empire Russe de l'an 1820. . . . .	462
С. Шерманъ. — Prof. W. Poletika: Die Geobotanischen und klimatischen Verhältnisse der russischen Steppen. . .	463
Б. Бруцкусъ. — O. Schiller: Die Krise der sozialistischen Landwirtschaft in des Sowjetunion. — H. Zörner: Das Agrarexperiment Sowjet-Russlands. . . . .	465
Б. Бруцкусъ. — L. Lawton: An economic history of Soviet Russia. Vol. I and II. London. . . . .	467
Списокъ новыхъ книгъ, поступившихъ для отзыва въ редакцію «Современныхъ Записокъ» . . . . .	469



## Жизнь Арсеньева

### XV.

Въ ту же ночь я уѣхалъ въ Петербургъ. Выйдя изъ костела, пошелъ назадъ, на вокзалъ, къ поѣзду въ Полоцкъ: въ Орлѣ почему-то думалъ больше всего о Полоцкѣ, хотѣлъ поселиться тамъ въ какой-то воображаемой старой гостиницѣ, пожить зачѣмъ-то нѣкоторое время въ полномъ одиночествѣ. Поѣздъ на Полоцкъ отходилъ поздно. На вокзалѣ было пусто и темно. Буфетъ освѣщала только сонная лампа на стойкѣ, въ стѣнныхъ часахъ постукивало съ такими оттяжками, точно само время было на исходѣ. Я цѣлую вѣчность сидѣлъ одинъ, въ мертвой тишинѣ. Когда наконецъ откуда-то запахло самоваромъ и вокзалъ сталъ оживать, освѣщаться, я поспѣшно, самъ не понимая, что дѣлаю, взялъ билетъ въ Петербургъ.

Въ Полоцкѣ шелъ зимній дождь, улицы были мокры, ничтожны. Я только заглянулъ въ него, между поѣздами, и радъ былъ своему разочарованію. Въ дальнѣйшемъ пути записалъ: «Безконечный день. Безконечныя снѣжныя и лѣсныя пространства. За окнами все время вялая блѣдность неба и снѣговъ. Поѣздъ то вступаетъ въ дѣсь, темнящій его вершинами и тѣснотой стволловъ, то опять выходитъ на блѣдный просторъ снѣжныхъ равнинъ; по далекому горизонту которыхъ, надъ тушью лѣсовъ, грядой виситъ въ низкомъ небѣ что-то тускло-свинцовое. Станціи все деревянныя... Сѣверъ, сѣверъ!»

Петербургъ мнѣ показался уже крайнимъ сѣверомъ. Извозчикъ ичалъ меня въ сумрачной вьюгѣ по удивитель-

нымъ своимъ просторомъ, стройностью, высотой и одинаковостью улицамъ къ Лиговкѣ, къ Николаевскому вокзалу. Былъ всего третій часъ, но круглые часы на казенной громадѣ вокзала уже свѣтились сквозь выюгу. Я остановился въ двухъ шагахъ отъ него, въ той сторонѣ Лиговки, что идетъ вдоль канала. Тутъ было ужасно, — дровяные склады, извозчичьи постои, чайныя, трактиры, портерныя. Въ номсрахъ, что посовѣтовалъ мнѣ извозчикъ, я долго сидѣлъ, не раздвываясь, глядя съ высоты шестого этажа въ безконечно-грустное окно, въ предвечернюю снѣжную муть, весь плавя отъ усталости, вагонной качки... Петербургъ! Я чувствовалъ это необыкновенно: я въ немъ, весь окруженъ его темнымъ и сложнымъ, зловѣщимъ величьемъ...

Огромная, людная, старая Москва встрѣтила меня блескомъ солнечной оттепели, по деревенски тающихъ сугробовъ, навозныхъ ручьевъ и лужъ, громомъ и звономъ конокъ, шумной безтолочью идущихъ и ѣдущихъ, необыкновеннымъ количествомъ тяжело нагруженныхъ товарами ломовыхъ розвальней, грязной тѣснотой улицъ, восточнымъ излишествомъ торговли, лубочной картинностью кремлевскихъ стѣнъ, палатъ, дворцовъ, скученно сіяющихъ среди нихъ золотыхъ маковокъ. Въ Москвѣ я пробылъ тоже всего нѣсколько часовъ, заглянулъ только въ Кремль да поѣлъ въ знаменитомъ трактирѣ Егорова въ Охотномъ ряду. Тамъ было чудесно: внизу довольно грязно, тѣсно отъ торговаго простонародья, зато наверху, въ двухъ невысокихъ зальцахъ, чисто, тихо, пристойно, — даже курить не дозволялось, — и очень уютно отъ солнца, глядѣвшаго въ теплыя маленькія окна откуда-то съ надворья, отъ заливавшей въ клѣткѣ канарейки; въ углу мерцала бѣлымъ огонькомъ лампада, на одной стѣнѣ, занимая всю ея верхнюю половину, блестя смуглыми лакомъ темная картина: чешуйчатая, кверху загнутая крыша, длинная терраса и на ней несоответственно большія фигуры пьющихъ чай китайцевъ, желтолицыхъ, въ золо-

тѣхъ халатахъ, въ зеленыхъ колпакахъ, какъ на дешевыхъ лампахъ.

Въ нашемъ городѣ уже вѣдрили на колесахъ, на станціи бушевалъ пьяный азовскій вѣтеръ. Она меня ждала на платформѣ, уже сухой, легкой. Вѣтеръ трепалъ ея весеннюю шляпку, не давалъ смотрѣть. Я увидаль ее издали, — она растерянно, морщась отъ вѣтра, искала меня по ядущимъ вагонамъ глазами. Въ ней было все то безконечно-жалкое, что всегда такъ поражаетъ насъ въ близкомъ человѣкѣ послѣ разлуки съ нимъ. Она похудѣла, одѣта была скромно. Когда я выскочилъ изъ вагона, она хотѣла поднять съ губъ вуальку — и не могла, неловко поцѣловала меня черезъ нее, поблѣднѣвъ до мертвенности.

На извозчикѣ она молча клонила голову отъ порывовъ вѣтра, — только нѣсколько разъ повторила съ горькимъ и сухимъ сожалѣніемъ:

— Что ты со мной дѣлалъ, что ты со мной дѣлалъ!

Потомъ сказала, все такъ-же серьезно:

— Ты въ Дворянскую? Я поѣду съ тобой.

Войдя въ номеръ, — онъ былъ во второмъ этажѣ, большой, съ прихожей, — она сѣла на диванъ, глядя, какъ коридорный глупо ставитъ мой чемоданъ на коверъ посреди комнаты. Поставивъ, онъ спросилъ, не будетъ ли какихъ приказаній.

— Ничего не надо, — сказала она за меня. — Идите...

И стала снимать шляпку.

— Что-же ты все молчишь, ничего не скажешь мнѣ? — безразлично сказала она, сдерживая дрожавшія губы.

Я заперъ дверь на ключъ, ледяными руками опустил на окнахъ шторы, — вѣтеръ качалъ за ними черно-весеннее дерево, на которомъ кричалъ и мотался грачъ...

— Отецъ проситъ объ одвоѣ, — тихо сказала она потомъ, лежа въ оцѣпенѣніи отдыха: — подождать вѣнчаться хотя бы полгода...

Необожженные свѣчи стояли на подзеркальникѣ; матово бѣлѣли неподвижно висящія шторы, разными странными фигурами глядѣло съ мѣлового потолка какое-то лѣпное украшеніе.

## XVI.

Мы уѣхали въ тотъ малорусскій городъ, куда пересѣлился изъ Харькова братъ Георгій, оба на работу по земской статистикѣ, которой онъ тамъ завѣдывалъ. Мы провели Страстную и Пасху въ Батуринь. Мать и сестра уже души не чаяли въ ней, отецъ любовно говорилъ ей ты, давалъ по утрамъ цѣловать свою руку, — только братъ Николай былъ сдержанъ, вѣжливо любезенъ. Она была какъ-то тихо и растерянно счастлива — новизной своей причастности къ моей семьѣ, къ дому, къ усадьбѣ, къ моимъ комнатамъ, гдѣ протекала вся моя ранняя юность, казавшаяся ей теперь прекрасной, трогательной, къ моимъ книгамъ, которыя она тамъ разсматривала съ несмѣлой радостью... Потомъ мы уѣхали.

Ночь до Орла, въ пять часовъ пересадка на Курскъ.

Въ солнечное утро, въ поѣздѣ на Курскъ, мы стоимъ въ коридорѣ вагона возлѣ жаркаго окна.

— Какъ странно, я никогда не была нигдѣ, кромѣ Орла и Липецка! — говоритъ она. — Сейчасъ Курскъ? Это для меня уже югъ.

— Да. И для меня.

— Мы будемъ въ Курскѣ завтракать? Знаешь, я еще никогда въ жизни не завтракала на вокзалѣ...

Чѣмъ дальше, тѣмъ все теплѣй, радостнѣй. На откосѣ вдоль шпалъ густая трава, цвѣты, бѣлыя бабочки, въ бачкахъ уже лѣто.

— Жарко будетъ тамъ лѣтомъ! — съ улыбкой говоритъ она.

— Братъ пишетъ, городъ весь въ садахъ.

— Да, Малороссія. Вотъ ужъ никогда не думала... Смотри, смотри, какіе громадныя тополи! И ужъ совсѣмъ зеленые! Зачѣмъ столько мельницъ?

— Вѣтряковъ, а не мельницъ. Но пойдемъ въ купе — съ той стороны будутъ сейчасъ видны мѣловыя горы, потомъ Бѣлгородъ.

— Я теперь понимаю тебя, я бы тоже никогда не могла жить на сѣверѣ, безъ этого обилія свѣта!

Я опускаю окно. Тепло дуетъ солнечный вѣтеръ, паровозный дымъ южно пахнетъ каменнымъ углемъ. Она прикрываетъ глаза, солнце горячими полосами ходитъ по ея лицу, по играющимъ волѣмъ лба темнымъ волосамъ, по простенькому ситцевому платью, ослѣпительно озаряя и нагрѣвая его.

Въ долинахъ подъ Бѣлгородомъ милая скромность празднично-цвѣтушихъ вишневыхъ садовъ, мѣломъ бѣлѣющихъ хатъ. На вокзалѣ въ Бѣлгородѣ ласковая скороговорка хохлушекъ. продающихъ бублики.

Она покупаетъ и торгуется, довольная своей хозяйственностью, употребленіемъ малорусскихъ словъ.

Вечеромъ, въ Харьковѣ, мы опять мѣняемъ дорогу.

На разсвѣтѣ уже подъѣзжаемъ.

Она крѣпко спитъ. Я все у окна. Свѣчи въ вагонѣ догораютъ, въ степи еще ночь, темный сумракъ, но за нимъ далекій, низко и сокровенно зеленѣющій востокъ. Какъ не похожа на нашу земля, — эта нагая, безграничная гладь съ тугими сѣро-зелеными курганами! Мелькнулъ спящій, глухой полустанокъ, — ни куста, ни деревца волѣмъ него, и самъ онъ — каменный, голый, бѣло-синеватый въ этомъ тайномъ рожденіи зари... Какъ одиноки тутъ станціи! Какъ открыты знойному степному простору лѣтомъ! И кажется, что ничего не можетъ быть поѣтичнѣй жизни какого-нибудь начальника такой станціи...

Уже и въ вагонѣ брезжитъ день. Сумракъ внизу, по полу, но надъ нимъ уже полусвѣтъ. Она, во снѣ, спрята-

ла голову въ подушку, поджала ноги. Я осторожно прикрываю ея плечо и скать бедра старинной шелковой шалью, подаренной ей моею матерью.

## XVII.

Станція была отъ города далеко, въ широкой доли-нѣ. Вокзалъ — небольшой, пріятный: дикій виноградъ по столбамъ навѣса, южныя закуски въ буфетѣ, прівѣтливые лакеи, ласковые носильщики, благосклонные извозчики на козлахъ домовитыхъ тарантасовъ, запряженныхъ парой. Въ городъ ѣхали дружной рысью, по рѣчнымъ лугамъ.

Городъ, весь въ густыхъ садахъ, съ гетманскимъ соборомъ на обрывѣ горы-мыса, глядѣлъ на востокъ и на югъ. Въ восточной долинѣ отдѣльно стоялъ крутой холмъ съ древнимъ монастыремъ на вершинѣ, дальше было зелено и пусто, долина переходила въ степные скаты. Въ южной, за рѣкой, за ея веселыми лугами, взглядъ терялся въ солнечномъ блескѣ.

Въ городѣ многія улицы казались тѣсны отъ садовъ и тополей, рядами тянувшихся вдоль дощатыхъ «пѣшеходовъ», на которыхъ часто можно было встрѣтить гордо-грудастую дѣвку въ обтянутой плахтѣ, съ тяжелымъ водоносомъ на сильномъ плечѣ. Тополѣ были необыкновенны своей высотой и мощностью, первое время восхищали насъ больше всего: стоялъ май, много было грозъ и ливней, и какъ блестяще зеленѣли они крѣпкой желтоватой листвою, какъ свѣжо, смолисто благоухали! — Весна тутъ была всегда яркая, сильная, лѣто знойное, однообразно-прекрасное, осень ясная, долгая, зима мягкая, съ влажными вѣтрами; санные извозчики ѣздили зимой съ бубенчиками, съ ихъ прелестнымъ глухимъ бормотаніемъ.

Крупный, загорѣлый, съ кругло стриженной сѣдой головой старикъ Кованько, у котораго мы поселились въ

одной изъ такихъ улицъ, имѣлъ цѣлое помѣстье: дворъ, флигель, домъ и садъ за домомъ. Самъ онъ занималъ флигель, а домъ, бѣленный мѣломъ и тѣнистый отъ сада сзади и большой стеклянной галлерей по фасаду, сдавалъ намъ. Онъ гдѣ-то служилъ, но рано возвращался, сытно обѣдалъ, отдыхалъ, а потомъ, полураздѣтый, сидѣлъ подъ раскрытымъ окномъ и все пѣлъ, покуривая «люльку»: «Ой, на горі та женці жнуть...»

Комнаты въ домѣ были невысокія, простыя; какой-то древній сундукъ подъ суровымъ рядомъ съ цвѣтной мережкой стоялъ въ прихожей. Служила намъ молоденькая казачка, въ красотѣ которой было что-то ногайское.

Братъ сталъ еще милѣй и добрѣй. Надежды мои оправдались — между нимъ и ею вскорѣ установилась родственная и дружеская близость, большая любовь; во всѣхъ моихъ размолвкахъ съ ней или съ нимъ они всегда были на сторонѣ другъ друга.

Кругъ нашихъ сослуживцевъ и знакомыхъ (врачей, адвокатовъ, земцевъ) былъ подобенъ харьковскому кругу брата, — я вошелъ въ него уже привычно, легко, съ удовольствіемъ встрѣтилъ въ немъ Леонтовича и Вагина, тоже переселившихся изъ Харькова. Отъ харьковскаго этого кругъ отличался только тѣмъ, что состоялъ изъ людей болѣе умѣренныхъ, жившихъ почти совсѣмъ подстать городу, его миргородскому благополучію, дружелюбно встрѣчавшихся не только съ людьми изъ всякаго другого городского общества, но даже съ полицмейстеромъ.

Въ Харьковѣ у насъ было нѣсколько домовъ, хозяева которыхъ были вполнѣ наши, но гдѣ былъ и обывательскій недостатокъ, гдѣ можно было пріятно посидѣть въ столовой и въ гостиной, послушать музыки, поговорить не только о князѣ Мещерскомъ, о земскихъ начальникахъ; то же оказалось и тутъ. Чаще всего мы собирались въ домѣ одного изъ членовъ управы: онъ былъ владѣлецъ пяти тысячъ десятинъ земли и отары въ десять тысячъ головъ, домъ держалъ — для семьи — богатый, свѣтскій, самъ-

же, маленькій, скромный, бѣдно одѣтый, побывавшій въ свое время въ Якуткѣ, казался въ немъ милымъ и жалкимъ гостемъ.

### XVIII

Во дворѣ былъ старый каменный колодецъ, передъ флигелемъ росли двѣ бѣлыя акаціи, возлѣ крыльца дома, затѣняя правую сторону стеклянной галлерей, поднималась темная вершина каштана. Все это лѣтнимъ утромъ было часамъ къ семи уже горячо, ярко, солнечно-однообразно оглашалось вопросительно-растерянными восклицаніями изъ курятника, но въ домѣ, особенно въ заднихъ комнатахъ, выходившихъ окнами въ садъ, было еще прохладно, въ спальнѣ, гдѣ она плескалась, стоя въ однѣхъ маленькихъ татарскихъ туфляхъ, съ зябко напрягшейся грудью, свѣжо пахло водой и туалетнымъ мыломъ; она, смѣясь, повертывалась мокрымъ лицомъ, съ намышленной сзади подъ волосами шеей, и топала каблучкомъ: «Уходи вонъ!» Потомъ, изъ той комнаты, гдѣ окна выходили на галлерей, пахло завареннымъ чаемъ, — тамъ ходила и стучала подкованными башмаками казачка; она обувалась на босу ногу, и ея голыя щиколки, тонкія, какъ у породистой кобылки, восточно блестяли изъ-подъ юбки; блестяла и круглая шейка въ темно-янтарномъ ожерельи, черная головка была жива, чутка, такъ и сверкала раскосыми глазами, задъ вилялся при каждомъ движеніи.

Братъ выходилъ къ чаю съ папиросой въ рукѣ, съ улыбкой и повадками отца; онъ не былъ похожъ на него, — небольшой, полнѣющій, онъ былъ слегка похожъ на молодого Герцена, — но что-то отъ его барственныхъ манеръ въ немъ уже сказывалось; онъ сталъ хорошо одѣваться, какъ-то свѣтски-вольно клалъ, садясь, нога на ногу и такъ-же держалъ папиросу; всѣ когда-то были убѣждены въ его блестящей будущности, онъ и самъ былъ въ ней убѣжденъ, — теперь вполнѣ довольствовался той



ролью, которую игралъ въ этомъ малорусскомъ захо-лустьи, и къ чаю выходилъ съ игрой въ глазахъ: онъ чувствовалъ себя полнымъ силъ, здоровья, мы составляли его семью, очень ему милую, идти вмѣстѣ съ нами на службу, состоявшую, какъ и въ Харьковѣ, наполовину изъ куренья и разговоровъ, было для него ежедневнымъ удовольствіемъ. Когда быстро выходила наконецъ и она, уже со-всѣмъ готовая, одѣтая съ лѣтней веселостью, онъ весь сіялъ, цѣлуя ея руку.

Мы шли вдоль дивныхъ тополей, маслянисто блестя-шихъ подъ солнцемъ, по горячимъ доскамъ пѣшеходовъ, подъ жаркими стѣнами домовъ и нагрѣтыми садами; ея раскрытый зонтикъ выпукло круглится свѣтлымъ, шел-комъ въ густой синевѣ; держа его на плечѣ правой ру-кой, она лѣвой придерживала сбоку подолъ платья. По-томъ мы переходили знойную, сухую площадь, входили въ желтое зданіе управы. Тамъ внизу пахло сапогами сто-рожей и всѣмъ тѣмъ, что всегда было свойственно рус-скимъ общественнымъ мѣстамъ въ провинціи. По лѣстни-цѣ во второй этажъ озабоченно ходили съ бумагами въ рукахъ, по хохлацки гнули головы всякіе письмоводите-ли и дѣлопроизводители въ черныхъ люстриновыхъ пид-жачкахъ, плѣмя хитрое и многоопытное при всей своей видимой простоватости. Мы проходили подъ лѣстницу въ глубину перваго этажа, въ комнаты нашего отдѣленія, низкія, полныя табачнаго дыма, очень однако привѣтлив-ныя отъ тѣхъ оживленныхъ, интеллигентски-неряшливыхъ лицъ, что наполняли ихъ, и отъ того, что было за окна-ми: большой пустырь, заросшій дерездой, за обрывами ко-торого съ южной, мягкой роскошью синѣли солнечные рѣчные луга... Странно было первое время видѣть ее въ этихъ комнатахъ, за искапаннымъ чернилами столомъ, за всякими опросными листами, которые она вкладывала въ конверты и старательно надписывала для разсылки по уѣздамъ.

Въ полдень сторожа подавали намъ чай въ дешевыхъ

стаканахъ, дешевыя блюдечки съ ломтиками лимона и казенность всего этого доставляла мнѣ первое время какую-то странную пріятность. Тогда къ намъ сходились поболтать, покурить всѣ наши друзья изъ другихъ отдѣлений. Приходилъ Сулима, секретарь управы. Это былъ красивый, нѣсколько сутулый человекъ въ дорогихъ золотыхъ очкахъ, съ великолѣпной бархатно-блестящей черной волосъ и бороды; у него была мягкая, вкрадчивая поступь, вкрадчивая улыбка и такая-же манера говорить; онъ улыбался постоянно и постоянно игралъ этой своей мягкостью, изяществомъ: былъ большой эстетъ, монастырь, что стоялъ на холмѣ въ долинѣ, называлъ застывшимъ аккордомъ, выписывалъ новинки французской поэзіи и прозы, переводилъ Бодлера. Онъ приходилъ нерѣдко и поглядывалъ на нее все блаженный и таинственный; подходя къ ея столу, низко наклонялся къ ея рукамъ, приподнималъ очки и сладостно, тихо улыбался: «А теперь что вы разсылаете?» Она отъ этого вся подтягивалась и старалась отвѣтить какъ можно любезнѣе, но и какъ можно проще. Я однако былъ вполне спокоенъ, я теперь ни къ кому ее не ревновалъ. Мы бывали у него въ гостяхъ, — тогда онъ все заставлялъ ее разучивать «Крейцерову Сонату» и стоялъ возлѣ рояля, торжественно закрывъ глаза, откинувъ голову, отбивая тактъ ногой, и жена его, умная, спокойная женщина, посматривала на него, тихо усмѣхалась.

На службѣ я почти ничего не дѣлалъ, — невольно занялъ и тутъ, какъ въ редакціи орловскаго «Голоса», какое-то особое положеніе. Я уже сталъ слагаться тогда въ того бодрого, общительнаго и расточительно-веселаго человека, какимъ почти всегда былъ вполнѣ послѣдствіемъ на людяхъ. Я вызывалъ у большинства сослуживцевъ расположеніе, на меня, какъ на работника, смотрѣли ласково-насмѣшливо. Я сидѣлъ и не спѣша подсчитывалъ, составляя сводки, сколько въ такой-то волости такого-то уѣзда засѣяно табаку, свежловицы, какія предпринимались тамъ мѣры «по

борьбѣ съ жучками и кобылками, вредящими этой свекловицѣ, иногда просто читалъ что-нибудь, не обращая вниманія на разговоры и занятія вокругъ. Меня радовало, что у меня есть свой столъ и то, что я могъ въ любви количествѣ требовать изъ канцеляріи новенькія перья, карандаши, отличную писчую бумагу.

Въ два часа служба кончалась; братъ, улыбаясь, поднимался — «до дому, громада!» — всѣ оживленно разбирали лѣтніе картузы и шляпы, толпой выходили на рѣзко свѣтлую площадь, трясли другъ другу руки и, блестя чесушей и палками, расходились.

Въ этотъ часъ было жарче всего. И это была одна изъ самыхъ большихъ моихъ радостей, — этотъ густой, неподвижный жаръ, бѣлый солнечный блескъ, восхитительный своимъ южнымъ отличіемъ, своей бѣлизной отъ желтаго блеска русскихъ жаркихъ дней: во мнѣ тогда съ особенной напряженностью стали развиваться тѣ природенныя мнѣ пристрастія, которыя такъ владѣли мной всю жизнь впоследствии: ко всему свѣтоносному, яркому, сильному, полному. Когда мы входили въ нашъ дворъ, особенность запаха нашей теперешней кухни охватывала меня восторгомъ: сколько въ ней было Малороссіи! Этотъ восторгъ всю жизнь сопровождалъ меня впоследствии во всѣхъ моихъ скитаніяхъ по всякимъ странамъ земли — какъ пріобщался я къ каждой изъ нихъ черезъ, особенно, всего того, что она ѣла и пила!

Каждый нашъ обѣдъ былъ для меня праздникомъ.

## XIX.

Часовъ до пяти въ городѣ было пусто, сады лежались подь солнцемъ. Братъ спалъ, мы лежали, стараясь что-нибудь читать. Солнце, обходя домъ, уже блистало въ окна спальни, заглядывало въ нихъ изъ сада, садъ отражался своей свѣтлозеленой листвою въ зеркалъ надъ умываль-

никомъ все чудеснѣй. Въ этомъ городѣ учился Гоголь, весь окрестный край былъ его, — Миргородъ, Яновщина, Шишаки, Яреськи, — мы часто, смѣясь, вспоминали: «Какъ упокителенъ, какъ роскошенъ лѣтній день въ Малороссіи!»

— Все-таки жарко! — говорила она, весело вздыхая и ложась навзничь. — И сколько у насъ мухъ! А какъ это дальше, про огороды?

— «Изумруды, топазы, яхонты эфирныхъ насѣкомыхъ сыплются надъ пестрыми огородами...»

— Это какъ-то волшебно хорошо. Я ужасно хотѣла бы побывать въ Миргородѣ. Непремѣнно надо какъ-нибудь поѣхать. Правда? Пожалуйста, какъ-нибудь поѣдемъ! Только какой онъ былъ странный, непріятный въ жизни. Никогда ни въ кого не былъ влюбленъ, даже въ молодости...

— Да, за всю молодость единственный бессмысленный поступокъ — поѣздка въ Любекъ.

— Вродѣ твоей въ Петербургъ... Отчего ты такъ любишь ѣздить?

-- А отчего ты любишь получать письма?

— Отъ кого-жъ я ихъ теперь получаю!

— Все равно любишь. Люди постоянно ждутъ чего-нибудь счастливаго, интереснаго, мечтаютъ о какой-нибудь радости, о какомъ-нибудь событіи. Этимъ влечетъ и дорога. Потому воля, просторъ, новизна, которая всегда празднична, повышаетъ чувство жизни, а вѣдь мы всё только этого и хотимъ, ищемъ во всякомъ сильномъ чувствѣ.

— Да, да, это правда.

— Ты говоришь — Петербургъ. Если бы ты знала, какой это ужасъ и какъ я тамъ сразу и навѣки понялъ, что я человекъ до глубины души южный. Гоголь писалъ изъ Италіи: «Петербургъ, снѣга, подмелы, департаментъ — все это мнѣ снилось: я проснулся опять на родинѣ.» Вотъ и я такъ же проснулся тутъ. Не могу спокойно слышать словъ:

Чигиринъ, Черкасы, Хороль, Лубны, Чертомлыкъ, Дикое Поле, не могу безъ волненія видѣть очеретяныхъ крышъ, стриженныхъ мужицкихъ головъ, бабъ въ желтыхъ и красныхъ сапогахъ, даже лыковыхъ кошелокъ, въ которыхъ онѣ носятъ на коромыслахъ вишни и сливы. «Чайка скиглить, литаючи, мовъ за дитьми плаче, солнце гріе, витьеръ віе на степу козачемъ...» Это Шевченко, — совершенно гениальный поэтъ! Прекраснѣ Малороссіи нѣтъ страны въ мірѣ. И главное то, что у нея теперь уже нѣтъ исторіи, историческая жизнь давно и навсегда кончена. Есть только прошлое, пѣсни и легенды о немъ, какая-то вѣременность... Это меня восхищаетъ больше всего.

— Ты это часто говоришь — восхищаетъ, восхищеніе.

— Жизнь и должна быть восхищеніемъ...

Солнце склонялось, густо лилось въ открытыя окна по крашеному полу, зеркальный отблескъ игралъ на потолкѣ. Подоконники горѣли все ярче, на нихъ радостными кучками кипѣли мухи. Мухи кусали наши голыя ноги, ея прохладныя плечи. На подоконникъ вдругъ сѣлся воробей, зорко и бойко оглядывался и, вспорхнувъ, опять исчезъ въ свѣтлой зелени сада, уже прозрачно сквозившей на предвечернемъ солнцѣ.

— Ну, скажи еще что-нибудь, — говорила она. — Скажи, а въ Крымъ мы когда-нибудь поѣдемъ? Если-бы ты зналъ, какъ я мечтаю! Ты бь могъ написать какую-нибудь повѣсть, — мнѣ кажется, ты написалъ бы замѣчательно, — и вотъ у насъ были бы деньги, мы бы взяли отпускъ... Отчего ты бросилъ писать? Ты какой-то мотъ, расточитель своихъ способностей!

— Были такіе козаки, которые назывались «бродники», — отъ слова бродить. Вотъ, вѣрно, и я бродникъ. Лучше всего у Гоголя его записная книжка: «Степная чайка съ хохломъ въ видѣ скобки поднимается съ дороги...» «Рубежъ во всю дорогу, зеленый, съ растущими на немъ бодяками, и ничего за нимъ, кромѣ безграничной равнины...» «Подсолнечники надъ плетнями и рвами, и соломен-

ный навѣсъ чисто вымазанной хаты, и миловидное, краснымъ ободкомъ окруженное окошко... Ты, древній корень Руси, гдѣ сердечнѣй чувство и нѣжнѣй славянская приroda!»

Она внимательно слушала. Потомъ вдругъ спрашивала:

— А скажи, зачѣмъ ты прочелъ мнѣ это мѣсто изъ Гете? Вотъ, какъ онъ уѣзжалъ изъ Фредерики и вдругъ мысленно увидалъ какого-то всадника, ѣхавшаго куда-то въ сѣромъ камзолѣ, обшитомъ золотыми галунами. Какъ это тамъ сказано?

— «Этотъ всадникъ былъ я самъ. На мнѣ былъ сѣрый камзолъ, обшитый золотыми галунами, какого я никогда не носилъ.»

— Ну да, и это какъ-то чудесно и страшно. И потомъ ты сказалъ, что у всякаго въ молодости есть въ мечтахъ свой желанный камзолъ... Почему онъ ее бросилъ?

— Онъ говорилъ, что имъ всегда руководилъ его «демонъ».

— Да, и ты меня скоро разлюбишь. Ну скажи откровенно, о чемъ ты больше всего мечтаешь?

— О чемъ я мечтаю? Быть какимъ-нибудь древнимъ крымскимъ ханомъ, жить съ тобой въ Бахчисарайскомъ дворцѣ... Бахчисарай весь въ каменистомъ, страшно жаркомъ ущельѣ, а во дворцѣ вѣчная тѣнь, прохлада, фонтаны, за окнами шелковичныя деревья...

— Нѣтъ, серьезно?

— Я серьезно. Я вѣдь всегда живу какимъ-то страшнымъ вздоромъ. Вотъ хоть эта степная чайка, это соединеніе въ ней степи и моря... Братъ Николай, бывало, смѣясь, говорилъ мнѣ, что я отъ природы дурачекъ, и я очень страдалъ, пока однажды случайно не прочелъ, что самъ Декартъ говорилъ, что въ его душевной жизни ясныя и разумныя мысли занимали всегда самое ничтожное мѣсто.

— И что-жъ, во дворцѣ гаремъ? Я это тоже серьезно. Ты же самъ доказывалъ мнѣ, — помнишь, — что въ мужской любви много смѣшенія разныхъ любовныхъ чувствъ,

что ты это испытывалъ къ Никулиной, потомъ къ Надѣ... Ты вѣдь иногда очень безжалостно откровененъ со мной! Ты что-то въ этомъ родѣ недавно говорилъ даже про нашу казачку.

— Я говорилъ только то, что, когда я смотрю на нее, я ужасно хочу куда-то въ солончаковыя степи, жить въ кибиткѣ.

— Ну да, а все-таки она тебѣ нравится. Самъ же говоришь, что тебѣ хочется жить съ ней въ кибиткѣ.

— Я не сказалъ, что съ ней.

— А съ кѣмъ-же? — Ой, опять воробей! Ужасно боюсь, когда они залетаютъ и бьются по зеркалу!

И, вскочивъ, она быстро и неловко хлопала въ ладоши. Я хваталъ и цѣловалъ ея голыя плечи, ноги... Разность горячихъ и прохладныхъ мѣстъ ея тѣла потрясала больше всего.

## XX.

Къ вечеру зной спадалъ. Солнце стояло за домомъ, мы пили чай въ стеклянной галлерей, возлѣ открытыхъ во дворъ оконъ. Она теперь много читала и въ эти часы все о чемъ-нибудь спрашивала брата, а онъ съ удовольствіемъ наставлялъ ее. Вечеръ былъ безконечно тихъ, неподвиженъ, — однѣ ласточки мелькали во дворѣ и, взвиваясь, тонули въ глубокомъ небѣ. Они говорили, а я слушалъ: «Ой, на горѣ та женці жнуть...» Пѣсня рассказывала, что на горѣ жнуть хлѣборобы, текла ровно, долго, грустью разлуки, потомъ крѣпла и звучала твердо — волей, далью, отвагой, воинскимъ ладомъ:

А по-під горою  
 По-під високою  
 Козаки йдуть!

Она протяжно и грустно любовалась, какъ течетъ по долиня казачье войско, какъ ведетъ его славный Дорошенко, ѣдетъ впереди всѣхъ. А за нимъ, говорила она, за нимъ Сагайдачный, —

Що проміняв жінку  
 На тютюн та люльку,  
 Необачний...

Она медлила, дивилась столь странному челоѣку. Но вслѣдъ за тѣмъ была въ литавры съ особенно радостной волей:

Мені з жінкою  
 Н' возиться!  
 А тютюн та люлька  
 Козаку в дорозі  
 Знадобиться!

Я слушалъ, пѣвуче умиляясь, грустно и сладко чему-то завидуя.

На закатѣ мы гуляли, шли иногда въ городъ, иногда въ скверъ на обрывѣ за соборомъ, иногда за городъ, въ поле. Въ городѣ было нѣсколько мощеныхъ улицъ со всякой еврейской торговлей, съ непонятнымъ количествомъ часовыхъ, аптекарскихъ и табачныхъ магазиновъ; эти улицы были каменны, бѣлы, дышали тепломъ послѣ дневного жара, на ихъ перекресткахъ стояли кіоски, гдѣ прохожіе пили разноцвѣтныя сиропы съ шипучей водой, и все это говорило о югѣ и тянуло куда-то еще дальше на югъ, — помню; я часто думалъ тогда почему-то о Керчи. Глядя отъ собора въ долину, я мысленно ѣхалъ въ Кременчугъ,



въ Николаевъ. Въ поле, за городъ мы шли западнымъ предмѣстьемъ, совсѣмъ деревенскимъ. Его хаты, вишневые сады и баштаны выходили въ равнину, на прямую, какъ стрѣла, миргородскую дорогу. Въ далекой дали дороги, вдоль телеграфныхъ столбовъ, медленно тянулась хохлацкая телѣга, влекомая двумя качающимися въ ярмѣ, клонящими головы волами; она тянулася и исчезала, какъ въ морѣ, вмѣстѣ съ этими столбами, — послѣдніе столбы уже чуть маячили въ равнинѣ, были какъ палочки малы. Это была дорога на Яновщину, Яреськи, Шишаки...

Вечеръ мы нерѣдко проводили въ городскомъ саду. Тамъ играла музыка, освѣщенная терраса ресторана издали выдѣлялась среди темноты какъ театральная сцена. Братъ шелъ прямо въ ресторанъ, мы иногда уходили въ ту сторону сада, гдѣ онъ кончался тоже обрывомъ. Ночь была густо темна, тепла. Въ темнотѣ внизу кое-гдѣ стояли огоньки и церковно, стройно подымались и замирали пѣсни — это пѣли «паничи» предмѣстій. Пѣсни сливались съ темнотой и тишиной. Гремя, бѣжали тамъ свѣтящимися звеньями поѣздъ, — тогда особенно чувствовалось, какъ глубока и черна долина, — и постепенно смолкалъ, погасалъ, точно уходилъ подъ землю. И опять были слышны пѣсни, и весь кругъ горизонта за долиной дрожалъ немолчной дрожью жабъ, ворожившей эту тишину и темноту, повергавшей ее въ оцѣпенѣніе, которому, казалось, не будетъ конца.

Когда мы всходили на людную террасу ресторана, она, послѣ темноты, пріятно стѣсняла, слѣпила. Братъ, уже хмельной и умиленный, тотчасъ махалъ намъ изъ за стола, гдѣ съ нимъ сидѣли Вагинъ, Леонтовичъ, Сулима. Насъ шумно усаживали, послѣшно стучали, требовали еще блага вина, бокаловъ и льду. Отъ стола Башкирова, брата своей знаменитой сестры, огромнаго, съ римской головой, съ упрямымъ бычьимъ профилемъ, поднимался и большими шагами, съ раскрытымъ ртомъ, съ

радостно-безмысленной улыбкой, шель всѣмъ извѣстный своей добротой, глупостью и франтовствомъ князь Мишель, похожій на окуня: онъ не шель, а скорѣе плыль и прямо на нее, не спуская съ нея глазъ, и потомъ, съ свѣтской свободой и наивностью, долго держаль ея руку въ своей, чему-то хохоча, что-то говоря, самъ не зная что, не слушая даже самого себя. Музыка уже не играла, садъ за террасой былъ черенъ, пусть, откуда-то доходило порой дуновение до свѣчей въ стеклянныхъ колпачкахъ, осыпаемыхъ ночными насѣкомыми, но всѣ говорили, что время еще дѣтское. Наконецъ соглашались: пора. И все-таки не сразу разставались — шли домой ватагой, громко говоря, стуча по лѣсходамъ. Сады спали, таинственно чернѣли, тепло освѣщаясь низкимъ свѣтомъ поздней луны. Когда мы, уже одни, входили въ свой дворъ, луна выше глядѣла въ него, блестя въ стеклахъ галлерей. Какъ на хуторѣ трюкаль сверчокъ; каждый листикъ акаціи возлѣ флигеля, каждая вѣточка ея съ удивительной четкостью и изяществомъ рисовали свою неподвижную тѣнь на его бѣлой стѣнѣ.

Всего милѣй были минуты передъ сномъ. Скромно горѣла свѣча на ночномъ столикѣ. Счастьемъ свѣжести, молодости, здоровья входила прохлада въ спокойныя и вольныя, открытыя окна. Сидя въ халатикѣ на краю постели, она темными глазами смотрѣла на свѣчу и заплетала мягко блестящую косу.

— Вотъ ты все удивляешься, какъ я измѣнилась, — говорила она. — А если бы ты зналъ, какъ измѣнился ты. Только ты сталъ какъ-то все меньше замѣчать меня! Особенно, когда мы не одни. Я боюсь, что я для тебя становлюсь, какъ воздухъ: жить безъ него нельзя, а его не замѣчаешь... Развѣ не правда? — Ты говоришь, что это-то и есть самая большая любовь. А мнѣ кажется, что это значить, что тебѣ теперь одной меня мало.

— Мало, мало, — отвѣчалъ я, смѣясь. — Мнѣ теперь всего мало.

— Я и говорю: тебя куда-то тянетъ. Георгій Александровичъ уже говорилъ мнѣ, что ты просишься въ командировки съ разѣздными статистиками. Зачѣмъ? Трястись по жарѣ и въ пыли на бричкѣ, потомъ сидѣть въ жаркомъ волостномъ правленіи и безъ конца опрашивать хохловъ вотъ по тѣмъ самымъ бланкамъ, что я разсылаю...

Она поднимала глаза, кинувъ косу за плечо:

— Что тебя тянетъ?

— Только то, что я счастливъ, что мнѣ, дѣйствительно, теперь какъ будто всего мало.

Она брала мою руку:

— Правда?

## XXI.

Въ первый разъ я поѣхалъ именно туда, куда ей такъ хотѣлось поѣхать со мной, — по миргородской дорогѣ. Меня взялъ съ собой Вагинъ, посланный зачѣмъ-то въ Шишаки.

Помню, какъ мы съ ней боялись проспять назначенное время, — выѣхать нужно было до жары, пораньше, — какъ она ласково меня разбудила, сама вставши до солнца, уже приготовивъ мнѣ чай, подавляя въ себѣ грусть, что я ѣду одинъ. Помню, что было сѣро и прохладно, и она все поглядывала въ окна: неужели дождь испортитъ мнѣ поѣздку? — и до сихъ поръ чувствую то нѣжное и тревожное волненіе, съ которымъ мы вскочили, заслышавъ у воротъ почтовый колокольчикъ, порывисто простились и выбѣжали за калитку, къ перекладной телѣжкѣ, на которой въ длинномъ парусиновомъ балахонѣ и въ лѣтнемъ сѣромъ картузѣ сидѣлъ Вагинъ. Потомъ глохъ колокольчикъ въ огромномъ воздушномъ пространствѣ, разгулявшійся день былъ сухъ, жарокъ, ровно бѣжала телѣжка въ глубокой дорожной пыли, и все вокругъ было такъ однообразно, что вскорѣ уже не стало силы глядѣть въ даль сонно-свѣтлаго горизонта и

напряженно ждать отъ него чего-то. Въ полдень прошло мимо насъ въ этой горячей пустынѣ нѣчто совсѣмъ кочевое: безконечныя овчарни Кочубея. «Полдень, овчарни, записаль я среди толчковъ телѣжки. Сѣрое отъ зноя небо, ястреба и сивоворонки... Я совершенно счастливъ!» Въ Яновщинѣ записаль о корчмѣ: «Яновщина, старая корчма, ея черная внутренность и прохладная полутьма; еврей сказалъ, что пива у него нѣту, «есть только налитокъ». — «Какой напитокъ?» — «Но напитокъ! Напитокъ Фіалка». Еврей — тощій, въ лапсердакѣ, но «напитокъ» вынесъ изъ задней комнаты гимназистъ, необыкновенно полный подростокъ, высоко подпоясанный новенькимъ ремнемъ по свѣтло-сѣрой курткѣ, очень красивый какъ-то по-персидски: его сынъ». Вослѣ Шишакъ я тотчасъ вспомнилъ гоголевскую записную книжку: «И вдругъ яръ среди ровной дороги — обрывъ въ глубину и внизъ; и въ глубинѣ лѣса, и за лѣсами — лѣса, за близкими, зелеными — отдаленные, синіе, за ними полоса песковъ серебряно-соломеннаго цвѣта... Надъ стремниной и кручей махала крыльями скрипучая вѣтряная мельница...» Подъ этимъ обрывомъ дукой выгнбался Пселъ и зеленѣло садами большое село. Мы долго искали въ немъ какого-то Василенко, къ которому и было у Вагина дѣло, а найдя, не застали дома и долго сидѣли подъ липой возле его хаты, окруженные сыростью луговой верболозы и кваканьемъ лягушекъ. Тутъ-же мы просидѣли съ Василенко и весь вечеръ, ужинали, пили наливку, и лампа освѣщала снизу зелень листьевъ, межъ тѣмъ какъ кругомъ замыкалась непроницаемая тьма лѣтней ночи. Потомъ въ этой тѣмѣ вдругъ стукнула калитка и возле стола нарядно появилась до свицовой блѣдности набѣленная дѣвица, пріятельница Василенко, мѣстная земская фельдшерница: тотчасъ, конечно, узнала, что у него какіе-то губернскіе гости. Первую минуту она отъ смущенія не знала, что съ собой дѣлать, говорила, что попало, потомъ стала пить съ нами рюмка въ рюмку и все больше вскрикивать на вся-

кія мои остроты. Она была ужасно нервна, широкоскула, остро черноглаза, у нея были грубыя, жилистыя руки, крѣпко пахнуція шипромъ, и костлявыя ключицы, но подъ легонькой голубой кофточкой лежали тяжелыя груди, станъ былъ тонокъ, а бедра широки. Ночью я пошелъ ее провожать. Мы шли въ черной темнотѣ, по засохшимъ колеямъ какого-то переулка. Гдѣ-то возлѣ плетня она остановилась, уронила мнѣ на грудь голову. Я едва совладѣлъ съ собой:

Домой мы пріѣхали на другой день поздно. Она уже лежала въ постели, читала, увидавъ меня, вскочила въ радости и удивленьи — «какъ, уже пріѣхаль?» Когда я, поспѣшно рассказывая всю свою поѣздку, сталъ со смѣхомъ рассказывать про фельдшерицу, она перебила:

— Зачѣмъ ты рассказываешь мнѣ это?

И глаза у нея наполнились слезами:

— Какъ ты жестокъ со мною! — сказала она, торопливо ища подъ подушкой платочекъ. — Мало того, что ты бросаешь меня одну...

Сколько разъ въ жизни вспоминалъ я эти слезы! Вотъ вспоминаю, какъ вспомнилъ однажды лѣтъ черезъ двадцать послѣ той ночи. Это было на приморской бессарабской дачѣ. Я пришелъ съ купанья и легъ въ кабинетъ. Былъ жаркій и вѣтренный полдень: сильный, шелковистогорячій, то затихающій, то буйно растущій шумъ сада во кругъ дома, тѣнь и блескъ въ деревьяхъ, мотаніе туда и сюда мягко гнущихся вѣтвей... Когда вѣтеръ, густо шумя, росъ, приближался, онъ вдругъ раскрывалъ всю эту древесную зелень, окружавшую окна тѣнистаго кабинета, показывалъ въ ней знойно-эмалевое небо, и тотчасъ раскрывалась и тѣнь на бѣломъ потолкѣ — потолокъ, свѣтлѣя, становился фіолетовымъ. Потомъ опять затихало, вѣтеръ, убѣгая, терялся гдѣ-то вдали сада, надъ обрывомъ къ прибрежью. Я глядѣлъ на все это, слушалъ и вдругъ подумалъ: гдѣ-то, двадцать лѣтъ тому назадъ, въ томъ давно мною забытомъ малорусскомъ за-

холустья, гдѣ мы съ ней только что начинали нашу общую жизнь, которой, казалось, не будетъ конца, а вышло всего два съ половиной года, тоже былъ подобный полдень; я проснулся поздно, окна въ садъ тоже были открыты и за ними вотъ такъ-же шумѣло, качалось, пестро блестяло, а по комнатѣ вольно ходилъ тотъ счастливѣйшій вѣтеръ, что сулитъ близкій завтракъ, доносить запахъ жареной рыбы; я, открывши глаза, вздохнулъ этимъ вѣтромъ и, облокотившись на свою подушку, сталъ глядѣть на другую, лежавшую рядомъ, въ которой еще оставался чуть слышный фіалковый запахъ ея темныхъ прекрасныхъ волосъ и платочка, который она, помирившись со мной, еще долго держала въ рукѣ; и, вспомнивъ все это, вспомнивъ, что съ тѣхъ поръ я прожилъ безъ нея полжизни, видѣлъ весь міръ и вотъ все еще живу и вижу, межъ тѣмъ какъ ея въ этомъ мірѣ нѣтъ уже цѣлую вѣчность, я, съ похолодѣвшей головою, сбросилъ ноги съ дивана, вышелъ и точно по воздуху пошелъ по аллеѣ уквусныхъ деревьевъ къ обрыву, глядя въ ея пролетъ на купоросно зеленый кусокъ моря, страшный и дивный, первоначально новый...

Въ ту ночь я поклялся ей, что больше никуда не поѣду. Черезъ нѣсколько дней опять уѣхалъ.

Ив. Бунинъ.

## Жанета

Проходятъ день и ночь. Наступаетъ мутное и сухое утро. Въ полдень Симоновъ смотрѣлъ на флюгеръ чужой виллы. Стрѣлка его ни на мгновеніе не оставалась въ покоѣ. Она капризно, съ разными скоростями вертѣлась, то по солнцу, то противъ солнца, по всѣмъ тридцати двумъ румбамъ. Въ четыре пополудни стало жарко.

— Ну и здоровенная же будетъ нынче гроза, — сказала самому себѣ вслухъ профессоръ, выходя изъ дома. — Ого, уже начинается.

И правда: людямъ и животнымъ не хватаетъ воздуха. У нихъ сохнутъ губы, языки и горла, и кровью набухаютъ затылки. Порывистый, измѣнчивый южный вѣтеръ «Сирокко» не приноситъ облегченія, а только обдаётъ на мгновенія огненнымъ дыханіемъ, летящимъ изъ Сахары.

Сорванные съ пѣшеходовъ соломенные шляпы, котелки и фетры катятся ребромъ по пыльной мостовой, а за ними козломъ скачутъ люди съ развѣвающимися полами пиджаковъ. Безобидно смѣются зрители. Смѣются и сами пострадавшіе, крѣпче натягивая шляпы на затылки. Зонтики съ трескомъ выворачиваются спицами впередъ. Женскія юбки тюльпанами вздымаются вверхъ, или вдругъ тѣсными морщинами облипаютъ груди, животы, бедра и ноги. Женщины идутъ противъ вѣтра, нагнувшись, низко склонивъ головы, прихватывая лѣвой рукой шляпку, а правой непослушныя легкія одежды.

Въ Булонскомъ лѣсу этотъ взбалмошный вѣтеръ раскачиваетъ, треплетъ, рветъ и ерошитъ старыя, могучія, шумящія деревья и крутитъ ихъ шипящія отъ злобы вершины, какъ половыя метлы. Онъ то заголитъ всю листву на свѣт-

люю изнанку, то внезапно перевернетъ ее на темное лицо, и отъ этой размашистой игры весь лѣсъ то мгновенно свѣтлѣетъ, то сразу темнѣетъ. И весело переплетаются въ листвѣ, на зелени газоновъ, на желтомъ пескѣ дорожекъ, узорчатая подвижныя пятна золотого солнца, голубого неба и дрожащихъ тѣней.



Подъ широкимъ шатромъ могучаго разлатаго каштана, лицомъ къ вѣтру, сидитъ человѣкъ въ сѣромъ балахонѣ, такъ низко опустившій грудь и голову, что проходящимъ, изъ-подъ его рыбацѣй шляпы, виденъ только кончикъ его огненно-рыжей, сѣдоватой бороды. Этотъ кончикъ онъ иногда задумчиво пощипываетъ двумя пальцами, иногда разсѣянно суетъ въ ротъ и пожевываетъ. Прохожіе, съ легкой улыбкой, замѣчаютъ также, что порою этотъ большой, живописный старикъ вдругъ то ударяетъ себя кулакомъ по колѣну, то пренебрежительно пожимаетъ плечами и рѣзко вскидываетъ голову, то гнѣвно стукнетъ палкой по землѣ: дурныя привычки людей, умѣющихъ думать не поверхностными, случайными обрывками мыслей, а глубоко и послѣдовательно.

Но прохожимъ только такъ кажется, что здѣсь, на зеленой скамейкѣ, сидитъ всего одинъ человѣкъ. Имъ ни за что не догадаться, что близъ нихъ ведутъ безтолковый и неприятный семейный разговоръ два совершенно разныхъ существа, неразрывно спаянные въ одномъ человѣческомъ образѣ. Первый — профессоръ химіи, физики, ботаники, физиологіи растений, ученый лѣсоводъ и лѣсничій, дважды докторъ honoris causa европейскихъ университетовъ, вѣчный старый студентъ, фантазеръ, непосѣда, святая широкая душа съ неуживчивымъ характером, безсеребренникъ и ротозѣй. Другой же — просто Николай Евдокимовичъ Симоновъ и больше ничего, — человѣкъ, какихъ сотни тысячъ, даже милліоны на свѣтѣ. Николай Евдокимовичъ зна-



еть очень и очень многое. Ему, напимѣръ, извѣстно, что въ ожиданіи дождя, порядочные люди берутъ съ собою зонтики, выходя на улицу, что возвращаясь поздно ночью домой, надо непременно безъ грохота затворить за собою входную дверь, что лѣстницы для того обнесены перилами, чтобы за нихъ держаться, что каша, сало, чай, квартира и прачка требуютъ оплаты, что автомобиль на крутомъ поворотѣ способенъ свалить съ ногъ замечтавшагося зѣваку. И еще безконечное количество подобныхъ умныхъ и полезныхъ законовъ. Наконецъ, какъ важнѣйшій параграфъ домашняго катехизиса, онъ исповѣдуетъ строгую истину о деньгахъ. Деньги чеканятся круглыми для удобнаго ношенія въ кошелькахъ, а вовсе не для того, чтобы легче было пускать ихъ ребромъ катиться по свѣту и, наоборотъ: имъ придана плоская форма, дабы красивѣе было ихъ складывать въ стопочки, передъ тѣмъ, какъ, пересчитавъ, отнести въ солидный банкъ.

Профессоръ неохотно прислушивается къ премудростямъ Николая Евдокимыча и свысока презираетъ ихъ, какъ временныя и скучныя. Николай Евдокимовичъ осуждаетъ щедрость, безалаберность и глупую доброту профессора, ворчить, кряхтитъ, журить его и даже позволяетъ себѣ иногда осторожно поехидничать. Профессоръ говоритъ ему ты, какъ раньше говорилъ престарѣлому сторожу, служившему тридцать лѣтъ при лабораторіи. Здѣсь старая привычка, ласковая фамильярность, покровительственная интимность... Николай Евдокимовичъ говоритъ вы и «господинъ профессоръ» съ отгѣнкомъ бережной заботы и почтенія, но иногда и съ поучительностью старой привязанной няньки.

Сидятъ теперь они оба въ Булонскомъ лѣсу, на желѣзной зеленой скамейкѣ и ведутъ беззвучный разговоръ, и временами профессору кажется, что безпокойныя деревья съ трепетомъ прислушиваются къ этой бесѣдѣ и принимаютъ въ ней тревожное участіе.

## VI.

Профессоръ вытягиваетъ передъ собой небольшую, мясистую ладонь правой руки, всю исчерченную, изрѣзанную, изморщенную множествомъ переплетающихся линий, бугровъ и трещинъ. Такая рука, вылитая въ бронзѣ, есть только у Бальзака, въ музей его имени въ Парижѣ, на улицѣ Raynouard, рука великаго человѣка, все знавшая, все испытывавшая, все ощупавшая, все испробовавшая, все измѣрившая и взвѣсившая, и тѣмъ не менѣ прекрасная и живая даже въ металлѣ.

Профессоръ Симоновъ любитъ Бальзака больше всѣхъ иностранныхъ авторовъ и нерѣдко посѣщаетъ его скромный музей. Но ему и въ голову никогда не приходило сравнить его руку со своей. Всего больше въ этомъ простомъ и маленькомъ хранилищѣ занимаетъ профессора висѣщая на стѣнѣ рамка, въ которую вставленъ четырехугольный листъ ватманской бѣлой бумаги съ красивой надписью, сдѣланной самимъ Бальзакомъ:

Ici  
un  
Rembrandt.

Эта наивная любовная надпись всегда умиляла профессора почти до слезъ, а потому онъ никогда не бралъ съ собою въ музей скептическаго и слишкомъ земнаго Николая Евдокимовича.

\*  
\*\*

Профессоръ долго и внимательно смотритъ на свою бальзаковскую ладонь, слегка улыбается нѣжной старческой улыбкой и беззвучно говоритъ:

— Вотъ здѣсь, вотъ именно здѣсь, заблудилась ея крошечная, такъ мило жесткая и грязная рученка. И какъ она

потомъ нетерпѣливо карабкалась, чтобы выбраться на свободу. Ну совсѣмъ точно маленькой, вольный, подвижной звѣренушекъ. О, чего же стоять всѣ утѣхи, радости и наслажденія міра, въ сравненіи съ этимъ самымъ простымъ, самымъ чистымъ, божественнымъ ощущеніемъ дѣтскаго довѣрія.

Чтобы яснѣе вызвать образъ маленькой чумазой Жанеты, профессоръ на минуту плотно зажмуриваетъ глаза и вдругъ слышитъ язвительное ворчаніе Николая Евдокимовича, этого вѣчнаго брюзги, нестерпимаго указчика и надоѣвшаго близнеца:

— Ахъ, господишь профессоръ, господишь профессоръ. Сколько мы съ вами за нашу долгую жизнь рассыпали фантастическихъ глупостей по всѣмъ долготамъ и широтамъ земного шара. И вотъ, извольте: на почтенномъ закатѣ дней своихъ, вдругъ взять и ошалѣть отъ восторга, при видѣ какой-то грязной, замурзанной шестилѣтней уличной дѣвченки, похожей на желторотаго птенца. Вотъ ужъ третій день идетъ, какъ мы крутимся около газетнаго кіоска и безъ толку покупаемъ утренніе, дневные и вечерніе журналы, въ надеждѣ вновь увидѣть, хоть мелькомъ, измазанную дѣтскую мордашку и поймать ея лукавую улыбку. И на свою правую ладонь мы не устаемъ смѣрять съ блаженнымъ умиленіемъ буддійскаго святого, взирающаго на свой пупокъ.

Ну да, — все это мило и хорошо и трогательно; тѣмъ болѣе, что въ человѣкѣ съ душою абсолютно, химически, чистой. Но согласитесь, господишь профессоръ, съ тѣмъ, что наше буколическое увлеченіе, пожалуй, можетъ показаться нелѣпымъ и смѣшнымъ, если на него посмотрѣть со стороны зоркимъ и скептическимъ взглядомъ.

— Ну и пусть кажется. Какая мнѣ забота до дураковъ и бездѣльниковъ и до ихъ свинскаго воображенія? Мои годы, мои сѣдины, моя безукоризненная жизнь — вотъ моя порука! Свиньей, вродѣ тебя, мрачной и гнусной свиньей, будетъ тотъ, кто усмотритъ грязь въ томъ, что

меня чуть не до слезъ умилила эта забавная, чудесная, славная дѣвчурочка. И все тутъ. Баста!

— Все тутъ и баста, все тутъ и баста, — шипять качающіяся, переплетающіяся вѣтви.

Николай Евдкимовичъ сдается:

— Да, вѣдь я что же, господинъ профессоръ? Я оскорбительнаго для вашей чести ничего не говорю. Я только хочу сказать, что у каждаго народа есть свои нравы, обычаи, навыки, суевѣрія и примѣты, которые куда какъ мощнѣ писанныхъ и печатныхъ законовъ. И вотъ тутъ то иностранцу, да еще бездомному эмигранту, укrywшемуся отъ позора и смерти подъ дружескимъ, вѣрнымъ и сильнымъ крыломъ, должно съ этими неписанными адатами обращаться, какъ можно осторожниѣ и деликатнѣе.

— Перестань, старая шарманка, — раздраженно восклицаетъ профессоръ, и трепещущія листья повторяютъ за нимъ: — старая, старая шарманка! — Но давнишній лабораторный служитель не сдается:

— Да вы же сами помните, господинъ профессоръ, какъ вы выразили передъ хозяйкой кіоска свой милый восторгъ передъ ея очаровательной дочкой Жанетой. И какъ она въ отвѣтъ на это зачертыхалась? Въ ея чертаханіи вовсе не было зла противъ васъ или Жанеты. Нѣтъ, здѣсь заговорила бессознательная, инстинктивная, многовѣковая память о борьбѣ со злыми ларвами въ языческія времена и съ мерзкими кознями дьявола въ эпоху перваго, грубаго христіанства. Эта почтенная женщина, видите ли, услышавъ вашу горячую похвалу ея дочкѣ, бессознательно испугалась, — а вдругъ у васъ дурной глазъ. А вдругъ вы Жанету сглазите. А вдругъ дьяволъ услышитъ вашу искреннюю похвалу милой дѣвчуркѣ и отъ злой ревности возьметъ и испортитъ ее: сдѣлаетъ ее кривобокой, или наведетъ на ея лицо какую нибудь гадкую сыпь, или скоситъ ей глаза. А что касается дурного глаза, то развѣ не вы сами, господинъ профессоръ, девять лѣтъ назадъ помѣстили въ одномъ теософскомъ англійскомъ журналѣ

полунаучную, полумистическую статью подъ псевдонимомъ «Немо», въ которой интересно и весьма обстоятельно доказывалось, что изъ множества эманцій, выдѣляемыхъ человѣческимъ организмомъ, едва ли не самыми мощными флюидами являются флюиды, излучающіеся изъ человѣческаго зрачка, столь близко расположеннаго къ мозгу. Черезъ глаза передаются гипнотическія волны и не зрѣніе ли, соединившись съ воображеніемъ, ткеть глубокой ночью цвѣтистые, многообразные сны? И, наконецъ, вовсе не выдумка безотвѣстныхъ романистовъ (какъ вы сами говорили) способность человѣческихъ глазъ къ удивительнымъ свѣтовымъ эффектамъ. Да, дѣйствительно, глаза человѣка, въ зависимости отъ душевныхъ эмоцій, могутъ сіять, блестѣть, вспыхивать молніей, жечь, пронизывать, наводить ужась и повергать ницъ. И эту чудесную силу ихъ открыли еще, Богъ знаетъ, въ какой глубокой древности все видѣвшіе, все замѣчавшіе и запоминавшіе народы, самыя наименованія которыхъ стерлись изъ исторіи, но которые оставили послѣ себя несокрушимыя устныя преданія. Романисты только ограбили невѣдомыхъ предковъ безъ пользы для себя, между тѣмъ, какъ у спокойнаго простонародья старая мудрость и великій опытъ сохранились въ темныхъ примѣтахъ и суевѣріяхъ. Вотъ и спрашивается теперь, господинъ профессоръ: правы ли вы были, разсердившись на экспансивную мамашу вашей ненаглядной Жанеты?

Профессоръ ударяетъ желѣзнымъ наконечникомъ палки по дорожкѣ, и гравій визгливо хруститъ.

— Замолчи, несчастный полугай, собиратель старой рухляди, умѣющей только превращать въ ходячую пошлость все, до чего коснется рука твоя.

Вѣтеръ становится все болѣе тяжелымъ и упругимъ. Дышать трудно даже въ обильномъ зеленомъ лѣсу. Огромныя, старыя, вѣковыя деревья, когда-то видѣвшія подъ своею сѣнью Виктора Гюго, Альфреда Мюссе, Балзака и обонхъ Дюма, недовѣрчиво и устало поскрипываютъ и не-

довольно кричатъ. Небо потемнѣло, и по нему быстрыми взмахами летятъ группы странно большихъ, черныхъ, зловѣщихъ птицъ. Во всей природѣ какое-то мрачное ожиданіе. Профессора томить приближающаяся буря. А тутъ еще этотъ неугомонный филистеръ, скучный хранитель буржуазной морали, этотъ вѣчный суфлеръ и наставникъ, двойникъ, съ которымъ никогда не разстанешься и который всегда будетъ тащить свободную душу профессора по истоптаннымъ путямъ спасительной боязни, благоразумнаго умалчиванія, политичнаго воздержанія, всегдашняго согласія съ большинствомъ, повторенія ветхихъ, заплѣсневѣлыхъ истинъ, казенныхъ улыбокъ и лицемѣрныхъ похвалъ высокостоящимъ болванамъ. И профессоръ взрывается, подобно брошенной на землю петардѣ:

— Никого я не хочу ни знать, ни слушать! Что дурного или предосудительнаго въ томъ, что всѣмъ моимъ сердцемъ и всѣми моими мыслями завладѣла маленькая милая дѣвочка, живой и нѣжный французскій ребенокъ. Господи! вѣдь я никогда не испыталъ и не переживалъ и даже не надѣялся когда-нибудь почувствовать тихой, безкорыстной радости, которою такъ мудро и такъ щедро одаряетъ судьба дѣдушекъ и бабушекъ, когда всѣ земныя, пріяныя радости отлетаютъ отъ нихъ. Ахъ! я не былъ дѣдушкой, не успѣлъ... Да впрочемъ, что грѣха таить. Могу ли я по чистой совѣсти похвастаться, что былъ когда-нибудь счастливымъ мужемъ или почтеннымъ, уважаемымъ отцомъ, авторитетнымъ главою дома, его основаніемъ, его управителемъ и защитникомъ?

Нѣтъ, вся его семейная жизнь сложилась какъ-то неладно, кособоко, нелѣпо, разрозненно и неудобно. Женился онъ приватъ-доцентомъ на блѣдной и капризной дочери виднаго профессора, университетскаго декана и академика, который сдѣлалъ себѣ огромное имя и независимое положеніе и комфортабельную жизнь путями, не особенно, по тому времени, прямыми: всегдашней готовностью идти навстрѣчу волѣ и желаніямъ правительства, отрицательнымъ отноше-

ніемъ къ студенческимъ массовкамъ, протестамъ и забастовкамъ, а также и суровой требовательностью на экзаменахъ. Онъ зналъ, конечно, что за глаза, въ молодыхъ радикальныхъ профессорскихъ кругахъ, его ядовито называли «кондитеромъ» и «мыловаромъ». Но что ему было за дѣло до брехни неудачниковъ и бездарностей и необразованныхъ лѣнтыевъ.

Онъ, съ привычнымъ, нескрываемымъ удовольствіемъ опускалъ въ портмонэ золотые, приятно-тяжелые дарки, выдаваемые послѣ каждого изъ торжественныхъ засѣданій Академіи; со спокойнымъ достоинствомъ принималъ казенныя, весьма широко оплачиваемыя научныя поѣздки за границу и роскошныя изданія своихъ книгъ и безъ всякой тѣни заискиванія расширялъ и поддерживалъ свои знакомства съ питерской аристократіей и съ высочайшими особами. Студенты его ненавидѣли, но его лекціи всегда наполняли аудиторію до самаго верха, ибо онъ въ совершенствѣ владѣлъ своимъ глубокимъ и гибкимъ умомъ, былъ краснорѣчивъ и обаятельно остроуменъ.

«Геніальная скотина», — назвалъ его однажды безцеремонный и злой на языкъ, великій циникъ графъ Витте.

Бракъ Симонова съ его младшей дочерью Лидіей былъ чрезвычайно страненъ, какъ по своей неожиданной быстротѣ, такъ и по полному отсутствію того томнаго ухаживанія, которое составляетъ главную прелесть жениховскаго періода.

Поѣздка на Аптекарскій островъ профессорской компаніей. Дурманящая «бѣлая» ночь, легкое и веселое опьянѣніе дешевымъ русскимъ шампанскимъ «Абрау-Дюрсо», могучее дыханіе полноводной Невы, смолистый ласковый запахъ березовыхъ распускающихся почекъ, непринужденная игривость дружескаго пикника. Играли въ горѣлки. Лидія, со своимъ гибкимъ и тонкимъ станомъ, съ матовымъ лицомъ и ярко красными губами, летала, точнѣе касаясь ногами земли, похожая въ загадочной полутьмѣ на влюбленную колдунью. Никто не сумѣлъ бы понять,

какъ это случилось. Догоняя Лидію, Симоновъ такъ разогнался, что чуть ее не опрокинулъ и, для поддержанія равновѣсія, принужденъ былъ крѣпко обнять ее за талію и прижать къ своей груди, такъ что почувствовалъ упругое прикосновеніе ея дѣвическихъ сосцовъ. И въ этотъ же моментъ она поцѣловала его въ губы подъ защитою стараго дерева.

Сначала молодой ученый былъ смущенъ и до румянца сконфуженъ ненасытной жадностью и чувственнымъ безстыдствомъ этого пламеннаго и влажнаго поцѣлуя, но потомъ, со свойственнымъ ему великодушіемъ и уваженіемъ къ женщинамъ, быстро рѣшилъ въ умѣ, что это просто первоначальная неумѣлость, неопытность, непривычность наивной и невинной дѣвочки, вдругъ вздумавшей подражать взрослымъ или разыгрывать сценку изъ только что прочтеннаго романа. Но, во всякомъ случаѣ, этотъ поцѣлуй, огнемъ пробѣжавшій по всѣмъ нервамъ Симонова, требовалъ, по его джентльмэнскому мнѣнію, серьезной отвѣтственности. Поэтому, возвращаясь съ пикника на Разъѣзжую, Симоновъ, набравшись храбрости, съ бьющимся сердцемъ, сдѣлалъ Лидіи форменное предложеніе вступить съ нимъ въ бракъ. Немного покоробило его спокойствіе, съ которымъ она дала свое согласіе. Симоновъ ожидалъ услышать старинную, традиціонную, многовѣковую фразу: — «поговорите объ этомъ съ папой и съ мамой». Нѣтъ, она сказала просто, съ вѣжливой привѣтливой улыбкой: «Я согласна. Вы мнѣ давно нравитесь. Я не могу отъ васъ скрыть, что приданое за мною не такъ ужъ велико, какъ это можно было бы предполагать, судя по нашей жизни, которая со стороны кажется очень широкой. Конечно, мои родители охотно возьмутъ на себя всѣ расходы по бракосочетанію и по поѣздкѣ за границу. Они же съ удовольствіемъ озаботятся тѣмъ, чтобы пріискать намъ на первое время уютную хорошенькую квартиру, съ удобной мебелью и со всѣмъ хозяйственнымъ обзаведеніемъ. Но я думаю, что больше пятидесяти тысячъ папочка



за мною не можетъ дать. А это — немного, по теперешнему времени, когда о шалашѣ и раѣ не вспоминаютъ даже въ шутку. Я свободно владѣю тремя иностранными языками: французскимъ, нѣмецкимъ и англійскимъ — и могла бы отлично переводить съ нихъ. Но вы сами знаете, какъ дешево оплачиваются переводы»...

Эта хладнокровная дѣловитость заставила Симонова на минуту съежиться, и онъ сказалъ съ невольной неловкостью:

— У меня есть небольшое имѣніе въ Новгородской губерніи. Если не ошибаюсь, сотни четыре десятинъ съ небольшимъ. Въ Устюженскомъ уѣздѣ. Но еще больше я надѣюсь на свой трудъ, потому что работать я люблю и умѣю и никогда работы не боялся и никогда отъ нея не отлынивалъ. Вѣрьте мнѣ, Лида: съ вашей любовью и дружбой я скорѣй займу положеніе, которымъ вы по справедливости будете гордиться. Вотъ вамъ моя рука въ залогъ; пожмите ее крѣпко, какъ можете.

Блѣдное лицо дѣвушки порозовѣло, когда она исполнила просьбу жениха. А потомъ она сказала:

— Если бы я не повѣрила вамъ, то неизбѣжно должна была бы повѣрить папочкиному мнѣнію о васъ. Вы вѣдь знаете, какъ онъ скупъ на комплименты и на лестные отзывы, особенно въ научной сферѣ. О васъ же онъ заочно говоритъ, какъ о будущемъ свѣтилѣ науки, какъ объ отцѣ будущей, новой, великой школы. Это его собственныя слова. А теперь, если вы не раздумали, пойдемъ къ нему наверхъ и скажемъ о нашемъ рѣшеніи соединиться законнымъ бракомъ. Только я васъ объ одномъ попрошу. Наука такъ и останется наукой, но въ дѣлахъ коммерческихъ и денежныхъ обращайтесь всегда за совѣтомъ къ папѣ. Имя его извѣстно во всемъ цивилизованномъ мірѣ. Но мало кто знаетъ, что папочка, со своимъ яснымъ, свѣтлымъ и острымъ умомъ, является первокласснымъ дѣльцомъ и безошибочнымъ размѣстителемъ крупныхъ денегъ въ такія мѣста, откуда онъ скорѣй возвращались обратно въ

удесятеренномъ видѣ. Папочкѣ бы быть русскимъ министромъ финансовъ! — сказала Лидія съ гордой похвалой...

\*

\*\*

Такимъ образомъ женился Симоновъ на Лидіи Кошельниковой. Бракъ этотъ вышелъ не по расчету, не по страстной любви, даже не по мгновенному случайному увлеченію, отъ котораго внезапно кружится голова, заволакиваются туманомъ глаза, а мысли и слова теряютъ смыслъ и значеніе.

Впослѣдствіи Симоновъ много разъ возвращался памятью къ этому странному времени жениховства и первоначальнаго замужества, и никогда не находилъ въ нихъ ни логики, ни оправданія, ни надобности: было холодное навожденіе, была неуклюжая актерская игра въ напыщенную влюбленность. Онъ слишкомъ поздно разобрался въ душѣ своей жены и нашелъ для нея тиличное мѣсто, въ которомъ однако не было ничего сложнаго, загадочнаго или необыкновеннаго. Просто: она была дочерью своей эпохи, когда молодыя дѣвушки либо мечтали о политикѣ и курсахъ, либо напичкивались сверхъ силы Оскаромъ Уайльдомъ, Фридрихомъ Нитцше, Вейнинггеромъ и половымъ безстыдствомъ. Лидія была изъ послѣднихъ. Еще въ институтѣ для привилегированныхъ дѣвицъ она ѣла толченый мѣлъ и пила уксусъ для того, чтобы тѣло не переставало держаться въ воздушныхъ, почти невѣсомыхъ, формахъ, а лицо подъ гриммомъ постоянно носило томный отпечатокъ безсонныхъ, безумно проведенныхъ ночей, оставившихъ черные краснорѣчивые круги подъ глазами.

Въ институтѣ же, подъ наивной и невинной игрою въ «обожаніе» старшихъ подругъ, она узнала первоначальные соблазны уродливой однополой любви, которой въ то время предавались по распущенности и изъ-за снобизма юноши и дѣвушки всѣхъ благородныхъ учебныхъ заведе-

ний. Въ супружескихъ интимныхъ отношеніяхъ она не проявляла здоровой чувственности, была лишь холодно-любопытна и вскорѣ эти отношенія между молодыми супругами стали постепенно все рѣже и неодоушительнѣе. Однажды Лидія сказала мужу:

— Ты знаешь. Въ концѣ концовъ, нѣмцы были и умны, и практичны, когда признавали за «цвей киндеръ системъ» право гражданственности. Это и необходимо, и достаточно.

Симоновъ, какъ всегда, отвѣтилъ спокойнымъ согласіемъ и нисколько не удивился тому, что, родивъ вторую и послѣднюю дѣвочку, Лидія совсѣмъ отказалась отъ супружескихъ обязанностей, предоставивъ вмѣсто нихъ мужу полную свободу, въ которой онъ, впрочемъ, совсѣмъ не нуждался.

Однако, обязанность доставать деньги осталась за нимъ и съ каждымъ годомъ настоятельно увеличивалась. За дѣтьми Лидія никогда не ходила. Не любила и не умѣла этого. Около дѣвочекъ были всегда кормилицы, няньки и бонны. Сама же мать только наряжала ихъ, какъ куколъ, и играла съ ними, какъ съ куклами, въ теченіе десяти минутъ въ сутки. Переводы съ иностранныхъ языковъ оказались милымъ вздоромъ заневѣстившейся барышни. Знала она, правда, — и то съ грѣхомъ пополамъ — словъ по сто на каждомъ изъ трехъ главныхъ европейскихъ языковъ, но для профессіи переводчицы этотъ багажъ былъ и скуденъ, и легковѣсенъ. А главное, къ занятію этому у Лидіи не было ни призванія, ни терпѣнія. Занимала ее больше всего легкая, суетливая, подвижная общественная благотворительность, устройство литературныхъ и студенческихъ вечеровъ, лоттерей и базары, и прочіе веселые пустяки, съ приглашеніемъ знаменитостей, съ продажей шампанскаго и цвѣтовъ и съ постоянными предлогами заказывать новые модные костюмы.

Больше всего имѣла Лидія успѣхъ въ только что родившихся, безшабашныхъ кружкахъ новой литературы,

поэзіи и живописи, — у всей этой молодежи, носившей диковинные девизы кубистовъ, футуристовъ, акмеистовъ и даже ничевоковъ. Они въ ней находили порочную прелесть верленовскихъ изломовъ и манящую жуть сладострастія Пикассо. Впрочемъ, всѣ эти божественно-дерзкіе переустроиатели мірового искусства никогда не задумывались надъ смысломъ и значеніемъ тѣхъ умопомрачительныхъ словъ, которыя они, походя, роняли вѣско, гулко, бездонно-глубоко и абсолютно непонятно для непосвященныхъ буржуевъ. Ничего! имъ все благоговѣйно сходило съ рукъ. Такое ужъ сверхчеловѣческое повѣтріе носилось тогда, незадолго до ужасной войны, по обѣимъ столицамъ Россіи, что гѣніи, пророки; ясновидцы, тайношницы, предсказатели, медиумы, міровые мудрецы, Наполеоны и Заратустры рождались среди интеллигенціи съ быстротою грибовъ послѣ теплаго лѣтняго дождя. Уважающему себя культурному и передовому человѣку приходилось разрываться на части, чтобы не пропустить случая сбѣгать на поклонъ къ новому блистательному свѣтилу, только что вчера открытому. Москва, древняя, кондовая, купеческая, усѣстая Москва, которая прежде созывала гостей на обѣдъ съ юродивымъ Корѣйшей, съ протодьякономъ Шаховцовымъ, который голосомъ своимъ тушилъ всѣ люстры въ залѣ, съ полицмейстеромъ Огаревымъ, съ Шалапинымъ или съ борцомъ Поддубнымъ, — эта наивная, сердечная Москва вдругъ, очнувшись, поняла, что ей совсѣмъ ужъ невозможно жить безъ своего декадента. Поэтому она спѣшно заказала для своихъ домовъ декадентскую архитектуру, завела чертовски декадентскую и безумно дорогую литературу, а московскія дебелыя дѣвицы бредили во снѣ: — тятенька съ маменькой, купите мнѣ въ женихи настоящаго декадентскаго кентавра.

И покупали.

Чинный Петербургъ всегда былъ спокойнѣе, умѣреннѣе и хладнокровнѣе пылкой Москвы, къ которой онъ еще со временъ Петра I-го привыкъ относиться свысока. Од-

нако, яростный напоръ новыхъ теченій во всѣхъ отрасляхъ искусства мощно захватилъ и солидный Петербургъ, ставшій къ тому времени внезапно Петроградомъ. Первыми провозвѣстниками и глашатаями этой трескучей новизны стали торопливые карьеристы, малограмотные привать-доценты, читавшіе «взглядъ и нѣчто» на многочисленныхъ женскихъ курсахъ и пописывавшіе критическія статейки въ сотняхъ журналовъ, которые ежедневно возрождались подъ самыми драконистыми заглавіями, чтобы черезъ два-три дня тихо и безслѣдно опочить.

Лидія, со всегдашней своей страстью къ шумливымъ, безвкуснымъ и дешевымъ бездѣлушкамъ, одной изъ первыхъ записалась въ горячія поклонницы всѣхъ этихъ «истовъ», въ ихъ вѣрнаго друга, въ ихъ дѣятельную помощницу и пропагандистку. Они же называли ее своей мамой, своей музой, своимъ иксъ-лучемъ, и аккуратно, цѣлыми стаями, посѣщали по пятницамъ ея нѣсколько скучноватый, но услужливый и гостепріимный салонъ, гдѣ подавались очень вкусные сэндвичи и отличное кавказское красное вино. «Мукузань».

Симоновъ вначалѣ не безъ интереса и любопытства посѣщалъ декадентскіе вечера своей жены. Какъ-никакъ, а, по словамъ Лидіи, на нихъ созрѣвало и выковывалось то новое, могучее и гордое искусство, которому надлежало, растоптавъ въ прахъ всѣ жалкія, скучныя и нудныя потуги предшественниковъ, засіяты надъ міромъ, неугасаемой огненной звѣздой.

Однако, вскорѣ онъ сталъ потихоньку думать: «Тутъ, по совѣсти, одно изъ двухъ: — либо я отсталъ отъ искусства и ничего не понимаю, либо всѣ эти футуристы и кубисты — просто напросто охальники, симулянты, мистификаторы, шарлатаны и развязные наглецы и похабники... Правда, въ нѣкоторыхъ поэзахъ этихъ вчерашнихъ новаторовъ звучала порою странная и дикая сила; правда и то, что дерзкіе консонансы, замѣнившіе у декадентовъ лакированную точность строгихъ рифмъ, были ясны и понят-

ны для Симонова, хорошо изучившаго остроту крестьянских поговорокъ и частушекъ. Но отсутствіе прямого смысла непріятно раздражало его, какъ раздражала и ихъ манера читать свои произведенія въ носъ, нараспѣвъ, на мотивъ «Чижика», похороннаго ирмоса или бульварной пѣсни, не останавливаясь передъ похабными словами. Еще экстравагантнѣе были футуристическіе музыканты и кубистическіе художники. Этихъ не понимали даже близкіе сотоварищи. Впрочемъ, въ этихъ сверхчеловѣческихъ, орущихъ шайкахъ — быть непонятымъ почиталось первой ступеню къ гениальности.

Эта здоровенная молодежь ѣла и пила съ аппетитомъ волжскихъ грузчиковъ, не переставая брала взаймы деньги и часто оставалась ночевать на диванахъ, на сдвинутыхъ стульяхъ и даже просто на полу. На это молодое разгильдяйство Симоновъ глядѣлъ снисходительно и даже съ молчаливымъ сочувствіемъ. Профессорская жизнь еще не выжгла изъ его памяти студенческихъ годовъ въ Московскомъ университетѣ, когда безцеремонная молодежь охотно дѣлилась и ночлегомъ, и обѣдомъ въ столовкѣ, и послѣдней кружкой пива, и научными знаніями. Но одинъ дурацкій случай вывелъ его изъ себя. Какой-то здоровенный, долговязый, весь въ угряхъ декадентъ, въ балахонѣ, наполовину желтомъ, наполовину голубомъ, съ пучкомъ укропа и съ морковкой въ петлицѣ, только что окончилъ завывать свою новую поэзу, посвященую претенціозное заглавіе «Паванна», и стоялъ, окаментѣвъ отъ наплыва вдохновенія, а вокругъ него благоговѣйно безмолствовали второстепенные поэты. Встрѣтившись глазами съ Симоновымъ, желто-голубой верзила спросилъ въ носъ:

— Ну что же, Амфитріонъ? Кого вы теперь назовете прекраснѣйшимъ изъ всѣхъ русскихъ поэтовъ?

Смущенный Амфитріонъ невольно повелъ глазами по той стѣнѣ, гдѣ у него ровной линіей висѣли застекленныя портреты всѣхъ знаменитыхъ русскихъ писателей и поэтовъ, и застѣнчиво пробормоталъ:

— Я думаю, что все-таки Пушкинь...

— О, ослица Валаамова! — возопилъ прыщавый декадентъ. — Весь вашъ слащавый европеецъ Пушкинь не стоитъ одного ногтя съ моей ноги. — И вдругъ, схвативши массивную чернильницу, декадентъ съ быстрымъ размахомъ швырнулъ ее въ лицо Пушкина, раздробивъ стекло и заливъ портретъ чернилами. Симоновъ, весь побѣлѣвъ отъ негодованія, схватилъ съ необыкновенной силой поэта за шиворотъ и потащилъ къ выходнымъ дверямъ, беззвучно говоря дрожащими губами:

— Ахъ, ты, сукинъ сынъ! Чтобы тутъ больше твоего духу не было! А то на смерть убью стервеца! Вонъ сію же секунду!

Претендентъ на высокое званіе прекраснѣйшаго изъ русскихъ поэтовъ всѣхъ временъ поспѣшно выскочилъ въ переднюю, сбитый съ толку и точно скомканный. За нимъ, съ глухимъ ворчаніемъ, посыпались второстепенные поэты. Но «грубая, безобразная, дикарская выходка» Симоннова не обошлась ему даромъ. Во-первыхъ, Лидія, послѣ громаднаго истерического припадка, съ рыданіями и обмороками, заставила-таки мужа на другой день поѣхать къ желто-голубому поэту и просить у него прощенія. Во-вторыхъ, ему на вѣки вѣчные запрещено было присутствовать на декадентскихъ радвнїяхъ, хотя бы даже издали черезъ щелку. А въ-третьихъ, съ того злополучнаго вечера совсѣмъ прекратились всякія человѣческія отношенія между мужемъ и женой. Здѣсь не было ни злости, ни мести, ни взаимнаго отвращенія. Просто оба давно уже стали понимать и чувствовать, что нѣтъ и никогда не было между ними ничего общаго, сближающаго, душевнаго и что скоропостижный бракъ ихъ можно было бы объяснить только холоднымъ, безсоннымъ навожденіемъ сѣверной бѣлой ночи и мгновеннымъ капризомъ анемичной, избалованной петербургской барышни.

Въ началъ этого расхожденія Симоновъ даже былъ радъ этой домашней свободѣ. Легче работалось, легче дума-

лось. А главное, въ эти одинокіе тихіе дни Симоновъ, наконецъ, нашель подходъ и дорогу къ умамъ и характерамъ своихъ двухъ дочекъ, которыя до сихъ поръ пребывали въ глупомъ баловствѣ и въ капризномъ невѣжествѣ. Онъ съ нѣжной и веселой радостью уже сталъ замѣчать, какъ входили въ дѣтскіе умы и сердца тѣ избранныя книги, которыя онъ имъ читаль: русскія, умѣло подобранныя сказки, сказки Андерсена, рассказы Марка Твена и чудеснаго Киплинга и Додэ, Хижина дяди Тома, приключенія Жюль-Верна, Серебрянные коньки, Капитанская дочка Пушкина и т. п. вещи, легко и удобно входящія въ умъ и въ воображеніе дѣтей. Онъ при первой возможности водилъ дѣвочекъ въ Зоологическій садъ, въ звѣринцы, музеи и галлерей. Каждый листикъ, каждыя звѣрь и звѣрюшка, каждыя жуки и мушки являлись для него и для дѣтей предметами жаднаго вниманія и удивительныхъ разказовъ. Эти два года мирнаго общенія съ маленькими дочерьми остались навсегда для Симонова самыми лучшими, теплыми и благородными воспоминаніями. Прежде бывало такъ, что разсерженный безалаберностью жены и ея вѣчнымъ мотаніемъ по знакомымъ и по лавкамъ и по засѣданіямъ, онъ молчаливо повторялъ про себя жестокое изреченіе изъ притчей Соломоновыхъ: «Горе жена блудливая, и необузданная. Ноги ея не живутъ въ домѣ ея». Теперь же онъ все чаще ловилъ себя на унылой мысли брошеннаго человѣка, уже свыкшагося со своимъ одиночествомъ:

— А все-таки, куда какъ лучше и пріятнѣе дома, когда въ пемъ нѣту его почтенной и обворожительной хозяйки Лидіи.

Но давно уже извѣстно, что женщина, разлюбившая и злая, никогда не удовлетворится спокойнымъ молчаніемъ. Такъ и Лидія вскорѣ стала неутомимо пилить и заѣдать мужа, выбравъ для этого самое уязвимое, самое чувствительное, самое больное мѣсто — деньги.

Настало время, когда въ маленькой, когда-то мило



уютной комнатѣ на Пескахъ, съ утра до вечера только и стало слышаться одно это желтое, ужасное, проклятое, ядовитое и такое всемогущее слово — деньги. — Вы, какъ кажется, позабыли о деньгахъ? Гдѣ же деньги? Вы, по-видимому, все мечтаете о раѣ въ шалашѣ, а не о деньгахъ? Вы, кажется, совсѣмъ забыли, что у насъ завтра — гости и, чтобы принять ихъ, надобны деньги? Оленькѣ нужны деньги на башмачки, Юленькѣ нужны деньги на шубку. Кухаркѣ нужны деньги на базаръ, мнѣ нужны деньги на замшевыя перчатки и на билетъ на Вагнера. — Деньги, денегъ, о деньгахъ, деньгамъ, деньгами, деньгамъ, деньгами... Вкусъ ржаваго желѣза появлялся во рту Симонова, когда звучали эти металлическія слова, требующія денегъ. Вскорѣ и дочери, сначала, какъ невинные попугайки, а потомъ все сознательнѣе и настойчивѣе, научились этой минорной пѣснѣ о вѣчныхъ деньгахъ.

— Папочка! Почему ты намъ купилъ аграфы сердоликовые, когда теперь всѣ носятъ жемчужные? — Папочка! почему ты купилъ мѣста въ партерѣ, а не въ бель-этажѣ? — Папочка! почему у насъ елка была съ парафиновыми свѣчами, а у X. электрическая? Почему у Z. свой собственный выѣздъ, а мы должны трястись на извозчикѣ-Банькѣ? — Папочка! Почему мамочка всегда плачетъ, что ты жадный и скупой и никогда не хочешь давать ей деньги, и что ты, кромѣ того, страшный лѣнтяй и не хочешь работать?

— Какая пакость со стороны тѣхъ матерей, которыя ложью возстанавливаютъ дѣтей противъ отцовъ, — думалъ часто Симоновъ и тотчасъ же поправлялъ самого себя: — а еще хуже длительная, текущая годами семейная злобная вражда, въ которой обѣ стороны считаютъ себя великомучениками и только тѣмъ занимаются, что отыскиваютъ противъ врага укусь поядовитѣе.

Симоновъ, со свойственнымъ ему мягкимъ великодушіемъ, рыцарски самоотверженно причислялъ себя къ одной изъ враждующихъ сторонъ. Носить въ себѣ вѣчную

неугасимую злобу казалось ему тяжкимъ и горчайшимъ бременемъ, и онъ какъ бы навьючивалъ на себя молчаливо половину общаго проклятаго груза. Нѣтъ, никогда онъ не былъ лѣнтяемъ или скупцомъ. Какъ однажды, въ далекую бѣлую ночь, далъ онъ Лидіи торжественное обѣщаніе работать, не покладая рукъ, для счастья своего гнѣзда, такъ и держалъ это слово съ непоколебимой энергіей, съ радостнымъ сознаніемъ исполняемаго священнаго долга. Онъ успѣвалъ читать лекціи въ петербургскихъ сельскохозяйственномъ и лѣсномъ институтахъ и на женскихъ курсахъ, преподавалъ физику, химію, космографію и естественную исторію въ кадетскихъ корпусахъ, въ военныхъ училищахъ, женскихъ институтахъ. Одно время онъ руководилъ геодезическими триангуляціонными съемками въ Академіи Генеральнаго Штаба. Онъ написалъ много статей, какъ строго научныхъ, такъ и популярныхъ. Журналы принимали ихъ охотно, редакторы разсыпались въ похвалахъ и комплиментахъ... Однако, гонорары повсюду были мизерные. И все-таки жить было можно и даже жить съ небольшимъ комфортомъ, несмотря на то, что тесть служилъ на приданомъ. Бѣда была въ томъ, что Лидія никогда не знала цѣны деньгамъ, и онъ сыпались у нея сквозь пальцы, а Симоновъ во всю свою жизнь такъ и не научился ладить съ пужными людьми, обходя ихъ услужничествомъ, лестною и подобострастіемъ: бывалъ, когда не надо, гордъ, независимъ, противорѣчивъ, самостоятеленъ и неуступчивъ. А эти свойства люди сильные не всегда любятъ.

Когда пришла Симонову пора защищать свою докторскую диссертацию, то профессоръ Концельниковъ однажды любезно спросилъ его, какъ бы мимоходомъ:

— Что ты скажешь, милый зятекъ, если узнаешь, что университетскій совѣтъ назначить меня быть твоимъ оппонентомъ на диссертации?

По профессорской этикѣ, такой любезный вопросъ всегда имѣеть и огромный вѣсъ, и серьезнѣйшее значеніе. Въ

немъ какъ будто бы уже заранѣе признаются и талантѣ, и заслуги молодого диссертанта, и ничѣмъ инымъ, какъ благодарной улыбкой, на него нельзя было бы отвѣтить. Но Симоновъ какъ то сухо, по медвѣжьей коряво возвратилъ:

— Я бы, конечно, былъ весьма обрадованъ и польщенъ, господинъ профессоръ, но... но согласитесь съ тѣмъ, что мы съ вами все-таки въ свойствѣ... и Богъ знаетъ, что могутъ наговорить недоброжелательные языки... Кумовство, nepотизмъ, протекція... и такъ далѣе... Обоимъ намъ будетъ неловко.

Тестъ поднялся съ кресла и желчно сказалъ:

— Дѣло ваше. Какъ знаете, какъ знаете... И, надвывая шляпу въ передней, еще разъ прибавилъ: — Какъ знаете.

Кончилось тѣмъ, что диссертацию свою Симоновъ сдалъ въ Москвѣ и сдалъ самымъ блестящимъ образомъ. Когда онъ пріѣхалъ назадъ въ Петербургъ, тестъ не далъ себѣ труда поздравить его.

Кошельниковъ былъ не злопамятенъ; къ тому же онъ очень любилъ свою анемичную дочку. Поэтому, спустя нѣкоторое время, онъ сдѣлалъ зятю у себя на дому великолѣпное предложеніе въ духѣ той финансовой мудрости, которой когда-то такъ восхищалась Лидія. Дѣло заключалось въ томъ, что нѣсколько вліятельныхъ и высокостоявшихъ чиновъ Генеральнаго Штаба предпринимали въ военныхъ цѣляхъ гигантскую работу по осушенію Польша. Въ настоящее время начинаютъ разыскивать и подбираютъ опытныхъ инженеровъ гидротехниковъ, землѣмѣровъ, лѣсниковъ, геодезистовъ. Проектируется работа на многіе десятки милліоновъ. Дѣло большое и вѣрное и на немъ можно честнымъ путемъ сдѣлать хорошее, солидное состояніе, опору будущему счастью. У Николая Евдокимовича остались добрыя знакомства съ Генеральнымъ Штабомъ, тестъ поможетъ своими вліяніями. Надо только ковать желѣзо, пока оно горячо.

Симоновъ попросилъ двѣ недѣли отсрочки для раз-

мышлений. Аккуратно въ назначенный срокъ онъ пришелъ къ тестю и попросилъ у него сепаратнаго разговора. Съ первыхъ же словъ онъ рѣшительно отказался отъ работы на Полѣсьѣ, а когда профессоръ Кошельниковъ спросилъ о причинахъ такого крутого отказа, зять нарисовалъ картину, мрачную, зловѣщую и устрашающую.

— Во-первыхъ, — сказалъ онъ, — осушеніе Полѣсья стоитъ не милліоны, а милліарды. Во-вторыхъ, осушеніе Полѣсья, кромѣ дороговизны, повлечетъ за собою непременно обмелѣніе всѣхъ водныхъ источниковъ, рѣченоекъ и рѣкъ, какъ малыхъ, такъ и среднихъ и большихъ. Это же со своей стороны грозитъ оскудѣніемъ сельскихъ хозяйствъ на громадныхъ пространствахъ, остановкой водяныхъ мельницъ, прекращеніемъ путей сообщенія и въ особенности пароходному движенію по рѣкамъ, питаемымъ водами Полѣсья. Подумайте: Днѣпръ и теперь уже нуждается въ землечерпалкахъ, что же будетъ дальше, когда онъ высохнетъ. Въ-третьихъ, кто инициаторъ и глава этого осушительнаго предпріятія? — Полковникъ генеральнаго штаба Ж. Онъ полякъ, дѣйствительно — Ж. Съ идеей осушенія онъ возится давно уже, связывая эту идею съ возможностью оборонительной войны. Умный теоретикъ военнаго искусства Михаилъ Драгомировъ сказалъ однажды по этому поводу: — «Умный, храбрый вождь пройдетъ, шутя, черезъ топь. Трусливый дуракъ разобьетъ голову на ровномъ мѣстѣ».

Однако, полковникъ Ж. теперь снова вылѣзъ вверхъ... И, наконецъ — четвертое: мнѣ удалось узнать фамиліи будущихъ предполагаемыхъ подрядчиковъ. Все это — народъ жохъ, тертые калачи, а, главное, жестокіе спеціалисты по лѣсному дѣлу. — И что же? — Да то, что вся суть осушенія сводится къ неслыханной по размѣрамъ вырубкѣ Полѣсья и распродажѣ лѣса въ дьявольскихъ размѣрахъ. Военные интересы — одна только вывѣска.

— Однако, — возразилъ тесть, — вѣдь тамъ, въ числѣ пайщиковъ есть и высочайшія персоны.

— Тамъ божѣ, — утрюмо буркнулъ Симоновъ, — мнѣ въ эту компанію не ходъ.

— Глупая щелетильность, — пожалъ плечами Кошельниковъ, и собесѣдники, не говоря больше ни слова, сухо и надолго простились.

На другой день Лидія пришла къ нему въ кабинетъ и безъ обычной ссоры, вялымъ, дѣловымъ голосомъ, предложила ему развестись съ ней. Онъ ничего у нея не спрашивалъ, сразу же согласился. По ея же просьбѣ онъ согласился и взять вину развода на себя, какъ на мужа, осквернившего супружеское ложе. Много этому невинному, доброму и покладистому человѣку пришлось выслушать консисторскихъ пакостей, пока разводъ не былъ зарегистрированъ въ порядкѣ.

Одно условіе развода огорчало и удручало Симонова: объ его дочери, по утвержденію Святѣйшаго Синода, должны были остаться при матери, на которую возлагалось ихъ духовное и моральное воспитаніе въ началахъ и указаніяхъ святой православной католической Церкви. — Хорошими началами она ихъ напичкаетъ, — сурово ворчала про себя Симоновъ; и предвидя неизбѣжныя въ разводѣ сцены ревности изъ-за дѣтей, возрастающую на этой почвѣ неуголимую ненависть и тяжелое вліяніе на дѣвочекъ родительской вражды, онъ съ глухимъ горемъ оставилъ навсегда Петербургъ, чтобы занять профессору въ родной, знакомой и давно любимой Москвѣ.

Такъ то порвались навѣки для него всѣ отношенія съ бывшей семьей и даже самая память о ней. Но любовь ко всѣмъ дѣтямъ, умиленіе надъ ихъ беспомощностью, радость слышать ихъ голоса и видѣть ихъ улыбки, созерцать ихъ игры и ихъ первыя попытки къ общежитію, постоянно наполняли его душу цѣлительнымъ бальзамомъ. Онъ, не ради щегольской фразы, но отъ глубины чистаго и любящаго сердца, произнесъ свой афоризмъ на большомъ московскомъ собраніи матерей:

— Тотъ, кто написалъ хорошую книгу для дѣтей, или

изобрѣлъ дѣтскія штанишки, не связывающія движеній и пріятныя въ носкѣ, — тотъ гораздо болѣе достоинъ благодарнаго безсмертія, чѣмъ всѣ изобрѣтатели машинъ и завоеватели странъ.



А удушливый, горячій вѣтеръ сирокко не только не хочетъ уняться, но все больше и больше набираетъ силу, злобу и упругость. Профессоръ давно уже усталъ вести бесполезную ссору со своимъ тупымъ и мѣщански настроеннымъ двойникомъ Николаемъ Евдокимовичемъ. Приближающаяся и все не рѣшающаяся разразиться гроза точно приплюскиваетъ его къ землѣ и лишаетъ воздуха. — Что же я такъ сижу и изнываю? — думаетъ онъ. Вѣдь даже гимназистамъ перваго класса извѣстно, что ничего нѣтъ опаснѣе, чѣмъ стоять въ грозу подъ деревомъ.

— Пойду-ка къ себѣ домой. У меня надъ моей голубятней проведенъ громоотводъ. Молодцы французы въ этомъ отношеніи. Впрочемъ, и во всемъ они молодцы, что касается стихійныхъ бунтовъ и возстаній.

Онъ подымается, съ трудомъ выпрямляя члены, затекшіе отъ долгаго сидѣнья. Безчисленныя мурашки бѣгутъ подъ его кожей.

— Точно электрическій токъ, — думаетъ профессоръ. — А почему бы и въ самомъ дѣлѣ этому ощущенію не быть электрическимъ явленіемъ? — и въ этотъ моментъ Симоновъ тяжело падаетъ на землю, оглушенный и ослѣпленный яростными, одновременными молніей и громомъ. Страшный ураганъ срывается, какъ взбѣсившаяся лошадь. Небо, воздухъ и земля заволакиваются густымъ злобѣщимъ мракомъ. Ревутъ деревья, трещатъ ломающіяся вѣтви, съ чертовскимъ грохотомъ и жалобнымъ стономъ падаетъ столѣтній могучій каштанъ, выворачивая изъ земли свое огромное корневище, зарытое въ землю. Деревья раскачиваются, нагибаясь до земли. Молнія и громъ не пере-

стають ни на минуту. Водяныя хляби разверзлись точно при потопѣ. Ничего не видно, кромѣ тяжелой сплошной воды, закрывшей весь горизонтъ.

Симоновъ, весь промокшій и потерявшій дорогу, съ великимъ трудомъ пробирается между деревьями, инстинктомъ находя дорожки и вновь теряя ихъ. Маленькая, нѣжная рученка вдругъ касается его пальцевъ и дрожащій, испуганный голосокъ говорить снизу:

— О, господинъ. Я боюсь. Помогите мнѣ. Я очень боюсь. Я не знаю, куда мнѣ надо идти.

— Ахъ! Боже мой! Вѣдь это Жанета, — съ радостью и съ ужасомъ узнаетъ профессоръ. — Какъ ты попала сюда, подъ мой непромокаемый плащъ. Вотъ такъ, вотъ такъ, моя дорогая дѣвочка, вотъ такъ. И теперь перестань тревожиться. Будь спокойна, я тебя сейчасъ донесу до вашего кіоска. — И ловко окутавъ Жанету своимъ пальмерстономъ, онъ храбро шлепаетъ по лужамъ.

Время отъ времени тоненькій, жалобный голосишко попискиваетъ изъ узла. — О, какъ я боюсь, какъ боюсь, мой добрый господинъ! — И умиленный Симоновъ ласково и успокоительно похлопываетъ ладонью по разбухшей раздетайкѣ. Такъ они выходятъ изъ Булонскаго лѣса, проходятъ по бульвару Босежуръ и тамъ, подъ перекиднымъ мостомъ, профессоръ сдаетъ свой мокрый грузъ въ газетный кіоскъ, наполняя его водой и крикливымъ изумленіемъ хозяйки, которая уже успѣла до смерти измучиться, разыскивая свою быстроногую Жанету въ эти страшные часы бури, молніи и зловѣщаго мрака. Она, съ той быстротой и пріятной ловкостью, какія свойственны всѣмъ любящимъ матерямъ на свѣтѣ, освобождала дѣвочку отъ безконечной профессорской обмотки, вытирала быстрыми движеніями ея промокшее тѣльце, сморкала ей носъ и въ то же время не забывала шлепать ее по задущкѣ и скороговоркою то браниться, то въ сотый разъ пересказывать Жанетѣ, профессору и всѣмъ ближайшимъ сосѣдямъ о тѣхъ ужасахъ, которые она сегодня претерпѣла.

— О, дорогой господинъ, — обращалась она къ Симонову. — Надѣюсь, что вы извините меня за то, что я сначала подумала, будто это вы завели Жанету въ Булонскій лѣсъ, и вотъ я прибѣжала къ вашей госпожѣ консьержкѣ и освѣдомилась у нея о васъ. И я была очень рада, когда услышала самыя почтенныя и добрыя рекомендаціи о васъ съ ея стороны. Но вы, конечно, поймете душевную тревогу бѣдной матери. Надѣюсь, что у васъ самого были сестры, дочери или внучки?

Но тутъ сама Жанета, рѣшительно высвободивъ голову изъ кучи тряпья, великодушно идетъ профессору на помощь и защитѣ:

— О, моя дорогая мама, — говоритъ она съ восторгомъ и ужасомъ. — Если бы ты видѣла, какой это былъ ужасъ. Я пошла въ Булонскій лѣсъ съ Жерменъ, съ дочерью мясника, господина Колэнъ, и мы разошлись тамъ, когда настала гроза. О, мой Богъ, какъ это было страшно и какъ я испугалась. Вѣтеръ былъ такой, что сломились всѣ деревья и разрушились многіе большіе дома. Молніи летали по всѣмъ направленіямъ, толстыя, какъ моя рука и большія, какъ Эйфелева башня. А громъ былъ такой громкій, какъ фейерверки на 14-ое іюля, или какъ пальба изъ пушекъ, и дождь былъ ужасно большой, ну вотъ совсѣмъ, какъ потопъ, о которомъ намъ читалъ господинъ аббатъ, и который потопилъ весь міръ. Я такъ испугалась, такъ испугалась, что думала, что сейчасъ же вотъ-вотъ умру. И подумай, мама, какое это было счастье, что добрый и храбрый господинъ пришелъ мнѣ на помощь въ бурю, грозу и молнію, и точно святой ангелъ покрылъ меня своимъ манто, чтобы вынести меня изъ настоящаго ада. О, мама, этотъ отважный жаантильомъ былъ моимъ спасителемъ, котораго мы должны благодарить во всю нашу жизнь.

Эта импровизированная болтовня умилила и размѣшила профессора до слезъ, а мать вставила уже спокойнымъ голосомъ:



— Этимъ декламаціямъ Жанету научила ея лучшая подруга Жермень, которая старше ея и, къ сожалѣнію, чрезвычайно много читаетъ.

Профессоръ сказалъ:

— Конечно, это маленькое приключеніе — просто пустяки, и все обошлось благополучно. Позвольте, мадамъ, я въ одинъ моментъ схожу въ бистро къ мадамъ Бюссакъ за липовымъ цвѣтомъ, онъ у нея превосходнаго качества. Въдь ваша бѣдная дѣвочка все-таки сильно промочила ноги.

— О, нѣтъ, мой господинъ. Я васъ, пожалуйста, прошу не беспокоиться. Липовый цвѣтъ есть у меня на квартирѣ, а я вамъ приношу милліоны благодарностей и въ свою очередь очень прошу васъ заняться своимъ здоровьемъ. Эти лѣтнія простуды гораздо опаснѣе зимнихъ.

— Экая твердая баба! — покачалъ головой Симоновъ, уходя изъ кіоска, — и все-таки прекрасная любящая мать.

Пройдя шаговъ пять, онъ обернулся назадъ. Въ кіоскѣ, изъ-за какихъ-то платковъ и тряпокъ глядѣлъ на него веселый, ласковый, улыбающійся глазокъ Жанеты.

\*

\*\*

И вотъ вскорѣ насталь для профессора Симонова моральный скучный ущербъ. Прежде хоть изрѣдка удавалось ему на минутку-двѣ увидѣть живое, веселое личико Жанеты подъ разными приличными предлогами: то, покупая газету, то просто проходя мимо кіоска съ нарочно сдѣланнымъ, серьезнымъ, дѣловымъ лицомъ. Теперь онъ сталъ стыдиться своихъ прежнихъ невинныхъ хитростей и бояться, что Жанетина мать подумаетъ, будто русскій старый чудакъ, особенно послѣ грозы въ Булонскомъ лѣсу, захочетъ втереться въ чужую семью. И онъ сталъ наблюдать за милой дѣвочкой съ осторожной украдкой, на далекомъ разстояніи, стараясь не попадаться на глаза ни

матери, ни дочкѣ, благодаря Бога за свою лѣсную привычную дальнзоркость.

Весело, пестро, разнообразно, затѣйливо проводить Жанета свои дни, радостно насыщенные все новыми и новыми впечатлѣніями. Ноги ея не успѣваютъ бѣгать, легкія — дышать, глаза — все жадно видѣть, уши — все слышать, умъ — все воспринимать. Будь Жанета совсѣмъ свободной — для нея мало было бы всего 16-го округа, всего Парижа съ окрестностями, всей необозримо большой Франціи. Но, къ ея досадѣ, строгій надзоръ матери и острая наблюдательность услужливыхъ сосѣдок замкнули ея свободу въ тѣсное пространство, ограниченное квадратомъ, образуемымъ четырьмя улицами: улицей Рanelягъ, авеню Мозаръ, улицей Ассомпсьонъ и Бульваромъ Босежуръ.

Профессоръ уже давно это замѣтилъ и самъ для себя въ умѣ называетъ Жанетту принцессой четырехъ улицъ.

Правда, эта быстроногая принцесса, въ неудержномъ бѣгѣ врывается и въ другія близъ лежащія улицы: въ бульваръ Монморанси и въ улицу доктора Бланшъ. Но это только рѣзвые наскоки принцессы амазонки, жаждущей невинныхъ приключеній.

Самый суровый запретъ положенъ на Булонскій лѣсъ, да и сама храбрая Жанета трепещетъ передъ его ужасами и до сихъ поръ не можетъ понять, какія силы занесли ее въ густой паркъ во время бури сирокко. Тамъ, по увѣреніямъ старинныхъ обитательницъ Пасси, прячутся въ густыхъ деревьяхъ злые мошенники, которые нападаютъ на гуляющихъ и, бросая ихъ въ автомобили, увозятъ Богъ знаетъ куда, чтобы взять потомъ за нихъ большой выкупъ; тамъ появляются беспощадные люди-сатиры, не жалѣющіе ни женщинъ, ни дѣтей; тамъ бродятъ часто кровожадные дикіе звѣри, убѣгающіе изъ сосѣдняго зоологическаго сада и, наконецъ, тамъ ходятъ по вечерамъ бѣлые привидѣнія, души людей, погибшихъ давнымъ дав-

но на дуэляхъ въ Булонскомъ лѣсу и лишенныхъ церковнаго покаянія.

Но на всемъ протяженіи своего маленькаго сувереннаго владѣнія Жанета является настоящей, всѣми признанной принцессой; принцессой доброй, привѣтливой, заботливой и любимой. Ея подданные души въ ней не чають. Когда она весело, легкими быстрыми шажками, проходитъ по улицамъ своего государства, то съ обѣихъ сторонъ слышатся ласковыя привѣтствія:

— Добрый день, Жанета! Добрый день, маленькая Жанета!

Такъ встрѣчаютъ ее всѣ: почтальоны, несущіеся съ толстыми кожаными сумками, взрослые дѣвушки, развозящія по домамъ въ ручныхъ телѣжкахъ молоко и булки, дѣвочки, спѣшасія говорливыми группами въ школу, рабочіе, только что принявшіе въ бистро очередную порцію аперитива или дижестива, чиновники и посыльные, старающіеся сохранить на лицахъ выраженіе дѣловой серьезности, между тѣмъ какъ свѣтъ нѣжной улыбки освѣщаетъ ихъ уста, пожилыя женщины, идущія спѣшнымъ ритмическимъ шагомъ на базаръ.

— Добрый день, Жанетъ! Добрый день, Жанетъ!

И Жанета разбрасываетъ налѣво и направо свои звонкія привѣтствія, вмѣстѣ съ ландышами и маргаритками своихъ сіяющихъ улыбокъ:

— Добрый день, господинъ Топэнъ! — Добрый день, госпожа Тиру. — Добрый день, Ирэнъ, Симонъ, Мадленъ!..

И какъ мило заботлива она къ работѣ и къ интересамъ своего народа. Вотъ идетъ по тротуару молодой, весь въ лохмотьяхъ, савояръ, дудя гнусаво въ допотопную деревянную свирѣль. Рядомъ съ нимъ, на мостовой, тѣсно сплотившись, движется густое, лохматое стадо козъ. Савояръ только и знаетъ, что наигрываетъ тысячелѣтную печальную мелодію, а за порядкомъ стада ревностно, строго и неутомимо слѣдитъ умный, черный большой пестъ, не уста-

ющій бѣгать вокругъ бредущей отары, загоняя каждую отстающую, проказливую или упрямо-игривую козу въ общее тѣсное блеющее стадо. Онъ достигаетъ этого лаемъ, ударомъ головою, иногда осторожнымъ укусомъ, а всего больше огненнымъ взглядомъ своихъ человѣческихъ глазъ. Прохожіе, знающіе злобный и рѣшительный характеръ савойскихъ овчарокъ, обходятъ ихъ подалѣе, но для Жанеты не существуетъ ни страха, ни боязни за свое тѣло, и руки ея никогда еще не знали трусливой дрожи. Поэтому она съ безпечной старательностью помогаетъ черному барраку загонять козъ, и мохнатая, съ ногъ до головы обросшая шерстью собака порою возьметъ и лизнетъ Жанету длиннымъ, краснымъ, горячимъ языкомъ, стараясь пройти по всему лицу.

И меланхолическій савояръ, не останавливая стада и оставляя его на попеченіе пса, останавливаетъ одну лишь изъ козъ, съ ловкостью фокусника доить ея грушевидное вымя въ небольшой стаканчикъ и молчаливо протягиваетъ его Жанетѣ. Теплое козье молоко не особенно вкусно; къ тому же оно такъ сильно отдаетъ терпкимъ запахомъ неистоваго козла, что пьютъ его только больные и рѣдкіе любители. Но какъ же обидѣтъ савояра и его прекраснаго пса. Молоко мужественно проглочено однимъ мгновеніемъ.

— Благодарю, до свиданья, мой дорогой песъ. До пріятнаго свиданья.

\*  
\*\*

Проходитъ, мелодично позванивая большимъ звонкомъ, древній, но крѣпкій, какъ дубъ, точильщикъ ножей, бритвъ и всякаго кухоннаго металла. Его передвижная мастерская весьма тяжела. Везутъ ее на колесахъ вдвоемъ: хозяинъ-мастеръ и его трудолюбивая собака-волкъ. Часто Жанета съ умиленіемъ удивлялась той добросовѣстности, съ какой эта рыжая, гладкошерстая собака несла свою

обязанность. Она напрягла всё свои силы, налегая на постромки и какъ бы распластывалась по землѣ, стараясь облегчить грузъ своему божеству, хозяину.

— Добрый день, господинъ Перье!

— Добрый день, моя малютка!

Онъ останавливался и опять звонилъ, ощупывая глазами этажи и дома, изъ которыхъ могли бы дать работу. Рыжій собака-волкъ въ это время укладывался калачемъ на землѣ подъ точильнымъ приборомъ. Тамъ же оставался онъ и въ то время, когда г. Перье визжалъ, верещалъ и яростно жужжалъ своими орудіями. Не подымался онъ и тогда, когда хозяинъ заходилъ освѣжиться отъ трудовъ праведныхъ въ кабачекъ «Au relouze» (лужайка). Можетъ быть, ему не нравилось, что въ этомъ кабачкѣ, на улицѣ доктора Бланшъ, обитало множество чуть-чуть синеватыхъ сетеровъ, порода которыхъ такъ и зовется «голубые оверньскіе», а, можетъ быть, онъ вообще пренебрегалъ всякимъ обществомъ на свѣтѣ. Онъ былъ молчаливъ, необщителенъ, всегда скученъ. Гладить себя онъ никому не позволялъ, а хозяинъ, кажется, ни разу въ жизни его не погладилъ. Жанета, конечно, могла это дѣлать, но что же пріятнаго гладить собаку, которая на это не обращаетъ никакого вниманія.

Страненъ былъ сумрачный характеръ этой собаки. (Не лежало ли на ея душѣ какое-нибудь тяжкое преступленіе?). Тѣмъ болѣе, что г. Перье былъ всегда веселъ и общителенъ. Жанета очень любила издали слушать, какъ онъ пѣлъ въ своемъ любимомъ кабачкѣ старыя, престарыя, веселыя пѣсни, съ трудомъ понимаемыя нынѣшними французами. Немножко страннымъ казалось Жанетѣ, что г. Перье нѣкоторыя слова пѣсенъ замѣнялъ мычаніемъ и многозначительнымъ побряхтываніемъ.

Всѣ были добрыми пріятелями Жанеты: и необыкновенный крикунъ, покупавшій тряпки-жельзо, а также торговавшій разными костюмами; и садовники изъ роскошнаго цвѣтоводства, принадлежавшаго какой-то таинствен-

ной, никѣмъ никогда не виданной милліонершѣ, и дѣвушки изъ лабораторіи, и страстные игроки въ конскій тотализаторъ, которые, покупая спортивные газеты, просили Жанету назвать имъ на счастье какую-нибудь цифру, и нищія, которымъ она никогда не скупилась подать монету въ два су, если она находилась въ карманѣ передника, и такъ далѣе. Но были у нея еще дружки, особенно цѣнные, интересные, занятные и любимые. Появлялся, напримѣръ, раза три въ мѣсяцъ въ предѣлахъ Жанетинаго властвованія старый, бодрый шарманщикъ. У него не было лѣвой руки и правой ноги, которая онъ потерялъ на войнѣ, но зато была хорошо налаженная, солидная клиентура изъ истинныхъ знатоковъ и тонкихъ любителей благородной шарманочной музыки или, какъ ее вѣрнѣе называютъ, — органной. Черезъ каждые десять дней, регулярно, онъ приходилъ подъ окно очередного меломана, укрѣплялъ какимъ-то непонятнымъ способомъ, при помощи костылей, свою шарманку и давалъ на ней превосходный концертъ, начинавшійся всегда съ итальянской канцонетты «о *voilà mia*», военной французской пѣсенкой «*Madelon*» или Марсельезой. Надо сказать, что избранная (по его мнѣнію) публика любила его. Во время концерта и послѣ его окончанія, разныя монеты, завернутыя въ бумажки, такъ и летѣли изо всѣхъ этажей, брякая объ уличные тротуары и о мостовыя.

Но, кромѣ изысканной музыки, однорукой и одноногий шарманщикъ приспособилъ къ крышкѣ своего органа небольшую шкатулочку, изъ которой уличная публика могла за пять сантимовъ вытаскивать свернутыя въ голубыя, зеленыя и красныя трубочки предсказанія судьбы, разрѣшенія любовныхъ и коммерческихъ дѣлъ, астрологическое значеніе планеты каждаго человѣка и прочія премудрости. Однако, музыканту, очевидно, было по его инвалидности и больно, и неудобно заниматься одновременно нѣсколькими дѣлами: вертѣть ручку шарманки, слѣдить за любителями предсказательной лоттереи и подбирать съ земли

завернутыя монеты, шкондыбая, тяжело нагибаясь и еще еле успѣвая посылать добрымъ кліентамъ летучіе поклонны во всѣ этажи, отъ рэ-де-шоссе до мансарды восьмого этажа, въ которомъ гиѣздились горничныя, кухарки, швейки и прочая бѣднота, всегда щедрая на расплату за маленькое удовольствіе. Однако, шарманщикъ терпѣть не могъ, когда кто-нибудь изъ собравшейся вокругъ него публики проявлялъ желаніе помочь ему. Въ этихъ случаяхъ онъ стучалъ костьюлемъ и съ недовольной торопливостью говорилъ:

— Нѣтъ, нѣтъ, благодарю, благодарю, я самъ, я самъ. Благодарю!

Но удивительно — когда Жанета впервые нагнулась со своей легкой гибкостью, и изящно, двумя пальчиками, поднесла ему скомканную бумажку съ двумя толстыми «гро су», шарманщикъ нѣжно похлопалъ ее по плечу и, улыбаясь, сказалъ:

— О мерси, грандъ мерси, моя крошка. Какъ вы очаровательны!

И правда, въ этой смуглой, грязноватой дѣвочкѣ, съ черными живыми глазами, было очень много того, что французы называютъ шармомъ и что въ Жанетѣ ласково плѣняло людей, собакъ, лошадей и кошекъ.

Въ слѣдующій свой визитъ на Пасси, въ герцогство принцессы Жанеты, шарманщикъ уже разыскивалъ озабоченно глазами, гдѣ ея недавняя помощница, и, отыскавъ, съ улыбкой поманилъ ее къ себѣ, а когда она подошла, вся сіяя отъ радости, онъ вытащилъ изъ отворота пальто слегка помятую, но все еще благоуханную розу и галантно поднесъ ее дѣвочкѣ. Съ этихъ поръ Жанета, какъ только услышитъ издали гнусавые, тягучіе звуки шарманки, — стрѣлой летитъ къ своему импрессарио и добросовѣстно работаетъ, избѣгая лишь переступать черезъ запретныя зоны. И неизмѣнно она получаетъ отъ музыканта розу, гвоздику или другой сезонный цвѣтокъ. Эти по-

дарки — ея гордость. Они заработаны чистымъ артистическимъ трудомъ.

Другой увѣчный челоуѣкъ — самый любимый другъ Жанеты, предметъ ея жалости и особой заботы, — это слѣпецъ, глаза котораго выжжены на той же проклятой войнѣ. Онъ — кроткій пожилой мужчина, съ блѣднымъ лицомъ и мягкимъ голосомъ прекраснаго печальнаго тембра. Ему каждый день утромъ надо зачѣмъ-то переходить черезъ улицу Ранелягъ, которая въ этотъ годъ загромождена новыми строеніями, полными мусора, кирпича и досокъ, что дѣлаетъ непостоянную дорогу трудной и опасной для незрячаго. Жанета помогаетъ ему много дней, недѣль и мѣсяцевъ. Каждый день, кромѣ праздниковъ, въ 7 часовъ утра, дожидается Жанета на перекресткѣ авеню Мозаръ и улицы Ранелягъ появленія своего тихаго и милаго друга. Онъ показывается ровно въ семь, минута въ минуту, секунда въ секунду. Въ рукѣ у него бѣлая палочка. Онъ не видитъ, но движеніями головы какъ бы хочетъ учуять то мѣсто, гдѣ находится дѣвочка, и она тотчасъ же подаетъ звонко свой тоненькій голосокъ:

— Здравствуйте, г. Гастонъ.

Его проваленные глаза черно мертвы. Но на губахъ его разливается теплая, всегда грустная, улыбка.

— Здравствуй, душа моя. Что видѣла во снѣ?

Но Жанета такъ еще молода, что сновъ не видитъ, а если и видитъ, то мгновенно же ихъ забываетъ.

— Ничего, г. Гастонъ.

— И слава Богу, утѣшительно произносить слѣпой.

Они берутся за руки и идутъ. Слепой уже привыкъ ощущивать почву своей палочкой, но иногда Жанета, слегка пожимая его руку, предупреждаетъ: — направо кирпичъ! Налѣво ямка! Иногда они садятся на уличную скамейку и разговариваютъ. Слепой вдругъ спрашиваетъ:

— У насъ сегодня понедѣльникъ?

— Кажется, г. Гастонъ.



— А какъ ты думаешь, Жанета, какого цвѣта понедѣльникъ?

— Темно-зеленаго, — отвѣчаетъ дѣвочка.

— И мнѣ кажется такъ же. А вотъ, слышишь? — солдаты въ трубы трубятъ. Теперь какой цвѣтъ?

— Красный, — задумавшись, отвѣчаетъ Жанета.

— А я думаю, что красный съ желтымъ оттѣнкомъ. Не правда ли?

— Да, правда, г. Гастонъ, съ желтымъ.

Они замолкають. Черезъ нѣсколько минутъ г. Гастонъ тихо говоритъ:

— Ну да. Я ослѣпъ. Ничего не вижу. Но вѣдь судьба оставила мнѣ великодушно слухъ, осязаніе, обоняніе, вкусъ и разумъ. А я могъ бы лишиться всего этого и лежать бы теперь въ вѣчномъ безсознательномъ мракѣ. Развѣ я не счастливъ, милая Жанета?

— Я васъ люблю, г. Гастонъ, — шепчетъ дѣвочка и ласковой рукой нѣжно проводитъ по его лицу. А потомъ они рука объ руку идутъ до бульвара Босежуръ, гдѣ расстаются.

Профессоръ Симоновъ не разъ видѣлъ эти тихія, меланхолическія свиданія. Нѣтъ! Его свѣтлая душа не знаетъ ревности, особенно къ такому человѣку, какъ г. Гастонъ, столь жестоко наказанному судьбою. Онъ только иногда смутно думаетъ о томъ, что, если бы онъ самъ былъ слѣпцомъ, то величайшимъ утѣшеніемъ въ этомъ несчастіи была бы для него дружба съ Жанетой. И вотъ онъ однажды рѣшается на невинную, смѣшную мальчишескую уловку. Водиться съ русскимъ профессоромъ строго-настрога запрещено, но, встрѣчаясь съ нимъ случайно на улицѣ, Жанета никогда не упуститъ возможности поздороваться съ нимъ улыбкой или кивкомъ головы. Иногда она даже перебѣгаетъ черезъ улицу на другую сторону, причѣмъ у нея несносная манера лѣзть подъ каждый трамвай и каміонъ, что приводитъ Симонова въ холодный ужасъ. И вотъ какъ то разъ утромъ, вывернувшись чудомъ изъ-подъ

огромной, ревущей и пыхтящей машины, Жанета застаётъ стараго друга совсѣмъ разслабленнымъ, хилымъ, разбитымъ, измученнымъ.

— О, г. профессоръ, что съ вами? Вы, кажется, очень больны? — говоритъ жалобно Жанета. — Чѣмъ я могу вамъ помочь?

— Ахъ, дорогая Жанета, — кричатъ и стонетъ Симоновъ. — У меня большое горе. Я — ослѣпъ! Не будешь ли ты такъ добра провести меня до дома? Я живу близко отсюда, бульваръ Монморанси.

— О, съ удовольствіемъ, господинъ профессоръ. Не угодно ли вамъ будетъ опереться на мою руку?

Они идутъ. Проходятъ шаговъ съ пятьдесятъ. Походка профессора становится все спотыкливѣе и неувѣреннѣе, и не доходя до квартиры профессора шаговъ на тридцать, Жанета вдругъ раздражается веселымъ громкимъ хохотомъ, звенящимъ, какъ золотой дождь по серебряному блюду.

— Ахъ, шутникъ! обманщикъ! — заливается Жанета — Развѣ меня можно одурачить! Ваши руки слишкомъ жестки для слѣпца, и развѣ я не вижу, какъ дрожать ваши рѣсницы, когда вы черезъ нихъ поглядываете на меня? И шагъ вашъ гораздо тверже, чѣмъ у слѣпца. Ну, алоръ, маршъ домой, господинъ слѣпой! И, пожалуйста, не дѣлайте надъ собой такихъ фокусовъ, а то и навсегда останетесь слѣпымъ. На небѣ такихъ шутокъ не любятъ.

Симоновъ уходитъ посрамленным и сконфуженнымъ. Но въ дорогу Жанета посылаетъ ему ласковое утѣшеніе:

— Вы не думайте. Я люблю г. Гастона, но люблю и васъ. Гастонъ хорошій и вы тоже хорошій, всякій по своему. Подождите, я когда-нибудь васъ познакомлю и вы станете друзьями.

Много странностей съ теченіемъ времени замѣчаетъ профессоръ за Жанетой. Такъ онъ открываетъ, что эта милая дѣвочка совсѣмъ чужда брезгливости.

Однажды, раннимъ утромъ, спустившись со своего высоченнаго чердака внизъ, на уличный асфальтъ, профессоръ увидѣлъ обычное зрѣлище, которое онъ привыкъ созерцать каждый день: У выхода изъ дома, какъ всегда, стоялъ высокій, вмѣстительный автомобиль около заранѣ выставленныхъ консержками цинковыхъ кубовъ со всякимъ накопившимся за сутки домашнимъ мусоромъ. Трое бойкихъ оверлицевъ ловко подхватывали эти кубы и опоражнивали ихъ въ автомобиль. И вдругъ Симоновъ услышалъ громкій веселый голосъ оверньята:

— Эй, Жанета. Держи.

Тутъ только увидѣлъ профессоръ маленькую фигурку дѣвочки, до сихъ поръ заслоненную бокомъ машины. Жаннета искусно поймала на лету небольшой сѣрый предметъ, брошенный для нее. Это былъ уже сильно поношенный плюшевый медвѣжонокъ, съ наивной, удивленной мордочкой.

— Благодарю, господинъ Антуанъ, — крикнула радостно Жанета.

А Симоновъ подумалъ: — такъ вотъ откуда у нея въ дѣтской колясочкѣ такая богатая коллекція старыхъ, потрепанныхъ игрушекъ. Изъ ордюровъ, а по русски говоря — изъ помоекъ. Чертъ возьми, вѣдь эти чаны самое удобное гнѣздилище всевозможныхъ бациллъ и бактерій. Здѣсь захватить опасную инфекционную болѣзнь — одна секунда. Почему мать Жанеты такая россобаха. О чемъ думать городская полиція. Чѣмъ занять санитарный надзоръ. Обратиться къ Жаветиной матери съ предупрежденіями и увѣщаніями профессоръ не отваживался, давно узнавши ея деспотичную властность и крутую самостоятельность по отношенію къ дочери. Смѣшно и нелѣпо было бы также рекомендовать людямъ, занятымъ чистотою и здоровьемъ громаднаго города, чтобы они слѣдили за гигиеническимъ поведеніемъ и за чистоплотностью каждой бойкой и рѣзвой парижской дѣвочки семи лѣтъ. Это — дѣло матерей и школы. Но изобрѣтательный умъ профес-

сора выдумаль уловку — безвредную для Жанеты и пріятную для него самого.

Одинъ изъ мусорщиковъ, господинъ Антуанъ, похожій наружностью на грузина, а характеромъ на русскаго ярославца, былъ съ нимъ въ дружбѣ. Они посѣщали одно и то же быстро госпожи Бюссакъ и уже много разъ успѣли сыграть въ беллотъ и угощали одинъ другого очередными турами краснаго вина. У Симонова съ давнихъ поръ былъ даръ ладить съ простыми рабочими людьми. Однажды, допивая свой стаканъ розоваго вина, профессоръ сказалъ:

— А, кстати, господинъ Антуанъ, у меня къ вамъ маленькая просьба.

— Къ вашимъ услугамъ, мосье.

— Видите ли... Маленькая Жнаета — очаровательная дѣвочка... прелестная, но ея почтенная мамаша ужасно строга къ ней. Никогда не сдѣлаетъ ей какого-нибудь дѣтскаго удовольствія и ни за что не позволяетъ подарить дѣвочкѣ хотя бы самую невинную, самую пустяшную бездѣлушку.

— О, господинъ, — возражаетъ серьезнымъ тономъ Антуанъ. — Мы, французы, мы очень любимъ нашихъ дѣтей и мы никогда не поймемъ, съ какой стати иностранецъ, хотя бы жантильомъ, вдругъ станетъ дарить нашимъ дѣтямъ игрушки. Что у него на умѣ. Откуда такой странный капризъ. Развѣ у иностранцевъ нѣтъ своихъ собственныхъ дѣтей.

Профессоръ вздыхаетъ.

— Ахъ, господинъ Антуанъ, у меня было двое дѣтей, двѣ дѣвочки. Но теперь ихъ нѣтъ, и я никогда уже больше ихъ не увижу. Понимаете ли вы эту тоску по дѣтямъ. Одинъ великій философъ сказалъ какъ-то: «природа не терпитъ пустоты». Отсюда и моя чистая, святая любовь, моя отцовская привязанность къ Жанетѣ. Будь я богатымъ человѣкомъ, я бы обставилъ жизнь Жанеты и ея матери прекрасными комфортабельными условіями, даль

бы дѣвочкѣ превосходное образованіе, сдѣлать бы каждый день ея существованія на свѣтѣ радостнымъ и полезнымъ для нея и для окружающихъ ее людей. Но что же я, бѣдный дьяволъ, могу теперь для нея сдѣлать, только подарить ей кое-когда дешевую игрушку.

Господинъ Антуанъ растроганъ словами профессора и особенно его теплымъ печальнымъ, душевнымъ тономъ.

— Чѣмъ же я могу помочь вамъ, мой бѣдный другъ.

Профессоръ оживаетъ.

— О! господинъ Антуанъ, совсѣмъ невиннымъ пустякомъ. Я видѣлъ какъ-то: вы бросили Жанетъ съ вашего камина плюшеваго медвѣженка. Онъ былъ уже старый, потрепанный, инвалидный, но я видѣлъ, какимъ восторгомъ заблестали глаза Жанеты. Вотъ и все. Такъ позвольте я когда-нибудь принесу вамъ какую-нибудь неважную дѣтскую бездѣлицу, а вы, ничего не говоря, бросьте ее Жанетѣ, и я тоже общаю вамъ никому объ этомъ и никогда не говорить. Пусть тайна останется между нами двумя.

Въ душу каждаго француза, даже дѣловаго оверньята, вложена небольшая доза сентиментальности, когда дѣло коснется дѣтей.

— О, — говоритъ оверньятъ, хлопая Симонова по плечу. — Конечно, мнѣ это не доставитъ никакого труда. Я въ вашемъ распоряженіи.

Еще задолго до ужасной войны и до послѣдовавшей за нею принудительной эмиграціи, Симоновъ зналъ поверхностно Парижъ, восхищаясь имъ въ недолгіе наѣзды. Теперь, проживъ въ столицѣ міра почти десять лѣтъ, онъ не устаетъ все больше изумляться ею: ея жизненной могучей силой, ея радостнымъ, всегда молодымъ, темпомъ, ея любовью къ зрѣлищамъ, къ острому слову, къ изяществу во всѣхъ отрасляхъ жизни, чудесной законченностью во всѣхъ дѣлахъ, изобрѣтеніяхъ и творческихъ произведеніяхъ. Чего только не подарилъ Парижъ всему свѣту. Самый блистательный, самый роскошный, самый могуще-

ственный и самый абсолютный монархизмъ и самыя кровавыя, самыя непреоборимыя революціи; мудрость Паскаля и оперетку Оффенбаха, смѣхъ Рабле и язвительную иронию Вольтера, тонкіе афоризмы мыслителей и прекрасное въ своей грубости историческое слово Камбронна, удивительнѣйшіе духи знаменитыхъ парфюмеровъ и мудрую книгу Суварена: «Физиологія вкуса».

Въ продолженіе многихъ столѣтій Парижъ былъ всѣми признаннымъ царемъ, владыкою женскихъ модъ, и останется на этомъ тронѣ еще на много вѣковъ, какъ останется впереди прочихъ народовъ въ областяхъ математики, химіи, физики, строительства, юриспруденціи, медицины, инженерныхъ искусствъ и всѣхъ прочихъ наукъ и искусствъ.

Марка Парижа — это пропускной билетъ въ храмъ славы и безсмертія. Это знаютъ не только ученые, не только знаменитые писатели, художники, скульпторы, композиторы, музыканты, пѣвцы, но и престижитаторы, Вантерлоки, жокеи, клоуны, сальтимбанки и предсказатели. Парижъ скуповать на денежные глупыя подношенія, но его апплодисменты звучать на весь земной шаръ. И какъ благородно хранить Парижъ память о тѣхъ, кто при жизни удостоился сдѣлаться его любимцемъ. Врядъ ли есть во всемъ мірѣ другой городъ, въ которомъ съ парижской роскошью были бы увѣковѣчены въ статуяхъ и въ наименованіяхъ улицъ великіе люди, ушедшіе изъ жизни. Воистину Парижъ свѣточъ и столица міра.

Но особенно сильно плѣняло и восхищало Симонова народное кустарное, наивное творчество французовъ. Онъ никогда не пропускалъ хозяйственныхъ выставокъ въ память парижскаго префекта Лепина и заслушивался изумительнымъ краснорѣчіемъ уличныхъ шарлатановъ, которые при помощи слова и жеста умѣли втереть прохожему самую пустяшную и никуда негодную вещь. Также доставляло ему большое и чисто мальчишеское удовольствіе ходить по большимъ бульварамъ въ тѣ погожіе часы, когда

тамъ безвѣстные изобрѣтатели и мастера продавали дѣтскія игрушки, всегда новыя, всегда забавныя, всегда заманчивыя и остроумныя. Вѣдь только здѣсь, въ невольномъ и тяжкомъ изгнаніи, онъ понялъ, что почти всѣ милая и любимыя игрушки его ранняго московскаго дѣтства круговымъ путемъ приходили изъ Парижа: и бильбоке — игра садовая, и американскій чертикъ, разноцвѣтные воздушные шары, и скрипучіе кри-кри, запрещенные потомъ оберъ-полицейстеромъ Огаревымъ. А парижскіе кустари выдѣлываютъ, да выдѣлываютъ все новыя, да новыя, игрушки, забавляющія взрослыхъ и дѣтей, стариковъ и старухъ, дѣвочекъ и мальчиковъ. Какая веселая изобрѣтательность и какое знаніе сегодняшней моды. Стали парижскія дамы увлекаться фоксъ-терьерами — на бульварахъ тотчасъ же появляются крошечные фоксы изъ лайки, плюша, фланели и даже бархата. Вошли въ моду мохнатые айришь-терьеры — и уже на большихъ бульварахъ продаются сотни этихъ добродушныхъ, симпатичныхъ собаченокъ, которыя и живыми кажутся, будто онъ наспѣхъ, неумѣлыми дѣтскими руками, сдѣланы изъ ваты, пуха и домашнихъ мелкихъ лоскутковъ. Потомъ пришла очередь Микэ, не то мышать, не то морскихъ свинокъ, не то кроликовъ. Эти Микэ раньше до слезъ смѣшили ребятишекъ, выходя въ антрактахъ кинематографовъ на экранѣ, но потомъ ихъ потѣшный образъ былъ перелицованъ въ маленькія игрушки, которыя и смѣшили по-прежнему, и вскорѣ оказались отличными портъ-бонерами. Большой успѣхъ имѣли растягивающіяся и сжимающіяся игрушки ё-ё, но успѣхъ ихъ оказался недолгимъ — мѣсяцевъ пять-шесть, а потомъ онъ исчезъ. Но бываютъ игрушки-счастливицы, на которыя не вліяютъ ни моды, ни время, ни капризы покупателей, и которыя въ спросѣ постоянно: десятками, если не сотнями лѣтъ. Тутъ либо ворожба, либо умно схваченный вкусъ всѣхъ дѣтей одного и того же возраста. Это, во-первыхъ, два картонные борца, которые прекрасно изображаютъ на столѣ всѣ перипетіи римско-

французской борьбы, будучи незримо привязаны к тончайшей ниточкѣ, управляемой игрушечникомъ. Затѣмъ утка, кричающая при нажимѣ на весь базаръ, и наконецъ, жуки, мухи, стрекозы, пчелы и прочая тваришка, которая сама движется отъ пружиннаго завода. И, двигаясь, дребезжить. Конечно, такая игрушка можетъ прожить нѣсколько человѣческихъ поколѣній, если солидный папа вынимаетъ ее въ праздничный день изъ стекляннаго футляра и осторожно заводитъ, отнюдь не перекручивая заводъ, а послѣ того, какъ кукла исполнила свой номеръ, осторожно запираетъ ее въ тотъ же футляръ, гдѣ она пролежитъ мирно до слѣдующаго большого праздника. Но куда же мы тогда дѣнемъ невинное дѣтское любопытство и присущее дѣтямъ научное влеченіе ко всѣмъ механизмамъ?



На другой же день послѣ своего сентиментальнаго разговора съ оверньятюмъ Антуаномъ, Симоновъ пошелъ на большіе бульвары. Предварительно онъ слѣлалъ строгій учетъ своей денежной кассѣ. Наличными оказалось 11 франковъ 75 сантимовъ. Черному коту Пятницѣ печенку не покупать, въ виду его безвѣснаго отсутствія. Это — плюсъ. Старые мозеровскіе часы можно было бы продать или заложить. Ходъ у нихъ, какъ у судового хронометра. Но кто же польстится на древніе серебряные, да еще пожелтѣвшіе за долгую службу часишки? Взять авансъ на одномъ изъ уроковъ? Спросятъ: зачѣмъ понадобилось? А не умѣю я ни лгать, ни кривить умильно подобострастнаго лица. Обойдусь иначе.. Да вотъ, на что лучше. Пробные опыты вегетаріанства, какъ лучшаго стимула физическаго и духовнаго возрожденія. Это — идетъ. Полфунта бѣлаго хлѣба, немножко черстваго, стоитъ 50 сантимовъ и хватаетъ на два дня. Теперь вопросъ въ питательныхъ вещахъ и въ витаминахъ. Хорошъ геркулесъ,



не дурна овсянка, хвалить квакеръ и пориджъ. Надо изъ нихъ выбрать что посытнѣе и подешевле. Чай у меня спитой, но былъ въ употребленіи только одинъ разъ и потому смѣло послужить еще разъ на пять-шесть. Право, все въ порядкѣ!



На большихъ бульварахъ, какъ всегда, было много продавцевъ игрушекъ, пропасть покупателей и еще больше праздныхъ зѣвакъ. Симонову трудно было выбирать. Что казалось хорошимъ, было дорого, а дешевыя вещицы были скучны, не интересны.

На Итальянскомъ бульварѣ профессоръ вдругъ наткнулся на игрушку, которая показалась ему и новой, и занимательной, и красивой. На лѣвой рукѣ продавца, подмышкой у него, сидитъ крошечный веселый фоксъ-террьерчикъ, трудно сказать — щенокъ или уродецъ или лилипутъ. Онъ необычайно малъ и милъ. Глазки его задорно блестятъ, миниатюрныя лапочки, вытѣзшія наружу, находятся въ непрерывномъ движеніи. — Ну что за прелестный песикъ, — думаетъ профессоръ и тутъ только замѣчаетъ, что фоксъ-террьеръ сдѣланъ изъ какой-то бѣлой матеріи, глаза — изъ литаго стекла, лапочки его заставляютъ двигаться какимъ-то образомъ хозяинъ. Но не одинъ профессоръ поддается этой ловкой иллюзіи. То и дѣло у лотка восклицаютъ не только мужчины, но и болѣе ихъ проникательныя женщины:

— Ахъ, какая прелестная собачка! Можно подумать, что въ самомъ дѣлѣ игрушечная. Но кто же сумѣлъ вырастить такую мелкую породу? Удивительно, до чего теперь доходить всякое искусство! Ахъ! какъ онъ на меня сейчасъ поглядѣлъ. Ну просто не собака, а человѣкъ.

Симоновъ съ унылой безнадежностью спрашиваетъ сипло. — Сколько?

— Десять франковъ девяносто сантимовъ.

Симоновъ долго и молча стоитъ, пришибленный своей проклятой бѣдностью. У него налицо всего 11 франковъ 75 сантимовъ. Если одинъ франкъ удержать у себя на всю грядущую массу расходовъ, то, увы, на попку фоксика все-таки не хватаетъ трехъ су.

— Три су, — кричить въ молчаливомъ отчаяніи профессоръ къ небу, — только три су! Найти бы ихъ хоть на землѣ. Онъ нагибается до самаго тротуара. Здоровенный, чеканки Наполеона III-го «гро-су» лежитъ на землѣ. Профессоръ почти не удивляется. Увы! еще одного пти-су нѣтъ, одного су, на который теперь во Франціи нельзя купить, кромѣ пустой аптечной облатки, ничего.

Но хозяинъ очаровательнаго фоксика добродушно говоритъ:

— Оставьте, не затрудняйте себя. Всего одно су — какой пустякъ! Вы лучше посмотрите, какъ надо управлять собачкой. Одинъ палецъ сюда, другой сюда, а несуществующее туловище вы какъ бы прикрываете рукою. Благодарю васъ, мосье, я чувствую, что у васъ легкая рука.

На другой день, раннимъ утромъ овернуть Антуанъ какъ бы случайно находить въ своемъ емкомъ каміонѣ эту великолѣпную игрушку и дарить ее Жанетѣ, показавъ сначала всѣ чудесныя движенія веселаго, ласковаго песика. Игрушка имѣетъ во всемъ кварталѣ поразительный успѣхъ. Всѣ друзья и подружки Жанеты цѣлый день наполняютъ улицы, переулки и тупики восторженнымъ визгомъ и неистовыми криками:

— О, Жанета, позволь и мнѣ подержать на минуту твою волшебную собачку! Милая Жанета, а она умѣетъ лаять? Какъ ее зовутъ, Жанета? А можно ее погладить, Жанета? Ахъ, какая ты счастливая, Жанета!

Жанета добра и великодушна. Къ тому же ея радость такъ чрезмѣрно велика, что можно въ ней захлебнуться, если не подѣлишься съ другими. Она за сто шаговъ увидела Симонова и помчалась къ нему, какъ ласточка: — Господинъ профессоръ! О мой дорогой господинъ про-

фессоръ! Посмотрите, какая у меня восхитительная вещичка. Видали ли вы когда-нибудь что-нибудь подобное?

Профессоръ сдѣлалъ удивленно-серьезное лицо.

— Нѣтъ, милая Жанета, никогда не видѣлъ. Это — настоящее чудо. Въ томъ, что собачка — фоксъ-террьеръ, можно не сомнѣваться по всей ея наружности, но я увѣренъ въ томъ, что такой малюсенькой собачки никто еще на свѣтѣ не видывалъ. Это либо англичане, либо японцы, могли вырастить такую рѣдкостную породу. Ты ее чѣмъ кормишь, Жанета?

Тутъ дѣвочка раздражается звонкимъ хохотомъ. — Да вѣдь она не настоящая, не живая. Она неодушевленная. Она сдѣлана изъ какой-то матеріи, у нея даже нѣтъ живота и она не дышетъ.

— Удивительно! — говоритъ профессоръ. — Глаза у нея совсѣмъ живые, а мордочка превыразительная. Откуда ты ее взяла, Жанета?

— Мнѣ подарили. Господинъ Антуанъ подарилъ, который по утрамъ мусоръ собираетъ.

— Ну что же, подарокъ забавный, — хвалить Симонъ, — ты его береги.

\*  
\*\*

Вѣскій, времянь Наполеона III-го, десятисантимный гро-су, который съ такой увѣренностью нашелъ Симонъ на тротуарѣ Итальянскаго бульвара, завязалъ въ мозгу и въ памяти профессора цѣлый клубокъ мыслей, воспоминаній и отважныхъ идей. Сидѣнье на овсяномъ супѣ и на спитомъ чаѣ только поощряли изобрѣтательность и энергію ума.

Вотъ здѣсь, въ Пасси, — думалъ онъ, — близко, стоитъ рукой подать, находится Булонскій лѣсъ, резервуаръ свѣжаго воздуха, съ громаднымъ скаковымъ ипподромомъ, съ двумя озерами, по которымъ плаваютъ ручныя птицы и гдѣ можно кататься на лодкахъ. Этотъ Булонскій

лѣсъ вовсе еще не лѣсъ, а хорошо воздѣланный паркъ. Но, если пойти вглубь, по направленію къ Лоншану, то можно забрести въ настоящую лѣсную чащобу, гдѣ иногда выбѣгаютъ къ людямъ стайки граціозныхъ, пугливыхъ дикихъ козочекъ, исчезающихъ мигомъ при недовкомъ движеніи, при рѣзкомъ звукѣ. А въ другую сторону Булонскаго лѣса — зоологическій садъ. Слоны, медвѣди, гіены, моржи и тюлени, фламинго и марабу, обезьяны и всякая дикая живность. Недалеко отъ Булонскаго лѣса — Трокадеро съ интереснымъ акваріумомъ, съ богатымъ музеемъ, съ огромнымъ театромъ, гдѣ даются старыя, классическія, прекрасныя пьесы. Всего этого никогда еще не видѣла милая дѣвочка Жанета. Конечно, Симоновъ и подумать не смѣетъ о систематическомъ образованіи и воспитаніи чумазой Жанеты. Куда ему! Въ свое время она пройдетъ материнскую школу, потомъ коммунальную, потомъ — недорогой лицей, въ которомъ научится немного грамматикѣ, немножко литературѣ, немножко физикѣ и химіи, немножко математикѣ, немножко исторіи и географіи — все для того, чтобы не быть круглой невѣждой. А потомъ, если окажется даръ Божій, то кто же помѣшаетъ ей сдѣлаться новой Жоржъ Зандъ или новой мадамъ Кюри? Но профессоръ умомъ, чутьемъ, инстинктомъ знаетъ и вѣруетъ въ то, что первичныя дѣтскія впечатлѣнія входятъ въ воспримчивыя души младенцевъ и ребятишекъ съ такой необычайной силой и съ такой стихійной мощью, которая не имѣютъ себѣ ничего равнаго въ міровомъ зданіи. Каждый свѣтъ и цвѣтъ, каждый фальшивый и музыкальный звукъ, каждый оттѣнокъ человѣческаго голоса. Каждый запахъ и каждое движеніе воздуха, каждый предметъ, къ которому сознательно или полусознательно прикасается будущій человѣкъ, каждое услышанное и сказанное слово, каждая мысль, слабо шевельнувшаяся въ несовершенномъ еще мозгу, каждое подобіе сна во снѣ, каждый атомъ пищи, проглоченный неумѣлымъ и жаднымъ ротомъ — всё эти явленія, образы и предметы идутъ на

созиданіе того могущественнаго зданія, которому имя человекъ и передъ которымъ все созданное людьми является жалкимъ ничтожествомъ. Да, — говоритъ самъ себѣ съ умиленіемъ профессоръ, — правы тѣ мудрые учителя, которые совѣтовали окружать ростъ младенца красотой и добромъ, ростъ ребенка — красотой и чистымъ воздухомъ, ростъ дитяти — красотой и первичными знаніями, ростъ отрока — красотой и физическимъ развитіемъ, ростъ юношей и дѣвъ — красотой и ученіемъ.

И профессоръ говоритъ дальше:

— Да, пусть Жанета ходитъ въ свою родную школу и учится чему хочетъ и можетъ на родномъ языкѣ, который всегда лучшая пища для ума, но почему же ей, подъ моимъ любящимъ руководствомъ, не научиться постигать безконечную красоту, доброту, богатство и прекрасную планомѣрность міра? — Здѣсь одна препона: властолюбивая, суевѣрная, недоувѣрчивая мать, хозяйка газетнаго кіоска. Но ничего. Таковую невинную забаву, какъ зоологическій садъ, явмарки или театръ, мы ужъ какъ-нибудь состряпаемъ. Недаромъ я человекъ хитрый, вродѣ сѣвероамериканскаго дикаря, на мамашу мы не станемъ дѣйствовать непосредственно и лично. Нѣтъ, какъ застрѣльщика, мы пустимъ впередъ ея ами, господина Огюста, лѣниваго и падкаго къ вину пломбье. Его просьбѣ влюбленная дама, конечно, не откажетъ. А, главное, — это, что всѣ расходы на воскресную прогулку я беру на себя. Это ли не макіавеллевскій пріемъ? А дружба съ пломбье давно уже началась и съ каждымъ днемъ становится крѣпче. Она несложна: пять-шесть партій въ беллотъ, во время которыхъ профессоръ будто бы не замѣчаетъ, что партнеръ его не прочь приписать на свой счетъ десять-пятнадцать туровъ краснаго вина или Перно, взятыхъ Симоновымъ какъ бы по ошибкѣ на себя, а особенно, искренняя, горячая любовь профессора къ Франціи и французамъ — вотъ узы этой прочной дружбы, на которую уповаешь хитрый старый эмигрантъ. Но есть и другое трудноодолимое, почти со-

всѣмъ неодолимое, препятствіе: деньги. Ихъ нѣтъ совсѣмъ и давно уже нѣтъ. Однако, профессоръ не унываетъ. Онъ не напрасно считаетъ себя счастливецемъ. Начиная отъ тѣхъ глубокихъ временъ, когда онъ началъ сознательно помнить себя, всѣ его серьезныя желанія исполнялись. Исполнялись порою цѣликомъ, порою въ половину, а чаще въ пятую или десятую долю, но все-таки исполнялись. Помнится ему, какъ еще до поступленія въ приготовишки, жилъ онъ съ родителями въ Москвѣ на Прѣснѣ, въ деревянномъ домѣ, большой дворъ котораго былъ настоящимъ ристалищемъ для благородной игры въ бабки. И вотъ малышу Колькѣ во что бы то ни стало захотѣлось выиграть бабку-свинчатку, взявъ ее съ боя. Конечно, такую свинчатку было легко и возможно купить, самому сдѣлать или заказать литейщику, но такая бабка не имѣла почета и не внушала уваженія. Цѣнилась только бабка свинчатка-битка, которая имѣла бы свою батальную исторію, подтверждаемую свидѣтельствомъ знаменитѣйшихъ въ кварталѣ игроковъ. Добыть такую свинчатку бывало нелегко: требовалось развить столько то коновъ и выбить столько то свинчатокъ, играя съ партнерами наивысочайшихъ качествъ. И Симоновъ выслужилъ-таки свою знаменитую свинчатку. Правда, черезъ годъ, будучи уже въ первомъ классѣ гимназіи и перейдя черезъ великое испытаніе.

Потомъ, уже во второмъ классѣ гимназіи, его страстно повлекло желаніе попасть въ гимназическій церковный хоръ. Это удалось не скоро и пришло къ Симонову лишь тогда, когда его сильный теноринко переломился въ пріятный баритонъ. То же было съ умѣніемъ плавать, съ верховой ѣздой, съ первымъ застрѣленнымъ зайцемъ, съ первой робкой наивной любовью, съ первой лекціей, съ первой вышедшей въ свѣтъ книгой. Правда, съ годами, профессоръ сталъ замѣчать, что сила желанія и послушность ему судьбы живучи только въ юности, немного устаютъ въ молодости, слабѣютъ въ зрѣломъ возрастѣ, а затѣмъ,

хотя и повинуются, но какъ-то спотыкливо и неуверенно, но все-таки повинуются. Въ Парижѣ, въ дурные дни, онъ нашелъ на улицѣ одинъ разъ пять франковъ, а въ другой — два. Да, вотъ, и недавній случай на Итальянскомъ Бульварѣ. Развѣ не по его желанію нашелся на землѣ этотъ толстый гро-су? Надо только собрать въ комокъ волю и напречь желаніе.

Всю ночь лиль сплошной дождь. Утро проснулось теплое и туманное, солнце скрывалось въ густыхъ лѣтнихъ тучахъ.

Какъ всегда, профессоръ рано скатился со своего чердачка на улицу. Мусорщики уже начали свою работу. Вспомнилась Жанета, принцесса четырехъ улицъ, и сердце заколотилось и заняло отъ непонятной жалости. Навстрѣчу Симонову шелъ его старый другъ художникъ.

— Добрый день, господинъ профессоръ!

— Добрый день, Иванъ Ивановичъ. Что же, пойдѣмъ въ Буа де Булонскій лѣсъ?

— Пойдемъ.

Они пошли далеко за ипподромъ, вдоль наружнаго озера до паромнаго перевоза на другую сторону. Художникъ выбранилъ политику Германіи и предсказывалъ близость ужасной войны, размѣровъ и жестокости которой не можетъ представить себѣ человѣческое воображеніе.

Такъ они дошли до той бухточки, гдѣ стояли лодки, отдаваемые на прокатъ. Впереди ихъ ждало странное зрѣлище. Лебеди сгрудились на водѣ въ густомъ туманѣ. Странно: перспектива совсѣмъ пропала, точно исчезла, осталась лишь плоскость. Отъ этого птицы казались нарисованными или вѣрнѣе, нанизанными на невидимыя ниточки и поставленными параллельно.

— Что за чертъ! — воскликнулъ неприятно удивленный профессоръ. — Кажется, весь міръ сплюснулся?

— Это ничего, — пояснилъ художникъ, — это только абберрація зрѣнія, то самое, что бываетъ на корабляхъ и

въ пустыняхъ. Сейчасъ взойдетъ солнце и все станетъ на свои мѣста, указанныя Господомъ Богомъ.

И дѣйствительно, художникъ былъ правъ. Туманъ скоро осѣлъ, предметамъ вернулось ихъ тѣло. Друзья пошли обратно. Художникъ вдругъ по дорогѣ сказалъ:

— Я чуть не забылъ съ этими туманными превращеніями, что пришелъ къ вамъ по дѣлу. Помните вашу старинную картинку по дереву?

Симоновъ напрягъ память и вспомнилъ. Рѣчь шла о художественной маленькой всцицѣ, которая множество лѣтъ ваялась въ родовомъ новгородскомъ домѣ Симоновыхъ и которую профессоръ почему-то вывезъ съ собою въ Парижъ. Она въ темныхъ тонахъ изображала древнюю голландскую или фламандскую харчевню, съ молодымъ въ мѣдномъ шлемѣ, съ роскошно-тѣлой, полуголой женщиной, съ бѣлой собакой и съ мальчуганомъ, дѣлающимъ въ уголь то же, что и брюссельскій Манекень-пись. Когда то, очень давно, профессоръ далъ эту вещь художнику съ просьбой узнать ея автора и приблизительную стоимость. Онъ сказалъ:

— Помню. И что же?

— Это не Теньерь, какъ я предполагалъ, а Тенирсъ, любимый ученикъ Теньера. Что любимый — видно изъ того, что онъ далъ ему какъ бы частицу своего имени. Вещь хорошая. Если наскоро ее продавать въ магазинахъ обже д'аръ, дадутъ тысячъ восемь-десять. Съ любителя можно свободно взять двадцать, а со знатока и тридцать. И все. И моя миссія окончена.

— Я обѣщаль дать вамъ куртажныя, — мягко сказалъ Симоновъ.

— Эхъ, бросьте глупости городить, — отвѣтилъ художникъ. — Вы обѣщали, а я этого обѣщанія и слышать не хотѣлъ. Съѣдимъ когда-нибудь ляпэна или барашка съ чесночкомъ въ кабачкѣ у мадамъ Бюссакъ и запьемъ ихъ шопиномъ краснаго орднера, и баста. Квиты.

Они поднимаются по перекидному мосту и по нему же



спускаются на другую сторону, внизъ, прямо къ давно знакомому кіоску. Профессоръ идетъ первымъ... Художникъ вдругъ съ удивленіемъ слышитъ его тревожный возгласъ:

— Господи! гдѣ же кіоскъ? Что же случилось съ кіоскомъ?

Легкій художникъ горошкомъ скатывается внизъ и застаётъ профессора съ руками, вздѣтыми къ небу. Журнальная лавка полупуста и полуразрушена, повсюду пыль, грязь, клочья бумаги, обрывки веревокъ и шпагата, и вокругъ тѣснятся чужіе, незнакомые люди, похожіе на погромщиковъ. Профессоръ ничего не понимаетъ, но сердце у него холодѣетъ и сжимается отъ дурного предчувствія. Незнакомые громы внушаютъ ему суевѣрный страхъ. Онъ идетъ въ бистро мадамъ Бюссакъ.

— Мадамъ, что такое случилось съ кіоскомъ? Неужели какое-нибудь несчастіе?

Госпожа Бюссакъ — истинная староста Пасси. Она всегда и все знаетъ раньше другихъ.

— О, ничего особеннаго, г. профессоръ. Успокойтесь.

И тутъ она подробно рассказываетъ Симонову всю суть кіоскаго происшествія.

Мать Жанеты своего газетнаго дѣла никогда не любила; никогда не хотѣла и не умѣла его вести. И вотъ теперь представился ей очень выгодный случай раздѣлаться со своимъ кіоскомъ. Вчера вечеромъ она окончила сдачу своего дѣла новымъ владѣльцамъ и поѣхала на вокзалъ съ Жанетой и съ господиномъ Огюстомъ. Ни для кого не были тайной ихъ отношенія, но теперь они устраиваются, какъ настоящіе буржуа. Мать Жанеты получила на дняхъ кругленькое наслѣдство у себя въ Лангедокъ, или, кажется, въ Бретани, а г. Огюстъ получаетъ тамъ же солидное мѣсто на большомъ заводѣ. Конечно, прибывъ къ себѣ въ скучный Лангедокъ, они немедленно обвѣнчаются, сначала въ меріи, а потомъ въ церкви. — Ну, что же, г. профессоръ, пожелаемъ имъ добраго пути и счастливаго брака, — сказала г-жа Бюссакъ.

— Пожелаемъ. Дай Богъ, — сказалъ профессоръ. — Ахъ, какъ мила была ея дочка Жанета.

— О, да. Славная дѣвочка.

Густой туманъ, спустившійся на Парижъ, стоялъ до вечера. Симоновъ вернулся домой поздно. Внезапное исчезновеніе Жанеты и тяжелая погода совсѣмъ его раздавили. Онъ сидѣлъ въ темнотѣ, безъ огня, и безучастно перебиралъ невеселыя, сѣрыя мысли. Въ первый разъ за всю жизнь ощущалъ онъ тихую тоску.

Полилъ крупный рѣдкій дождь и забарабанилъ по желѣзному козырьку. — Вотъ и дождь идетъ, — подумалъ профессоръ равнодушно, — а зимой, можетъ быть, и снѣгъ пойдетъ... Все законно...

Въ эту минуту крыша выгибается съ желѣзнымъ грохотомъ, кто-то царапается въ стекло.

— Кто тамъ? — кричитъ профессоръ, — и не дождавшись отвѣта, открываетъ окно. Мягкій, тяжелый клубокъ падаетъ на полъ. Симоновъ зажигаетъ огонь и нагибается. — Пятница! — восклицаетъ онъ съ удивленіемъ и радостью. — Это ты, Пятница? — Котъ прыгаетъ ему на колѣни и начинаетъ безконечную мурчащую, рокошущую лѣсню. Тутъ только Симоновъ съ ужасомъ замѣчаетъ, какіе жестокіе слѣды оставили на его вѣрномъ другѣ Пятницѣ два протекшихъ года: онъ хромаетъ на правую переднюю и на лѣвую заднюю ноги; на всемъ тѣлѣ слѣды вырванныхъ клочьевъ шерсти; на мордѣ еще не зажившія глубокія царапины.

— Срамникъ ты, Пятница, — говоритъ, вздыхая, профессоръ. — Впрочемъ, оба мы хороши.

Котъ зѣваетъ во всю пасть, показывая весь красный шершавый языкъ, и громко требуетъ: — мняу, мняу... — я голоденъ, какъ собака.

Молча надѣваетъ профессоръ свою непромокаемую разлетайку и бѣжитъ по дождю въ бистро мадамъ Бюсакъ за остатками говядины и молока.

А. Купринъ.

# Домъ въ Пасси

Романъ \*).

.....

## МЕЛЬХИСЕДЕКЪ.

Кролики попрыгивали въ саду. Кудахтали куры. Мопзieur Жаненъ, старенькій, худенькій, въ туфляхъ и заношенномъ рединготѣ окапываетъ кустъ крыжовника. Каштаны одѣваютъ зеленѣющей, струящеюся тѣнью крышу его дома и его куръ въ клѣткахъ, и его жену съ бархоткой на шеѣ. Каштаны зацвѣли! Одинъ бѣлыми, пухлыми свѣчками, другой розовыми.

Къ генералу постучалъ почтальонъ. «Изъ Россіи!» — мелькнуло у Михаила Михайлыча, когда онъ увидалъ книгу расписокъ. И замерло сердце, въ сжатіи холодѣющемъ. Но письмо вовсе оказалось не изъ Россіи, а за краснорожимъ почтальономъ съ пропинаренными щеками появилась легкая сѣдая борода надъ монашеской рясой.

— А-а, милости прошу! Пожалуйста, о. Мельхиседекъ!

Въ маленькой прихожей произошла толчея: всѣ трое сгрудились у двери, и почтальонъ немало удивился, когда одинъ старикъ, въ поношенной военной гимнастеркѣ, сложилъ руки лодочкой, подходя къ другому въ рясѣ, и поцѣловалъ ему руку. А тотъ его въ високъ. Нигдѣ въ почтовыхъ отдѣленіяхъ, ни въ бистро не видалъ Жанъ Лакруа такихъ странныхъ привѣтствій.

---

\*) См. «Соврем. Зап.» кн. 51 и 52.

Восенний старикъ не сразу нашель крестикъ против своей фамиліи, подписалъ и, сказавъ съ иностраннымъ выговоромъ: «attendez un moment» — сталъ шарить по карманамъ. Лакруа зналъ, что русскіе охотно даютъ на чай, даже невзрачные. Но тутъ вышла заминка — очевидно, не оказалось мелочи. Тогда старикъ въ рясѣ запустилъ руку въ свой карманъ, сказалъ что-то, и полтинникъ переѣхалъ къ почтальону.

— Спасибо, о. Мельхиседекъ, выручили. Радъ васъ видѣть, всегда радъ!

Мельхиседекъ перекрестился, вошелъ въ комнату.

— Давненько у васъ не былъ, Михаилъ Михайловичъ. По правдѣ говоря, и дѣлъ много, внѣ Парижа странствовать приходится.

Генераль вскрылъ ножичкомъ заказное письмо.

— Я оказался плохимъ вамъ помощникомъ, о. Мельхиседекъ: какъ, впрочемъ, и думалъ, да и васъ предупреждалъ. На подписномъ листѣ всего пятьдесятъ франковъ, отъ жильцовъ здѣшняго дома...

Мельхиседекъ поклонился.

— Сердечно благодарю. И отъ себя, и отъ лица братіи новооткрытаго Свято-Андреевскаго скита.

Генераль прочелъ письмо, улыбнулся.

— О. Мельхиседекъ, вы добрый вѣстникъ. Смотрите, въ письмѣ сто франковъ. Олимпиада Николаевна, дай Богъ ей здоровья... Ладно. Еще пять вамъ приписываю, на листъ. А скитъ, говорите, уже открыли? Ну, пожалуйста сюда, къ окошку.

Мельхиседекъ поблагодарилъ, сѣлъ въ небольшое креслице. Худыя свои руки сложилъ на колѣняхъ, слегка поигрывая пальцами.

— Открыли, Михаилъ Михайловичъ. О. Никифоръ уже геройствуетъ. Архіепископъ освятилъ.

— Такъ, такъ-съ, и великолѣпно. Поздравляю.

Мельхиседекъ помолчалъ.

— А вы какъ поживать изволите, Михаилъ Михайловичъ?

— Да ничего, ничего... Въ сущности, табаковатисто — но крѣплюсь, Машеньку жду.

Онъ прошелъ взадъ впередъ, слегка пощелкивая за спиной пальцами.

— Да, жду, продолжаю ждать. И такія мысли приходятъ: ну, дождусь, прѣдетъ она къ голодному отцу, да не знаю еще, гдѣ ее встрѣчу. За комнату третій мѣсяць не плачено. Пока терпятъ. Изъ-за прежняго. И что-же... еще на Машенькины плечи себя встаскивать?

— Вы этого никакъ не знаете. Мало-ли какъ можетъ обойтись.

— У Машеньки, ужъ, будто, все готово. Черезъ три недѣли обязательно. Да вотъ и сомнѣваться началъ. Тянуть и тянуть ее, анаемы...

— Сами знаете, что за страна. — А вѣдь я, — Мельхиседекъ опять улыбнулся выщвѣтшими, голубыми глазами: я вѣдь вамъ предложить хотѣлъ къ намъ съѣздить. Думаю: навѣрно ему нелегко, въ Парижѣ этомъ, въ городѣ-Вавилонѣ, а у насъ-бы пожили недѣльку-другую, вѣдь деревня, всего-то отсюда часъ ѣзды, и не дороже станеть, чѣмъ здѣсь по метро по этимъ околачиваться.

— Вы хитрый человекъ, о. Мельхиседекъ, я васъ давно вѣдь знаю.

— Гдѣ-же тутъ хитрость-то, Михаилъ Михайловичъ?

— Ну, ужъ я знаю...

Генераль замолчалъ. Мельхиседекъ смотрѣлъ въ окно на жаненовскіе каштаны.

— У насъ въ обители древнія дерева. Много этихъ постарше — и побольше. Одинъ дубъ — самъ святой сажалъ, говорятъ, основатель аббатства. И лѣсовъ кругомъ много. Тишина, благоуханіе... Намоленное мѣсто, Михаилъ Михайловичъ, сами увидите.

Генераль внезапно передъ нимъ остановился.

— Да, позвольте, и не договоришь. — Тутъ у насъ въ

домѣ еще одинъ благотворитель оказался, я и забылъ... А-а, ха-ха! Сейчасъ вамъ его доставлю. Этотъ посолднѣ меня. Его съ колокольнымъ звономъ встрѣчать...

И генераль быстро прошелъ въ переднюю, отворилъ дверь на лѣстницу, вышелъ.

Черезъ нѣсколько минутъ стоялъ онъ передъ Мельхиседекомъ съ Рафой. У того въ рукахъ была бумажка.

— Подписной листъ номеръ сорокъ третій. Позабыли, навѣрно, о Мельхиседекъ? Мы еще тогда смѣялись, а посмотрите-ка...

Рафа былъ нѣсколько смущенъ, но сдерживаемая гордость въ немъ чувствовалась. Онъ поднялъ черные свои глаза на Мелфхиседека.

— Я ѣздилъ въ Ниццу и жилъ тамъ у одной моей тети Фанни. Она позволила мнѣ собирать на вашъ... *couvent*. Я объяснялъ нашимъ дамочкамъ, что это на бѣдныхъ дѣтей, т. е. для сиротъ и еще разныхъ другихъ. Онѣ говорили, что если тамъ пріютъ для дѣтей, то онѣ согласны давать, и вотъ... — тутъ сто пятьдесятъ франковъ...

— Молодчина Рафаиль, — сказалъ генераль. — И мать обобралъ, и тетку, разныхъ бриджевыхъ дамъ. И самъ подписаль, изъ собственныхъ сбереженій. Какъ-же не съ колокольнымъ звономъ...

— Одна знакомая голландка, госпожа Стаэле, — продолжалъ Рафа уже совсѣмъ важно: — общала мнѣ вносить за какого-нибудь мальчика ежемѣсячно, если только ей пришлютъ фотографію всего... *établissement*, и портретъ ребенка, и его письмо.

— Какой славный мальчикъ! Милый мальчикъ, — сказалъ Мельхиседекъ, перекрестилъ Рафу и поцѣловалъ его въ лобъ. Потомъ взялъ за обѣ руки, и глядя прямо, продолжалъ тихо и очень серьезно: — ты помогъ и намъ, и такимъ-же мальчикамъ, какъ и ты самъ.

— У насъ, милый человекъ, уже десять живетъ ребятъ, да не такихъ, какъ ты. У тебя мама, она тебя любитъ, у тебя квартира, ты начинаешь учиться... Одѣтъ

хорошо. А наши дѣти — въ большинствѣ сироты, или попавшіе въ чужія семьи, иногда столько зла, горя, грубости уже видѣвшіе. Мы стараемся ихъ отогрѣть, просвѣтить, научить закону Господа Іисуса. Нашъ общій другъ Михаилъ Михайлычъ говоритъ, что тебя надо съ колокольнымъ звономъ встрѣчать: это шутка, но я дѣйствительно тебя очень благодарю.

Рафа слегка застыдился.

— А можно мнѣ было-бы посмотрѣть тѣхъ мальчиковъ?

— Отчего-же нельзя. Разумѣется, можно. Пріѣзжай съ Михаиломъ Михайлычемъ. Даже — разъ ужъ у тебя такія знакомства: просто нужно пріѣхать! Посмотришь, поговоришь съ какимъ нибудь мальчикомъ, чтобы онъ голландкѣ этой написалъ...

— Такъ что вы считаете, — вдругъ перебилъ генераль: — что я-то ужъ ѣду? Рѣшенное дѣло?

Мельхиседекъ мгновеніе помолчалъ. Потомъ поднялъ на него свои голубые, выцвѣтшіе глаза, сказалъ серьезно, почти съ нѣкоторой даже грустью:

— Думаю, Михаилъ Михайлычъ, что рѣшенное.

Генераль не отвѣтилъ. Рафа задумался — пустить-ли мама?



«Мельхиседекъ у насъ летательный», — говорилъ о немъ архіепископъ Игнатій. Архіепископъ, высокій, нестарый и плотный монахъ въ золотыхъ очкахъ, бывшій профессоръ догматическаго богословія, любилъ пошутить.

— О. Мельхиседекъ столь легокъ, что ему и аэроплана никакого не надо. Какъ нѣкое перышко по воздуху воспаряеть.

И давалъ ему порученія: съѣздить туда-то, наладить то-то, помирить одного съ другимъ. Мельхиседекъ запахивалъ ветхую свою рясу, расправлялъ серебряную бороду,

и дѣйствительно, поддуваемый вѣтеркомъ, какъ легкій парусникъ плылъ: нынче въ Гренобль, завтра въ новый скитъ Андрея Первозваннаго, а тамъ въ городишко сѣверной Франціи.

Теперь вызванъ онъ былъ въ Парижъ на нѣсколько дней, замѣнить іеромонаха Луку, навѣщающаго русскихъ въ больницахъ — да кстати провѣрить и всю организацію посѣщеній.

На этотъ разъ особо настойчиво потребовалъ генераль, чтобы онъ у него остановился.

— Я соглашаюсь ѣхать въ скитъ, но и вы должны прожить у меня эти дни.

Мельхиседекъ колебался.

— Да я, собственно, Михаилъ Михайлычъ, на Подворьѣ-бы.

Но генераль взялъ его за руки, крѣпко сжалъ.

— Прошу васъ. Когда вы тутъ... — на сердцѣ не такъ тяжело.

Мельхиседекъ смолкъ. Это «на сердцѣ тяжело» слышалъ онъ отъ сотенъ, кого за долгую жизнь исповѣдывалъ: вѣчная усталость, бремя, копотъ души.

И остался. Впрочемъ, онъ мало бывалъ собственно у генерала. День проводилъ въ разъѣздахъ, да въ госпиталяхъ сѣвера, юга, востока и запада Парижа. Чтобы не привлекать вниманія, надѣвалъ вмѣсто клобука шляпу. И худенькаго старичка съ бѣлою, провѣянною бородой можно было встрѣтить и въ Charité, и у Кошена, и въ Сальпетриеръ — какъ и въ уголку второго класса метро. Онъ возвращался подъ вечеръ усталый, иногда даже грустный.

— Миѣ въ Парижѣ вашемъ нелегко, — говорилъ генералу. — Тяжкій городъ. Не по миѣ. Душно. А вотъ Русь-то наша, одинокая, заброшенная, по больницамъ...

Онъ остановился, легкимъ прикосновеніемъ взялъ руку генерала — точно хотѣлъ погладить.



— Жалко всѣхъ, разумѣется. Сколько несчастій видишь...

Но черезъ минуту прибавилъ:

— А въ печаль нѣльзя впадать. Миѣ недавно архіепископъ разсказалъ про одного монаха, католическаго. Тринадцать лѣтъ съ прокаженными прожилъ, и самъ заразился. Умирая, написалъ въ послѣднемъ письмѣ: «будьте, говоритъ, всегда веселы, что бы ни случилось. Малѣйшее проявленіе печали миѣ всегда было тяжело — оно обидно Богу».

Генераль задумался.

— Это мудро выражено, о. Мельхиседекъ, и какъ все мудрое — трудно выполнимо. Отъ печали, воспоминаній, сожальній очень трудно избавиться.

— У насъ, въ монашествахъ, — тихо сказалъ Мельхиседекъ: первое правило — никакъ воспоминаніямъ не предаваться.

— Я не монахъ. Я не могу. Во миѣ все прежнее живеться, о. Мельхиседекъ, несмотря ни на какіе Парижи... Да и вы сами — я уже говорилъ вамъ — для меня часть этого прежняго.

— Значить, не все еще перемололось въ васъ, Михайль Михайловичъ.

...Мельхиседекъ хорошо дѣйствовалъ на генерала. Ему пріятно было, что этотъ сухенькій старичекъ къ вечеру какъ бы вплывалъ въ его квартирку, иногда усталый, иногда нѣтъ, но всегда ровный, чаще всего улыбающійся и привѣтливый. Генераль сшивалъ бисерныя половинки мѣшечковъ для баловъ. Разрисовывалъ яйца — выцарапывалъ, золотилъ и чернилъ узоры двуглаваго орла. На ночь раскладывалъ пасьянсъ. А въ прихожей Мельхиседекъ разбивалъ нехитрый свой шатеръ: всего-то тощій тюфячекъ. И становился на вечернее правило. Кромѣ всегдашнихъ именъ за кого молиться (съ жильцами дома въ Пасси), прибавились теперъ новыя: сведенный ревматизмомъ штурманъ Петровъ изъ Charité, капитанъ Кобозевъ изъ

Cochin — у этого туберкулезъ шейнаго позвонка — бо-  
ляе года лежитъ недвижно, безъ подушки.

О жильцахъ-же дома, за эти нѣсколько дней, тоже  
узналъ Мельхиседекъ кое-что новое.

\*

\*\*

— Конечно, — говорила Дора: Михаилъ Михайлычъ  
имѣеть большое на него вліяніе. Сама я, какъ вамъ извѣ-  
стно, не православная, но къ религіи отношусь терпимо.  
Вліяніе генерала считаю скорѣй даже хорошимъ — но  
согласитесь, о. Мельхиседекъ, что вѣдь это случайность;  
пожалуй, даже, и странность... Рафа, конечно, попадетъ во  
французскую школу, гдѣ все это совершенно не къ чему.  
Вотъ и сейчасъ: ему очень хочется съѣздить съ вами и  
Михаиломъ Михайлычемъ въ этотъ скитъ... Отчасти, я ни-  
чего и не имѣю: генерала уважаю, о васъ много слышала,  
и увѣрена, что ничего плохого для Рафы отъ поѣздки въ  
деревню не будетъ.

Дора произносила слова связно и покойно. Они имѣ-  
ли опредѣленный смыслъ, но жили отъ нея отдѣльно.

Мельхиседекъ тихо сидѣлъ на кончикѣ стула.

— Можетъ быть, его даже поразятъ поэтическія сто-  
роны вашихъ службъ, но для чего ему, скажите пожалуйста-  
ста, все это въ лицѣ Жансонъ, куда осенью онъ поступа-  
етъ?

«И у этой женщины тайныя скорби», подумалъ Мель-  
хиседекъ. «На умѣ одно, въ сердцѣ другое — тяжесть».

Когда она смолкла, онъ поднялъ на нее глаза.

— Уважаемая Дора Львовна, я вѣдь никакъ не настан-  
ваю. Первое — хотѣлъ просто васъ поблагодарить за под-  
держку дѣтей нашихъ, а второе, — я думаю, на такую по-  
ѣзду можно бы смотрѣть просто какъ на прогулку въ  
деревню.

— Ахъ, ну да, разумѣется...

— Позвольте спросить, — сказала вдругъ Мельхиседекъ: — у васъ есть, вѣдь, кажется, мужъ въ Россію?

— Да. А... что?

— Нѣтъ, ничего. Такъ это мнѣ въ голову зашло. Все, знаете, теперь такое неустроенное... Рафаиль, стало быть, отца почти и не помнить?

— Мы съ мужемъ давно не вмѣстѣ.

Дора встала, подошла къ окну. Солнце заливалó каштаны. Розовыя свѣчи еще держались, бѣлыя уже облетѣли. Филемонъ и Бавкида, подъ зелеными волнами тѣни, возились со своими курами, крыжовниками. «Все сложилось, конечно, неправильно и горько. Но я никого не должна винить. Если-бы я была Достоевская дѣвушка, то устраивала-бы сцены и истерики. Но я не истеричка. И отлично понимаю, что когда тебя не любятъ, то никакой силой не заставишь полюбить. Истерики бессмысленны. Да и развѣ онъ виноватъ? Слабый, несчастный человѣкъ. Но любить никого, вѣроятно, не можетъ. Онъ вѣчно подпадаетъ своей чувственности и беззащитенъ отъ нея».

Кто-то невидимый взялъ нѣсколько быстрыхъ воздушныхъ нотъ. Въ паузѣ этой слышалъ-ли ихъ Мельхиседекъ? Дорино сердце онѣ пронзили. Она обернулась, встрѣтила спокойный, задумчивый, странно задумчивый взоръ Мельхиседека.

— Въ концѣ-же концовъ, — сказала тихо, — если Рафа хочетъ, то пусть ѣдетъ, разумѣется. Поручаю его вамъ и генералу.

Мельхиседекъ поклонился.

— Благодарю васъ за довѣріе, Дора Львовна. Думаю, что раскаиваться не будете.

Воздушныя ноты замолкли. Все опять стало по прежнему, обычное и будничное. Дора Львовна Лузина со своимъ неудачнымъ романомъ, со своими заботами, чувствами и занятіями входитъ во всегдашнюю свою жизнь, и въ концѣ концовъ неважно, поѣдетъ или не поѣдетъ Ра-

фа съ этими двумя стариками въ ненужный ей скитъ. Вообще ничего не важно.

Когда Мельхиседекъ ушелъ, она стала собираться — надо пойти позвонить къ мадамъ Габриловичъ насчетъ завтрашняго массажа. «Забыть, забыть, забыть...» Габриловичъ, Гарфинкель, Эйзенштейнъ...

Мельхиседекъ возвратился въ квартиру Михаила Михайлыча. Генерала не было. Мельхиседекъ не ходилъ нынче по больницамъ, онъ присѣлъ у генеральскаго столика и сталъ писать письма: въ скитъ о. Никифору, знакомому въ Югославію, священнику въ Лилль. Майскій Парижъ былъ за окномъ. Онъ посылалъ пестрые, нервные свои звуки — смѣсь напѣвовъ изъ радіо, гула автомобилей, протяжнаго, отдаленнаго визга трамваевъ — все жило въ солнечномъ свѣтѣ и сливалось съ зелеными вѣтвями, бѣлыми гаммами каштановыхъ листьевъ подъ вѣтеркомъ. Вѣроятно, эта колкая, острая (хоть и приглушенная) музыка и вызывала нѣкое безпокойство у Мельхиседека.

Впрочемъ, на половинѣ послѣдняго письма онъ ощутилъ и новые звуки, совсѣмъ уже странные: доносились они какъ будто изъ окна и снизу.

«Все вышеизъясненное заставляетъ меня обратиться къ Вашему боголюбію»... писалъ Мельхиседекъ круглымъ почеркомъ съ большими, однако, завитками на «боголюбіи». Онъ только было размахнулся изложить, чего ждетъ отъ боголюбія, какъ звуки, неопредѣленно ему неправившіеся, стали опредѣленнымъ крикомъ — женскаго, пронзительнаго голоса. Мельхиседекъ всталъ, подошелъ къ окну и наклонился. «Да нѣтъ, Капочка, я ничего...» «Всегда вралъ, всю жизнь...» — голосъ Капы взлеталъ до высокихъ нотъ. Мельхиседекъ поморщился, отошелъ. Опять другой голосъ возражалъ, приглушенно и невнятно: будто волна спадала. Но Мельхиседекъ все пожимался, неутно себя чувствовалъ — волна-же вдругъ снова закинула, забурлила, возрасла...

Что-то хлопнуло, зазвенѣло. Мельхиседекъ вышелъ на площадку. Внизу, изъ квартиры Капы распахнулась дверь, быстро выскочилъ, пятась, Анатолій Иванычъ.

— Иди къ своей дряни, иди, негодяй!... черезъ лѣстницу, близко... иди!

Она отскочила назадъ, опять что-то схватила — бѣлая чашка ударила прямо въ лобъ Анатолія Иваныча — разсыпалась мелькими кусочками.

— Благодарѣтельница человѣчества! Дрянь! Развратная дрянь! Лгунья! Такая-же...

Капа захлопнула дверь. Дрогнула ветхая стѣна, зазвенѣло внизу. Гдѣ-то открылась дверь, кто-то въ недоумѣніи на шумъ высунулся. Но какъ разъ стало могильно-тихо. На площадкѣ стоялъ худощавый человѣкъ въ сѣрыхъ брюкахъ со складкою, вытиралъ безупречнымъ платочкомъ кровь съ оцарапаннаго лба. Потомъ медленно, дѣловито сталъ собирать осколки. Поднявъ голову, увидалъ бѣлую бороду Мельхиседека — улыбнулся: нельзя сказать, чтобы улыбкою веселой!

Мельхиседекъ видѣлъ его на-дняхъ у генерала. Теперь спустился къ нему. Анатолій Иванычъ молчалъ и виновато улыбался. Губы его дрожали, въ платочкѣ онъ держалъ собранные осколки. И глубокая беспомощность была во всей позѣ — такъ бы и стоять, неизвѣстно сколько, зачѣмъ?

— Пойдемте къ Михаилу Михайловичу, сказалъ тихо Мельхиседекъ. — Тамъ хоть положите. Да и кровь опять выступила. Надо обмыть.

Анатолій Иванычъ покорно за нимъ поднялся. Положилъ черепки въ кухнѣ, обмылъ лобъ подъ краномъ, умылъ лицо.

— Какъ все непріятно вышло... ужасно непріятно. Капа — больная дѣвушка. Такая нервная... какъ разсердится, не удержишь... И начинаетъ метать предметы. Совершенно напрасно... — вообразить себѣ Богъ знаетъ что...

Анатолій Иванычъ глядѣлъ на Мельхиседека свѣтлыми, вопрошающими глазами.

Будто малый ребенокъ невинно пострадалъ отъ обидчика.

«Ему трудно уже теперь не лгать. Даже очень трудно», думалъ Мельхиседекъ покойно. «Такъ все и выходитъ, одно къ одному».

— Миѣ очень стыдно передъ вами, о Мельхиседекъ. — Ужасно неловко.

— Предо мной ничего-съ. Предо мной. чего-же стыдиться. А коли вообще стыдно... — такъ это даже и неплохо.



Генеральъ вернулся въ сумерки — относилъ мѣшечки свои комиссіонеру (тотъ устраивалъ ихъ въ магазинъ).

Мельхиседекъ давно кончилъ письма. Въ садикѣ Жанена сильно стусилась тѣнь подъ каштанами. Кролики засыпали. Куры замолкли. На улицѣ уже блѣдныя фонари, и зеленая искра трамвая ломается, крошится въ воздухѣ фіолетовомъ. Нѣжно-зеркаленъ асфальтъ мостовой. Рубинъ надъ входомъ въ метро струйкою стоячей отразился въ асфальтѣ. Въ такомъ вечерѣ хорошо бродить близъ Сены, межъ Конкордъ, дворцомъ Бурбонскимъ. Но генеральъ былъ на rue Didot, въ прогоркломъ Парижѣ старыхъ бѣдныхъ улицъ, тупичковъ еле освѣщаемыхъ, булыжныхъ мостовыхъ. А Мельхиседекъ и никуда не выходилъ, но смотрѣлъ въ пролетъ между стѣною и каштанами: тамъ сіяли, странно сблизившись, двѣ крупныя звѣзды.

— Какъ прожили день, о Мельхиседекъ, — спросилъ генеральъ. — Какъ чувствовали себя подъ моимъ кровомъ?

— Слава Богу, Михаилъ Михайловичъ. — Хотя день былъ довольно странный.

Генеральъ зажегъ газъ, сталъ разогрѣвать супъ.

Мельхиседекъ сначала разсказалъ про Дору Львовну. (Передавъ вѣдшес. О внутреннемъ умолчалъ — давно привыкъ умалчивать о внутреннемъ, слишкомъ много исповѣдывалъ, слишкомъ зналъ много).

— Такъ что мы теперь втроемъ ѣдемъ, Михаилъ Михайлычъ. — И Рафаиль.

— Великолѣпно.

— Ну, а затѣмъ попалъ въ баталію...

Разсказалъ вкратцѣ и объ этомъ. (Спокойно, и безъ удивленія — точно такъ и должно было быть).

— Да-а, фертъ этотъ, фертъ... — сказалъ генераль. — Доигрался. Дѣйствія на два фронта — одновременно. Контръ-атака противника во флангъ и прорывъ къ обоямъ. Но насчетъ Доры Львовны не полагайтесь... Вотъ по видимости и аккуратная, солидная — да и возрастъ не изъ дѣтскихъ... — а тоже значить, слаба. Сердце-то женское слабое, любви ищетъ, о. Мельхиседекъ. И никакими вашими постами не залить любви-сь...

Мельхиседекъ погладилъ свою бороду.

— Мы и не собираемся заливать, Михаилъ Михайлычъ. Не думайте, что мы уже такія дѣти, жизни не знающія. Но когда къ намъ приходятъ люди истерзанные этой жизнью и этой любовью, мы стараемся утѣшить...

— Такъ, такъ... Вотъ вамъ и домъ пассійскій, помните, вы тогда «скитомъ» его назвали? Хорошъ скитокъ! Нечего сказать.

— Скитъ, конечно, не скитъ, это просто жизнь, Михаилъ Михайлычъ. Удивляться нечего, не въ раю живемъ. Впрочемъ, и сама скитская жизнь не безъ трудностей: Хоть и другихъ, конечно.

Мельхиседекъ помолчалъ, потомъ вдругъ улыбнулся.

— Еще одно посѣщеніе было, попозже. Стучать въ дверь, отворяю. Молодой человекъ, блондинъ, вида довольно аккуратнаго, и пожалуй, пріятнаго... не совсѣмъ въ моемъ вкусѣ, впрочемъ, но это не важно. Спрашиваетъ васъ. Говорю — дома нѣтъ. Онъ тогда извиняется, и от-

вѣчаетъ, что собственно, ему какъ разъ меня и надо, но что хотѣлъ вашего содѣйствія. Тоже жилецъ дома.

— Чувствую. Шофферъ сверху.

— Вѣрно. Именемъ Левъ. И объясняетъ этотъ самый Левъ — тароватый, видимо, парень... — прослышалъ, что я тутъ у васъ бываю и даже сейчасъ живу, то не помогу-ли въ одномъ дѣльцѣ... Охотно. А какво дѣльце? Хочеть жениться. Тоже на одной русской, портнихѣ изъ этого дома, изъ улья русскаго. Что-же, молъ, по вашему возрасту дѣло и совсѣмъ подходящее. Чего-же содѣйствовать? Пошли въ церковь, перевѣнчались. Онъ немножечко жметса. Вижу, не все такъ просто. «Я, говоритъ, о васъ много слышалъ, хотѣлъ-бы, чтобы вы именно перевѣнчали»... Что-же, я не противъ, только монахамъ вѣнчать не полагается. Это у насъ не принято, въ православіи. Къ бѣлому духовенству относится. Вижу, онъ непокоенъ. Разспрашиваю, такъ да этакъ — оказывается, у невесты не все въ порядкѣ. Она вдова, но гдѣ-то въ бѣженствѣ, въ Болгаріи, что-ли, еще разъ ухитрилась выйти замужъ, пожила съ мужемъ и разошлась. Сейчасъ онъ неизвѣстно гдѣ, слуха о себѣ не даетъ, но развода нѣтъ. Тутъ-то я и понадобился, нельзя-ли, молъ, какъ-нибудь обходнымъ манеромъ...

— Ловчить Левъ, словчить хочеть, ясное дѣло. Онъ у насъ дошлый.

Мельхиседекъ продолжалъ улыбаться.

— И какъ это ихъ тянетъ, женскій полъ... Вѣдь дважды была замужемъ, нѣтъ, подавай третьяго. Уд-и-ви-тель-но! Да, такъ что въ этомъ дѣлѣ я ему никакого содѣйствія оказать не могъ.

— Не огорчайтесь, о. Мельхиседекъ. И безъ васъ какъ-нибудь устроится.

— Я и самъ такъ полагаю, — сказалъ Мельхиседекъ и принялся устраиваться на ночь: разостлалъ тюфячекъ, положилъ подушку.



Парижскій день кончился. Для Мельхиседека былъ это день обычный. Если онъ видѣлъ кого-то, съ кѣмъ-то говорилъ, кому-то могъ помочь, кому-то нѣтъ, кто-то ему понравился, кто-то не понравился, это не могло вывести его изъ многолѣтней, прочно сложившейся устойчивости. Лично себя онъ почти никакъ не ощущалъ. Иногда былъ болѣе бодръ, иногда менѣе, нѣсколько веселѣй, нѣсколько грустнѣй, но въ общемъ его жизнь шла по рельсамъ. Всѣмъ онъ сочувствовалъ, ни къ кому не былъ привязанъ. «Я съ младенчества моего монахъ», говорилъ о себѣ. И ничѣмъ нельзя было ни взволновать, ни поразить этого худенькаго, легкаго старичка.

На этотъ разъ въ вечернее свое правило онъ включилъ и Анатолія Иванныча. Ложась, спросилъ вдругъ изъ темноты:

— А въ присвоеніи чужой собственности господинъ сей никогда не былъ замѣченъ?

Генераль удивился.

— Почему вы такъ думаете?

— Я ничего-съ, просто освѣдомляюсь. Мало-ли что случается...

Генераль фукнулъ.

— Нѣтъ, съ этой стороны о фертѣ ничего не знаю. А вы... да, вотъ вы какой, о. Мельхиседекъ. Вы вѣдь, пожалуй, и обо мнѣ такъ «освѣдомляетесь?»

Мельхиседекъ тихо отвѣтилъ:

— О васъ не освѣдомляюсь.

Они замолкли. Потомъ генераль спросилъ, не менѣе неожиданно:

— А вы обратили вниманіе, что Юпитеръ подошелъ чрезвычайно близко къ Марсу? Отъ васъ видно? Въ кухнѣ?

— Сейчасъ не видно, но я замѣтилъ. Это, какъ въ газетахъ пишутъ, чрезвычайно рѣдкій случай.

— Рѣдкій... — генераль вздохнулъ и сѣлъ на кровати. Ему стало грустно. Онъ сдѣлалъ надъ собой усиліе, какъ бы встряхнулся, мѣняя тонъ.

— Значить, въ пятницу ѣдемъ?  
Мельхиседекъ подтвердилъ.

### СКИТЬ.

...По преданію, огромная рыба выплеснулась изъ рѣки на берегъ, когда святой молился, ища мѣсто для монастыря. Онъ пожалѣлъ ее, бросилъ обратно въ воду — и принявъ это за указаніе, основалъ невдалекѣ обитель. Много столѣтій прошло съ той молитвы. Было аббатство и маламъ, и великимъ. Норманны сожгли его. Во времена крестовыхъ походовъ оно отстроилось — замѣчательный соборъ изъ камня пористаго, бѣлаго, и посейчасъ стоитъ — узкій, длинный, проросшій кой-гдѣ плѣсенью, выросившій березку въ одномъ изъ карнизовъ, опирающійся на древнѣйшую, еще романскую абсиду. И какъ-бы продолженіемъ его воздвиглась Sainte Chapelle — великаго изящества и чистоты стиля ранне-готическаго. За остатками стѣны рѣка въ осѣкахъ. Пестроцвѣтныя птицы низко, чуть воды не касаясь, чертятъ надъ самымъ зеркаломъ, на закатѣ, прямыя горизонтали отъ одного лозняка къ другому. Рыба поплескиваетъ, но ужъ нѣтъ той таинственной, что во времена святого выражала волю Бога. Маленькихъ плотичекъ, пискарей да кой-гдѣ краснопераго окуня выудить рыболовъ съ плоскодонки.

Аббатство въ запустѣніи. Въ соборѣ служить, правда, старый кюрэ въ шапочкѣ, похожей на корону, сухой, довольно крѣпкій, непривѣтный. Но корпусъ съ келіями долго пустовалъ. Былъ тамъ пансіонъ для католическихъ дѣвиць, во время войны госпиталь, потомъ опять пустыня, пока нынѣшней зимой не появились здѣсь вполнѣ странные люди въ черныхъ клобукахъ.

Сова вылетѣла изъ угла залы капитула, когда архимандритъ Никифоръ и валаамскій монахъ Авраамій впервые осматривали помѣщеніе. Никифоръ, худой, высокій, съ чахоточною грудью и вставными серебряными зубами, вздыхалъ, глядя на паутину, на потолоки провисающіе, незапирающіяся двери. Но веселый Авраамій рѣшилъ дѣло.

— Ничего, о. Никифоръ, обойдется. Церкву я берусь вамъ самолично передѣлать, кроватокъ намъ понавезутъ... А главное-то дѣло, мѣсто больно хорошее. До чрезвычайности душевное мѣстечко.

Авраамій былъ очень здоровый, мужиковатый монахъ, шутникъ, бывшій столяръ, не весьма твердо знавшій, чѣмъ несторіане отличались отъ монофелитовъ, но прекрасно понимавшій, что такое жизнь, и Бога чувствовавшій такъ, будто Онъ съ нимъ всегда рядышкомъ. Мѣсто и дѣйствительно ему понравилось — лѣсами, уединенностію, тишиной. До Валаама, конечно, далеко. Чтò, вообще, можетъ равняться съ Россіей! Все-таки, рѣка... Тоже не то, что наша, но тутъ одно Авраамія прельщало: самъ онъ рыбоволь. Рѣка медленная, полноводная. Стрижи, бабочки, зеленая осѣка, рыбка поплескиваетъ. Онъ объ этомъ не сказалъ Никифору, но настаивалъ горячо, чтобы тутъ основаться.

Игумень помолился, поколебался, и рѣшилъ снять. Когда черезъ недѣлю казначей Флавіанъ увидалъ помѣщеніе, то пришелъ въ ужасъ. Плотный, нѣсколько сумрачный, съ умными, но не столь добрыми небольшими глазами іеромонахъ Флавіанъ недавно прибылъ изъ Польши (не ужившись въ знаменитомъ монастырѣ). Онъ считалъ, что игуменомъ слѣдовало быть ему, а не тощему и чахоточному Никифору, вся заслуга котораго въ томъ, что у него серебряные зубы и стажъ нѣсколькихъ лѣтъ на Аѳонѣ. Теперешній шагъ Никифора только подтверждалъ, по мнѣнію Флавіана, его-неспособность къ управленію. И хотя это было не совсѣмъ законно, Флавіанъ написалъ длинное

письмо архіепископу, прося рѣшеніе Никифора отмѣнить. (Сырая мѣстность, постройки ветхи, и т. п.).

Архіепископъ-же, пріѣхавъ, посмотрѣвъ сквозь золотые очки на соборъ, рѣку, на будущія спальни мальчиковъ и келіи монаховъ, на огромную залу, уже прозванную за пустынность Сахарой, покручивая пряди темной, съ просѣдью, бороды и какъ бы соглашаясь съ Флавіаномъ, благословилъ контрактъ подписать.

Авраамій былъ въ восторгѣ. Строгалъ, пилилъ; засучивъ рясу, мылъ полы, вставлялъ новые шпингалеты и поглядывая на рѣку предвкушалъ лѣто съ удочкою въ промежуткахъ между службъ.



Такъ осѣла здѣсь эта Русь, въ латинскомъ мѣстѣ раскинувъ свое становище. Зимой было холодно. Печурки дымили. Стѣны покрывались плѣсенью. Сырой, затхлый воздухъ. Къ маю стало легче. Понемножку устранилась церковь. Изъ Ниццы прислали икону. Изъ Парижа — расшитые херувимами въздухи — рукодѣліе офицерскихъ, шофферскихъ женъ. Главное-же: солнышко появилось. Распустились столѣтніе вязы, липы, каштаны. Плющъ завилъ статую Іосифа Обручника предъ двухэтажнымъ зданіемъ аббатства. Запестрѣли въ клумбахъ цвѣты Авраамія. И лягушки загукали по болотцамъ — переключались ночью съ совами. Авраамій поймалъ перваго лискаря. Появились первыя дѣти.

Мельхиседекъ, Рафа, генераль, всѣ по разному чувствовали себя, подѣзжая къ аббатству. Для Мельхиседека это было обычное — еще день, нынче въ Сербіи, завтра во Франціи, послѣзавтра въ Берлинѣ или Греціи, куда понесетъ его ладью вѣтеръ, все въ томъ-же ровномъ, серебряномъ днѣ. Для Рафы — странное и занимательное путешествіе, чуть не въ глубины Африки (при всей своей само-

увѣренности онъ все-же придерживался генерала: вблизи этого сухого, прокуреннаго плеча будетъ покрѣпче).

Генераль все глядѣлъ въ окно, отвертывался. Передъ самымъ монастыремъ шоссе пересѣкало ложокъ съ луговинкой, болотцемъ. Съ кочки поднялся, медленно, качаясь, закивалъ въ воздухъ русскій чибись. Рафа замѣтилъ, что ближайшій къ нему глазъ генерала мокрый.

— Вы навѣрное засорили? Я имѣю чистый платокъ. Если хотите, кончикомъ вамъ выну.

— Имѣю, имѣю... Нечего вынимать. Все въ порядкѣ. Сейчасъ прїѣдемъ.

Автобусъ ссадилъ ихъ на деревенской площади. Середина ея — зеленая лужайка, огороженная перилами — въ глубинѣ обелискъ съ водоемомъ и струйкою воды. Тихіе дома вокругъ, и за другой лужайкой, по другую сторону дороги громада собора, какъ бы грозная, прекрасная вѣчность. Со своими чемоданчиками, подъ готической аркой входа прошли они дворикомъ къ Іосифу Обручнику и Пресвятой Дѣвѣ.

— Вотъ, привезъ гостей изъ Парижа, — сказала Мельхиседекъ появившемуся на крыльцѣ Флавіану.

Генераль снялъ шляпу, подошелъ подъ благословеніе. Рафѣ стало нѣсколько жутко — въ Парижѣ онъ проще здоровался съ Мельхиседекомъ. Тутъ что-то совсѣмъ другое...

И онъ сложилъ ладони, поцѣловалъ волосатую, не весьма ему понравившуюся руку.

— Генераль Вишневскій? — Слышаль, слышаль, говорилъ Флавіанъ. — А это что-жъ мальчикъ — къ намъ въ общежитіе?

Флавіанъ смотрѣлъ тускло, небольшими глазками — средне-привѣтливо. Онъ уже оцѣнилъ, что богомольцы не изъ важныхъ.

Мельхиседекъ объяснилъ: генераль и Рафа друзья обители, кое-что собираютъ, будутъ и впредь помогать. А прїѣхали посмотрѣть, и немножко вздохнуть.

— Такъ, та-акъ... — милости просимъ. Флавіанъ посмотрѣлъ на Рафу, слегка усмѣхнулся. — И ты собираешь? Такой маленькій?

Рафъ показала въ тонъ его насмѣшка.

— Я собралъ для мальчиковъ полтораста франковъ, — отвѣтилъ онъ тихо, твердо. — Можетъ быть, и еще соберу.

Флавіанъ опять усмѣхнулся, опять несовсѣмъ ясной усмѣшкой.

— Мы, разумѣется, всегда благодаримъ благодѣтелей. Пожалуйте, однако, я укажу вамъ комнату.

И поднявшись въ первый этажъ, пересѣкши огромную пустую залу-Сахару, провелъ ихъ въ небольшую комнату съ окномъ въ садъ. Пахло сыростью, кислотатымъ. Было прохладно.

— Не взывайте, — сказалъ Флавіанъ генералу: обитель весьма бѣдная, гостинника нѣтъ, я за всѣхъ. Вотъ, кровать, диванчикъ для молодого человѣка, тутъ и утѣшайтесь, ежели вы любитель монастырскаго житія. Насчетъ питанія, предваряю: довольно скудное. Но возможно, разумѣется, и прикупать.

Когда онъ вышелъ, Мельхиседекъ отворилъ окно. Майскій воздухъ поплылъ, теплый, золотой. Внизу огородъ, дальше вѣковые каштаны, дубы, мощная зеленая туя. И голубоватыя лѣса на горизонтѣ. Снизу изъ церкви пѣніе — шла всенощная.

— Мнѣ довелось быть на св. Аѳонѣ, — сказалъ Мельхиседекъ. — Тамъ у нихъ, знаете-ли, кромѣ главныхъ храмовъ устроены еще малые, въ корпусахъ съ келіями, называются параклисы. И вотъ такъ-же пѣніе какъ бы пронизываетъ всю обитель.

Генераль погладилъ свои усы.

— Какая прелесть! Солнце садится. Тишина, благодать... прямо тутъ расцвѣтешь!

Мельхиседекъ пристально на него поглядѣлъ.

— Михаилъ Михайлычъ, вамъ-бы поговѣть здѣсь. Исповѣдуйтесь, причаститесь, и пречудесно будетъ...

— Я и прежде, къ вамъ въ Пустынь наѣзжая, всегда говѣлъ. И Ольга Александровна, покойница... Боже ты мой! Опять русскій монастырь, опять вы, о. Мельхиседекъ...

Генералъ былъ въ нѣкоемъ возбужденіи. Рафа распакывалъ чемоданчикъ. Въ возбужденіи онъ не находился. Ему не такъ особенно нравилось тутъ — Флавіанъ и со всѣмъ не понравился. Но онъ молчалъ: Вынималъ зубную щетку, полотенце, мыло. Предложилъ помочь и генералу — тотъ отклонилъ.

Такъ какъ трапеза отошла, ихъ покормили отдѣльно, но за тѣмъ-же длиннымъ столомъ въ сыровой трапезной. Пахло щами, мухи гудѣли въ вышинѣ. Съ каменныхъ, недавно перекрашенныхъ стѣнъ смотрѣлъ св. Серафимъ съ медвѣдемъ, Аѳонская гора, архіепископъ съ длинной бородой. Рафѣ стало немножко грустно. Мама сейчасъ въ Парижѣ ужинаетъ, о немъ думаетъ. И вообще... все проще въ Пасси! Можно выбѣжать на улицу, прокатиться по тротуару на роликѣ, пойти въ синема... Мало-ли какъ провести время. А здѣсь старыя стѣны, сырость, летучія мыши. Генералъ сказалъ, что выйти изъ обители уже нельзя, калитку запираютъ, какъ солнце садеть.

Мельхиседекъ немного съ ними посидѣлъ, а потомъ отлучился — Рафѣ показалось, что растаялъ въ этихъ мрачныхъ стѣнахъ — и слѣда не осталось отъ легкой, бѣлѣющей бороды. Но Мельхиседекъ не таялъ — просто отправился къ игумену. А Рафа страшно усталъ и въ глазахъ у него двоилось: въ десятомъ часу насилу добрелъ до диванчика.

Генералъ долго не могъ уснуть. Сначала еще ходили гдѣ-то внизу, посуда постукивала на кухнѣ, голоса донослись. А потомъ все замолкло. Генералу казалось — не то, что нѣтъ звуковъ, а даже есть нѣкое дѣйствительное беззвучіе. Звуки и возникнуть не могутъ въ бездонной этой

ночи. «Такъ будетъ послѣ смерти. И Ольга Александровна въ такой-же тишинѣ сейчасъ».

Всталъ, подошелъ къ окну. На дорогѣ вспыхнулъ свѣтъ — сразу погасли отъ него звѣзды, но чернѣй выступили лапы каштановъ. Автомобильный снопъ все ближе, хватываетъ изъ ночи зеленяя купы кустарниковъ, тополей, дрожа, струясь по изгородямъ... — въ жужжаньѣ мотора все это пронеслось, сгнуло, какъ падающая звѣзда.

На звѣздномъ небѣ близокъ отъ Юпитера красноватый Марсъ. Рѣдкостные сосѣди!



Дора Львовна ошиблась, думая, что Рафу поразятъ «поэтическія стороны службъ». Этого не случилось. Въ церкви его заинтересовала лиловая мантия Никифора и то, что тотъ наизусть читалъ Шестопсалміе («длинное, безъ книжки», рассказывалъ онъ потомъ матери). Но въ общемъ онъ нашелъ, что все это «немножко очень длинно». И добавилъ: «немножко глупо, что я ничего не понимаю».

Монастырскія службы дѣйствительно длинны. Генералъ и самъ не все выстаивалъ. Рафу-же никакъ не принуждалъ, и тотъ себя не мучилъ: заходилъ въ церковь, когда вздумается, долго не оставался. Въ-же церкви проводилъ время даже интересно. Тактика его была такая: не попадаться на глаза Флавіану (его онъ сразу невзлюбилъ). Не пропускать Авраамія, когда тотъ идетъ удить рыбу — за нимъ онъ несъ червей, ведро для рыбъ. Но самое интересное было новое знакомство.

Вообще говоря, съ мальчиками нелегко было сблизиться. То они сидѣли въ школѣ, то чинно шли, черезъ Сахару въ церковь, пѣли на клиросѣ, возвращались рядами, подъ наблюденіемъ Авраамія или монаховъ помоложе. Учили уроки. Оставались краткіе часы свободы.

Но Дмитрій Котлеткинъ, мальчикъ лѣтъ четырнадца-



ти, съ рыжеватой щетинкой на головѣ, находился на особомъ положеніи — выздоравливающаго послѣ брюшного тифа.

Большую часть дня онъ лежалъ въ раздвижномъ креслѣ на солнцѣ, у статуи св. Дѣвы. Иногда бродилъ немного въ своемъ халатикѣ. Умные небольшіе глаза, старше возраста, смотрѣли спокойно и самоувѣренно. Некрасивъ былъ Котлеткинъ, грубоватой русской некрасотой — съ широкимъ носомъ, нѣсколько вздернутымъ, въ веснушкахъ, съ красными руками — но Рафъ все казалось въ немъ необычайнымъ.

Героическое окружало Котлеткина: онъ бѣжалъ съ отцомъ изъ Россіи, черезъ Днѣстръ! И если отецъ служить сейчасъ въ Парижѣ, то полгода назадъ пули шлепали во кругъ нихъ ночью въ днѣстровской водѣ. Это, конечно, такое дѣло, о какомъ въ Пасси и подумать жутко — никто не думаетъ, да и слово «Днѣстръ» неизвѣстно.

— Мы съ лапкой цѣльный день въ камышахъ пролежали, хайломъ въ землю. Нельзя двинуться. Пулеметь такъ и чешеть.

Рафа холодѣлъ. Сколько тутъ было правды, не ему судить, но выходило грандіозно. Съ Рафой Котлеткинъ былъ снисходителенъ, но немного свысока, какъ вообще съ Европой. И стрѣляли то по нимъ русскіе пограничники, какъ-то особенно: на то она Россія! Можно было подумать, что Котлеткину даже нравилось, что такъ лихо стрѣляютъ русскіе. А Европа... первые дни въ Берлинѣ всѣ магазины казались ему «распредѣлителями». Товару много, хорошо бы «прикрѣпиться». И не безъ труда онъ повѣрилъ, что покупать тутъ можно и безъ карточки. Много, впрочемъ, въ распредѣлителяхъ. Берлина имъ забрать не пришлось. Передвинулись въ Парижъ. Отецъ попалъ на заводъ, сынъ въ общежитіе.

Про монастырь Котлеткинъ говорилъ покровительственно.

— Ничего, хорошо. Старички не обижаютъ. Вродѣ дѣтотдѣла... Конечно, у насъ служители культа лишенцы. Элементъ контрреволюціонный. Имъ не только ребятя не доврѣяютъ, имъ и пайка нѣтъ. У насъ тамъ физкультура, а тутъ церкви да служба.

Рафа слушалъ съ восторгомъ. Генераль поправлялъ его бѣженскій языкъ, здѣсь-же былъ переводъ съ русскаго еще на нѣкій новый, несомнѣмъ понятный, но такой-же замѣчательный, какъ самъ Котлеткинъ.

— А почему-же вы съ рара бѣжали?

Котлеткинъ посмотрѣлъ на него, слегка прищурился и сплюнулъ.

— Жрѣнца было мало.

Рафа понялъ — чего-то нужнаго не хватало. Но чего именно, спросить не рѣшился.

— Да меня и отсюда скоро монахи погонять.

— Почему?

— Папку сократили, онъ теперь шомажникъ.

Рафа почувствовалъ себя прочтѣе.

— *Chômeur*?

— По здѣшнему такъ. Изъ какихъ-же ему капиталовъ за меня платить? А безъ деньжонокъ навѣрно на улицѣ окажешься. Да мнѣ только бы выздоровѣть.

Разговоръ произвелъ на Рафу впечатлѣніе. Героя Котлеткина, спасшагося на Dniestr'ѣ отъ пуль, исключать изъ-за *chômeur*'а! Онъ рассказалъ объ этомъ генералу.

— Чего тамъ исключать... Какъ нибудь устроится.

Генераль мало заинтересовался Котлеткинымъ.

Рафа почувствовалъ это, ничего не сказалъ, но нѣчто затанлъ. И рѣшилъ дѣйствовать самъ.

Онъ подстерегъ въ саду Мельхиседека и подошелъ къ нему.

— Парижанинъ, гость и другъ... — сказалъ Мельхиседекъ. — Ну, какъ себя чувствуешь?

Мельхиседекъ сидѣлъ за деревяннымъ столомъ, подъ хаштаномъ. На столѣ передъ нимъ ученическія тетрадки.

Надъ столомъ, въ вышнѣхъ, лапчатые листья — густая сѣнь. Какъ изъ купола потоки зеленой тѣни, прорываемой солнечно-золотыми столбами. Золотые кружочки кой-гдѣ на тетрадахъ, на сѣдой головѣ...

Рафа поблагодарилъ и перешелъ къ дѣлу. Правда-ли, что Котлеткина исключать изъ общежитія?

Мельхиседекъ снялъ очки, сталъ протирать ихъ. Солнечный лучъ отблеснулъ отъ стекла, скользнулъ по рукаву Рафиной курточки.

— Откуда ты это знаешь?

— Мнѣ сказалъ Дима. Если его отецъ сѣмлеитъ, то какъ-же онъ будетъ за него платить?

Мельхиседекъ помолчалъ.

— Мнѣ неизвестно то, о чемъ ты рассказалъ. Какъ-же тебѣ отвѣтить? Монастырь очень бѣденъ, ты знаешь. Мы не можемъ держать дѣтей совсѣмъ даромъ... Но Котлеткинъ мальчикъ способный, къ тому-же и прибывшій изъ Россіи. Поддержать его надо. Во всякомъ случаѣ, постараемся что-нибудь сдѣлать. Дѣло не спѣшное. Онъ вѣдь и выдворяливающейся.

Въ концѣ дорожки, отъ аббатства, показались два монаха.

— Да вотъ и самъ о. игумень. Онъ тебѣ все объяснить лучше меня.

Никифора Рафа уже немного зналъ, и не боялся. Рафа домъ съ нимъ щель Флавіанъ. Когда они приблизились, Мельхиседекъ поднялся, низко, почти до земли поклонился. Рафа не зналъ, какъ поступить: кланяться въ ноги этому тощему, очень длинному и еще нестарому монаху показалось страннымъ. Подходить подлѣ благословеніе онъ побоялся — издали неуклюже поклонился.

— Садитесь, о. Мельхиседекъ, — тихо сказалъ Никифоръ. — Мы васъ не будемъ отрывать отъ дѣла.

Онъ положилъ худую, какъ бы чахоточную руку на ученическія тетрадки.

— Все ихъ науку контролируете?

Рафу поразили его серебряные зубы. Что то надломленное, кроткое и обреченное было въ этомъ человѣкѣ. Рядомъ съ нимъ Мельхиседекъ казался и моложе, и бодрѣе.

— Пишутъ несамостоятельные телятки кто какъ можетъ. Довольно, впрочемъ, грамотно, ваше преподобіе... Сожалѣю, что нѣтъ работы этого мальчика изъ Россіи, Котлеткина.

Игумень продолжалъ постукивать пальцами по тетрадкама. Улыбка освѣтила усталое его лицо.

— Тотъ ужъ самостоятельный.

Мельхиседекъ разгладилъ серебряную бороду, распустилъ морщины, и изъ-подъ очковъ не безъ лукавства посмотрѣлъ на Рафу. Флавіанъ сидѣлъ молча, съ недовольнымъ видомъ.

— Сей Котлеткинъ, продолжалъ Мельхиседекъ, по словамъ гостя нашего, Рафаила Лузина, обезпкоены возможностию исключенія изъ общежитія, такъ какъ отецъ его сталъ безработный и не можетъ платить.

Флавіанъ пожалъ плечами.

— Мы и такъ едва живы.

Никифоръ задумчиво смотрѣлъ на Рафу.

— Безработный, не можетъ платить, — повторилъ какъ бы про себя.

Потомъ неожиданно обратился къ Рафѣ.

— Поди-ка сюда, мальчикъ.

Тотъ подошелъ, не безъ смущенія. Никифоръ слегка погладилъ темные Рафины кудерьки.

— Это ты на пріютъ намъ собиралъ, среди знакомыхъ?

— Я.

Никифоръ поцѣловалъ его въ лобъ — болѣзненными, блѣдными губами. Рафа ощутилъ запахъ ладана и чего-то сладковатаго («отъ бороды пахло дымомъ и духами», рассказывалъ потомъ матери):

— Я боюсь, — прошепталъ Рафа, что вы выгоните Котлеткина. У него отецъ безработный. И онъ самъ очень... больноватый.

— А ты не бойся, — тоже тихо отвѣтилъ Никифоръ. — Богъ дастъ, и не исключимъ.

Рафа нѣсколько осмѣлѣлъ.

— У меня есть одна знакомая дама, госпожа Стаэле. Она можетъ дать... шпе bourse... нуждающемуся мальчику. Она общалась. Надо только портретъ, письмо. И чтобы вы тоже попросили за него...

— Ну, вотъ видишь! Чего-же бояться? Все уже сдѣлано!

И Никифоръ поднялся.



Генераль рѣшилъ говѣть на совѣсть. Сталъ поститься, съ нѣкаго дня выстаивалъ уже всѣ службы, до окаменнiя въ ногахъ и голодной легкости въ сердцѣ. Мельхиседекъ поддерживалъ его въ этомъ. Просилъ также «просмотрѣть умственнымъ взоромъ всю жизнь, все въ ней подобрать» — и даже на бумажку занести какъ можно обстоятельнѣй. Въ день исповѣди ничего не «вкушать» и прочесть книжечку наставленiй кающемуся.

— Высочайшее дѣло, Михаилъ Михайловичъ, имѣйте въ виду. У васъ есть такое иногда... вольное отношенiе и взглядъ... но не для сего момента, я прошу васъ!

Онъ напрасно опасался: генераль былъ настроенъ серьезно. Никакихъ улыбочекъ, никакихъ задиранiй.

Вечеромъ передъ исповѣдью сидѣли они у источника, на зеленой лужайкѣ противъ Собора и входа въ аббатство. Смеркалось. Тучи тихо стояли, сгущая мракъ. Иногда зарницы проблескивали. Было душно.

— Гроза идетъ, я чувствую, сказалъ Мельхиседекъ. — Я никогда не ошибаюсь въ природѣ, Михаилъ Михайлычъ. Нынче будетъ очень громовая ночь.

Къ источнику — прозрачной, холодной струѣ изъ небольшогоobeliska — подходили съ ведрами и кувшинами дѣти, женщины, старухи. Генераль и Мельхиседекъ сидѣли на двухъ бѣлыхъ камняхъ-тумбахъ: какъ два сторожевыхъ льва. Въ полутьмѣ перекидывались словами сосѣдки, подставляя ведра. Потомъ уходили, и лишь серебряно, однообразно-усыпительно журчала струя. Зарницы зеленовато освѣщали сидѣвшихъ. Иногда вдаль, за ихъ спинами, возникалъ свѣтъ на дорогѣ. Obeliskъ начиналъ дрожать узкою тѣнью на древнемъ аббатствѣ — автомобильно-золотой снопъ все ближе, тѣнь растеть, и тѣнь грибообразнаго строенія дрожить какъ на экранѣ, и когда бѣшено вылетитъ автомобиль — вдругъ поползутъ эти тѣни вбокъ, а все зазолотѣетъ въ свѣтѣ — только на мгновенье — автомобиль уже за угломъ, поднявъ за собой бѣлую пыль.

— Вотъ вамъ и вѣчность — Мельхиседекъ показалъ на струю — и мгновение (на унесшуюся машину).

— Я, о. Мельхиседекъ, теперь болѣе въ вѣчности, — отвѣтилъ генераль. — Но у меня есть и смутныя, темныя вещи-сь.

— Я на это надѣюсь, иначе зачѣмъ-бы вамъ исповѣдываться. Я надѣюсь, что вы не такъ собой довольны, какъ та дама, что недавно у меня исповѣдывалась. Что ни спросишь, ни въ чемъ не грѣшна. «Ну, говорю, можетъ на прислугу иногда сердитесь?» «Никогда». «Пересудами занимаеесь?» — Тоже нѣтъ. — Да вотъ такъ все нѣтъ и нѣтъ. Я ей наконецъ и говорю: «Стало быть, вы святая».

Вдаль загремѣло. Зеленоватый зѣвъ раскрылся, мигнулъ, охватилъ фосфорическимъ свѣтомъ Соборъ, лужайку и сидѣвшихъ. Нѣсколько капель сильно по сухмени травы хлопнули.

Мельхиседекъ поднялся.

— Даже и скорѣе, чѣмъ я думалъ. Нѣтъ, идемъ ко мнѣ, тамъ и договоримъ. Да и пора. Запретъ Флавіанъ обитель, что мы съ вами будемъ тогда дѣлать?

Они прошли подъ готическимъ сводомъ воротъ. Въ садикѣ около Іосифа Обручника еще сидѣло нѣсколько мальчиговъ — Котлеткинъ, Рафа. Но уже Авраамій уводилъ ихъ. Рафѣ разрѣшили на эту ночь лечь въ общей спальнѣ воспитанниковъ.

Въ кельѣ-же Мельхиседека, небольшой узкой комнаткѣ съ высокимъ потолкомъ, кіотомъ въ углу, гдѣ теплились разноцвѣтныя лампадки (чашечка одной изъ нихъ покоилась на серебряномъ голубѣ, распростершемъ крылья) — при неясномъ мерцаніи и вспышкахъ бѣло-зеленыхъ молній за окномъ началась бесѣда. Мельхиседекъ сѣлъ на свое ложе, такое-же сухое, худенькое, какъ онъ самъ. Генерала посадилъ у стола.

— О. Мельхиседекъ, — началъ Михаилъ Михайлычъ — не сразу, какъ бы раздумавшись. — Вотъ я и передъ вами... Я и вообще много о себѣ размышляю, а эти послѣдніе дни, въ виду исповѣди, и особенно. Да... что-же могу сказать? Жизнь моя прошла — такъ-ли, иначе-ли... — все равно. Много я въ ней нагрѣшилъ, по характеру своему строптивому, но много-ли сейчасъ о грѣхахъ мучусь? По правдѣ говоря, не очень... Ну, разумѣется, не такъ ангельски покоенъ, какъ та дама ваша... «святая». Все-таки меньше, навѣрно, угрызаюсь, чѣмъ-бы слѣдовало. Но нѣкія странности въ себѣ замѣчаю, или непріятныя вещи, разумѣется, отрицательныя. И хотѣлъ бы ихъ высказать.

Онъ опять помолчалъ.

— Вѣдь жизнь, какъ будто бы, о. Мельхиседекъ, смиряетъ меня? Бывшій командиръ корпуса, нынѣ безработный и полуголодный. Ну, вообще послѣдній человекъ. Да. А я не смиряюсь! Миѣ будто говорятъ: вотъ ты послѣдній! Опустивъ главу, взоръ долу, какъ полагается. А я не опускаю. И не чувствую себя послѣднимъ. Не то, конечно, чтобы мои заслуги какія или дарованія... — этого у меня немного. Но откуда, скажите, это ощущеніе... какъ былъ корпусный командиръ, баринъ и начальникъ, и купить меня нельзя, и на подлость никогда не пойду, такъ и остав-

ся. Подумаешь — какая сила! а не могу отъ себя отрѣшиться, о. Мельхиседекъ — какіе-бы бисерные мѣшечки ни шивалъ, и сколько-бы двуглавыхъ орловъ ни царапалъ на яичкахъ.

— Это все разумѣется. Я такъ васъ и понимаю, Михайлъ Михайловичъ. Вамъ очень трудно смириться.

— А между тѣмъ, это главное у насъ, о. Мельхиседекъ?

— Главное, — почти грустно отвѣтилъ Мельхиседекъ.

— Самое главное. Но и самое трудное-съ. Такъ что вы не извольте удивляться, что малаго достигли.

— Да, я не совсѣмъ таковъ, какъ вамъ хотѣлось-бы, о. Мельхиседекъ. — Я все помню. И не все могу прощать. Я очень многое не простилъ, хотя Господь сказалъ, что прощать надо до семижды семи разъ. Я зналъ одного поковника, въ гражданской войнѣ, у котораго замучили всю семью. Онъ потомъ очень любилъ смотрѣть, какъ большевиковъ вѣшали. До страшнаго цинизма доходилъ. Быть можетъ, это уже начало безумія... Садился пить чай на крылечкѣ, а чтобы передъ нимъ петлю на человѣка накидывали. Это жизнь. Я подобнаго не продѣлывалъ, но все-таки... все-же сказать, въ такую даже минуту какъ сейчасъ, что я простилъ тѣмъ, кто Россію мою распялъ... Это будетъ невѣрно. Нѣтъ у меня силъ простить, о. Мельхиседекъ. — Если-бы далъ Богъ...

— Только молитва, — сказалъ Мельхиседекъ.

— Какъ понимать это?

— Когда вы молитесь, вы съ высшимъ благомъ соединены, съ Господомъ Иисусомъ — и Его свѣтъ наполняетъ васъ. Лишь въ этомъ свѣтѣ вы и можете стать выше человѣческихъ чувствъ и страстей.

— Ну, такъ видимо я не становлюсь.

— А надо, — тихо, съ нѣкоторымъ упорствомъ сказалъ Мельхиседекъ.

— Сказано: «возлюби ближняго своего какъ самого себя». Я тоже не могу, о. Мельхиседекъ. Во-первыхъ, себя я безконечно больше люблю. И ничего съ этимъ не подѣ-



лаешь. Второе: мнѣ просто очень трудно любить! Я любилъ покойную Ольгу Александровну... страстно-сь, и деспотически... Но это не по христіански, другая любовь. Теперь люблю Машеньку — опять иною, отцовскою любовью, но тоже деспотически. (Пріѣдетъ она, можетъ, ей и нелегокъ покажется характеръ отца? Все можетъ быть). Ну, еще наберется нѣсколько человѣкъ, кого — не то что люблю, а уважаю, «хорошо отношусь». А къ большинству — вполнѣ равнодушенъ! Другихъ просто терпѣть не могу! Мнѣ иногда, о. Мельхиседекъ, просто приходится сдерживаться... Почему я, нищій, чувствую себя здѣсь такимъ барининомъ и судьей? Мнѣ всѣ кажутся лавочниками. Знаете, быстро... быстрошниками. Сытыя лица за каской, красныя щеки, раскормленныя жены, эти су, су... аперитивы, автомобильчики, вся, знаете, эта воскресная пошлость, мѣщанство... Я въ Россіи не такъ чувствовалъ.

...Иногда ѣдешь въ метро, смотришь на разныхъ рабочихъ, старухъ жирныхъ съ бородавками, на грязныя руки, обкусанные ногти, на какого-нибудь храпящаго приказчика... — вы, конечно, жалѣете ихъ, о. Мельхиседекъ, а я только думаю: «Господи, какъ они мнѣ противны...» Вы вотъ окошечко отворяете, вамъ, пожалуй, душно отъ моихъ словъ стало, но вѣдь я-же человѣкъ, во мнѣ ничего ангельскаго нѣтъ. Самый обыкновенный человѣкъ.

Мельхиседекъ дѣйствительно отворилъ окно. Гроза шла стороной. Все-же отъ грома дребезжали иногда стекла, и въ зеленыхъ вспышкахъ вставалъ на мгновеніе садъ, каштаны, столикъ подъ деревьями. Но вѣтеръ стихъ. Шелъ ровный, очень теплый дождь.

На послѣднія слова генерала Мельхиседекъ улыбнулся.

— Нѣтъ, я не для того отворилъ окно. А я люблю-сь такой дождичекъ, и благоуханіе... очень прекрасно.

— И я люблю. И деревню люблю, покоемъ, солнцемъ... Уродство-же съ трудомъ выношу, и чѣмъ дальше, тѣмъ больше. Вы любуетесь сейчасъ благоуханіемъ ночи, а я вамъ еще расскажу...

И рассказалъ, какъ ненавидѣлъ недавно въ метро старуху, похожую одновременно на овцу, лошадь и англичанку — розовую, съ бѣлыми волосами, упорно ковырявшую въ носу.

— Михаилъ Михайлычъ, — тихо перебилъ Мельхиседекъ: — а васъ смущаетъ, что вообще зла и безобразія въ мірѣ какъ бы слишкомъ много? Точно-бы я не продохнуть человѣку? Дурные торжествуютъ, богатые объѣдаются, сильные міра сего продажны?

— Да, о Мельхиседекъ. Именно. Меня именно это смущаетъ. Почему вы, однако, задали мнѣ этотъ вопросъ?

— Насколько я васъ понимаю, по характеру вашему, этотъ страшный вопросъ, дѣйствительно весьма трудный для пониманія, долженъ особенно васъ беспокоить. И думаю, вы не прочь были-бы сразиться со зломъ такъ, какъ нѣкогда воевали въ окопахъ.

Генераль, волнуясь, сталъ говорить о царствѣ зла.

Было около одиннадцати, когда разговоръ кончился. Генераль сидѣлъ на подоконникѣ, молчалъ. Говорить ему болѣе не хотѣлось. Онъ смотрѣлъ въ ночь — въ непроглядную, безмѣрную тишину. Все уже спало въ монастырѣ.

Мельхиседекъ поднялся съ постели.

— Вотъ вы и высказались, Михаилъ Михайловичъ. И смириться, и полюбить ближняго цѣли столь высокія, что о достиженіи ихъ гдѣ-же и мечтать. Но устремленіе въ ту сторону есть вѣчный нашъ путь. Послѣднія тайны справедливости Божіей, зла, судебъ міра для насъ закрыты. Скажемъ лишь такъ: любимъ Бога и вѣримъ, что п л о х о Онъ не устроитъ.

...Я полагаю, что вы теперь успокоились. Приступимъ-же къ таинству покаянія.

Мельхиседекъ надѣлъ ветхую епитрахиль, подошелъ къ небольшому аналою предъ кіотомъ, гдѣ лежало Еван-

геліе. Голубь Духа Святого простиралъ подъ лампадкой горизонтальныя крылья. Вспышки молній освѣщали съдые, тонкіе волосы Мельхиседека, худенькія руки. «Мельхиседекъ, священникъ Бога Всевышняго», вспомнилъ вдругъ генераль. «Прообразъ таинственный... священникъ Бога Всевышняго».

Онъ сталъ на колѣни. Мельхиседекъ накрылъ его епитрахилью и прочелъ вслухъ молитву предъ исповѣдью — генераль повторялъ за нимъ слова. Какъ бы плавный, но мощный ударъ нисходилъ на него, стирая годы. Подъ епитрахилью былъ онъ какъ младенецъ. Какъ младенецъ тихо признавалъ вины. И по младенческимъ, не старческимъ щекамъ слезы текли, когда знакомый, слабый, близкій и далекій голосъ таинственного нынѣ Мельхиседека произнесъ сверху:

— Властію, данную мнѣ отъ Бога, я, недостойный іерей, отпускаю грѣхи раба Божія Михаила...

\*  
\*\*

— Ладно, — говорить Котлеткинъ. — Напишу твоей голландкѣ. Да она по русски и не понимаетъ?

Въ церкви идетъ литургія. Котлеткинъ и Рафа сидятъ близъ Іосифа Обручника, въ садикѣ при аббатствѣ. Послѣ ночного дождя все сіяетъ, блеститъ. Свѣжи капельки въ настурціяхъ. Бойки воробьи, скачущіе вокругъ лужицы. И такъ сине небо съ легкимъ, и туманнымъ паромъ!

У Рафы въ рукахъ письмо — только что почтальонъ подалъ.

— Ничего, что по русски. Ей переведутъ.

Котлеткинъ смотритъ на письмо.

— Это что-же, изъ ССР?

— Да, генералу.

Оба разсматриваютъ конвертъ.

— У него тамъ дочь, — говоритъ Рафа не безъ важности. — Онъ ее сюда выписалъ. Она должна очень скоро прибыть.

Небольшіе колокола (ими управляетъ Авраамій, держа изъ корридора веревки), звонятъ къ Достойной.

— Генераль нынче... какъ это... *fait sa communion*... — Я долженъ его поздравить?

— Вотъ и не прозъвай. Теперь онъ какъ разъ скоро причащаться будетъ.

— Вы увѣрены?

— Меня, братъ, ужъ тутъ старички обучили.

Рафъ не хочется уходить отъ великолѣпнаго Димы Котлеткина. Пусть тотъ даже и не благодарилъ его за вмѣшательство и голландку — ничего. Онъ особенный, ему все можно.

Все-же въ извѣстный моментъ Рафа идетъ въ церковь. И попадаетъ какъ разъ во время. Никифоръ, улыбаясь серебряными зубами, поздравляетъ Михаила Михайлыча. «Съ принятіемъ св. Тайнъ!» И Мельхиседекъ, и другіе. Рафа подходит, тоже поздравляетъ. Цѣлуетъ жесткіе, прокуренные усы, видитъ надъ собою глаза старческіе, влажные — уже не спрашиваетъ, не попала-ли соринка.

Въ лѣвой рукѣ у него письмо. Въ немъ сообщаютъ, что у Машеньки, отъ хлопотъ и волненій случился припадокъ сердца.

Черезъ вѣсколько минутъ узнаетъ генераль, что похоронена Машенька въ Дорогомиловѣ.

Бор. Зайцевъ.

*(Продолженіе слѣдуетъ)*

# Преображеніе.

(Парижская повѣсть).

## 1.

.....

Въ обычный часъ вернувшись въ отель, я не нашла ключа отъ номера на своемъ мѣстѣ. Съ улыбкой человѣка, недостойнаго прощенія, я вошла въ bureau: ужъ третью недѣлю оттягивала взносъ платы — («завтра», «въ субботу», «въ слѣдующую, навѣрное»). Какъ это ужасно, думаю, для всѣхъ. Но есть люди грубѣе меня, ловче или, наоборотъ, смиреннѣе, имъ не тяжело прибѣгнуть къ чужой милости; къ милости старѣющей красавицы, хозяйки, держащей въ трепетѣ весь отель, — отъ грязной стряпухи до черноброваго, чернокудраго, взятаго съ улицы, итальянца, своего мужа.

Я тихо попросила ключъ. Комната № 28. Итальянецъ нырнулъ подъ портьеру. Какъ я молилась, чтобы обошлось, чтобы грозной патронши не оказалось дома. Она вбѣжала фуріей. Я не плачу за комнату и еще рѣшаюсь водить къ себѣ мужчинъ! Эта комната не для двоихъ, для двоихъ цѣна другая! Сейчасъ же платить, или сѣзжать!

— *Madame*, — сказала я запинаясь, готовая разревѣться и пугаясь, что она убѣжитъ, не дослушавъ меня. — Вы ошибаетесь. Я 28 номеръ. Въ чемъ дѣло? Я заплачу, вотъ въ субботу, а мужчинъ я не привожу, ко мнѣ не ходятъ мужчины.

Покидающего нашъ отель на разсвѣтъ незнакомца спросили, гдѣ онъ провелъ ночь? Онъ отвѣтилъ: «въ 28-омъ».

Я тупо защищалась, какъ въ полуснѣ, смертельно раненая обидой. Хозяйкѣ, себѣ, всему свѣту мстила я, когда, чувственно сося свое отчаяніе, шептала: «Ну еще, бей меня, выволоки за волосы. Пускай еще хуже; еще, еще». Сладострастіе горя; мазохизмъ нищеты.

Итальянецъ, видимо, былъ на моей сторонѣ; онъ даже попытался сказать что-то, но оборвалъ подъ взглядомъ яростныхъ, надменно-красивыхъ очей своей полусумасшедшей жены.

Я не знала, куда потащиться со своимъ тяжелымъ чемоданомъ, набитымъ услужливымъ Павломъ Кондратьевичемъ всѣмъ необходимымъ, вплоть до пуховой подушки. Нѣсколько помогла та-же хозяйка, — вещи она задержать, пока не расплачусь. И хотя въ свое время, предвидя такую возможность, я освѣдомлялась у знающихъ людей и удостовѣрилась, что этого она не въ правѣ дѣлать, я не возражала, не спорила. Во мнѣ что-то согнулось. Воля къ побѣдѣ, столь необходимая, чтобы побѣждать, чтобы жить, стерлась во мнѣ, растопилась на время. Огромная пустота, покой усталости опустились на душу. Хотѣлось только скорѣе скрыться, уйти подальше отъ этого злого голоса. Она давила меня своимъ враждебнымъ, чужимъ языкомъ, крупнымъ тѣломъ, запахомъ крѣпкихъ духовъ. Убѣжать, спрятаться; тишины!

Собравъ нѣсколько самыхъ необходимыхъ вещей, я кивнула пышноголовому итальянцу и протрусила къ выходу, мимо устрaшенно шарахавшихся, подъ окриками патронши, боннъ, которыя здѣсь смѣнялись еженедѣльно.

Помню ноющую, терпкую боль, на мгновеніе, — всю пронзившую, когда за моей спиной мягко стукнула стеклянная дверь съ карточкой «essuyez vos pieds, s. v. p.». Кто не лишался крова, — не знаетъ.

Мнѣ страстно захотѣлось курить: этому я научилась въ долгіе часы ожиданія. Купила пакутихъ въ пять штукъ: «А douze sous», — сиротливо прозвучалъ мой голосъ.

Я затынула дешевой папирсой и вдругъ, съ взметнувшейся, облегчающей, ранящей силой ощутила кругомъ себя и холодный вѣтеръ вселенной, и тяжелую землю съ бѣгущимъ по ней враждебнымъ людомъ, и небо въ сѣрыхъ, пятнистыхъ, жесткихъ складкахъ; чудовищный городъ, ревушій, давящій, глотающій, плывущій въ своемъ руслѣ, и себя, одинокую душу, затерянную, посяянную въ мѣсивѣ; одна, одна. Я почувствовала, что это не случайно, что здѣсь есть смыслъ и, какъ страхъ мой великъ и отчаяніе огромно, такъ и цѣль, къ которой меня вѣдетъ, должна быть значительной. Но это продолжалось всего одну секунду; пронзительное озареніе, поднявшееся изъ глубинъ отчаянія и униженія; вспыхнуло и заглохло: въ моемъ карманѣ десять франковъ, троттуары чужбины жестки.

Я проходила съ папирсой въ зубахъ мимо постоваго агента; онъ взглянулъ, — равнодушнымъ, сѣрымъ взглядомъ всезнающаго, бывалаго служаки. Мнѣ показалося, что онъ прочелъ все мое прошлое, — во всякомъ случаѣ настоящее, — и поставилъ діагнозъ будущаго. Стыдливо прижавъ локтемъ узелокъ, я ускорила шагъ, стремясь поскорѣе скрыться отъ этихъ вѣщихъ глазъ.

Для меня наступили дни, длящіеся вѣка, полные созерцательнаго бездѣлія, полусна въ скверахъ, озаренныхъ сияніемъ осенняго солнца и полногрудыхъ, нѣжно яркихъ клумбъ; звонко подъ ухомъ кричали дѣти и расслабленно увѣщевали ихъ няньки. Газета, оставленная небрежнымъ читателемъ, благодарно подбиралась: ее можно прочесть, а ночью подстелить. Жизнь билась въ своемъ гнѣздѣ; телеграфные провода задыхались отъ радости. Въ Манджуріи бьютъ японскія пушки; англійскій фунтъ стремительно падаетъ, и подъ этотъ зловѣщій звонъ расплывается Британская Имперія. Какъ это далеко и ненужно. Окур-

ки папирось наполняютъ сердце благодарностью; я, наконецъ, поняла преимущество французскихъ передъ нашими, съ картонными мунштуками.

Я дремала на широкихъ скамьяхъ Gare de l'Est, подъ яростный грохотъ уходящихъ экспрессовъ. Кто-то уѣзжалъ, кто-то прїѣзжалъ. Счастливецъ встрѣчали съ цвѣтами и поцѣлуями; забрасывали стаей вопросовъ; взволнованные спѣшили къ выходу. Мнѣ некуда было итти.

Когда проходилъ контролеръ или полицейскій, я принимала независимо-разсѣянный видъ, и тогда мнѣ казалось, что я уже измѣрила собой всю тушу земного горя, предѣлъ лишеній достигнуть. Но и въ этомъ, какъ мнѣ открылось впоследствии, я ошибалась.

Пока водились мелкія деньги, я ночевала въ пріютѣ арміи спасенія, въ компаніи старыхъ, лживыхъ, кашляющихъ вѣдьмъ. Потомъ пробовала бродить до разсвѣта по Центральному рынку, отсыпаясь днемъ на стулѣ въ монастырской тиши бібліотеки Святой Женевьевы. Но жажда сна и «своего угла» согнала меня внизъ, на набережную Сены, гдѣ, — скрывшись отъ полицейскихъ, — подъ сѣнью гранитныхъ мостовъ, слушая ворожащій плескъ воды и гулъ запоздалыхъ поѣздовъ подземной желѣзной дороги, выпускающихъ паръ въ рѣшетчатая отдушины, — дремали въ свалку бродяги, нищенки и безработные.

Только начало страшно; я спустилась внизъ по широкой каменной лѣстницѣ съ чувствомъ, — что никогда уже, никогда не подняться мнѣ!

Подстеливъ собранные за день «Ami du Peuple» прикурнула невдалекѣ отъ пестрой группы людей. Имъ было легче: сообщая, не чуждаясь другъ друга. Я видѣла мужчинъ и женщинъ въ лохмотьяхъ, спавшихъ тѣсно прижавшись другъ къ другу, жадно сохраняя свое тепло. Даже тамъ я была отщепенцемъ. Какъ же такъ?

Объ этомъ и еще о многомъ я думала, лежа подъ тяжелыми мостами. Возможно, что мои мысли и не были сами по себѣ значительны, но ими вѣдѣлась моя судь-



ба. Часами, не шевелясь, прислушивалась къ безцѣльному бѣгу Сены. Рѣка была черна, отъ нея вѣяло стужей и омутомъ и сыростью, вѣчной жалобой неприкаянной водной души. Помимо другихъ соображеній, мнѣ бы нелегко было отважиться погрузиться въ такую льдистую и чуждую стихію. Страшила главнымъ образомъ не самая смерть, а то, что наступитъ послѣ. Я не могла допустить мысли, что меня, голую, стануть осматривать; будутъ прикасаться, рыться въ моихъ бумагахъ; я стыдилась и ужасалась той возни, которая неминуемо должна была возникнуть около моего тѣла.

Жалобно пищали хищные косяки крысъ. На днѣ рѣки стояли мистическія свѣчи малиновыхъ фонарей мостовъ; рѣзко гудѣло запоздалое такси, и тогда по волнамъ, пересѣкая рѣку, стремительно бѣжалъ его отраженный огонекъ. Если бѣ всегда ночь. Если бѣ не всходило больше солнце. День это жизнь. День это борьба; плевики, издѣвательства и преслѣдованія. Въ темнотѣ всѣ равны; во снѣ судьба всѣхъ одинакова. Если бѣ всегда ночь, и лежать никѣмъ не безпокоймой. Если бѣ умереть въ темнотѣ.

Ненавистный, требующій усилій, надвигался разсвѣтъ.

Въ кафэ бродягъ, у стойки, можно скушать принесенныя съ собой яства; пока я ѣмъ, кто-то другой отпиваетъ изъ моего стакана, и съ этимъ надо мириться. Иногда на Центральномъ рынкѣ, ночью, можно получить за франкъ изумительное блюдо: «arlechin» — смѣсь остатковъ ѣды большихъ ресторановъ. Тамъ, рядомъ съ недоглоданнымъ куринымъ крылышкомъ, плаваетъ сардинка, утыкаясь въ компотную гущу, и все это растворяетъ смѣсь супа, пива и вина.

Я старалась поддерживать у себя приличный видъ, пыталась умываться, — тутъ же въ рѣкѣ, но отъ холоднаго вѣтра кожа потрескалась до ранъ, не снимая платья, не мѣняя бѣлья, я расхаживала угловатой, одеребенѣлой походкой, водя плечами, ерзая и почесываясь. Когда на одиннадцатый день представилась возможность спать

раздѣвшись, я увидѣла, что все мое тѣло покрыто густой, розовой сыпью.

Рѣшила просить милостыню, — на девятый день я осталась безъ одного су; съ ночи еще ничего не ѣла. Я ощущала первый приступъ требовательной, болѣзненной необходимости подкрѣпиться. Онъ превращаетъ въ скота. Я шла, плевала подъ ноги проходимъ и вслухъ бранилась. «Вѣдь пристають же иногда мужчины. Да еще въ Парижѣ. Павелъ Кондратьевичъ потратилъ много часовъ, рисуя, — эту опасность. Я потеряла образъ женщины. Подъ мостомъ иногда случалось, но это другое. Какъ завидно однако тѣмъ, которые умѣють устраиваться съ комфортомъ». День плылъ, какъ въ чаду, мгlistый, холодный, сырой. Смеркалось. Я брела по одной изъ безлюдныхъ улочекъ Passy. Навстрѣчу, — показалась дама въ мѣхахъ, она вела за руку мальчика, одѣтаго матросомъ.

Не знаю, какая внутренняя, бессознательная подготовка предшествовала этому, но я шагнула имъ навстрѣчу и, отнюдь не удивляясь себѣ, протянула выразительно руку. Женщина растерянно меня оглянула, остановилась и раскрыла сумку. Мальчикъ капризно потянулся къ ея руке. Женщина достала монету и, улыбаясь материнской улыбкой, передала ее сыну. Мальчикъ, задржавъ голову, со страхомъ, замирая и колеблясь, медленно подступилъ ко мнѣ. Я застыла костякомъ. Онъ протянулъ рученку, но не рѣшился дотронуться до моей, — выронилъ на тротуаръ монету и отпрянулъ назадъ. Эту сцену видѣлъ человекъ, съ металлическимъ, полымъ шестомъ зажигающій газомы фонари. Я стала обладательницей 25 с.; «reelit pain» стоилъ 35 с. Я отдыхала часъ. Снова рѣшилась. Шесть разъ протягивала я руку. Когда-то я удерживала себя отъ желанія подать что-нибудь каждой встрѣчной попрошайкѣ, соображеніемъ, что «у ней въ чулкѣ тысячи». Можетъ быть, такъ же думали дамы, къ которымъ я обращалась. Къ мужчинамъ не пробовала подойти.

Ночь была особенно жестокой. Подъ сосѣднимъ мо-

стомъ кричали. Полиція спускалась внизъ. Разсвѣтъ я встрѣтила въ Halles. Мнѣ удалось подобрать нѣсколько морковокъ. Проглотила, не жевая. Сразу же разболѣлся животъ. И тутъ вдругъ въ моемъ, переполненномъ первобытнымъ страхомъ за себя сознаніи мелькнули лицо и голосъ одной знакомой курсистки. Она мнѣ чужая. Но вѣдь мы всѣ — люди. Ну, посижу у нея. Къ тому же, вѣдь могъ прійти отвѣтъ. Потерявъ отель, я сообщила Павлу Кондратьевичу ея адресъ, прося помочь. Конечно, я ее не обезпокою, — въ такую рань. Потерплю еще немного... Увидя хоть какую-то цѣль передъ собой, я нѣсколько окрѣпла. Не знаю, гдѣ я провела эти нѣсколько часовъ парижскаго, почти уже зимняго разсвѣта. Я нашла себя шагающей по мостовой, размахивающей руками и вслухъ бранящей себя: я издѣвалась надъ собой, вспоминала нѣкоторые эпизоды изъ своей юности, полной обычныхъ мечтаній, и цинично высмѣивала ихъ. Въ десятомъ часу добралась до отеля курсистки на rue Monge. Разумѣется, она уже вышла. Когда обычно возвращается? Послѣ обѣда, въ часъ два. Я направилась къ бульвару St-Michel. Можетъ быть, я ее встрѣчу здѣсь, въ центрѣ студенческой жизни. Кругомъ, — мелькала, сновала молодежь въ беретахъ съ папками, портфелями, тетрадами. Слышалась оживленная разноязычная рѣчь. Въ Café de la Sorbonne брали съ бою тартины съ масломъ. Подъ желтымъ тентомъ сидѣли напояженные брюнеты, хромающія дѣвченки улыбались имъ, проходя мимо.

Я разгуливала отъ rue Soufflot до площади Св. Михаила и обратно, вверхъ, къ Gare du Luxembourg. Около ярмарочныхъ рулетокъ уже толпились игроки, любители. Накрашенные женщины и полногрудые мужчины безъ воротничковъ собирали ставки, безразлично-засывающе выкрикивая номера. Призрачная жизнь текла полнозвучно, ворочаясь въ своихъ мнимыхъ берегахъ. Я чувствовала колющую боль. Слѣва. Мое сердце. Оно болѣло насквозь, спереди и въ плечахъ. Весь мѣшокъ. И справа, подъ клю-

чицей, — должно быть аорта. Я когда-то брала у Павла Кондратьевича популярныя книги по медицинѣ. Я тогда этимъ очень гордилась.

Ноги мои подкашивались; я скрючилась влѣво, — такъ легче дышать; между глазами и предметами то и дѣло взлетали свѣтлые, пустые, маленькіе диски. Я думала приблизительно такъ:

Если бѣ упасть, если бѣ упасть вотъ здѣсь на колѣни, возвести руки вверхъ и закричать: о горячемъ сулѣ, о чистой постели, о правѣ на какую-то осмысленную жизнь... неужели, неужели во всемъ этомъ мѣсивѣ столицы не найдется никого, кто бы помогъ, сразу, до конца? Въ Парижѣ представлены всѣ расы. Здѣсь пересѣкаются нити міра. Неужто же по всей землѣ не найти человѣка, который безъ словъ взялъ бы меня ласково за руку, увлекъ бы куда-нибудь, спряталъ, привелъ въ себя?

И помню, тогда же, у меня мелькалъ отвѣтъ, что это должно быть неправда, люди не столь злы, многіе навѣрное бы откликнулись; но для этого нужны большая чистота и мужество. Мое сердце еще до многого не доросло: чѣмъ больше горя, тѣмъ больше гнѣвомъ исполнялось оно, оскорбленной гордостью, ужаленнымъ самолюбіемъ, — словно кто-то, опредѣленный, оттолкнулъ мою довѣрчиво протянутую руку.

Я ѣхала въ Парижъ, какъ на послѣдній смотръ. Я мысленно подсчитывала свои силы: молода, не уродъ, во мнѣ русская кровь, вскормленная «Анной Карениной» и Софіей Перовской; я жажду жертвеннаго подвига, — готова любить, умѣю понять... такъ неужели же все это ни къ чему, никому, ни для чего? Самыми большими недостатками моего характера было то, что я не глупа, самостоятельна, не лѣнтаяка, однимъ словомъ, именно тѣ качества, которыя можно принять за положительныя; благодаря имъ я считала себя достойной лучшей участи и, не находя ея, чѣмъ бы усумниться въ правильности всей моей жизненной устрѣмленности, только звѣрѣла и томилась.

Курсистка меня узнала. Я боялась, что она постыдится раскланяться со мной (вотъ, какой я была). Она меня давно ищетъ. Вѣдь нельзя же такъ. Идемъ къ ней. Напьемся чаю. Она мнѣ представила своего спутника. Невзрачный, вихрастый, угловатый разночинецъ, — Онучинъ.

Отъ Павла Кондратьевича писемъ нѣтъ. Курсистка попробовала задать нѣсколько обычныхъ при встрѣчѣ вопросовъ, но тотчасъ же осѣклась. Мы поднялись въ номеръ. Безъ лишнихъ словъ она зажгла спиртовку. Снять пальто она мнѣ не предложила, догадавшись, вѣроятно, что я постѣсняюсь. Онучинъ, вздорный 30-лѣтній юноша, рѣшилъ меня занимать. Онъ разсказалъ о себѣ всю подноготную. Бесѣдовалъ со мной, какъ со старымъ другомъ (позже я узнала, что говорить онъ искренно и съ интересомъ только съ людьми мало ему знакомыми). Онъ поэтъ, художникъ и спиритуалистъ. Не любитъ женщинъ, т. к. онѣ вносятъ специфическій духъ. Его двое пріятелей дружили между собой; то были интересные и достойные люди; одинъ изъ нихъ изнасиловалъ даму другого, — съ тѣхъ поръ они поссорились навсегда, изъ-за такого въ сущности пустяка. Онучинъ бы поступилъ иначе. Вотъ что такое женщина. Онъ живетъ съ одной, но онъ ей всегда повторяетъ, что не любитъ ее.

Хозяйка поставила передо мной судокъ, плеснула чаю, дополнила молокомъ, подсластила и отвернулась. Со спокойствіемъ эпилептика, отмѣчающаго нѣкоторые симптомы, быть можетъ, надвигающагося припадка, я медленно нагнулась къ чашѣ и отпила.

Первый глотокъ; горячаго; сладкаго; послѣ двухъ дней вынужденнаго поста; кто забудетъ тебя? Нѣжный огонь въ груди. Сладостный восторгъ. Высоко художественныя впечатлѣнія. Хочется вскрикнуть. Радостно завизжать, плакать всѣмъ своимъ истощеннымъ естествомъ. Всколотить, опрокинуть столъ; смести, разорвать, пророчески ругая хозяевъ и угрожая имъ. Ощущеніе неземной легкости: вотъ сейчасъ взлечу?! А трудно подняться, ноги не дер-

жать: упаду. Чувственное наслажденіе отрѣшенности. Сознаніе невозможности ручаться за свои поступки: быть можетъ, вскрикну, быть можетъ, расплачусь. Первый глотокъ; горячаго; сладкаго; послѣ двухъ дней вынужденнаго поста, кто забудетъ тебя?

— Кушайте, пожалуйста, ѣшьте круассаны, — пригласила хозяйка.

— Хорошо, я возьму, — охотно согласился Онучинъ, не переставая въ чемъ то убѣждать.

— Спасибо, — отозвалась я и протянула руку къ подносу съ тѣмъ характернымъ жалостнымъ корчемъ, съ какимъ мнительный гость тянется черезъ многолюдный столъ къ пирожному.

Я откусила тѣсто со страхомъ: для меня въ ту минуту глотать не было простымъ, обычнымъ процессомъ, — я боялась чуть ли не припадка; и въ то же время я о чемъ то грустила, предчувствуя, что сейчасъ меня оставитъ, придется разстаться съ этимъ ощущеніемъ неземной, ангельской легкости поста.

Я съѣла вторую баранку, отъ третьей отказалась, сдержанно отблагодаривъ.

Попрошалась съ курсисткой... Она мнѣ почти ничѣмъ не можетъ помочь. Просила заходить. Дала десять франковъ — незамѣтно сунула ихъ мнѣ. Мы обѣ покраснѣли и на минуту возненавидѣли другъ друга. За мной увязался Онучинъ. На него мое общество дѣйствовало, какъ онъ выражался, благотворно. Онъ болталъ, болталъ безъ умолку. Читалъ стихи. Спрашивалъ меня о Богѣ. И не дослушавъ, продолжалъ трещать. Онъ освѣдомился:

— Вы куда, можно васъ проводить?

И вдругъ я, неизвѣстно чѣмъ подготовленная къ этому, возбужденно, однако безо всякой слезливости, начала ему повѣствовать о послѣднихъ одиннадцати дняхъ моей жизни. Я закончила, рассказавъ, какъ однажды, въ сумерки, спряталась подъ кустами городского сада; какъ я была смертельно испугана кравшимися въ темнотѣ къ пруду

людьми, — то оказались сторожа, ночью ловившіе муниципальную рыбу; какъ они меня обнаружили, но не рѣшились оштрафовать, опасаясь доноса о ихъ воровствѣ.

Я прервала себя, когда почувствовала готовность разревѣться. Къ счастью, Онучинъ былъ увлеченъ, — весь загорѣлся. Въ немъ было много мальчишескаго, которое сейчасъ мнѣ оказалось на руку. Онъ вдохновился: онъ меня устроить; непременно. Ахъ, какая я должно быть сильная да интересная.

— Поймите, — объяснялъ онъ горячо. — Мы здѣсь всѣ изнываемъ безъ общества русскихъ дѣвушекъ! Этого тихого, благостнаго вліянія вѣжныхъ, родныхъ существъ мы лишены! Эмиграція это эвакуированная армія. Нѣкоторые вывезли своихъ женъ Но дѣвушекъ, нашихъ губернскихъ барышень, нѣтъ! Какія были, тѣ растлились. Здѣсь нѣтъ больше дѣвушекъ, и благодаря этому, именно этому, мы теряемъ лучшія особенности нашей расы! Женское общество сильнѣе климата. И вотъ вы русская, подлиннѣйшая, по крови и кости, да вѣдь здѣсь вы пойдете на вѣсъ золота! Ахъ, какъ я счастливъ!

Общество нашей знакомой, курсистки, для него не представляетъ интереса:

— Либо она не русская, либо не дѣвушка, — безапелляціонно рѣшилъ онъ.

Я старалась умѣрить лихорадку этого легко возбуждающагося, немолодого субъекта, по опыту догадываясь, что если весь его не особенно большой запасъ предприимчивости уйдетъ на декламацию, то услужить онъ, — уже не сможетъ или не захочетъ. Кое-какъ мнѣ удалось перевести бесѣду на дѣловые рельсы.

— Вы умѣете рисовать? — спросилъ онъ.

— Умѣю.

— А обводить?

Я не поняла. Онъ объяснилъ.

— Нѣтъ.

— А вы способная?

— Да. Да! -- не я, а все во мнѣ вскрикнуло.

— Идемте, я попытаюсь, — озабоченно рѣшил онъ, уже потускнѣвъ.

Мы предстали передъ бѣлокурымъ, бѣлобрысымъ гигагомъ, съ выправкой военного. То былъ Санитаровъ, официальный контръ-мѣтръ (фактическимъ былъ все тотъ же Онучинъ). Хозяина, котораго всѣ звали «Иудушка», не было и должно быть поэтому такъ легко совершился мой переходъ за монгольскую стѣну: меня приняли; какъ ни злостны казались предыдущія пораженія, все же моя теперешняя удача, — такъ всегда выходитъ, — была еще чудеснѣе по легкости и быстротѣ случившагося. Мнѣ положили три франка въ часъ, предупредивъ, что остальное зависитъ отъ моего рвенія и отъ сезона; до первой покупки позволили ночевать въ «конторѣ». Именно когда вопросъ о кровѣ разрѣшился, силы меня оставили: я гнулась во всѣ стороны, связки мои словно размякли, — я мечтала, подобно улиткѣ, обрѣсти вдругъ твердый футляръ-опору. Въ кнѣтушкѣ, гдѣ мнѣ предстояло спать, ютилась дряхлая, вѣроятно блошная тахта; полъ въ ступенькахъ; окна не было. Съ какимъ сложнымъ чувствомъ я нѣсколько разъ ходила смѣтрѣть на свое ложе. Такъ новобранная заглядываетъ въ спальную.

Я долго мылась передъ сномъ: и это мнѣ доставило такое плотское, такое искристое наслажденіе, что мнѣ стало совѣстно. Мое тѣло было покрыто равномерной, крупной сыпью. Фиолетово-красные пятячки. Отъ воды они поблѣднѣли. Я смѣнила бѣлье и улеглась съ чувствомъ жаждущаго погорѣльца, припадающаго къ источнику. Но въ эту ночь мнѣ почти не удалось заснуть.

.....

Ателье, куда я попала, было русское, то-есть со странностями. Хозяинъ, въ прошломъ генераль, женился на французенкѣ со «ста тысячами», которой принадлежалъ модный магазинъ, — haute couture. Онъ рѣшилъ между



прочимъ затѣять декоративную мастерскую. Его убѣдили, что денегъ на это дѣло не требуется.

— Иудушка пріѣхаль, — громкимъ шелотомъ докладывалъ «паралитикъ», специалистъ по бархатнымъ подушкамъ, сѣдой, бритый холостякъ, скрюченный болѣзнями, на подгибающихся, ревматическихъ колѣнкахъ. За дверью слышались скребки, постукиванія, стоны. То бывшій генераль счищаль съ двери краски. Каждый день по этому поводу происходилъ разговоръ:

— Опять загрязнили дверь?!

— Это не грязь, а охра! — объяснялъ «паралитикъ».

— Зачѣмъ же кляксовать двери? Вѣдь жалко, — говорилъ хозяинъ.

— Патронъ, — встрѣчалъ его Онучинъ, — кнопокъ нѣтъ.

Генераль злобно насъ всѣхъ оглядывалъ, для безопасности отступалъ въ уголь и жалобно повторялъ:

— Кнопокъ?

— Да, кнопокъ!

Генераль опускалъ глаза на засоренный полъ, затѣмъ, съ неожиданной легкостью подскочивъ къ столу, «паралитика», нагибался и подбирая что-то, радостно возвѣщаль:

— А вотъ, вотъ же кнопки.

— Такъ онѣ согнутыя! — обижался «паралитикъ».

— А вотъ сейчасъ мы ее отогнемъ. Отогнемъ, — возбужденно твердилъ генераль. И схвативъ плоскогубцы, скрывался въ «конторѣ». Кнопками онъ занимался до самаго вечера.

Онучинъ съ хохломъ Прокопенко насмѣшливо фыркали; что то крася. Волоподобный «Кодъ», бывший судеецъ, все искалъ камень для точенія пошуарныхъ ножей. Ателье медленно сѣдало сто тысячъ генеральши.

Въ субботу утромъ Санитаровъ, «контръ-мѣтръ» и главный представитель фирмы, приносилъ деньги. Но платили только послѣ полудня, даже если работы больше и не было.

— Позвольте, — горячился гоноровый «паралитикъ». — Заказа нѣтъ вѣдь! Чѣмъ по домамъ разойтись, извольте ждать вашихъ паршивыхъ грошей.

— Въ два часа, — отчеканивалъ генераль. — Какъ въ большихъ мезонахъ!

Платили въ три. Часъ уходилъ на споръ «паралитика» съ патрономъ. Мѣсяца два тому назадъ онъ вырѣзалъ пошуаръ для рождественскихъ дѣдовъ. По какимъ-то соображеніямъ, генераль рѣшилъ за него не платить. Вотъ объ этомъ «историческомъ» — какъ его звали — долги пререкались каждую субботу.

— Эта каракатица насъ всѣхъ со свѣту сживетъ! — негодовалъ Онучинъ.

Послѣ ухода патрона всѣ оживлялись. Небрежно заканчивали работу, какая была. Часамъ къ пяти являлись агрономъ Кишкинъ и поэтъ Вайсъ. Агрономъ приносилъ вино, дешевый камамберъ, прогнившіе мандарины и еще какую-нибудь тухлую «экзотику». Прокопенко радушно кланялся во всѣ стороны и мылъ стаканы. Пили, сразу добряя и веселя. Кишкинъ просилъ Зою, по вечерамъ подрубывавшую платки, бросить иглу: онъ платитъ ей за часы отдыха. Прокопенко поминутно убѣгалъ покупать вино. Пили, беззлобно шумя и гогоча. Поэтъ Вайсъ увѣрялъ, что душа человѣка безсмертна. Онучинъ рассказывалъ о тайновѣдчествѣ Рудольфа Штейнера, основоположника антропософіи.

— Почему вы такъ думаете? — чокался Кишкинъ то съ Вайсомъ, то съ Онучинимъ. — Меня интересуеетъ, изъ какихъ мотивовъ вы исходите!

Потомъ агрономъ сидѣлъ на колѣняхъ огромнаго, какъ волъ, судейца. Судеецъ пѣлъ совершенно стальнымъ голосомъ «реве тай стогне Днѣпръ широки».., время отъ времени цѣловалъ Кишкина въ лысую макушку и уговаривалъ его жениться, пока не поадно:

— Женитесь. Женитесь на вдовѣ. На вдовѣ съ ребенкомъ, крѣпче будетъ.

Кишкинъ приподымалъ руками — словно кружевную юбоченку — полы своего смятаго пиджачка, изображая кафэ-шантанную пѣвичку; и дрыгая въ воздухѣ одной ногой, шелелявилъ: «мой милый неврастеникъ, поменьше словъ, поменьше словъ, побольше денегъ; трамъ-трамъ, трамъ-тамъ-тамъ», — пускался онъ стрекозой по ателье.

Зоя спала безмятежнымъ сномъ за счетъ агронома. Онъ ежеминутно подбѣгалъ къ ней, заботливо укрывалъ, съ чувствомъ хозяина; неловко, боязливо гладилъ. Лысый, добрый, пьяный.

Такъ моя жизнь казалось складывалась не хуже, чѣмъ у большинства, но отъ этого мнѣ было не легче.

Въ будни, чтобы поспѣть во время, я вставала до зари. Въ нетопленной комнатѣ было неуютно, какъ въ мертвецкой. Я наскоро глотала чай изъ того же стакана, что полоскала ротъ, и, тщательно заперевъ дверь, бѣжала съ лѣстницы. Хотя времени было достаточно, но подхваченная грозно спѣшавшей ко входу въ метро толпой, я тоже пускалась унижительной рысью, спѣша за билетомъ «aller-retour».

Я работала отъ девяти утра до восьми вечера съ обѣденнымъ перерывомъ: обводила «клеемъ» метровые квадраты крѣпъ-де-шина. Пространства, обведенныя непроницаемой массой, закрашивали въ разные цвѣта уже другіе. Надо было отъ руки вести прямыя линіи, идеальныя круги, стрѣльчатые зигзаги. «Chine» лежалъ поверхъ кальки и нарисованный на ней узоръ просвѣчивался тускло и враждебно. Эта работа мнѣ казалась подобной пляскѣ на канатѣ: до послѣдней минуты нельзя быть увѣренной въ благополучномъ концѣ, — одна несвоевременная дрожь фаланги и все испорчено; надо чистить бензиномъ или смѣсью эфира съ нашатыремъ, надышавшись котроой, испытываешь боль въ правомъ мозговомъ полушаріи, тошнить и позываетъ къ рвотѣ. За время «исправления» мнѣ не платили; иногда кляксы уже нельзя было считать,

тогда за метръ шелка мнѣ вычитывали полъ рабочаго дня. Мой нищенскій заработокъ съѣдали эти порчи. •

Въ восьмомъ часу я уходила, унося съ собой запахъ бензина. Дулъ сырой вѣтеръ. Автобусы мчались, гудя какъ разъяренные шмели. Группы людей безсильно обступали переполненные трамваи. Звонили у входа въ سینема. Съѣстные лавки отпускали голодной толпѣ куски пожирнѣе, получше. Куда спѣшить? День, слава Богу, на исходѣ. Дома меня никто не ждетъ. Но такова власть насыщенной нетерпѣливости города; онъ захватываетъ въ свои поршни и трудно не поддаться его худымъ чарамъ, какъ невозможно слушать военный маршъ и идти не въ тактъ съ нимъ. Только вернувшись въ свой отельный номеръ, я соображала, что собственно можно было еще остаться въ «городѣ». Но гулянье въ городѣ само по себѣ ничего кромѣ разочарованія и усталости не приносило. А посѣщать мѣста, которыя казались интересными, у меня не было средствъ; да и это былъ обманъ. Такъ отъ станціи къ станціи, отъ direction къ direction меня бросало вмѣстѣ съ сонмомъ мнѣ подобныхъ. На Монпарнасѣ одной волной мы катились къ линіи Nord-Sud, давя переднихъ, толкаемые задними. Электрическія двери издали скрипѣли, прикрываясь передъ самымъ носомъ. Съ рокотомъ останавливался за рѣшеткой поѣздъ. Мы уныло дежурили въ узкомъ проходѣ, погруженные въ душный, потный сумракъ, въ истерическое безразличіе, перемежающееся съ усталымъ раздраженіемъ. И это ожиданіе было похоже на кошмаръ длящейся вѣчно, атавистическій сонъ или бредъ умирающаго ипохондрика. У меня мелькала догадка, что въ аду грѣшники будутъ вотъ такъ безъ конца дожидаться. Пошатываясь на натруженныхъ ногахъ, всѣ грозно озираются на облакачивающихся сосѣдей; должно быть лампы горять, а въ зрачкахъ темно, темно.

Вагоны здѣсь уже полупустые. Просторные, свѣтлые. Я опускалась на фанерную доску сидѣнья и, податливо покачиваясь, закрывала глаза. Въ этотъ часъ, единственно

за весь день, въ электрическомъ поѣздѣ, глубоко подь землей, мнѣ удавалось наконецъ оглянуться, задуматься, взглянуть на себя со стороны. Мелькали крылатыя названія станцій. Сонные пассажиры таяли по пути. И за эти 10 минутъ я успѣвала ощущать всю свою жизнь, той тусклой мыслью, которая не часто рождаетъ дѣйствіе. Я думала приблизительно такъ:

— Вотъ уже нѣсколько мѣсяцевъ, какъ я въ Парижѣ. Въ столицѣ міра. Куда ведутъ всѣ большія дороги. Гдѣ вся земля представлена. И если здѣсь моя жизнь такъ униженительно сѣра, то гдѣ же и когда она будетъ содержательнѣе?

Встаю въ семь. Непримириная стужа номера-камеры. Бѣгу вприпрыжку. Метро. Отъ девяти до сумерекъ грошавая, чуждая работа. Вечеръ. Подземелье; темные огни. Пересадка на Монпарнасѣ. Некрашенная лѣстница холоднаго отеля: кругъ завершень. А завтра въ семь — вставать.

Воскресенье начиналось поздно, долгожданное размѣнивалось на мелочи: чистку, штопку, мытье головы, — оставляя горечь и сиротливую боль не оправдавшихся надеждъ. Конечно, я обошла нѣкоторые музеи. вмѣстѣ съ праздничной толпой семейныхъ французовъ, иностранцевъ съ каталогами и неряшливыхъ безработныхъ, я становилась въ очередь у желтой Джіоконды; застывала у Венеры Милосской. Но живописи, какъ большинство изъ этихъ посѣтителей, я не любила, мрамора не понимала и уходила усталая до обморока, голодная, съ мигренью и съ униженительнымъ, рабскимъ сознаніемъ, что воскресенье то ушло. А завтра съ семи, постылый, ненужный трудъ.

Въ этомъ аукающемъ, стучащемъ, порочномъ круговращеніи, у меня все требовательнѣе и требовательнѣе назрѣвала потребность обрѣсти нѣчто, не убѣгающее, не скользящее вмѣстѣ со всей окружающей меня мнимой дѣйствительностью, обо что бы я могла опереться. Что-то, если не совсѣмъ неподвижное въ вѣкахъ, то хо-

тя бы передвигающееся по иному. И безъ этого мнѣ трудно, мнѣ постепенно невозможно становилось жить.

Я родилась въ семьѣ захудало-дворянской, чиновничьей. Моя мать рано умерла, оставивъ только нѣсколько поблекшихъ карточекъ, на которыхъ она снята во весь ростъ, съ огромной, толстой, тяжелой косою до пола и съ угрюмымъ, неудовлетвореннымъ взглядомъ, устремленнымъ все мимо. Въ дѣтствѣ я часто хворала и отецъ меня буквально пронесъ на рукахъ сквозь строй всѣхъ инфекціонныхъ заболѣваній. Я уцѣлѣла благодаря чуду и естественно, что мы всѣ связывали съ этимъ надежды на какую-то осмысленную жизнь. Въ 15-мъ году мы эвакуировались, убѣжавъ отъ нѣмцевъ въ глубь Россіи. Отъ 18-го до 22-го — проходила въ деревняхъ на босу ногу, простояла въ очередяхъ, декламируя Блока; прислушивалась къ ружейной пальбѣ. Можетъ быть, въ этомъ скрывался нѣкій смыслъ, но я его не видѣла. Въ 22-мъ, потерявъ по дорогѣ отца, дорвалась къ Ригѣ, гдѣ была поражена бѣлымъ хлѣбомъ, королевскими сельдями, шелковыми чулками и тѣмъ, что словно — ничего не случилось. Само собою разумѣется, что и не для этого, — стоило родиться. Въ Ригѣ я жила подобно всѣмъ подросткамъ, какъ бы не вѣдая, что творю. Впервые встрѣчалась съ нѣкоторыми явленіями природы, инныя одолевая, передъ другими отступая; боролась за свое существованіе; но все это какъ-то походя, увѣренная, что это «пока», а настоящее начнется послѣ. Я служила. Училась. Любила. Я вынесла достаточно горечи и холода и совершенно очевидно, что не только для этого болотца я уцѣлѣла. А мысль, что можно родиться, жить и умереть безъ назначенія, безъ смысла, была для меня неприемлема; и когда я начинала къ ней склоняться, она приносила съ собой такую смрадную пустоту, съ которой жить мнѣ становилось не въ мочь. Если бѣ находиться въ холѣ и въ нѣгѣ, если бѣ я участвовала въ земныхъ радостяхъ, — дансинги, премьеры, тропическія страны, забавное общество, — можетъ быть тогда легко

примириться. Но чтобы осилить каторжное, одиночное заключеніе, которое и составляло мою жизнь, — мнѣ надо было знать: къ чему?

Когда-то молодежь моего круга и темперамента уходила въ революцію. Туда пошла моя мать и всѣ родные съ ея стороны. Ледяной вѣтеръ 17-го года сдулъ верхній пласть міра. Подъ нимъ оказалась бурная, черная и глубокая вода. Надо было взвалить на себя грузъ поисковъ. Старое размело, какъ жировыя лятна. Недостаточно бороться съ неправдой, чтобы быть правымъ. И во всякомъ случаѣ для себя въ этомъ я не находила мѣста.

Мужчины окунаются въ дурманъ страстей: вино, развратъ, спортъ. Можетъ быть. Но у меня не было для этого возможностей.

Любовь? Конечно, когда-то я связывала съ этимъ большія, а одно время и всѣ, надежды. Но тотъ опытъ, который я приобрѣла при ближайшемъ участіи Павла Кондратьевича, потихоньку, съ содроганіями и угрызеніями совѣсти развращавшаго меня, какъ, впрочемъ, всѣ дарившіе меня вниманіемъ мужчины, сдѣлалъ свое. Скажу кратко: думаю, — самое жестокое разочарованіе для женщины это бракъ. Разумѣется, я понимаю, хорошо полюбить, имѣть сына. Но есть въ этомъ чувствѣ та смиренная горечь, съ какой, поздней осенью, человѣкъ покупаетъ печь (хорошую, «feu continu»); но если бъ солнце грѣло, вѣдь онъ бы о ней не подумалъ...

Вагоны дергають; на заворотахъ открывается перспектива тунеля съ гирляндой тупыхъ огней. Трубятъ, казалось самими себѣ надоѣвъ, сигнальные рожки. «Dubonnet», «Dubonnet».

Всего десятокъ минутъ. А чего, чего не переберешь. Не думами, не словами, а тѣмъ, что рождаетъ и мысли и зачаточныя движенія языка. Отрывочная сигнализациа. «Твое положеніе — дрянъ», — мягко кивала я головой, съ жестокимъ любопытствомъ отвращенія разглядывая въ окнѣ вагона свое собственное отраженіе, съ которымъ никакъ

нельзя разстаться. О, какъ я себя опротивѣла, вся, всегда; и только потому я догадалась, что это отъ излишней любви къ себѣ. «Твое положеніе незавидное». И провѣряла наспѣхъ: *avis favorable*, «каторга», одиночество, полуголодъ. «...Подумай, что тебя ждетъ? Чудесь не бываетъ, изъ настоящаго рождается будущее. Повезетъ, получишь право на работу; и службу лучше оплачиваемую. Довольна?» Улыбка. «Нѣтъ? Второй вариантъ. По вечерамъ занимаешься; тебѣ даются языки; пять языковъ, *steno-dactylo*; 1.500 франковъ *pour composer*; работаешь весь годъ, приодѣнешься; бѣлье, шляпа, перчатки; въ августѣ къ морю, песокъ, запахъ; мѣсяць ничего не дѣлаешь, загорашь; вернешься свѣжая, смуглая и снова годъ работы. Удовлетворяетъ? Нѣтъ... Тогда послѣдній вариантъ. — Ты слѣдишь за наружностью и прочее; подцѣпишь мужа; Обучишь, говорить, ...обезпеченъ. Будешь вставать въ десять утра. Нѣтъ. Нѣтъ!» — вскрикивала душа.

Если бъ мое настоящее походило на эти образчики, можетъ, я бы какъ нибудь ужъ примирилась; но оно роковымъ образомъ уступало даже имъ, поражая своей безвкусицей и ничтожествомъ. У меня не было спасательнаго клапана, пусть мнимаго, но все же дающаго людямъ возможность существовать; никакого «мифа», скрывающаго грубые швы налаженнаго другими, вопіющаго порядка жизни. Я прозябала въ постоянной боязни всего и всѣхъ: въ ателье — хозяина, который могъ недоплатить, контръ-мэтра, который могъ лишить нелюбимаго, бессмысленнаго труда, сослуживцевъ, которые могли напакоститъ; на улицѣ, — жадныхъ мужчинъ, наглыхъ женщинъ и, главное, представителей власти: крылатка постоваго агента, фуражка полицмена-велосипедиста и даже зычный окрикъ кондуктора автобуса... таили въ себѣ угрозу, предупрежденіе: я — безправная, я — раба, я — преступница. Въ этомъ значительную роль сыграли дни моего бездомнаго побиранья: всякій можетъ обидѣть, всякій можетъ прогнать. (И обижали, и гнали). У себя въ отелѣ я избѣгала



встрѣчи съ патрономъ, робѣла передъ прислугой, уступала дорогу жильцамъ; каждый стукъ въ дверь воспринимала какъ приближающееся несчастье.

Все это, мучительное, противное и неестественное, поражало, заставляло остановиться, сосредоточиться, подумать. А осмысливъ, я отчаялась. Это отчаянье овладѣвало мною незамѣтно, оно зародилось уже давно, постепенно уходя въ глубь и въ ширь, овладѣвая такими центрами души, что дышать становилось нечѣмъ.

Еще въ отрочествѣ, когда мнѣ случалось смотрѣть внизъ съ веранды высокаго этажа, я спрашивала: броситься? И не то было странно, что вопросъ этотъ возникалъ, а то, что въ принципѣ онъ давно словно былъ разрѣшенъ, и въ умѣстности этого — и даже обязательности — не приходилось сомнѣваться. Я родилась съ тѣмъ характеромъ, который въ иную эпоху заставилъ бы меня легко умирать за освященную традиціей идею, итти на каторгу, лѣтъ подъ свинцомъ пуль. Но на мою долю выпала неожиданная тяжесть новыхъ поисковъ. «Чѣмъ жить?» — спрашивала я у окружающихъ. «Тѣмъ, что жуешь». Невозможно. Да и жевала я только дешевку. «Найди себѣ отдушину: азартъ игръ, развратецъ, سینема!» — совѣтовали всѣ молчаливымъ примѣромъ.

Я пробовала бороться. Записалась въ бібліотеку. Когда-то книги на меня дѣйствовали, какъ утѣшительный сонъ. Но за малымъ исключеніемъ, на этотъ разъ «отдушина» не помогла. Очевидно, есть періоды, когда необходима болѣе реальная помощь. Старые авторы прекрасны. Но нѣсколько какъ бы наввыны. Читаешь ихъ и будто — о другой планетѣ, гдѣ важно не то, что для меня главное, и наоборотъ. Молодые же въ лучшемъ случаѣ страдаютъ, какъ и я, незнаніемъ. Къ тому же, времени для чтенія у меня будто не оставалось. Пробовала вести дневникъ, и бросила: когда писать? И, главное, словно бы не к чему.

Я посѣщала литературныя собранія. Тамъ десятка два ненавидящихъ другъ друга неудачниковъ говорили вѣро-

ятно о томъ же, о чемъ я думала. Но они были отравлены профессиональными соображеніями и условностями; ихъ вдохновляла въ большей мѣрѣ честь открытія истины, чѣмъ самая истина. Каждого изъ нихъ заботило главнымъ образомъ, какъ бы другой не пошелъ дальше его. Это отталкивало. Къ тому же меня не занималъ отвлеченный споръ, — «что есть жизнь?» Мнѣ необходимо было только найти источникъ силъ, чтобы пожелать дальше примириться съ жизнью. «Во имя чего?» — настойчиво подталкивалъ меня инстинктъ самосохраненія.

Иногда я, чтобы развлечься, проводила вмѣстѣ съ Онуцинымъ воскресный день на толчкѣ. «*Marché aux Puses*» было его излюбленнымъ мѣстомъ. Здѣсь онъ освобождался отъ своей угловатости, становился самимъ собой: это одинъ изъ его спасательныхъ клапановъ. Я его однажды спросила, почему, если это такъ соотвѣтствуетъ его сущности, онъ не напишетъ поэму о толчкѣ? Онъ горько отвѣтилъ, что на *Marché* люди ходятъ дешево купить штаны, а не слагать рифмы. Потомъ добавилъ грустно: «конечно, поэтъ не долженъ быть заинтересованъ въ ходѣ жизни». Но видъ брошенныхъ на землю, смѣшанныхъ съ рухлядью, пыльныхъ цѣнностей его околдовывалъ. Онъ шнырялъ по рядамъ, копался въ дырявыхъ сосудахъ, рылся въ грязномъ бѣльѣ, безошибочно изъ жуткой груди рваного тряпья добывая шелковую рубашу или англійскаго сукна жилетъ. Онъ владелъ двумястами подержанныхъ галстуковъ, хотя въ ателье Онуцинъ самъ ихъ раскрашивалъ и могъ брать новые. Такая страсть, — онъ былъ точно игрокъ, ненуждающийся въ выигрышѣ. Впрочемъ, приобретая иногда по сравнительно высокой цѣнѣ несессеръ съ серебряной инкрустаціей или тигровую шкуру, онъ мечталъ, что подвернется выгодный покупатель, такъ какъ ему эти вещи, — ни къ чему; но пропустить ихъ не могъ: «въ магазинѣ онѣ стоятъ тыщу!»

Мнѣ тоже нравилось бродить по этимъ пахнущимъ выгребной ямой, сорнымъ лабиринтамъ, одному Богу и Ону-

чину извѣстнымъ, гдѣ можно пріобрѣсти все мыслимое, — отъ подержанной кровати для новобрачныхъ до покрытаго плесенью гробика для недоноска, — смотрѣть на бывалыхъ людей (возсѣдающихъ за горами мѣдныхъ канделябровъ, подзорныхъ трубъ, ржавыхъ пицалей и выцвѣтшихъ портретовъ), завтракающихъ на умытыхъ дождями матрасахъ, пытливо оглядывающихъ прохожихъ, иногда стрѣляя имъ вслѣдъ блатнымъ словомъ или презрительнымъ плевкомъ.

На главныхъ артеріяхъ этого городка играютъ граммофоны, свистятъ радіо-аппараты, тужась черезъ потрескавшіеся громкоговорители пролихнуть человѣческой голось. Здѣсь расположилась мѣстная аристократія, люди латинской расы. Они глядятъ поверхъ своего товара, неохотно отвѣчаютъ на вопросы, курятъ трубку, — красные, полнощекіе, медлительные и мудрые. За каждымъ и каждой изъ нихъ, — бурная жизнь. Имъ случалось продавать и покупать все, что вмѣщаютъ въ себя три измѣренія нашей планеты, и оттого должно быть такой равнодушной лѣнью, такой брезгливой флегмой вѣетъ отъ нихъ. Эти женщины начинали пѣвицами, балеринами, содержанками богатыхъ купцовъ. У нихъ были драгоценные камни, кокаинъ и любовники; богатство приходитъ, богатство уходитъ; все покупается въ мірѣ, немного дороже, немного дешевле.

Испитое лицо немолодой женщины, съ черными какъ смола волосами, считающей деньги. Косматая вѣдьма-хиромантка, глядящая въ окно пестраго домика на четырехъ колесахъ. Дѣтвора съ цинковыми котелками, въ бутафорской обуви, шлепающая по серединѣ мостовой. Краснощекій табетикъ, послѣ литра вина и ливра мяса съ улыбкой мудреца и стойка старается угадать, что намъ нужно.

— Двадцать, — говоритъ Онучинъ.

— Тридцать пять, — спускаетъ философъ безъ воротничка и застываетъ, какъ факиръ.

Въ боковыхъ переулкахъ протяжно гомонять.

— Это выходы изъ Россіи, — осклабляется Онучинъ.

Горестныя лица евреевъ. Лохмотья мѣстечекъ Привислянскаго края. Смѣсь языковъ. Божба и ругань. Древняя старуха со странными, глубокими, — какъ на бивняхъ слона, — складками толстой кожи лица, сидитъ идоломъ, окопавшись грудой невозможно дрянныхъ, зловонныхъ тряпокъ; неподвижная, безмолвная, отдаленная: даже не надѣется, что вотъ подойдутъ, купятъ ея мусоръ. Одиноко, голодная, стараясь не тратить послѣдняго тепла, она застыла никѣмъ не тревожимая. Когда она умретъ, вотъ такъ незамѣтно одереветъ, вѣроятно пройдетъ много часовъ, прежде чѣмъ это замѣтятъ.

Грамофонъ играетъ: «Только разъ бываютъ въ жизни встрѣчи»... Продавецъ старыхъ дисковъ, малоросъ со злымъ, опухшимъ лицомъ подагрика, суетливо тычетъ свои руки въ трубу. Рядомъ стоитъ русская дама — покупательница. Какъ на зло, аппаратъ испортился и пластинка гнусаво подвизгиваетъ.

Еврейская божба, русскія восклицанія, польская ругань непринужденно порхаютъ надъ парижскимъ предметемъ.

Въ ресторанахъ за полтора франка можно получить блюдо *rommes frites* или *houles*. Ихъ подаютъ на тарелкѣ съ кромкой хлѣба, — безъ вилокъ, безъ ножей. Ѣдятъ руками; пьютъ красное вино, поминутно оглядывая купленное, — то съ сомнѣнiемъ, то съ удовлетворенiемъ, — или неодобрительно качая головой: вспоминая о пропущенной дешевкѣ. Торговцы заказываютъ вторично то же самое; Ѣдятъ съ толкомъ, пьютъ, смакуя всѣми пятью чувствами, не отвлекаясь, не суетясь: здѣсь они у себя и священнодѣйствуютъ. У нихъ за плечами бурныя плаванья. Онучинъ съ нѣкоторыми знакомъ. Вотъ корсиканецъ, — былъ въ Аргентинѣ депутатомъ, судился за убійство дѣвушки и бѣжалъ. Его жена торговала блондинками. Когда она была моложе, ей многое прощали. Но разумъ приходитъ, когда все остальное утеряно. О прошломъ жалѣть? Не лучше ли кушать жирныя *houles* и запивать «краснымъ». Философы въ чулкахъ разнаго цвѣта. Стойки съ

багровыми затылками. Съ какимъ пріоткрывающимъ тайныя двери страхомъ, я глядѣла въ ваши круглые, лакированные глаза. Домой я возвращалась усталая, сосредоточенная, дорожа накопившимся за день чувствомъ высокой печали, въ ткани которой свѣтилась возможность какого-то грядущаго спасенья. Я заботливо впитывала въ себя, всасывала весь этотъ кавардакъ, бессмысленный балаганъ, гдѣ въ сгущенной проэкціи представлялся мнѣ образъ всего міра: городъ нищихъ, убогихъ, калѣкъ, надѣющихся еще преуспѣть, съ гнусной элитой, гдѣ дорожатъ ржавчиной и хлопочуть о мусорѣ.

Невозможно.

Этимъ исчерпались мои попытки развлекаться. Еще, какъ то въ праздникъ, я побывала въ Медонскомъ лѣсу. Сидѣла среди просаленныхъ газетныхъ листовъ и недо-вѣрчиво оглядывала рахитичныя деревья. Да разъ «паралитикъ» повелъ меня на собранье евангельскихъ христіанъ. Цѣлый вечеръ я слушала ихъ сокрушенныя молитвы, проповѣди и свидѣтельства о Спасителѣ и Богѣ, Иисусѣ Хри-стѣ. Они пѣли нескладные гимны. Пѣли родными, русскими голосами, отуманенными скорбью, пугающимъ постороннихъ торжественнымъ чувствомъ отрѣшенности.

Я ушла отъ нихъ, благодарно прижимая локтемъ подарокъ,—Евангеліе отъ Іоанна, растроганно вспоминая этихъ наивныхъ людей. Приводными ремнями жадности мертво и страстно вращались колеса существованья. Дома стояли какъ вздернутые на дыбы, уснувшіе звѣри. Злыми шмелями кружили автобусы, готовые задавить все остановившееся. И было жутко подумать о горсти бойцовъ, рѣшившихся выступить противъ мірскаго, свирѣпаго бога. А я, православная, не безбожница, а на Пасху и совѣмъ вѣрующая, вотъ уже полгода какъ не была въ церкви. И я тутъ же мысленно поклялась въ ближайшее воскресенье сходить къ обѣднѣ. Но это забылось.

Къ тому времени, въ нашемъ ателье подоспѣли крупныя перемѣны. Однажды, послѣ обѣденнаго перерыва, ко-

гда я, согбенная, подсчитывала обведенные платки, выясняя «держу ли я пропорцію?», пришелъ генераль и, переругиваясь по обычному съ «паралитикомъ», рассказалъ, что сосѣдъ, художникъ Дѣмовъ, уѣзжаетъ на югъ и предлагаетъ купить свое ателье. Годовая плата 1.500. За шесть комнатъ. Отступного восемнадцать тысячъ.

— Да, — многозначительно и упрямо мычалъ «паралитикъ».

— Можетъ онъ уступить за 15.000, — оживленно увѣрялъ себя и насъ патронъ. — Тогда расширимъ дѣло, поставимъ аэрографъ.

А къ вечеру онъ ввалился возбужденный и нервно сообщилъ, что все улажено, деньги уплачены, художникъ расписался и передалъ ключъ. Завтра онъ освободитъ помещенье. На слѣдующей недѣлѣ къ намъ прислали отъ хозяина дома человѣка, съ требованіемъ возвратить оставленные Дѣмовымъ ключи. Генерала не было, за нимъ послали; а когда онъ наконецъ прибѣжалъ, то нашелъ замокъ отъ квартиры Дѣмова сорваннымъ, двери распахнутыми и рабочиыхъ, постукивающихъ молотками. На всѣ увѣренья, что живописецъ ему переуступилъ ателье, «а вотъ расписка», — слѣдовалъ отвѣтъ: *Monsieur Demoff* переступать не имѣлъ права, такъ какъ у него нѣтъ контракта.

Въ заключеніе же генералу предложили освободить въ двухнедѣльный срокъ и его помещенье, такъ какъ вся эта коробка по дряхлости разрушается, — будутъ строить новый домъ, «*moderne*».

— Вотъ тебѣ кнопочки собирать, скопидомъ дотошный, — встрѣтилъ хозяина «паралитикъ». Онъ хотѣлъ было продолжать, но, взглянувъ на генерала, отпрянулъ въ уголь.

Прибѣхалъ «*représentant*» и «*contre-maitre*» Санитаровъ.

«Это миллионное дѣло», — взвизгнувъ онъ еще на лѣстницѣ. Увелъ генерала въ контору и громкимъ шепо-

томъ сталъ объяснять: разъ выселяютъ, причиняютъ убытокъ фирмѣ, обязаны дать отступное. Былъ такой случай. Двѣсти тысячъ. Генераль разразился истерическимъ смѣхомъ. На него больно было смотрѣть. Жалкій, старый и глупый.

Недѣли черезъ три пришла консьержка освѣдомиться, когда мы переѣзжаемъ. Обученный друзьями, генераль отвѣтилъ, что итти ему некуда, денегъ снимать квартиру у него нѣтъ, и все это ему даже странно слышать. Часъ спустя явился хозяинъ съ двумя синемлауэниками. Они закрыли газъ, перерѣзали электрическіе провода, заклепали водопроводныя трубы, отобрали торчавшій въ дверяхъ ключъ и, предваривъ, какія непріятности ждутъ иностранцевъ, если они озорничаютъ, удалились.

Пока Санитаровъ брызгалъ водой на умиравшаго въ обморокъ «Лудушку», а кстаги пришедшій Кишкинъ привинчивалъ къ дверямъ поспѣшно купленный судьейцемъ новый замокъ, мы всѣ сгрудились въ дальнемъ углу, курили и шептались какъ при покойникѣ. Онучинъ и Проккопенко уславливались итти служить къ нашимъ конкурентамъ. «Паралитикъ» мечталъ о карьерѣ кинематографическаго декоратора. Я же, улыбаясь, прислушивалась къ внутренней боли и думала, что вотъ жизнь ставить еще одинъ грозный барьеръ и если она была столь постыла до сихъ поръ, то какъ же осмыслить и освоиться съ этой новой тяжестью, какъ ее осилить?

«Représentant» одѣлъ согбеннаго генерала и, поддерживая его, увелъ къ адвокату. Вернулись они въ состояніи полного разложенія, переходя отъ ругани къ иѣжностямъ, отъ шутокъ къ причитаніямъ. Юристъ увѣрилъ ихъ, что съ одной стороны они правы, съ другой виновны; можно выиграть дѣло, но не трудно и проиграть. Отступное не полагается, такъ какъ контракта нѣтъ. Вознагражденіе полагается, потому что хозяинъ ворвался силой въ чужую квартиру и самочинно въ ней распоряжался. Визитъ — пятьдесятъ франковъ.

Генераль лихорадочно бѣгалъ по ателье, жаловался безъ умолку, визгливо ругалъ контръ-мѣтра и занскивалъ въ «паралитикъ», связывая свои неудачи почему то съ нимъ.

Послѣ пятого визита къ адвокату генераль отчаялся. Побѣждалъ къ хозяину и взмолился о мировой. Ему кто-то сообщилъ, что могутъ выслать. Этимъ дѣло кончилось. Намъ объявили расчетъ, предприятие ликвидируется. Жена генерала пресѣкла дѣятельность своего мужа. Насъ распустили, не доплативъ каждому половину причитающейся суммы. И въ томъ, что не доплатили ровно половину, чувствовалась еще какая-то порядочность.

То было въ пятницу вечеромъ, — (въ سینема смѣнилась программа), — когда на парижскихъ бульварахъ я снова почувствовала себя такой свободной ото всего, что становилось боязно дышать. Такой огромный городъ; и каждый для себя; и каждый о себѣ. Я закурила «синюю», тлубоко затягиваясь, упиваясь сложной смѣсью душистаго, горькаго дыма и сладостной боли незаслуженныхъ обидъ. Контрапунктъ чувствъ. Моя наличность — 57 франковъ; за комнату уплачено до воскресенья.

Если бъ мнѣ предстояли испытанія какого-то новаго порядка, пусть нелегкія, но хотя бы не столь знакомыя, будничныя, пріѣвшіяся... Но опять по утрамъ: объявленія, метро, робкій звонокъ — прислушиваясь къ замирающему сердцу: бьется оно или не бьется, — скорѣе бы отказали. А сердце, что за галопъ, что за дикую лезгинку откалываетъ оно. То остановится, то забѣжитъ впередъ, взвизгнетъ кровь въ аортѣ, передъ глазами диски; ключъ Морзе стучащій въ горлѣ. Отъ недоѣданья, отъ всевозможныхъ страховъ мои «сердечныя» дѣла, должно быть, пошатнулись.

Конечно, за время службы у генерала, я собрала кое-какіе адреса: одни подслушала, о другихъ догадалась, не смотря на общую скрытность. И первое время, я втайнѣ — втайнѣ отъ самой себя — вѣрила, что теперь



все легко устроится: я человѣкъ уже не беззащитный, съ профессіей и со связями. Но все это, какъ часто бываетъ, оказалось ничего не стоящимъ: на третій день, обойдя всѣхъ знакомыхъ, я очутилась въ томъ же одиночествѣ, въ какомъ была раньше.

Заметалась по объявленіямъ.

Такъ случилось, что къ этому времени подоспѣло обычное женское недомоганіе (это всегда такъ бываетъ). Объ этомъ бы можно было многое рассказать, да не принято — Богъ знаетъ почему! «Миѣ бы полежать денекъ!» — вздыхала я, группируя газетныя вырѣзки, на ходу разжевывая *petit pain*, шлепая по добытымъ адресамъ: такъ пересиливала себя.

Въ награду за выдержку, неожиданно получила службу; бонной къ ребенку. Ночь продержалась, а къ утру ушла: дѣвочка помѣшанная, лупить головой объ полъ, трясется, сипѣеть, ловить кого-то рученками, — это ночью то, со мною наединѣ. Не по моимъ оказалось силамъ. Унесла десять франковъ (за мѣсяць триста, — мать правильно рассчитала). И снова подземные развѣзды; выльзешь изъ кротовины: наверху небо, приволье, кругомъ особняки, витрины магазиновъ, довольство, богатство; а ты — ноль, ноль. Кажется, — всѣ лучше, значительнѣе тебя. Помѣняться бы, — неважно съ кѣмъ: вонъ съ этимъ безногимъ или съ той нищенкой, — лишь бы не быть собой, до того сама себѣ противна.

Нежданно, меня посѣтилъ Онучинъ. Онъ «застучалъ» обрадованно и оживленно, какъ при первомъ знакомствѣ. Такой ужъ это человѣкъ: когда мы работали рядомъ, я ему была безразлична, и онъ часто незаслуженно, зло покрикивалъ, а теперь, — словно патока изъ усть: я самая умная изъ всѣхъ его знакомыхъ, умѣю молчать, тра-та-та да тра-та-та. Малокультурный, грубой складки человѣкъ, съ проблесками благородства, изящной легкости и неустойчивой честности.

Онъ предложилъ пойти погулять.

Разговоръ шелъ онучинскій: у Зои огромная жирная грудь, и этого онъ ей не можетъ простить, — это создастъ опредѣленную, всегда одну и ту же атмосферу.

— Это у вашей жены то? — удивилась я. (Какъ мнѣ хотѣлось его ударить).

Я часто гадала: откуда черпаетъ она эту готовность мириться со всѣмъ? Спросить же ее нельзя: за свои униженія она готова была мстить невиннымъ. Но однажды Онучинъ проговорился, что Зоя въ отвѣтъ на его восхищенія мною, какъ всегда странная: за глупость превознесетъ, а стоящаго не замѣтитъ, — сказала, что удивляется, какъ я могу переносить свою грубую, суровую долю безъ тепла, безъ ласки. И тогда я все поняла: каждый человѣкъ относится къ своей судьбѣ словно къ имъ заношенному бѣлью; оно грязное, но все-же знакомое, родное, кажется лучшимъ, чѣмъ чужое, и во всякомъ случаѣ не столь гнушаешься.

Мы напились кофе. Въ сосѣднемъ синема давали фильмъ изъ морской жизни. На минуту, съ цвѣтныхъ афишъ, на насъ дохнуло безкрайней волей океана. Мы вошли. Отъ музыки или отъ свѣта, только я набралась храбрости и предложила Онучину помочь мнѣ устроиться на службу. Онъ сразу оживился (Съ какимъ страхомъ я слѣдила за угасаніемъ этого оживленія):

— Дѣйствительно, у нихъ требуется рабочій. Но какъ это сдѣлать? «Кружева» я умѣю; каталанами онъ завѣдуетъ, — значить, уладить. Но вотъ агрографъ? Агрографомъ завѣдуетъ его лютый врагъ и, если Онучинъ будетъ хлопотать за меня, то добьется обратнаго. А работа пустяковая: за часъ практики можно усвоить начала.

— Есть исходъ, — поморщился Онучинъ, — Ленька, его врагъ, является въ девять часовъ: придите въ восемь. Я васъ буду ждать. Дамъ «пистолеть» и пострѣляете сколько влѣзетъ. Специальность простая.

Я знала, что онъ скоро увянетъ и поэтому съ грубоватой торопливостью стала уславливаться насчетъ часа, мѣ-

ста и другихъ частностей свиданья. Я угадала. Онъ измѣнилъ свое рѣшеніе. Рекомендовать меня онъ не можетъ. Подумайте, если все откроется, какая будетъ компрометція, ужъ Ленька используетъ.

— Что же дѣлать то?

— А вотъ что. Итти къ хозяину, онъ на рѣдкость вѣжливый, хорошій человѣкъ, еврей, только деньги неаккуратно платить. Женщинъ онъ очень уважаетъ и даже побаивается. А, главное, въ работѣ никогда не откажетъ, хоть на недѣлю, а поручить что-нибудь красить. Пойти прямо въ контору, объяснить, онъ дастъ записку къ Ленькѣ или протелефонируетъ.

А на завтра, къ восьми утра, Онучинъ меня будетъ ждать въ ателье: пострѣляемъ до девяти. Надо сдѣлать вотъ такія спирали. Въ этомъ заключается Ленькинъ экзаменъ. Баба, можно быть приличнымъ спеціалистомъ и этого не сумѣть! Но я подготовлюсь и выдержу испытаніе. Къ тому же Ленька бабникъ.

Онучинъ ежеминутно отвлекался, перескакивалъ съ одного предмета на другой; я выясняла подробности, а онъ безпрестанно меня перебивалъ, — спрашивалъ мнѣніе о проходившихъ женщинахъ. Я уславливалась о времени посѣщенія хозяина, — «завтра въ часъ», — а онъ декламировалъ Гумилева: «такъ вѣкъ за вѣкомъ, — скоро ли Господь? — подъ скальпелемъ науки и искусства страдаетъ духъ, изнемогаетъ плоть, рождая органъ для шестого чувства...»

— Не спросить ли рабочую карту? — робко освѣдомилась я: тема черезчуръ рискованная, да и безтактно приставать съ этокой прозой.

— У васъ нѣтъ карточки? — возмутился даже Онучинъ. Такой ужъ онъ есть: четыре мѣсяца я изо дня въ день, вздыхала о правѣ работать, а онъ все не запомнить. — Ну, тогда ничего не выйдетъ, — рѣшилъ онъ, радуясь, что дѣлаетъ мнѣ и себѣ больно. — Нечего и пробовать, они безумно трусятъ.

Опять и опять спрашивала я, уговаривала и наконец повліяла: рѣшили, что попробовать стоитъ. Въ отсутствіи «avis» никакъ не сознаваться: забыла документъ. «Забывать» его, пока не прогонять, — недѣлю, мѣсяць. А можетъ повезеть, — чудо какое.

— «Я на лѣвую руку надѣла перчатку отъ правой руки». Если васъ спросятъ, у кого вы работали аэрографомъ, скажите: у Жака... — обучалъ Онучинъ.

— Хорошо. Только я вѣдь его не знаю.

— Ничего. Онъ его тоже не знаетъ. Это на Clichy.

На экранѣ бушевалъ штормъ. Матросы изнемогали въ рукопашномъ бою. Подъ знойнымъ солнцемъ, на тропическомъ островѣ, рослая туземка, сладостно улыбаясь, убирала диковинные злаки; къ вечеру поля хмелѣли отъ красокъ и линіи горизонта были насыщены эдемскимъ, — гдѣ Европѣ, — покоемъ.

Онучинъ воровски просунулъ руку кренделемъ, неумѣло обнялъ меня. Боязливымъ, спрашивающимъ усиліемъ притянулъ къ себѣ, поцѣловалъ, въ ухо, бррр... Я боялась шевельнуться, чувствуя совсѣмъ близко его губы, его бордавчатое, бабье лицо. Корчась, какъ отъ студеныхъ капель, стекающихъ за воротникъ, я неувѣренно отбивалась, все еще стараясь сохранить остатки какого-то приличья, дружескихъ отношеній и взаимнаго пониманія. Я не нашла возможности отодвинуться, не обидѣвъ его. А обидѣть не имѣла силъ. Корабль шелъ черной птицей по серебристымъ барашкамъ. Какъ огромень, какъ цѣломудренъ просторъ. Какъ велика земля. Какой легкой могла бы стать жизнь. Онучинъ меня упорно цѣловалъ въ ухо. Я чувствовала его судорожно подрагивающей локоть, повисшей въ иловкой позѣ. Эта мука продолжалась добрыхъ полчаса. Стыдно; но силы мои, очевидно, убывали. Мы вышли въ толпѣ цѣлующихся парочекъ. Еще разъ продолбила ему урокъ: «завтра въ часъ (постарайтесь со мною встрѣтиться), а тамъ: въ восемь — ателье — пистолетъ».

Мы разстались: вырвала руку и, конфузливо, чуть ли не обнадеживающе улыбнувшись, убѣжала.

«Я хорошая. Я стремлюсь къ доброму... Меня заставляють дѣлать пакости, — чья вина!»

Но эти разсужденія не могли меня удовлетворить. Я плакала, — укладываясь въ двухспальную, холодную какъ снѣгъ, кровать. Въ отелѣ у насъ не топили, по утрамъ вода для туалета замерзала въ мискѣ, простыни по угламъ покрывались инеемъ; я испытывала какой-то не совсѣмъ оправданный страхъ, — мнѣ трудно было себя заставить раздѣваться, ложиться въ этотъ ледяной сугробъ. Чтобы согрѣться, я клала къ ногамъ бутылку съ горячей водой, но достигала обратнаго дѣйствія, — физиологи вѣроятно найдутъ этому объясненіе. Я бросала поверхъ, одѣяла все, чѣмъ владѣла, — начиная отъ пальто и платьевъ, кончая чулками, чистымъ и грязнымъ бѣльемъ. И оттого мнѣ казалось, что я лежу въ глубокой, глинистой могилѣ, а надъ головой высится холмъ, — охъ, какой тяжелый. Проснешься ночью и не понять: гдѣ я, что со мной?

Все это не то. И мнѣ трудно разсказать, очевидно невозможно, какъ гадко, какъ безпримѣрно скучно сражаться, не разбираясь въ средствахъ, по инерціи, за постылую жизнь; какъ хилъ, какъ ненуженъ бываетъ человѣкъ, пока онъ — самъ по себѣ.

В. С. Яновскій.

# Пробужденіе

## 1.

У меня есть одно недостижимое и все же упорное стремление, отъ котораго немедленно возникает замирающій, обезсиливающій страхъ — возстановить далекое прошлое (гимназію, дѣтство, Петербургъ), вдвойнѣ безнадежно похороненное, въ чемъ, увы, сомнѣваться нельзя: вѣдь это прошлое для каждаго изъ насъ словно бы украдено и между нимъ и нами разрывъ, произведенный чудовищными событіями, навязанной намъ жизнью въ какихъ-то прозрачныхъ городахъ, въ чужой, непонятной, неприемлемо-сложной суетѣ, а кромѣ такой наглядно-внѣшней причины имѣется и внутренняя — что мы не можемъ отдѣлить отъ новыхъ безчисленныхъ душевныхъ наслоеній, отъ новаго опыта далекое свое прошлое, и его манящей, первоначальной непосредственности не воскресить перегруженная наша память. Я за другими забывчиво округляю всякія прежнія, ничѣмъ не завершившіяся случайности и придаю ихъ безобразному нагроможденію невольную послѣдовательность, порою строжайшую закономѣрность, и нерѣдко себѣ могу уяснить то, къ чему раньше относился бессознательно, могу взволнованно, просвѣтленно-творчески передать ничтожные и вялые когда-то часы, но жизненная ихъ свѣжесть безповоротно мною утеряна. И однако слѣпая моя настойчивость сохраняется: у меня давящая (пускай невоплотимая) потребность ворваться въ прошлое и тѣ смутные годы запечатлѣть не ради «поэзіи умершаго быта» и не ради поэзіи самихъ воспоминаній, а для того, чтобы по мелочамъ прослѣдить, какъ въ темной путаницѣ предутрен-

няго дѣтскаго хаоса родилась куда-то направленная самостоятельность и какъ ея тотчасъ же коснулось страшное время, подготовившее безысходные наши дни — и въ старательныхъ, напряженныхъ своихъ поискахъ я буду довольствоваться хотя бы несовершенными, хотя бы теперешними обманчиво-поздними выводами.

Четвертый классъ гимназiи, мнѣ ровно тринадцать лѣтъ, холодная, грязная сѣверная осень — какимъ сейчасъ намъ кажется чудомъ тогдашня я простая возможность ходить равноправно и гордо по столичнымъ, роднымъ Петербургскимъ улицамъ: конечно, тогда мы этой гордости не испытывали, и лишь послѣдующiя напрасныя сожалѣнiя ее создали и безмѣрно преувеличили, создавъ и другую естественную выдумку — о легкой жизни, объ утраченной сладости, которыхъ никто въ свое время не ощущалъ. Въ томъ промежуточномъ возрастѣ всѣ школьныя отношенiя вдругъ обернулись въ благопрiятную для меня сторону, и недавнiя завидныя преимущества — заносчивость и сила — недоступныя мнѣ, оказались ненужными, отчасти даже вредными: они у многихъ незамѣтно превратились въ куренiе, хулиганство, футболъ, въ безстыдные разговоры о женщинахъ, и мы уже безошибочно знали, что начальство, олицетворявшее судьбу, покровительствуетъ хотя бы видимости иного. Былъ грозный, безжалостный случай — кого-то выгнали за «неприличныя» рисунки: директоръ въ синемъ вицъ-мундирѣ, съ черно-сѣдой холеной бородкой, и новый, звенящiй, устрашающiй голосъ — «Петровъ, соберите ваши книги и можете идти домой». Мы суевѣрно шептались по угламъ о «волчьемъ паспортѣ» (съ такимъ никуда не примутъ) и, какъ бываетъ у нашалившихъ дѣтей, если одинъ изъ нихъ попался и наказанъ, изображали особую примѣрность, съ оттѣнкомъ полусознательнаго предательства, съ желанiемъ приспособляться и скрывать.

Послѣ глупыхъ и обидныхъ неприяностей (услышанная мои подсказыванiя, упорное молчанiе вмѣсто отвѣта, рѣшенное всѣмъ классомъ, меня однако не поддержав-

шимъ), я понемногу инстинктивно нашелъ «среднюю линию» — осторожныхъ и скрытыхъ шалостей, когда это ничѣмъ не угрожало, и послушной дойяльности въ глазахъ учителей. Тотъ же директоръ, пытавшійся крикливостью маскировать бережно-мягкую свою доброту, былъ ко мнѣ слишкомъ замѣтно расположенъ, до какой-то передъ всеми неловкости, и на томительныхъ своихъ урокахъ географіи меня единственнаго не упрекалъ за болтовню — тѣмъ самымъ поощряемую — съ моимъ сосѣдомъ по партѣ. Мы уныло вычерчивали низменности и горные хребты (въ видѣ червячковъ, истыканныхъ остріями), онъ садился и поправлялъ чей-нибудь «контуръ», а я догадывался, что надо говорить о войнахъ и полководцахъ, о прочитанныхъ книгахъ, и мнѣ казалось, будто онъ любитъ нашу взрослостью. Мой сосѣдъ, крѣпкій, стройный, чистенькій мальчикъ, съ розовымъ, нѣжнымъ лицомъ, съ удлиненными, по женски отдѣланными ногтями, отлично зналъ, какое у насъ преимущество и, разумѣется, не портилъ игры. Его любили и товарищи и старшіе — за приятную внѣшность, за легкую во всемъ одаренность — и даже имя его и фамилія, «Женечка Костинъ», давали поводъ для двусмысленно-ласковыхъ прозвищъ — «наша Женечка», «наша милая косточка» — онъ изрѣдка сердился, вѣроятно кокетничая и неискренно. Я восхищался, безъ малѣйшей зависти, его работой, тѣмъ, какъ неуловимыя движенія карандаша, всегда ровно-остро и умѣло отточеннаго, преображаютъ блѣдную, скучную, мертвую карту въ отчетливо-яркое, почти живое существо. Меня плѣняли его сильныя, ловкія руки — я тогда еще не могъ понимать, что и мужская, безкорыстная, «умная» дружба порою основывается на внѣшней привлекательности: въ большую переѣзную мы подымались въ верхній корридоръ, гдѣ чинно прогуливались недосыгаемые восьмиклассники, и обнявшись подражали ихъ чинному хожденію, себя ощущая такими же серьезными, имъ равными — и въ чемъ-то неясномъ трогательно сближенными между собой. Какъ полагается, мы ихъ



знали наперечетъ, въ послѣдствіи же маленькіе для насъ сливались въ одно, но именно тогдашняя совмѣстная затерянность въ столь недоступномъ и желанномъ кругу меня съ Женечкой Костинымъ особенно связывала.

Уже три года продолжалась наша спокойная, ровная дружба, съ неисчерпаемыми разговорами и постоянными взаимными услугами, такими естественными у неизмѣнныхъ сосѣдей: насъ многіе пытались почти насильно рассадить (хотя бы для подсказокъ, для списыванія задачъ), и каждый разъ послѣ долгихъ лѣтнихъ каникулъ, когда мы всѣ откуда-то съѣзжались — загорѣлые, одичавшіе и шумные — смягчая ложнымъ весельемъ понятный тайный испугъ передъ необходимостью приспособиться къ нелюпо-разумному порядку и снова въ себѣ унять еще неизжитый размахъ свободы — каждый разъ несмѣло, нерѣшительно, однако обидчиво и упорно мнѣ предлагалъ съ нимъ рядомъ сидѣть наиболѣе странный изъ нашихъ гимназистовъ, послѣдній по алфавиту, Щербининъ — какъ и отъ многихъ другихъ, я съ неловкостью отъ него избавлялся, досадуя на его назойливость и на вынужденные глупѣйшіе свои предлоги. Онъ жилъ въ условіяхъ, необычныхъ для насъ — у тетки, къ нему равнодушной, нестрогой и чѣмъ-то занятой — и могъ поступать какъ-угодно, не боясь наказаній и вопросовъ. Его родители давно разошлись — отецъ былъ на службѣ, въ Сибири, мать, кажется, на югѣ, въ имѣніи. Къ началу Японской войны онъ находился при отцѣ, военномъ чиновникѣ, и съ нимъ попалъ ненадолго въ Манджурію, гдѣ заболѣлъ и откуда его отправили въ Петербургъ — въ результатѣ онъ съ ученіемъ запоздалъ и былъ на два года старше меня. Худой, длинноногій и длиннорукій, съ неподвижнымъ, блѣдно-сѣрымъ лицомъ и словно бы выцвѣтшими голубыми глазками, онъ людей какъ-то невольно раздражалъ — и меня, пожалуй, особенно замѣтно — униженнымъ своимъ тономъ, просительными словами: онъ, заискивая, со мной говорилъ о клятвахъ вѣрности, о дружбѣ «безъ секретовъ», и я брезгливо то-

гда ненавидѣлъ его молящіе, немигающіе глаза, вѣчный запахъ изо рта, грязные, желтые зубы, его холодную костлявую ладонь, тонкіе пальцы съ коротенькими синеватыми ногтями, весь его грустный, замороженный видъ. Эта жестокая неосознанная моя брезгливость вѣроятно и помѣшала осуществиться наивно-гимназическому нашему «роману» — я не зналъ, какъ бываетъ неумолимъ тотъ, кому навязываютъ любой романъ, и меня все Щербининское изводило, даже хриплый, неестественно-сдавленный его голосъ. Насъ должно-быть отталкивало отъ Щербинина и его какое-то вызывающее съ нами несходство: такъ, онъ заплакалъ послѣ взятія Портъ-Артура и восторженно рассказывалъ о воспаленіи обоихъ легкихъ, отъ котораго еле оправился — «ахъ, какъ пріятно и спокойно умирать, скоро-скоро дышется, немножечко побаливаетъ въ боку». Намъ это казалось постыдной «бабьей ерундой», и общей забавой стало бить его по спиѣ — я сейчасъ понимаю, какъ были страшны такіе по-дѣтски безжалостные удары, причемъ онъ гримасничалъ, изгибался, краснѣлъ, не возбуждая въ насъ ни сочувствія, ни раскаянія. Всѣхъ безпощаднѣе себя велъ его сосѣдъ, силачъ и рослый второгодникъ, «Штейнъ Анатолій» (въ отличіе отъ брата—«Штейнъ Николай» — исключеннаго за поддѣлку отцовской подписи): нагло-красивый, нашъ постоянный «коноводъ», онъ обязательно передъ каждымъ урокомъ размахисто-гулко ударялъ Щербинина по спиѣ, изловчившись и выбравъ неожиданную минуту, и затѣмъ насъ побѣдительно осматривалъ, а мы смѣялись надъ Щербининскимъ удивленіемъ и гримасами и одобряли столь находчивую шутку. Мы сами Штейна слегка побаивались и ему завидовали, и даже теперь я немедленно узнаю во многихъ людяхъ, особенно въ молодыхъ — по дерзкой улыбкѣ, по такому же вздернутому носу — тѣхъ обольстительныхъ, ему подобныхъ удалцевъ, что въ дѣтствѣ меня дразнили и мучили, подавляя умственную, раннюю мою гордость неотразимо-издѣвательскимъ своимъ презрѣніемъ: иные потомъ были

вынуждены усвоить и «умственное», со всеми сравняться въ любви, заботахъ, дѣлахъ, въ чемъ иногда со мной считаются и отъ меня зависятъ — невольный, неизбежный отыгрышъ изобрѣтательной физической слабости, прижизненный переходъ отъ первобытнаго къ нашему вѣку. Хотя зрительная, слишкомъ короткая моя память обычно разрушается временемъ и отдѣльныя запомнившіяся черты не создаютъ единаго образа, но Штейна я вижу порой съ наглядной, осязательной точностью, съ какой не сумѣю передать — блестящіе черные волосы, темно-каріе смѣлые глаза подъ круглыми густыми бровями, пушокъ надъ приподнятой верхней губой, ошеломительно-бѣлые зубы, дѣвическая вѣжность лица — отдаленно, Толстовская «Lise», но въ преломленіи зазорномъ до наглости. Мы были такъ имъ увлечены и запуганы, что ради него становились храбрыми, передъ нимъ отличались въ бояхъ съ параллельнымъ и старшими классами, и глухое одобреніе Штейна насъ поощряло, воодушевляя на безразсудство, словно приказъ непобѣдимаго вождя. Щербининъ не менѣе другихъ старался передъ нимъ выслужиться, но у него обнаруживалась во всемъ природная убогая неудачливость: никто не хвалилъ его «подвиговъ», искусно-быстрой увертливости въ играхъ, какой-то суетливо-немужественной, хотя и несомнѣнной его ловкости. Какъ я уже ранѣе отмѣчалъ, наши прежнія доблести обезцѣнились — и Штейнъ началъ уклоняться отъ дракъ, ухаживалъ, ругался съ учителями, сталъ голкиперомъ и щеголемъ (часы на ремешкѣ) — однако Щербининъ, отставшій отъ моды, его какъ-то вызвалъ на бой и былъ имъ снисходительно избитъ. На горделиво-жалкій вопросъ — «ну что же, признайся, я не струсилъ» — получился уничтожающій отвѣтъ — «да, трусости ни капли, но и силы ни капли» — и Штейновское любимое: «чего ты треплешься, трепачъ».

Этотъ годъ и слѣдующій прошли мучительно-тревожно — изъ-за мужского инстинкта, въ насъ пробужденнаго и сразу превратившагося въ какую-то чувственную одер-

жимость, невеселую, звѣриную и грязную: ломались голова, многие выдумывали о себѣ отвратительныя, нелѣпыя подробности, въ широчайшей уборной читали стихи — другъ о другѣ, о двухъ нашихъ учительницахъ, некрасивыхъ, почтенныхъ и немолодыхъ. Иногда кто-либо стремительно вбѣгалъ, съ громкимъ возгласомъ — «Морковка идетъ» (давнишнее прозвище нашего помощника классныхъ наставниковъ) — стихи и куреніе мгновенно прерывались, каждый притворялся озабоченно-занятымъ, и сконфуженный, залыхавшійся «Морковка» уходилъ, не довѣря нашей невинности и готовясь намъ отомстить и насъ поймать врасплохъ. Это ни разу ему не удалось: онъ всегда былъ точно въ пьяномъ угарѣ (быть-можетъ и дѣйствительно пьянъ) и на своихъ урокахъ исторіи, казалось, не слушалъ отвѣтовъ, загадочно пряталъ открытыя книги подъ класснымъ журналомъ, читалъ намъ задаваемое унылой скороговоркой по учебнику и странно путалъ наши имена — красно-лытинистая лысина и лицо вѣроятно и создали неблагозвучное его прозвище, къ намъ перешедшее отъ легендарныхъ временъ. Въ немъ была та же изступленная тревога, которая подавляла и насъ — мы какъ-то смутно ему симпатизировали и съ нимъ вели себя подтянуто, болѣе сдержанно, чѣмъ съ иными внимательно-строгими учителями. Я конечно тогда не понималъ этого различія между дѣтствомъ и «полузрелостью», этого безпомощнаго, опаснаго безпокойства, этихъ нетерпящихъ отлагательства порывовъ, какимъ поддавались и самые уравновѣшенные, самые безстрашные и житейски-ловкіе мои товарищи. Помню свое наивное удивленіе, когда Лаврентьевъ, великовозрастный ученикъ, спокойно-трезвый нашъ неизмѣнный миротворецъ, меня спросилъ о томъ, какъ я «устраиваюсь» и есть ли у меня «постоянная связь». Длинный и стройный, пропорціонально сложенный, съ тонкимъ, узкимъ, чуть миньютюрнымъ лицомъ, онъ составлялъ прекрасную пару съ Анатолиемъ Штейномъ и былъ его неразлучнымъ пріателемъ: они насъ опередили, соблю-

дали какое-то мужское достоинство и хвастливо рассказывали о своих сомнительных побѣдахъ. Я развился относительно поздно, причемъ во мнѣ—до первой ревности въ двадцать лѣтъ — отчетливо раздѣлялись сентиментальность и чувственность, и даже не знаю, что именно преобладало. Я былъ годами какъ-то неосязательно влюбленъ въ еле знакомую сверстницу, съ бѣлокурыми локонами, придававшими картинное сіяніе безмятежному, остро-худому ея лицу — это вспыхнуло сразу отъ выраженія (о ней) «ангелоподобная», мною гдѣ-то услышаннаго и воспринятаго глухо-завистливо (не такъ ли насъ поражаютъ невѣдомыя альбомныя красавицы) и обратившаго всю дальнѣйшую мою влюбленность въ безплотное обоженіе недосыгаемой ангельской прелести: я не подумалъ, что можно признаться въ своей любви, хотя бы смутно ее показать, и навязчиво-бережно отъ всѣхъ ее скрывалъ, боясь невиннѣйшихъ, простѣйшихъ упоминаній, меня доводившихъ до полубоморочнаго стыда, до краски и пота, никѣмъ ни разу не замѣченныхъ. Эта блѣдная, тонкая дѣвочка вскорѣ стала героиней моихъ вымысловъ — она восхитительно оявлялась къ концу, вмѣсто недавнихъ мичманскихъ подвиговъ, навѣянныхъ газетными описаніями японской войны. Я съ нею видѣлся лишь на дачѣ, и лѣтняя обстановка мнѣ представлялась чудесной, ослѣпительно-щедрой, предѣльно оторванной отъ гимназической размѣренности, но и въ городѣ, зимой, не тускнѣлъ ея обликъ, и передъ сномъ — какъ въ отошедшемъ, уже сказочномъ дѣтствѣ — мнѣ опять рисовался мнѣ исполненнымъ опасностей, а постель казалась «крѣпостью» или чаще «уютнымъ гнѣздышкомъ», гдѣ я могъ цѣломудренно о ней вспоминать. Я надолго возненавидѣлъ обыкновенныя слова—«ухаживать», «цѣловаться», «любовникъ», «влюбленъ» — едва подумалъ, что и къ ней ихъ посмѣютъ примѣнить: къ ней они были для меня какъ-то кощунственно-непримѣнимы — пожалуй отсюда и возникла смутная ранняя моя неловкость изъ-за всего, что въ наше время называется

«клищ» и что становится невыносимымъ для пробудившейся «индивидуальности», рождающейся у людей моего склада отъ перваго же подобія любви. Меня начали отталкивать и раздражать совсѣмъ безобидныя «общія мѣста» — «бархатный тембрь», если говорилось о пѣннѣ, восторженное «музыка» о стихахъ, или обо мнѣ снисходительное «нашъ рифмоплеть». Я самъ прекратилъ свои стихотворныя изліянія послѣ чьей-то недѣльной взрослой поправки — у меня трогательно описывался нищій на дворѣ:

Онъ горькія пѣсни на скрипкѣ игралъ,  
Но этихъ налѣвовъ никто не слышалъ.

И вотъ нѣкій важный, придирчивый гость, которому я, по домашнему заказу, эти наивные стихи прочиталъ, укоризненно посоветовалъ замѣнить скрипку «арфой» — увлеченный и сбитый съ толку, я совѣта послушался, но внутренно ощутилъ, какая ненужная въ немъ фальшивость, какъ трудно совмѣстить живого, нагляднаго слушателя и себя и стыдливый, удивленный свой міръ, и сперва я скрывалъ неумѣлыя свои писанія а затѣмъ разиѣры и рифмы представились мнѣ безцѣльными, и я больше не могъ ихъ искусственно подбирать: должно-быть чрезмѣрная эта чувствительность потомъ уже загнала въ бесплодную глубину настойчиво-страстную потребность мою въ творчествѣ, явно невоплотимую безъ нѣкоторой толстокожести, безъ грубой, презрительной, профессиональной сопротивляемости. Зато во мнѣ развилась какая-то невыраженная грусть — о себѣ, объ уходящемъ времени, о неповторимости впечатлѣній: я помню утреннюю поѣздку на парходникъ и радость, предвкушающую дневныя удовольствія, и усталый вечерній обратный путь, съ безконечной обидой, что все уже было, что нарядное утро навѣки отгѣснено и что въ памяти останутся лишь внѣшнія подробности, помню также на дачѣ — въ постели передъ сномъ — залихватски-унылые звуки «венгерки», доносившіеся изъ огромнаго сосѣдняго сарая, дребезжащій рояль, неугомон-

ный топотъ ногъ и еще неиспытанную сладчайшую къ себѣ жалость. Я завидовала чужому, недоступному мнѣ веселью (и впоследствии жадно стремился проникнуть въ заманчивую тайну чужихъ отношеній), я смутно пережилъ неустойчивость этой минуты, и этой музыки и одинокой моей печали, и откуда-то—послѣ тягостныхъ душевныхъ усилий — явилось первое недѣтское открытіе, сознание гибели всякаго настоящаго, страхъ за темное будущее, лишенное настоящаго, единственно реальнаго въ своей очевидности (особенно если оно беззаботное и заполненное), страхъ позднѣйшихъ забывчивыхъ о немъ сожалѣній и немедленнаго конца даже безразличныхъ мелочей, то отчаяніе изъ-за ежечасной «смерти при жизни», которое я долго не могъ преодолѣть. Съ годами, какъ всѣ, я, оглушенный, утерялъ ощущение времени, гибнущаго безвозвратно, и, какъ всѣхъ, меня исключительно стали задвѣвать непосредственныя, сегодняшнія радости и неудачи — только изрѣдка, почему-либо отъ нихъ освобожденный, я неожиданно вслушивался въ уносящій меня потокъ, съ какимъ-то все менѣе острымъ желаніемъ его остановить и за что-то неподвижное уцѣпиться, хотя онъ постепенно мои возможности разрушалъ и уже мнѣ обѣщалось и предстояло немного.

Эту поэзію неустойчивости, впервые тогда осознанную, вновь оживила ребяческая моя влюбленность — неясныя чувственныя влеченія казались совсѣмъ изъ другого міра, непоэтического, низкаго и стыднаго. Я могу теперь и ошибиться, но считаю по давнимъ воспоминаніямъ, будто исходный толчекъ разнузданнымъ мыслямъ давали не женщины и не кровная въ нихъ потребность, а незамѣтныя, второстепенныя обстоятельства — журнальныя рекламы, cartes-postales, газетныя происшествія, книжныя намеки: очевидно «культура», вѣрнѣе, ея изнанка въ насъ въѣдаются раньше и глубже, чѣмъ мы думаемъ или хотимъ допустить. Напротивъ, мальчишеская болтовня меня расколлаживала и безразлично отталкивала: я одинаково скрывала

и свѣтлую и темную свою тайну, избѣгая грубыхъ разсказовъ, и обязательныхъ порнографическихъ стиховъ. На меня изъ-за этого обижался Санька Оленинъ, признанный нашъ поэтъ, неглупый мальчуганъ (изъ тѣхъ, кого называютъ «шустрыми»), крошечнаго роста, смуглый до черноты, съ негритянскими розовыми ладонями и грязно-малиновыми ногтями, веселый пакостникъ и лѣнтяй, не пропущавшій и «серьезныхъ» разговоровъ. Онъ меня сокрушенно (и въ чемъ-то вѣрно) предупреждалъ: «ты слишкомъ гордый и будешь несчастный въ любви». Оленинъ былъ сыномъ извѣстнаго пѣвца, однако презиравшаго театральную среду и считавшаго полезнымъ для своего «Сашеньки» достойную дружбу съ хорошими учениками, такъ-что мы съ Костинымъ каждое воскресенье приглашали къ Оленинымъ на чай. У нихъ было скучновато и благообразно — за чаемъ, съ безчисленными вареньями, съ невкусно-пестрой пастилой, сидѣли безъ конца, причѣмъ разговаривалъ только отецъ, высокій, лысѣющій, розово-толстый господинъ, съ особой барской увѣренностью «артиста императорскихъ театровъ». Онъ спрашивалъ объ отпѣткахъ и учителяхъ, не отвѣчая на Санькины вопросы относительно всякихъ оперныхъ дѣлъ, а мать, хроменькая сморщенная грузинка, явно стиравшаяся передъ мужемъ, лишь молча вздыхала, глядя на сына. Иногда приходили подруги къ пятнадцатилѣтней Лизѣ, тихой, тоненькой дѣвочкѣ, которая чѣмъ-то умиляла Костина. Санька это сообразилъ, несмотря на всю Женечкину замкнутость и — какъ-то предложивъ сыграть въ «летучую почту» — сестрѣ написалъ измѣненнымъ, ломанымъ почеркомъ письмо съ пожеланіемъ «улучься вдвоемъ въ постель» и съ отчетливой подписью — «Вашъ навѣки Евгенийъ Костинъ». Бѣднаго «Косточку» позвали въ Оленинскій кабинетъ и затѣмъ со скандаломъ шумно выпроводили на лѣстницу, да и меня изъ осторожности перестали приглашать, а на слѣдующій день въ гимназіи происходила неслыханная драка, и Лаврентьевъ изъ-подъ Костина еле вы-



тащилъ Саньку, окровавленнаго, помятаго, но довольнаго собою, и съ трудомъ черезъ мѣсяцъ ихъ помирилъ. Я думаю, въ Санькѣ Оденинѣ было что-то прирожденно-порочное, и его шалости, нерѣдко остроумныя, всегда оказывались неприятными и безжалостными: такъ однажды онъ избилъ случайно подвернувшагося малыша, мать котораго послѣ уроковъ пыталась его усовѣстить (великодушно не обращаясь къ директору), и на послѣдній ея доводъ — «вѣдь и вы были такимъ же маленькимъ», Санька убѣжденно возразилъ, что «не былъ». Онъ любилъ озадачить неопытнаго пріятеля, его пригласить покататься на извозчикѣ и, заботливо усадивъ, оставивъ одного, внезапно крикнуть извозчику — «съ Богомъ!» — заранѣе зная, что приглашенный безъ денегъ и очутится въ безвыходномъ положеніи. Онъ намъ хвастливо также показывалъ кривыя ножницы въ узкомъ футлярѣ (чтобы укорачивать косы гимназисткамъ и китайцамъ) — подобной смѣлости мы уже не вѣрили, да и не слишкомъ ее одобряли, какъ нами ни цѣнилось любое озорство. И меня онъ подвелъ незадолго передъ тѣмъ (правда, ненамѣренно и все же безответственно), предупредивъ, что сошлетъ на мою забывчивость — наканунѣ онъ тайно «прогуливалъ», и я будто бы не сообщилъ ему о заданномъ стихотвореніи — по неписаннымъ законамъ товарищества я принялъ на себя вину, зато какъ меня смутили неожиданныя слова русскаго учителя и класснаго наставника, веснушчатого-рыжаго Николая Леонтьевича, слова презрительно отчеканенныя и для меня достаточно нелестныя:

— Мало ли что скажетъ тебѣ всякій шутъ гороховый, а ты и развѣсилъ уши.

Николай Леонтьевичъ насъ постоянно дразнилъ, издѣваясь надъ ошибками, перехваливая удачи и тѣмъ вызывая соревнованіе и досаду: это былъ его способъ преподавать, задорный, веселый и опасно-увлекательный, однако мѣры онъ повидному не зналъ и — пріучивъ насъ еще дѣтьми къ фамильярности — нерѣдко потомъ въ стар-

шихъ классахъ наталкивался на обиды, на грубый отпоръ и вражду, которые умирять съ непослѣдовательной жестокостью. Онъ не влюбилъ почему-то Щербинина и со скукой выслушивалъ монотонные его отвѣты, хотя тотъ особенно старался его плѣнить: насколько теперь я съ опозданіемъ понимаю, Николай Леонтьевичъ капризно предпочиталъ забавную, легкую находчивость и юморъ бездарно-прилежнымъ, тяжеловѣснымъ усиліямъ. Должно быть — и объ этомъ я догадываюсь лишь теперь — Щербинину недоставало какого-то необходимаго «шарма», при всемъ желаніи нравиться и ближе съ нами сойтись: онъ вѣроятно мучился изъ-за напрасныхъ своихъ попытокъ и ревниво завидовалъ мнѣ и Костину, да и всякой иной непритязательной дружбѣ. Какъ и я, онъ сторонился циническихъ разговоровъ, однако безъ отвращенія, скорѣе равнодушно, и мнѣ представляется странно-безполымъ — съ оговоркой о приблизительности теперешнихъ моихъ сужденій. Зато онъ былъ не по возрасту громко-сентименталенъ — помню хриплый, надорванный, печальный его голосъ, покачиваніе головы съ опущенными вѣками, запахъ изо рта, благоговѣнно произносимыя слова:

Какія бь чувства ни таились  
Тогда во мнѣ — теперь ихъ нѣтъ:  
Они прошли иль измѣнились...  
Миръ вамъ, тревоги прошлыхъ лѣтъ!

Я презиралъ его унылое, дрожащее волненіе, со всей беспощадной мальчишеской слѣпотой — сейчасъ для меня эти слова неотразимы (отъ грустныхъ воспоминаній, отъ послѣдующаго опыта), но позднее мое сочувствіе не возстановитъ справедливости. Въ повышенно-чувствительной своей добротѣ иногда замѣчалъ онъ неумовимое для другихъ: такъ однажды онъ расплакался изъ-за нищаго въ котелкѣ, приплясывавшаго на морозѣ въ драныхъ желтыхъ туфляхъ — его поразилъ именно жалкій котелокъ

(впослѣдствіи для меня чуть надуманный образъ униженной русской интеллигенціи, обѣдѣвшей, разбитой и въ бѣженствѣ и въ Россіи).

Среди причинъ, за два года передъ тѣмъ вызывавшихъ побоища на гимназическомъ дворѣ, было модное дѣленіе на «красныхъ» и «черныхъ» — потомъ, въ наши тринадцать-четырнадцать лѣтъ, побоища смѣнились неистовыми спорами. Правда, у большинства это являлось подражаніемъ — притворствомъ, самообманомъ, веселой игрой — и мы слѣдовали взглядамъ, наивно вынесеннымъ изъ дому, причемъ и доводы обычно повторялись семейные, однако немногіе, вродѣ Оленина, уже презирали «отсталыхъ» своихъ отцовъ. Щербининъ и Штейнъ — и особенно Костинъ — по разному усвоили напуганную событіями, но крѣпкую лояльность военно-чиновной родни и себя объявили «патріотами» и «правыми», мы были съ Лаврентьевымъ «идеалистами» и «лѣвыми», въ чемъ Лаврентьевъ поневолѣ не сходился со Штейномъ, осторожно не подчеркивая своего расхожденія. Его «просвѣтилъ» и увлекъ старшій братъ, одинъ изъ тогдашнихъ «серійныхъ» студентовъ (въ косовороткѣ, съ Отто Вейнингеромъ, Марксомъ и гитарой), за меня тоже взялись два какихъ-то студента (случайные, дачные наши знакомые), одинъ «анархистъ», другой — «с.-р. максималистъ», оба, какъ выяснилось, безобидные болтуны и вскорѣ дѣятельные, благо-разумные, честолюбивые адвокаты: увы, такіа прозвища въ дѣтскіе наши годы были признакомъ боевого революціоннаго прошлаго, хотя нерѣдко ихъ грозные, отважные носители оказывались многословными и безотвѣтственными выдумщиками. Но у меня на долгое время отъ этихъ людей остались убѣдительныя, мнимо-опасныя словечки (напримѣръ, о всемогущихъ Ярор и Гарор, съ которыми одинаково не справился царь), осталась путаница партій и всякой лѣвизны, и началось бессмысленное чтеніе газетъ, слѣпое обожаніе навязанныхъ мнѣ кумировъ — и умѣренно скромныхъ столичныхъ профессоровъ, и тѣхъ, кто

убивали, безстрашно собою жертвуя. Мы учились, безъ провѣрки, восторженно думать намъ внушенными, скудными, плоскими мыслями: съ давнихъ поръ это свойство мнѣ представляется русскимъ — не отъ русской ли склонности себя унижать — но для меня оно подтвердилось въ началѣ войны, когда вчерашніе лохматые бунтующіе мои пріятели съ упоеніемъ подхватили гусарскія традиціи и лихой, столь имъ чуждый кавалерійскій «цукъ». Эту же стадность увлеченій разгадали большевики и сумѣли презрительно ею воспользоваться. Я вспоминаю со стыдомъ приписыванье недѣлностей своимъ «кумирамъ», спортивное волненіе передъ думскими выборами, проникавшее и въ мои «воображаемые романы», тогда наиболѣе во мнѣ интимное. Я поддавался поверхностной головной лихорадкѣ — по существу вѣдь и школьные наши предметы мнѣ были душевно милѣе и ближе.

Такъ иныя, неожиданныя латинскія слова меня грустно плѣняли по смыслу или по звуку — склонявшееся на урокахъ «*irrevocabile tempus*» (соотвѣтствовавшее первой моей сознательной грусти), таинственно-жалобное, дребезжащее «*quaerere*», несносные предлоги, вдругъ предложенные въ стихи. Я улавливалъ что-то увлекательно-жизненное и въ учебникахъ исторіи (вопреки ихъ «казенщивъ»), и въ гнусавомъ бормотаніи, въ пьяныхъ возгласахъ «Морковки»: онъ конечно своего не могъ прибавить и наполовину спать, но внезапно просыпался, говоря объ итальянскихъ женщинахъ — отъ властныхъ римскихъ императрицъ до Екатерины и Маріи Медичи — и, лукаво улыбаясь, подмигивалъ («коварныя итальянки»), словно звалъ о нихъ какую-то разоблачающую тайну. Къ намъ однажды явился старичекъ, окружной инспекторъ и, отчетливо мѣломъ изобразивъ на доскѣ колонны и путь Карфагенскаго похода, внушительно-громко назвалъ имена — «понимаете, Ганнибалъ, Газдрубалъ и Магонъ» — и по новому участливо объяснилъ ихъ пораженіе, чѣмъ все это мгновенно для меня оживилось: я примѣнилъ его рисунокъ

ки къ нашимъ побойщамъ на дворѣ, особенно же къ лѣтнимъ воинственнымъ играмъ, и тяжелая поэзія исчезнувашаго міра слилась навсегда съ полуроднымъ земляничнымъ полемъ, съ низенькимъ берегомъ Финскаго залива, откуда за пароходами виднѣлся Петербургъ. Также и смутные уѣздные города не зря были извѣстны «кустарными промыслами» и не зря очаровывали шуршащія «супески и суглинки» и невѣдомо-гулкія Драва и Морава: насъ естественно поражали заманчивыя созвучія и многое доносилось азартно-юной фантазіей, но еще обостреннѣе мы воспринимали соблазнительную достовѣрность, угаданную за созвучіями. Иногда и нелѣпыя, попросту ребяческія ошибки меня приближали къ неожиданной реальности: я съ дѣтства запомнилъ — «всеобъемлющей душой» (вмѣсто Пушкинскаго «всеобъемлющей», въ изображеніи Петра Великаго) — и я видѣлъ Петра на какихъ-то асамблеяхъ, о которыхъ читалъ въ тѣхъ же «казенныхъ» учебникахъ. Разумѣется, полнѣе всего меня захватывали именно русскіе стихи — и не только «Вѣщій Олегъ», «Три Пальмы», «Бородино», но и «на кораблѣ купеческомъ «Медузѣ», который плылъ изъ Лондона въ Бостонъ, былъ капитаномъ Болпъ, морякъ искусный, но челоуѣкъ недобрый...» Отъ этого возникали затѣйливыя, наглядныя представленія, къ тому же подкрѣпленныя размѣрно-словеснымъ колдовствомъ. Мы волновались — чуть сладострастно — передъ русскими уроками, готовясь отразить нападенія и хитрости неутомимаго на всякія изобрѣтенія Николая Леонтьевича («въ деревнѣ «Волки» всѣ крыши изъ ели»): онъ какъ то по товарищески надъ нами издѣвался, насъ искренно высмѣивалъ — «всѣ попались, даже Костинъ» — и никогда не выказывалъ умышленной снисходительности, столь обидной въ разговорахъ скучающаго взрослоаго съ дѣтьми. По субботамъ директоръ неизмѣнно просматривалъ журналъ, выговаривалъ за единицы и двойки и кое-кого начальственно-рѣзко поощрялъ — «Костинъ Евгений, хорошія отмѣтки-съ» — и его безыскус-

ственные, скорые выводы были вовсе не праздною для каждаго игрою, а какимъ-то завершеніемъ существа и поэзіи нашихъ дѣлъ, нашей милой разнообразной гимназической повседневности.

Порою случались и несправедливости, и мы любили негодующе критиковать учителей (изъ-за чего лишь развилась природная моя склонность къ анализу), но бывало и такъ, что ихъ возмутительныя пристрастія совпадали съ нашими до мелочей — хотя бы недооцѣнка всѣхъ усилій Щербинина, никого не удивлявшая и какъ-то привычно-незамѣтная. Я съ нимъ однажды гулялъ на большой перемѣнѣ, и мы читали другъ другу заданный отрывокъ изъ «Полтавы», причѣмъ онъ помнилъ наизусть несравненно лучше меня и мнѣ укоризненно (быть-можетъ злорадно) сочувствовалъ — на урокъ пришлось отвѣчать намъ обоимъ, и я, отъ волненія, отъ неувѣренности и стыда, еще болѣе прежняго сбивался и путался, но спасла меня откровенная помощь Николая Леонтьевича, его подсказываніе и мой ложный подъемъ въ ударныхъ мѣстахъ, Щербининъ же, какъ обычно, себѣ вредилъ унылою, хриплой своей скороговоркой, и вотъ Николай Леонтьевичъ (мягко спросивъ — «что, полѣнился?») мнѣ вывелъ отчетливую, стройную пятерку — мы знали отмѣтки по взмаху руки, по движеніямъ пера — а взволнованному Щербинину безнадежную тройку, и на его молчаливый, нескрываемый укоръ послѣдовало безжалостное, въ мою пользу, сравненіе:

— Большому кораблю большое плаваніе.

Потомъ нѣсколько дней его дразнили этой фразой, и никто не подумалъ съ нимъ возмутиться заодно. Впрочемъ и положеніе «хорошаго ученика» оказывалось труднымъ, непрерывно-отвѣственнымъ: надо было оправдывать чужое довѣріе, неуклонно подтягиваться, бояться неудачъ, снижающихъ репутацію и явно-обидныхъ для чьей-то незаслуженной, непрочной благожелательности. Весь этотъ страхъ я испытывалъ, уже будучи взрослымъ — и на

службѣ, и въ дѣлахъ, и въ любви — и нерѣдко избѣгалъ давать какія-либо обѣщанія, хотя стремленіе поскорѣе, сейчасъ-же понравиться въ концѣ концовъ перевѣшивало мою дальновидную осторожность. Я также постепенно замѣтилъ одну особенность, мнѣ часто мѣшавшую себя немедленно проявлять — что я бывалъ какъ-то слишкомъ занятъ собой, порою не могъ отъ себя оторваться, себѣ казался непрестанно у всѣхъ на виду и вдругъ не отыскивалъ нужныхъ мнѣ словъ, даже зная, о чемъ я собираюсь говорить. Это свойство теряться и быть на людяхъ скованнымъ съ годами возросло, мнѣ все болѣе препятствовало, и только теперь — послѣ житейской борьбы, послѣ долгихъ всеустраивающихъ любовныхъ волненій, послѣ ударовъ, уничтожившихъ безсильное мое тщеславіе — я какъ будто избавился отъ прежней «самопоглощенности», но пожалуй изъ-за нея навсегда сохранилась стѣснительная моя ненаходчивость, замѣненная прилежной работой наединѣ, вынужденной необходимостью по-ученически готовиться къ инымъ, даже несущественнымъ, невыигрышнымъ мелочамъ. Какъ ни странно, все это мнѣ благоумія не прибавило — оно лишь перенеслось въ тѣ немногія области, гдѣ могло быть затронуто вѣншее самолюбіе, уязвленное «экспромтными» моими неудачами, въ остальномъ же я сдѣлался намѣренно-безразсуденъ, точно передъ собою устыдившись доказанно-скупой своей предусмотрительности и подражая въ легкомысленной ихъ щедрости талантливо-дерзкимъ «побѣдителямъ», столько разъ при мнѣ платившимся за свою широту. И теперь мое безразсудство есего очевиднѣе въ области любовной, для меня самой опасной и важной, но не связанной съ вопросами чести и самолюбія, тогда же, до первой отвѣтственной любви, я пытался не отставать отъ Олениныхъ и Штейновъ, перенимая ихъ шалости — и во-время уходя. Впрочемъ дома, за отсутствіемъ соперниковъ и зрителей, я мѣнялся и оттого не приводилъ къ себѣ товарищей, боясь роняющей меня въ ихъ глазахъ, постыд-

ной домашней своей примѣрности и неизбѣжныхъ разоблаченій у обѣихъ сторонъ. Единственный, кого я полурасчетливо приглашалъ, былъ именно Щербининъ, всему посторонній до слѣпоты и неспособный разобраться въ нехитрой моей политикѣ. У насъ его хвалили (безъ особой горячности) за вѣжливость, за манеры, за французскій языкъ, и онъ дѣйствительно не замѣчалъ того, что меня стѣсняло — разговоры о гимназіи, о гимназическихъ моихъ дружбахъ, о «культурныхъ запросахъ», о вредныхъ влияніяхъ — не замѣчалъ у насъ и нѣкоторой безпеченности, и твердой незыблемости вѣшнихъ порядковъ, всей моей исключительности въ нашемъ тускломъ школьномъ кругу, среди убогой простоты, еле прикрытой у большинства другихъ, имъ однако дававшей взамѣнъ «безпризорную», невольную свободу. Сердечнѣе всѣхъ къ Щербинину отнеслась наша гувернантка, старѣющая косоглазая француженка, съ обязательнымъ въ дѣтствѣ «шато» и обѣднѣвшими родителями, съ исковерканной судьбой изъ-за неудачнаго романа, съ непонятнымъ благоговѣніемъ передъ русскими аристократическими именами — она отличалась отъ множества ей подобныхъ какой-то искренней, веселой любознательностью и трезвой оцѣнкой всего ей извѣстнаго, моихъ родственниковъ и товарищей (хотя бы по насльщкѣ), семейныхъ тайнъ у прежнихъ учениковъ, газетныхъ событій и безчисленныхъ курьезовъ. Я усвоилъ отрывочныя познанія въ ея болтовнѣ и съ ихъ помощью безжалостно ее дразнилъ (когда-то излюбленное мое развлеченіе): такъ одно укромное мѣстечко въ квартирѣ она патріотически называла «chez Bismarck» — я догадался, чтобы ее изводить, это же самое называть «chez Gambetta» и громко радовался неукоснительному ея гнѣву. Съ умысленной наивностью я задавалъ ей вопросы о давнихъ временахъ, о франко-прусской войнѣ, какъ будто она была современницей и свидѣтельницей — такіе намеки на возрастъ пожалуй особенно ее возмущали. Напоминая столько людей неяснаго, промежуточ-



наго ранга, привычно волнуемых чужой отраженной жизнью и чужой, их приютившей средой, она не могла отрѣшиться отъ снобизма, для нея же унижительнаго, отъ призрачныхъ кастовыхъ подраздѣлений, и Щербинина сразу причислила къ «petite noblesse», что его какъ-то глухо возвышало, правда, менѣе, чѣмъ другое его достоинство — неожиданная, имъ проявленная галантность: онъ цѣловаль ей руку, здороваясь и прощаясь, а иногда, прижимая къ сердцу свою, театрално восклицалъ — «la bella des bellas» — но благодушной ироніи она не различала и его мнѣ возводила въ образецъ, я же со злости незамѣтно его чернилъ. Нѣсколько разъ и я бывалъ у Щербинина, въ неудобной, какой-то голой обстановкѣ. Мы подолгу сидѣли вдвоемъ (очевидно тетку, къ нему безразличную, не могли заинтересовать и его друзья) и вели неприятно-чувствительные разговоры, за холоднымъ чаемъ въ мутныхъ стаканахъ, которые Щербининъ самъ изъ кухни приносилъ — я думалъ съ тоской объ этихъ посѣщеніяхъ и старался ихъ по возможности избѣгать.

## 2.

Не помню, какой былъ день — вѣроятно похожій на всѣ, унылый, грязно-туманный, осенній — кажется, начинало подмерзать. Уроки шли обычнымъ своимъ порядкомъ — я аккуратно отмѣчалъ вызываемыхъ на заранѣе расчерченномъ листѣ и ставилъ предположительныя отмѣтки (не только изъ любви къ статистикѣ, но и для того, чтобы вѣрнѣе расчитать, когда долженъ наступить мой чередъ — я давно уже безпроигрышно изучилъ несложную систему преподавательскихъ вызововъ, у cadaго свою, одинаково легкую и косную, и на этомъ строилось мое «пятерочное» благополучіе). Дежурный вяло докладывалъ классному наставнику, Николаю Леонтьевичу — того нѣтъ, другого, и третьяго — и называлъ послѣднимъ (по алфави-

ту) Щербинина. Санька Оленинь, «присяжный острякъ», крикнулъ съ мѣста — «Щербининъ повѣсилса» — подражая прерывисто-хриплому его голосу. Почему-то никто не засмѣялся.

Послѣ гимназiи Лаврентьевъ, Костинъ и я, почти не сговорившись, молча отправились къ Щербинину — узнать о его здоровьи, сообщить заданные уроки — съ непонятной и намъ несвойственной предупредительностью. Я безъ конца въ различное время и разнымъ людямъ все это описывалъ, и у меня поневолѣ выработался одинъ изъ тѣхъ пространно-готовыхъ рассказовъ, которыми — незамѣтно для себя — мы по нѣскольку разъ докучаемъ тому же собесѣднику, которыхъ сами уже не слышимъ, такъ что они, отъ долгой затасканности, теряютъ первоначальную свою точность и выразительность, чѣмъ навсегда уничтожается какое-то «жизненное дуновенiе» въ передаваемомъ, да и во всякомъ нашемъ прошломъ, ему сопутствовавшемъ: такiе готовые, часто повторяющiеся рассказы потомъ неизбежно словно бы застилаютъ остальное, и все случившееся между происшествiями, въ нихъ отмѣченными, безповоротво улетучивается изъ памяти. Мы также не видимъ округленiй и ошибокъ, нечаянно возникшихъ отъ словесной быстроты, отъ разговорной безответственности, отъ погони за успѣхомъ — это въ дальнѣйшемъ мѣняетъ послѣдовательность событiй и конечно становится неотъемлемой ихъ сутью: такъ, перебирая разнообразныя причины, насъ троихъ заставившiя пойти къ бѣдному Щербинину, я приписалъ намъ тяжелыя предчувствiя и затѣмъ неоднократно ими хвалился — ихъ очевидно не было и быть не могло. Все же постараюсь хотя бы приблизительно воссоздать свои впечатлѣнiя и добраться до тогдашней непосредственности черезъ пустиа, давно омертвѣвшiя слова.

Мы не успѣли удивиться распахнутой двери въ передней, двумъ заплаканнымъ пожилымъ женщинамъ и сладко-тошному запаху ладана, какъ вдругъ очутились въ един-

ственной парадной комнатѣ — посерединѣ, на столѣ, возвышался гробъ, и въ немъ лежало худое и длинное, какъ будто вытянувшееся тѣло Щербинина. Къ моимъ рассказамъ впослѣдствіи привязалось туманно-искусственное слово — «пареніе»: мнѣ кажется и сейчасъ, что именно такимъ (невѣсомымъ, непрочнымъ, оторвавшимся отъ земли — и гдѣ-то парящимъ, недостижимо-далекимъ) я въ первую минуту увидѣлъ Щербинина и лишь постепенно, изъ-за неожиданныхъ слезъ Костина, подъ равнодушное бормотаніе блѣдной монашки, отъ сильной руки Лаврентьева, меня дружески взявшаго подъ локоть, я въ мертвомъ сталъ различать живыя, знакомыя черты — посинѣвшіе острые пальцы на гимназической курткѣ, оттопыренные маленькія уши надъ новыми, фіолетовыми пятнами, прямую линію лба, переносицы и носа (внезапно обрывающуюся около губъ, уродливо-четкую въ лежачей неподвижности) и шею особенно-нечеловѣчески-удлиненную. Это запомнилось одними глазами и до сердца, до жалости не дошло — скорѣй ужъ появился зачаточный страхъ, меня какъ-то сблизившій съ Лаврентьевымъ и Костинымъ въ невольныхъ поискахъ взаимной опоры. Отъ нихъ въ одну секунду меня отдѣлили простѣйшій вопросъ («нѣтъ ли среди васъ Ф.»), заданный старшей изъ обѣихъ дамъ — повидимому теткой Щербинина — я почувствовалъ себя недаромъ названнымъ по имени, виноватымъ и уличеннымъ, и сразу отвѣтственнымъ за эту смерть, и потомъ даже гордился воображаемой своей виной, хотя вопросъ былъ несомнѣнно и безобидный и случайный. Передъ уходомъ мы узнали, что Оленинская шутка зловѣще оправдана и что подъ-утро Щербининъ повѣсился, оставивъ коротенькую записку, безъ единаго указанія или намека.

Намъ такъ и не открылась дѣйствительная причина его конца — я придумалъ нелѣпое романтическое объясненіе, нераздѣленную любовь къ миловидной барышнѣ, о немъ всплкнувшей на похоронахъ, должно быть родственницѣ или знакомой, или просто жалостливой сосѣдкѣ: я

больше не встрѣчалъ никого изъ близкихъ ему людей, и моя фантазія, не стѣсненная опровергающей реальностью, могла заходить какъ угодно далеко. Вѣроятно были нелѣпы и другія мои предположенія — будто Щербининъ, излишне подозрительный, не вынесъ придирокъ Николая Леонтьевича и беспощадной нашей холодности, особенно моей. Правда, онъ пытался къ намъ подойти, но все разсѣянный, все съ меньшей надеждой, и жилъ чѣмъ-то уединяюще постороннимъ, увлекаясь модными книгами (о которыхъ мы еле слышали), неубѣдительно говоря о вычитанной въ нихъ мудрости, направленной противъ жизни и вскорѣ захватившей многихъ изъ насъ: въ то упадочное время наши старшіе товарищи, подражая разочарованной, порою фальшивой усталости взрослыхъ и кокетливой безутѣшности этихъ модныхъ книгъ, выискивали способы себя не щадить, себя какъ бы растратить физически и духовно — въ безцѣльномъ молодечествѣ (играя своимъ будущимъ), въ «огарческихъ» кружкахъ, въ легкомысленныхъ самоубійствахъ (вслѣдъ за этимъ въ нашей гимназій «на пари» отравился шестиклассникъ), находили иногда и героическое разрѣшеніе — тоже безпросвѣтное, непростительно-раннее — въ душномъ и вязкомъ революціонномъ подпольи. Не знаю, поддался ли Щербининъ одной только «модѣ», вліяніямъ и книгамъ, но думаю теперь, спокойно и трезво, что онъ то пожалуй не ошибался: ему были суждены одиночество и недооцѣнка, незаслуженныя обиды, завистливыя мученія, и онъ среди общей нашей неприспособленности (черезъ годы такъ страшно обнаружившейся) оказался бы слишкомъ уже безпомощнымъ.

Мы спѣшно съ пріятелями распрощались — каждый तोпили со своею сенсациейъ домой: я позже неоднократно замѣчалъ — одинаково у себя и у другихъ — какъ мы любимъ использовать всякую свою близость къ чужому подвигу, къ чужому самопожертвованію, страданіямъ и смерти, точно они и насъ возвышаютъ, хотя мы всего только «дешево отдѣлались». Я не сочувствовалъ самому Щер-

бинину (даже терзаясь душевной своей уродливостью), однако ждалъ вѣтерпѣливо минуты, когда смогу домашнихъ поразить, и смутно боялся, что при этомъ разсмѣюсь, особенно въ разговорѣ съ нашей мадемуазель, которая приметъ мою новость съ наибольшимъ удивленіемъ и жалостью. Мнѣ удалось лишь въ зрѣлые годы частично избавиться отъ неприятнаго свойства — смѣяться въ лицо надъ чьими-либо неудачами, надъ плохими отмѣтками или «разыгранными» учителями, надъ малышомъ, свалившимся отъ подножки, надъ карточнымъ проигрышемъ, надъ осви-станнымъ ораторомъ, надъ посрамленнымъ и растеряннымъ спорщикомъ, надъ бѣгущими и опаздывающими на поѣздъ — верѣдко, читая газетныя извѣстія о далекой борьбѣ враждующихъ партій, о нарастаніи міровыхъ событій, я азартно хочу ускорить чье-то окончательное поражение, и въ основѣ то же смѣшливое злорадство, травля и добиваніе любыхъ неудачниковъ, вопреки собственнымъ пристрастіямъ и природной искренней доброжелательности: у меня очевидно проявляются и повышенное чувство смѣшного, и темныя внутреннія силы, и какая-то нервная распущенность, и то неудержимое гибельное стремленіе, которое болѣзненно насъ тянетъ кинуться съ балкона или съ моста, сказать невозможную, непоправимую грубость, напрасно обидѣть намъ преданную, кроткую возлюбленную. И въ дѣтствѣ и до сихъ поръ — чтобы сразу же подавить неумѣстную улыбку, привязчиво-безстыдный смѣшокъ — у меня всегда наготовѣ достаточно грустыя воспоминанія: мнѣ это — изъ-за долгой тренированности — все болѣе, все надежнѣе помогаетъ, но въ иныхъ соблазнительныхъ случаяхъ досадная моя склонность про-рывается. Такъ вышло и съ mademoiselle — увидѣвъ понятный ея испугъ, я въ упоръ неприлично-громко расхо-хотался.

Въ гимназій и дома загадочный поступокъ Щербинина нѣсколько дней подрядъ обсуждался наперерывъ. Въ классѣ никто не злословилъ, даже Оленинъ и Штейнъ, и

высказывались ложно-обоснованныя предположенія въ тонѣ снисходительности, напускной серьезности и опытности (будто мы временно подъ кого-то маскируемся), и такъ же — быть-можетъ сердечнѣе — объ этомъ говорилъ и Николай Леонтьевичъ, съ оттѣнкомъ сплетничества, довѣрительно-интимно разобравшій всѣ нами придуманныя объясненія. Похороны были дѣловито-будничными — тѣ же лица, гербы и шинели, тотъ же беспорядокъ и покрякиваніе учителей — и на улицѣ, а затѣмъ на кладбищѣ я не испытывалъ ничего, кромѣ колотей въ ушахъ отъ сверлящаго холоднаго вѣтра, и тоскливо ждалъ конца непріятностей, теплой комнаты, утренней газеты (помню, съ какими-то свѣдѣніями о выборахъ, для меня увлекательной очередной «сенсацией»). Стыдясь ледяного своего равнодушія, я сдѣлалъ попытку въ себѣ пробудить естественное возмущеніе передъ новой могилой — что она закроется и своей жертвы не выпуститъ, что мы согрѣемъ, а Щербининъ останется въ мерзлой землѣ, что обидно такъ молодо умирать, но вѣдая общія эти мысли отпали, не тронувъ, какъ и всякое наше умничанье. Столь же искусственными оказались и сочиненные мною стихи, начинавшіеся со словъ — «октябрь на дворѣ, столица заволочлась туманомъ, какъ всегда» — и заканчивавшіеся нравоучительно, подъ взрослою:

Увы, хоронятъ молодого гимназиста,  
 Который слишкомъ рано жизнь позналъ,  
 И видя, что пути ея жестоки и тернисты,  
 Ее на смерть промѣнялъ.

Стихи эти вскорѣ «затрепались» — не только по моей винѣ — и меня же стала отталкивать высокоумная ихъ пустота, но Щербинина я попрежнему не жалѣлъ и глухо радовался (какъ это бывало и впослѣдствіи) исчезновенію единственнаго свидѣтеля иныхъ неприглядныхъ моихъ сторонъ — въ данномъ случаѣ сентиментальныхъ раз-

говоровъ, смутныхъ обязательствъ, постоянной безпощадности. И все же мальчишеская моя безчувственность не удержалась — она смѣнилась длительной связью съ умершимъ, уже глубокой, похожей на «культъ» и выбравшей два отчетливо-разныхъ пути, которые изрѣдка нечаянно скрещивались, однако не сливались и снова расходились.

Первый — тяжелые, навязчивые сны, возникшіе по самому неожиданному поводу. Однажды вечеромъ, блаженствуя въ ваннѣ (дней черезъ десять послѣ похоронъ), я — изъ ребяческаго озорного любопытства — съ головой погрузился въ горячую воду, чтобы наглядно, приближенно себя представить, каково было Щербинину задыхаться, и отъ собственного ужаса, отъ дальнѣйшаго сладкаго освобожденія вдругъ ощутилъ его безвыходный конецъ. Это превратилось ошеломительно-быстро въ безвольную привычку, въ какую-то странную одержимость: мнѣ стоило остаться одному, какъ я судорожно пальцами зажималъ ноздри и пробовалъ минуту не дышать, переносясь въ предсмертное состояніе Щербинина и все болѣе раздѣляя его мученія. Вѣроятно были и другія причины, о которыхъ я вспомнить не могу (или случившееся не сразу до меня дошло — наша «реакція» часто запаздываетъ, не послѣдуетъ за самимъ вопріятіемъ), но мнѣ, именно поглощенному этой подражательно-самоубійственной игрой, впервые ночью приснился блѣдный, мертвый Щербинкинъ, съ тѣми синими пятнами, которыя были у него въ гробу, и все же воскресшій, способный двигаться и говорить — онъ крѣпко схватилъ мою фуку своей холодной, какъ при жизни, рукой и повелъ меня куда-то наверхъ по длинной, страшной винтовой лѣстницѣ, причемъ я зналъ, что мы взбираемся на башню (не то вродѣ Вавилонской, по наивнымъ библейскимъ картинкамъ, не то на пожарную каланчу), затѣмъ онъ кинулся внизъ и увлекъ меня за собой, и тогда я проснулся, дрожащій, невыразимо потрясенный. Въ квартирѣ всѣ спали, ничьей поддержки быть не могло, и я, какъ будто парализованный и темнотой и своимъ оди-

ночествомъ, какъ будто находишься въ присутствіи, во власти мертвеца, особенно боялся уснуть и вызвать его неизбежное и слишкомъ ощутительное появленіе. Это стало повторяться каждую ночь — по многу разъ, едва я засыпалъ — и мой ужасъ не уменьшался, скорѣе даже усиливался, точно падало разумное сопротивленіе остатковъ уравновѣшенности и трезвости. Все нестерпимѣ дѣлалась пугающая, мстительная темнота, и часто вечеромъ — изъ кабинета или гостиной — не имѣя мужества добраться до выключателя, я убѣгалъ въ освѣщенную дѣтскую, гдѣ навожденіе немедленно проходило. Я себя уговаривалъ, что это не трусость, что у меня болѣзненные видѣнія — хотя я къ нимъ и не склоненъ, хотя таинственное мнѣ чуждо и недоступно. Но потомъ, когда отъ возраста исчезла моя задѣтость, я — упрямо защищая ослабленную чувствительность (съ такимъ упрямствомъ защищаютъ любовь), какъ бы спасаясь отъ сухости и скуки — я себѣ навязывалъ эти же мрачныя видѣнія, и лишь послѣдняя, грубоискусственная попытка (студентомъ, въ Крыму, среди пустынныхъ улицъ и безконечныхъ глиняныхъ стѣнъ) разоблачила мой самообманъ: мнѣ было нужно вотъ такъ по взрослому себя осудить, чтобы навсегда отрѣшиться отъ соблазнительныхъ выдумокъ. Я уже признавался, какъ меня возвышало романтическое вранье о Щербининѣ, лживо-тягостная моя виновность, легковѣсныя предположенія о расплатѣ, къ чему и сводилась вторая, внѣшняя сторона неразрывной моей съ нимъ близости — и это выходило еще убѣдительнѣе отъ пережитыхъ, неподдѣльно-страшныхъ ночей (здѣсь явно скрещивались оба моихъ пути), и я, разумѣется, удерживалъ (пока не явилась все та же ироническая взрослость) простѣйшую возможность рисоваться столь тщеславными о себѣ разказами передъ напуганными, взволнованными гимназистками, при вѣчной моей стѣснительности и неловкой ухаживательской робости.

Война, революція и гибель столькихъ людей уничтожили вытѣснили у меня всю исключительность того дав-



нишняго потрясенія, какъ вытѣснили и горькое величіе смерти. Я закалился, внутренно окрѣпъ и случайнымъ обидамъ не поддаюсь, словно обдуманно-твердо рѣшили охранять отъ назойливыхъ вторженій единственно мнѣ важную область — любовную: въ ней укрылась моя неизмѣнно-плодотворная уязвимость и ставшая осторожной, когда-то легковѣрная отзывчивость, нетерпѣливо стѣсненная поставленными ей предѣлами. Какъ ни удивительно, ожиданіе такой именно любви уже возникало въ упадочные годы моего дѣтства, которые инымъ моимъ сверстникамъ представляются лишь ступеню къ послѣдующимъ событіямъ (быть-можетъ оттого-что событія дѣйствительно произошли): для многихъ столь рано прерванная наша молодость — какъ бы движенія слѣпого у пропасти, какъ бы ударъ, готовый обрушиться — они однако не помнятъ, какою молодость была, и мнѣ эти записи доказали неуловимость ея забытаго очарованія. Теперь мы очутились въ пустотѣ, безъ собственнаго облика, безъ опоры, внѣ жизни, и я (вѣроятно и другіе — каждый по своему, отвѣтственно и одиноко), я себя пытаюсь возсоздать — опять-таки по своему, черезъ любовь — и хотѣлъ бы, чтобы изъ-за нея потускнѣли огненные блески злобы (въ чемъ-то осмысленной и праведной), и не знаю, куда и какъ примѣнить отраженную, замкнутую, въ любви накопленную доброту.

**Юрій Фельзень.**

## Черезъ улицу

Мы пришли въ Александрію на зарѣ. Оповѣщая о своемъ прибытіи туманный и еще сонный городъ, пароходъ затрубилъ прекраснымъ груднымъ голосомъ. Изъ мѣдной глотки парового гудка вырывались торжественные и страстные, почти по человѣчески печальные крики и мгновенно замирали. Можетъ быть, на зарѣ земная жизнь такими голосами призывали изъ зарослей гигантскихъ бамбуковъ своихъ медлительныхъ подругъ доисторическіе левіафаны. Когда-нибудь остынетъ земля, холодящее солнце повиснетъ надъ нею огромнымъ розовымъ цвѣткомъ, все умретъ, и только желѣзные гиганты съ металлическими сердцами будутъ бродить по океанамъ и призывать другъ друга иѣжными голосами. Развѣ не могутъ въ концѣ концовъ эти геніальныя машины превратиться в огромныя пылающія страстями сердца, какъ превратился комочекъ мускуловъ въ бѣдное человѣческое сердце?

Изъ открытаго иллюминатора вѣяло утреннимъ холодкомъ. Мой сосѣдъ по каютѣ, мосье Конакистъ, веселый греческій коммивояжеръ, спалъ, повернувшись лицомъ къ стѣнѣ. Въ таинственныхъ трюмахъ стучали машины. Я потянулся къ иллюминатору и ахнулъ отъ удивления: на фонѣ золотой зари уже поднималась Александрія. Какъ на туманномъ футуристическомъ плакатѣ, тамъ стояли розоватые и лиловатые кубы домовъ, а надъ ними кое-гдѣ застыли кроны пальмъ, впервые увидѣнныхъ пальмъ. Все это было такъ необычно, такъ чудесно, что я вслухъ сказалъ:

— Пальмы! Пальмы!

Было въ этомъ пейзажѣ что-то райское, что-то видѣнное въ дѣтскихъ снахъ или въ позабытой дѣтской книгѣ на картинкахъ, какими иллюстрировались Притчи о Добромъ Самаритянинѣ и Блудномъ Сынѣ. Но сосѣдь продолжалъ похрапывать, и его полосатые жалкіе красно-черные носки напомнили мнѣ, что мы находимся на землѣ, гдѣ все просто и обыкновенно, гдѣ странствуютъ ловкіе и яркіе коммивояжеры, и бываютъ всякія затрудненія съ портовыми властями. Я наскоро одѣлся, захватилъ свой чемоданъ и бросился наверхъ.

Въ эту минуту я особенно почувствовалъ, что волей судьбы я сталъ бродягой, у котораго ничего нѣтъ за душой, но котораго каждый день ждутъ всякія неожиданности. Теперь я новыми глазами смотрѣлъ на міръ, извѣстный раньше только по книгамъ. Открывалась новая жизнь, необычная и невѣрная.

Въ корридорахъ, по которымъ я пробирался на верхнюю палубу, сломя голову бѣгали матросы. Большинство пассажировъ было уже наверху. Я тоже поднялся по обитой мѣдью пароходной лѣсенкѣ, и меня поразила необыкновенная свѣжесть и чистота воздуха. Прошло всего нѣсколько минутъ съ тѣхъ поръ, какъ я покинулъ каюту, но за эти минуты береговой пейзажъ измѣнился, какъ будто пароходъ успѣлъ сдѣлать десятки миль. Надъ зеленоватой водой носились чайки. Сквозь бѣлыя кружащіяся стая я увидѣлъ на берегу городъ, о которомъ мечталъ всю жизнь. Онъ уже не казался теперь райскимъ видѣніемъ: я могъ видѣть молы и волнорѣзы, десятки судовъ въ порту, мачты парусныхъ кораблей, лѣниво дымящіяся трубы пароходовъ и стройный, но скучный маякъ. Но воздухъ былъ чистъ, какъ въ раю, и его не могли замутиль нѣсколько жалкихъ кочегарныхъ топокъ.

Пароходъ опять затрубилъ, и навстрѣчу намъ изъ порта вылетѣлъ портовой катеръ. Офицеры въ своихъ романтическихъ бѣлыхъ костюмахъ стояли на мостикѣ. Среди пассажировъ, придерживая шляпу обѣими руками, стояла

та молоденькая миссъ, которую я замѣтилъ наканунѣ. Вѣтеръ трепалъ ея бѣлую юбку, и молодая барышня улыбалась томно и стыдливо подѣ этой нѣжной и ангельской лаской. Кто ждалъ ее въ этомъ городѣ?

Потомъ я увидѣлъ на мутной, радужной отъ нефти водѣ апельсиныя корки, танцующія пробки и бутылки, выброшенные какимъ-то честнымъ и привередливымъ кокомъ помидоры и весь тотъ мусоръ, что плаваетъ въ большихъ торговыхъ портахъ. На пристаняхъ стояли безконечныя пакгаузы, горы мѣшковъ и пирамиды бочекъ. Среди желѣзной путаницы подъѣздныхъ путей возвышались сложныя сооруженія паровыхъ крановъ и подвѣсныхъ вагонетокъ. А на берегу меня поразила шумная грязная восточная толпа, бѣлоснѣжные мундиры и выщербленныя оспой безстрастныя лица полицейскихъ и невиданные до сихъ поръ костюмы-халаты, тюрбаны, фески и больше всего — библейскіе древніе глаза. Оглушенный этимъ гамомъ и шумомъ, ослѣпленный солнцемъ и блистающей водой, я выбрался наконецъ изъ воротъ таможни въ городъ, который начинался тутъ же за высокимъ портовымъ заборомъ. Здѣсь дребезжали пыльные трамваи, щелкали длинныя бичи оборванцевъ извозчиковъ и гудѣли автомобили, пробивая себѣ дорогу въ человѣческой толпѣ; въ автомобиляхъ развалившись, какъ паши, сидѣли тучныя господа въ фескахъ и поджарые розовые англичане. Одинъ изъ пыльных трамваевъ повезъ меня на улицу Эль-Масръ. Тамъ находился пансионъ госпожи Михайлидисъ, куда меня направилъ ея добрый знакомый, а мой спутникъ по путешествію на пароходѣ, мосье Конакисъ.

Не безъ труда нашель я нужную мнѣ улицу съ экзотическимъ названіемъ и въ недоумѣніи остановился передъ домомъ номеръ двадцать два.

У воротъ стоялъ старый арабъ съ бѣльмомъ на глазу, въ необыкновенно грязномъ халатѣ и, почесывая одну босую ногу другой, смотрѣлъ на меня со спокойнымъ любопытствомъ.

— Здѣсь живетъ мадамъ Михаилидись? — спросилъ я его.

Арабъ еще съ большимъ любопытствомъ посмотрѣлъ на меня, но ничего не отвѣтилъ.

— Мадамъ Михаилидись здѣсь живетъ? — повторилъ я.

Теперь онъ залопоталъ что-то по-арабски, и настала моя очередь смотрѣть на него, открывъ ротъ.

На мое счастье въ дверяхъ показалась тучная женщина въ европейскомъ платьѣ и съ желѣзными очками на носу. Это и была госпожа Михаилидись, владѣлица начлежки на улицѣ Эль-Масръ.

— Я ищу комнату, — сказалъ я.

Хозяйка сложила руки на своемъ объемистомъ животѣ и склонила голову на бокъ.

— Вы ищете комнату, — сказала она съ такимъ участіемъ, точно я искалъ не комнату, а нѣчто весьма рѣдкое на землѣ.

— У васъ есть недорогая комната? — спросилъ я, нѣсколько удивленный ея равнодушнымъ отношеніемъ къ предмету разговора.

— У меня есть недорогая комната, какъ разъ то, что вамъ нужно, желаете посмотрѣть? — все тѣмъ же равнодушнымъ и печальнымъ голосомъ предложила она.

Вслѣдъ за нею я сталъ подниматься по темной и грязной лѣстницѣ. Гдѣ-то плакалъ ребенокъ. Мѣсто было мерзкое, но мнѣ было пріятно, что какая-то почва уже есть у меня подъ ногами.

— Прекрасная комната, — говорила хозяйка, задыхаясь отъ астмы на шестиэтажной лѣстницѣ, — вы останетесь довольны.

Останавливаясь иногда на площадкахъ, чтобы передохнуть, она рассказала мнѣ, какъ тяжело жить на этомъ свѣтѣ, какъ она страдаетъ отъ астмы и какой уважаемый человѣкъ былъ ея покойный мужъ, который торговалъ двадцать лѣтъ галантереей, а потомъ простудился и умеръ.

— Вотъ комната, — сказала она, трогательно поддер-

живая рукою свое закрытое горами жира, усталое отъ житейскихъ непріятностей сердце.

Комнату никакъ нельзя было назвать прекрасной. Все ея убранство состояло изъ желѣзной кровати, маленькаго столика въ углу, плетенаго стула и розоваго фарфороваго кувшина, но при моихъ скромныхъ средствахъ, помѣщеніе было самымъ подходящимъ для моего жилья.

Я выглянулъ въ окно. Домъ стоялъ какъ-то бокомъ, и внизу была видна вся улица, узкая и кривая. На другой сторонѣ улицы возвышались такіе же унылые дома, тѣ дома, въ какихъ вездѣ обитаетъ городская бѣдность. Въ окошкахъ было развѣшено послѣ стирки жалкое тряпье. Въ одномъ изъ оконъ висѣла клѣтка съ неизвѣстной для меня зеленой птичкой — утѣшеніемъ какой-то бѣдной жизни. Откуда-то крѣпко пахло жаренымъ лукомъ, и этотъ назойливый пронзительный запахъ, больше чѣмъ пальмы, напоминалъ мнѣ о востокѣ, о жирныхъ блюдахъ и тучныхъ женщинахъ. Внизу около своей телѣжки расхаживалъ бродячій торговецъ и предлагалъ какіе-то товары. Никогда въ жизни я не слышалъ такихъ страстныхъ и модулирующихъ руладъ, да еще по такому прозаическому поводу. Можно было подумать, что это не продавецъ орѣшковъ или помидоровъ, а меланхолическій восточный поэтъ, распѣвающий свои газеллы подъ окнами любимой. Маленькій осликъ терпѣливо ждалъ, когда можно будетъ двинуться дальше, и потомъ тоже заревѣлъ, восторженно и хрипло...

Такъ началась моя александрійская жизнь.

Посмотримъ, что будетъ дальше, — сказалъ я самъ себѣ, укладываясь на новомъ мѣстѣ.

Весь день я бродилъ по городу. Отъ солнца и жары у меня болѣла голова, земля еще качалась подъ ног. ми, и въ ту ночь мнѣ снились дорожные и морскіе сны — кружились лиловые Циклады, качался и отплывалъ русскій берегъ. Какія-то женщины въ платкахъ стояли на берегу и равнодушно смотрѣли на уходившій пароходъ, на лю-

дей, которые пускаются в далекое и невѣдомое странствованіе. И когда я проснулся, я долго не могъ понять, почему я очутился въ этой незнакомой комнатѣ. Сквозь ставни пробивалось солнце. Я подошелъ къ окну и пріоткрылъ ставню.

Улица была залита свѣтомъ. Къ моему удивленію я увидѣлъ, что въ одномъ изъ оконъ противоположнаго дома молодая женщина выбиваетъ коврикъ съ изображеніемъ восточнаго города, пальмъ и минаретовъ. Чтобы не дышать пылью, она отвернула съ гримаской голову, но я отлично могъ видѣть ея тонкое смугловатое лицо, похожее на лица тѣхъ ангеловъ, которыхъ рисуютъ на пасхальныхъ открыткахъ — преувеличенно большіе глаза и маленькій ротъ, похожій на полураскрытый, запекшійся отъ жажды цвѣтокъ. Ея рѣсницы были такъ черны и такъ длинны, что я черезъ улицу видѣлъ, какъ онѣ колыхались, какъ падали отъ нихъ синевація тѣни на щеки.

Вытряхнувъ коврикъ, она съ любопытствомъ заглянула внизъ и скрылась въ глубинѣ комнаты.

День опять пролетѣлъ быстро. Я успѣлъ познакомиться съ обителями нашего довольно страннаго «пансіона».

Моя комната находилась на чердакѣ, въ пристройкѣ, а этажемъ ниже жили другіе постояльцы: два итальянца, которые цѣлыми днями играли въ карты, развалившись на постеляхъ и высоко держа надъ головами вѣера засаленныхъ картъ. Иногда игроки вступали въ шумные споры, и тогда имена Мадонны и святыхъ мѣшались съ громомъ и молніями, но черезъ минуту все успокаивалось, и пріятели, какъ ни въ чемъ не бывало, снова сдавали карты. Въ другой комнатѣ жилъ со своею супругой чудакъ-англичанинъ. Съ утра онъ уходилъ въ городъ и, бродя по шумнымъ александрійскимъ улицамъ, читалъ вслухъ Евангеліе. Его супруга въ черномъ до подбородка платьѣ ходила за нимъ, скромно опустивъ глаза. Такъ они проповѣдывали слово Божіе въ городѣ, гдѣ интересовались всѣмъ, чѣмъ угодно, но только не проповѣдью евангельскихъ

истинъ. Третья комната пустовала, въ ней обвалился потолокъ.

Вечеромъ я сидѣлъ у окна и слушалъ таинственный гулъ, стоявшій надъ огромнымъ городомъ. Сверху трепетали пушистыя звѣзды. Гдѣ-то за домами вспыхивали волшебные огни трамваевъ. На нашей улицѣ горѣли фонари у дверей весьма легкомысленныхъ заведеній. Мимо сновали люди — арабы и подозрительные европейцы, молодые портовые рабочіе и уличные звѣаки. Иногда въ свѣтѣ фонарей можно было разсмотрѣть полосатыя фуфайки и синія каскетки матросовъ. Раскрашенныя женщины въ однихъ розовыхъ рубашкахъ выбѣгали изъ дверей и тащали прохожихъ въ свой пахнущій дешевой пудрой рай. Каждые полчаса завязывалась минутная ссора и такъ же быстро затихала. Черезъ улицу я видѣлъ въ освѣщенныхъ окнахъ бѣдную и безнадежную жизнь: усталыя лица женщинъ, плачущихъ дѣтей, жалкую ѣду на столѣ, тряпье неопрятныхъ постелей.

Я искалъ глазами ту особу, которую я видѣлъ утромъ. Окна ея квартиры были освѣщены, и я могъ видѣть убогій и жалкій комфортъ мѣщанской обстановки: круглый столъ, покрытый розовой клеенкой, висѣвшую надъ нимъ бронзовую лампу съ затѣйливыми украшеніями и бѣлымъ абажуромъ, на стѣнѣ — двѣ увеличенныя фотографіи, а на комодѣ — будильникъ и бумажные цвѣты въ копѣечныхъ вазочкахъ. Вѣроятно, здѣсь жила семья какого-нибудь трамвайнаго кондуктора или приказчика изъ маленькаго магазина. По комнатѣ ходила та молодая женщина, которую я видѣлъ утромъ. На ней было то же самое ситцевое платье въ голубыхъ цвѣточкахъ, а на босыхъ ногахъ домашніе съ мѣховой оторочкой туфли.

Она медленно, точно во снѣ, бродила по комнатѣ, уходила и возвращалась, занятая приготовленіемъ ужина. Въ открытую дверь кухни я видѣлъ горящій примусъ и кастрюли. Отъ нечего дѣлать, заинтригованный прекрасной незнакомкой, я наблюдалъ, какъ она лѣниво накрывала на



столь: поставила тарелки, принесла графинь съ водой и бутылку вина. Потомъ она подошла къ окну и, облокотившись на подоконникъ, застыла чернымъ силуэтомъ. Можетъ-быть, она заслушалась хриплой аріей грамофона, который неожиданно завели въ сосѣднемъ домѣ. Это былъ старинный вальсъ изъ какой-то итальянской оперы, мелодичный и пошловатый, какъ счастье неаполитанскаго любовника.

Наконецъ, пришелъ тотъ человѣкъ, котораго она ждала къ ужину, высокій толстякъ съ краснымъ лицомъ и подстриженными черными усиками надъ большимъ и пухлымъ ртомъ. Онъ тяжело отдувался и, не говоря ни слова, бросилъ свое канотье на комодъ, снялъ чесучовый пиджакъ и развязалъ, мотая головой розоватый галстукъ. Затѣмъ онъ замянулъ ботинки туфлями изъ красной кожи и, оставшись въ розовой помятой рубашкѣ съ лиловыми подтяжками на жирныхъ и круглыхъ плечахъ, сѣлъ за столъ. Женщина, вѣроятно его дочь, какъ я подумалъ въ первую минуту, принесла изъ кухни большую миску и поставила на столъ. Мужчина наложилъ на тарелку горку помидоровъ и съ жадностью принялся за ѣду. Насыщаясь онъ торопливо, облизывая пальцы, по которымъ стекалъ помидорный сокъ, отъ усердія высоко поднимая брови. Миѣ казалось, что я слышю чавканье его рта, что я вижу, какъ шевелится во время ѣды его уши. Справившись съ помидорами на тарелкѣ, онъ сталъ ѣсть прямо изъ миски, и за все это время, кажется, не сказалъ ни одного слова. Его партнерша тоже молча сидѣла съ другой стороны стола, подперевъ голову рукой. Точно нехотя, она жевала кусокъ хлѣба.

Когда помидоры были уничтожены, она снова пошла на кухню и принесла суповую миску, отъ которой валилъ горячій паръ.

Миѣ надоѣла эта фламандская картина, и я рѣшилъ, что нужно пойти въ городъ, посидѣть въ какомъ-нибудь кафе: въ комнатѣ было душно, какъ въ аду.

Но такая же духота стояла и на нагрѣтыхъ дневнымъ солнцемъ улицахъ. Въ многочисленныхъ кафе, на открытыхъ терассахъ сидѣли дорожные эфенди и съ дорожными сигаретами въ рукахъ потягивали изъ маленькихъ чашечекъ кофе. Къ нимъ приставали, предлагая почистить обувь, уличные чистильщики — маленькіе арабчата, похожіе на вываленныхъ въ грязи ангелочковъ. Они умоляющими глазами смотрѣли на кліентовъ, понимая, что за каждый непринесенный съ работы піастръ ихъ ожидаетъ дома жестокая порка, побои и крики суровыхъ отцовъ.

Молодые, преждевременно жирѣющіе люди, бездѣляники и юркіе дѣльцы сновали по улицамъ, спорили о чемъ-то въ кафе, размахивали руками и отмахивались отъ назойливыхъ египетскихъ мухъ бумажными метелками. Среди этого оживленія я особенно сильно почувствовалъ свое одиночество и безпріютность.

По утрамъ я уходилъ изъ дому. Почему-то меня тянуло въ портъ, къ пароходамъ, къ суетѣ на пристаняхъ, къ запахамъ пароходнаго дыма, морской воды, канатовъ и брезентовъ. Съ замираніемъ сердца я прислушивался къ тоскливымъ гудкамъ. По количеству золотыхъ галуновъ на рукавахъ капитановъ и шкиперовъ я судилъ объ ихъ мореходныхъ способностяхъ. Мнѣ нравились эти потрепанные скрипучіе пароходы, которые возили по голубымъ волнамъ Средиземнаго моря поэтическия древніе, какъ исторія Александріи, грузы: маслины и оливковое масло, пшеницу и виноградъ, вино и шерсть, критскій лукъ и прекрасныхъ, точно выточенныхъ изъ дерева, античныхъ македонскихъ быковъ.

Я переходилъ отъ парохода къ пароходу и разбиралъ на кормахъ золотыя буквы названій. Такъ поступали герои давно прочитанныхъ и позабытыхъ книгъ. Позвякивая въ карманахъ послѣдними пенсами, они тоже бродили по набережнымъ тѣхъ романтичныхъ городковъ съ трудными англійскими названіями, гдѣ въ кирпичныхъ, заросшихъ обильнымъ плющемъ домикахъ жили оставшие

адмиралы и арматоры, а избѣжавшіе висьляцы въ лондонскихъ докахъ одноглазые и хромые пираты держали кабачки и картежные притоны съ огромными очагами, съ дубовыми табуретами и оловянными кружками въ пивту эля, съ зелеными, привезенными изъ далекихъ путешествій, попугаями. Такъ бродили юные непосѣды по набережнымъ, смотрѣли на корабли, нагруженные драгоценнымъ грузомъ индиго, сандаловаго дерева и кофе, золотомъ и табакомъ, и мечтали уѣхать юнгами на какомъ-нибудь трехмачтовомъ бригѣ Остъ-Индійской Компаніи.

Я завидывалъ бродягамъ, морякамъ и авантюристамъ и съ грустью думалъ, что мнѣ не хватаетъ чего-то, чтобы быть такимъ же, какъ они, какъ этотъ пароходный кокъ, который съ трубкой въ зубахъ смотрѣлъ мечтательно и равнодушно на берегъ, облокотившись о поручни своего грязнаго парохода «Богемія» и время отъ времени флегматично поплеывалъ въ зеленоватую воду. Видно было, что онъ презираетъ все на свѣтѣ, кромѣ своего годового жалованья, кромѣ приятной возможности пропить это жалованье въ какомъ-нибудь барѣ, гдѣ лихихъ моряковъ обнимаютъ пышныя руки испытанныхъ въ любви красавиць.

Я никуда не собирался уѣзжать, и мнѣ никуда было уѣзжать изъ этого города, гдѣ какъ-то нужно было устроить свою жизнь.

По вечерамъ я часто оставался въ своей комнатушкѣ и, сидя у окна, слушалъ, какъ гудитъ городъ, какъ заливаются за всѣ голоса многочисленные грамофоны нашей веселой и легкомысленной улицы. Иногда я былъ свидѣлемъ семейныхъ сценъ у моихъ сосѣдей.

Каждый вечеръ я наблюдалъ одну и ту же картину. На столѣ ставились тарелки и стаканы, медлительно двигались маленькія смуглыя руки, шумѣлъ на кухнѣ примусъ. Потомъ приходилъ угрюмый и молчаливый толстякъ и разоблачившись садился за столъ.

Сначала я думалъ, что молодая женщина, почти дѣвочка по внѣшнему виду, его дочь, но однажды я убѣдился въ

другомъ. Однажды они забыли повернуть планки ставень въ сосѣдней комнатѣ, и черезъ щели я могъ видѣть, что тамъ помѣщается спальня. Половину комнаты занимала огромная кровать съ никкелированными украшеніями и пышнымъ стеганнымъ одѣяломъ.

Толстякъ былъ уже въ постели и подъ краснымъ одѣяломъ возвышалась гора его внушительнаго живота. На ночномъ столикѣ стояла лампа, и при ея свѣтѣ онъ читалъ газету, лѣниво почесывая волосатую грудь. Молодая женщина убрала со стола посуду, перемыла на кухнѣ тарелки и, погасивъ въ столовой свѣтъ, перешла въ спальню. Къ моему удивленію я увидѣлъ, что она начала раздѣваться, стянула чулки и, оставшись въ одной сиреневой дешевой рубашкѣ съ желтыми кружевцами, легла въ постель и отвернулась къ стѣнѣ. Толстякъ продолжалъ читать газету, потомъ зѣвнулъ, положилъ газету на ночной столикъ и что-то сказалъ женѣ. Та уже уснула или притворилась спящей, потому что она ничего ему не отвѣтила. Тогда мужъ потрогалъ ее за плечо. Свѣтъ въ комнатѣ погасъ.

Мало-по-малу у меня стали завязываться знакомства. Въ городѣ было много русскихъ. Въ маленькой русской столовкѣ я познакомился съ Аней.

Моя кепка, которой я такъ гордился, была выброшена въ сорный ящикъ, и свой видѣвшій виды пиджакъ я замѣнилъ бѣлоснѣжнымъ костюмомъ, въ которомъ мнѣ было не стыдно бывать съ элегантной Аней.

Было въ ней какое-то обаяніе молодого и сильнаго тѣла, которое сказывалось въ блескѣ ея глазъ, въ ея плавной походкѣ, въ манерѣ высоко держать голову. Когда она улыбалась, хорошо блестѣли ея ровные зубы, обильно смоченные слюной. Ея руки прекрасно и золотисто загорали, и вся она розовѣла отъ солнца, отъ жары, отъ александрийскихъ сквозняковъ. Въ тѣ дни женщина еще казалась мнѣ таинственной и запретной страной.

Теперь я уже не видѣлъ семейныхъ сценъ у моихъ со-

сѣдей. Вечера я проводилъ вмѣстѣ съ Аней. Иногда было пріятно просто посидѣть въ какомъ-нибудь кафе, гдѣ передъ нами ставили на столикъ двѣ маленькихъ чашечки кофе и стаканы съ ледяной водой и оставляли в покоѣ. Чаще всего мы посѣщали террасу кафе на набережной, откуда былъ виденъ весь старый круглый портъ, форть Каитъ-Бей, флотилии рыбацкихъ шхунъ и время отъ времени медленно проходившіе на горизонтѣ каботажные пароходы съ трубами почти на кормѣ и маленькими уродливыми мачтами. Аня мечтательно и нѣжно смотрѣла, какъ за фортомъ Каитъ-Бей угасаетъ ранняя египетская заря. Одна за другой рыбацкія лодки поднимали паруса и уходили въ открытое море на рыбную ловлю.

Она прекрасно умѣла слушать, большое достоинство въ моихъ глазахъ, потому что въ тѣ дни меня распирало отъ впечатлѣній и поэтическихъ воспоминаній. Я рассказывалъ ей объ Александріи, о Каллимахѣ и буйномъ Аріѣ, и мнѣ было пріятно, что я открываю ей неизвѣстный для нея міръ, населенный древними тѣнями. И когда я показывалъ ей пустыри съ обломками колоннъ, подъ которыми когда-то размахивалъ руками и брызгалъ слюной Аріѣ, она гладила рукой прохладный гравитъ потонувшего міра и смотрѣла передъ собой расширенными глазами, точно въ самомъ дѣлѣ подъ ними шумѣла буйная александрійская чернь, kloкотала огромный и страстный александрійскій міръ, крѣпко заправленный аттическою солью, восточными спеціями и острыми іудейскимъ чеснокомъ. Что она знала объ Аріѣ? Только то, что его судили за ересь на какомъ-то Никейскомъ соборѣ и отлучили отъ Церкви, и вотъ она стояла на томъ мѣстѣ, гдѣ полторы тысячи лѣтъ тому назадъ поднимались прохладные портики св. Марка.

Мнѣ нравилась въ Анѣ эта чисто женская восприимчивость, способность понимать на полусловѣ, при полномъ отсутствіи всякихъ творческихъ способностей. Ей трудно было написать самое обыкновенное письмо, и онѣ выходили у нея наивными, какъ у ребенка, но въ книгахъ она умѣ-

ла останавливаться на самых цѣнныхъ страницахъ, а въ стихахъ находить самыя прелестныя строки.

Увы, я ничего не могъ ей предложить, кромѣ этихъ рассказовъ, почерпнутыхъ изъ случайно прочитанныхъ книгъ. Только изрѣдка я покупалъ ей у назойливыхъ уличныхъ торговцевъ десятокъ свѣжихъ красныхъ розъ. Отъ этихъ розъ вѣяло прохладой и немножко парфюмернымъ розовымъ масломъ. Иногда Аня давала мнѣ двѣ-три розы изъ букета, и это было единственнымъ украшеніемъ моей коюры.

Однажды утромъ я бросилъ одну изъ этихъ розъ въ окно своей сосѣдкѣ. Я видѣлъ, какъ она подняла розу съ пола, удивленно понюхала цвѣтокъ и подошла къ окну. Нахмуривъ брови, она осматривала окна верхнихъ этажей, не догадываясь посмотрѣть на маленькое окошко пристройки. Такъ, держа розу въ рукахъ, она постояла у окна, еще разъ посмотрѣла на окна и скрылась. Ничего она интереснаго въ этихъ окошкахъ, кромѣ своихъ тучныхъ сосѣдокъ, чудака-англичанина и развѣшеннаго послѣ стирки бѣлья, обнаружить не могла.

На другое утро я опять повторилъ свою шутку. На этотъ разъ я обернулъ стебель розы бумажкой, на которой было написано: «Vous êtes belle».

Къ счастью она догадалась эту бумажку развернуть и мнѣ было видно, какъ покрасѣли ея щеки, когда она читала мой неуклюжій комплиментъ. Она опять подошла къ окошку и внимательно разсматривала окна моего дома. Но и на этотъ разъ она не подняла глазъ на мой чердакъ, гдѣ за выступомъ сосѣдняго дома еле-еле можно было видѣть мое окно. Мнѣ некогда было въ то время наблюдать за моей сосѣдкой. Было воскресенье, по воскресеньямъ мы ѣздили съ Аней въ Абукиръ купаться. Туда бѣгали каждыя полчаса маленькій поѣздъ съ паровозомъ времени королевы Викторіи.

Слѣва голубѣло море, съ другой стороны тянулись це-

ски, среди которыхъ кое-гдѣ зеленѣли маленькія рощи пальмъ, теперь такихъ привычныхъ и знакомыхъ.

— Это вѣчная исторія, — сказала я, когда Аня вспомнила, глядя на пальмы, о своихъ вологодскихъ елкахъ, — это вѣчная тема: пальма и сосна. Можетъ быть, одна изъ причинъ, почему сѣверные варвары такъ охотно принимали христіанство, была въ томъ, что въ Евангеліи говорилось о пальмахъ. Если бы въ этой книгѣ говорилось о липахъ и березахъ, въ ней не было бы того романтизма, который побуждалъ наивныхъ германцевъ и славянъ. Пюмните, какъ намъ нравились пейзажи въ Церковной Исторіи? Правда, они напоминали намъ о раѣ?

— У насъ въ гимназіи были развѣшены такія картинки въ краскахъ по корридорамъ. Совсѣмъ, какъ арабскія деревушки.

— Вотъ видите, — обрадовался я, — вѣдь правда, эти картинки казались вамъ чудесными пейзажами? А теперь, когда вы видите эти грязныя деревушки и пыльныя пальмы, вамъ захотѣлось елочекъ.

— Да, эти пальмы что-то больно напоминаютъ наши вокзальныя, знаете въ буфетахъ.

— Да, да, съ окурками, я помню.

Я вспомнилъ, какъ я пріѣзжалъ въ Александрію, какими райскими пальмами мнѣ казались пальмы съ парохода.

— Всѣ мы мечтатели, — сказала я.

— А я не умѣю мечтать, — засмѣялась Аня.

— Умѣете, — махнулъ я на нее рукой, — еще какъ умѣете. Безъ этого намъ не прожить. Всѣ мы мечтаемъ о чемъ-нибудь. Кто о любви, кто о смерти.

— Вотъ ужъ не желаю мечтать о смерти! Смерть — потомъ!

Въ самомъ дѣлѣ, зачѣмъ ей было мечтать о смерти, когда въ жизни ее ждало много всякихъ неизвѣданныхъ вещей. Смерть будетъ потомъ. И было странно думать, что настанетъ время, когда эти прелестныя полныя женскія ру-

ки сдѣлаются пищей могильныхъ червей, что она увянетъ, что на ея лицѣ появятся морщины и выпадутъ одинъ за другимъ ея бѣлые ровные зубы.

— Не умирайте, — сказала я. — Правда, глупо умирать? Живешь, живешь, а потомъ хлопъ, и все кончено. Ужасная безмыслица.

— О, да, — заторопилась она, — ужасная безмыслица. Я хочу жить. Долго, долго, Я не хочу умирать.

— Если бы не было смерти, не было бы и желанія жить. Понимаете, не съ чѣмъ было бы сравнить жизнь. Когда на улицѣ везутъ гробъ, жизнь кажется особенно цѣнной. Не хотѣлъ бы я быть гробовщикомъ.

— Страшно. Или еще, когда кадятъ надъ покойникомъ. Кадило звякаетъ. Поютъ... какъ это...

— Надгробное рыданіе?

— Да, да. И что-то такое про прахъ. Я боюсь покойниковъ. А пахнетъ нехорошо.

Но все въ этомъ мірѣ было брэнно и непрочно, все ускользало и уплывало и нечѣмъ было удержать время, замедлить его летъ къ смерти, къ уничтоженію. Когда-нибудь умереть и земля, и солнце повиснетъ надъ нею огромнымъ розовымъ цвѣткомъ. Тогда ничего не останется ни отъ меня, ни отъ этихъ пальмъ, ни отъ Ани. И мнѣ казалось, что я слышу, какъ летитъ время, уносится въ небытіе. Мнѣ казалось, что единственной защитой для меня осталась вотъ эта веселая и румяная барышня, которую я случайно встрѣтилъ въ русской столовкѣ.

Мѣрно постукивали колеса поѣзда — любимая музыка влюбленныхъ и мечтателей. Я заглядывалъ въ синіе и влажные глаза, и Аня смущенно отворачивала голову. Она смотрѣла на пролетавшіе мимо пустынные пески. Какъ песокъ, между пальцами ускользало время.

На Абукирскомъ берегу стояла блаженная тишина. Справа горячими волнами поднимались нагрѣтые солнцемъ песчаные холмы, поросшіе скудной травой. Они закрывали маленькій поселокъ съ красной сельской мечетью



и старымъ кладбищемъ, гдѣ среди колючихъ кактусовъ бѣгали юркія ящерицы. Было приятно, что холмы закрывали и безобразные ангары авіаціоннаго парка. Тамъ цѣлый день копошились маленькіе зеленые солдаты, розовые, чисто выбритые, смѣшлывые, вкусно пахнушіе англійскимъ табакомъ.

Море было прекрасно, какъ божественная олеографія. Такіе берега были, должно быть, въ поэмахъ Гомера — пустынные, съ выброшенными мертвыми рыбками, съ бѣлыми парусами галеръ на горизонтѣ. На холмахъ бродили пастухи — старые и молчаливые арабы въ бѣлыхъ бурнусахъ съ библейскими посохами въ рукахъ. Козы, прижимаясь другъ къ другу, щипали траву и отъ нихъ пахло козьимъ сыромъ Иллиады. Эти козы напоминали о гомеровскихъ временахъ, блаженныхъ и далекихъ, когда здѣсь стояли маленькіе греческіе городки, зеленѣли виноградныя лозы, шумѣли надъ бѣлыми домиками классическія оливковыя рощи. Сюда приплыли счастливые любовники, но даже прекрасные заплаканные глаза Елены не тронули суровыхъ городскихъ старцевъ.

Мы брали съ собою огромный тетинъ зонтикъ, отъ котораго на песокъ лежала голубоватая тѣнь, когда мы его раскрывали, чтобы подъ этой импровизированной защитой Аня могла раздѣться и натянуть купальный костюмъ. Размахивая руками, она бѣжала въ море. Тогда переодѣвался и я, и меня волновало, что на песокъ лежитъ Анино бѣлье и чулки, стыдливо прикрытые бѣлымъ платьемъ.

Около старыхъ турецкихъ фортовъ мечтали о славѣ и вспоминали громы сраженій накаленные солнцемъ старинныя армстронговскія пушки. Разложенныя на песокъ сѣти пахли арбузомъ. Солнце медленно склонялось къ западу, къ далекому горизонту, гдѣ маячили паруса рыбацкихъ шхунъ — тамъ занимались рыбной ловлей отважные итальянскіе рыбаки изъ Калабріи...

Дома я бываю рѣдко. Но какъ-то утромъ я опять увидѣлъ мою сосѣдку. Къ моему удивленію на ней было те-

перь нарядное платье, розовое въ бѣлыхъ цвѣтахъ. Въ немъ она напоминала пестрое олеандровое деревцо. На ея шеѣ я увидѣлъ кокетливое ожерелье изъ красныхъ бусъ. Я не вѣрилъ своимъ глазамъ. — Собирается въ городъ, — подумалъ я. — Она стояла у окна и, держа въ рукахъ маленькое зеркало, поправляла прическу. Она улыбалась сама себѣ и задорно откидывала хорошенькую головку, чтобы лучше видѣть себя въ зеркалѣ.

Я думалъ, что я увижу, какъ она выйдетъ изъ дому. Но какъ будто никуда она не собиралась, и я еще одинъ разъ мелькомъ видѣлъ ее въ окнѣ.

Въ этотъ день ко мнѣ должна была прійти Аня.

— Боже мой, въ какой трущобѣ вы живете, — сказала Аня, раскраснѣвшись отъ высокой лѣстницы, по которой нужно было взбираться въ мое неказистое жилище.

— Да, нужно будетъ перемѣнить квартиру, — согласился я, чуть ли не впервые разсматривая стѣны, покрытые выцвѣтшими обоями.

— Мнѣ неудобно здѣсь принимать такихъ нарядныхъ дамъ, какъ вы, — смѣялся я.

Она взглянула на меня печально, какъ будто удивляясь, что я могу смѣяться въ такую минуту, какъ будто предчувствуя, ожидая, что сейчасъ случится что-то большое и непоправимое.

Она подняла прекрасныя загорѣлыя руки, чтобы снять широкую шляпу.

— Я снимаю шляпу, мнѣ жарко.

Мы говорили о жарѣ, какъ будто не было другихъ болѣе интересныхъ темъ для разговоровъ.

Отъ жары у меня самого пересохло въ горлѣ. Отъ Ани пахло солнцемъ, духами и здоровымъ женскимъ потомъ. Я обнялъ и поцѣловалъ ея шею. Аня отворачивала голову, и я замѣтилъ, какъ высоко поднимается ея грудь. Подъ этимъ бѣлымъ платьемъ начиналась буря, можетъ быть первая буря въ ея жизни.

Она встала, но такъ мнѣ было удобнѣе обнимать ее, и я крѣпче прижалъ лицо къ ея пахучему платью.

Аня закрыла глаза. Губы ея скривились такъ, какъ будто бы она собиралась заплакать. Она улыбалась сквозь слезы. Такъ улыбаются передъ смертью героини греческихъ трагедій.

— Аня! Аня!.. — шепталъ я, — милая Аня...

— Сергѣй... не надо... я сейчасъ уйду...

Тихія райскія пальмы вѣяли надъ нашими головами. Вѣяли черныя крылья рока. У меня кружилась голова. Не выпуская изъ рукъ ее теплое и нѣжное тѣло, я прикрылъ ставни.

Черезъ нѣсколько дней я переѣхалъ на другую квартиру, поближе къ морю. Но одинъ разъ я еще видѣлъ свою сосѣдку. Я проходилъ по нашей улицѣ и встрѣтилъ ее у дверей ея дома. Очевидно она возвращалась съ базара, потому что въ рукахъ у нея была клеенчатая сумка, въ какихъ женщины носятъ провизию. Она поднялась на ступеньки крыльца. На меня она даже не взглянула — для нея я былъ случайный прохожій — но я прекрасно видѣлъ, что прежде, чѣмъ открыть дверь она обернулась и, остановившись на минуту, внимательно и печально посмотрѣла на противоположный домъ, окинула взглядомъ окошки верхнихъ этажей и потомъ вошла въ домъ.

Когда я проходилъ по улицѣ, въ одномъ изъ оконъ заплакалъ ребенокъ, страстно и безконечно, точно онъ уже зналъ, что жизнь страшна и непонятна.

Ант. Ладинскій.

## СМЕРЧЪ

Въ августѣ этого года скумбрія не показывалась у береговъ Одессы. Гнала-ли ее хищная рыба паламида, или отшло въ сторону холодное теченіе, но ея не было, и рыбакамъ ничего не оставалось дѣлать, какъ ставить переметы на неизмѣнныхъ бычковъ, «подкаменщиковъ», зеленовато-чернаго цвѣта и на «песочниковъ» — желтаго.

Наканунѣ вечеромъ у рыбака Василю Фесенко изъ «круглой бухты» были «очаковскій» и говорилъ, что у нихъ «скумбрія идетъ».

Тогда-же Василий съ женой своей, Настей, и порфириди, не теряя времени выйти на сѣдующій день къ вечеру въ море, совсѣмъ далеко, миль за 40 къ Кинбургской котѣ и тамъ попытать счастья.

Передъ отъѣздомъ, когда солнце уже садилось, Василий, Настя, пятилѣтній ихъ мальченка Ванька и сестра Настина, вертлявая Даша, бывшая «за няньку», сѣли въ кружокъ на большіе черные камни у котелка съ ухой и стали черпать душистое варево разнокалиберными ложками.

Бли они солидно, громко чавкая, вытирая рты тыльной стороной руки и къ ухѣ съѣли массу пшеничнаго фунтового хлѣба. Потомъ пили чай.

Наверху, въ травѣ, завели сверчки, море тихонько плескалось, чуть-чуть тянуло отъ него сыростью, а надъ горизонтомъ въ буровато-багровомъ пятніи зарождалась опромная, еще не свѣтящая, матовая луна.

Изъ-за высокихъ скалъ, окаймлявшихъ бухточку, показывались и проплывали мимо рыбацьи шаланды возвращавшихся рыбаковъ. Они гребли стоя, «по гречески»,

лицомъ къ носу и вмѣстѣ съ шаландой цѣликомъ отражались въ водѣ...

Казалось, что такъ было всегда, съ незапамятныхъ временъ: такъ-же приплывали домой рыбаки, такъ-же сидѣли семьей у котелка, такъ-же стояли сѣровато-розовые скалы, разбитыя, обтесанныя, вылизанныя прибоемъ...

Василій спустился къ берегу. «Настя, воды до анкерки набрала?», — крикнулъ онъ. Онъ не говорилъ всегда, а кричалъ. «И хлѣба не забудь покладать». Затѣмъ, ступая по водѣ такъ-же свободно, какъ по землѣ, онъ свелъ шаланду на болѣе глубокое мѣсто.

Корма ея скользнула по засохшей сѣрой прибрежной тинѣ, отжимая отъ нея воду и оставляя за собой оливковый слѣдъ.

Василій свелъ свою шаланду такъ-же, какъ кучеръ выводитъ изъ стойла коня.

Сойдя цѣликомъ на воду, шаланда плавно заколыхалась и заиграла на свободѣ. Теперь стали видны ея прелестные обводы и точная постройка. Она сидѣла въ водѣ какъ разъ по ту линію, которую обвелъ краской Василій, когда она еще стояла на сушѣ.

На ея борту выложены фестономъ тщательно перебранныя сѣти, съ плоскими пробками по верхнему краю, а на кормѣ стояли корзины съ камнями-грузилами.

Пройдя по водѣ нѣсколько шаговъ рядомъ съ шаландой, пока теплая вода не облинула подкаченныхъ до колѣнъ штановъ, Василій перекинулъ правую ногу черезъ бортъ и легко перебросилъ свое худощавое, еще не остывшее послѣ дневного жара тѣло во внутрь лодки. Затѣмъ, развернувъ весла на тугихъ, слегка скрипящихъ штролахъ, онъ ораву, безъ плеска опустилъ ихъ на воду.

По тропинкѣ, ведущей изъ палатки къ берегу, показалась высокая и стройная Настя. Лѣвой рукой она прижимала къ груди большой круглый хлѣбъ, называвшійся Арнаутскимъ, потому что его пекли турки-арнауты, а въ

правой она несла наполненную водой анкерку, засунувъ пальцы въ ея верхнее отверстіе.

Василій далъ нѣсколько гребковъ заднимъ ходомъ, за-табанилъ, и осторожно подвелъ шаланду къ скалѣ, на которой стояла Настя.

«Сигай», крикнулъ онъ своимъ глуховатымъ голосомъ.

Въ неподвижной водѣ бухточки, какъ въ волнистомъ зеркалѣ отражались въ опрокинутомъ видѣ бородастая скала и Настя.

Подождавъ минутку, Настя привычно легко прыгнула на кормовую банку, на свободное отъ корзины съ камнями мѣсто, положила въ находившійся тамъ шапчикъ анкерку и хлѣбъ и, затянувъ потуже узелъ головного платка, развернула первую пару веселъ и, такъ-же какъ Василій, безъ плеска опустила ихъ на воду.

Хорошимъ ходомъ проплыли они черезъ узкій выходъ бухточки, между купальной и черной, обгрызанной скалой и вышли въ море.

Впереди, насколько хваталъ глазъ, были рыбачьи шаланды.

Ближе къ берегу ихъ было очень много, и справа, и слева. Онѣ расположились бусами. Дальше рядъ ихъ укорачивался, и туда, къ горизонту, ихъ было двѣ-три.

Казалось, что на воду опустилась большая стая водяныхъ птицъ, у которыхъ нѣтъ опредѣленнаго дѣла, которыя не имѣютъ дома, куда имъ надо возвращаться, не имѣютъ никакой заботы, а, такъ себѣ, сидятъ и отдыхаютъ. Но когда шаланда равнялась съ одной изъ лодокъ, было видно, что тамъ шла работа. Ставили переметы на бычковъ.

Длинная, въ сотни метровъ, веревка съ крючками внимательно пересматривалась, насаживалась наживка, черезъ извѣстный промежутокъ привязывался камень, и все это бесконечной нитью съ тихимъ плескомъ опускалось въ воду. Начало перемета и его конецъ означались флаж-

ками на тонкомъ бамбукъ, укрѣпленномъ на широкой пробкѣ.

Солнце уже давно сѣло, вечерняя заря потухла. Бирюзовая прозрачность неба сѣрѣла передъ восходомъ еще неущербленной луны.

Уже флажки переметовъ стали плохо видны, и порой шаланда задѣвала ихъ своимъ острымъ косымъ носомъ. Флажекъ упруго сопротивлялся, но затѣмъ уступалъ и съ бульканьемъ уходилъ въ воду.

Уже пропали изъ виду далеко заплывшія шаланды.

Василій и Настя гребли не торопясь. Шаланда шла легко, не оказывая сопротивленія весламъ. Еще не было волны, и она скользила, убѣгая отъ воды, не разрѣзая ея.

Рыбаки поворять: «шаланда бѣжить!»

Когда на казавшемся близкимъ, уже темномъ горизонтѣ вырѣзалась оранжевая луна, съ берега потянулъ жаркій и нѣжный вѣтерокъ, земной, душистый. Онъ несъ оттуда нагрѣтые дневнымъ зноемъ слои воздуха, а съ ними легкое, земное безпокойство.

Это былъ бризъ, романтическій вѣтеръ. Онъ рождается на нашихъ глазахъ. Мы присутствуемъ при его ростѣ, и вмѣстѣ съ нимъ несемъ прочь отъ берега, все дальше и дальше. И уже совсѣмъ далеко отъ земли, когда выходимъ въ открытое море, сладко и немного жутко дѣлается на душѣ.

«Парусъ ставить, что-ли?» — спросила Настя, оборачиваясь къ мужу.

Василій не отвѣтилъ сразу. Не любилъ. Онъ посмотрѣлъ вокругъ, на узкую, переливающуюся ртутью дорожку еще низкой луны, потомъ — на свою ногу, упирающуюся въ банку, загребнулъ посильнѣе раза два и медленно произнесъ: «Будемъ ставить»...

Вѣтеръ овѣжѣлъ, подтягивая ванты изъ крѣпкаго смоляного каната, большой четырехугольный парусъ съ упертой въ его наружный уголь шпринтовой, натянулся ту-

гнать пузырьремъ, и подъ носомъ шаланды зашипѣлъ бурунъ.

Василій пересѣлъ на корму и вытянулъ на ея длинной банкѣ свои сухія ноги. Подъ его лѣвой мышкой проходила румпель, а правой рукой онъ сталъ сворачивать цыгарку. Вертѣлъ онъ ее необыкновенно ловко, потомъ одной-же рукой зажегъ сѣрничекъ и закурилъ.

Къ запаху моря и бриза присоединилась душистая махорка.

Настя сидѣла у его ногъ на корзинѣ. Ея голова едва возвышалась надъ бортомъ. Тонкій профиль четко вырѣзлся на просвѣтлѣвшемъ лунномъ небѣ. Оба молчали.

Небо закудрявилось голубыми облачками. Мѣстами, они заострялись и разбѣгались, какъ снѣжные вихри, будто огромная метла рачищала путь для поднимающейся луны. Иногда-же, прозрачнымъ газомъ они покрывали свѣтлый шаръ, такъ тонко и незамѣтно, что казалось, что они за луной, по ту сторону.

Недавно еще узкій столбикъ ртути теперь разросся въ широчайшую дорогу изъ ковannaго серебра. Сянье было такъ сильно, что рельефъ зыби не былъ замѣтенъ. А зыбъ была уже довольно сильная, и шаланду начало покачивать.

«Гей-гей», истошнымъ голосомъ завопилъ Василій, «тяни, Настя, шкотъ», и быстро повернулъ на себя руль.

Совсѣмъ близко отъ нихъ, между шаландой и берегомъ, съ шумомъ льющейся воды и рѣзкимъ шлепаньемъ, прошла лежащая на боку огромная яхта. Ея парусъ, казался, закрывалъ собой небо. Мокрый бортъ блестялъ подъ луной.

На носу сидѣлъ матросъ, въ бѣлой фуфайкѣ, съ вышитымъ на груди названьемъ яхты, а на кормѣ, у штурвала, другой. Больше никого не было видно на палубѣ.

«Чего огня не несете», крикнулъ первый матросъ и разсѣялся. Потомъ онъ крикнулъ еще что-то въ догонку, но шумъ отъ яхты и вѣтеръ заглушили его голосъ.



«Вотъ я испужалась», сказала Настя, прижавъ руку къ груди въ лунномъ свѣтѣ. Скоро яхта показала корму, потомъ превратилась въ голубоватую колонку и растаяла въ туманѣ.

«Въ Аркадію за господами пошли», мрачно сказала Василій и сплюнулъ, не вынимая изо рта цыгарки. — «Потягаютъ потомъ пьяныхъ назадъ до города».

Онъ долго смотрѣлъ туда, гдѣ скрылось прекрасное судно.

«Должно, Черепова «Надиръ» пошелъ. А сколько сътокъ онъ рыбакамъ побьетъ!»..

Шалаанда заиграла и еще прибавили ходу.

Откуда-то появилось черное облачко, какъ волкъ среди бѣлыхъ барашковъ. Отъ его вида сжалось у Василя сердце. Онъ ничего не сказалъ Настѣ, но она перехватила тревожный взглядъ мужа.

«Будемъ вертать?» стараясь говорить спокойно, обратилась она къ нему. Василій не успѣлъ отвѣтить.

Парусъ повисъ, бессильно хлопнувъ по снастямъ. Онъ «бавилъ». Вѣтра не было. Наступила тишина. Будто конь, который хочетъ понести, переминающійся на мѣстѣ!

Не имѣя хода, шалаанда не слушалась рули.

Черное облачко выросло сразу въ огромную тучу и закрыло небо.

Оно выгустило изъ себя хоботокъ, который сталъ опускаться къ водѣ. Когда онъ почти дошелъ до нея, навстрѣчу къ нему поднялось море, какъ бы втягиваемое этимъ хоботкомъ. Образовался столбъ, все ширящійся. Онъ закружился и вдругъ помчался по водѣ.

Вѣтеръ ласково свистнулъ въ лѣвой вангѣ, будто на струнѣ взяли фляжолетъ, неумѣло и нерѣшительно, перешелъ на другую сторону и взялъ фляжолетъ на правой вангѣ.

И опять стихъ.

«Ой, не убѣжимъ, чуетъ сердце», плаксиво сказала Настя.

«Вали парусъ», крикнулъ Василій и бросился убирать шпринтову. Онъ не успѣлъ этого сдѣлать, какъ рвануль шкваль. Вѣтеръ задулъ съ такой силой, что забивалъ легкія и мѣшалъ дышать. Сразу стало темно. Какъ изъ лушки бахнулъ сорванный носовой парусъ. Шаланду сильно накренило, и Василю, возившемуся со снастью у борта, вода дошла до горла.

Оставивъ шпринтову, онъ бросился къ рулю, успѣлъ его схватить и повернуть ея къ вѣтру.

Наполовину спущенный парусъ тянулъ со страшной силой.

Но стройный носъ шалауды не выбѣгалъ на волну, какъ раньше, а тяжело въ нее врѣзался. Въ лодкѣ было слишкомъ много воды.

«Корзины и сѣтки кидай съ шалауды!» командовалъ Василій. И Настя съ плачемъ и причитаніями, натыкаясь въ темнотѣ на весла и банки, стала швырять въ воду наколенное годами богатство.

Шалауда не выравнивалась. Она продолжала мчаться впередъ, сильно накренившись и непрерывно беря воду.

По ея сторонамъ плясали большія волны, стараясь ее накрыть и вдавить въ воду.

Вѣтеръ опять повернулъ и положилъ ее на другую сторону, еще круче. Она покорно нагибалась, все ниже и ниже, потомъ тихонько, какъ бы боясь повредить кому-либо, легла бортомъ на воду. Парусъ ее задержалъ, и она не перевернулась окончательно...

Сквозь черную завѣсу прорвалась луна.

Смерть проходить стороной.

Совсѣмъ недавно ровная поверхность моря была теперь взбудоражена и покрыта огромными движущимися холмами.

Василій безъ кепки, съ мокрыми, свисавшими на лобъ волосами, держался за бортъ.

«Настя, Настя, гдѣ ты заховаешься, Настенька!» кричалъ онъ, но его голосъ уходилъ въ глухую пустоту!

Настя была тутъ, подь бортомъ, накрытая парусомъ. Вода забрдалась ей въ носъ, въ уши и ротъ. Она задыхалась. Только и было воздуха, что въ пузырьъ паруса. Она хотѣла было поднырнуть подь него, но ея ноги скользили въ тяжелыхъ, мокрыхъ складкахъ.

Она опять поднялась наверхъ, чтобы набрать воздуха въ пузырьъ.

Но парусъ уже рѣзали сверху. Держась одной рукой за бортъ, Василий рвалъ мокрую ткань большимъ рыбацкимъ ножомъ.

«Чипляйся за бортъ», крикнулъ онъ перехватывающимъ голосомъ, когда мокрая Настина голова съ опустившимся платкомъ показалась надъ водой.

Разрѣзанный парусъ не оказывалъ больше сопротивленія водѣ. Шаланда медленно перевернулась вверхъ дномъ.

Шкваль стихъ, такъ же внезапно, какъ налетѣлъ. Въ томъ мѣстѣ, гдѣ бѣжалъ столбъ, было темно отъ пыли изъ мельчайшихъ водяныхъ частицъ, но на противоположномъ краю горизонта снова сіяла луна. Только не было теперь давешней ровной серебряной дороги на взбуренной водѣ.

---

Уже третьи сутки царилъ на морѣ полный штиль. Невыносимый зной опустился на воду. Василий и Настя лежали на горячемъ днѣ шаланды. Отъ жары шпаклевка въ пазухъ отошла, и они открылись. Дерево приходилось по временамъ поливать водой, такъ оно жгло.

Море теперь было неподвижно, на немъ не было даже обычныхъ при штилѣ играющихъ кружковъ. Берега не было видно ниоткуда. Порой промоздили на горизонтѣ кучевья облака, но они никогда не подымались высоко, а куда-то уходили.

Единственнымъ признакомъ жизни служили чайки.

Все время онѣ кружились надъ шаландой, какъ-бы понимая, что тутъ не благополучно, что нужно разузнать въ чемъ дѣло.

Порой онѣ садились на воду и мурлыкали, какъ кошки, порой такъ близко пролетали надъ неподвижными фигурами, что почти ихъ задѣвая, и отъ ихъ крыльевъ шла свѣжесть, какъ отъ движенія вѣтровъ.

Когда онѣ были такъ близко, видно было, какія на самомъ дѣлѣ это большія птицы.

Однажды одна изъ нихъ сѣла на край шаланды, посмотрѣла на Настю чернымъ блестящимъ зрачкомъ съ желтымъ ободкомъ и стала спокойно чистить клювомъ перья крыла.

И Настя смотрѣла на нее воспаленнымъ отъ сверканія воды взоромъ. Близость небоявшейся ея птицы казалась ей зловѣщимъ признакомъ и не сулила ничего добраго.

Съ трудомъ приподнявшись на локтѣ, она махнула рукой и крикнула: «Геть, подлая!»

Чайка, съ трескомъ взмахнувъ крыльями, улетѣла, увлекая за собой другихъ птицъ. Но вскорѣ всѣ вернулись и опустились на воду широкимъ кругомъ.

То одна изъ нихъ подымалась высоко надъ водой, застывала надъ водой и вдругъ камнемъ падала внизъ. Тотчасъ-же къ ней бросились другія чайки, стараясь вырвать у нея пойманную рыбу, и только и видно было тогда, что взмахи бѣлыхъ крыльевъ дравшихся птицъ и сыпавшіяся перья.

Раза два издалека показывался узкій столбъ дыма проходящаго парохода и опять уходилъ за горизонтъ.

Однажды Настя увидѣла большую парусную шхуну, штильвшую въ милѣ разстоянія. Она съела юбку и изъ послѣднихъ силъ стала размахивать ею. Но вскорѣ увидѣла, что все это напрасно, что ей только почудилось.

Когда наступила ночь, опускалась сырость, и ослабѣвшимъ людямъ становилось холодно. Ихъ трясла лихорадка, зубы выбивали дробь.

Настя плакала по ночамъ, давая волю слезамъ. Днемъ она крѣпилась изъ-за Василія. Она горевала по своему мальчонкѣ, представляя, что Даша за нимъ не смотритъ, и онъ, быть можетъ, свалился уже съ обрыва и лежитъ на днѣ, а вокругъ его маленькаго тѣла снуютъ прозрачныя рачки, которыхъ онъ такъ любилъ.

Ночью Василій немного отходилъ. Слабымъ голосомъ онъ доказывалъ женѣ, что они «безпремѣнно на той дорогѣ, гдѣ проходятъ парохода Добровольнаго Флота, когда идутъ изъ Константинополя до Одессы».

Его расчетъ былъ правильнъ.

На четвертую ночь, совсѣмъ неожиданно и близко отъ нихъ, послышался глухой тактъ работавшей машины. И показались два огня, зеленый и красный.

Пароходъ шелъ какъ будто прямо на нихъ. Скоро вырисовалось его огромное темное тѣло. По водѣ побѣжали извилистыя змѣйки, отраженія иллюминаторныхъ огней.

Но на дѣлѣ пароходъ проходитъ далеко, и слабые голоса погибавшихъ до него не долетали. Глухой шумъ машины, похожий на заглушенный турецкій барабанъ сталъ стихать, только видны были еще некоторое время сыпавшіяся изъ трубы искры.

Наступилъ пятый день. Къ полудню налетѣлъ вѣтеръ, принесшій съ собой обманчивые запахи земли.

Было-ли это воображеніе или явь?

Пряный запахъ акацій, раскаленной солнцемъ береговой глины и сухой березы. Но скоро все прекратилось. На смѣну пришелъ другой запахъ, разложенія. Несло падалью, будто по близости тлѣло мертвое тѣло. — «Турки, должно быть, близко были», сказалъ Василій, едва шевеля распухшимъ языкомъ, «порченую лашадиную тушу выкинули».

И опять умолкъ.

Потомъ вѣтеръ повернуть и сразу погналъ легкіи волны съ барапками. Воздухъ посвѣжѣлъ и, напоенный солью и іодоми, поднялъ силы угасавшихъ людей.

То, что больше всего мучило эти дни, ушло. Не было больше надящаго зноя. Но на безкрайной глади по прежнему ничего не было видно.

Настя разорвала на полосы головной платокъ и привязала мужа къ выдвигному килю. — У него уже не было силъ держаться.

Она сильно похудѣла за эти дни, губы высохли, и ротъ потерялъ свою красивую форму. Зубы открылись, и лицо приобрѣло выраженіе загнанной и озлобленной кошки.

Вся энергія ея, все, что осталось отъ воли, шло на поддержку совѣтъ сдавшаго Василія. Онъ бился и все хотѣлъ «сигать» въ воду, чтобъ «доплыть» до берега. Боясь, что онъ въ своемъ метаніи оторвется отъ киля, она его била крѣпкой и тяжелой рукой. Тогда онъ успокаивался.

Къ вечеру Настя его отвязала.

Луна взошла высоко и уже не была пылавшей серебряной лампой, освѣщавшей все море, какъ недѣлю назадъ. Горизонтъ не былъ широкъ, и казалось, что за его чертой стережетъ глухая бездна.

Шаланду качало и обливало водой.

---

Турецкая фелюга, очень напоминавшая большой каякъ, рѣзко шла въ полъ-вѣтра по посинѣвшему, со свѣтлыми прожилками теченія, морю. Загнутые кверху носъ и корма ея напоминали носки турецкихъ туфель, старый, грязный и заплатанный парусъ казался несоразмерно большимъ для ея небольшого корпуса. Ванты были натянуты изъ канатовъ разной толщины, а одна изъ нихъ попросту подвязана какой-то тряпкой.

Шла она въ Феодосію прямымъ курсомъ изъ Константинополя.

Три человекa составляли ея экипажъ. Собственникъ,—Мамудъ-Саидъ, семидесятипятилѣтнй старикъ съ длинной желто-бурой бородой, пергаментнымъ, морщинастымъ лицомъ и высохшей, черной шеей. На немъ, была зеленая чалма (паломничество въ Мекку) и длинный, когда-то бѣлый халатъ изъ домотканной матеріи. На босыхъ ногахъ — красныя, разтощенные туфли.

Мустафа, сорокалѣтнй, массивный какъ буйволъ, мужикъ съ тугой, неповоротливой шеей, помощникъ Мамуда. На немъ были красная феска, черная куртка съ вырѣзаннымъ воротомъ, шаровары съ мотней, спускающейся до половины ногъ и дѣлающей ихъ похожими на юбку. Онъ былъ босъ.

Наконецъ, третій, двѣнадцатилѣтнй Гафаръ, внукъ Мамуда, съ большими черными глазами, прелестнымъ мягкимъ ртомъ и смолянными волосами, выбивающимися изъ-подъ фески гранатоваго цвѣта.

Гафара поставили на руль, пока старикъ съ Мустафой творили утрнй намазъ, и онъ, подражая взрослымъ, стараясь быть спокойнымъ и солиднымъ, притворно апатично смотрѣлъ на любимое имъ море, съ напряженіемъ удерживая румпель пружинящаго руля.

Мамудъ и Мустафа разостлали на старенькой налубѣ два коврика и сѣли на нихъ на пятки. Порой они простирали руки къ небу, и, вытянувъ ихъ передъ собой, припадали лбами къ выдвигавшимъ коврикамъ, порой опять сидились на пятки, быстро бормоча молитву.

Когда намазъ уже подходилъ къ концу, Гафаръ наспорожился и сталъ пристально всматриваться вдаль, налево по носу. — Далеко, среди вскилавшихъ бѣляковъ, было видно какое-то пятно.

«Дѣдъ», крикнулъ Гафаръ, дождавшись, когда старикъ, кончивъ молитву, сталъ на ноги, «посмотри, что тамъ!»

Для того, чтобы подойти къ неизвѣстному предмету, нужно было стать больше въ вѣтеръ и сдѣлать лишнй

галсъ. Когда фелюга легла на лѣвый бортъ, она прошла огь него саженьяхъ въ двадцати.

Можно было разобрать, что это трупъ человѣка во всемъ бѣломъ, съ сильно надутымъ животомъ.

Старикъ послалъ на руль Мустафу, а самъ сталъ у борта, отдавая команду глухимъ старческимъ голосомъ.

На слѣдующемъ галсъ, ставши въ вѣтеръ до отказа, удалось подойти вплотную. — Это была матросъ, въ бѣлой фуфайкѣ съ надписью, вышитой на груди.

Если-бъ они умѣли читать по русски, они узнали-бы, что это матросъ съ яхты «Надиръ».

Тѣло, размокшее и обвисающее, какъ медуза, было поднято на палубу подведенными подъ него концами. Веревки рѣзали его, какъ ножъ. Старикъ отдалъ Мустафу какое-то приказаніе. Тотъ спустился въ трюмъ и принесть оттуда взятый изъ балласта камень. Затѣмъ, этотъ камень привязали къ ногамъ тѣла и сбросили въ воду.

Матросъ въ бѣлой фуфайкѣ упалъ съ тяжелымъ плескомъ и сталъ спускаться по косои линіи.

Турки вымыли руки и прочли молитву, соответствующую случаю.

Маленькій Гафаръ не могъ больше подражать взрослымъ и быть апатичнымъ. То, что произошло, онъ видѣлъ впервые.

Черные, какъ маслины, глаза его заблестѣли, и по смуглой щекѣ съ разсыпанными, какъ мелкое просо, родинками, покатилась слеза.

Въ полдень турки пообедали пилавомъ изъ баранины, запивая его тепловатой, не совсемъ свѣжей водой. Потомъ Мустафа приготовилъ кофе въ трехъ маленькихъ кастрюлькахъ...

Около двухъ часовъ дня они встрѣтили терпѣвшую бѣдствіе опрокинутую шаланду. На ней находились двѣ фигуры, мужчина и женщина. Женщина стояла, держась рукой за выдвигной киль и размахивала кускомъ матеріи.



Ея ротъ былъ широко раскрытъ, видно было, что она кричала, но вѣтеръ относить ея голосъ.

Мужчина сидѣлъ, странно согнувшись и вяло глядѣлъ передъ собой мутными глазами.

Гафаръ продолжалъ свое морское образование. Онъ увидѣлъ, какъ спасаютъ людей, потерпѣвшихъ крушеніе.

---

Прошло много лѣтъ... Сынъ Василія, Ванька, былъ уже большою. Его сманилъ городъ, и онъ работалъ тамъ монтеромъ по электричеству. Василій по прежнему строилъ шаланды, а, когда «шла скумбрія», выходилъ съ Настей «сыпать сѣтки».

По воскресеньямъ къ нимъ приходилъ изъ сосѣдней бухточки народъ. Ъли скумбрію на «шкарь» и пили водку. И каждый разъ, подвыпивши, Василій начиналъ хвастать прекрасной и крѣпкой постройкой своихъ шаландъ. Въ доказательство онъ приводилъ тотъ случай, когда ихъ съ Настей поймалъ смерчъ, но не разбилъ шаланды, а лишь повертѣлъ и опрокинулъ.

«Шестеры сутки мотало по морю, пока турки не спасли».

**Александръ Гефтеръ.**

## ИЗЪ КНИГИ «НАШЕ СЕРДЦЕ».

Жестокосердые и злые,  
Погибшіе въ краю чужомъ,  
Почти не знавшіе Россіи,  
И прорыдавшіе о томъ,  
Бѣлѣйшіе изъ расы бѣлой,  
Но шедшіе огнемъ изъ тьмы,  
Съ душою сонной и несмѣлой,  
Отверженные — это мы!

Когда меня изъ морга въ гробъ  
Въ крестовый садъ перевезутъ,  
Когда на вѣкъ нашъ въ тусклой злобѣ  
Въ газетѣ «жертвой» назовутъ  
(Не сорокъ строкъ ли?); тяжкій камень  
Надвинутъ на меня когда,  
И словъ знакомая вода  
Сверкнетъ на лентахъ въ черной рамѣ, —  
Друзья, я знаю, будутъ тутъ,  
Друзья въ крестовый садъ придутъ.

Послѣдней дружбы мнѣ свидѣтель...  
А ты тогда, гдѣ будешь ты?  
Безсмысленную добродѣтель  
Смѣшать могильные кресты.  
Прочтешь ли ты тѣ сорокъ строчекъ,  
Придешь ли розы поглядѣть?  
Ты заразительно хохочешь,  
Ты не боишься умереть.

Но до тебя мнѣ нѣту дѣла:  
Жизнь такъ прошла, какъ ты хотѣла,

И не съ тобой она прошла,  
И между мной и черной ямой  
Стоять въ молчаніи, упрямо,  
Тѣ, съ кѣмъ судьба подѣлена.  
Вѣдь ты живешь свѣтло и нѣжно  
(Не поводи тугимъ плечомъ!)  
Величественно, безмятежно  
Не размышляешь ни о чемъ,  
А мы хитры, жадны и нищи,  
Мы всѣ — на міра пепелищѣ,  
Въ кислотномъ воздухѣ одномъ  
Опоены дурнымъ виномъ.  
И между нами есть поэты,  
И чудаки, и дураки,  
И нами тайно тѣ воспѣты,  
Которыя такъ далеки.  
Дрожащей, темною рукою  
Здѣсь кто-то тянется къ тебѣ,  
Надъ рюмкою перелитою  
Грозя и Богу, и судьбѣ.

Онъ всѣхъ предасть — я знаю это.  
Онъ, съ нами гибель возлюбя,  
Всѣ тѣмы оставить ради свѣта  
И выбрать одну тебя;  
Оставить пьяныхъ и свободныхъ,  
Онъ, пристрастившійся къ вину,  
Средь невоспѣтыхъ и холодныхъ  
Онъ выбрать тебя одну.  
Тѣнь тѣни, съ льдистыми глазами,  
Тебя — отчаянье свое.  
Пусть не приходятъ въ садъ съ цвѣтами  
Оплакивать небытіе,  
Пускай не надвигаютъ камень,  
Пусть не жалѣютъ никого! —  
Безумный, одинокій пламень

Надъ жизнью просіяль его.  
 Въ нашъ міръ, гдѣ нищета и слава,  
 Гдѣ плачутъ вмѣстѣ врагъ и братъ,  
 Дошла къ нему твоя отрава,  
 Сильнѣе нашей во сто кратъ.

Н. Берберова.

1932.

Сырая мать... Ее нельзя любить:  
 Любовь такая сердцу не подъ силу.  
 Вотъ надорвется, и тогда не быть.  
 Земля сырая. Свѣжая могила.

Въ посмертный страшный день, когда на свѣтѣ этомъ  
 На зеркало не выдыхаетъ ротъ,  
 Я гнить хочу скорѣй и стать тепломъ и свѣтомъ,  
 Скорѣй войти, скорѣй, въ веществъ круговоротъ.

Сюда, мой голый червь, хозяинъ скромный мой!  
 Во славу вящую земли непобѣдимой  
 Питайся мной, веди меня домой.  
 Такъ сдѣлаться землей родимой.

\*\*

Ослиная въ рукѣ Самсона челюсть...  
 Дано поднять не всякому тебя.  
 Есть въ слабости болѣзненная прелесть —  
 Не для другихъ, а только для себя.

Есть въ слабости покорная досада.  
 Такъ выздоравливающій идетъ,  
 Садится робко на скамейку сада  
 И новой жизни съ недоувѣрьемъ ждетъ.

Александръ Гингеръ.

## I

О, если бѣ душа не узнала...  
Но длится сонъ вчерашній:  
Просторъ безъ конца и начала,  
Купола, рвы и башни.

Рѣшетки на окнахъ сквозныя.  
Восходящія арки.  
Тишина. Облака крутыя.  
Свѣтъ неподвижно-яркій.

Я по лѣстницѣ поднимаюсь,  
Все выше — дни, недѣли.  
Шагъ послѣдній — и просыпаюсь.  
Опять! у самой цѣли.

И все чаще, все чаще снится  
Мнѣ этотъ сонъ безсонный.  
Съ каждымъ разомъ все дольше длится,  
Все дольше, неразрѣшенный.

Неужели такъ и не будетъ  
Никогда разрѣшенья?  
Засну и никто не разбудить.  
О смерть безъ воскресенья!

## II

Только о правдѣ, о ней одной.  
Объ остальномъ пусть другіе.  
О неизмѣнной, живой, земной,  
О Ней, о кроткой Маріи.

О, какъ не вспомнить Ее опять,  
Ее, что, вѣстницей скромной,  
Снова нисходитъ насъ утѣшать,  
Скользящихъ тропюю темной.

Меркнетъ Ея золотой вѣнецъ,  
 Во мракѣ подземномъ таетъ.  
 Все тише сердце, сейчасъ конецъ.  
 И только глаза сияютъ.

О эти глаза! Если бѣ погасъ  
 Ихъ пламень — вѣчная сила,  
 Насталъ бы для насъ послѣдній часъ,  
 И тьма бы все поглотила.

В. Злобинъ.

### ЯМБЫ.

#### I.

Какъ туча стала Иудея  
 И отвернулась отъ Христа...

Надменно кривятся уста  
 И души стынутъ, холодѣя.  
 Нѣтъ ясной цѣли. Пустота.

А тамъ — надъ Римомъ — сумракъ млечный —  
 Ни жизнь ни смерть. Ни свѣтъ ни тьма.  
 Какъ музыка или чума  
 Торжественно-безчеловѣчный...

#### II.

Все до конца перемѣнилось,  
 Все ново для прозрѣвшихъ глазъ  
 Однимъ поэтамъ — въ сотый разъ —  
 Приснится то, что вѣчно снилось.

Но въ мѣрѣ новые законы  
 И боги жертвы не хотятъ.  
 Напрасно въ пустоту летятъ  
 Орфея жалобные стоны —

Ихъ останавливать электроны  
 И снова въ душу возвратять.

Георгій Ивановъ.

Печально склоненная ива  
И выстрѣлъ во мракѣ nocturno,  
Иль червь гробовой торопливый  
И сей погребальный псаломъ,

Иль даже твоя восковая  
И ангельская красота  
И эта тревога земная,  
Сошедшая къ намъ неспроста,

Все — смертному напоминанье,  
О томъ, какъ прекрасно во злѣ  
Непрочное существованье.  
На маленькой скучной землѣ.

Мой ангелъ! Изъ дали лазурной  
Зачѣмъ ты на землю слетѣлъ?  
Зачѣмъ на печальной и курной  
Планетѣ о раѣ намъ пѣлъ?

Мы слушаемъ голосъ небесный,  
Слетѣвшій къ хибаркѣ съ вершинъ,  
Томимся въ темницѣ тѣлесной  
И плачемъ потомъ безъ причинъ.

Милльоны, милльоны влюбленныхъ...  
Вотъ такъ же, при блѣдной лунѣ,  
Вотъ такъ же, подъ ивой склоненной,  
Въ такой же печальной странѣ...

Ант. Ладинскій.

## ПЯТЬ СТИХОТВОРЕНІИ

## 1.

О жалобѣ (горчайшія — не вслухъ)  
 О молодости въ памяти старухъ,  
 О томъ, что сердца не ожесточило,  
 Но къ жизни подозрѣніе внушило.  
 И разлюбивъ удачу и успѣхъ,  
 О призракъ — о счастья для всѣхъ,  
 Уныніе и скуку наводящемъ;  
 О томъ, что будущее — въ настоящемъ,  
 Но кромѣ новыхъ пережитыхъ лѣтъ,  
 Въ намъ то же все и так-же цѣли нѣтъ.

## 2.

Не стоитъ обольщаться — все не то,  
 Не такъ, не тамъ, не съ тѣми, съ кѣмъ бы надо,  
 И равьше, чѣмъ разсыпешься въ ничто,  
 Щемящаго не вынесешь разлада —  
 О, между всѣмъ, что было и прошло  
 И всѣмъ, что было бы, что быть могло.

Ни окончанія, ни эпилоговъ,  
 Пусть обрывается само собой,  
 И никакихъ не подводя итоговъ  
 И постарѣвъ (и такъ не молодой)...

Какъ мало прожито, какъ много пережито,  
 И все безъ сожалѣнія забыто...



## 3.

Мнѣ давно и радостно и больно  
Чувствовать, что ты не можешь быть  
Женщиной, которую довольно  
Прославлять, лелѣять и любить.

О не бывшемъ и не выразимомъ  
Память и предчувствіе храня,  
Въ міръ для тебя невыносимомъ  
Любишь ты изъ жалости меня.

## 4.

Жалко, что съ грубостью сердцу не справиться,  
Стыдно, что лезть подкупаетъ и нравится,  
Страшно, что ангель съ тобой и красавица.

Или поможешь любовью своей,  
Чтобы того же не чувствовать ей,  
Что и твое, утомленное, скрытное,  
Сердце, отъ жизни и звѣздъ беззащитное.

## 5.

О нѣжности и раѣ и обманахъ  
И дымъ парохода въ океанахъ,

О каторжныхъ усиліяхъ труда  
И скрипкѣ, и любви, и вѣтрѣ съ юга;

О томъ, что неизвѣстно, ни когда,  
Ни чѣмъ еще мы будемъ другъ для друга —

Среди людей и неизвѣстно гдѣ,  
Здѣсь на землѣ и на другой звѣздѣ.

Николай Окупъ.

О любви, которой больше нѣтъ,  
 О сгорѣвшихъ дняхъ, о горсти пепла,  
 О душѣ, что увидала свѣтъ,  
 И отъ свѣта навсегда ослѣпла.

О любви... Молчи душа, молчи,  
 Привыкай къ нѣмой и темной долѣ,  
 Привыкай. И сердце пріучи  
 Къ ночи, одиночеству и боли.

Не надѣйся — непроглядна тьма,  
 Неподвижна — а за ней другая...  
 Но глядятъ два тускля бѣльма  
 Пристально, не видя, не мигая,

А изъ нихъ — изъ глазъ, изъ бѣлыхъ ранъ,  
 Сквозь щелу, сквозь ложь, сквозь ключья дыма  
 Свѣтъ — тотъ самый — изъ надзвѣздныхъ странъ,  
 Нестерпимый и неугасимый.



Наединѣ съ самимъ собой,  
 Безсонницей томлюсь и снами,  
 Безмыслицу зову судьбой,  
 А жалобу и боль — стихами.

И жду, когда прійдетъ разсвѣтъ,  
 Который болше не разбудитъ.  
 И знаю, что спасенья нѣтъ,  
 И вѣрю, что спасенье будетъ.

1933.

Влад. Смоленскій.

## ЖИВОЕ О ЖИВОМ

(Окончаніе \*)

### КОКТЕБЕЛЬ.

5-го мая 1911 года, послѣ цѣлаго чудеснаго мѣсяца одиночества на развалинахъ генуэзской крѣпости въ Гурзуфѣ, въ вѣскомъ обществѣ пятитомнаго Калиостро и шеститомной Консуэлы, послѣ цѣлаго дня пѣвучей арбы по дѣбрямъ восточнаго Крыма, я впервые вступила на коктебельскую землю, передъ самымъ Максимымъ домою, изъ котораго уже огромными прыжками, по бѣлой внѣшней лѣстницѣ несся ко мнѣ навстрѣчу — совершенно новый неизнаваемый Максъ. Максъ легенды, а чаще сплетни (злостной!), Максъ, въ кавычкахъ, «хитона», т. е. попросту длинной полотняной рубашки, Максъ сандалій, почему-то признаваемыхъ обывателемъ только въ видѣ иносказанія «не достоинъ развязать ремни его сандалій» и неизвѣстно почему страстно отвергаемыхъ въ быту — хотя земля та же, да и быть приблизительно тотъ же, быть, диктуемый прежде всего природой, — Максъ полыннаго вѣночка и цвѣтной подпояски, Максъ широченной улыбки гостепріимства, Максъ — Коктебеля.

— А теперъ я васъ познакомлю съ мамой. Елена Отбальдовна Волошина — Марина Ивановна Цвѣтаева.

— Мама: сѣдые отброшенные назадъ волосы, орлиный профиль съ голубымъ глазомъ, бѣлый, серебромъ шитый, длинный кафтанъ, синіе, по шиколку, шаровары, казанскіе сапоги. Переложивъ изъ правой въ лѣвую дымящуюся папиросу: — Здравствуйте!

Е. О. Волошина, рожденная — явно нѣмецкая фамилія, которую сейчасъ забыла. Внѣшность явно германскаго — говорю германскаго, а не нѣмецкаго — происхожденія:

\*) См. Совр. Зап. № 52.

Зигфрида, если бы прожилъ до старости, та вѣшность, о которой я въ какихъ-то стихахъ

— Длинноволосымъ я и прямоносимъ  
Германцемъ славилъ боговъ.

(Что для женщины короткіе волосы — то для германца длинные). Или же, то же, но ближе, лицо стараго Гёте, явно германское и явно божественное. Первое впечатлѣніе — осанка. Царственность осанки. Двинется — рублемъ подарить. Чувство возвеличенности отъ одного ея милостиваго взгляда. Второе, естественно вытекающее изъ перваго: опаска. Такая не спустить. Чего? Да ничего. Величественность при маленькомъ ростѣ, величіе — изнизу, наше поклоненіе — сверху. Впрочемъ, былъ уже такой случай — Наполеонъ.

Глубочайшая простота, костюмъ какъ приросъ, въ другомъ немыслима и, должно быть, неузнаваема: сама не своя, какъ и оказалось, два года спустя на крестинахъ моей дочери: Е. О. изъ уваженія къ куму — моему отцу и снисхожденія къ людскимъ навыкамъ, была въ юбкѣ, а юбка не спасла. Никогда не забуду, какъ косился старый замоскворѣцкій батюшка на эту крестную мать, подушку съ младенцемъ державшую, какъ ларецъ съ регалиями и вокругъ купели выступавшую какъ бы церемоніальнымъ маршемъ. Но вернемся назадъ, въ начало. Все: самокрутка въ серебряномъ мундштукѣ, спичечница изъ дѣльнаго сердолика, серебряный обшлагъ кафтана, нога въ сказочномъ казанскомъ сапожкѣ, серебряная прядь отброшенныхъ вѣтромъ волосъ — единство. Это было тѣло именно ея души.

Не знаю почему — и знаю почему — сухость земли, стояя не то дикихъ, не то домашнихъ собакъ, лиловое море прямо передъ домомъ, сильный запахъ жаренаго барана, — это тѣ Максъ, эта мать — чувство, что входишь въ Одиссею.

Это была неразрывная пара, и вовсе не дружная пара. Вся мужественность, данная на двоихъ, пошла на мать, вся женственность — на сына, ибо элементарной мужественности въ Максѣ не было никогда, какъ въ Е. О. элементарной женственности. Если Максъ позже являлъ чудеса безстрашія и самоотверженности, то являлъ ихъ человѣкъ и поэтъ, отнюдь не мужъ (воинъ). Являлъ въ дѣлахъ мира (примиренія), а не въ дѣлахъ войны. Единственное исклю-

ченіе — его дуэль съ Гумилевымъ изъ-за Черубины де Габріакъ, чистая дуэль защиты. Война въ немъ не было никогда, что особенно огорчало воительницу душой и тѣломъ — Е. О. — Погляди, Максъ, на Сережу, вотъ — настоящий мужчина! Мужъ. Война — дерется. А ты? Что ты, Максъ, дѣлаешь? — Мама, не могу же я влѣзть въ гимнастерку и стрѣлять въ живыхъ людей, только потому, что они думаютъ, что думаютъ иначе, чѣмъ я.

— Думаютъ, думаютъ. Есть времена, Максъ, когда нужно не думать, а дѣлать. Не думая — дѣлать.

— Такія времена, мама, всегда у звѣрей — это называется животныя инстинкты.

Настолько не воинъ, что ни разу не разсорился ни съ однимъ человѣкомъ изъ-за другого. Про него можно сказать *qu'il n'épousait pas les querelles de ses amis*.

Въ началѣ дружбы я часто на этомъ съ нимъ сшибалась, расшибалась — о его неуязвимую мягкость. Уже безъ улыбки и какъ всегда, когда былъ взволнованъ, подымая указательный палецъ, даже имъ грозя: — Ты не понимаешь, Марина. Это совсѣмъ другой человѣкъ, чѣмъ ты, у него и для него иная мѣра. И по своему онъ совершенно правъ — такъ же, какъ ты — по своему. Вотъ это «правъ по своему» было первоосновой его жизни съ людьми. Это не было ни мало-, ни равно-душіе, утверждаю. Не малодушіе, потому что всего, что въ немъ было, было много — или совсѣмъ не было, и не равнодушіе, потому что у него въ мигъ такого средостоянія душа раздваивалась на цѣлыхъ и цѣльныхъ двѣ, онъ былъ одновременно тобою и твоимъ противникомъ и еще собою, и все это страстно, это было не двоедушіе, а вседушіе, и не равнодушіе, а нѣкое равенство всего существа, то солнце полдня, которому все иначе и вѣрно видно.

О расчетѣ говорить нечего. Не ставъ ни на чью сторону, или, что то же, ставъ на обѣ, человѣкъ чаще осужденъ обѣими. Вѣдь изъ довода: «онъ такъ же правъ, какъ ты» — мы, кто бы мы ни были, слышимъ только: онъ правъ и даже: онъ правъ, настолько, когда дѣло идетъ о насъ, равенства въ правотѣ нѣту. Не становясь на сторону мою или моего обидчика, или, что то же, становясь на сторону и его, и мою, онъ просто оставаясь на своей, которая была вѣ (поля дѣйствія и нашего зрѣнія) — внутри него и *au-dessus de la mêlée*.

Ни одинъ человѣкъ еще не судилъ солнца за то, что

оно свѣтитъ и другому, и даже Иисусъ Навинъ, остановившій солнце, остановилъ его и для врага. Человѣкъ и его зрагъ для Макса составляли цѣлое: мой врагъ для него былъ часть меня. Вражду онъ ощущалъ союзомъ. Такъ онъ видѣлъ и германскую войну, и гражданскую войну, и меня съ моимъ неизбывнымъ врагомъ — всѣми. Такъ можно видѣть только сверху, никогда сбоку, никогда изъ гущи. А такъ онъ видѣлъ не только чужую вражду, но и себя съ тѣмъ, кто его мнилъ своимъ врагомъ, себя — его врагомъ. Вражда, какъ дружба, требуетъ согласія (взаимности). Максъ на вражду своего согласія не давалъ и этимъ человѣка разоружалъ. Онъ могъ только противостоятъ человѣку, только предсто я н і е м ъ своимъ онъ и могъ противостоятъ человѣку: злу, шедшему на него.

Думаю, что Максъ просто не вѣрилъ въ зло, не довѣрялъ его якобы-простотѣ и убѣдительности: « Не все такъ просто, другъ Горацио »... Зло для него было тьмой, бѣдой, напастью, гигантскимъ недоразумѣниемъ — *du bien mal entendu* — чѣмъ-то извѣчнымъ и нашимъ ежечаснымъ недосмотромъ, часто — просто глупостью (въ которую онъ вѣрилъ) — прежде всего и послѣ всего — слѣпостью, но никогда — зломъ. Въ этомъ смыслѣ онъ былъ настоящимъ просвѣтителемъ, гениальнымъ окулистомъ. Зло — бѣльмо, подъ нимъ — добро.

Всякую занесенную для удара руку онъ, изумленіемъ своимъ, превращалъ въ опущенную, а бывало и въ протянутую. Такъ онъ въ одно мгновеніе ока разоружилъ злопыхавшаго на него старика Рѣпина, отошедшаго отъ него со словами: — «Такой образованный и пріятный господинъ — удивительно, что онъ не любитъ моего Іоанна Грознаго!» И будь то данный несостоявшийся наскокъ на него Рѣпина или мой стаканъ — черезъ всю террасу — въ дерзкую актрису, осмѣлившуюся обозвать Сарру Бернаръ старой кривлякой, или, позже, распря русскихъ съ нѣмцами, или, еще позже, бѣлыхъ съ красными, — Максъ неизмѣнно стоялъ внѣ: за cadaго и ни противъ кого. Онъ умѣлъ дружить съ человѣкомъ и съ его врагомъ, при чемъ никто никогда не почувствовалъ его предателемъ, себя — преданнымъ, при чемъ каждый (вмѣстѣ, какъ порознь) неизмѣнно чувствовалъ всю исключительную его, М. В., преданность ему, ибо это — было. Его дѣло въ жизни было — сводить, а не разводить и знаю отъ очевидцевъ, что онъ не одного краснаго съ бѣлымъ, человѣчески, свелъ,

хотя бы на томъ, что cadaго, въ свой часъ, отъ другого спасъ. Но объ этомъ позже и громче.

Миротворчество М. В. входило въ его миѳотворчество: миѳа о великомъ, мудромъ и добромъ человѣкѣ.

Если cadaго человѣка можно дать пластически, Максъ — шаръ, совершенное видѣніе шара: шаръ универсума, шаръ вѣчности, шаръ полдня, шаръ планеты, шаръ мяча, которымъ онъ отпрыгиваль отъ земли (походка) и отъ собесѣдника, чтобы снова даться ему въ руки, шаръ шара живота, и молнія, въ минуты гнѣва вылетающая изъ его бѣлыхъ глазъ, была, сама видѣла, шаровая.

Разбейся о шаръ. Поссорься съ Максомъ.

Да, земной шаръ, на которомъ, какъ извѣстно, горы, и высокія, бездны, и глубокія, и который все-таки шаръ. И крутился онъ безспорно вокругъ какого-то солнца, отъ котораго и бралъ свой свѣтъ, и давалъ свой свѣтъ. Спутничество: этимъ продолжительнымъ, протяжнымъ словомъ данъ весь Максъ съ людьми — и весь безъ людей. Спутникъ cadaго встрѣченнаго и, отрываясь отъ самаго близкаго — спутникъ неизвѣстнаго намъ свѣтила. Отдаленность и неуклонность спутника. То что-то, вѣчно стоявшее между его ближайшимъ другомъ и имъ и ощущаемое нами почти какъ физическая преграда, было только — странство между свѣтиломъ и спутникомъ, то уменьшавшееся, то увеличивавшееся, но неуклонно уменьшавшееся и увеличивавшееся, ни на пядь ближе, ни на пядь дальше, а въ общемъ все то же. То равенство притяженія и отдаленія, которое, обрекая другъ на друга два небесныхъ тѣла, ихъ неизмѣнно и прекрасно рознитъ.

---

Помню, относительно его планетарности, въ началѣ встрѣчи — разминувеніе. Въ отвѣтъ на мое извѣщеніе о моей свадьбѣ съ Сереей Эфрономъ Максъ прислалъ миѳъ изъ Парижа, вмѣсто одобренія или, по крайней мѣрѣ, ободренія — самая настоящія соболѣзнованія, полагая насъ обоихъ слишкомъ настоящими для такой лживой формы общей жизни, какъ бракъ. Я, новообращенная жена, вскипѣла: Либо признавай меня всю, со всѣмъ, что я дѣлаю и сдѣлаю (и не то еще сдѣлаю!) — либо... И его отвѣтъ: спокойный, любящій, безконечно-отрѣшенный, непоколебимо-увѣренный, кончавшійся словами: Итакъ, до свиданья — до слѣдующаго перекрестка! — т. е. когда снова попа-

ду въ сферу его вліянія, изъ которой мнѣ только ка же т с я — вышла, т. е. совершенно какъ свѣтило — спутнику. Причемъ — умилительная наивность! — въ полной чистотѣ сердца неизмѣнно воображалъ, что спутникъ въ чело вѣческихъ жизняхъ — онъ. Сказаннаго, думаю, достато чно, чтобы не объяснять, почему онъ никогда не смогъ стать попутчикомъ — ни тамошнимъ, ни здѣшнимъ.

Максъ принадлежалъ другому закону, чѣмъ чело вѣческому, и мы, полаяя въ его орбиту, неизмѣнно попадали въ его законъ. Максъ самъ былъ планета. И мы, крутившіеся вокругъ него, въ какомъ-то другомъ большемъ кру гѣ крутились совмѣстно съ нимъ вокругъ свѣтила, кото раго мы не знали.

Максъ былъ знающей. У него была тайна, которой онъ не говорилъ. Это знали всѣ, этой тайны не узналъ никто. Она была въ его бѣлыхъ, безъ улыбки, глазахъ, всегда безъ улыбки — при неизмѣнной улыбкѣ губъ. Она была въ немъ, жила въ немъ, какъ постороннее для насъ, однородное ему — тѣло. Не знаю, сумѣлъ ли бы онъ самъ ее на звать. Его поднятый указательный палецъ: это не такъ! — съ такой силой являлъ это т а к ъ, что никто, такъ и не узнавъ этого т а к ъ, въ существованіи его не сомнѣвал ся. Объяснять эту тайну принадлежностью къ антропосо фии или занятіями магіей — не глубоко. Я много штейне ріанцевъ и нѣсколько маговъ знала, и всегда впечатлѣннѣе: чело вѣкъ — и то, что онъ знаетъ; здѣсь же было един ство, Максъ самъ былъ эта тайна, какъ самъ Рудольфъ Штейнеръ — своя собственная тайна (тайна собственной силы), не оставшаяся у Штейнера ни въ писаніяхъ, ни въ ученикахъ, у М. В. — ни въ стихахъ, ни въ друзьяхъ, — самая тайна, унесенная каждымъ въ землю.

— Есть духи огня, Марина, духи воды, Марина, духи воздуха, Марина, и есть, Марина, духи земли.

Идемъ по пустынному уступу, въ самый полдень, и в меня точное чувство, что я иду — вотъ съ такимъ духомъ земли. Ибо какимъ (д у х ъ, н о з е м л и) кромѣ какъ вотъ такимъ, кѣмъ, кромѣ какъ вотъ этимъ, духъ земли еще могъ бы быть!

Максъ былъ настоящимъ чадомъ, порожденіемъ, исча діемъ земли. Раскрылась земля и породила: такого, со всѣмъ готоваго, огромнаго гнома, дремучаго великана, немножко быка, немножко бога, на коренастыхъ, точеныхъ какъ кегли, какъ сталь упругихъ, какъ столбы устойчи-



выхъ ногахъ, съ аквамаринами вмѣсто глазъ, съ дремучимъ лѣсомъ вмѣсто волосъ, со всѣми морскими и земными солями въ крови (— А ты знаешь, Марина, что наша кровь — это древнее море...) со всѣмъ, что внутри земли кипѣло и остыло, кипѣло и не остыло. Нутро Макса, чувствовалось, было именно нутромъ земли.

Максъ былъ именно земнороднымъ, и все притяженіе его къ небу, было именно притяженіемъ къ небу — небснаго тѣла. Въ Максѣ жила четвертая, всѣми забываемая стихія — земли. Стихія континента: сушь. Въ Максѣ жила масса, можно сказать, что это единоличное явленіе было именно явленіемъ земной массы, гущи, толщи. О немъ, какъ о горахъ, можно было сказать: массивъ. Даже физическая его масса была массивомъ, чѣмъ-то непрорубнымъ и неразпыннымъ. Есть аэролиты небесные, Максъ былъ — земной монолитъ, Максъ былъ именно обратнымъ мозаикѣ, т. е. монолитомъ. Не составленнымъ, а сорожденнымъ. Это одно было создано изъ всего. По настоящему сказать о Максѣ могъ бы только геологъ. Даже черепная коробка его съ этой неистойвой, неистощимой растительностью, которую даже волосами трудно назвать, физически ощущалась, какъ поверхность земной шара, отчего-то и именно здѣсь разраивавшаяся такимъ обиліемъ. Никогда волосы тамъ явно не являли принадлежности къ растительному царству. Такъ, какъ эти волосы росли, растутъ изъ травъ только мята, полынь, ромашка, все густое, сплошное, пружинное, и никогда не растутъ волосы. Растутъ, но не у обитателей нашей соединенной полосы, растутъ у цѣлыхъ народовъ, а не у индивидуумовъ, растутъ, но черные, никогда — свѣтлые. (Росли свѣтлые, но только у боговъ). И тотъ полярный жгутъ на волосахъ, о которомъ уже сказано, былъ только естественнымъ продолженіемъ этой шевелюны ея производнымъ завершеніемъ и предѣломъ.

О него всегда хотѣлось потереться, его погладить, какъ огромнаго кота, или даже медвѣдя, и съ той же опаской, такъ хотѣлось, что несмотря на всю мою семнадцатилѣтнюю робость и дикость, я однажды все-таки не вытерпѣла: — М. А., мнѣ очень хочется сдѣлать одну вещь... — Какую вещь? — Погладить васъ по головѣ... Но я и доглотить не успѣла, какъ уже огромная голова была добросовѣстно подставлена моей ладони. Провожу разъ, провожу два. сначала одной рукой, потомъ обѣими — и изнизу сияющее лицо: — Ну что, понравилось? — Очень! — И,

очень вѣжливо и сердечно: — Вы, пожалуйста, не спрашивайте. Когда вамъ захочется — всегда. Я знаю, что многимъ нравится, — объективно, какъ о чужой головѣ. У меня же было точное чувство, что я погладила вотъ этой ладонью — гору. Взлобье горы.

Взлобье горы. Пишу и вижу: справа, ограничивая огромный коктейбельскій заливъ, скорѣе разливъ, чѣмъ заливъ — каменный профиль, уходящій въ море. Максимъ профиль. Такъ его и звали. Чужіе дачники, впрочемъ, попробовали было приписать этотъ профиль Пушкину, но ничего не вышло, изъ-за явнаго наличія широченной бороды, которой профиль и уходилъ въ море. Кромѣ того у Пушкина головка была маленькая, эта же голова явно принадлежала огромному тѣлу, скрытому подъ всѣмъ Чернымъ моремъ. Голова спящаго великана или божества. Вѣчнаго купальщика, какъ залѣзшаго, такъ и не вылѣзшаго, а вылѣзшаго бы — пустившаго бы волну, смывшую бы все побережье. Пусть лучше такой лежитъ. Такъ профиль за Максимъ и остался.

#### СКОБКА О РУКЪ.

Когда я писала о томъ, какъ гладила Макса, я невольно взглянула на свою руку и вспомнила, какъ въ одно изъ нашихъ первыхъ прощаній, Максъ — мнѣ:

— М. И., почему вы даете руку такъ, точно подкидываете мертваго младенца?

Я, съ негодованіемъ: — То-есть?

Онъ, спокойно: — Да, да именно мертваго младенца — безъ всякаго пожатія, какъ посторонній предметъ. Руку нужно давать открыто, прижимать вплоть, всей ладонью къ ладони, въ этомъ и весь смыслъ рукопожатія, потому что ладонь — жизнь. А не подсовывать какъ-то бокомъ, какъ какую-то гадость, ненужную ни вамъ, ни другому. Въ вашемъ рукопожатіи отсутствіе довѣрія, просто обидѣться можно. Ну дайте мнѣ руку, какъ слѣдуетъ! Руку дайте, а не...

Я, подавая: — Такъ?

Онъ, сіяя: — Такъ!

Максу я обязана крѣпостью и открытостью моего рукопожатія и съ ними пришедшему довѣрію къ людямъ. Жала бы какъ прежде — не довѣряла бы какъ прежде, можетъ быть лучше было бы — но хуже.

Максъ съ миеомъ связанъ и черезъ свою вторую родину.

Землю входа въ Аидъ Орфея. Когда Максъ, полдневными походами, рассказывалъ мнѣ о землѣ, по которой мы идемъ, мнѣ казалось, что рядомъ со мной идетъ — даже не Геродотъ, ибо Геродотъ рассказывалъ по слухамъ, шедшій же рядомъ повѣствовалъ, какъ свой о своемъ.

Тайновидчество поэта есть прежде всего очевидчество: внутреннимъ окомъ — всѣхъ временъ. Очевидецъ всѣхъ временъ есть тайновидецъ. И никакой тутъ «тайны» нѣтъ.

Этому, по полицейскимъ и литературнымъ паспортамъ, 36-ти лѣтнему французскому модернисту въ русской поэзіи было, по существу, много тысячъ лѣтъ, тѣ много тысячъ лѣтъ назадъ, когда природа, создавъ человѣка и коня, женщину и рыбу, не окончательно еще рѣшила, гдѣ конецъ человѣку, гдѣ коню, гдѣ женщинѣ, гдѣ рыбѣ, — своихъ твореній не ограничила. Максъ миеу принадлежалъ душой и тѣломъ куда больше, чѣмъ стихами, которые скорѣе являлись принадлежностью его сознанія. Максъ самъ былъ миеъ.

---

Максъ, я. На веслахъ турки-контрабандисты. Лодка острая и быстрая: рыба-пила. Коктебель за много миль. Ёдемъ часъ. Справа (Максимо опредѣленіе, — счастлива, что сохранила) реймскіе и шартрскіе соборы скаль, чтобы увидѣть вершины которыхъ необходимо свести затылокъ съ уровнемъ моря, т. е. опрокинуть лодку — что бы и случилось, если бы не противовѣсъ Макса: онъ на носу, я на кормѣ. Десятисаженный гротъ: входъ въ глубокую грудь скалы.

— А это, Марина, входъ въ Аидъ. Сюда Орфей входилъ за Эвридикой.—Входимъ и мы. Свѣта нѣтъ, какъ не было и тогда, только искры морской воды, забрасываемой нашими веслами на насѣдающія, насѣдающія и все-таки разступающіяся — какъ разступились и тогда — базальтовые стѣны входа. Конца гроту, т. е. выхода входу не помню; прорѣзали ли мы скалу насквозь, т. е. оказался ли входъ воротами, или, повернувъ на какомъ-нибудь морскомъ озерцѣ свою рыбу-пилу, вернулись по своимъ, уже сглаженнымъ слѣдамъ, — не знаю. Исчезло. Помню только: входъ въ Аидъ.

Объ Орфеѣ я впервые, ушами души, а не головы, услышала отъ человѣка, котораго — какъ тогда рѣшила — перваго любила, ибо надо же установить перваго, чтобы не быть потомъ въ печальной необходимости признаться, что любилъ всегда или никогда. Это былъ переводчикъ Гераклита и Гимновъ Орфея. Отъ него я тогда и уѣхала въ Коктебель, не «любить другого», а не любить — этого. И уже перестрадавъ, отбывъ — вдругъ этотъ входъ въ Аидъ, не съ нимъ!

И въ отвѣтъ на мое молчаніе о немъ — такъ издалека — точно не съ того конца лодки, а съ конца моря: — Въ Аидъ, Марина, нужно входить одному. И ты одна вошла, Марина, я, какъ эти турки, я не въ счетъ, я только средство, Марина, какъ эти весла...

Забыла или не забыла переводчика гимновъ Орфея — сама не знаю. Но Макса, введшаго меня въ Аидъ на дѣлѣ, введшаго съ собой и безъ себя — мнѣ никогда не забыть. И каждый разъ, будь то въ собственныхъ стихахъ, или на Орфеѣ Глюка, или просто слово Орфей — десятисаженная щель въ скалѣ, серебро морской воды на скалахъ, смѣхъ турокъ при каждомъ удачномъ весловомъ заносѣ — такой же высокій какъ всплескъ...

Сколько водили меня по чернымъ ходамъ жизни, заводили и бросали, — выбирайся, какъ знаешь. Что я въ жизни видѣла, кромѣ чернаго хода? и чернѣйшихъ людскихъ ходовъ?

А вотъ что: входъ въ Аидъ!

---

Полдневныхъ походовъ было много, больше чѣмъ полудневныхъ. Полночные были приходы — послѣ дня работы и, чаще удлиненныхъ, восхожденій на Карадагъ или другую гору — полночные приходы къ друзьямъ, разсѣяннымъ по всему саду. Я жила въ самой глубинѣ. Но тутъ не миновать коктебельскихъ собакъ. Ихъ было много, когда я прѣхала, когда я пожила, т. е. обжилась, ихъ стало — слишкомъ много. Ихъ стало — стаи. Изъ именныхъ помню Лапко, Одноглаза и Шоколада. Лапко — ореографія двойная: Лапко отъ лапы и Лобко отъ лобъ, оправдывалъ только послѣднюю, отъ лба, ибо шелъ на тебя лбомъ, а лапы не давалъ. Сплошное: иду на вы. Это былъ крымскій овчаръ, что то же, огромный волкъ, порода, которую

только въ издѣвку можно приставлять къ сторожбѣ овецъ. Но, слава Богу, овецъ никакихъ не было. Былъ огромный красавецъ-волкъ, ничего и никого не сторожившій и наводившій страхъ не на овецъ, а на людей. Не на меня. Я сразу, при первомъ его надвиженіи лбомъ, взяла его объими руками за содроганіящиеся отъ рычанія челюсти и поцѣловала въ тотъ самый лобъ, съ чувствомъ, что цѣлую по крайней мѣрѣ Этно. Къ самому концу лѣта я уже цѣловала его безъ рукъ и въ отвѣтъ получала лапу. Но каждый слѣдующій прїѣздъ — та же гремящая морда подъ губами, — Лапко меня за зиму забывалъ наглухо, и приходилось всю науку дружбы вбивать — вцѣловывать ему сызнова. Таковъ былъ Лапко. Вторымъ, куда менѣе казистымъ, былъ Одноглазъ, существо совершенно розовое отъ парши и безъ никакихъ душевныхъ свойствъ, кромѣ страха, который есть свойство физическое. Третій былъ сынъ Одноглаза (оказавшагося Одноглазкой) — Шоколадъ, въ дѣтствѣ дивный щенокъ, позже — дикій уродъ. Остальныхъ никакъ не звали, потому что они появлялись только ночью и исчезали съ зарей. Такихъ были — сонмы. Но — именные и безымянные — всѣ они жили непосредственно у моего дома, даже непосредственно у порога. И вотъ однажды утромъ, на большой террасѣ, за стаканомъ свѣтлаго чая съ бубликомъ и даже безъ бублика (въ Коктебельѣ ѣли плохо, быстро и мало, такъ же, какъ спали), Максъ мнѣ: — Марина! ты знаешь, что я къ тебѣ вчера-вечеромъ шелъ (вечеромъ на коктебельскомъ языкѣ означало отъ полуночи до трехъ). — Какъ — шелъ? — Да, шелъ и не дошелъ. Ты расплодила такое невѣроятное количество... лсовъ, что я всю дорогу шелъ по живому, т. е. по какимъ то мертвымъ тѣламъ, которыя очень гнусно и грозно рычали. Когда же я наконецъ протолкался черезъ эту гушу и захотѣлъ ступить къ тебѣ на крыльцо, эта гуша встала, и разомъ, очень тихо, оскалила зубы. Ты понимаешь, что послѣ этого...

Никогда не забуду, какъ я въ полной чернотѣ ночи, со всего размаху кинувшись на раскинутое плетеное кресло, оказалась лежащей не на раскидномъ креслѣ, а на огромной собацѣ, которой тутъ же была сброшена — и съ нея и съ шезъ-лонга.

Максъ собакъ не то чтобы любилъ. Не любилъ, но, убѣждена, что безъ людей съ собакой, съ тѣмъ же Лапко, бесѣдовалъ совершенно какъ со мной, вовсе не инто-

націями, а словами, и не пропуская ни одного. Къ примѣру, выгоняя Одноглаза съ плантажа: — «Одноглазъ! Я тебѣ совѣтую убраться, пска тебя не видѣла мама», такъ же поднявъ палець, не повышая голоса, холодно, какъ когда выгонялъ съ плантажа мальчишку. И Одноглазъ такъ же слушался, какъ мальчишка: не отъ страха мамы, а отъ священнаго страха Макса. Для Макса собака была человѣкомъ, самъ же Максъ былъ больше чѣмъ человѣкъ. И Одноглазъ Макса слушался не какъ родного бога, а какъ чужого бога. Никогда не помню, чтобы Максъ собаку гладилъ, для него погладить собаку было такъ же отвѣтственно, какъ погладить человѣка, особенно чужого! Лапка, самая надменная, хмурая и несобачья изъ коктейльскихъ собакъ, ибо былъ волкъ, нехотя, за версту назадъ, но за Максомъ — ходилъ. Въ горахъ высоко жили дикіе овчары, разрывавшіе на части велосипедиста и его велосипедъ. Когда Максъ былъ вдвое моложе и тоньше, онъ тоже былъ велосипедистъ съ велосипедомъ. И вотъ однажды — нападеніе: стая овчаровъ на велосипедъ съ велосипедистомъ. А пастухъ гдѣ-то на третьемъ холму, профилемъ, въ синей пустотѣ, изваяніемъ, какъ коза. Овецъ — ни слѣду... — Какъ же ты, Максъ, отбилъ? — Не буду же я, въ самомъ дѣлѣ, драться съ собаками! А я съ ними поговорилъ.

Если Керенскаго когда-то, въ незлую шутку, звали Главноуговаривающимъ, то настоящимъ главноуговаривающимъ былъ Максъ -- и всегда успѣшнымъ, ибо имѣлъ дѣло не съ толпами, а съ человѣкомъ, всегда однимъ, всегда съ глазу-на-глазъ: съ единоличной совѣстью или тщеславіемъ одного. И будь то комиссаръ, предводитель отряда, или крымскій овчаръ, вожакъ стаи, — успѣхъ былъ обезпеченъ. Уговсры, полагаю, происходили вѣдь какъ:

Максъ, отвѣдая самаго лютаго въ сторону: — Ты, какъ самый умный и сильный, скажи, пожалуйста, имъ, что велосипедъ, во-первыхъ, невкусенъ, во-вторыхъ, имъ нуженъ, а имъ нѣтъ. Скажи еще, что очень неприлично нападать на безоружнаго и одинокаго. И еще непременно напомни имъ, что они овчары, т. е. должны стеречь овецъ, а не волки — т. е. не нападать на людей. Теперь позволь имъ пожать твою благородную лапу и поблагодарить за сочувствіе (которое, пока-что, вожакъ изъяснилъ только рычаніемъ). Такъ ли ужъ убѣжденъ былъ Максъ въ человѣчности овчара или озвѣрѣвшаго краснаго или бѣлаго коман-

дира, во всякомъ случаѣ онъ ихъ въ ней убѣждалъ. Не сомнѣваюсь, что когда, годы спустя, къ его мирной мифической дачѣ подходили тѣ или инныя банды, первымъ его дѣломъ, появившись на вызовы, было длительное молчаніе, а первымъ словомъ: «Я бы хотѣлъ поговорить съ кѣмъ-нибудь однимъ — желаніе всегда лестное и требованіе всегда удовлетворимое, ибо во всякой толпѣ есть нѣкій (иногда даже нѣсколько), ощущающій себя именно тѣмъ однимъ. Успѣхъ его уговоровъ массъ былъ только званіемъ къ единственности.

Чтобы кончить о собакахъ. Два года спустя — я ту зиму жила въ Феодосіи — рѣдкій праздникъ явленія Макса, во всемъ тирольскомъ рубчатомъ — какъ мельникъ, или сынъ мельника, или Котъ въ сапогахъ.

— Марина! А я тебѣ гостей привелъ. Угадай! Скорѣй, скорѣй! Они очень волнуются.

Выбѣгаю. За спиной Макса — отъ крыльца до калитки, въ три сторожевыхъ поста, въ порядкѣ старшинства и красоты: Лапко — Одвоглазъ — Шоколадъ.

— Марина! Ты очень рада? Ты вѣдь очень по нимъ соскучилась?

Нужно знать всю непонятность для Макса такого моего скучанья, и степень уродства Шоколада и Одвоглаза, съ которыми ему пришлось идти черезъ весь городъ, чтобы по достоинству оцѣнить этотъ приходъ и приводъ.

Въ Революцію, въ голодъ всѣхъ моихъ собакъ пришлось отравить, чтобы не съѣли болгары или татары, ѣвшіе похуже. Лапко участи избѣжалъ, ибо ушелъ въ горы — самъ умираетъ. Это я знаю изъ послѣдняго въ Москвѣ письма Макса, того, съ которымъ ходила въ Кремль, по вызову Луначарскаго, доложить о голодающихъ писателяхъ Крыма.

---

Къ зимѣ этого собачьяго привода относится единственная наша новогодняя встрѣча съ Максомъ за всю нашу дружбу. Выѣхали въ метель, С. Эфронъ, моя сестра Ася и я. Въ такой Нордъ-Остъ никто бы не повезъ, а пѣшкомъ восемнадцать верстъ и думать нечего — сплошной снегосшибъ. И такъ бы Максъ насъ и не дождался, если бы не извозчикъ Адамъ, знавшій и возившій Макса еще въ дни его безбородости и половиннаго вѣса, и съ тѣхъ поръ, несмотря на удвоенный вѣсъ и цѣны на феодосійскомъ ба-

зарѣ, такъ и не надбавившій цѣны. Возилъ, можно сказать, даромъ — и съ жаромъ. Взгромоздились въ податливый разлзатый рыдванъ, Адамъ накрылъ чѣмъ могъ — поѣхали. Поѣхали и стали. Лошади на свѣжемъ снѣгу скользили, колеса не скользили, но чего не могутъ древнее имя Адамъ, пара старыхъ коней, и трое неудержимыхъ сѣдоковъ, которымъ всѣмъ вѣсть 54 года. Такъ или иначе, до заставы доѣхали. Но тутъ-то и начинались тѣ восемнадцать верстъ пространства — между нами и Максиной башней, нами и новымъ 1914 годомъ. Метель мела, забивала глаза и забивалась не только подъ кожаный фартукъ, но и подъ собственную нашу кожу, даже фартукомъ не ощущаемую. Нордъ-Остъ, ударивъ въ грудь, вылеталъ между лопатокъ, ни тѣла, ни дороги, никакой достовѣрности не было: было поприще Нордъ-Оста. Нѣтъ, одна достовѣрность была: достовѣрная снѣговая стѣна спины Адама, съ появлявшейся временами черно-бѣлой бородой: — Что, какъ, паньчи, живы?

Холодно не было, нечему было, ничего не было, ѣхали голыя веселыя души, которымъ не страшно вывалиться, которымъ ничего не дѣлается. — «Ася! — Да, Марина, такъ будемъ ѣхать послѣ смерти!» Ыхала, впрочемъ, еще вѣская достовѣрная корзина, съ которой все дѣлается, и которой есть чѣмъ вывалиться. Если мы тогда — всѣ съ конями, съ повозкой, съ Адамомъ — не сорвались въ небо, то только изъ-за новогоднего фрахта Максиного любимого рислинга, который нужно было довести.

А этотъ смѣхъ! Какъ метель — мела, такъ мы отъ смѣха — мотались, какъ Нордъ-Остъ — налеталъ, такъ смѣхъ изъ насъ — вылеталъ. Метель вожаатаго изъ Капитанской дочки. И у Адама та же борода!

Не вывалилъ Нордъ-Остъ, не выдалъ Адамъ. Домъ. Огонь. Максъ.

— Сережа! Ася! Марина! — Это -- невозможно. Это -- невѣроятно.

— Максъ, а развѣ ты забылъ:

«Я давно ужъ не приѣмлю чуда,  
Но какъ сладко видѣть: -- чудо есть!»

Тройнымъ чудомъ. т. е. тремя мокрыми чудами выпрашиваемся изъ повозки, метели, корзины, вожжей, стоимъ въ жаркой Максиной мастерской, обтекаемъ лужами. По-



имъ рислингомъ Адама такъ же щедро, какъ онъ нынче вечеромъ будетъ поить коней.

Максъ совсѣмъ одинъ, Е. О. въ Москвѣ. Домъ нетопленный, ледяной и нежилой — что мрачнѣе лѣтнихъ мѣстъ зимою, прохладныхъ синихъ отъ лѣта бѣлыхъ стѣнъ — въ морозъ? — Море еще ближе, чѣмъ было, ворочается у изножья башни, какъ звѣрь. Мы на башнѣ. Башня — маякъ. Но нужно сказать о башнѣ. Была большая просторная комната, со временемъ Максъ надстроилъ верхъ, а потолокъ снялъ, — получилась высота въ два этажа и въ два свѣта. Внизу была мастерская, изъ которой по внутренней лѣстницѣ наверхъ, въ библиотеку, расположенную галлереей. Тамъ же Максъ на чѣмъ-то рожемъ, цвѣта песка и льва, спалъ. На вышкѣ башни, широкой площадкѣ съ перилами, днемъ, по завистливому выраженію дачниковъ, «поклонялись солнцу», т. е. попросту лежали въ купальныхъ костюмахъ, мужчины и дамы отдѣльно, а по ночамъ, въ той же передачѣ дачниковъ, «поклонялись лунѣ», т. е. бесѣдовали и читали стихи.

Мастерская пустая, только мольбертъ и холсты, верхъ, съ подавляющей головою египтянки Таіахъ, половъ до разрыва. Много тысячъ томовъ книгъ, чуда и дива изъ всѣхъ Максиныхъ путешествій — скромныя ежедневныя чуда тѣхъ странъ, гдѣ жилъ: басскій ножъ, бретонская чашка, самаркандскія четки, севильскія кастаньеты — чужой обиходъ въ своей странѣ дѣлающийся чудомъ — но не только людской обиходъ, и морской, и лѣсной, и горный, — кусть бѣлыхъ коралловъ, морская окаменѣлость, связка фазаньихъ перьевъ, природная горка горнаго хрустала...

Въ башнѣ жара. Огромный Максъ носится вверхъ и внизъ съ чашками безъ ручекъ и съ ножами безъ черенковъ. — Мама, увѣжая, все заперла, чтобы не растащили, а кому растаскивать? — собаки вилами не ѣдятъ.

— Максъ, а гдѣ же...

— Всѣ на дачѣ Юнге, потому что, ты знаешь, отъ меня и объѣдковъ не остается. (Дѣлая страшные глаза): Je mange tout. Пожили, пожили со мною недѣли двѣ и видя, что это вѣрная голодная смерть, ушли къ Юнге. Просыпаюсь — ни одной.

Красное жерло и вой чугунной печки. Но объ этой печкѣ — рассказъ. До моего знакомства съ Водошныными, Е. О. и Максѣу по лѣтамъ, когда съѣзжались, прислуживала па-

ра: татаринъ и его жена, съ татарскимъ именемъ, въ Максинамъ переводѣ Животея. Животея эта была старая, тощая и страшная: татаринъ рѣшилъ жениться на молодой. Нѣкоторыя антропософскія дѣвушки, гостившія тогда у Макса, стали татарина уговаривать: — Какъ тебѣ не стыдно! Она тебѣ такъ предана, ты всю жизнь съ нею прожилъ, и теперь хочешь жениться на молодой. Развѣ молодость важна? Красота важна? Важна душа, Селимъ, понимаешь. Душа, которая всегда полна и всегда молода! — Татаринъ слушалъ, слушалъ и, понявъ, что онѣ указываютъ ему на то, что онъ не можетъ внести калыма за невѣсту: — Твоя правда, баришня, бѣдному человѣку и съ душой жить приходится.

Эта самая душа, съ которой бѣдному человѣку приходится жить, была страшная воровка, по научному сказали бы клеptomанка, по народному — сорока. Максъ задумалъ ставить печь. Самъ купилъ, самъ принесъ, самъ сталъ ставить. Поставилъ. Зажегъ. Весь дымъ въ домъ. — Ничего, въ первый разъ, обживется. Но второй и третій день, — дымить какъ паровозъ! Думалъ, гадалъ, главное нюхалъ, провѣрилъ трубы, колѣна — разгадки нѣтъ. И вдругъ озареніе: Животея! Бѣжить, бычи опустивъ голову, въ ея комору, лѣзетъ подъ кровать, въ самую ея граблировку, — въ самой глубинѣ — колѣно, крохотное, не колѣно, а колѣнце, самое необходимое, то. — «Зачѣмъ же ты взяла, Животея? — Молчить. — Зачѣмъ оно тебѣ? — Молчить. — Ты понимаешь, что я изъ-за тебя могъ угодить. У-ме-реть». Та молча перекатываетъ на желтомъ лицѣ черные бусы-глаза. Рассказываютъ, что Максъ отъ обиды — плакалъ.

Глядимъ въ красное жерло чугуна, загадываемъ по Максинамъ многочитанной Библии на Новый 1914 годъ. За трехгранникомъ окна — Нордъ-Остъ. Море бушуетъ и воетъ. Печка бѣшветъ и воетъ. Мы на островѣ. Башня — маякъ. У Макса подъ гигантской головой Таіахъ его маленькіе преданные часики. Что бы они ни показывали — правильно, ибо другихъ часовъ нѣтъ. Еще двадцать минутъ, еще пятнадцать минутъ. — Давай погадаемъ, доѣхалъ Адамъ или нѣтъ. — Съ нѣкоторой натяжкой и въ нѣсколько инносказательной формѣ, выходитъ, что доѣхалъ. Еще десять минутъ. Еще пять. Наполняемъ и сдвигаемъ три стакана и одну чашку и пьемъ за Новый — 1914 — тогда еще не знали, какой — первый изъ какихъ годовъ —

годъ. И Ася: — Максъ, ты не находишь, что странно пахнетъ? — Здѣсь всегда такъ пахнетъ, когда Нордъ-Ость. Читаемъ стихи, Максъ, я. Стиховъ, какъ всегда, много, особенно у меня.

И — что это? изъ-подъ пола, на аршинъ отъ печки, струечка дыма. Сначала думаемъ, что заметаегъ изъ печки. Нѣтъ, струечка мѣстная, именно изъ даннаго мѣста пола — и странная какая-то, легкими взрывами, точно кто-то, засѣвъ подъ поломъ, пускаегъ дымные пузыри. Слѣдимъ. Переглядываемся и, Сережа, внезапно срываясь: — Максъ, да это пожаръ! Башня горитъ!

Никогда не забуду отвѣтнаго, отсутствующаго лица Макса, лица, съ котораго схлынула всякая возможность улыбки, его непонимающихъ-понимающихъ-глазъ, сдѣлавшихся вдругъ большими.

— Внизу ведро? Одно?

— Неужели же ты думаегъ, Сережа, что можно затушить ведрами?

Мчимся — Сережа, Ася, я — внизъ, достаемъ два ведра и одинъ кувшинъ, летимъ, гремя жестью въ рукахъ и камнями изъ подъ ногъ, къ морю, врываемся, заливая лѣстницу — и опять къ морю, и опять на башню..

Дымъ растегъ, уже два жерла, уже три. Максъ, какъ сидѣлъ, такъ и не двинулся. Внимательно смотритъ въ огонь, всѣмъ тѣломъ и всей душой. Этотъ пожаръ — конецъ всему. Въ секундный перерывъ между двумя прибѣгами, кто-то изъ насъ: — Да неужели ты не понимаегъ, что сгорѣть не можетъ. Ну??

И — въ отвѣтъ — первый проблескъ жизни въ глазахъ. Очнулся! Проснулся!

— Мы — водой, а ты... Да ну же!

И опять внизъ, въ Нордъ-Ость, гремя и спотыкаясь, въ явномъ сознанин, что разъ мы — только водой, такъ эта вода быть — должна.

И на этотъ разъ, взбѣжавъ — молниеносное видѣние Макса, вставшаго и съ поднятой — воздѣтой рукой, что то неслышно и раздѣльно говорящаго въ огонь.

Пожаръ — потухъ. Дымъ откуда пришелъ, туда и ушелъ. Двама ведрами и однимъ кувшиномъ, конечно, затушить нельзя было. Вѣдь горѣло подполье! И давно горѣло, ибо запахъ, о которомъ сказала Ася, мы всѣ чувствовали давно, только за радостью приѣзда, встрѣчи, года; осознать не успѣли.

Ничего не сгорѣло: ни любимыя картины Богаевского, ни чудеса со всѣхъ сторонъ свѣта, ни египтянка Таиажъ, не завилась отъ пламени ни одна страничка тысячетомной библиотеки. Миръ, возставленный любовью и волей одного человѣка, уцѣлѣлъ весь. Хозяинъ здѣшнихъ мѣстъ, не пожелавшій спасти одно и оставить другое, Максимилианъ Волошинъ и здѣсь не пожелавшій выбрать и не смогшій предпочесть, до того онъ самъ былъ это все, и весь въ каждой данной вещи, Максимилианъ Волошинъ сохранилъ все.

Что наши ведра? Только добрая воля тѣхъ, кто знаетъ, что онъ огня не остановить подъятиемъ руки, что ему руки даны — носить. Только выходъ энергii: когда горитъ — не сидѣть руки сложа.

Пожаръ былъ остановленъ — словомъ.

Самое замѣчательное въ этой примѣчательной новогодней ночи, что мы съ Асей, принесли очередное, уже явное ненужное ведро, внезапно и каменно заснули. Каждая, гдѣ стояла. Такъ потихонечку и сползали. И до того заспались, что увидѣвъ надъ собой широченную во все лицо улыбку Макса — въ эту секунду лицо равнялось улыбкѣ и улыбка — лицу — невольно зажмурились отъ него, какъ отъ полдневнаго солнца.

### МАКСЪ И СКАЗКА.

Чѣмъ глубже я гляжусь въ бездонный колодець памяти, тѣмъ рѣзче встаютъ мнѣ навстрѣчу два облика Макса: греческаго мифа и германской сказки. Гриммовской сказки. Добрый людоедъ, ручной медвѣдь, домовитый гномъ и, шире: дремучій лѣсъ, которымъ прирученный медвѣдь идетъ за дѣвушкой, — Максъ былъ не только дѣйствующимъ лицомъ, но мѣстомъ дѣйствiя сказки Грима. Медвѣдь-Максъ за Розочкой и Бѣляночкой пробирался по зарослямъ собственныхъ кудрей.

Помню картинку надъ своей дѣтской кроватью: въ лѣсу, отъ роста лежащаго кажущемуся мхомъ, въ мелкомъ и курчавомъ какъ мохъ лѣсу, на боку горы, какъ на собственномъ, спитъ великанъ. Когда я десять лѣтъ спусти встрѣтила Макса, я этого великана и этотъ лѣсъ узнала. Этотъ лѣсъ былъ Максъ, этотъ великанъ былъ Максъ. Такъ, черезъ случайность дѣтской картинки надъ кроватью, таинственно восстанавливается таинственная принадлеж-

ность Макса къ германскому міру, моимъ тѣмъ узнаваніемъ въ немъ Прима — подтверждается. О германской крови Макса я за всю мою дружбу съ нимъ не думала, теперь, идя навадъ къ истокамъ его прародины и моего младенчества — я эту кровь въ немъ знаю и утверждаю.

Въ его физикѣ не было ничего русскаго. Даже курчавые волосы его (въ концѣ концовъ не занимать-стать: у насъ всѣ добрые молодцы и кучера курчавые) за кучерскіе не сошли. (Свойство русскаго русаго волоса — податливость, вьются какъ то отъ всего, у Макса же волосъ былъ неукротимый). И такіе ледяные голубо-зеленые глаза никогда не сіяли подъ соболиными бровями ни одного, добраго молодца. Никому и въ голову не приходило награждать его «богатыремъ». Богатырь прежде всего тяжесть (равно какъ великанъ прежде всего скорость). Тяжесть даже не физическая, а духовная. Физика, ставшая психикой. Великанъ — шагъ, богатырь, — вѣсь. Богатырь и по землѣ ступить не можетъ, потому что провалится, ее, землю, провалить. Богатырю ничего не остается, кромѣ какъ сидѣть на конѣ и на печкѣ сиднемъ. (Одинъ даже отъ собственной силы, т. е. тяжести, ушелъ въ землю, сначала по колѣно, потомъ по поясъ, а потомъ совсѣмъ). Сила богатыря есть сила инерціи, т. е. тяжесть. Въ Максѣ ни сидня, ни тяжести, ни богатыря. Онъ самъ былъ конь! Помню, какъ на скамейкѣ пердъ калиткой — я сидѣла, онъ стоялъ — онъ, читая мнѣ свой стихъ, кончающійся названіемъ греческихъ острововъ, неожиданно: — На к с о с ь — прыжокъ, Д е л о с ь — прыжокъ — и М и к э н ь — до неба прыжокъ!

Его вѣское тѣло такъ же не давило землю, какъ его вѣская дружба — души друзей. А по скаламъ онъ лазилъ, какъ самая отчаянная коза. Его широкая ступня въ сандалѣ держалась на уступѣ скалы только на честномъ словѣ довѣрія къ этой скалѣ, единствѣ съ этой скалой.

Еще особенность нашихъ сказокъ: полное отсутствіе юта: страшная — скрызь. Максъ же въ быту былъ весь уютъ. И чувство, которое онъ вызывалъ даже въ минуты гнѣва, былъ тотъ страхъ съ улыбкой, сознание, что хорошо кончится, которое неизмѣнно возбуждаетъ въ насъ всѣ гриммовскіе великаны, и никогда не возбудитъ Кашей или другое какое родное чудовище. Ибо гнѣвъ Макса — какъ гнѣвъ божества и ребенка — могъ неожиданно кончиться смѣхомъ—дугой радуги!—гнѣвъ же богаты-

ря неизмѣнно кончается ударомъ по башкѣ, т. е. смертью. Максъ былъ сказка съ хорошимъ концомъ. Про Макса, какъ про своего сына — кстати, въ дѣтствѣ они очень похожи — могу сказать, что:

...славянской скуки —

Ни тѣни въ красотѣ твоей!

Поздне-славянской, т. е. интеллигентской.

Физика Макса была широкими воротами въ его сущность, физическая обширность — только введеніемъ въ обширность духовную, физическій жаръ его толстаго тѣла только излученіемъ того свѣтового и теплового очага духа, у котораго всѣ грѣлись, отъ котораго всѣ горѣли; вся физическая сказочность его только входомъ и вводомъ въ тотъ мифъ, который былъ имъ и которымъ онъ былъ.

Но этимъ Максъ и сказка не исчерпанъ. Это дѣйствующее лицо и мѣсто дѣйствія сказки было еще и сказочникъ: мифотворецъ. О, сказочникъ прежде всего. Не сказитель, а слагатель. Отношеніе его къ людямъ было сплошное мифотворчество, т. е. извлеченіе изъ человѣка основы и выведеніе ея на свѣтъ. Усиленіе основы за счетъ «условія», сужденности за счетъ случайности, судьбы за счетъ жизни. Героевъ Гомера мы потому видимъ, что они гомеричны. Мифотворчество: то, что быть могло и быть должно, обратно чеховщинѣ: тому, что есть, а чего, по мнѣ, вовсе и нѣтъ. Усиленіе основныхъ чертъ въ человѣкѣ вплоть до видѣнія — Максомъ, человѣкомъ и нами — только ихъ. Все остальное: мелкое, пришлое, случайное отметалось. То-есть тотъ же творческій принципъ памяти, о которой отъ того же Макса слышала: «La mémoire a bon goût», т. е. несущественное, т. е. 90 сотыхъ — забываетъ.

Максъ о событіяхъ рассказывалъ, какъ народъ, а объ отдѣльныхъ людяхъ, какъ о народахъ. Точность его живописанія для меня всегда была внѣ сомнѣнія, какъ несомнѣнна точность всякаго эпоса. Ахиллъ не можетъ быть не такимъ, иначе онъ не Ахиллъ. Въ каждомъ изъ насъ живетъ божественное мѣрило правды, только передъ коей прегрѣшивъ человѣкъ является лжецомъ. Мистификаторство, въ иныхъ устахъ, уже начало правды, когда же оно достигаетъ до мифотворчества, оно — вся правда. Такъ

было у Макса въ томъ же случаѣ Черубины. Что не на-  
сушио — лишне. Такъ и получаютъ боги и герои. Только  
въ Максинахъ разсказахъ люди и являлись похожими,  
болѣе похожими, чѣмъ въ жизни, гдѣ ихъ встрѣчаешь не  
такъ и не тамъ, гдѣ встрѣчаешь не ихъ, гдѣ они просто  
сами-не-свои и — неузнаваемы. Помню изъ устъ Макса  
такое слово маленькой дѣвочки. (Дѣвочка впервые была  
въ звѣрицѣ и пишетъ письмо отцу:)

— Видѣла льва — совсѣмъ не похожъ.

У Макса левъ былъ всегда похожъ. Кстати, чтобы не за-  
быть. У меня здѣсь, въ Кламарѣ, на столѣ, на которомъ  
пишу, подъ чернильницей, изъ которой пишу, тарелка.  
Столы и чернильницы мѣняются, тарелка пребываетъ, вы-  
везла ее въ 1913 г. изъ Феодосіи и съ тѣхъ поръ не раз-  
ставалась. Въ моихъ рукахъ она стала еще на двадцать  
лѣтъ старше. Тарелка страшно тяжелая, фаянсовая, ста-  
ринная, англійская, съ коричневымъ по-бѣлу бордюромъ  
изъ греческихъ героевъ и англійскихъ полководцевъ. Въ  
центрѣ лицо: даже ликъ: левъ. Собственно, весь левъ, но  
отъ величины головы тѣло просто исчезло. Грива, перехо-  
дящая въ бороду, а изъ-подъ гривы маленькія бѣлыя свер-  
да глазъ. Этотъ левъ самый похожій изъ всѣхъ портретовъ  
Макса. Этотъ левъ — Максъ, весь Максъ, болѣе Максъ,  
чѣмъ Максъ. На этотъ разъ ж и з н ѣ занялась мнѣотвор-  
чествомъ.

Одинъ единственный примѣръ на живой мнѣ. Въ пер-  
вый же день пріѣзда въ Коктебель — о драгоценныхъ  
камяхъ его побережья всякій знаетъ — есть даже бухта  
такая: Сердоликовая — въ первый день пріѣзда въ Ко-  
ктебель я Макс: — М. А., какъ вы думаете, вы могли бы  
отгадать, какой мой самый любимый камень на всемъ по-  
бережьи? — И уже часъ спустя, сама о себѣ слышу:—«Ма-  
ма! Ты знаешь, что мнѣ заказала М. И.? Найти и прине-  
сти ей ея любимый камень на всемъ побережьи!» Ну, не  
лучше ли такъ и не больше ли я? Я была тотъ черновикъ,  
который Максъ мгновенно выправилъ.

Острый глазъ Макса на человѣка былъ собирательнымъ  
стекломъ, собирательнымъ—значить зажигательнымъ. Все,  
что было своего, т. е. творческаго въ человѣкѣ, разгора-  
лось и разрасталось въ сильный костеръ и садъ. Ни од-  
ного человѣка Максъ — знаніемъ, опытомъ, дарованіемъ  
— не задавилъ. Онъ, ненасытностью на настоящее, заста-  
вляя человѣка быть самимъ собой. «Когда мнѣ нуженъ

я — я ухожу, если я къ тебѣ прихожу — значить мнѣ нуженъ ты». Хотѣла, было, написать «ненасытность на подлинное», но тутъ же вспоминала, даже ушами услышала: — Марина! Никогда не употребляй слово «подлинное». — Почему? потому что похоже на подлое? — Оно и есть подлое. Во-первыхъ, не подлинное, а подлинное, подлинная правда, та правда, которая подъ линьками, а линьки — тѣ ремни, которые палачъ вырѣзаетъ изъ спины жертвы, добиваясь признанія, лжепризнанія. Подлинная правда — правда застѣнка.

Все, чему меня Максъ училъ, я помню навсегда.

Итакъ, Максъ, ненасытностью на настоящее, заставлялъ человѣка быть самимъ собой. Знаю, что для молодыхъ поэтовъ со своимъ, онъ былъ незамѣнимъ, какъ для молодыхъ поэтовъ — безъ своего. Помню, въ самомъ началѣ знакомства, у Алексѣя Толстого литературный вечеръ. Читаетъ какой-то титулованный гвардеецъ: луна. лодка. сирень. дѣвушка... Въ отвѣтъ на это общее мѣсто — тяжкое общее молчаніе. И Максъ вкрадчиво, точно голосомъ ступая по горячему: — «У васъ удивительно пріятный баритонъ. Вы — поете? — Никакъ нѣтъ. — Вамъ надо пѣть, вамъ непремѣнно надо пѣть». Клянусь, что ни малѣйшей ироніи въ этихъ словахъ не было; баритону, дѣйствительно, надо пѣть.

А вотъ еще разсказъ о поэтессѣ Маріи Папперъ.

— М. И., къ вамъ еще не приходила Марія Папперъ? — Нѣтъ. — Значить, прійдетъ. Она ко всѣмъ поетамъ ходитъ: и къ Ходасевичу, и къ Борису Николаевичу, и къ Брюсову. — А кто это? — Одна поэтесса. Самое отличительное: огромная, во всякое время года, калоши. Обыкновенныя мужскія калоши, а изъ калошъ на тоненькой шейкѣ, какъ на спичкѣ, огромные темные глаза, на ниточкахъ, какъ у лягушки. Она всегда приходитъ съ чернаго хода, еще до свѣту, и прямо на кухню. — Что вамъ угодно, барышня? — Я къ барину. — Баринъ еще спать. — А я подожду. Семь часовъ, восемь часовъ, девять часовъ. Поэты, какъ вы знаете, встаютъ поздно. Иногда кухарка, сжалившись: — Можетъ, разбудить барина? Если дѣло ваше ужъ очень спѣшное, а то нашъ баринъ иногда только къ часу выходятъ. А то и вовсе не встаютъ. — Нѣтъ, зачѣмъ, мнѣ и такъ хорошо. Наконецъ кухарка, не вытерпѣвъ, докладываетъ: — Къ вамъ барышни одни, гимназистки или курсистки, съ седьмого часа у меня на кухнѣ сидятъ, дожида-



ются. — Такъ чего жъ ты, дура, въ гостиную не провела? — Я, было, хотѣла, а онѣ: мнѣ, молъ, и здѣсь хорошо. Я ихъ и чаемъ напоила — и сама пила и имъ налила, обиды не было.

Наконецъ встрѣчаются: «баринъ» и «барышня». Глядятъ: Ходасевичъ на Марію Папперъ, Марія Папперъ на Ходасевича. — Съ кѣмъ имѣю честь? Мышиный голосъ, какъ-то все на и: — А я — Марія Па-апперъ. — Чѣмъ могу служить? — А я стихи-и пи-ишу...

И, неизвѣстно откуда, огромный портфель, департаментскій. Ходасевичъ садится къ столу, Марія Папперъ на диванъ. 10 ч., 11 ч., 12 ч. Марія Папперъ читаетъ: Ходасевичъ слушаетъ. Слушаетъ — какъ зачарованный! Но гдѣ-то внутри — пищевода или души, во всякомъ случаѣ въ мѣстѣ, для чесанія недосягаемомъ, зудъ. Зудъ все растетъ, Марія Папперъ все читаетъ. Вдругъ, нервный зѣвокъ, изъ послѣднихъ силъ прыжокъ, хватаясь за часы: — Вы меня — извините — я — я очень занята — меня сейчасъ ждетъ издатель — а я — я сейчасъ жду пріятеля. — Такъ я пойду-у, я еще при-иду-у.

Освобожденный, внезапно поласковѣвшій Ходасевичъ: — У васъ, конечно, есть данныя, но надо больше работать надъ стихомъ...

— Я и такъ все время пи-ишу...

— Надо писать не все время, а надо писать иначе...

— А я могу иначе... У меня есть...

Ходасевичъ, понимая, что ему грозитъ:

— Но конечно вы еще молоды и успѣете... Нѣтъ, нѣтъ, вы не туда, позвольте я провожу васъ съ параднаго...

Входная дверь защелкнута, хозяйинъ блаженно выхрустываетъ суставы рукъ и ногъ, и вдругъ — бурей — пронося надъ головой обутыя руки — изъ кухни въ переднюю — кухарка:

— Ба-арышни! Ба-арышни! Ай бѣда-то какая! Калошки забыли!

...Вы знаете, М. И., не всегда такъ хорошо кончается, иногда ей эти калоши летятъ вслѣдъ... Иногда, особенно, если съ верхняго этажа, попадаютъ прямо на голову, но на голову или на ноги, Ходасевичъ или (скромно) со мной тоже было — словомъ: недѣлю спустя сидитъ поэтъ, пишетъ сонетъ... — Баринъ, а баринъ? — Что тебѣ? — Тамъ къ вамъ однѣ барышни пришли, съ семи часовъ дожидаетъ...

ются... Мы с ними уже два раза чайку попили... Всю мнѣ свою жизнь рассказали... (Конфузливо) Писательницы.

Такъ, нѣкоторыхъ людей Максъ возводилъ въ рангъ химеръ.

Книжку ея мнѣ Максъ принесъ. Называлась «Парусъ». Изъ стиховъ помню одни:

Во мнѣ кипить, бурлить волна  
Горячей крови семитической,  
Я вся дрожу, я вся полна  
Завѣтной тайны эстетической.  
Иду я вверхъ, иду я внизъ,  
Я слышу пѣнье разнотонное —  
Родной сестрой мнѣ стала рысь,  
А братомъ озеро бездонное.

И еще такое четверостишие:

Я великаго, неожиданнаго,  
Невозможнаго прошу,  
И одной струей желаннаго  
Вѣчный мраморъ орошу.

Все, что могло тогда понравиться мнѣ, Максъ мнѣ приволакивалъ какъ добычу. Въ зубахъ. Какъ медвѣдь медвѣженку. У Макса для всякаго возраста былъ свой обликъ. Моему, тогда, почти дѣтству онъ предсталъ волшебникомъ и медвѣдемъ, моей, нынѣ — зрѣлости или какъ это называется — онъ предстаетъ мифотворцемъ, миротворцемъ и миротворцемъ. Все Максъ давалъ своимъ друзьямъ, кромѣ непрерывности своего присутствія, которое, при несчетности его дружбъ, уже было бы вездьсущимъ, т. е. физической невозможностью. Изъ сказокъ, мнѣ помнится, Максъ больше всего любилъ звѣриныя, самыя старыя, сказки прародины, иносказанія — притчи. Но объ отдѣльной любви къ сказкѣ можно говорить въ случаѣ, когда существуетъ не-сказка. Для Макса не сказки не было, и онъ изъ какой-нибудь лисей исторіи такъ же легко переходилъ къ случаю изъ собственной жизни, какъ та же лиса изъ лѣсу въ нору.

Однимъ онъ не былъ: сказочникомъ письменнымъ. Ни его сказочность, ни сказочничество въ его творчество не перешли. Этого себя, этихъ двухъ себя онъ въ своемъ творествѣ — очень большомъ по охвату — не далъ. Будь это, я бы такъ на его сказочности не настаивала. Онъ самъ былъ изъ сказки, самъ былъ сказка, сама сказка, и закрѣпляя этотъ его обликъ, я дѣлаю то же, что всѣ собиратели сказокъ, съ той разницей, что собиратели записываютъ слышанную, я же видѣнную и совмѣстно съ Максомъ ж и т у ю: вѣще.

---

На этомъ французскомъ незамѣнимомъ и несуществующемъ словѣ (*vie vécue* — житая жизнь, такъ у насъ не говорятъ, а прожитая — уже въ окончательномъ прошломъ, не передаетъ) остановлюсь, чтобы сказать о Максѣ и Франціи.

Явнымъ источникомъ его творчества въ первые годы нашей встрѣчи, бывшіе послѣдними до войны, была безспорно и явно Франція. Уже хотя бы по тѣмъ книгамъ, которыя онъ давалъ друзьямъ, той же мнѣ: Казанова или Клодель, Аксѣль или Консуэла — ни одной, за годы и годы, ни нѣмецкой, ни русской книги никто изъ его рукъ не получалъ. Ни одного рассказа, кромѣ какъ изъ жизни французовъ — писателей или историческихъ лицъ — никто изъ его устъ тогда не слышалъ. Ссылка его была всегда на Францію.оборотъ головы всегда на Францію. Онъ такъ и жилъ, головой обернутой на Парижъ. Парижъ XIII вѣка или нашего нынѣшняго, Парижъ улицъ и Парижъ время было имъ равно исхоженъ. Въ каждомъ Парижѣ онъ былъ дома, и нигдѣ кромѣ Парижа, въ тотъ часъ своей жизни и той частью своего существа, дома не былъ. (Не говорю о вѣчномъ Коктебелѣ, изъ котораго потомъ разрослось — все). Его ношеніе по Москвѣ и Петербургу, его всеприсутствіе и всемѣстность вездѣ, гдѣ читались стихи и встрѣчались умы, было только возсозданіемъ Парижа. Какъ нѣкоторые изъ насъ, во всякомъ случаѣ русскія няни, *Arc de Triomphe* превращаютъ въ Триумфальныя или даже Трухмальные ворота и Пасси въ Арбатъ, такъ и Максъ въ тѣ годы превращалъ Арбатъ въ Пасси и Москва-рѣку въ Сѣну. Парижъ прошлаго, Парижъ нынѣшній, Парижъ писателей, Парижъ бродягъ, Парижъ музеевъ, Парижъ рынковъ, Парижъ парижанъ. Парижъ — калужанъ (былъ и

тогда такой!) Парижъ первой о немъ письменности и Парижъ послѣдней пѣсенки Мистенгеттъ, — весь Парижъ, со всей его, Парижа, вмѣстимостью, былъ въ него вмѣщенъ. (Вмѣщался ли въ него весь Максъ?).

Одного, впрочемъ, Максъ въ Парижѣ не вмѣстилъ. Сейчас увидите, чего. — М. А., что вамъ больше всего нравится въ Парижѣ? Максъ, молниеносно: — Эйфелева башня. — Неужели? — Да, потому что это единственное мѣсто, откуда ея не видать. — Максъ Эйфелеву ненавидѣлъ такъ, какъ никогда не могъ ненавидѣть живое лицо. — Знаешь, Марина, какая рифма къ Эйфелева? И боясь, что опережу: — Тейфелева! (т. е. чортова).

У меня нѣтъ его первой книги, но помню, что гдѣ ни раскроешь, вездѣ Парижъ. Рѣдкая страница насъ не обдастъ Парижемъ, если не прямымъ Парижемъ, то Парижемъ иноскѣзаннымъ. Первая книга его, на добрую половину, чужестранная. Въ этомъ онъ сходится съ большинствомъ довоенныхъ поэтовъ: Бальмонтъ — заморье, Брюсовъ — всѣ исторіи, кромѣ русской, ранній Блокъ — Незнакомка, западъ; Золото въ лазури Бѣлаго — готика и романтика. И, позже: Гумилевъ — Африка, Кузминъ — Франція, даже первая Ахматова, Ахматова первой книжки, если упоминаетъ Россію, то какъ гостя — изъ страны Любви, которая въ Россіи тоже экзотика. Только иноземность Макса (кромѣ «экзотики» Ахматовой) была скромнѣе и сосредоточеннѣе.

Теперь оговорюсь. Какъ все предшествующее: о Максѣ и мирѣ, о Максѣ и людяхъ, о Максѣ и мнѣ — достовѣрность, т. е. безоговорочно, т. е. какъ бы имъ подписано или даже написано, такъ послѣдующее — только мои домыслы, неопровержимые только для меня. Справиться, увы, мнѣ не у кого, ибо только ему одному повѣрила бы больше, чѣмъ себѣ.

Я сказала: я вны мъ источникомъ его творчества, но есть источники и скрытые, скрытые родники, подъ землей идущіе долго, все питающіе по дорогѣ и прорывающіеся въ свой часъ. Этихъ скрытыхъ родниковъ у Макса было два: Германія, никогда не ставшая явнымъ, и Россія, явнымъ ставшая — и именно въ свой часъ. О физическомъ родствѣ Макса съ Германіей, т. е. простой наличности германской крови, я уже сказала. Но было, по мнѣ, и родство духовное, глубокое, даже глубинное, котораго — тутъ-то и начинается опасная и очень отвѣтственная часть моего

утвержденія — съ Франціей не было. Да простить мнѣ Максъ, если я ошибаюсь, но умолчать не могу.

Возьмемъ шире: у насъ съ Франціей никогда не было родства. Мы — разные. У насъ къ Франціи была и есть любовь, была, можетъ-быть еще есть, а если сейчасъ нѣтъ, то можетъ-быть потомъ опять будетъ — влюбленность, наше взаимоотношеніе съ Франціей — очарованіе при непониманіи, да, не только ея — насъ, но и нашемъ ея, ибо понять другого, значить этимъ другимъ хотя бы на часъ стать. Мы же и на часъ не можемъ стать французами. Вся сила очарованія, весь истокъ его — въ чуждости.

Расширимъ подходъ, подойдемъ надлично. Мы Франціи обязаны многимъ — обязанъ былъ и Максъ, мы отъ этого не отказываемся — не отказываюсь и за Макса, какими-то боками исторіи мы совпадаемъ, больше скажу: какіе-то бока французской исторіи мы ощущаемъ своими боками. И больше своими, чѣмъ свои.

Возьмемъ только послѣднія полтора столѣтія. Французская Революція во всемъ ея охватѣ: отъ Террора и до Тампля (кто за Терроръ, кто за Тамплъ, но всякій русскій во французской революціи свою любовь найдетъ), вся Наполеоніада, 48 г. съ русскимъ Рудинымъ на баррикадахъ, вся вечерняя жертва Коммуны, даже катастрофа 70 г. .

*Vous avez pris l'Alsace et la Lorraine,  
Mais notre cœur vous ne l'aurez jamais...*

— все это наша родная исторія, съ молокомъ матери всосанная. Гюго, Дюма, Бальзакъ, Жоржъ Зандъ, и многіе, и многіе — наши родные писатели, не менѣе, чѣмъ имъ современные русскіе. Все это знаю, во всемъ этомъ расписываюсь, но —

все это только до извѣстной глубины, т. е. все-таки на поверхности, только ниже которой и начинается наша суть, Франціи чуждая.

На поверхности кожи, ниже которой начинается кровь.

Наше родство, наша родня — нашъ скромный и неказистый сосѣдъ Германія, въ которую мы — если когда-то давно ее въ лицѣ лучшихъ головъ и сердецъ нашей страны и любили, — никогда не были влюблены. Какъ не бываешь влюбленъ въ себя. Дѣло не въ историческомъ моментѣ: «въ XVIII вѣкѣ мы любили Францію, а въ первой половинѣ XIX-го Германію», дѣло не въ исторіи, а въ до-исторіи, не въ моментахъ, преходящихъ, а въ нашей съ Герма-

ней общей крови, одной прародинѣ, въ томъ винѣ, о которомъ русскій поэтъ Осипъ Манделъштамъ, въ самый разгаръ войны:

А я пою вино времянь —  
Источникъ рѣчи италійской,  
И въ колыбели праарійской  
Славянскій и германскій лень.

— Геніальная формула нашего съ Германіей отродясь и на-вѣкъ союза.

Вернемся къ Максѹ. Голословнымъ утвержденіемъ его германства, равно какъ ссылкой хотя бы на очень сильную вещь: кровь — я и сама не удовлетворюсь. Знаю одно: германство было. Надо дознаться: въ чемъ. Въ жизни? На первый взглядъ нѣтъ. Ни его живость, ни живолисъ, ни живописность, ни его — по образу многолюбія: многодружіе, ни быстрота его схождения съ людьми, ни весь его внѣшній темпъ германскими не были. Ужъ скорѣе бургундецъ, чѣмъ германецъ. (Кстати, Максъ вина, кромѣ какъ подъ Новый годъ, въ ротъ не бралъ: не нужно было!).

Но — начнемъ съ самаго простого бытового — аккуратность, даже педантичность навыковъ, «это у меня стоитъ тамъ, а это здѣсь, и будетъ стоять», но — страсть къ утренней работѣ: функция утренней работы, но культура книги, но культъ книжной собственности, но страсть къ солнцу и отвращеніе къ лишнимъ одеждамъ, (Luftbad, Sonnenbad!), но — его пѣшеходчество и, мы на порогѣ большихъ вещей — его одиночество: восемь мѣсяцевъ въ году одинъ въ Коктебелѣ со своимъ ревушимъ моремъ и собственными мыслями — но дѣйственная страсть къ природѣ, внѣ которой физически задыхался, равенство усидчивости за рабочимъ столомъ (своего Аввакума, по его выраженію, переплавилъ семь разъ) и устойчивости на горныхъ подъемахъ. — Максъ не жилъ на большой дорогѣ, какъ русскіе, онъ не былъ ни бродягой, ни, въ народномъ смыслѣ, странникомъ, ни променѣромъ, онъ былъ именно Wanderer, тѣмъ, кто выходитъ съ опредѣленною цѣлью: взять такую-то гору, и къ концу дня, или лѣта, очищенный и обогащенный, домой — возвращается. Но — прочность его дружбъ, безъ сносу, срокъ его дружбъ, безсрочныхъ, его глубочайшая человѣческая вѣрность, тщательность изученія души другого, были явно германскія. Другъ онъ былъ изъ Страны Друзей, т. е. Германіи. Для ясности:

при явно французской общительности — явно германскій модусъ общенія, при французской количественности — германская качественность дружбы, сразу какъ бургундецъ, но разъ навсегда какъ германецъ. Здѣсь дѣйствительно умѣстно помянуть достовѣрную и легендарную deutsche Treue, вѣрность, къ которой ни одинъ народъ, кромѣ германскаго, не можетъ приготовить присвоительнаго прилагательнаго.

Это о жизни бытовой и съ людьми, самой явной. Но важнѣе и неизслѣдимѣ жизни съ людьми жизнь человѣка безъ людей — съ міромъ, съ собой, съ Богомъ, жизнь внутри. Тутъ я смѣло утверждаю германство Макса. Глубочайшій его пантеизмъ: всебожественность, всебожіе, всюдубожіе, шедшій отъ него лучами съ такой силой, что самого его, а по сосѣдству и насъ съ нимъ, включалъ въ сонмъ — хотя бы младшихъ боговъ — глубочайшій, рожденнѣйшій его пантеизмъ былъ явно германскимъ, — прагерманскимъ и гетеянскимъ. Максъ, зналъ или не зналъ объ этомъ, былъ гетеянцемъ, и здѣсь, я думаю, мостъ къ его штейнеріанству, самой тайной его области, о которой ничего не знаю, кромѣ того, что она въ немъ была, и была сильнѣе всего.

Это былъ — скрытый мистикъ, т. е. истый мистикъ, тайный ученикъ тайнаго ученія о тайномъ. Мистикъ — мало скрытый — зарытый. Никогда ни одного слова черезъ порогъ его столь щедрыхъ, отъ избытка сердца глаголющихъ устъ. Изъ этого заключаю, что онъ былъ посвященный. Эта его сущность, дѣйствительно, зарыта вмѣстѣ съ нимъ. И можетъ-быть, когда-нибудь, тамъ, на котельской горѣ, гдѣ онъ лежитъ, еще окажется — неизвѣстно кѣмъ положенная — мантія розенкрейцеровъ.

Знаю, что германства я его не доказала, но знаю и почему. Германствомъ въ немъ были родникъ его крови и родникъ его мистики, родники скрытые изъ скрытыхъ и тайные изъ тайныхъ.

Французъ культурой, русскій душой и словомъ, германецъ — духомъ и кровью.

Такъ, думаю, никто не будетъ обиженъ.

---

Въ другой свой домъ, Россію, Максъ явно вернуся. Этотъ французскій, нерусскій поэтъ начала — сталъ и

останется русскимъ поэтомъ. Этимъ мы обязаны русской революціи.

«Думали, нищѣ мы, нѣту у насъ ничего...»

---

Дѣйствіе нашей встрѣчи длилось: 1911 г. — 1917 г. — шесть лѣтъ.

1917 годъ. Только-что отгремѣвшій московскій Октябрь. Коктебель. Вздохмаченныя сѣдины моря. Максъ, Пра, я и двое, вчерашняго выпуска, офицеровъ, только-что живыми выпущенныхъ большевиками изъ московскаго Александровскаго училища, гдѣ отбивались до послѣдняго часа. Одинъ изъ нихъ тотъ Сережа, который съ такимъ рвеніемъ въ ту новогоднюю ночь заливалъ пожаръ дырявымъ ведромъ.

Вотъ живыя записи тѣхъ дней:

Москва, 4 ноября 1917 г.

Вечеромъ того же дня уѣзжаемъ: С., его другъ Гольцевъ и я, въ Крымъ. Гольцевъ успѣваетъ получить въ Кремлѣ свое офицерское жалованье (200 р.). Не забыть этого жеста большевиковъ.

---

Пріѣздъ въ бѣшеную снѣговую бурю въ Коктебель. Съдое море. Огромная, почти физически жгушая радость Макса В. при видѣ живого Сережи. Огромные бѣлые хлѣба.

---

Видѣніе Макса на приступочкѣ башни, съ Тьеромъ на колѣняхъ, жарящаго лукъ. И, пока лукъ жарится, чтеніе вслухъ, С. и мнѣ, завтрашнихъ и послѣзавтрашнихъ судьбъ Россіи.

— А теперь, Сережа, будетъ то-то...

И вкрадчиво, почти радуясь, какъ добрый колдунъ дѣтми, картину за картиной — всю русскую революцію на пять лѣтъ впередъ: терроръ, гражданская война, разстрѣлы, заставы, Вандей, озвѣреніе, потеря лица, раскрѣпленные духи стихій, кровь, кровь...

---

25 ноября 1917 г. я выѣхала въ Москву за дѣтьми, съ которыми должна была тотчасъ же вернуться въ Кокте-



бель, гдѣ рѣшила — жить или умереть, тамъ видно будетъ, но съ Максомъ и Пра, вблизи отъ Серези, который на дняхъ долженъ былъ изъ Коктебеля выѣхать на Донъ.

Адамъ. Рыдванъ. Тѣ самые кони. Обнимаемся съ Пра.

— Только вы торопитесь, Марина, тотчасъ же поѣзжайте, бросайте все, что тамъ вещи, только тетради и дѣтей, будемъ съ вами зимовать...

— Марина! — Максина нога на подножкѣ рыдвана — только очень торопись, помни, что теперь будетъ двѣ страны: Сѣверъ и Югъ.

Это были его послѣднія слова. Ни Макса, ни Пра я уже больше не видала.

Въ ноябрѣ 1920 г., тотчасъ же послѣ разгрома Крыма, я получила письмо отъ Макса, первое за три года, и первое, что прочла — была смерть Пра. Возстанавливаю по памяти.

— «Такого-то числа умерла отъ эмфиземы легкихъ мама. Она за послѣдній годъ очень постарѣла, но бодрилась и даже иногда по прежнему напѣвала свой венгерскій маршъ. Главной ея радостью всѣ эти послѣдніе годы былъ Сереза, въ которомъ она нашла (подчеркнуто) настоящаго сына — воина. Очень обрадовало ее и Алино письмо, ходила и всѣмъ хвастала — ты вѣдь знаешь, какъ она любила хвастать: «Ну и крестница! всѣмъ крестницамъ крестница! ты, Максъ — поэтъ, а такого письма не напишешь!»

Описание феодосійскаго и коктебельскаго голода, труповъ, поѣдаемыхъ не собаками, а людьми, и дальше, о Пра: «Послѣдніе мѣсяцы своей жизни она ѣла орловъ, которыхъ старуха Антонида — ты навѣрное ее помнишь — ловила для нея на Карадагѣ, накрывъ юбкой. Послѣднее, что она ѣла, была орлятина» и, дальше: «О Серезѣ не тревожься. Я знаю, что онъ живъ и будетъ живъ, какъ зналъ это съ первой минуты всѣ эти годы».

11 августа 1932 г. я въ лавченкѣ всякаго барахла возлѣ кламарскаго лѣса, вижу пять томовъ Жозефа Бальзамо. Восемь франковъ, всѣ пять въ переплетѣ. Но у меня только два франка, на которые покупаю Жанну д'Аркъ англичанина Андрию Ланга — кстати (и естественно) луч-

шую книгу о Жаниѣ д'Аркъ. И подь бой полдня съ мэри, иду домой, раздираясь между чувствомъ предательства — не вызволила Бальзамо, т. е. Макса, т. е. собственной молодости — и радости: вызволила изъ хлама Жанну д'Аркъ.

Вечеромъ того же дня, въ гостяхъ у А. И. Андреевой, я о большевикахъ и писателяхъ:

— Волошинъ, напимѣрь, вѣдь съ ихъ точки зрѣнія — явный контрь-революционеръ, а дали ему пенсію, 240 рублей въ мѣсяць, и, убѣждена, безъ всякой его просьбы.

А. И.: — Но развѣ Волошинъ не умеръ?

Я, въ какомъ-то ужасѣ: — Какъ умеръ? Живъ и здоровъ, слава Богу! У него былъ припадокъ астмы, но потомъ онъ совсѣмъ поправился, я отлично знаю.

16 августа читаю въ «Правдѣ»:

11 августа, въ 12 часовъ пополудни скончался въ Коктебелѣ поэтъ Максимилианъ Волошинъ, — т. е. какъ разъ въ тотъ часъ, когда я въ кламарской лавченкѣ торговала Бальзамо.

А вотъ строки изъ письма моей сестры Аси: «Макса похоронили на горѣ Янычары, высоко — какъ разъ надъ ней встаетъ солнце. Это продолженіе горы Хамелеонъ, которая падаетъ въ море, лѣвый край бухты. Такъ онъ хотѣлъ, и это исполнили. Онъ получалъ пенсію и былъ окруженъ заботой. Такъ профилемъ въ море по одинъ бокъ, и могилой по другой, — Максъ обнялъ свой Коктебель».

А вотъ строки изъ письма, полученнаго о. Сергіемъ Булгаковымъ: «Мѣсяца за полтора былъ сильный припадокъ астмы, такой тяжелый, что послѣ него ждали второго и на благополучный исходъ не надѣялись. Страдалъ сильно, но поражалъ кротостію. Завѣщалъ похоронить его на самомъ высокомъ мѣстѣ. Самое высокое мѣсто тамъ — такъ называемая Святая гора (моя скобка: тамъ похороненъ татарскій святой), — на которую подъемъ очень труденъ и въ одномъ мѣстѣ исключительно труденъ».

А вотъ еще строки изъ письма Екатерины Алексѣевны Бальмонтъ (Москва):

...«Зимой ему было очень плохо, онъ страшно задыхался. Къ веснѣ стало еще хуже. Припадки астмы учащались. Лѣтомъ рѣшили его везти въ Эссентуки. Но у него сдѣлался гриппъ, осложненный эмфиземой легкихъ, отъ чего

онъ и умеръ въ большихъ страданіяхъ. Онъ былъ очень кротокъ и терпѣливъ, зналъ, что умираетъ. Очень мужественно ждалъ конца. Вокругъ него было много друзей, всѣ по очереди дежурили при немъ и всѣ удивлялись ему. Лицо его черезъ день стало замѣчательно красиво и торжественно. Я себѣ это очень хорошо представляю. Похоронили его по его желанію въ скаль, которая очертаніемъ такъ напоминала голову Макса въ профиль. Видъ оттуда изумительной красоты на море.

Его домъ и бібліотека имъ уже давно были отданы Союзу Писателей. Оставшіяся бумаги и рукописи разбираютъ его друзья».

Ася пишетъ Янычары, по другимъ источникамъ — на Святой горѣ, по третьимъ въ скальѣ «собственного профиля»... Вотъ уже начало мѣсяца и, въ концѣ концовъ, Максъ окажется похороненнымъ на всѣхъ горахъ своего родного Коктебеля. Какъ бы онъ этому радовался!

---

Макса Волошина въ Революцію дамъ двумя словами: онъ спасалъ красныхъ отъ бѣлыхъ и бѣлыхъ отъ красныхъ, вѣрнѣе краснаго отъ бѣлыхъ и бѣлаго отъ красныхъ, т. е. челоуѣка отъ своры, одного отъ всѣхъ, побѣжденнаго отъ побѣдителей. Знаю еще, что его стихи «Матросъ» ходили въ правительственныхъ листовкахъ на обоихъ фронтахъ, изъ чего выводъ, что матросъ его былъ не красный матросъ, и не бѣлый матросъ, а морской матросъ, черноморскій матросъ.

И какъ матросъ его — настоящій матросъ, такъ поэтъ онъ — настоящій поэтъ, и челоуѣкъ — настоящій челоуѣкъ, по всѣмъ счетамъ, т. е. по единственному счету внутренней необходимости — платившій. За любовь къ одиночеству — платившійся восемью мѣсяцами въ годъ одиночества абсолютнаго, а съ 17-го года и всѣми двѣнадцатю, за любовь къ совмѣстности — неослабностью внутренняго общенія, за любовь къ стихамъ — слушаніемъ ихъ, часами и томами, за любовь къ душамъ — не двухъ-часовыми, а двадцати- и тридцати-лѣтними бесѣдами, кончавшимися только со смертью собесѣдника, а можетъ быть не кончившимися вовсе? За любовь къ друзьямъ — дѣломъ, т. е. всѣмъ собой, за любовь къ врагамъ — тѣмъ же.

Этого человѣка чудесно хватило на все, все самое обратное, все взаимно-исключающееся, какъ: отшельничество — общеніе, радость жизни — подвижничество. Скажу образно: онъ былъ тотъ самый святой, къ которому на скалу, которая была имъ же, прибѣгалъ полѣчить лапу большой кентавръ, который былъ имъ же, подъ солнцемъ, которое было имъ же.

На одно только его не хватило, вѣрнѣе одно только его не захватило: партійность, вещь завѣдомо не человѣческая, не животная и не божественная, уничтожающая въ человѣкѣ и человѣка, и животное, и божество.

Не политическія убѣжденія, а міроубѣжденность, не міровоззрѣніе, а міротворчество. Миотворчество — міротворчество и, въ послѣдніе годы своей жизни и лиры, міротворчество — твореніе міра заново.

Бытовой фактъ его пенсіи въ 240 рублей, пенсіи враговъ, какъ бы казалось, врагу — вовсе не бытовой и вовсе не фактъ, а духовный актъ побѣды надъ самой идеей вражды, самой идеей зла.

Такъ, окольными путями мистики, мудрости, дара, и прямымъ воздѣйствіемъ примѣра, Максъ, котораго какъ-то странно называть христіаниномъ, настолько онъ былъ все, еще все, заставилъ тѣхъ, которые его мнили своимъ врагомъ, не только простить врагу, но почитать врага.

Поэтому всѣ, безъ различія партій, которыхъ онъ не различалъ, преклонились передъ тѣмъ очагомъ Добра, который есть его далекая горная могила, а затѣмъ, сведя затылокъ съ лопатками, нахмурившись и все же улыбнувшись, взглянемъ на его любимое полдневное солнце — и вспомнимъ его.

### ПОСЛѢДНЕЕ ВИДѢНІЕ.

И ризу ветхую свою  
Сушу на солнцѣ подъ скалою.

«...Встрѣтившись съ остальными подъ скалой, мы заговорились, и незамѣтно забрели въ восточную часть бухты. Знакомая, давно примелькавшаяся фигура старика въ длинной толстовкѣ, съ длинной широкой и бѣлой бородой, въ широкихъ простыхъ брюкахъ, въ развалившихся допотопныхъ туфляхъ, вышелъ навстрѣчу намъ изъ-за поворота дороги, осторожно ощупывая дорогу палкой.

— Это что за мухоморъ такой? — спросилъ я шедшаго съ нами журналиста И. Грознаго.

Мнѣ никто не отвѣтилъ, но «Клара Цеткинъ» (особа блудная и неразборчивая, охотно принимавшая участіе во всѣхъ засѣданіяхъ Ц. К., что буквально означаетъ «цѣлую крѣпко») уже тархтѣла, обращаясь къ старику:

— А, премудрый старецъ Волошинъ, наше вамъ пролетарское, сколько лѣтъ, сколько зимъ!

Грозный цыкнулъ на нее и оттолкнулъ, а самъ, склонившись надъ ухомъ старика, почтительно отрекомендовался:

— Здравствуйте, Максимилианъ Максимилиановичъ! Это я, Грозный.

Старикъ прищурился, сложилъ руку трубочкой у уха и остановился, держа въ другой рукѣ корзинку съ ...каменьями.

Журналистъ, замѣтя мое недоумѣніе, раздраженно шепнулъ:

— Вы не знаете Волошина? Когда-то гремѣлъ на всю Россію, поэтъ...

— Нѣтъ, не слыхалъ. Что это они морочатъ мнѣ голову, что ли? Но старикъ тѣмъ временемъ продолжалъ:

— Литературой сейчасъ не занимаюсь. Не печатаютъ. Говорять, выжилъ изъ ума. Рисованіемъ занимаюсь, иногда курортники что-нибудь купятъ, тѣмъ и живу. Да вотъ камешки собираемъ.

Вас. Вас. зѣвнулъ съ хрустомъ въ челюстяхъ и сказалъ: — Пофхали! Что съ нимъ разговаривать...

(Перепеч. изъ «Посл. Нов.». Москвинъ: «Хожденіе по ВУЗ'амъ»).

Милый Максъ, тебѣ было только пятьдесятъ семь лѣтъ, ты же данъ старцемъ, ты былъ Александровичъ, тебя дали Максимилиановичемъ, ты былъ чутокъ какъ лисъ — тебя дали глухаремъ, ты былъ зорокъ какъ рысь — тебя дали слѣпцомъ, ты былъ Максъ — тебя дали Кузьмичемъ, ты — вчитайся внимательно! — ничего не говорилъ, тебя заставили «продолжать», ты до послѣдняго вздоха давалъ — тебя заставили «продавать»... Не останови авторъ руки, ты бы вотъ-вотъ, наставивъ ухо щиткомъ, сказалъ бы: — Ась?

И все-таки ты похожъ. Величіемъ.

Говорилъ или не говорилъ ты приписываемыхъ тебѣ словъ, такъ ли говорилъ то, что говорилъ, или иначе, смѣялся ли въ послѣдній разъ надъ глупостью, вживаясь въ роль выжившаго изъ ума старика, или просто отмахивался отъ назойливыхъ вторженцевъ («э! да что съ ними говорить»...)

— рой вихревыхъ видѣній: Мельникъ — Юродивый — Морской Дѣдъ — Лиръ — Нерей —

— мистификація или самооборона, послѣдняя игра или въ послѣдній разъ миеотворчество —

Скала. Изъ-за скалы — одинъ. На этого одного — всё. Межъ трехъ пустынь: морской, земной, небесной — твое послѣднее передъ нами, за насъ предстояніе, съ посохомъ странника въ одной, съ уловомъ радужной игры въ другой, съ посохомъ, чтобы насъ миновать, съ радугой, чтобы насъ одарить. И послѣднее мое о тебѣ, отъ тебя, озареніе: тѣ сердолики, которые ты такъ тщательно изъ груди простыхъ камней, десятилѣтями подъ рядъ, вылавливалъ, — каждый зная въ лицо и каждый любя больше всѣхъ — Максъ, развѣ не то ты, десятилѣтія подъ рядъ, дѣлалъ съ нами, изъ каждой груди — сврой груди простыхъ камней — неизбѣжно извлекая тотъ, которому цѣны нѣтъ! И послѣднее о тебѣ откровеніе: ликъ твоего сердца: сердоликъ!

Та орава, которая на тебя тогда наскочила, тебѣ послужила, ибо нашелся въ ней одинъ грамотѣй, который, записавъ тебя какъ могъ, неизбѣжно сдѣлался твоимъ рапсодомъ.

Сѣдобородый и сѣдогривый какъ море, съ корзиной въ рукахъ, въ широкихъ штанахъ, которые такъ легко могли быть, да и были хламидой — полдень, посохъ, песокъ — Максъ, это могло быть — тогда, было — всегда, будетъ — всегда.

Такъ ты, рукой безвѣстнаго бытописца, еще до воссоединенія своего со стихіями, заживо взять въ миеъ.

**Марина Цвѣтаева.**

## Изъ прошлаго

### ОСВОБОДИТЕЛЬНОЕ ДВИЖЕНИЕ.

#### Глава XXIV \*).

Земскія учрежденія, созданныя Самодержавіемъ, были зародышемъ и школой конституціоннаго строя. Они были построены на идеѣ народоправства и естественное развитіе ихъ вело къ конституціи. Самыя формы ихъ дѣятельности — коллегіальность, публичность, отвѣтственность исполнительныхъ органовъ—сближали земства съ парламентомъ. Они казались прототипомъ Государственной Думы, какъ земскіе дѣятели предтечами будущихъ депутатовъ.

Земская работа накладывала особенный отпечатокъ. Земцы практически вѣдали цѣлыми отраслями государственной жизни; на опытѣ узнавали трудности народоправства. Они были не теоретиками, которые задумали Европу «догнать и перегнать» и ввести въ Россію европейскіе институты народовластія; конституціонный строй въ Россіи былъ для нихъ не предметомъ теоретическихъ желаній, а простымъ завершеніемъ русской дѣйствительности.

«Освободительное движеніе» выдвинуло земцевъ на авансцену. Земства были единственнымъ легальнымъ органомъ народовластія. Первые, на ноябрьскомъ съѣздѣ своемъ, земцы предложили практическую программу либеральныхъ реформъ и указали на необходимость «народнаго представительства». Но представительства они ждали отъ той же исторической власти, которая создала ихъ самихъ, а не отъ Революции и ея органа «Учредительнаго Собранія».

«Освободительное Движеніе» пошло иными дорогами.

---

\*) См. «Совр. Зап.» № 51.

«Союзъ Освобожденія» выставилъ платформу полного народоуправства, Учредительнаго Собранія по 4-хвосткѣ. У него не было органовъ, чтобы заявлять въ Россіи подобныя пожеланія. Но воспользовавшись «весной» Святополкъ-Мирскаго, той относительной свободой, которая была тогда предоставлена, онъ организовалъ шумную банкетную кампанію съ рѣчами и резолюціями. Это сдѣлалось суррогатомъ широкаго общественнаго мнѣнія.

Такая форма кампаніи могла показаться смѣшной. Организаторы шуточно называли себя «кулинарной комиссіей». Но смѣяться не приходилось. Что подумали бы теперь въ эмиграціи, если бы узнали, что на банкетахъ въ Россіи произносятся рѣчи на тему «долой совѣтскую власть» и «да здравствуетъ Учредительное Собраніе»? Всѣ бы поняли, что большевизмъ побѣжденъ, если такую кампанію допускаетъ. Кампанія была бы и средствомъ борьбы, организаціей настроеній и силъ. То же было и при Самодержавіи. Основные условія диктатуръ одинаковы. Ихъ подрываетъ выраженіе свободнаго мнѣнія; банкетная кампанія 1905 года была не только знаменательна, но и полезна; она и готовила и предвѣщала конецъ.

Отношеніе къ ней земцевъ было неодинаково. Одни ее осуждали: она мѣшала эволюціи Самодержавія. Другіе въ ней принимали участіе. Но она оставалась частнымъ дѣломъ участниковъ. Всего земства, какъ такового, она не касалась.

Послѣ Указа 18 февраля «союзное движеніе», организація «Союза Союзовъ» дали лозунгамъ полного народовластія распространеніе и популярность, которыхъ имъ не могло дать «банкетное» краснорѣчіе. Земскимъ людямъ, сила которыхъ была въ общественномъ мнѣніи, было трудно противъ него выступать. Они стали кромѣ того и сами заражаться настроеніемъ Союза Союзовъ, какъ въ нѣкоторыхъ земствахъ гласные подпадали подъ вліяніе третьяго элемента.

Сдвигъ земцевъ влѣво обнаружился на апрѣльскомъ сѣздѣ 905 года. Былъ еще и февральскій, котораго не стоитъ считать. Онъ былъ интересенъ лишь тѣмъ, что былъ созванъ на началахъ правильнаго представительства по губерніямъ. Но новый способъ избранія въ немъ ничего не измѣнилъ. Представительство въ Сѣздѣ не было основано на законѣ; не всѣ захотѣли принять участіе въ частныхъ выборахъ; потому составъ сѣзда остался



тѣмъ же, что былъ. Онъ подтвердилъ ноябрьскія постановленія, но дальше не шель. Но въ апрѣлѣ сама жизнь поставила передъ Сѣздомъ новыя проблемы. Въ ноябрѣ было достаточно потребовать «конституціи»; въ апрѣлѣ этого было ужъ мало. Понятіе конституціи надо было теперь конкретизировать; надо было занять позицію по вопросу о составѣ и правахъ народнаго представительства, объ его отношеніи къ Верховной власти Монарха. Нужно было сказать, отъ кого земцы ждутъ конституціи: отъ исторической власти, или отъ Революціи? Въ ноябрѣ 1904 г. на первомъ сѣздѣ въ этомъ вопросѣ побѣдило умѣренное направленіе. Учредительное Собраніе было отвергнуто. Въ апрѣлѣ оказались сильнѣе болѣе лѣвыя настроенія. Въ № 69-70 Освобожденія П. Струве писалъ: «Въ русскомъ освободительномъ движеніи... два основныхъ теченія: носителемъ одного является организованное въ земствѣ общественное мнѣніе, носителемъ другого — вся многообразная демократическая интеллигенція. Значеніе земской оппозиціи въ томъ, что она... выражаетъ общенародныя нужды, прошедшія сквозь горнило... русской демократической интеллигенціи»...

Такова была новая роль, которую на апрѣльскомъ сѣздѣ заняли земцы. Они отрекались отъ самостоятельнаго положенія въ государствѣ, на которое имъ давало право ихъ прошлое, и предпочли стать простыми глашатаями «интеллигенціи».

Неудивительно, что новый курсъ этого Сѣзда вызвалъ расколъ; меньшинство по русской привычкѣ уходитъ, а не борется, изъ состава сѣздовъ ушло. Неважно, изъ-за какого предложенія они разошлись; министерства падаютъ на «апельсиной коркѣ». Расколъ былъ серьезень по существу. Въ земствѣ оказалось два направленія. Меньшинство осталось при традиціяхъ шестидесятыхъ годовъ, когда Верховная власть брала на себя инициативу реформъ. Оно и теперь хотѣло того же, а не сверженія власти; оно не вѣрило въ достаточноую подготовленность народа къ управленію государствомъ. Желая соглашенія съ властью, меньшинство должно было ей уступать. Нѣкоторые изъ меньшинства мирились даже съ Самодержавіемъ, хотя и желали около него представительства. Этимъ объясняется позиція нашихъ славянофиловъ: Шипова, Стаховича и Хомякова, которые до самаго 17 октября конституціи не хотѣли; а послѣ стали «конститу-

ціоналистами по высочайшему повелѣнію», какъ острить Хомяковъ. Я не знаю, выступали ли они раньше противниками конституціи только, чтобы не разрывать съ Самодержавіемъ и перестали притворяться, когда эта уступка стала больше ненужной? Или, вѣря по-прежнему въ преимушества идеальнаго Самодержавія, сдѣлались честными галліеа потому, что Самодержавіе отъ себя отказалось, а новаго законнаго порядка они колебать не хотѣли? Какъ бы то ни было конституціоналисты и славянофилы меньшинства хотѣли остаться лояльными въ отношеніи къ власти, помогать ей провести преобразованія, о которыхъ она возвѣстила и этимъ завершить эпоху реформъ шестидесятыхъ годовъ.

Противъ нихъ стояло большинство, которое хотѣло тѣхъ же реформъ, но ихъ отъ Самодержавія уже не ждало. Въ Самодержавіе оно больше не вѣрило; съ нимъ оно было въ открытой войнѣ и противъ него было радо в сѣкимъ союзникамъ. Большинство не заботилось, чтобы его желанія были для власти пріемлемы; зато, боясь разстроить общій фронтъ противъ Самодержавія, оно шло на уступки, чтобы всѣ враги Самодержавія могли на этомъ общемъ фронтѣ стоять. Хотѣли ли они Революціи? Если и нѣтъ, то она ихъ не пугала. Въ ней они все-таки видѣли способъ установить въ Россіи «свободу и право». Меньшинство, желая соглашенія съ властью, принуждено было ей уступать; а большинство, поддерживая общій фронтъ съ Революціею, должно было уступать Революціи, идти дальше, чѣмъ оно можетъ быть само хотѣло. Между этими двумя направленіями обнаружилась пропасть, при которой становилось трудно дѣлать общее дѣло.

Помню тогдашніе разговоры о событіи дня, о земскомъ расколѣ. О немъ мало жалѣли. Съ меньшинствомъ уходили съ политической сцены сторонники совѣщательныхъ правъ представительства, которыхъ Освобожденіе давно отнесло въ лагерь реакціи. Несмотря на это личный авторитетъ многихъ изъ нихъ, какъ напримѣръ Шипова, въ земской средѣ былъ такъ великъ, что его нельзя было убить одной этой кличкой. Вожди большинства могли поэтому радоваться, что меньшинство уходитъ само и не будетъ нмѣшать свой курсъ на демократическую интеллигенцію. Помню и сожалѣнія. Боялись, что расколъ земства усилитъ Самодержавіе; другіе жалѣли, что

меньшинство обрекаетъ себя на безсиліе и принуждено будетъ искать поддержки направо. Мало кто предвидѣлъ, что отходъ меньшинства нанесетъ громадный вредъ самому земству въ моментъ, когда его авторитетъ будетъ нужнѣе всего, т. е. когда война съ Самодержавіемъ смѣнитъ задачей конституціоннаго устройства Россіи.

Разномысліе, которое тогда раздѣляло два направленія земства, обнаружилось съ полною ясностью, когда они въ послѣдній разъ сошлись на такъ называемомъ «коалиціонномъ» сѣздѣ въ маѣ 905 г.

Любопытно, какъ возникъ этотъ сѣздъ. Я былъ случайнымъ свидѣтелемъ этого.

Я въ то время былъ такъ далекъ отъ міра профессиональныхъ политиковъ, что на одни свои наблюденія положиться не могъ бы. Но посвященные люди тогда говорили съ усмѣшкой, что настоящимъ инициаторомъ этого сѣзда былъ Н. Н. Баженовъ; это подтверждалось и тѣмъ, что онъ былъ тогда кооптированъ въ бюро земскихъ сѣздовъ. Это неудивительно; только такъ о й человекъ, какъ онъ, могъ рѣшиться выдумать такой сѣздъ. Баженовъ былъ любопытной и типичной фигурой московскаго общества 90-хъ и девятисотыхъ годовъ. Харьковецъ по рожденію, онъ былъ москвичемъ по воспитанію, службѣ и всему своему облику. Очаровательный человекъ и, какъ всѣ очаровательные люди, исполненный противорѣчій. По профессіи докторъ и, какъ говорили, очень хорошій, психіатръ, ученикъ С. С. Корсакова, главный врачъ громадной Преображенской больницы, онъ вѣчно вертѣлся въ мірѣ художниковъ, артистовъ или писателей. Обладая совершенно исключительнымъ безобразіемъ, надъ которымъ онъ самъ добродушно смѣялся, былъ страстнымъ поклонникомъ женщинъ и имѣлъ среди нихъ громадный успѣхъ. Жадный къ жизни во всѣхъ ея проявленіяхъ, онъ увлекался всякими видами спорта, но, какъ самъ говорилъ, поражалъ во всѣхъ своей бездарностью. Я въ этомъ могъ убѣдиться, побывавъ одинъ разъ вмѣстѣ съ нимъ на охотѣ. Остроумный и интересный собесѣдникъ, человекъ высоко культурный, славный, гостепріимный и веселый товарищъ, онъ былъ вездѣ желаннымъ сотрудникомъ; но никто его въ серьезъ не принималъ, чему онъ наивно и искренно удивлялся. Такъ было съ нимъ и въ политикѣ. Во время выборовъ въ III Государственную Думу онъ рѣшился поставить свою кандидатуру въ Москвѣ. Собравъ

на совѣщаніе видныхъ товарищей-докторовъ, онъ предложилъ имъ ужинъ и вопросъ на обсужденіе: не находятъ ли доктора, что было бы полезно имѣть однимъ изъ депутатовъ Москвы доктора по специальности? Доктора съѣли ужинъ и рѣшили, что это совсѣмъ нежелательно. Баженовъ не унывалъ; послѣ засѣданія городского комитета, который намѣчалъ кандидатовъ и куда онъ поѣхалъ защищать свою кандидатуру, онъ пріѣхалъ ко мнѣ съ недоумѣннымъ вопросомъ: «скажи мнѣ, почему меня въ городскомъ комитетѣ не любятъ? За меня были поданы только двѣ записки, въ томъ числѣ и моя». Всѣ такія огорченія не мѣшали ему ни къ кому не питать ни малѣйшей досады и потому добродушно трунить надъ своей неудачей.

Этотъ Баженовъ послѣ Цусимы счелъ нужнымъ что-нибудь сдѣлать и собралъ у себя на совѣщаніе разнообразныхъ пріятелей; тутъ были и земцы, и посторонніе люди, вродѣ меня. Можетъ быть именно потому, что ни съ какимъ направленіемъ Баженовъ тѣсно связанъ не былъ и ни въ какомъ не имѣлъ принципиальныхъ враговъ, онъ не представлялъ себѣ трудности коалиціоннаго съѣзда. Но эта его идея имѣла успѣхъ. Послѣ Цусимы стало ясно, что война нами проиграна. Флотъ былъ послѣднею ставкою. Ясно стало также, что продолженіе войны нашей прежней власти уже не по силамъ. Попытки ея упорствовать въ веденіи войны могли привести къ Революціи. А такъ какъ панацеей всѣхъ бѣдъ считалось тогда «представительство», то наступилъ моментъ, когда это должно было сказать съ ясностью. На собраніи у Баженова было рѣшено собрать вновь земскій съѣздъ, и отъ имени в сѣй земской Россіи поставить Государя лицомъ къ лицу съ той отвѣтственностью, которую онъ бралъ на себя. Помню на этомъ собраніи рѣчь Н. Н. Львова, по его привычкѣ не столько рѣчь, сколько монологъ, въ которомъ онъ доказывалъ, что подобное заявленіе въ этотъ моментъ прямой долгъ русскаго земства.

Съѣздъ состоялся. Бюро земскихъ съѣздовъ взяло на себя инициативу его и пригласило Шипова и его земскую группу. Обѣ стороны шли на съѣздъ безъ энтузіазма, съ сознаніемъ долга сдѣлать эту попытку. Это настроеніе отразилось на съѣздѣ. Онъ собрался въ концѣ мая. Прошло шесть мѣсяцевъ со времени перваго съѣзда, но картина перемѣнилась. Тогда земцы разошлись по капитальному вопросу о конституціи, и это все-таки имъ не помѣшало вы-

работать совмѣстную программу реформъ, совмѣстно ее подписать и согласиться въ дальнѣйшемъ вмѣстѣ работать. Сейчасъ же въ трагическую минуту Россіи имъ вмѣстѣ уже нечего было дѣлать. Это говорилось на сѣздѣ. «Если мы вздумаемъ разсуждать о внутренней политикѣ, говорилъ Петрункевичъ, мы тотчасъ расколемся; поэтому лучше не начинать». Ему вторили изъ противоположнаго лагеря. А между тѣмъ всѣ острые вопросы (конституція или совѣщательное представительство, четырехвостка или цензовые выборы, Учредительное Собраніе или октроированная конституція) были внѣ обсуждения. Единственнымъ пунктомъ, которымъ сѣздъ занимался, было утвержденіе, что продолжать войну силами одного бюрократическаго Самодержавія больше нельзя. Въ этомъ всѣ были согласны. О чемъ же было спорить страстно и долго и не разъ подходить снова къ разрыву? Пренія обнаружили разницу идеологій, которая раздѣляла всѣхъ на двѣ группы. Демаркаціонная линія проходила не тамъ, гдѣ была прежде. Вопросъ былъ не въ характерѣ «представительства», а только въ одномъ: желаютъ ли земцы совмѣстныхъ дѣйствій съ исторической властью, т. е. реформы сверху, или извѣрившись въ власти они съ Революціей уже примирились и желаютъ довести ее до того напряженія, чтобы власть уступила ей мѣсто?

Это коренное въ земской средѣ разномысліе открылось при обсужденіи адреса. Одни хотѣли еще убѣждать Государя, обращались къ нему. Другіе самое обращеніе къ Государю считали безцѣльнымъ и допускали адресъ только какъ пріемъ агитаціи. Практическія предложенія этихъ другихъ варьировали въ зависимости отъ темперамента. Одни хотѣли немногаго: были бы удовлетворены, если бы въ адресѣ была упомянута угроза, что это послѣднее обращеніе къ Государю. Другіе считали главнымъ не адресъ, а посылку депутаціи, которая его повезетъ. Здѣсь открывалось новое поле для дѣйствій. «Адресъ не имѣетъ значенія», говорилъ Н. Н. Ковалевскій; «надо поддержать его поѣздкой въ Петербургъ всего сѣзда in corpore». Его, конечно, не примутъ. Но это будетъ сенсація. Ораторъ рисовалъ соблазнительную картину разгона: «пусть насъ хоть нагайками разгоняютъ, я не боюсь и нагайки; пусть стрѣляютъ; капли крови, которыя мы прольемъ, будутъ полезнѣе чѣмъ рѣки крови, которыя льются на поляхъ Манджуріи». Третьи настаивали, что на-

до обращаться не къ Государю, а къ народу; выработать національную петицію и покрыть миллионами подписей. Краснорѣчіе, которымъ облакались подобныя предложенія, скрывало ничемность предлагаемыхъ мѣръ. Въ этомъ была слабость земскаго большинства. Угроза поѣздки скопомъ, чтобы вызвать отказъ въ пріемъ, агитація для массовой подписи адреса — какъ революціонное средство — были слабы, не лучше воззванія въ Выборгъ. Но какъ постулки зрѣлой земскою среды, которая претендуетъ на участіе въ управленіи государствомъ, — они противорѣчили цѣли. Можно было бояться, что Съѣздъ расколется на этомъ вопросѣ. Но сила земскихъ традицій, чувство реальности, которое еще сохранялось въ земской средѣ, оказали ситѣнѣ діалектики прямолинейныхъ политиковъ. Земцы не хотѣли себя осрамить и разойтись, не принявъ никакого рѣшенія. Они нашли компромиссъ. И этотъ компромиссъ былъ нормальнымъ. Когда люди хотятъ вмѣстѣ идти, они естественно равняются по слабѣйшему; кавалерія идетъ шагомъ, а не лѣхота бѣжитъ за ней рысью. Въ политической жизни часто бываетъ другое; передовое большинство моральнымъ насиліемъ старается навязать меньшинству свою волю. Земцы поступили иначе. Большинство уступило и пошло по линіи наименьшаго сопротивленія. Адресъ былъ принятъ. Въ угоду большинству онъ былъ рѣзокъ по формѣ; утверждалъ, что «Россія была ввергнута въ войну преступными небреженіями и злоупотребленіями совѣтчиковъ Государя», что спасеніе въ созывѣ народнаго представительства. Но правдивая рѣзкость могла быть оправдана; часъ былъ трагическій. Зато по существу адресъ не провоцировалъ Революціи, не задавалъ цѣлью колебать историческую власть; онъ обѣщаль ей поддержку русскаго земства, т. е. выражалъ идеологію земскаго меньшинства.

То же было и въ вопросѣ о депутаціи. Она выбрана была изъ наиболѣ яркихъ именъ земскаго большинства. Въ ея составѣ былъ не только И. И. Петрункевичъ и Ф. И. Родичевъ, опальные и одіозныя для Государя, но зато громкія земскія имена, но даже Н. Н. Ксвалевскій, гораздо менѣе извѣстный, который на майскомъ съѣздѣ особенно нетерпимо осуждалъ самую мысль объ адресѣ Государю. Единственный выбранный представитель земскаго меньшинства, Д. Н. Шиповъ отъ участія въ депутаціи отказался. Но несмотря на такой составъ, депутація

поѣхала все-таки не для демонстраціи, не для возбужденія населенія, не для постановки Государю ультиматумовъ; ораторомъ ея отъ имени всѣхъ былъ выбранъ кн. С. Н. Трубецкой, который сочеталъ конституціонныя убѣжденія съ лояльностью къ монархіи и Монарху.

Для насъ, которые на многое насмотрѣлись, Петергофскій приемъ депутаціи можетъ показаться фактомъ безцвѣтнымъ, о которомъ смѣшно вспоминать. По тогдашнему времени и нравамъ Россіи онъ былъ событіемъ. Придворный міръ былъ скандализованъ составомъ депутаціи, настаивалъ на исключеніи нѣкоторыхъ ея участниковъ. Но на уступки делегация не пошла. Уступить пришлось Государю, и этимъ онъ показалъ готовность идти на соглашеніе. Зато делегация отвѣтила тѣмъ же. Своимъ пріѣздомъ она не увеличила рва между властью и земскою Россіей. Вступительныя слова Трубецкаго, въ которыхъ отъ имени всѣхъ онъ благодарилъ Государя за то, что онъ не повѣрилъ тѣмъ, кто изображалъ ихъ крамольниками, отмежевывали земцевъ отъ революціонной идеологіи; Трубецкой продолжилъ грань между лояльною земскою средою, опорой для будущей власти, и волновавшимся Ахеронтомъ. Это была правильная и умная постановка вопроса. Ее оцѣнилъ Государь, и депутація произвела на него впечатлѣніе. Государь не любилъ длинныхъ рѣчей. Трубецкой умышленно «рѣчи» не приготовилъ. Онъ рассказывалъ, что слѣдилъ за выраженіемъ Государя и каждую минуту готовъ былъ рѣчь сократить. Но онъ видѣлъ, что его слова даромъ не пропадаютъ, что Государь слушаетъ очень внимательно и потому сказалъ все, что хотѣлъ. Это свои плоды принесло. Государь, авторъ злополучныхъ словъ о «безмысленныхъ мечтаніяхъ», въ отвѣтъ торжественно обѣщавъ созвать народное представительство, просилъ земцевъ «отбросить всякія въ этомъ сомнѣнія», увѣрилъ ихъ, что «самъ за этимъ дѣломъ слѣдитъ» и, что они, земцы, «отнынѣ ему въ этомъ помощники».

Петергофское свиданіе, такъ удачно прошедшее, могло стать переломнымъ пунктомъ въ отношеніяхъ Государя и земства. Оно могло разсѣять взаимныя опасенія. Историческая власть и общественность въ лицѣ самыхъ видныхъ ея представителей нашли почву для совмѣстной работы. Общественность отмежевалась отъ стихійнаго Ахеронта и готова была помогать Государю въ мирномъ преобразованіи Государства. Государь отрекся отъ прежнихъ оши-

бокъ и вступилъ на путь преобразованій. Свиданіе казалось и символически и практически важнымъ.

Но такимъ оно не оказалось. Рознь между двумя сторонами осталась какъ раньше. Соглашеніе вышло призрачнымъ и неискреннимъ по винѣ обѣихъ сторонъ. Такъ называемое «окруженіе» Государя приняло мѣры, чтобы не допустить дальнѣйшихъ уступокъ; оно указывало, что поощрять земцевъ опасно, что это приведетъ къ забвенію тѣхъ завѣтовъ, которые и т. д. Государь былъ склоненъ слушать свое «окруженіе»; онъ въ душѣ его взглядамъ сочувствовалъ. Безполезно это ему ставить въ вину; онъ былъ такимъ, какимъ его создали традиціи нашей династіи и придворнаго міра. Въмѣсто упрековъ ему было полезнѣе съ этимъ считаться и вліянія этихъ традицій и привычекъ въ немъ не усиливать.

Старый режимъ ухитрился принять на себя весь одіумъ за крушеніе примиренія. Депутація была принята 15 іюня; 6 іюля созванъ былъ земскій Съѣздъ. Петергофская встрѣча могла дать новое направленіе земской работѣ въ соотвѣтствіи съ сказанными Государемъ словами. Во всякомъ случаѣ Съѣздъ былъ естествененъ послѣ встрѣчи Государя съ общественностью и обращенныхъ имъ къ депутаціи словъ. И несмотря на это, съѣздъ оказался запрещеннымъ администраціей. Мало того, его официально предупредили, что въ случаѣ неподчиненія онъ будетъ разогнанъ.

Живо помню обстановку этого съѣзда. Отношеніе къ нему администраціи вызывающе противорѣчило тому, что недавно говорилъ Государь. Молча подчиниться запрету съѣздъ не хотѣлъ и не могъ. Земцы рѣшили послушаться, собрались и ждали полиціи. Но и полиціи не являлась; она ждала открытія засѣданія, чтобы придти, когда будетъ *corpus delicti*. Была лѣтняя жара; въ домѣ кн. Долгорукова прекрасный садъ; въ ожиданіи прибытія властей земцы гуляли по саду. Въ примѣненіе насилія не вѣрилъ никто; но зато всѣ чувствовали, что «дѣлается исторія». Это былъ тотъ день, когда, какъ я раньше упоминалъ \*), С. А. Муромцевъ констатировалъ съ грустью равнодушное отношеніе широкой публики къ тому, что дѣлаютъ земцы.

Безъ конца пережидать другъ друга становилось смѣшно. Засѣданіе, наконецъ, открылось подъ предсѣдатель-

\*) «Совр. Записки», кн. 48.



ствомъ гр. Гейдена. Тотчасъ явился приставъ Носковъ. Онъ понималъ нелѣпость данного ему порученія. Передъ нимъ были извѣстные почтенные люди, сіялъ генеральскій мундиръ Кузьмина-Караваева; приставъ зналъ о ласковомъ приѣмѣ этихъ самыхъ людей Государемъ. Къ тому же власть не рѣшалась идти до конца. Если бы Носковъ имѣлъ полномочія разогнать силой сѣздъ, это могло быть исполнено и сдѣлано бы земцевъ смѣшными. Но власть не хотѣла прибѣгать къ такимъ большевистскимъ приемамъ. Она сдѣлала ровно столько, чтобы скомпрометировать позицію «лояльнаго либерализма», сыграть на руку революціонной идеологіи. Все было нелѣпо. Помню сконфуженного Носкова, которому не приходилось еще такъ поступать съ такими людьми, смущеніе гр. Гейдена, котораго до тѣхъ поръ ни откуда силой не выгоняли. По непривычкѣ къ такимъ приемамъ, онъ вступилъ съ Носковымъ въ неудачныя пререканія. Положеніе спасъ П. Д. Долгорукій, который въ качествѣ хозяина дома увелъ пристава въ другія комнаты, для составленія протокола, а засѣданіе продолжалось. Носковъ былъ радъ, что какой-то выходъ былъ все-таки найденъ. Въ довершеніе комизма, былъ еще раньше приготовленъ фотографъ, и сдѣлана вельшка въ моментъ появленія пристава. Онъ потребовалъ отдачи ему негатива. Для этого не было законныхъ основаній, его не послушали. Фотографія этой сенсационной сцены была потомъ напечатана въ извѣстной иллюстрированной книгѣ «Послѣдній Самодержецъ».

Одной этой причины могло быть достаточно, чтобы переменить настроеніе земцевъ; но такое сужденіе было бы ошибочнымъ. Безъ вліянія, конечно, этотъ эпизодъ не остался; но было бы несправедливо искать въ немъ причину дальнѣйшаго. Какъ «окруженіе» Государя негодовало на приѣмъ депутаціи и Государь подъ его моральнымъ давленіемъ сталъ возвращаться къ прежнимъ позиціямъ, такъ «демократическая интеллигенція», съ которой считались земскіе люди, въ свою очередь была недовольна приѣмомъ и не замедлила выпрямить земскій «уклонъ». Эта перемена въ настроеніи земцевъ, которая не могла остаться тайной, вѣроятно въ значительной степени объясняется и нелѣпое распоряженіе администраціи, заподозрѣвшей лояльность предстоящаго сѣзда. Если «широкое общество» было довольно, ибо видѣло въ земскомъ приѣмѣ гарантію того, что представительство б у д е т ъ, то

профессиональные политики возмущались Трубецкимъ за его рѣчь. Помню личныя впечатлѣнія отъ разговоровъ съ С. Н. Трубецкимъ. Онъ охотно рассказывалъ, какъ все происходило, но я чувствовалъ, что онъ какъ будто оправдывается и доволенъ, что я его не осуждаю. И это понятно. Осуждали его со всѣхъ сторонъ. Въ 73 номерѣ «Освобожденія», влияние котораго было въ то время въ своемъ апогеѣ, появилась статья подписанная «старый земець», полная негодованія на Трубецкого. Она горько его упрекала, что онъ «стремился подчеркнуть разстоянiе, которое отдѣляло его отъ Революціи (крамолы)», и забыть, что «крамолѣ онъ былъ обязанъ возможностью говорить передъ царемъ». Эта статья была не одна и выражала общераспространенное убѣжденіе. Оно обнаружилось еще реальнѣе. Почти одновременно съ Земскимъ Съѣздомъ 9-10 іюля собрался въ Москвѣ съѣздъ земцевъ-конституціоналистовъ, т. е. руководящаго ядра земскаго большинства. Это былъ важный и рѣшительный съѣздъ. На немъ было рѣшено начать организацію будущей к.-д. партіи, и самимъ «земцамъ конституціоналистамъ» войти въ организацію «Союза Союзовъ». На этомъ Съѣздѣ присутствовали представители не земской общественности; земцамъ пришлось выслушать отъ этихъ людей много непріятныхъ вещей. Были упреки и за посылку земской депутаціи къ Государю. Любопытны были не столько упреки, сколько то, какъ земцы противъ нихъ защищались. Никто не рѣшился принципиально отстаивать законность «лояльнаго либерализма», ставки на благожелательность власти. Никто не отмѣтилъ своеобразія роли, которую въ ближайшемъ будущемъ придется играть земской средѣ и которую для этого должно сохранить не компрометированной. Земцы-конституціоналисты защищались только тѣмъ, что майскій съѣздъ былъ коалиціонный, и что они должны были съ этимъ считаться. Эта капитуляція предрѣшала дальнѣйшее.

Такое настроеніе нашей общественности имѣло послѣдствіемъ, что бюро земскихъ съѣздовъ задолго до появленія Носкова въ домѣ князей Долгорукихъ подготовило резолюцію, не имѣвшую ничего общаго съ идеологіей «пріема». Онъ явились реакціей «большинства» на сдѣланную имъ на майскомъ съѣздѣ уступку и подчеркнули, что земцы идутъ по другой дорогѣ, чѣмъ та, о которой говорилъ Государю отъ имени всѣхъ князь Трубецкой. Про-

изошелъ новый кренъ влѣво; земцы начали равняться по Союзу Союзовъ.

Главнымъ предложеніемъ бюро, которое какъ бы определяло новую идеологію земцевъ, было предложеніе обратиться «къ народу» съ воззваніемъ. Въ маѣ земцы обращались къ Государю съ просьбой о представительствѣ; посланная ими къ нему депутація принесла благопріятный отвѣтъ; представительство было обѣщано; цѣль майскаго съѣзда казалась достигнута. Не прошло мѣсяца, какъ земцы нашли, что они ничего не получили и рѣшили «обратиться къ народу».

Помню, какъ было принято это демонстративное предложеніе. Помню рѣчь И. И. Петрункевича, участника депутаціи къ Государю; приведя много иллюстрацій того, что власти больше вѣрить нельзя, онъ закончилъ словами: «намъ нѣтъ больше смысла надѣяться на благоразуміе и добросовѣстность власти, надо обращаться не къ ней, а къ народу».

Это было только фразой, но она произвела громадное впечатлѣніе. Рѣчь была покрыта оглушительными аплодисментами; можно было подумать, что Петрункевичъ указалъ новый путь, на которомъ можно было чего-то добиться. Этому впечатлѣнію помогли еще правые. На этотъ съѣздъ, вѣроятно какъ послѣдствіе принятія земской депутаціи Государемъ, впервые явились настоящіе, подлинныя «курскіе» правые. Для них такія рѣчи, какъ Петрункевича, были новы. И они тотчасъ по своему реагировали. Касаткинъ-Ростовскій не придумалъ ничего болѣе умнаго, какъ заявить: «Петрункевичъ зоветъ насъ къ революціи, ему аплодируютъ; до его рѣчи я еще сомнѣвался, гдѣ я, теперь вижу, и ухожу изъ собранія». За нимъ ушли и другіе.

Опасенія Касаткина-Ростовскаго были неумыны, если были и искренны; но не было оснований и для большинства приходиться въ восторгъ отъ предложенія Петрункевича. Въ немъ было не много болѣе конкретнаго содержанія; чѣмъ въ тѣхъ призывахъ «свергать большевиковъ», въ которыхъ нетерпѣливые представители эмиграціи видятъ сейчасъ «активную» дѣятельность.

Если обращаться къ народу, ему надо было сказать, что ему дѣлать. Воззваніе давало якобы практическій совѣтъ: «спокойно и открыто собираться, обсуждать свои нужды и высказывать свои желанія, не опасаясь, что кто-

нибудь станетъ препятствовать этому... Если всѣ сообща рѣшаютъ, что имъ дѣлать, тогда за ихъ голосами будетъ такая сила, противъ которой не устоитъ никакой произволъ и беззаконіе».

Вотъ и все, съ чѣмъ обратились къ народу. Гора родила мышь. Когда социаль-демократы апеллировали къ пролетаріату, они въ своемъ распоряженіи имѣли революціонные способы дѣйствій, начиная съ забастовокъ и кончая возстаніемъ. Другія революціонныя партіи для борьбы съ властью призывали къ аграрному движенію, къ индивидуальному террору. Въ распоряженіи земцевъ никакихъ революціонныхъ средствъ не было и они ихъ не хотѣли. Можно было даже подумать, что свои совѣты они давали только затѣмъ, чтобы успокоить народъ, удержать его отъ опасныхъ шаговъ; черезъ нѣсколько лѣтъ на Выборгскомъ процессѣ С. А. Муромцевъ именно такъ объяснял цѣль воззванія въ Выборгѣ. Но такое объясненіе было бы неискренно и непоследовательно. Предлагать народу выносить резолюціи можно было только въ томъ случаѣ, если этимъ путемъ можно воздѣйствовать на правительство. Въ противорѣчій съ такою надеждою они заявляли, что наша власть моральнымъ воздѣйствіемъ не поддается. А съ другой стороны земцы не могли быть и такъ наивны, чтобы вѣрить въ безобидность тѣхъ средствъ, которыя они рекомендовали народу. Они знали, къ чему такіе совѣты могли привести. Если земскій съездъ въ Москвѣ встрѣтился съ попыткой разгона, то что могло быть въ провинціи, на фабрикахъ и въ деревнѣ? Въ условіяхъ нашей дѣйствительности обращеніе земцевъ къ народу должно было остаться или безъ всякихъ послѣдствій, какъ осталось черезъ два года воззваніе въ Выборгѣ, или явиться источникомъ смуты въ темныхъ низахъ, гдѣ событія стали бы направляться уже не земцами, а революціонерами. Если земцы и этого не желали, то ихъ воззваніе оставалось бы только символической демонстраціей того, что они перестали надѣяться *flectere superos* и потому рѣшили *Acheronta movere*.

Что же новаго случилось съ тѣхъ поръ, какъ тѣ-же земцы ѣздили къ Государю, чтобы они такъ свою позицію измѣнили? Ничего. Это былъ просто реваншъ, «демократической интеллигенціи» за побѣду земской традиціи на майскомъ съездѣ. Земцы опять стали равняться по ней. И если посмотрѣть, кто это воззваніе под-

писаль (есть подписи М. В. Родзянко, гр. Гейдена, Н. И. Гучкова, Н. Ф. Рихтера и др.), то можно судить, какъ быстро лѣвая волна захлестнула настоящіе земскіе элементы Россіи. Это было зловѣщимъ предсказаніемъ того, какъ послѣ 17 октября поведутъ себя земцы.

Другимъ предметомъ занятій былъ вопросъ о Булыгинской Думѣ. По смыслу рескрипта А. Г. Булыгину она должна была имѣть только совѣщательный голосъ. Это можно было оспаривать. Возраженія противъ совѣщательнаго безвластнаго прѣдставительства, обреченнаго на роль критика, не отвѣтственнаго за рѣшенія власти, имѣли столько за себя оснований, что земское большинство должно было ихъ сдѣлать. Объ этомъ была теоретическая литература, начиная со статей Б. Н. Чичерина; 12 декабря 1904 г. противъ совѣщательной Думы высказался такой практикъ, какъ Витте. Но Съѣздъ не захотѣлъ ограничиться критикой; онъ рѣшилъ представить свой контръ-проектъ. Это было рисковано. По вопросу о конституціи въ земской средѣ не могло быть единогласія; и было излишне заранѣе раскрывать свои карты. «Союзъ Освобожденія» уже опубликовалъ «проектъ конституціи» подъ заглавіемъ «Основной государственный законъ російской Имперіи». Опубликованный въ октябрѣ 904 г. еще раньше перваго земскаго съѣзда, онъ предварялъ въ предисловіи, что былъ «результатомъ продолжительнаго и внимательнаго обсужденія со стороны цѣлаго ряда практиковъ и теоретиковъ». Но содержаніе его не обнаруживало участія практиковъ. Проектъ напоминалъ «нормальный уставъ» акціонернаго общества; какъ положительный законъ, онъ не могъ бы просуществовать нѣсколькихъ мѣсяцевъ, не приведя къ перевороту. Но неудовлетворительность этого проекта была небольшая бѣда; онъ былъ анонимнымъ, никого не компрометировалъ. Отъ чистыхъ теоретиковъ нельзя было требовать большаго. Но положеніе земцевъ съ ихъ проектомъ конституціи было отвѣтственнѣй. Люди долготѣней практической дѣятельности, предназначенные къ первой роли при конституціонномъ устройствѣ Россіи, въ своемъ проектѣ они должны были оказаться на уровнѣ своей репутации земскаго опыта. Было благоразумнѣе имъ безъ нужды своего проекта не представлять. Тѣмъ не менѣе ихъ проектъ былъ напечатанъ въ «Русскихъ Вѣдомостяхъ», подъ заглавіемъ «Основной законъ Російской Им-

лери». Не вхожу въ детали проекта; въ немъ тоже не было видно слѣдовъ практическаго опыта земцевъ. Напримѣръ, всякое разномысліе между двумя Палатами, даже въ бюджетѣ, должно было разрѣшаться въ совмѣстномъ засѣданіи обѣихъ Палатъ большинствомъ двухъ третей. Этотъ способъ затормозилъ бы всю жизнь, а выхода могъ и не дать, такъ какъ 2/3 могло не набраться. Но и самыя основы проекта, какъ и проекта «Освобожденія», были четыреххвостка и парламентаризмъ. Что «ограниченіе Самодержавія» необходимо, — было признано всѣми. Но сразу превратить существовавшую власть въ «декорацію», отдать управление страной въ руки парламента, выбраннаго милліонами безграмотныхъ избирателей, было предложениемъ, которое нельзя было обосновать земскимъ опытомъ. Нельзя было и надѣяться, чтобы подобную конституцію Самодержавіе могло о к т р о и р о в а т ь. Для нея было необходимо предварительное крушеніе власти. И тѣмъ не менѣе именно это было проектомъ, который былъ предложенъ отъ имени русскаго земства. *Mutatis mutandis*, онъ предварялъ претензію большевиковъ въ 5 лѣтъ Европу «догнать и перегнать».

Бюро земскихъ сѣздовъ не настаивало на принятіи своего контръ-проекта. Оно просило только «принципально» одобрить; какъ формулировалъ С. А. Муромцевъ, принять его въ первомъ чтеніи по терминологіи англійской процедуры. Эта ссылка была очень искусна; она не могла не польстить и не понравиться сѣзду. Но отдѣльные члены, какъ напримѣръ Е. В. де-Роберти, не воздержались и отъ оцѣнки проекта по существу. «Проектъ, заявилъ онъ, въ общемъ прекрасенъ, онъ вполне отвѣчаетъ научнымъ требованіямъ». Такая похвала была характерна; только о какихъ научныхъ требованіяхъ говорилъ де-Роберти? Наука права признаетъ соотвѣтствіе государственныхъ формъ культурному уровню населенія; признаетъ, «относительность» «конституціи» и «сучрежденій». Наука можетъ признать, что прогрессъ идетъ въ направленіи демократіи; что здоровая демократія прочнѣе личныхъ режимовъ. Но она знаетъ, что это бываетъ лишь при условіи, что страна и народъ подготовлены для такой демократіи. Тракторъ лучше сохи, но только въ рукахъ тѣхъ, кто имъ умѣетъ работать. Изъ-за того, что опыты демократіи выдержали войну лучше монархій, не слѣдуетъ, что всякія страны, въ которыхъ будетъ введена

демократія, выиграють отъ подобной замѣны, какъ успѣхъ тракторовъ въ Америкѣ не оправдалъ Сталинской политики въ русской деревнѣ. Сказать, что земскій проектъ хорошъ потому, что соответствуетъ наукѣ — значило или ничего не сказать, или утверждать, что уровень культуры Россіи и ея политическій опытъ оправдываютъ примѣненіе къ ней самыхъ сл о ж н ы хъ образцовъ конституціоннаго строя. Этого де-Роберти не утверждали; онъ объ этомъ просто не думалъ: Онъ забылъ, что рѣчь не о научной оцѣнкѣ, и не объ отвѣтѣ ученика на экзаменѣ по вопросу о конституціяхъ, а о примѣненіи въ данный моментъ опредѣленнаго порядка къ нашей странѣ. И онъ воображалъ, что его устами вѣщаетъ «наука».

Что такъ разсуждали интеллигенты, черпавшіе изъ книгъ свои убѣжденія, — было простиительно. Но что такъ могла думать земская среда послѣ 40 лѣтъ земскаго опыта, было трагично. Если земскій слой практически былъ настолько безпомощенъ, что могло сулить Россіи народовластіе?

Таковъ былъ іюльскій съѣздъ 905 г. Политическая позиція, имъ принятая, не увеличила его авторитета среди А х е р о н т а. Земская среда на вела «движеніе»; она плелась въ хвостъ за нимъ и не могла занимать руководящаго мѣста. Но зато съѣздъ и его резолюціи компромитировали земство въ глазахъ власти и правящихъ классовъ. Послѣ рѣчи князя Трубецкого и отвѣта, даннаго ему Государемъ, отъ земцевъ ожидали другого. Ихъ агрессивность, несерьезность и утопичность ихъ пожеланій дали поводъ смотрѣть на нихъ не какъ на опору для власти, а какъ на авангардъ Революціи. Реакція торжествовала. Позиція земскаго съѣзда, если бы ее приняли за подлинное земское настроеніе, могла сорвать всю обѣщанную Государемъ реформу. И спасло ее въ это время то, что у нея были сторонники среди самихъ бюрократовъ. Они ее отстаивали.

Черезъ нѣсколько дней послѣ съѣзда, 19 іюля начались знаменитыя Петергофскія совѣщанія по поводу проекта Булыгинской Думы. Стенографическій отчетъ ихъ былъ тогда же добытъ и напечатанъ Освобожденіемъ. Онъ показалъ, какіе вопросы вызывали въ Совѣщаніи споры. Справа дѣлали натискъ на безусловность выборовъ, даже и цензовыхъ; правые хотѣли сохранить ихъ сословный характеръ, т. е. отстаивали исходное зло старыхъ поряд-

ковъ. Отражать этотъ натискъ пришлось нашей бюрократіи. Она его отразила. Но для защиты безсословности выборовъ ей было невозможно использовать ссылку на «земское мнѣніе». Мнѣніе земцевъ въ связи со всѣмъ тѣмъ, что говорилось на Сѣздахъ, могло быть выгодно только для противниковъ всякой реформы; земцы оказались для либеральной бюрократіи опаснымъ союзникомъ. Сторонники безсословности должны были искать другихъ аргументовъ, по существу часто очень сомнительныхъ, а не апеллировать къ авторитету русскаго земства. Единственный представитель нашей общественности В. О. Ключевскій, который имъ въ этомъ помогъ, и по индивидуальности, и по аргументамъ былъ далекъ отъ нашей земской и вообще интеллигентской общественности. То же самое было съ другими либеральными, но для Самодержавія одіозными пунктами. Такъ, обязательное возвращеніе министрамъ законопроектвъ, забракованныхъ квалифицированнымъ большинствомъ Совѣта и Думы, не безъ основанія толковалось, какъ «ограниченіе Самодержавія». Либеральные бюрократы и этотъ пунктъ отстояли очень тонкими и спорными доказательствами. Такъ позиція земцевъ лишила ихъ вліянія на ходъ реформы, помѣшала поддерживать тѣхъ, кто вмѣсто нихъ отражали натискъ реакціи.

Сѣздъ ничему не помогъ, но событія развивались уже по инерціи. 6-го августа было опубликовано Положеніе о Булыгинской Думѣ. Этотъ актъ вызвалъ бы полное удовлетвореніе, если бы онъ появился въ декабрѣ 904 г. Теперь въ обществѣ никто его не принялъ всерьезъ, какъ правительство не приняло всерьезъ конституцій ни земской, ни освобожденской. Но въ сентябрѣ былъ вновь созванъ Земскій сѣздъ. Правительство не хотѣло повторить скандала его запрещенія. Остановились на компромиссѣ. На сѣздъ былъ командированъ правитель канцеляріи генераль-губернатора, бывшій товарищ прокурора А. А. Воронинъ, погибшій позднѣе при Столыпинскомъ взрывѣ. Это былъ человекъ порядочный и разумный; онъ ничему не мѣшалъ, а своимъ присутствіемъ за особымъ столикомъ придавалъ сѣзду полу-официальный характеръ. Главнымъ вопросомъ, которымъ занялся этотъ сѣздъ, — была вопросъ о бойкотѣ или объ участіи въ выборахъ. Тактика бойкота представлялась вообще болѣе легкой, непримиримой, рѣшительной; въ этомъ для многихъ была ея привлекательность. Но земцы имѣли преимуще-



ственную возможность быть выбранными, и бойкотъ имъ не улыбался. Бюро предлагало участвовать въ выборахъ. Однако и сторонники этой тактики не предполагали лояльно исполнять обязанности, которыя на членахъ Булыгинской Думы лежали. Бойкоту они противопоставляли входеніе въ Думу съ тѣмъ, чтобы «взрывать ее изнутри». Никто въ то время не рѣшался доказывать, что Булыгинская Дума представляетъ громадное улучшение прежняго Самодержавія, что положеніе 6-го августа можно поэтому честно использовать. «Освобожденіе» развивало теорію «взрыва». «Государственная Дума, писало оно въ № 77, въ настоящемъ ея видѣ, есть учрежденіе совершенно негодное для функціонированія въ качествѣ постоянного органа государственнаго самоуправленія; и та же самая Дума... есть могущественное и грозное орудіе борьбы съ существующимъ режимомъ въ цѣляхъ расчищенія пути для истиннаго народнаго представительства». Это была иная постановка вопроса. Самодержавная власть создавала Думу въ надеждѣ, что Дума л о м о ж е т ъ ей управлять на пользу Россіи; общественные дѣятели шли въ Думу только затѣмъ, чтобы ставить Самодержавіе въ н о в ы й т у п и к ъ.

Булыгинская Дума оказалась мертворожденной. Правые ея не хотѣли, ибо она ослабляла Самодержавіе. Перепечатавъ безъ комментарій манифестъ 6-го августа, «Московскія Вѣдомости» меланхолически добавили: «Боже Царя Храни». Слѣва въ нее шли съ тѣмъ, чтобы мѣшать ей работать. Мысль о томъ, чтобы попробовать лояльно использовать это учрежденіе для проведенія преобразованій, въ Россіи никому въ голову не приходила. Эту еретическую мысль русской общественности пришлось выслушать отъ англичанина.

Въ это время прѣхалъ въ Москву Вильямъ Стэдъ. Для него, какъ для знатнаго иностранца, было устроено собраніе избранной русской общественности. Стэдъ слѣлалъ докладъ, выступивъ з а щ и т н и к о м ъ Булыгинской конституціи. Онъ доказывалъ, что несмотря на ея недостатки, изъ нея можетъ вырасти настоящая конституція, что не только бойкотъ, но даже попытки взрыва Булыгинской Думы изнутри плохая политика. Помню эту спокойную рѣчь стараго англичанина, знавшаго по опыту своей великой страны, что не все сразу дается, что практика вкладываетъ въ старыя формы новое содержаніе, что жизнь

и работа научать всѣхъ и всему. Его доводы не доходили до разума общества. Стѣда обдали потоками искренняго и краснорѣчиваго негодованія. Помню на рѣдкость удачную рѣчь Ф. И. Родичева, кончавшуюся словами: «мы идемъ въ Государственную Думу, какъ въ засаду, приготовленную намъ нашимъ врагомъ». Помню остроумное, въ легкомъ жанрѣ, выступленіе Григорія Петрова, — еще бывшаго въ то время священникомъ; онъ сравнивалъ Булыгинскую конституцію съ сапогами классической интендантской заготовки, когда нужны хорошіе сапоги. Было краснорѣчіе, подъемъ, остроуміе, которые призналъ и самъ Стѣдъ; они тонули въ аплодисментахъ, которые общество само себѣ раздавало, не думая, какъ невелика та среда, которая себѣ рукоплещеть, какъ мало въ Россіи людей, которые понимаютъ серьезно, что такое Дума и конституція. Никто не думалъ тогда, что воспитанная на деспотизмѣ страна не сумеетъ защищаться отъ демагогіи, что конституція не напачея, которая лечитъ отъ всякихъ болѣзней, что роль тѣхъ общественныхъ дѣятелей, которыхъ власть звала на помощь себѣ, станетъ ничтожной, когда вмѣсто этого они окажутся во главѣ революціи. Общество радовалось побѣдѣ надъ Стѣдомъ, какъ будто этимъ побѣдило Самодержавіе.

Эти несерьезныя настроенія были плодомъ искусственнаго устранения общества отъ практической дѣятельности; оно не научилось понимать трудностей управления государствомъ. Даже уроки, которые жизнь стала давать въ это переходное время, ему глазъ не раскрыло. Однимъ изъ первыхъ безплодныхъ уроковъ былъ опытъ университетской автономіи.

Учащаяся молодежь, ея волненія, форма волненій, т. е. забастовка учащихся, — нервировали общество и смущали правительство. Общественность заявляла, что путь репрессій безсиленъ; только академическая свобода, университетское самоуправленіе вернуть порядокъ въ высшую школу. Можно было надѣяться, что въ специальной средѣ учащейся молодежи, культурной и сравнительно немногочисленной, при извѣстныхъ уступкахъ можетъ раньше, чѣмъ въ другихъ, наступить отрезвленіе. И если гдѣ либо опытъ уступокъ могъ быть сравнительно безопасенъ, то именно здѣсь. 27 августа 905 г. неожиданно объявлена была университетская автономія.

Люди близкіе къ сферамъ могли бы рассказать, к то

этотъ указъ посовѣтоваль. Въ большой публикѣ его приписали Д. Трепову. Если это вѣрно, это было бы лишней чертой въ одной изъ загадочныхъ фигуръ эпохи паденія старой Россіи. Общественность наклеила на Трепова, какъ ярлыкъ, его злополучную фразу «патроновъ не жалѣть». Такими упрощенными этикетками общественность хоронила тѣхъ, кого не любила. Но личность Д. Трепова повидимому была сложнѣе, чѣмъ считала общественность. Онъ кое-что понималь. На Петегофскомъ Совѣщаніи о Булыгинской Думѣ онъ не говорилъ длинныхъ рѣчей, но съ полной отчетливостью установилъ необходимость принципиальныхъ уступокъ. Когда споръ шель о статьѣ 50-й, которая преграждала доступъ къ Государю мнѣнію отвергнутому Совѣтомъ и Думой, либеральная бюрократія старалась доказывать, что въ этомъ ничего новаго нѣтъ, что такъ и прежде дѣлали въ старомъ Государственномъ Совѣтѣ. Одинъ Треповъ сказалъ грубую правду: «предложеніе о возвращеніи министру отклоненныхъ проектовъ несомнѣнно представляетъ ограниченіе Самодержавія, но ограниченіе, исходящее отъ Вашего Величества и полезное». Если Треповъ могъ такъ говорить въ іюль 905 г., то въ августъ онъ могъ посовѣтовать сдѣлать опытъ университетскаго самоуправленія, какъ въ 906 г. онъ же рекомендовалъ попробовать «кадетское министерство».

Указъ 27 августа носилъ отпечатокъ крайней поспѣшности. Въ этомъ онъ былъ схожъ съ позднѣйшимъ Манифестомъ 17 октября. Онъ объявлялъ новый принципъ. Для ректоровъ и декановъ устанавливалось выборное начало. Совѣтамъ передавалась обязанность «поддерживать правильный ходъ учебной жизни въ университетѣ, принимая для этого соответствующія мѣры». И только. Гдѣ предѣлы новыхъ правъ? Что совѣты могутъ и чего не могутъ? Въ какой степени ихъ мѣры должны быть сообразованы съ инструкціями Министра и Попечителя, не говоря о законѣ? Объ этомъ не было рѣчи. Была объявлена «диктатура» профессорской коллегіи подъ угрозой ответственности за поддержаніе правильнаго хода учебной жизни. Это путь скользкій. Когда позднѣе мнѣ пришлось участвовать въ процессѣ Одесскаго Университета, я могъ увидѣть опасность, которую представляютъ подобныя полномочія, не согласованныя съ началами нашего строя и въ минуту паники о существованіи законовъ забывшія.

Профессора, добросовѣстно толкуя новый уставъ, нарушали формальный законъ, безъ протеста со стороны существующей власти; а потомъ въ эпоху реакціи власть за эти нарушенія ихъ потянула къ отвѣту.

Либеральныя профессоры послѣ Указа сдѣлались властью, получили возможность строить жизнь на началахъ, о которыхъ мечтали. Правая профессура въ лучшемъ случаѣ оставалась нейтральной, въ худшемъ злорадствовала. Во главѣ университетскихъ хозяевъ, отвѣтственныхъ за новый порядокъ, стали тѣ, которые до сихъ поръ за новыя начала боролись. Первымъ выборнымъ ректоромъ въ Москвѣ сдѣлался С. Н. Трубецкой.

Тогда-то профессорамъ и всему обществу пришлось увидѣть, что такое свобода, которая объявляется въ моментъ ослабленія власти и что такое разбушевавшійся Ахеронтъ, который общество призывало на помощь себѣ. Они могли увидать, какой это опасный союзникъ и каково съ нимъ бороться. Они могли увидать, какую картину представляютъ учрежденія, которыя хотятъ использовать не для прямого ихъ назначенія, а для дальнѣйшей борьбы, какъ для этого собирались использовать Булыгинскую Думу. Все, что повторилось потомъ послѣ 17 октября, въ широкомъ масштабѣ, было предварено Университетами послѣ ихъ автономіи.

Если студенты смотрѣли на свою борьбу какъ на борьбу не за академическіе свои интересы, а за цѣли всего «Освободительнаго Движенія», то Указъ 27 августа не позволялъ имъ этой борьбы прекратить. Какъ могли студенты остановиться лишь потому, что университетскіе Совѣты стали теперь автономны? Въ полной гармоніи съ освобожденческой психологіей студенты рѣшили «использовать» университетскій Уставъ для дальнѣйшей борьбы съ Самодержавіемъ.

Университетскія власти естественно посмотрѣли иначе. Они теперь вспомнили, что у Университета есть цѣли, которымъ «политика» мѣшать не должна. Но студенческому Ахеронту это уже казалось измѣной. Они не задумались поставить вопросъ: почему они обязаны профессорамъ повиноваться? Автономія добыта не профессорами, а студентами; ихъ забастовки, «жертвенность и дѣйственность» эту автономію вырвали. Почему власть оказалась у профессоровъ, а не у нихъ? Если обязательна 4-хвостка, если у всѣхъ равное право на управленіе государствомъ, то въ

чемъ преимущество профессоровъ передъ студентами для управленія Университетомъ?

«Воля» студентовъ такъ рѣшила этотъ вопросъ. Автономія была ими принята, какъ возможность превратить аудиторію въ удобное мѣсто для продолженія политической борьбы. Благообразная часть студенчества была въ меньшинствѣ и безсильна съ этимъ бороться; слово «академическій» считалось «реакціей». Конфликтъ профессуры со студентами на этомъ вопросѣ, понятное нежеланіе университетскихъ властей прибѣгать къ тѣмъ мѣрамъ строгости, которыя раньше они осуждали, невозможность иначе добиться порядка, вело новыхъ университетскихъ хозяевъ къ безсидію. Въ результатѣ университеты превратились въ мѣсто для митинговъ. Роль университетской автономіи въ Революціи получила компетентную оцѣнку въ рѣчи Хрусталева-Носаря на процессѣ Петербургскаго Совѣта Рабочихъ Депутатовъ: «Зародышъ Совѣта, сказали оны, лежитъ въ сентябрьскихъ дняхъ, когда «автономія» высшихъ учебныхъ заведеній сдѣлала возможнымъ захватъ десятковъ тысячъ рабочихъ «митинговой лавой» («Право», 8 октября 1906 г.). Занятіе Московскаго университетскаго зданія вооруженными дружинами студентовъ, которое предшествовало 17 октяб. было предверіемъ возстанія, которое разразилось въ Москвѣ въ декабрь 905 г.

Судьба университетской автономіи могла бы раскрыть глаза общественности на то, что ей предстояло; она должна была бы понять, насколько для нея было полезно, чтобы старая власть не исчезла, не была замѣнена новой импровизированной, полагавшейся только на довѣріе къ себѣ населенія. Но общественность не сдѣлала этого вывода. Она рѣшила, что причина анархій в томъ, что правительство уступило слишкомъ мало и что автономіей пользуются только учебныя заведенія. Въ этомъ была доля правды: трудно строить жизнь части страны въ противорѣчій съ принципами, на которыхъ построено цѣлое; свободный Университетъ въ деспотическомъ государствѣ есть аномалія. И общественность съ удвоенной энергіей стала добиваться распространенія университетскихъ порядковъ на всю Россію.

Такъ создалось настроеніе, при которомъ Самодержавіе чувствовало себя въ тупикѣ. Никто ему помогать не хотѣлъ; ни одна реформа ему не удавалась. Лучшія его начинанія обращались противъ него. Частичныя уступки только пер-

вировали общество и вносили новое разстройство въ наложенную жизнь. Возникали явленія все болѣе страшныя. Начались движенія національныхъ меньшинствъ. Заколѣбалось крестьянство, грозная сила, которая удерживалась въ порядкѣ традиціоннымъ страхомъ передъ существующей властью и своей неорганизованностью. Крестьянамъ тоже становилось ясно безсидіе власти; оно перестало бояться; а его неорганизованность открывала просторъ вліянію демагогіи. Въ крестьянствѣ не только усилились движенія противъ помѣщиковъ, но появились дѣйствія, направленныя и противъ властей; требованія золотомъ вложить въ сберегательныхъ кассъ. Увеличился терроръ, бравшій мишенью безобидныхъ низшихъ чиновъ администраціи. Надвигался призракъ разложенія и анархіи. А общественность все-таки не смущалась; она отказывала Самодержавію хотя бы въ моральной поддержкѣ; на всѣ призывы она отвѣчала: при Самодержавіи порядка не будетъ и при Самодержавіи мы его не хотимъ. Всѣ желавшіе мирнаго преобразования Россіи отъ Самодержавія отходили; съ нимъ оставались только сторонники старой идеологіи сословной Россіи, безпрекословнаго повиновенія Монарху Божіей Милостію, идеологіи Николая I. Представители этихъ взглядовъ винили власть за уступчивость, рекомендовали ей грозныя мѣры, совѣтовали показать, что Самодержавіе перестало шутить. Противъ общаго недовольства оно рекомендовало только репрессіи. Но о какихъ репрессіяхъ можно было мечтать, когда самое орудіе репрессій — войско становилось ненадежнымъ? Когда начинались военные бунты, вродѣ Потемкина, когда пораженная и обиженная своей неудачей армія на Востокъ возвращалась назадъ не какъ союзникъ власти, а какъ ея обличитель? Таково было общее настроеніе; выхода не было. Какъ въ настоящей войнѣ наступаетъ моментъ, когда атака рѣшаетъ кампанію, такъ разразилась рѣшительная атака на власть въ формѣ всеобщей забастовки.

Очевидно, кто-то ее организовывалъ. Но на обывательскій глазъ движеніе разросталось само собой, подстрекаемое общимъ сочувствіемъ. Началось съ фабрикъ, потомъ остановились желѣзныя дороги, почта, газеты, электричество, водопроводы и т.д. Населеніе въ паникѣ запасалось водой и провизіей. Толпы забастовавшихъ фабричныхъ скопами слонялись по улицамъ. Жандармы, казаки, воен-

ная власть, полицейскіе выбивались изъ силъ ихъ разгона. Они разбѣгались и потомъ вновь собирались. Ночью Москва была погружена въ темноту; заревомъ свѣтился университетъ, гдѣ забарикадировались студенты и жгли на дворѣ сложенные въ костры скамейки и лавки. Зловѣщія слухи ползли среди обывателей. Нервы всѣхъ были напряжены до крайней степени и не выдерживали. Это расширяло движеніе. На моихъ глазахъ адвокаты какъ-то увидали въ окно зданія Судебныхъ Установленій, что на Красной площади жандармы съ обнаженными палашами разгоняли толпу. Поднялся визгъ, крики, истерика; адвокаты бросились силой снимать засѣданія, и судъ поневолѣ забастовалъ. Общественность одобряла забастовку; наступала послѣдняя схватка съ Самодержавіемъ, оставаться въ сторонѣ было нельзя. Въ эти дни въ домѣ Долгоруковыхъ происходилъ Учредительный Съѣздъ кадетской партіи; вырабатывались ея программа и тактика. Эта тема была далеко отъ интересовъ момента; но мы оказались въ центрѣ вниманія, сама жизнь къ намъ врывалась. Меня пригласили предсѣдательствовать на митингъ банковскихъ служащихъ, которые тоже собрались объявить забастовку. Я не имѣлъ къ нимъ отношенія, но не могъ отказаться. Къ тому же это было интересно и поучительно. Помню это засѣданіе гдѣ-то на Бронной; нѣсколько стеариновыхъ свѣчей едва разгоняли мракъ громаднаго зала; въ темнотѣ трудно было наблюдать за порядкомъ; предсѣдательствовать можно было только диктаторски. Забастовка была рѣшена. Этого показалось все-таки мало. Какой-то ораторъ выступилъ съ предложеніемъ вступить въсьмъ въ составъ социаль-демократической партіи. Это дикое предложеніе не прошло лишь потому, что социаль-революціонеръ сдѣлалъ аналогичное предложеніе вступить въ социаль-революціонную партію. Въ такой сумасшедшей атмосферѣ тогда ставились и рѣшались вопросы. Такихъ собраній было много. Помню собраніе въ Городской Думѣ, о которомъ я уже говорилъ. Городская Дума почувствовала не только безсиліе власти, но и свое безсиліе справиться съ движеніемъ. Она пригласила на совѣщаніе самыхъ различныхъ общественныхъ дѣятелей. Ничего полезнаго она отъ нихъ не услышала. Никто изъ приглашенныхъ не помышлялъ о водвореніи спокойствія и порядка; одни видѣли въ наступающей анархіи способъ для сверженія Самодержавія, другіе именно въ этой

анархіи видѣли новый порядокъ. Забастовочный комитетъ требовалъ немедленной сдачи ему Городскимъ Управленіемъ городскихъ денегъ и власти. Такое требованіе обезпонило гласныхъ, и они рѣшились въ немъ отказать. Этотъ отказъ привелъ въ негодованіе. Представители забастовокъ и революціонныхъ организацій вопили: горе вамъ, горе вамъ! А к. д. съѣздъ, узнавъ про это, выносилъ похвалу сдержанности и достоинству рабочаго класса.

Такъ шло дело въ наш емъ лагерѣ. А правительство все бездѣйствовало. Скептики подозрѣвали, что съ его стороны это сознательная тактика; что начнутся эксцессы толпы, грабежи по ночамъ, что эти безчинства раздражатъ обывателя, который начнетъ вздыхать о городомъ и радостно встрѣтитъ репрессіи. Даже наиболѣе оптимистичные москвичи, вроде Н. Н. Щепкина, начинали сомнѣваться въ томъ, что московскій обыватель выдержитъ. Говорили, что недовольство растетъ и направляется противъ самихъ забастовщиковъ; утверждали, что провокаторы организуютъ эксцессы и этимъ путемъ сорвутъ забастовку; въ непонятномъ бездѣйствіи правительства видѣли подтвержденіе этихъ предположеній. Какъ говорилъ Гинденбургъ, побѣждаетъ тотъ, у кого крѣпче нервы; русское общество этимъ не отличалось. Власть могла его «пересидѣть». Но мы ошибались. Въ средѣ власти бездѣйствіе было не хладнокровнымъ расчетомъ, а паникой и колебаніемъ. Нервы у нея въ тотъ моментъ сказались не сильнѣй, чѣмъ у общества.

Тамъ, наверху, съ грубой рѣзкостью стала диллема: или репрессіи, и тогда неумолимая, или уступки, но тогда уже полныя. Былъ ли шансъ на побѣду репрессій? Если посмотрѣть на то, что произошло черезъ 2 мѣсяца, а потомъ послѣ роспуска 1-ой Государственной Думы, наконецъ, на то, что сейчасъ дѣлаютъ большевики надъ Россіей — успѣхи голой репрессіи не кажутся невозможными. Матеріальной силы у власти было достаточно противъ «народа». Но у нея не хватало рѣшимости, вѣры въ себя; лучшіе представители власти понимали ошибки правительства и въ своей правотѣ усумнились. Витте, который не исключалъ этого пути репрессій, самъ отъ него отказался, рекомендовавъ призвать для него людей друго го типа. Великій Князь Николай Николаевичъ, въ которомъ всѣ видѣли проводника подобной политики, «на колѣняхъ» умолялъ Государя согласиться на конституцію.



Продолжать политику пассивнаго выжиданія становилось опаснымъ. Какъ въ 917 г. тѣ люди, которымъ Государь вѣрилъ, не рѣшались совѣтовать ему бороться до конца. У Государя другого выхода не было, и онъ уступилъ.

Въ Москвѣ продолжался нашъ съѣздъ. Но общее вниманіе было не здѣсь, не въ преніяхъ о партійной программѣ. Всѣ съ тревогой ждали, какъ все это кончится. Будетъ ли правительство упорствовать въ своей тактикѣ выжиданія? Или, начнетъ контръ-аттаку и объявитъ военное положеніе? Мнѣнія раздѣлялись. Вдругъ вечеромъ прибѣжалъ сотрудникъ «Русскихъ Вѣдомостей» И. А. Петровскій и задыхающимся отъ волненія голосомъ началъ читать какую-то бумагу. Это былъ Манифестъ. Тогда наступилъ моментъ такой радости, которая послѣ не повторялась. Съдой, какъ лунь, живописный старикъ М. П. Щепкинъ, бывший въ юности ученикомъ и другомъ Грановскаго, сказалъ проникновенную рѣчь на тему «нынѣ отпускаеши». С. А. Котляревскій требовалъ отъ собранія, чтобы оно поклялось «не отдавать конституціи». Говорили другіе ораторы. Во время войны эта сцена к.-д. съѣзда мнѣ приходила на память, когда мнѣ пришлось наблюдать... неожиданное паденіе Перемышля. Армія генерала Селиванова была несравненно менѣе численна, чѣмъ австрійская засѣвшая въ Перемышль. Мы опасались прорыва. Когда генералу Селиванову заявили о прибытіи парламентаровъ для сдачи крѣпости, онъ не вѣрилъ ушамъ. Манифестъ 17 октября въ тотъ моментъ явился для насъ такой же неожиданной и полной побѣдой. Не мы побѣдили; противникъ палъ духомъ и сдался, какъ въ Перемышль. Самодержавіе себя упразднило. Но причина побѣды казалась въ тотъ моментъ безразлична. Препятствіе, мѣшавшее примиренію власти съ обществомъ, было тогда устранено. Ближайшей цѣли Освободительное Движеніе достигло. Все, что въ нашей тактикѣ могло казаться ошибкой, что маловѣрные осуждали, показалось теперь правильнымъ и глубокимъ расчетомъ. Наша непримиримость, отказъ договариваться съ Самодержавіемъ до полной побѣды надъ нимъ, общій фронтъ съ Ахеронтомъ привели насъ къ побѣдѣ. Руководители Союза Освобожденія оказались правы, а побѣдителей не судятъ. Ихъ авторитетъ во всей странѣ еще выросъ. Начиналась новая глава русской исторіи.

В. Маклаковъ.

## Письмо Ф. И. Родичева В. А. Маклакову

Отъ редакціи.

Письмо, датированное 18 февраля 1932 г., написано Ф. И. Родичевымъ нѣсколько дней спустя послѣ кончины его жены Екатерины Александровны, въ отвѣтъ на полученную отъ В. А. Маклакова сочувственную телеграмму. Письмо осталось въ черновикѣ и никогда не было послано адресату. Историко-политическія замѣчанія Ф. И. Родичева относятся къ первымъ изъ серіи статей В. А. Маклакова, печатавшихся въ «Современныхъ Запискахъ». По словамъ А. Ф. Родичевой, дочери покойнаго, Ф. И. Родичевъ слѣдилъ за ними съ живымъ интересомъ и во многомъ не соглашался съ даваемой В. А. Маклаковымъ оцѣнкой русскаго либерализма. Это несогласіе настолько волновало Ф. И., что онъ, еще незадолго до смерти, рѣшилъ выступить печатно съ возраженіями В. А. Маклакову и черновикъ письма лежалъ у него на столѣ въ качествѣ конспекта предполагаемой большой статьи.

Въ интересахъ выясненія важнаго въ исторіи русскаго общественнаго движенія вопроса о роли русскаго либерализма редакция представила В. А. Маклакову развить его взгляды съ совершенной свободой и достаточной полнотой и дала на страницахъ журнала мѣсто возраженіямъ на нихъ П. Н. Милюкова. Печатаемая теперь черновой набросокъ замѣчаній на ту же тему третьяго виднаго представителя либеральнаго теченія, Ф. И. Родичева, редакция дѣлаетъ это не только въ виду ихъ безспорнаго общественнаго интереса, но и во исполненіе долга своего глубокаго уваженія передъ свѣтлой памятью недавно почившаго рыцаря русской свободы.

---

Дорогой Василій Алексѣевичъ!

Очень я оцѣнилъ Вашу телеграмму. Я боялся, что Вы относитесь съ противорѣчіемъ и осужденіемъ ко многому, что я защищаю, и ко мнѣ стали также относиться. Вы вѣдь сами во многомъ перемѣнились. Телеграмма меня успокоила, ибо я къ Вамъ сохранилъ неизмѣнное старое чувство.

Много разъ мнѣ хотѣлось полемизировать съ Вами, но

я не стану дѣлать этого въ печати, да и полемика моя была бы быть можетъ неинтересна.

Въ письмѣ я хочу коротенько сдѣлать Вамъ нѣсколько замѣчаній:

I. Насчетъ политики Александра II-го и его страха революціи.

Помните ли Вы того Тургеневскаго сановника, который пугался, что крестьянинъ пойдетъ непременно съ «ффафкеломъ». — Эти строки пугали Александра II-го. — Хрущевъ въ своей книгѣ: «Исторія паденья крѣпостного права» вспоминаетъ даже записку помѣщика Ушакова, надѣлавшую шуму въ сферахъ. Боюсь, что это былъ мой дѣдъ, этотъ пугатель. И въ тѣхъ краяхъ, гдѣ онъ жилъ, было спокойно, преспокойно... «А тамъ, во глубинѣ Россіи, тамъ вѣковая тишина»...

Бунты, послѣ 1858 года, когда проникли въ массу слухи и увѣренность въ отбѣнѣ крѣпостного права, бунты не возникали. 58, 59, 60 годы были спокойны.

Вы цитируете Мякотина о бунтахъ въ Черниговской губерніи. Да, это послѣдствіе совершенно исключительной нелѣпости надѣленія государственныхъ крестьянъ — песками. Это надѣленье создало почву для броженія на долгіе годы.

Да, что такое крестьянскіе бунты 60-хъ годовъ, когда бунтовщики встрѣчали солдатъ стоя на колѣняхъ?!

Александръ II съ гордостью говорилъ объ этихъ встрѣчахъ съ иностранными послами.

II. Вы жестоко ошибаетесь, думая, что умно было не допускать въ печати обсужденія крестьянскаго вопроса. «Что бы написалъ Герценъ о крѣпостныхъ?» — спрашиваете Вы.

Да вѣдь онъ и написалъ.

Читала Герцена ничтожная часть образованнаго общества и молодежи. Масса ничего не читала. И столь же немно было А. II-му бояться статей о надѣлахъ (вспомните скандалъ съ Кавелинымъ), какъ Чернышевскому писать воззванья «къ барскимъ крестьянамъ»... А обсужденіе въ печати помогло бы избавиться отъ роковыхъ ошибокъ.

Въ 1864 г. А. II-й очень хорошо понималъ антиреволюціонное значеніе крестьянской реформы въ Польшѣ, провѣлъ ее просто: отдана крестьянамъ вся земля, которой они пользовались, и выкупъ принятъ на счетъ казны.

Просто А. П-й не понималъ того, что дѣлаетъ въ Россіи. И колебался, и мѣнялся, и казался двоедушнымъ... какъ и во всемъ... «Хитеръ какъ женщина», говорилъ про него Николай Милютинъ.

«Не хитеръ» во всѣхъ смыслахъ.

III. Вы очень ошибаетесь, когда говорите, что I-я Государ. Дума пренебрегала крестьянскимъ вопросомъ. Напротивъ: ставила его во главу угла, въ основу равноправія. Изъ работъ комиссіи Думы Столыпинъ взялъ одинъ хвостикъ: право не образованье. — Равноправье въ земствѣ проведено въ томъ, что гласные отъ крестьянъ не утверждались болѣе губернаторомъ. вмѣсто закона, дополнявшаго X томъ статьями объ общинѣ и выходяѣ изъ нея, Столыпинъ создалъ законъ о выдѣленіи, я его не противникъ, но это же пустякъ.

П. Б. Струве тогда, сгоряча, говорилъ: — «Аграрный вопросъ рѣшенъ»... — И забылъ объ арендѣ, которая росла неумѣренно въ годы экономического расцвѣта 1906-1914 г.

Кстати, вспомнилъ: Вы правильно замѣтили: «Чѣмъ бы ни были Столыпинъ до 1906 г.»... А былъ онъ губернаторомъ, допускающимъ изстязанье крестьянъ, послѣ «аграрныхъ безпорядковъ». — Я это слышалъ отъ жены Кузнецкаго предводителя (Саратовской г.), бывшей свидѣтельницей усмиренья крестьянъ исправникомъ, ставленникомъ Столыпина. Она даже поѣхала въ Саратовъ разсказать Столыпину о лоркѣ. Онъ ее не принялъ.

Женщина-врачъ\*), которой принесли поротыхъ мучениковъ, не вынесла зрѣлища: ей сдѣлалось дурно. Отъ нея самой я это слышалъ.

Жестокости революціи, настроенье массъ въ это время созданы этими ужасными изстязаньями... Глава о нихъ еще не написана...

Бѣдный Столыпинъ былъ увлеченъ импульсомъ, давать сдачу, не останавливаясь передъ жестокостью. Онъ не подавлялъ революцію, а воспиталъ то, что впослѣдствіи стали называть революціей: такой бунтъ.

IV. Насчетъ неосужденья террора. Въ то время господствовала расправа безъ суда. И сторонники расправы требовали еще осужденья террора. Въ Томскѣ, въ театрѣ со-

---

\*) Двоюродная сестра моего отца со стороны матери: Евгенія Николаевна Ушакова (внучка того дѣда, о которой отецъ упоминаетъ). Я отлично помню ея ужасный разсказъ объ этомъ. А. Р.

брался митингъ во имя конституціи. Черносотенная толпа собралась вокругъ театра. Митингующіе заперлись. Чтобы ихъ выкурить, толпа подожгла театръ. Выбѣгающихъ избивали. Оставшіеся сгорѣли. — Таково было распоряженіе губернатора Азанчевскаго, Штюрмеровскаго поддипалы.

То же, примѣрно, произошло въ Твери, все какъ по писаному. Митингъ въ Земской Управѣ (въ октябрѣ 1905 г.). Черная сотня осаждаеть. Вызваны войска. Осада идетъ своимъ чередомъ. Губернаторъ пріѣхаль, посмотрѣль: все въ порядкѣ. И уѣхаль. — Толпа начала поджигать зданье. Тогда митингующіе выбѣжали. Ихъ избили до полусмерти. Солдаты тушили пожаръ. Битыхъ не защищали. — Отъ послѣдствій побоевъ умеръ въ 1908 году, членъ I-ой Думы А. С. Медвѣдевъ и позднѣе Ф. Ф. Ольденбургъ, кроткій философъ.

Азанчевскаго уволили. Тверскаго Слѣпцова убили бомбой. Я Слѣпцова жалѣль, онъ былъ человекъ безобидный... Послѣ избіенья, депутаты изъ Твери поѣхали къ Витте.

«Надо предупредить повторенье погромовъ. Увольте губернатора», — говорилъ И. И. Петрункевичъ Витте. «Сдѣлайте это демонстративно. Можетъ быть обнаружится, что губернаторъ не такъ виноватъ. Тогда Вы найдете способъ его вознаградить».

Витте одобрилъ эту точку зрѣнья и послалъ депутатовъ къ Дурново. Дурново отвѣчалъ: «Я соберу свѣдѣнья». — И ничего не вышло. Бѣдный Слѣпцовъ былъ разорванъ бомбой.

Погромы прокатились по всей странѣ. Въ двухъ разныхъ концахъ Россіи: въ Твери и въ Томскѣ погромы произошли по одной и той же программѣ, охраняемые войсками.

Вы знакомились съ Дурново, не думая о погромахъ, не думая объ участіи въ нихъ Департамента Полиціи, забывая о злобѣ, переполнившей душу его.

И эти руководители погромовъ, требовали осужденья политическихъ убійствъ, въ то время какъ безнаказаны были убійства во имя власти.

Недавно я прочелъ мемуары одной дамы, какъ послѣ подавленья московскаго вооруженнаго возстанья 1905 г., за обѣдомъ у Дубасова полковникъ Римаевъ рассказывалъ, какъ въ Коломнѣ, онъ захватилъ 20 самыхъ вредныхъ по-

встанцевъ. Ихъ поставили къ стѣнкѣ. — «Чтобы не смущать солдатъ», — рассказывалъ Римапъ, — «я самъ застрѣлили ихъ всѣхъ поочередно». — «Вы совершенно правильно поступили», — одобрилъ Дубасовъ.

«Исполнилъ свой долгъ», — отмѣтилъ Императоръ.

Государственники!

Кто судилъ вредныхъ повстанцевъ? — Кто удостоверялъ, что они повстанцы? Думѣ, кого осуждать еще?

Кстати по поводу Дубасова и аплодисментовъ кадетскихъ. — Вы, какъ и я, не были тогда въ залѣ. А жена моя и дочь были. Онѣ свидѣтельствовали здѣсь, что аплодировала кучка адвокатовъ, лѣвѣе кадетовъ. Жена моя не могла сказать, были ли к.-д. тоже аплодировавшіе.

Насчетъ политическихъ убійствъ по совѣсти скажу: никогда имъ не радовался и даже убійству Плеве. Разъ только, будучи за-границей, съ облегченіемъ прочелъ въ газетѣ объ убійствѣ Богдановича, Уфимскаго губернатора. Онъ разговаривалъ съ толпой рабочихъ забастовщиковъ. Богдановичъ былъ окруженъ солдатами и когда ему показалось, что толпа ему угрожаетъ, онъ приказалъ стрѣлять. Газеты сообщили: 300 раненыхъ и убитыхъ (были женщины и дѣти).

Теперь я думаю, что Богдановичъ былъ не извергъ, а просто трусъ. Можетъ быть онъ и каялся, какъ знаменитый харьковскій губернаторъ, князь Оболенскій — see, какъ тогда острили. Оболенскій былъ возвеличенъ Императоромъ и сдѣланъ Финляндскимъ губернаторомъ. Въ Финляндіи онъ не обнаружилъ свирѣпости. Наоборотъ. Послѣ своего подвига порки, онъ прожилъ два мѣсяца въ своемъ имѣніи въ Тамбовской губ. Онъ былъ страшно подавленъ. Мрачное его настроеніе доходило до того, что семья его обратилась къ помощи врача. Врачъ этотъ былъ Андрей Ив. Шингаревъ, утѣшавшій кающагося сѣкуна.

Какой могъ быть конецъ тому властвованью, гдѣ, начиная съ дирижера и кончая послѣднимъ стражникомъ — вся администрація, — энергію и торжество власти видѣла въ жестокости? Какъ было не отвѣчать бунтомъ этой власти, которая на широкія демонстраціи не имѣла другого отвѣта, какъ стрѣлять?

Крушеніе монархіи было отвѣтомъ на выстрѣлы въ народъ. Въѣдъ Волыпскій полкъ, это былъ тотъ, который стрѣлялъ въ толпу у часовни Гостинаго Двора.

Горе русскаго народа было то, что «не роптали его нѣмыя уста». — Онъ не умѣлъ демонстрировать, не умѣлъ оспаривать того, съ чѣмъ несогласенъ, не умѣлъ добиваться правъ, умѣлъ только бунтовать...

Кажется, и теперь тоже ничему не научился. — «Свобода, гордыхъ вдохновење, ея не вѣдаетъ народъ».

Вы сочинили образъ Витте, желавшаго двинуть крестьянскій вопросъ и оздоровить самодержавіе. Витте сторонникъ Штюрмера, Витте, заискивавшій у Мещерскаго (просилъ Мещерскаго примирить его съ Плеве за завтракомъ) и, въ награду своднику, разрѣшившій кредитъ въ 12 милл. Брянскому заводу. (Все это обнаружено было на судѣ. Дѣло было протащено лѣтомъ подъ шумокъ. И даже счетъ за вино къ завтраку былъ оплаченъ Брянскимъ заводомъ). — Брянскій заводъ далъ за это Мещерскому 300.000 и мѣсто директора Манусу. Хотите съ Штюрмеромъ, не прочь и съ Плеве. Витте не прочь былъ осѣдлатъ и крестьянскаго конька, какъ и не прочь былъ уничтожить помѣщичье землевладѣніе. Въ этомъ смыслѣ заказанъ былъ проектъ Кутлеру.

«Скоро не останется помѣщичьяго землевладѣнія болѣе 100 десятинъ», — говорилъ Витте Петрункевичу и Кошкину. — «И тогда намъ (власти) нечего будетъ разговаривать съ Вами. Ибо у Васъ не будетъ силы».

Штюрмеръ черезъ Витте объявилъ к.-д., что онъ отдаетъ имъ веревку и жиды.

Умница былъ Витте и умѣлъ повернуться къ Вамъ хорошими сторонами. Достоинствомъ его была готовность привлекать способныхъ людей. Но онъ легко спихивалъ ихъ какъ В. Н. Ковалевскаго, какъ Павла Ассекритовича Корсакова за подписанье Тверскаго адреса. Витте готовъ былъ взять Свѣшникова, уволеннаго изъ университета за сочувствіе студентамъ.

«Что я могу Вамъ дать?»

Свѣшниковъ просилъ мѣсто.

«Мѣру о студентахъ (сдачу въ солдаты), придумалъ я», — говорилъ Витте. — «Между нами нѣтъ сочувствія. По крестьянскому вопросу можемъ сойтись».

Вотъ онъ схватился за этотъ вопросъ. Можетъ быть онъ понялъ опасность этой психологій крестьянства, которая считала, что они народъ, а «есть господа», отъ которыхъ добра не жди.»

Эту психологию надо было побороть, воспитавъ чувство равноправія и достоинства, чувства поправнаго въ зародышѣ Д. А. Толстымъ съ А. Ш-ымъ, и чуждаго Николаю П-му.

Намъ не дано было работать съ крестьянами въ земствѣ, въ судѣ, въ волости. Власть строго оберегала переборки между сословіями. Дворяне этому аплодировали. Ну и дождались большевицкой ликвидаціи того, что, по совѣсти говоря, сами должны были ликвидировать: **н е р а в н о п р а в і я**.

У Витте было достоинство очень рѣдкое среди сановниковъ Н. П-го умъ. И не имѣя зазрѣнья совѣсти, онъ имѣлъ зазрѣнье ума.

Когда кончаю это письмо, нахожу только это мѣсто, чтобы сказать Вамъ, Василій Алексѣевичъ дорогой, сколь я цѣню Ваши мнѣнія, иногда ошибочныя, и Васъ самого больше всѣхъ.

**Ф. Р.**



## Изъ воспоминаній \*)

Было бы для меня большимъ несчастьемъ умереть, не рассказавъ о томъ событіи, которое было переломомъ въ моей личной судьбѣ и вмѣстѣ съ тѣмъ отмѣтило переломъ въ судьбѣ Россіи.

Я говорю объ адресѣ Тверскаго земства, по случаю вступленія на престолъ Императора Николая II-го, о несчастныхъ словахъ его по поводу адреса, опредѣлившихъ направленіе его царствованія въ первое десятилѣтіе 1895-1905 года.

Я пережилъ, — не скажу равнодушно, но спокойно, — ту лавину осужденія, которая обрушилась на меня вмѣстѣ съ репрессіей, но въ послѣднее время задѣтъ былъ тѣмъ неодобреніемъ со стороны людей, достойныхъ уваженія, о которыхъ повѣдалъ В. А. Маклаковъ, вспоминая о семействѣ Любенковыхъ \*). Такое неодобреніе было бы понятно въ устахъ молодыхъ людей, увлеченныхъ теоріей доброжелательнаго самодержавія, но не могло бы исходить отъ дѣятеля и сторонника реформъ Александра II-го какимъ былъ старикъ Любенковъ, пережившаго тяжелые годы реакціи 1881-1894 гг.

Попытное движеніе началось не сразу послѣ вступленія на престолъ Александра III-го. Манифестъ объ охранѣ самодержавія, отставка Лорисъ-Меликова, Милютина и Абазы, — были только вѣхи новаго направленія. Политика графа Игнатьева не сразу порывала съ реформаторскимъ попытками конца прошлаго царствованія. Просвѣтительное, а не притѣснительное направленіе Министерства Народнаго Просвѣщенія держалось, даже опредѣлялось при министрѣ Николаи. Абазу смѣнилъ просвѣщенный Бунге, самъ дѣятель реформы. Подушная подать, остатокъ крѣпостного порядка была отмѣнена, готовилось пониженіе

\*) Рукопись предоставлена въ распоряженіе «Совр. Зап.» дочерью покойнаго Ф. И. Родичева, А. Ф. Родичевой. Ред.

\*\*) «Совр. Зап.» кн. 41. Ред.

выкупныхъ платежей, вопросъ о переселеніяхъ (пожалуй, о земельной тѣснотѣ) не былъ снятъ съ очереди. Вопросъ о мѣстномъ управленіи (заключавшій въ себѣ и крестьянскій вопросъ) обсуждался въ такъ называемой Кохановской комиссіи, — надежды права еще не были убиты. Въ угоду Императору Александру III-му воздвигнута была новая агитація о борьбѣ съ пьянствомъ, какъ основѣ реформированной жизни.

Графъ Игнатъевъ оттиралъ эпоху реформъ осторожно. Печать, конечно, «обуздалъ», но не провозглашалъ себя наследникомъ Императора Николая Павловича, и, какъ славянофилъ, даже заговорилъ о земскомъ соборѣ, не противорѣчилъ надеждамъ народнымъ. Точку къ реформамъ, давно проповѣдуемую другомъ Царя ретроградомъ княземъ Мещерскимъ, поставило назначеніе Министромъ Внутреннихъ Дѣлъ графа Дмитрія Андреевича Толстого.

Едва два года прошло тогда, съ тѣхъ поръ какъ Россія праздновала, какъ Свѣтлое Воскресеніе, увольненіе графа Толстого отъ должности министра просвѣщенія. Года не прошло, какъ Зарайскій, Рязанской губерніи, съѣздъ землевладѣльцевъ для выбора земскихъ гласныхъ забаллотировалъ Толстого. Вспоминали записку его, подаренную Александру II-му въ защиту крѣпостного права.

Онъ самъ сдѣлалъ демонстрацію, взявъ въ правители канцеляріи Алатырскаго предводителя дворянства Пазухина. Пазухинъ, принадлежалъ къ тому дворянскому трио — Пазухинъ, Хвостовъ, Бехтѣевъ, — которое въ Кохановской комиссіи отстаивало точку зрѣнія сословности и дворянской власти въ уѣздѣ. Самъ Пазухинъ былъ человѣкъ безкорыстно-темныхъ настроеній. Онъ былъ добросовѣстный крѣпостникъ и думалъ, что весь народъ склоняется передъ авторитетомъ дворянства. — «Вѣдь, конечно, и на томъ свѣтѣ господа будутъ поставлены выше простонародья», — говорила ему его старая нянюшка, и Пазухинъ вѣрилъ, что въ этихъ словахъ скрывалась не иронія, а наивное вѣрованіе.

Расправа съ завѣтами реформъ пошла по всей линіи. Министромъ просвѣщенія былъ уже Деляновъ, откровенно признававшійся, что боится расширить Томскій университетъ изъ страха революціи. Объявленъ походъ на университеты и университетскую автономію. Печать была обрѣзана. Помню дни, когда въ Петербургѣ издавалась

только одна большая газета, «Новое Время», привѣтствовавшая дворянскую эру и власть «благорожденныхъ». «Отечественныя Записки», за проповѣдь народничества, были съ трескомъ запрещены. Объявленъ походъ на судебныя уставы, на Мировой судъ. Уничтожена Кохановская комиссія и въ Государственный Совѣтъ внесенъ проектъ положенія о земскихъ начальникахъ.

Государственный Совѣтъ, какъ и Сенатъ, въ тѣ годы былъ приближенъ къ старымъ дѣятелямъ реформы... Пазухинскій проектъ вызвалъ жестокую и дѣятельную оппозицію и наконецъ былъ отвергнутъ большинствомъ. Но Императоръ согласился съ меньшинствомъ и положилъ: отмѣнить Мировой судъ.

Врагъ, «Освобожденіе», былъ повергнутъ. Земскіе начальники возвѣщали новую эру — не законъ, а духъ новаго положенія долженъ руководить ими. «Мужики не сумѣли воспользоваться свободой, и вотъ Царь поставилъ насъ, чтобы подтянуть васъ», — такъ проповѣдывали рьяные начальники. «Пороть», — вотъ лозунгъ того времени. Пороли земскіе начальники оптомъ и демонстративно, пороли губернаторы и виновниковъ и правыхъ. Въ арміи тоже повѣяло духомъ тлѣнія. И старый воинъ временъ освобожденія, Драгомировъ, долженъ былъ звизать къ обузданію «рукоприкладства» и поучалъ командировъ, что, въ случаѣ бунта, дѣло арміи усмирять бунтовщиковъ, а не пороть усмиренныхъ.

Не только «близкая къ населенію» власть давалась дворянству, — давались и средства къ новой жизни. Стали вспоминать, какъ обидно терпѣло дворянство, когда при вступлѣ крестьянскихъ надѣловъ изъ суммъ, причитавшихся помѣщику, была вычтена вся сумма долга старому Опекунскому Совѣту. Чтобы вознаградить эту обиду, дворянамъ былъ устроенъ новый кредитъ — Дворянскій Банкъ, съ % % платежей по ссудамъ ниже, чѣмъ по ссудамъ Крестьянскаго Банка. Новая привилегія дворянъ. Новыя оцѣнки, новое повышение цѣнъ на землю.

Вновь появилась мода носить дворянскія фуражки съ краснымъ околышемъ. Изъ устъ дворянскихъ стала раздаваться фраза: «Мои крестьяне». Открылась новая эра — «дворянская», такъ и называемая. А льстецы называли Александра III-го мужикимъ Царемъ. Называли его Царемъ-Миротворцемъ. Можетъ быть установленіе добрыхъ

отношеній съ Французской Республикой и было актомъ миротворства, но надо помнить, что въ это царствованіе былъ моментъ, когда до войны было не такъ далеко. Вслѣдъ за извѣстіемъ о занятіи Болгарскимъ княземъ Александромъ южной Болгаріи по всѣмъ воинскимъ присутствіямъ были разосланы пакеты для волостныхъ правленій уѣзда, съ приказомъ: «Немедленно по полученіи телеграфнаго приказа разослать съ нарочнымъ пакетъ». — То готовилась мобилизація.

Режимъ по мысли и чувству князя Мещерскаго проводился послѣдовательно и неукоснительно во всѣхъ областяхъ жизни. Вспоминался стихъ Шевченко: «На всѣхъ языкахъ все молчить, бо благоденствуетъ». —

Глухо всюду, глухо всюду. Россія была на темномъ днѣ.

За 13 лѣтъ, съ 1881 по 1894 годъ, общественная жизнь, движеніе мысли шли понижаясь. Попытки сговора земскихъ людей дѣлались все рѣже и рѣже, все малолюднѣе были собранія реформистовъ.

Усните силы, вы ненужны,  
Усни ты, духъ, давно пора,  
Разсѣйтесь всѣ, кто были дружны  
Во имя правды и добра.

Въ 1894 году понеслись тревожные слухи о болѣзни Императора, все опредѣленнѣе. Зовутъ Захарына, говорятъ о нефритѣ, зовутъ отца Ивана Кронштадтскаго. Улучшенія здоровья нѣтъ. Царь ѣдетъ въ Крымъ. Ему все хуже и хуже... И, наконецъ, появляется извѣстіе о смерти Александра III.

Новый Царь вступаетъ на престолъ.

О молодомъ человѣкѣ ничего не знали. Онъ путешествовалъ на Востокъ вмѣстѣ со своимъ братомъ Георгіемъ. Въ Японіи полицейскій ударилъ его саблей по голови за непочтительное поведеніе въ храмѣ. Сенаторъ Барыковъ сочинилъ по этому случаю стихи:

Происшествіе въ Отсу  
Вразуми Царя съ Царицею.  
Сладко ль матери-отцу,  
Когда сына бьетъ полиція.

А царевичъ Николай,  
Когда царствовать придется,  
Ты почаще вспоминай,  
Какъ полиція дерется.

Помню, на обѣдахъ, называемыхъ обѣдами 19 февраля, допрашивали Ивана Ивановича Боргмана, преподававшаго Наслѣднику физику. «Ничего, мальчикъ добрый», — говорилъ Иванъ Ивановичъ и дипломатически прибавлялъ: «Вотъ братъ его Михаилъ очень хорошо учился».

Одинъ изъ сослуживцевъ Наслѣдника по полку рассказывалъ, что онъ былъ очень склоненъ къ насмѣшкѣ. Очевидно было, что молодой человѣкъ еще не опредѣлился. Впечатлѣніе было, что натура не злобная. Ожиданія доброжелательныхъ настроеній не были исключены: «Не можетъ быть, чтобы онъ не отозвался на свободный порывъ». — И зашевелились надежды.

Надо было дать тонъ, ноту движенію. Я составилъ проектъ обращенія къ Царю и подвергъ его обсужденію друзей, дополняя и измѣняя текстъ адреса. Помню, пожеланіе, чтобы закону подчинилось не одно населеніе, но и носители власти, вставлено было по совѣту моего друга Павла Асеегритовича Корсакова.

Принципальныхъ возраженій противъ самой мысли о подачѣ адреса никто не дѣлалъ.

---

8-го декабря 1894 года открылось Тверское Земское Собраніе.

Наканунѣ я прочелъ окончательный проектъ адреса въ собраніи единомышленниковъ. Адресъ, прошедшій уже черезъ всѣ критики, былъ единодушно одобренъ, вызвавъ только одно замѣчаніе Анастасіи Сергѣевны Петрункевичъ, предсказывавшей, что наибольшее неудовольствіе, или даже гнѣвъ, вызоветъ первая фраза адреса: о «началѣ служенія Царя русскому народу». (Ан. Сер. оказалась права. Въ этой фразѣ увидѣли дерзость. Тщетно мои защитники, изъ коихъ могу назвать Михаила Александровича Стаховича, указывали, что даже въ молитвѣ передъ коронаціей есть слово «служеніе»). Я заступился за эту фразу, выражавшую высокое представленіе о призваніи императорской власти. Меня одобрили.

При открытіи собранія починъ принадлежалъ земской управѣ. Но управа была безъ предсѣдателя. Борисъ Владиміровичъ Штюрмеръ, блистательно справившійся съ крамолой Тверскаго земства — тѣмъ легче, что никакой крамолы не было, — уже былъ назначенъ Новгородскимъ губернаторомъ. Обязанности предсѣдателя исполнялъ Александръ Алексѣевичъ Демьяновъ. Демьяновъ очень приятнымъ голосомъ произнесъ умную рѣчь о любви къ молодому Государю, о необходимости выразить ему чувства земскаго собранія. Послѣ этого я началъ свою рѣчь, содержанія которой не берусь теперь излагать. Привожу ее такъ, какъ она была записана въ протоколѣ:

«Съ нынѣшнимъ земскимъ собраніемъ мы вступаемъ въ новый періодъ истории. вмѣстѣ со всѣмъ народомъ Русскимъ мы пережили тревожные дни нынѣшней осени, вмѣстѣ со всѣмъ народомъ мы отдали долгъ печали, долгъ почтенія памяти Императора Александра III-го и вмѣстѣ со всѣмъ народомъ съ трепетомъ надежды услышали слово молодого Государя, въ которомъ столько свѣтлой вѣры, свѣтлаго упованія.

Мы не можемъ оставаться глухи къ этому призыву, раздавшемуся съ высоты престола, — къ призыву на работу для счастья русскаго народа. Мы не будемъ глухи и не останемся нѣмы. Передъ Государемъ Николаемъ II-мъ не мертвая страна, погруженная въ нѣмой покой и неподвижность безсилія. Передъ нимъ народъ, полный надеждъ, скрытой, еще не высказанной дѣятельной мысли, полный стремленія, чувства, полный живыхъ силъ, жаждущихъ простора и вѣры, требующей выраженія. Ее мы должны выразить. Мы должны высказать Государю надежды, которыя мы на немъ сосредоточиваемъ. Мы прежде всего желаемъ господства закона. Законъ, ясное выраженіе мысли и воли монарха, пусть господствуетъ среди насъ и пусть подчинятся ему всѣ безъ исключенія, больше всего и прежде всего представители власти. Это первое жизненное условіе мира и правды. Счастье народа въ свободномъ ростѣ его живыхъ силъ, достоинства личности, въ сознательной дѣятельности. Только въ живомъ, дѣятельномъ, свободномъ союзномъ трудѣ растетъ счастье народа, счастье каждого. Эта дѣятельность, прапа на нее отдѣльныхъ учреждений какъ и отдѣльныхъ лицъ, пусть будутъ сохранены и неизблемы. Мысль народная, потребности наши должны находить выраженія. Мы надѣемся, что голосъ этихъ потребностей, выраженіе этой мысли всегда будутъ услышаны Государемъ, всегда свободно и непосредственно по праву и безъ препятствій дойдутъ до него. Мы ждемъ развитія и свободнаго роста живой общественной работы, дающей народной жизни содержаніе. Если собраніе встрѣчаетъ эти мысли, эти чувства согласіемъ, я позволю себѣ предложить проектъ адреса».

Гласный князь Путятинъ выразилъ сомнѣніе въ правѣ собранія

обращаться къ Императору съ адресомъ. Его прервали голоса большинства гласныхъ, не сомнѣвавшихся въ этомъ правѣ и настоятельно требовавшихъ чтенія адреса.

Гласный Родичевъ читалъ:

«Ваше Императорское Величество,

Въ знаменательные дни начала служенія Вашего русскому народу земство Тверской губерніи привѣтствуетъ Васъ привѣтомъ вѣрно-подданныхъ. Раздѣляя Вашу скорбь, Государь, мы надѣемся, что въ народной любви, въ силѣ, надеждѣ и вѣрѣ народа, обращенныхъ къ Вамъ, Вы почерпнете успокоеніе въ горѣ, столь неожиданно постигшемъ Васъ и страну Вашу и найдете твердую опору въ томъ трудномъ подвигѣ, который возложенъ на Васъ Провидѣніемъ.

Съ благодарностью выслушалъ народъ русскій тѣ знаменательныя слова, которыми Ваше Величество повѣстили о вступленіи своемъ на Россійскій престоль. Мы вмѣстѣ со всѣмъ народомъ русскимъ проникаемся благодарностью и уповаемъ на успѣхъ трудовъ Вашихъ въ достиженіи великой цѣли, Вами поставленной: устроить счастье Вашихъ вѣрноподданныхъ. Мы питаемъ надежду, что съ высоты престола будетъ слышанъ голосъ нужды народной. Мы уповаемъ, что счастье наше будетъ расти и крѣпнуть при неуклонномъ исполненіи закона, ибо законъ, представляющій въ Россіи исполненіе Монаршей воли, долженъ стоять выше случайныхъ видовъ отдѣльныхъ представителей этой власти. Мы горячо вѣримъ, что права отдѣльныхъ лицъ и права общественныхъ учреждений будутъ незыблемо охраняемы.

Мы ждемъ, Государь, возможности и права для общественныхъ учреждений выражать свое мнѣніе по вопросамъ ихъ касающимся, дабы до высоты престола могло достигать выраженіе потребностей и мыслей не только представителей администраціи, но и народа русскаго. Мы ждемъ, Государь, что въ Ваше царствованіе Россія двинется впередъ по пути мира и правды со всѣмъ развитіемъ живыхъ общественныхъ силъ. Мы вѣримъ, что въ общеніи съ представителями всѣхъ сословій, равно преданныхъ престолу и отечеству, власть Вашего Величества найдетъ новый источникъ силы и залогъ успѣха въ исполненіи великодушныхъ предначертаній Вашего Императорскаго Величества».

Среди грома рукоплесканій и единодушнаго «ура» гласный Родичевъ заключилъ чтеніе словами:

«Господа, въ настоящую минуту наши надежда, наша вѣра въ будущее, наши стремленія, всѣ обращены къ Николаю II-му. Николаю II-му наше «ура!» — Долго не смолкало «ура» и апплодисменты по всемъ залѣ собранія.

Рѣшено было послать адресъ телеграммой на имя Министра Императорскаго Двора.

«Да такъ-ли? Надо-ли посылать адресъ телеграммой?» — спрашиваетъ предсѣдатель собранія Трубниковъ.

«Всегда, всегда такъ дѣлалось», — успокаивалъ его ветеранъ дворянскихъ собраній Алексѣй Андриановичъ Головачевъ. Трубниковъ подписалъ телеграмму и она была послана.

Порывъ былъ радостный и единодушный. Для привѣтствія Императору избрана была депутація. Какъ авторъ адреса, я былъ избранъ за председателя, одинъ членъ отъ лѣвыхъ, А. А. Головачевъ, одинъ членъ отъ правыхъ, Осташковскій предводитель дворянства Уткинъ. Въ поднятомъ настроеніи разошлись мы по домамъ.

---

Не помню, на другой или на третій день произошла перемѣна декорацій. Министръ Двора сообщилъ о полученіи телеграммы. Ему не надлежало принимать такимъ образомъ посланный адресъ. Адресъ Государю Императору долженъ быть представленъ черезъ губернатора и подписанъ не только председателемъ, но и всѣми гласными.

Въ слѣдующемъ засѣданіи Земскаго Собранія, гдѣ былъ объявленъ отвѣтъ Министра Двора, начались заявленія, отрицающія прежнее согласіе: единогласіе, кажется, запротоколированное.

Особенно былъ взволнованъ старикъ князь Путятинъ, собственникъ Бологого. Онъ говорилъ, что не понялъ адреса, другой гласный говорилъ, что не слышалъ. Очевидно, послѣдовали давленіе и предупрежденіе.

Пришлось снова читать адресъ.

На этотъ разъ, два князя Путятинны бурно протестуютъ. Но адресъ еще разъ принятъ большинствомъ и рѣшено представить его черезъ Министра Внутреннихъ Дѣлъ. Адресъ переписанъ съ особою тщательностью на пергаментной бумагѣ. И надо его подписывать. Ясно уже, что подписание адреса является актомъ неблагонадежности. Милѣйшій гласный М., служащій въ Дворянскомъ Банкѣ, говоритъ, что не можетъ его подписать, опасаясь начальства. Послѣдствія показали, сколь правъ онъ былъ. Гласный Гаслеръ, впоследствии председатель Земской Управы, не хотѣлъ подписывать адресъ, ибо въ немъ нѣтъ прямого требованія конституціи.

Подписание адреса было испытаніемъ собранія. Если бы не набралось большинства подписавшихся, вся затѣя адреса рухнула бы. Большинство — 35 подписей — набра-



лось таки. Адресъ былъ подписанъ не только такъ называемыми «лѣвыми», но и добросовѣстными консерваторами, братьями Квашинными-Самаринными.

Пріемъ депутацій былъ назначенъ на 17 января 1895 г. Исторія адреса произвела въ Петербургѣ большое волненіе. Въ земской средѣ очень волновались, пробовали подготовить адреса другихъ земствъ. Въ Новгородѣ былъ составленъ проектъ адреса съ болѣе опредѣленными пожеланіями. Предводитель дворянства князь Борисъ Александровичъ Васильчиковъ усиленно старался не допустить адреса, непріятнаго начальству. Въ Петербургѣ интересовались исторіей адреса. Баронесса Иксуль заинтересовалась мною и графъ Николай Павловичъ Игнатьевъ хвалился знакомствомъ со мной (что не совсѣмъ было правдой. Правдой было то, что я питалъ къ нему добрыя чувства, за нежеланіе выслать меня въ 1881 году, за рѣчь о Земскомъ Соборѣ).

Судили и редили объ отношеніяхъ молодого Императора къ Тверскому адресу. На одномъ собраніи земцевъ у Дмитрія Васильевича Стасова, гдѣ высказывались сангвиническія надежды, графъ Петръ Александровичъ Гейденъ напомнилъ стихотвореніе Гейне о швабѣ (Гервергѣ), который просилъ короля возвѣстить народу свободу. — «Этого у меня нѣтъ», — отвѣчалъ король, — «а вотъ я тебѣ дамъ двухъ жандармовъ, которые проводятъ тебя до границы».

Графъ Гейденъ оказался пророкомъ.

Къ 17-му января, когда былъ назначенъ пріемъ депутацій, стали сѣзжаться депутаты.

Пріѣхали изъ Тверской губерніи Алексѣй Адриановичъ Головачевъ, Степанъ Дмитріевичъ Квашинъ-Самаринъ, избранный председателемъ Губернской Управы, но еще не утвержденный, и Николай Петровичъ Оленинъ, губернский предводитель дворянства. Оленину былъ назначенъ пріемъ у Министра Внутреннихъ дѣлъ, Ивана Николаевича Дурново.

Степанъ Дмитріевичъ Самаринъ и я пошли въ Hôtel de France, куда Оленинъ долженъ былъ вернуться отъ Министра. Мы сидѣли у madame Олениной, вмѣстѣ съ офице-

ромъ изъ казаковъ и ждали возвращенія Николая Петро-  
вича.

Онъ вернулся, сѣлъ на диванъ, опустивъ голову.

«Охъ, охъ, — худо, совсѣмъ худо! — Царь недоволенъ и гнѣвенъ! Всѣмъ предводителямъ выговоръ, а вамъ», — обращаясь ко мнѣ, — «запрещеніе земской дѣятельности. Никого изъ выбранныхъ въ управу не утверждать!» (Выбраны были предсѣдателемъ С. Д. Квашининъ-Самаринъ, членами А. А. Демьяновъ и Харламовъ).

«Ой, бѣда, ахъ, мнѣ тяжело!» говорилъ Оленинъ. И я, потерпѣвшій, долженъ былъ его утѣшать.

Совсѣмъ разстроены были Степанъ Дмитріевичъ Квашининъ-Самаринъ. — «Вотъ, перестали меня слушаться, смотрите, что вышло». Степанъ Дмитріевичъ чуть не плакалъ, но завтракъ въ Hôtel de France сѣлъ исправно и немного успокоился. — «Сейчасъ же ѣду домой, говорилъ онъ, дня не останусь въ этомъ скверномъ Питерѣ».

Приѣхавъ домой, я засталъ у себя посланнаго отъ Уткина, просившаго меня передать ему блюдо и солонку, привезенныя изъ Твери.

Ему, Уткину, одному выданъ билетъ на вѣздъ въ Зимній Дворецъ, а я и Головачевъ не будемъ допущены въ депутацію.

Первый разговоръ о приѣмѣ депутаціи я слышалъ изъ устъ конвойнаго офицера. Онъ наивно негодовалъ: «Что это такое? Наши казачки (Терскаго войска) сто верстъ на саняхъ сдѣлали до станціи, спѣшили безъ отдыха, и чѣмъ же Царь ихъ встрѣтилъ? Кто то ему что то наплелъ про участіе въ управленіи, и онъ ну браниться. Только наши отъ него и видѣли».

Тогда же я слышалъ разговоръ очевидца, Ивана Григорьевича Жуковского, изъ Уфы. Во-первыхъ, представленіе Уткина, единственнаго делегата отъ Твери, ознаменовалось приключеніемъ. Онъ выронилъ блюдо, круглое, оно покатилося, хлѣбъ-соль упали, соль просыпалась и Уткинъ представляя комическую фигуру, ловящую блюдо. Свою рѣчь Императоръ прокричалъ, начавъ читать ее повидному по запискѣ, а кончилъ наизусть.

Вотъ что онъ сказалъ:

«Я радъ видѣть представителей всѣхъ сословій, съѣхавшихся для заявленія вѣрноподданическихъ чувствъ. Вѣрю искренности этихъ

чувствъ, искони присущихъ каждому русскому. Но мнѣ извѣстно, что въ послѣднее время слышались въ нѣкоторыхъ земскихъ собраніяхъ голоса людей, увлекшихся безсмысленными мечтаніями объ участіи земства въ дѣлахъ внутренняго управления. Пусть всѣ знаютъ, что я, посвящая всѣ силы благу народному, буду охранять начало самодержавія такъ же твердо и неуклонно, какъ охранялъ мой незабвенный покойный родитель.

Какой эффектъ произвела эта рѣчь?

Часть дворянъ, имѣя во главѣ Тульского губернскаго предводителя Арсеньева, отправилась прямо изъ Зимняго Дворца въ Казанскій соборъ служить благодарственный молебенъ. Другой привѣтъ Императоръ получилъ отъ старшаго друга своего и поощрителя, Императора Вильгельма II-го.

Хожденіе въ Казанскій соборъ, или воздержаніе отъ этого хожденія, наложили печать на участниковъ делегаций. Впослѣдствіи, когда князь Святополкъ-Мирскій былъ назначенъ Министромъ Внутреннихъ дѣлъ, вспомнили, что онъ, будучи 17-го января въ Зимнемъ Дворцѣ въ качествѣ Харьковскаго предводителя дворянства, не пошелъ въ Казанскій соборъ.

Я лично сразу оказался на положеніи опальнаго. Защитники мои насѣдали на меня и даже на жену мою, побуждая ее писать письмо Царю или Императрицѣ съ просьбой о помилованіи. Adresse квалифицировался какъ «maladresse».

Но и противное мнѣніе нашло свое выраженіе. 19-го января, черезъ два дня послѣ произнесенія рѣчи о «безсмысленныхъ мечтаніяхъ», появилось «Открытое письмо къ Николаю II-му».

Письмо начиналось съ указанія на то, что земству незачѣмъ было мечтать объ участіи въ управленіи, потому что оно и такъ участвовало въ немъ. Указывало, что слова Царя бьютъ по самымъ скромнымъ надеждамъ, возвѣщаютъ упорство въ сопротивленіи развитію мысли и самодѣятельности общества, отождествляютъ самодержавіе съ чиновничьимъ, сословнымъ режимомъ и вызываютъ на борьбу всѣ живыя силы. Письмо оканчивалось словами, обращенными къ Царю: — «Вы первый начали борьбу и борьба не заставитъ себя ждать».

Молва приписывала мнѣ авторство письма. Но не я писалъ его. Оно написано въ квартирѣ Александры Михайловны Калмыковой, у которой жилъ тогда Петръ Бернгар-

довичъ Струве и, кажется, А. Н. Потресовъ \*). Князь Дмитрій Ивановичъ Шаховской принесъ мнѣ на прочтеніе и цензуру проектъ этого письма. Я его одобрилъ цѣликомъ и сомнѣвался только въ послѣдней фразѣ. Я не былъ увѣренъ въ томъ, что борьба не заставитъ себя ждать. Молодые люди имѣли больше вѣры, и фраза о борьбѣ осталась.

У старыхъ друзей зародилась мысль въ открытой печати отвѣтить на рѣчь Царя. Иванъ Ильичъ Петрункевичъ брался доставить рукопись въ Женеву, гдѣ у него былъ пріятель наборщикъ украинецъ. Брошюру взялся написать очень взволнованный Владиміръ Сергѣевичъ Соловьевъ. Онъ носился съ мыслью высказаться съ полной опредѣленностью, навлечь на себя гоненіе и тогда уѣхать совсѣмъ изъ Россіи, чтобы писать на полной свободѣ.

Соловьевъ долго колебался и наконецъ кончилъ тѣмъ, что напечаталъ въ «Вѣстникѣ Европы» статью до того неясную, что ее можно было истолковать какъ оправданіе самодержавія, съ религіозной точки зрѣнія.

Брошюру пришлось писать мнѣ. Я носилъ свое писаніе къ Соловьеву, онъ его одобрилъ, и брошюра была напечатана \*\*).

Я забылъ о ней. И черезъ 35 лѣтъ отыскалъ ее въ Лозаннѣ...

**Ф. Родичевъ.**

\*) Въ письмѣ къ А. Ф. Родичевой (отъ 23 іюня 1933 г.) П. Б. Струве сообщаетъ: «Открытое письмо къ Николаю II отъ первого до послѣдняго слова написано мною и мы распространили его при участіи моихъ друзей. Федоръ Измайловичъ въ своей записи фактически ошибается въ двухъ отношеніяхъ: 1) въ упоминаніи, что письмо подверглось его предварительному просмотру (цензурѣ). Этого не было и не могло быть, по условіямъ свѣтности, даже осуществимо. 2) А. М. Потресовъ жилъ не у А. М. Калмыковой (какъ я), а имѣлъ собственную квартиру въ Озерномъ переулкѣ».

\*\*\*) Брошюра называется: Первая царская рѣчь. Le premier discours du Tsar. Украинская типографія. Женева, 1895 г.

## Трагедія русской культуры

То, что Россія отстала отъ Европы въ своемъ развитіи и потомъ должна была наспѣхъ догонять Европу, было величайшимъ несчастьемъ, поскольку дѣло идетъ о Цивилизації; поскольку же дѣло идетъ о Культурѣ, — это было величайшимъ даромъ судьбы: и у культуры есть свой прогрессъ, особаго рода, — безъ законмѣрности, безъ прямолинейности, безъ необходимости осуществленія сознательно поставленныхъ цѣлей, — состоящей въ накопленіи результатовъ духовнаго опыта, въ обогащеніи запаса духовныхъ стимуловъ и творческихъ возможностей. Именно въ этомъ отношеніи Россія XIX вѣка была въ болѣе выгодномъ положеніи, нежели Италія XV-го вѣка, Испанія, Франція и Англія XVI-XVII вв., Германія — второй половины XVIII-го. То же, что катастрофа, переживаемая русской цивилизаціей, подвергаетъ смертельной опасности ея культуру, для послѣдней можетъ быть и несчастье, но ужъ конечно не просто несчастный случай. Культура по своей природѣ трагична, и потому ей несвойственно протекать безмятежно, идиллически, безъ препонъ и опасностей: тогда ей грозитъ уже самая страшная и неодолимая опасность — быть незамѣтно, исподволь засосанной цивилизаціей, какъ это и случилось послѣдовательно съ рядомъ европейскихъ культуръ. Очутившись ихъ наслѣдницей, русская культура распорядилась своими богатствами съ истинно царственной свободой. Въ планѣ Культуры продукты человѣческой дѣятельности, такъ сказать, изъяты изъ времени: они обладаютъ вѣчной цѣнностью, или лишены ея вовсе. Они общечеловѣчны и всемірны. Именно таковыми они стали въ Россіи — знакъ, что русская культура явилась «чистой» культурой, безъ примѣси «цивилизации». Исторія русской литературы классическаго періода содержитъ рядъ примѣровъ, подтверждающихъ это. Такъ, разрабатывая мотивы, формы, «жанры», заимствованные изъ западныхъ литературъ, русская совершенно не

считается съ ихъ эволюціей, съ ихъ хронологіей, а если считается, то лишь чисто внѣшнимъ образомъ. Достоевскій пишетъ романы, какъ будто подчиняясь модѣ своего времени, когда романъ вытѣснилъ почти безъ остатка всѣ прочіе жанры. Онъ заимствуетъ, не стѣсняясь, что ему надо, у Бальзака и у Дикенса, но все же для его творчества характерно, во-первыхъ, то, что, съ точки зрѣнія композиціи и сюжетовъ, его романъ восходитъ къ уже тогда устарѣлому жанру «романа ужасовъ», а, во-вторыхъ, что въ сущности — его романъ вовсе не романъ, т. е. изображение эмпирической жизни, а трагедія, гдѣ дѣйствуютъ — внѣ времени и внѣ пространства — не эмпирическіе люди, а ихъ духовныя субстанціи, ихъ, уже «ставшіе», а не еще «становящіеся» характеры. Какъ для Достоевскаго, для Гоголя нѣтъ устарѣлыхъ, обветшалыхъ приемовъ и формъ. Съ формальной стороны «Мертвыя Души» современны Жиль-Блазу или «Roman Comique» Скаррона, а «Женитьба» и «Ревизоръ» — итальянской комедіи XVI вѣка. Всѣ эти, начиная съ классической древности, хотяякіе жанры литературы «низшаго стіля», отвергнутые «изящнымъ вкусомъ», оказались, у Достоевскаго и у Гоголя, адекватными ихъ видѣнію міра, полными символическаго смысла. Мотивъ *qui pro quo*, выдуманный для забавы, выполнявшій вульгарную функцію «головоломки», въ «Ревизорѣ» символизируетъ духовную слѣпоту гоголевскихъ каррикатурныхъ монаховъ, никакъ не «представляющихъ» Космоса, — отчего и могъ принять городничій «сосульку, тряпку» за «важную особу». И замѣчательно, какъ, осмысливая любой приемъ, использованный казалось-бы до послѣдней возможности, Гоголь тѣмъ самымъ находитъ новые варианты его. Такъ, напримѣръ, испоконъ вѣковъ главнымъ дѣйствующимъ лицомъ комедій былъ расторопный, находчивый «слуга» или «другъ», который «устраивалъ счастье» любовниковъ. Но Гоголю первому пришлось въ голову заставить «друга» (Кочкаревъ) дѣйствовать по его собственной инициативѣ и притомъ безъ нужды, чѣмъ онъ создалъ совершенно новый комическій эффектъ, вѣрнѣе, просто «забавное» дѣлалъ комическимъ.

Колоссальные размѣры полученнаго Россіей наслѣдства и полная свобода распоряженія имъ, — что объясняется вовсе не отсутствіемъ культурной традиціи (потенціально русскій народъ принадлежалъ всегда къ европейскому культурному кругу, будучи связанъ съ нимъ един-

ством вѣры, основою и источникомъ культуры; культурная же традиція, въ подобныхъ случаяхъ, усваивается сразу и полностью), но отсутствіемъ порожденной культурою рутинны, — обусловили собою необычайное, исключительное совершенствѣ русской культуры. Она явилась подлинной культурой свершеній, осуществленій, апогеємъ европейской культуры. Для того, чтобы убѣдиться въ этомъ, недостаточно засвидѣтельствовать фактъ все усиливающегося ея вліянія: ибо каждая культура, въ моментъ своего расцвѣта, неотразимо воздѣйствуетъ на другія. Къ тому же вліяніе это все еще далеко не соотвѣтствуетъ собственной цѣнности русской культуры: Пушкинъ остается, внѣ Россіи, невѣдомой величиною. Культурные факты должны быть оцѣниваемы сами по себѣ. Я останавлиюсь на одномъ примѣрѣ, особо показательномъ.

Культура есть творческое самораскрытіе личности во внѣ, т. е. тѣмъ самымъ преодоленіе ея ограниченности, приобщеніе ея къ Космосу, къ Всеединому и вмѣстѣ съ тѣмъ ея самоутвержденіе — задача, въ планѣ земного бытія, трагическая, ибо внутренне-противорѣчивая: лишь въ предѣлѣ, т. е. въ Богѣ, мыслимо сліяніе индивидуума съ Цѣлымъ и вмѣстѣ съ тѣмъ сохраненіе его индивидуальности — болѣе того: окончательное и полное обрѣтеніе ея. Въ этомъ — смыслъ таинственнаго изреченія, что для того, чтобы спасти свою душу, надо погубить ее. Чѣмъ зрѣлѣе культура, тѣмъ отчетливѣе выступаетъ ея трагическая проблематика, тѣмъ неотразимѣе она навязывается сознанію — и тѣмъ настоятельнѣе потребность освободиться отъ угнетающей духъ тревоги — путемъ ли мистическаго экстаза или философской рефлексии, или художественнаго творчества, ухода въ міръ, въ которомъ личность царствуетъ, ибо она сама создала его. Но уходъ отъ трагедіи — не исходъ изъ нея, не разрѣшеніе ея. Признакъ полной зрѣлости культуры, что художникъ не находитъ успокоенія въ своемъ искусствѣ. Онъ или отрекается отъ него, какъ Толстой, какъ Микель-Анджело, или избираетъ объектомъ воплощенія въ искусствѣ то, что этому искусству, всякому искусству, даетъ начало. Художественное произведеніе, міръ завершенный, абсолютно-гармоническій, образъ царства Божія, должно тогда имѣть своей темой свое собственное рожденіе изъ душевнаго хаоса художника. Міръ, гдѣ художникъ всемогущъ, долженъ явиться символомъ его безсилія. Эту задачу, казалось бы, неразрѣшимую — таковы всѣ «по-

слѣднія» задачи, — разрѣшилъ Бунинъ въ недавно появившейся (Совр. Зап. ки. 52) части «Жизни Арсеньева». Подобно Прустовскому «герою», Арсеньевъ проходитъ, такъ сказать, два параллельныхъ курса: онъ учится жить — прежде всего любить — и писать. Но у Пруста этотъ параллелизмъ кажущійся, такъ какъ обѣ линіи движутся въ двухъ разныхъ плоскостяхъ, у Бунина-же онѣ лежатъ въ одной плоскости. Education Sentimentale Прустовскаго Я такого рода, что мы не видимъ ея органической связи съ его художнической аскезой. Его любовь безблагодатна, эгоистична. Напротивъ, Арсеньевымъ владѣетъ вертеровскій, руссоистскій паѳосъ: именно эта его мистическая тревога, его стремленіе все любовно усвоить себѣ, любовью ко всему пріобщиться — какъ у Вертера, и у него любовь къ Женщинѣ и любовь къ Природѣ одно чувство, — обуславливаетъ собою его *idée fixe*: все замѣтить, все записать. И намъ становится понятенъ глубокой философскій смыслъ его восторга, когда онъ дѣлаетъ открытіе, что носъ пропойцы похожъ на клубнику, — восторга Гете и Леонардо-да-Винчи, открывающихъ связи между формами вещей, прозрѣвающихъ породившую ихъ Перво-форму, и въ своей художнической интуиціи обрѣтающихъ освобожденіе, преодоленіе тоски, порождаемой сознаниемъ невозможности, въ планѣ эмпирическаго бытія, осуществити единеніе личности съ Космосомъ, той тоски, той душевной муки, которой не выдержалъ Вертеръ. Понятно и бѣшенство, въ которое приводитъ Арсеньева всякое непониманіе, всякая ложь, фальшь, подмѣна настоящаго условнымъ, имѣющимъ одну лишь видимость — въ искусствѣ ли или въ человѣческихъ отношеніяхъ. Съ гениальной чуткостью попалъ Бунинъ на форму, позволяющую выразить все это такъ, что каждый образъ, каждая деталь равно необходимы какъ въ художественномъ планѣ, такъ и въ отвлеченномъ, т. е. такъ, что все имѣетъ символическій смыслъ и нѣтъ ни единого символа, который бы граничилъ съ аллегоріей, — форму воспоминаній. При этомъ Бунинъ не увлекается «поисками утраченнаго времени», не реконструируетъ прошлаго и не разрѣшаетъ вопросовъ психологій воспоминанія: онъ вспоминаетъ такъ, какъ мы вспоминаемъ на самомъ дѣлѣ, импрессионистически. Разрозненные, случайные; одинъ по отношенію къ другому, объекты воспріятія въ памяти, такъ сказать, разволлощаются и элементы ихъ сочетаются въ новые, творимые па-



мятью образы, объединяясь общим эмоциональным тоном и как-бы возникая из самой дымки воспоминаний, являющейся в данном случае художественной идеею, тѣмъ колоритомъ, тѣмъ неопредѣленнымъ «пятномъ» на холстѣ, изъ котораго, согласно требованію Леонардо-да-Винчи, должны возникать отдѣльныя детали картины.

\*

\*\*

У каждаго народа, наряду съ великими писателями, и одновременно съ ними, имѣются и невеликіе — средніе и малые. Но у каждаго народа, обладающаго классической литературой, существуетъ извѣстный уровень литературной грамотности, ниже котораго не спускается ни одинъ изъ пишущихъ — уже просто потому, что въ противномъ случаѣ онъ не нашелъ бы ни издателя, ни читателя. Въ Россіи такого уровня не было и нѣтъ. Въ томъ же самомъ словѣ образованныхъ людей обращаются, наряду съ произведеніями русскихъ классиковъ, творенія Брешко-Брешковскаго, кн. Бебутовой, г-жи Лаппо-Данилевской. Болѣе того, есть читатели, способные читать у нея, какъ «баронъ Оскаръ любовался Лелей, а она откровенно восхищалась окружавшей ее природой», какъ у одного изъ героев «ледяное выраженіе лица смѣнилось глубокимъ страданіемъ», какъ героиня «горячими какъ пламя руками обнимала свои колѣни»; когда дочитываешь до такого признанія: «я эстетъ; я добавляю не только страсти, но и чувства» (романъ «Улыбки Счастья»), — не вѣришь себѣ, переживаешь нѣчто, подобное вѣроятно тому, что переживаетъ человѣкъ, присутствующій при совершеніи чуда. Въ романѣ г-жи Лаппо-Данилевской «Поруганный» (въ скобкахъ поясненіе: *le conspué*) герой (это, кстати сказать, человѣкъ «равнодушный къ запятаннымъ брюкамъ») даетъ «волю страстямъ, олушешившимъ всѣ плоды его упорной борьбы съ самимъ собою»; а однажды у него «пробудилась подозрительная (по смыслу выходитъ, что это значитъ: вызванная подозрѣніемъ) тревога». Героиня романа являетъ собою настоящее чудо природы, ибо у нея «надъ алой и пухлой верхней губой темнѣлъ пушокъ, блестящіе ровные влажные зубы». Великолѣпенъ тамъ принадлежащій героинѣ «желтый халатъ, особенно

ярко всколыхнувшій въ немъ (любовникъ) рой дорогихъ, любимыхъ переживаній». Въ томъ-же романѣ есть еще нѣсколько мѣстъ, особо показательныхъ: «Ты что же недовольна видишь меня?» «Жизненная ярмарка». «Отъ неожиданности встрѣтить его она вспыхнула». «Въ сознательности дурныхъ поступковъ (вм. сознаниі)... заложено страданіе». Это — не просто безграмотное сочетаніе несочетаемыхъ по смыслу словъ. Это — архаизмы, пережитки характернѣйшихъ чертъ литературной рѣчи до-Пушкинскаго и даже до-Карамзинскаго періода.

Это подводитъ насъ къ еще одной особенности русскаго литературнаго развитія. У каждаго народа, обладающаго классической литературой, имѣется общій языкъ, языкъ, на которомъ говорятъ сколько-нибудь образованные люди, на которомъ пишутся и печатаются книги. Наряду съ этимъ языкомъ существуетъ «argots», говоры; въ домашнемъ языкѣ могутъ попадаться провинциализмы, архаизмы, все же: невозможно себѣ представить, чтобы напр., во Франціи сейчасъ вышла въ печати книга, написанная языкомъ Раблэ, или въ Германіи — языкомъ Ганса Сакса. А въ Россіи еще до Революціи перепечатывалась «Исторія о храбромъ Рыцарѣ Французѣ Венціанѣ и о прекрасной Королевѣ Ренцывенѣ» \*), попавшая въ Россію изъ Польши въ XVIII вѣкѣ, и притомъ безъ какихъ бы то ни было измѣненій. Въ видѣ образчика приведу объясненіе Французля съ Ренцывеною:

«Время для нихъ было столь коротко, что они въ восхитительныхъ своихъ разговорахъ не могли примѣчать теченіе онаго. Ренцывена жаловалась Французлю на его прежнюю суровость и томностію своихъ взоровъ изображала ему свое чувствованіе радости о полученіи его сердца. Она изыясняла ему ...сколь чувствительно ей было его безпристрастіе (=холодность)... Все сіе она кончила восхищеніемъ своимъ, бросаясь въ объятія къ Французлю. Они не могли насытиться нѣжнѣйшими поцалуями. Французль старался извиниться въ прежнихъ своихъ поступкахъ должностію (=долгомъ) своего геройскаго сердца и законами рыцарства... и т. д.

Къ нашему общему языку, языку Пушкина, этотъ языкъ относится такъ же, какъ языкъ Раблэ къ общему француз-

\*) Я имѣю подъ руками изданіе Сытина, 1913 года.

скому. Обычное представление, что книги этого рода читалъ только «мужикъ», добывавшій ихъ на «базарѣ», вмѣсто «Бѣлинскаго и Гоголя», лишь отчасти соотвѣтствуетъ дѣйствительности. Книги писанныя такимъ-же точно языкомъ, что и «Францыль Венціанъ», языкомъ, бывшимъ общимъ для Державина и его современниковъ, въ изобиліи хранились въ бібліотекахъ дворянскихъ усадебъ, читались дворянами, отъ нихъ переходили къ ихъ дворовымъ — и ихъ языковое вліяніе перебивало собою вліяніе образцовъ новаго, послѣ-карамзинскаго языка. Немало арханизмовъ, какихъ нѣтъ уже у Пушкина, Лермонтова, Грибоѣдова можно указать въ языкѣ Гоголя, Толстого, Тургенева, Достоевскаго, причемъ у каждаго изъ нихъ свои архаизмы, поддержанные, очевидно семейной или областной языковой традиціей \*). Въ бытовой же, разговорной рѣчи образцовыхъ русскихъ людей того же времени, насколько можно судить по памятникамъ домашней письменности — дневникамъ, письмамъ — эти архаизмы попадались гораздо чаще. «Мой отецъ вспоминаетъ И. А. Бунинъ, обычно говорилъ прекраснымъ русскимъ языкомъ, простымъ и правильнымъ. Но иногда вдругъ начиналъ говорить въ такомъ родѣ: Я въ тотъ вечеръ былъ монтированъ, игралъ отчаяно... Мы съ нимъ встрѣчались на охотѣ. Онъ самъ рекомендовалъ себя въ мое знакомство» (Записи, Посл. Нов. 10 іюля, 32). Въ замѣткахъ, писанныхъ въ 80-хъ годахъ прошлаго вѣка извѣстнымъ историкомъ Малороссіи А. М. Лазаревскимъ, я нашелъ: «Гамалѣя о б р а з о в а л с я (=развился, сложился, — общепотреб. въ XVIII ст.) въ к а в а л е р а и н д у с т р і и» (Укр. археогр. Сборник, II, 65). Архаизмы менѣе яркіе, но все же могущіе быть датированными XVIII-мъ вѣкомъ, встрѣчаются и по сей день въ рѣчи пожилыхъ ѣлюдей. Такъ языкъ отразилъ своими особенностями особенности культуры того общественнаго слоя, который явился лономъ классической русской литературы.

Соціологическое строеніе этого лона опредѣлило собою характеръ зачатой въ немъ литературы, т. е., поскольку литература была главнымъ проявленіемъ культуры, характеръ этой послѣдней. Вообще говоря, для Россіи, въ пері-

\*) Въ зап.-европейской литературѣ можно указать, если не ошибусь, только одну параллель этому: чуть замѣтные провинціализмы у коренного нормандца Флобера.

одъ ея культурнаго расцвѣта, харатерно то, что носителя ея культуры не образовывали «общества», что эта культура не имѣла никакого «центра», никакой «инстанціи» — въ отличіе отъ западно-европейской, формировавшейся въ «Академіяхъ», «салонахъ», при «дворахъ». Екатерининскій «Эрмитажъ», «Арзамасъ», шишковская «Бесѣда» — все это были эфемериды, и вліяніе ихъ было ничтожно. Разсѣянная по своимъ «гнѣздамъ», въ рѣдкихъ случаяхъ объединявшаяся въ малочисленныхъ замкнутыхъ «кружкахъ», русская интеллигенція въ теченіе очень долгаго времени была лишена возможности живого, непосредственнаго обмѣна мыслями. Извѣстна роль, сыгранная въ Европѣ, въ качествѣ культурнаго фактора, разговоро м ѣ. Значеніе «разговора» сознавалось и въ Россіи. Писать такъ, «какъ мы между собою говоримъ», было требованіемъ, выдвинутымъ уже Тредьяковскимъ. Современникамъ казалось, что Карамзинъ выполнилъ это заданіе. Но языкъ «высшаго общества», который Карамзинъ хотѣлъ положить въ основу общаго языка, не могъ получить въ Россіи безраздѣльнаго господства, ибо для этого не было на лицо необходимыхъ условій: не было ни авторитета «общества», ни авторитета критики, на «общество» опиравшейся и изъ «общества» исходящей. Люди XVIII вѣка пытались насадить такую критику въ Россіи. Но послѣ Карамзина и Шишкова филологическая критика въ Россіи исчезла безъ слѣда. Равнымъ образомъ потерпѣла крушеніе попытка Бѣлинскаго и Надеждина создать философско-эстетическую критику. За малыми исключеніями (Аполлонъ Григорьевъ, Страховъ; К. Леонтьевъ) русская критика послѣ Бѣлинскаго и до періода символизма, была «общественно-политической» — и ни на классическую литературу, ни на языкъ не оказала никакого вліянія.



Однимъ изъ важныхъ фактовъ исторіи литературы является смѣна литературныхъ «родовъ» или «жанровъ». Никакой «эволюціи жанровъ», какъ представляли себя дѣло недавно, нѣтъ и быть не можетъ, какъ не можетъ быть эволюціи столовъ, стульевъ, кроватей; но смѣна «жанровъ» служитъ показателемъ эволюціи культуры. На первый взглядъ можетъ показаться, что русское развитіе

въ этомъ отношеніи воспроизводитъ зап. европейское, или совпадаетъ съ послѣднимъ. Однако я уже отмѣтилъ выше одну существенную особенность исторіи русской литературы — живучесть въ ней жанровъ, въ европейскихъ литературахъ или просто забытыхъ, или ставшихъ достояніемъ литературы низшаго порядка. Какъ общій фактъ это объясняется въ значительной степени тѣми же условіями, которыя способствовали сохраненію языковыхъ архаизмовъ. Но этимъ вопросъ еще не исчерпывается. Обращеніе русскихъ писателей къ тѣмъ или инымъ устарѣлымъ жанрамъ не было случайностью. Съ культурно-исторической точки зрѣнія весьма существенно то, что въ Россіи особенно привился одинъ литературный родъ — автобіографическій романъ, а также близко стоящій къ нему романъ въ письмахъ типа «Любовь Элизы и Армана или перелиска двухъ семей», которымъ развлекала себя героиня «Графа Нулина». Автобіографическій романъ, романъ-«исповѣдь», культивировавшійся въ Европѣ съ временъ Бокаччо, царившій, вмѣстѣ со своей разновидностью, романомъ-перелискою (оба «жанра», какъ извѣстно, нерѣдко комбинировались), въ XVIII вѣкѣ (Ричардсонъ, Руссо, Гете), въ XIX вѣкѣ въ Европѣ постепенно выходитъ изъ моды. Форма его просто не соотвѣтствуетъ содержанію новаго романа, романа «соціального», «городского». Въ русской же классической литературѣ, по преимуществу «деревенской», «домашней», «интимной», онъ продолжаетъ жить и развиваться. Собственно говоря, въ Россіи этотъ романъ генетически связуется едва ли не въ большей степени, чѣмъ съ зап.-европейскими прототипами, съ широко распространенной русской мемуаристикой XVIII-XIX вв., въ свою очередь сильно зависѣвшей отъ автобіографическаго романа (цѣлый рядъ русскихъ мемуаровъ XVIII в. — нач. XIX — «романизованная» автобіографія, восходящая къ Жиль-Блазу, Кавалеру Фобласу, Вертеру, Новой Элоизѣ, но также, конечно, и къ «Исповѣди» Руссо), и съ другими, столь же распространенными видами домашней письменности: дневникомъ и перепиской. — единственными возможными въ русскихъ условіяхъ замѣстителемъ «разговора». Чрезвычайная распространенность въ Россіи «домашней письменности» — самъ по себѣ первостепенной важности культурно-историческій фактъ, какъ нельзя лучше характеризующій строеніе русской культуры XVIII и первыхъ двухъ третей XIX вѣка. Этой письмен-

ностью и были поддержаны здѣсь формы интимнаго романа, романа «переживаній», наконецъ просто романа, облеченнаго въ форму автобіографіи. Въ «Капитанской Дочкѣ» съ необыкновенной тонкостью воспроизведенъ и тонъ автобіографіи XVIII вѣка, со свойственнымъ ей сочетаніемъ юмора, «чувствительности», простодушія, и ея композиція. Въ «Героѣ нашего времени» немало элементовъ подлиннаго дневника русскаго интеллигента лермонтовской эпохи. Позже эти-же формы разрабатываютъ Толстой, Тургеневъ, Достоевскій, Чеховъ, Горькій, Бунинъ. Ко всѣмъ извѣстнымъ классическимъ образцамъ русскаго романа-исповѣди, дневника, переписки, надо еще присоединить несправедливо позабытые, вѣрнѣе злостно выключенные русскою критикою изъ литературы, произведенія К. Леонтьева: «Исповѣдь мужа» — романъ-дневникъ, и въ особенности «Подлипки», — романъ въ формѣ воспоминаній.



Всякая культура есть совокупность индивидуальныхъ творческихъ усилій. Въ планѣ культуры возможно устремленіе къ общимъ цѣлямъ, большее или меньшее подчиненіе общимъ приѣмамъ, сообразованіе съ общими образцами, но невозможно распредѣленіе функций, раздѣленіе труда; возможно взаимодействіе, но немислимо сотрудничество. Каждый продуктъ культуры — *individuum*, столь же единственный и неповторимый, какъ и его создатель. Это не исключаетъ возможности творческихъ совпаденій, а потому сходства между продуктами культуры, возникшими совершенно независимо одинъ отъ другого. Это рѣдчайшій случай. Гораздо чаще сходство есть результатъ вліянія -- и въ такомъ случаѣ нерѣдко очень трудно разграничить творческое усвоеніе и подражаніе, т. е. дѣятельность, къ сферѣ культуры уже не относящуюся. При этомъ, конечно, одинъ и тотъ же продуктъ человѣческой дѣятельности можетъ быть плодомъ вмѣстѣ и творчества и ремесленной работы и такъ чаще всего и бываетъ. Другими словами, форма почти никогда не бываетъ вполне адекватна своей идеѣ. Все дѣло въ градаціяхъ, въ степени, въ какой, въ актѣ созданія чего-либо, наличествуютъ тотъ и другой элементы. Съ этой точки зрѣнія важно установить, что, какъ общее правило, около великихъ

геніевъ, создателей культуры, группируются школы; другими словами, что творенія этихъ геніевъ вызываютъ подражанія высокаго качества, такія, которыя, будучи подражательными, все же обладаютъ и своей культурной цѣнностью, подчасъ весьма значительной. Болѣе того: бываетъ, что въ опредѣленный моментъ и въ опредѣленной средѣ величайшіе творческіе геніи сами образуютъ одну «школу», другъ у друга учась, другъ на друга воздѣйствуя, или проходя совмѣстно одну и ту же подготовку, такъ что, познакомившись съ однимъ изъ нихъ, уже болѣе или мѣнѣе возможно узнать въ другихъ его современниковъ. Но то, что Пушкинъ былъ современникомъ Гоголя, Некрасовъ современникомъ Тютчева, Толстой современникомъ Достоевскаго, просто какъ-то не укладывается въ сознаніи, кажется какой-то бессмыслицей. Они существуютъ внѣ «историческаго» времени. Чистыя монады, они, естественно, и одиноки. Никто изъ нихъ не имѣетъ заслуживающей вниманія школы. Иные современники Пушкина писали «подъ Пушкина», — какъ Подолінскій, Туманскій; но они и въ свое время никому не были нужны. Нудная рубленая проза «гражданскихъ поэтовъ» не имѣетъ ничего общаго съ могучей лирикой Некрасова. Что касается прозаиковъ, то нужно ли напоминать, что отношеніе къ Гоголю, Толстому, Достоевскому, Тургеневу, Чехову, со стороны критики и «беллетристовъ» было основано на сплошномъ недоразумѣніи? Что ни Скабичевскіе ни Боборыкинъ не видѣли въ ихъ твореніяхъ второго плана, главнаго плана, даже не догадывались, что вообще такой планъ можетъ существовать? Но и другъ другу классики русской литературы были чужды. Съ историко-литературной точки зрѣнія важно, что искусству словеснаго живописанія Тургеневъ учился у Гоголя, и не менѣе важно, что немало элементовъ своего искусства Гоголь заимствовалъ у микроскопическаго Нарѣжнаго. Но съ культурно-философской точки зрѣнія имѣетъ глубокой символическій смыслъ вѣ- что совсѣмъ другое: что жизнь не свела Пушкина съ Лермонтовымъ, Толстого съ Достоевскимъ, и развела Толстого, Достоевскаго и Некрасова съ Тургеневымъ. Великіе русскіе писатели «не знали» другъ о другѣ, какъ не знаетъ «одна истина о другой», какъ «не знаетъ» пифагорова теорема о постулатѣ Эвклида. Съ точки зрѣнія исторической эмпириі остается и посейчасъ въ силѣ сказанное сто лѣтъ тому назадъ Бѣлинскимъ: у насъ есть великіе писатели,

но нѣтъ литературы. Съ философской же точки зрѣнія это просто бессмысленно. Математическіе истины «не знаютъ» одна другую, но всѣ онѣ принадлежать математикѣ и не могутъ существовать внѣ математики, а значить одна безъ другой. Въ классической русской литературѣ нашли свое самое острое, самое углубленное выраженіе всѣ стороны проблематики Духа — у каждаго писателя какая-либо одна, — и потому всѣ они взаимно другъ друга восполняютъ и тѣмъ самымъ уясняютъ. Въ историко-литературномъ планѣ Блокъ, считавшій своимъ авторитетомъ Брюсова, а на самомъ дѣлѣ учившійся поэтическому искусству у авторовъ «цыганскихъ романсовъ», объяснимъ и безъ Пушкина. Но въ Царствѣ Духа, въ мірѣ чистыхъ идей, Блокъ т р е б у е т ъ Пушкина и Пушкинъ Блока. Въ этомъ царствѣ нѣтъ времени, и въ этомъ планѣ русская литература не имѣетъ хронологіи. На демонизмъ Лермонтова, еще есть какой-то гусарскій налетъ — щегольства, брѣвады. Надо проникнуться ужасомъ Достоевскаго передъ идеей абсолютной свободы человѣка, отвергнаго Бога и ставшаго для себя Богомъ, чтобы затѣмъ молиться вмѣстѣ съ Лермонтовымъ. Образомъ и подобіемъ этого царства служить «полифоническій» романъ-трагедія Достоевскаго, гдѣ звучать отдѣльные, другъ отъ друга независящіе, другъ на друга не сводимые и вмѣстѣ съ тѣмъ другъ безъ друга невысказанные голоса. Столь полное осуществленіе на землѣ чистой Культуры — величайшее чудо и величайшая рѣдкость. Въ этомъ отношеніи съ русской литературой могутъ быть сопоставлены развѣ только русская-же и нѣмецкая музыка и греческая философія.

Я употребилъ сейчасъ слово чудо въ обыденномъ значеніи — того, что рѣдко или почти никогда не случается. Но съ «человѣческой — слишкомъ человѣческой» точки зрѣнія всякая культура и сама по себѣ есть чудо. Чудо — свободное, не объяснимое никакими «законами подражанія», не сводимое ни на какіе зримые, осязаемые «факторы» самораскрытіе объективнаго Духа въ рядѣ феноменовъ единственныхъ, неповторимыхъ, абсолютно-незамѣстимыхъ, и вмѣстѣ съ тѣмъ образующихъ стройную систему, въ которой все необходимо и нѣтъ ничего лишняго — какъ въ художественномъ произведеніи. Чудо культуры — ея с о б с т в е н н ы й с м ы с л ь, тогда какъ средній «цивилизованный» человѣкъ цѣнитъ въ Культурѣ единственно ея значеніе для Цивилизаціи, т. е. общаго



уровня, общихъ навыковъ поведенія, общихъ представлений и соответствующей имъ системы общезначимыхъ символовъ. Поэтому «цивилизованный» человѣкъ сплавляетъ Толстого и Достоевскаго въ Толстовскаго и мѣрзаетъ Тригорина-Чехова Тургеневымъ (...хорошій былъ писатель, но онъ писалъ хуже Тургенева), просто не понимая того, что въ мѣрѣ Культуры всѣ феномены несоизмѣримы. Сводя культуру къ Цивилизаціи, онъ воспринимаетъ трагедію культуры какъ нѣкую ненормальность и не видитъ метафизической необходимости въ ея катастрофическомъ исходѣ. Онъ счелъ бы «нормальнымъ», если бы Эдипъ, узнавши, что сдѣлалъ съ нимъ боги, развелся по обоюдному соглашенію съ Іокастой и, простившись со своими добрыми подданными, удался на жительство въ предѣлы какого-нибудь нейтральнаго государства, проводя остатокъ дней въ занятіи садоводствомъ и въ писаніи мемуаровъ. Ему и въ голову не приходитъ, что въ такомъ случаѣ Эдипъ оказался бы всего поручикомъ Пироговымъ.

Исключительная, безпримѣрная свобода развитія русской культуры, ея кажущаяся, вѣшняя неустроенность, неупорядоченность, наряду съ ея предѣльнымъ совершенствомъ — все это отнюдь не показатель какихъ-то неизмѣнныхъ свойствъ «русской души» (или «*âme slave*»): культура и есть творимая, становящаяся національная душа; — особенности же ея опредѣляются социологическимъ строеніемъ націи. Для историка культуры только это имѣетъ значеніе. Съ точки же зрѣнія философіи культуры важно другое. Въ томъ, что русская культура, въ силу особыхъ свойствъ строенія русскаго общества, была «чистой» культурою; что Россія оказалась, изъ всѣхъ странъ европейскаго — христіанскаго — культурнаго круга единственной, гдѣ культура лишь въ малой степени затронула собою цивилизацію и потому не переродилась въ цивилизацію; что поэтому она гибнетъ трагически вмѣсто того, чтобы исподволь угасать въ артеросклерозѣ; что тѣмъ самымъ она обогородила исходъ европейской культуры и что ея гибель служитъ залогомъ міроваго Возрожденія, немислимаго безъ великихъ потрясеній, безъ мучительнаго осознанія трагедіи становящагося Духа, — историческая миссія Россіи.

## Чистая поэзія

Essence pleine en soy d'infinité latente  
Qui seule en soy se plait, et seule se contente.  
*Maurice Scève.*

### 1.

— «Поэзія есть Богъ въ святыхъ мечтахъ земли». —  
«Это чтобы стихъ-съ, то это существенный вздоръ-съ.  
Разсудите сами, кто же на свѣтѣ въ рифму говоритъ?»  
Такъ, размечтавшемуся Жуковскому, во всеоружіи здра-  
ваго смысла, отвѣчаетъ Смердяковъ. Нельзя отказать  
Смердякову въ одномъ преимуществѣ: упоминая о рифмѣ  
и стихѣ, онъ тѣмъ самымъ связываетъ поэзію съ вопло-  
щеніемъ ея въ словѣ, тогда какъ въ прекрасномъ по за-  
мыслу своему опредѣленіи Жуковскаго поэзія испаряет-  
ся въ мечту и грозитъ превратиться въ поэтическую меч-  
тательность. Романтики, особенно того направленія, къ  
которому примыкала Жуковскій, слишкомъ легко подмѣ-  
няли поэзію порывомъ къ ней и предпочитали «туманный  
идеаль» осуществленному искусству. Противъ этой под-  
мѣны, приведшей въ концѣ концовъ къ насажденію лож-  
ной поэтичности, къ тому, что Флоберъ называлъ «rou-  
aisie», возражать законно. Остается, однако, безконеч-  
но болѣе важное раздѣленіе время и быть можетъ раз-  
двоеніе человѣчества: тамъ, гдѣ Жуковскій видитъ Бога,  
Смердяковъ усматриваетъ вздоръ.

Смердяковы пріуготовлены были «въкомъ просвѣ-  
щенія» (недаромъ и въ Федорѣ Павловичѣ есть нѣчто га-  
лантно-вольтеріанское), напророчены Боратынскимъ, —

Исчезнули при свѣтѣ просвѣщенія  
Поэзіи ребяческіе сны, —

предуказаны такими неизбѣжными въ «вѣкъ прогресса»  
размышленіями, какъ тѣ, что находимъ, напримѣръ, у Пи-

кока \*): «Поэтъ въ наше время — полуварваръ въ цивилизованномъ обществѣ. Онъ живетъ въ прошломъ... Въ какой бы мѣрѣ ни удѣляли вниманіе поэзии, это всегда заставляетъ пренебрегать какой-нибудь отраслю полезныхъ знаний, и прискорбно видѣть, какъ умы, способные на лучшее, растрчиваютъ свои силы въ этой пустой и безцѣльной забавѣ. Поэзія была той духовной трещоткой, что пробуждала разумъ въ младенческія времена общественнаго развитія; но для зрѣлаго ума принимать въ серьезъ эти дѣтскія игрушки столь-же бессмысленно, какъ тереть десны костянымъ кольцомъ или хныкать, если приходится засыпать безъ погремушки. Совершенно такія же возрѣнія, какъ извѣстно, были распространены въ Европѣ и господствовали въ Россіи во второй половинѣ минувшаго столѣтія. Они иногда высказываются и теперь (или проводятся въ жизнь молчаливо, какъ у большевиковъ, дабы не испугать европейскихъ снобовъ и эстетовъ), прикрываясь по прежнему уваженіемъ къ наукѣ, приверженностью къ «передовымъ» идеямъ и непоколебимой вѣрой въ таблицу умноженія. Достоевскій, придавъ имъ самую простую, но и самую точную форму и приписавъ ихъ Смердякову, разъ навсегда обнажилъ истинный ихъ корень и указалъ наиболѣе отвѣчающее имъ человѣческое лицо.

Остается фактъ: поэзію съ разсудочнымъ просвѣщеніемъ, съ таблицей умноженія совмѣстить трудно. вѣрнѣе вовсе совмѣщать нельзя; поэту среди Смердяковыхъ жить безконечно тягостно. Возстаніе романтизма до конца не удалось и удался не могло, хотя и не одержана еще надъ нимъ окончательная побѣда. Исторія девятнадцатаго вѣка есть трагедія поэта и трагедія поэзии. Нѣтъ вѣка, можетъ быть, который видѣлъ бы больше великихъ поэтовъ, но и нѣтъ вѣка, когда имъ жилось бы тяжелѣй. Дѣло тутъ даже не столько въ жизненныхъ невзгодахъ, выпадавшихъ на ихъ долю, сколько въ тѣхъ неслыханныхъ трудностяхъ, какія имъ приходилось преодолевать на пути къ своимъ твореніямъ. Ихъ преслѣдовали, надъ ними издѣвались, вольно или невольно причиняли имъ жестокое зло; но для поэта нѣтъ муки страшнѣй, чѣмъ та, что мѣшаетъ ему быть цѣлостно и до конца поэтомъ. Въ разсудочно разъятомъ мірѣ, распавшемся, какъ на атомы, на миллионы чуждыхъ другъ другу, связанныхъ лишь «интересами» или

.. \*) Thomas Love Peacock (1785-1866). «The Four Ages of Poetry».

«идеями» живыхъ существъ, въ мірѣ, пронизанномъ, казалось, до самыхъ его скрѣпъ безнадежно плоской или безнадежно отвлеченной мыслью, въ развоплощенномъ мірѣ «математики и естественныхъ наукъ», въ мірѣ «явленій», въ мірѣ статистическихъ выкладокъ и газетной чепухи, какъ возможно было-бы поэту не испытать той страшной, ранѣе неизвѣстной муки? Тѣ, кто ея не испытали или принадлежать къ немногимъ исключеніямъ, объясняемымъ особыми условіями времени и мѣста, или заплатились за это огнемъ и глубиной своихъ твореній, пусть многочисленныхъ и внѣшне блестящихъ, но въ конечномъ счетѣ безразличныхъ и духовно неоправданныхъ. За послѣдніе сто лѣтъ и больше поэты дѣлятся на такихъ, которые въ каждомъ творческомъ актѣ расстаются как-бы съ частью собственной души, замѣняютъ творчество чѣмъ-то вродѣ рожденія, и такихъ, что умѣютъ обходиться безъ мукъ и крови, но чьи стихи послѣдняго просвѣтленія не знаютъ и влекутъ на себѣ тяжесть мертвыхъ словъ: Бодлеру противостоятъ Гюго, Китсу — Теннисонъ; примѣровъ сколько угодно въ любой литературѣ. Серединное мѣсто между этими двумя группами занимаетъ третья, самая немногочисленная, но зато образующая, въ отличіе отъ нихъ, особое литературное направленіе. Къ ней принадлежатъ поэты, пытающіеся образовать новую традицію, послѣдовательно отстаютъ права поэзіи, построятъ крѣпость, гдѣ-бы защититься отъ вражескаго нашествія, — не сознавая того, что камни для ея постройки они заимствуютъ у вездѣсушаго врага.

Попытки этого рода опредѣлились всего яснѣй во Франціи, благодаря особымъ условіямъ ея литературной преемственности и литературнаго языка, но зачатки имѣются повсюду, и французскій опытъ глубоко показателенъ для того положенія, въ какое попала поэзія въ XIX вѣкѣ и въ какомъ она пребываетъ до сихъ поръ. Первымъ валомъ и рвомъ возводимой крѣпости была теорія «искусства для искусства» и поэтика парнасцевъ. Теорія двусмысленна и близорука, поэтика крайне узка, это давно уже признано, но не въ этомъ дѣло; дѣло въ томъ, что онѣ обѣ отвѣчаютъ весьма существенной потребности, проявившейся одновременно въ разныхъ европейскихъ странахъ: потребности аристократическаго выдѣленія, обособленія поэзіи (и художественной прозы) отъ остальной литературы, а въ болѣе широкомъ смыслѣ, и вообще

изъятія искусства изъ его жизненнаго окруженія. Потребность эта можетъ осуществляться весьма различно: культу замкнутой формы у Леконтъ де Лилля (а въ прозѣ у Флобера), эстетикѣ золотыхъ дѣлъ мастера, столь характерной для Готье, противостоитъ ломка всѣхъ стихотворныхъ формъ и самой поэтической рѣчи у Лафорга или проскальзываніе сквозь нихъ, раствореніе ихъ въ мелодіи у Верлена; однако и парнасцы и ихъ историческіе противники стремятся построить нерушимую стѣну вокругъ поэзіи, объявивъ: «Et tout le reste est littérature». Парнасцы поступали, однако, послѣдовательнѣе, такъ какъ неподвижность и замкнутость легче объявить общеобязательнымъ принципомъ, чѣмъ движеніе и свободу. Они только не совершили всѣхъ выводовъ изъ собственныхъ посылокъ, остановились на подорогѣ, сдѣлали недоступность чересчуръ доступной, а совершенство объявили увѣнчаніемъ трудолюбія и выучки. Поэзія въ ихъ рукахъ, какъ позже въ школѣ Мореаса или во множествѣ сходныхъ школъ въ Германіи, Россіи, Англии, Италіи, сдѣлалась лишь квинтъ-эссенціей литературы; одинъ Малларме попытался гораздо болѣе сложными приѣмами, доступными лишь его огромному поэтическому дару, выйдти изъ доставшагося ему по наслѣдству парнаскаго стиха квинтъ-эссенцію самой поэзіи.

Малларме исходитъ изъ поэтики Парнасса, но она быстро начинаетъ казаться ему слишкомъ грубой и вещественной: онъ сказалъ однажды о стихахъ Эредіа, что драгоценности, насыпанныя въ нихъ, мѣшаютъ перелистывать его книгу. Стихи парнасцевъ перегружены и вмѣстѣ съ тѣмъ недостаточно насыщены; нужно ихъ облегчить и одновременно сдѣлать такъ, чтобы въ нихъ не оставалось ни одного пустого мѣста; нужно очистить поэзію отъ все еще налипающей на нее литературной и житейской шелухи; надо поэтамъ «*comprendre à la musique leur bien*», т. е. приблизить свое искусство къ самому «чистому» изъ искусствъ — къ непрограммной, безпредметной музыкѣ. При этомъ Малларме понимаетъ это приближеніе не какъ звукоподражаніе (въ отличіе отъ наивныхъ опытовъ итальянскихъ и отчасти русскихъ футуристовъ) и не какъ мелодичность, музыкальность (въ духѣ, напримѣръ, Верлена), а гораздо глубже: какъ приближеніе къ внутренней структурѣ музыки. Поэзія въ чистомъ видѣ осуществится лишь въ томъ случаѣ, если окажется возможнымъ постро-

ить стихотвореніе, лишенное отъ начала до конца будничнаго, дискурсивнаго, логическаго смысла, обращенное къ воспріятіямъ только поэтическимъ. Такое стихотвореніе не должно быть наборомъ лишенныхъ значенія словъ (какъ думали Хлѣбниковъ и другіе), потому что слово безъ значенія — уже не слово; но не можетъ ли оно передвинуть повсюду эти значенія, перевести всю смысловую наличность стихотворенія — какъ это частично происходитъ всегда — въ иную, чисто поэтическую плоскость, со своей собственной, особой грамматикой и логикой? То, что получилось бы тогда, было бы не просто звуковой гармоніей, не самодовлѣющей «оркестровкой» но умопостигаемой музыкой словесныхъ смысловъ, гдѣ звуковая сторона только потому играла бы неотъемлемую роль, что была бы сама до конца и по новому осмыслена. Вопросъ о возможности этой музыки смысловъ и звуковъ, этой «чистой поэзіи» и ставится прежде всего искусствомъ Малларме; если бы вопросъ не былъ поставленъ, не были бы написаны лучшіе его стихи, и все же именно эти поиски синтетическаго золота завели его въ безвыходный тупикъ, именно имъ онъ обязанъ конечнымъ своимъ безплодіемъ.

Можно свести къ простѣйшей формулѣ то, что съ «чистой поэзіей» произошло у Малларме: вмѣсто музыки получилась у него мозаика. Андре Жидъ, вспоминая о немъ, говоритъ, что и въ самой музыкѣ искалъ онъ литературу; вѣроятно это такъ и было, во всякомъ случаѣ онъ не ощутилъ въ ней самаго главнаго: ея струящагося временнаго бытія, ея сплошнаго, непрерывнаго потока. Характерно, впрочемъ, что музыка, наиболее родственная по духу Малларме, музыка Дебюсси и его школы, сама съ небывалой смѣлостью разрывала эту временную ткань, замѣняя ее сопоставленіемъ отдѣльныхъ плѣнительно звучащихъ музыкальныхъ сгустковъ, т. е. какъ разъ и превращала музыку въ мозаику. Музыка Дебюсси — прерывистая послѣдовательность музыкальныхъ метафоръ; поэзія Малларме — такая же система метафоръ поэтическихъ. Метафоры эти не реализуются у него въ вещественные образы, какъ у парнасцевъ; онѣ служатъ какъ бы внутренними скрѣпками стиха, и все таки стихотвореніе Малларме, даже когда оно цѣликомъ состоитъ изъ одной фразы, не кажется вылитымъ, какъ у другихъ поэтовъ, изъ сплошной свѣтящейся массы, а распадается на рядъ параллельныхъ молній, искусно, но все же искусственно связанныхъ одна съ другой.

Аббатъ Бремонтъ, авторъ знаменитой, но не слишкомъ убѣдительной книги все о той же чистой поэзіи, ищетъ ее, неуловимую, какъ разъ въ этихъ молніяхъ, въ совершенствѣ (или просто въ плѣнительномъ звучаніи) отдѣльнаго стиха, тогда какъ искать ее, какъ и тайну всякаго искусства, можно лишь въ цѣлостности художественнаго произведенія, всегда предшествующей его частямъ и предвкупаемой въ совершенствѣ каждой части, а не возникающей въ результатъ хотя бы и самаго умѣлаго ихъ сложенія.

Ошибка Малларме, проникшая въ самый замыселъ его творчества, какъ разъ и заключается въ стремленіи воспроизвести разсудочнымъ путемъ, какъ бы сложить изъ осколковъ разноцвѣтнаго стекла это разсудку недоступное предустановленное единство. Великій даръ его, которому мы обязаны многими изъ прекраснѣйшихъ стиховъ, когда либо прозвучавшихъ на французскомъ языкѣ, былъ сломленъ овладѣвшимъ его душой демономъ интеллектуальнаго самовластія. Судьбу эту унаслѣдовалъ прямой ученикъ и единственный продолжатель его дѣла, Поль Валери, поэтъ едва-ли не столь же одаренный и, если возможно, еще глубже осознавшій собственное творчество. Въ отличіе отъ Малларме, Валери понимаетъ, что поэзія въ чистомъ видѣ невозможна; онъ и стремится не осуществитъ ее, а лишь приблизиться къ ней въ своихъ стихахъ; однако другой поэзіи онъ все-таки не хочетъ, по крайней мѣрѣ какъ своей и для себя, потому что она будетъ все же не совсѣмъ его поэзіей. Ему интересно было узнать, какъ пишутся стихи, но писать ихъ ему болѣе не интересно. Онъ знаетъ разницу между тѣмъ, что онъ называетъ «*vers donnés*» и «*vers calculés*»: первые какъ бы даны свыше въ неразрывной своей цѣлности, вторые приходится вычислять, сочинять на подмогу первымъ. Онъ также знаетъ, должно быть, что эти «сочиненные» стихи стремятся приблизиться къ чудесному единству стиховъ «данныхъ»; но какъ разъ проникнувъ въ это правило игры, написавъ (черезъ много лѣтъ послѣ юношескихъ опытовъ и уже немолодымъ) короткую поэму и тоненькую книжку своихъ «*Charmes*», онъ изъ игры выходитъ, онъ отказывается отъ подарковъ, независимыхъ отъ его воли, онъ почти какъ Иванъ Карамазовъ почтительнѣйше возвращаетъ свой билетъ. «*J'aurais donné bien des chefs-d'œuvre que je croyais irréflechis pour une visi-*

lement gouvernée». Въ какой-то мѣрѣ управляетъ своимъ твореніемъ каждый творецъ, но Валери хочетъ имъ управлять вполнѣ, до конца и при помощи одного разсудка. Какъ только онъ понялъ, что безнаказанно этого хотѣть нельзя, онъ предпочелъ замкнуться въ горделивомъ безплодіи, отказаться отъ творчества, только бы не допустить, хотя бы сквозь него самого, при посредствѣ всей его личности совершаемаго чуда.

Чистой поэзіи нѣтъ. Самые поиски ея обернулись мятежомъ противъ поэзіи. Нѣтъ никакой возможности получить химически чистую эссенцію искусства. Самое требованіе такой чистоты противорѣчитъ природѣ художественнаго творчества, хотя и вытекаетъ изъ потребности въ томъ, что мы называемъ стилемъ, въ здоровомъ и цѣлостномъ искусствѣ, въ самоочевидности его воплощенія. Забываютъ прежде всего, что искусство имѣетъ дѣло не съ самимъ собой, а съ міромъ, что творчество обращено къ своему предмету, а не къ самому себѣ. Гете сказалъ Сульпицію Буассере: «Тамъ, гдѣ искусству вполнѣ безразличенъ его предметъ, тамъ гдѣ оно становится абсолютнымъ, а предметъ остается лишь его носителемъ, тамъ и есть вершина искусства». Слова эти мудры, но не нужно забывать, что безъ «носителя» все же не обойтись и что если предметъ можетъ быть безразличенъ для созерцателя искусства, онъ никогда не безразличенъ для его создателя. Для Микель-Анджело не безразличенъ Страшный Судъ, и творецъ Фауста не безучастенъ къ своему герою. Любой предметъ преобразуется искусствомъ и въ этомъ смыслѣ становится безразличенъ, растворившись въ цѣломъ художественнаго произведенія; но онъ бы не преобразился, если былъ бы безразличенъ съ самаго начала, если бы на немъ не остановилось творческое вниманіе. Разсудочное сопротивленіе творчеству, бессознательное у Малларме и вполнѣ осознанное у Поля Валери, возникаетъ у нихъ въ тотъ самый мигъ, когда они направляютъ вниманіе не на предметъ и не на результатъ, а на самый составъ творческаго акта. Такъ любовь убываетъ съ той минуты, когда мы начинаемъ любить саму любовь.

## 2.

Дарованіе, отпущенное человѣку, скрывается не въ вѣрности и безопасности избраннаго имъ пути, но въ томъ,



что этотъ путь, какой бы гибелью ему и другимъ онъ ни грозилъ, отвѣчаетъ реальности, а не иллюзіи, связываетъ его судьбу, въ хорошемъ и дурномъ, съ судьбой его народа, его культуры, съ исполненіемъ исторіи. То, чего достигли въ поэзіи Малларме и Валери, было достигнуто наперекоръ ихъ собственнымъ усиліямъ, — отсюда привкусъ невозможности, отчасти какъ разъ и привлекающей къ ихъ искусству. Однако и усилія ихъ, хотя и невѣрно направленные, были неслучайны: дѣло ихъ связано не только со всѣми попытками выдѣлить и защитить поэтическое творчество, которыхъ было такъ много въ минувшемъ вѣкѣ, оно связано въ самой своей глубинѣ еще съ вопросомъ о литературномъ языкѣ, т. е. съ настоящимъ вопросомъ жизни и смерти для современной литературы вообще и особенно для поэзіи.

Съ поэзіи начинается исторія всѣхъ литературъ, лишь много позже въ эту исторію вступаетъ проза, и сама проза надолго сохраняетъ слѣды поэтического мышленія и поэтического строя рѣчи. Конечно, прозу отъ поэзіи совсѣмъ не отдѣляетъ какая нибудь рѣзко намѣченная грань; дѣло лишь въ постепенномъ усиленіи разсудочныхъ, дискурсивныхъ элементовъ языка за счетъ элементовъ выразительныхъ, конкретныхъ, поэтическихъ, т. е. творческихъ. Развитие, разумѣется, не протекаетъ съ предустановленной плавностью по заранѣ известной схемѣ: оно можетъ замедляться и ускоряться, возстанія поэзіи могутъ временно направить его вспять; въ общемъ, однако, путь слова ясенъ: изъ живого ознаменованія внутренне связаннаго съ предметомъ оно становится отвлеченнымъ знакомъ, сохраняющимъ съ нимъ лишь внѣшнюю, условную связь, чѣмъ то вродѣ схематического значка на подобіе тѣхъ, что примѣняются алгеброй или телеграфнымъ кодомъ. Съ точки зрѣнія практическаго удобства и научной точности (по крайней мѣрѣ въ области тяготящихся къ математикѣ и физикѣ наукъ) разсудочное перерожденіе рѣчи только выгодно, но оно убійственно для поэзіи и вообще для выразительнаго, нагляднаго, вполне человѣческаго слова. Неудивительно поэтому, что начиная съ XVIII вѣка, когда перерожденіе это особенно ускорилося, подкрѣпленное искусственной рационализацией, отъ которой чуть не иссохла въ конецъ поэзія той эпохи, повелась противъ этого распада усиленная борьба. Она продолжается и сейчасъ, въ условіяхъ, все болѣе тяжкихъ для поэ-

зи. Литературному языку было бы естественно въ этой борьбѣ опереться на живую рѣчь, но стоитъ сравнить языкъ городскихъ рабочихъ съ языкомъ крестьянъ, чтобы убѣдиться, что и устный языкъ подвергся разсудочному распаду. Съ другой стороны, при все большемъ обособленіи отъ устной рѣчи, литературный языкъ грозитъ превратиться въ языкъ искусственный, книжный и такимъ образомъ иссохнуть и отвердѣть. Въ Англии, во Франціи литературный языкъ уже и сейчасъ весьма далеко отошелъ отъ разговорнаго и ему столь же угрожаетъ бесплодное замыканіе въ себя, какъ и наплывъ механизированной, стандартной устной рѣчи.

Для литературнаго творчества такое состояніе языка еще гораздо опаснѣе, чѣмъ враждебное окруженіе, о которомъ говорилось выше. Безъ годнаго языковаго матеріала нѣтъ поэзіи и всякія перемѣны въ составѣ этого матеріала немедленно отражаются на ея судьбѣ. Итальянскій критикъ Кьярини классически развилъ мысль о томъ, что великій поэтъ встрѣчаетъ наиболѣе благопріятныя условія для своего дара, если онъ принадлежитъ времени, когда литературный языкъ его страны находится еще въ младенчествѣ. Характерно, что на этой мысли настаивалъ именно итальянецъ: итальянскую литературу въ самомъ дѣлѣ почти начинаеть величайшій поэтъ Италіи; могъ-бы, однако, высказать ее и грекъ, а если исправить ее въ томъ смыслѣ, что рѣчь можетъ идти не только о возникновеніи литературнаго языка, но и о рѣшающемъ переломѣ въ его развитіи, то ее можно примѣнить къ любой литературѣ, все равно, говоримъ ли мы о Шекспирѣ, о поэтахъ французской Плеяды, о Гете или о Пушкинѣ. Послѣдній примѣръ объясняетъ кстаті сказать и то, почему для Россіи (по крайней мѣрѣ до-совѣтской) вопросъ о литературномъ языкѣ ставился не такъ остро и почему движенія вполне сходнаго со школой «чистой поэзіи» у насъ не возникало. У Данте, у Шекспира, въ ранней лирикѣ Гете, у Пушкина поэтическое творчество всегда въ какой то мѣрѣ — творчество языковое; языкъ еще дѣствененъ, всѣ его нераскрытыя возможности предчувствуются въ немъ (точно также и въ прозѣ: у Монтэня, у Лютера, у переводчиковъ англійской Библии 1611 года); каждое слово поэта какъ бы впервые называетъ обозначаемый имъ предметъ; каждый ритмъ, каждый образъ, каждый оборотъ кажутся употребленными впервые. Позже, когда мно-

гія возможности использованы, ритмы стали привычны, слова стерты, приходится частично обновлять знакомый матеріалъ, довольствоваться отдѣльной находкой, удачнымъ подборомъ въ области давно извѣстнаго, создавать болѣе или менѣе искусственный языкъ, все равно путемъ ли обращенія къ прошлому или путемъ произвольныхъ нововведеній. Чаттертонъ не даромъ пытался писать на языкѣ Чосера, Китсъ и Фрэнсисъ Томпсонъ не даромъ возвращались къ языку Шекспира или поэтовъ середины XVII вѣка, Бодлеръ не даромъ смѣшивалъ языкъ Расина съ языкомъ журналистовъ своего времени, Георге не даромъ создалъ свой собственный рѣзко обособленный языкъ, не даромъ и у насъ архаизировалъ Тютчевъ, возвращался къ Пушкину Ходасевичъ, вслушивались въ неиспользованныя еще разговорныя интонаціи Анненскій и Блокъ. Поэтической стиль Малларме и Валери есть лишь одна изъ наиболѣе рѣшительныхъ и послѣдовательныхъ попытокъ вернуть поэтическому языку утраченную имъ первоначальную полновѣдность и насыщенность.

Попытки такого рода естественнымъ образомъ приводятъ къ нѣкоторой затемненности, затрудненности поэтического языка. Отсюда безконечныя жалобы, раздававшіяся за послѣднія полтора столѣтія на неудобопонятность, неудобочитаемость поэтовъ. Жалобы эти въ значительной мѣрѣ вызваны разсудочнымъ иракобѣсіемъ, для котораго есть только одинъ здравомыслящій, практический, подобный арифметикѣ языкъ и всякое отступленіе отъ него разсматривается какъ ошибка противъ четырехъ правилъ; но онѣ все же оправданы въ томъ смыслѣ, что въ прежнія эпохи европейской культуры поэтической языкъ не такъ отмежевался отъ обычнаго языка, какъ это приходится ему дѣлать въ наше время. Различія здѣсь отрицать нельзя, но оно вполне вытекаетъ изъ процессовъ отвердѣнія, какъ бы склероза, угрожающихъ каждому языку на извѣстной стадіи его развитія. Нерѣдко нападаютъ на чрезмѣрную метафоричность французскихъ поэтовъ, не понимая того, что они принуждены прибѣгать къ метафорѣ, какъ къ средству обновленія языковой ткани. Дѣло тутъ, впрочемъ, не въ метафорѣ вообще, а лишь въ метафорѣ новой и нестертой. Такія выраженія, какъ «солнце сѣло» или «мертвая петля» утеряли, такъ сказать, свою метафоричность, стали технически удобными значками, отвѣчающими своему твердо ограниченному смыслу.

Другое дѣло, когда Тютчевъ говоритъ «день потухающей дымился» или Рембо видитъ «задумчиваго утопленника», опускающагося на морское дно. Не то, чтобы обновленные поэтомъ сочетанія словъ непременно превращались въ зрительные образы, но они живутъ и означаютъ нѣчто гораздо болѣе существенное и глубокое, чѣмъ то, что опредѣлимо словомъ-ярлыкомъ, взятымъ въ одно изъ его зарегистрированныхъ въ словарь значеній. Метафоры и другіе тропы въ поэзіи — отнюдь не украшенія (такими они стали лишь для риторовъ, александрийскихъ, впервые давшихъ имъ названія, и другихъ) они свидѣтельства о метафоричности предстоящаго поэту міра, о конечномъ единствѣ всего сущаго. Критиковать въ современной поэзіи, особенно у Малларме и Валери, можно лишь разсудочное примѣненіе метафоръ. Можно сказать, что метафоры въ современной поэзіи примѣняются безъ вѣры въ знаменуемое ими бытіе, только какъ если бы онѣ отвѣчали скрепкой его истинѣ. При такомъ употребленіи онѣ и превращаются лишь въ средства и приемы, т. е. сами подвергаются тому разсудочному перерожденію, въ борьбѣ съ которымъ полагался ихъ главный смыслъ.

Съ вопросомъ о судьбѣ метафоры мы переходимъ изъ области распада или иссушенія общаго литературнаго языка въ область аналогичныхъ процессовъ, происходящихъ въ личномъ преломленіи языковой стихіи, т. е. въ литературномъ стилѣ отдѣльныхъ авторовъ. Здѣсь наблюденія могутъ касаться одновременно поэзіи и прозы. Тутъ и тамъ все растущая использованность, нейтрализація и стандартизація языковыхъ средствъ побуждаетъ къ выработкѣ все болѣе рѣдкостной, заостренной и искусственной литературной рѣчи. Бюффонъ въ своемъ «Опытѣ о стилѣ» могъ еще разсматривать индивидуальную манеру литературнаго письма какъ то, чѣмъ она въ принципѣ и должна быть, какъ естественное выраженіе человѣка, неповторимый іероглифъ личности. Ему, какъ натуралисту, было ясно прежде всего, что манера говорить не хуже характеризуетъ человѣка, чѣмъ самое содержаніе его рѣчей, а часто и лучше, такъ какъ легче солгать по существу дѣла, чѣмъ поддѣлать чужой почеркъ и воспроизвести особенности чужого языка. Въ этомъ, собственно, нѣтъ еще ничего непремѣнно относящагося къ искусству: для графолога интересенъ почеркъ любого человѣка. Бюффона интересуютъ любяя проявленія всѣхъ разновидностей

homo sapiens: все дѣло въ томъ, что въ искусствѣ и литературѣ XVIII вѣка индивидуальныя отличія все еще довольно явственно выступали на вѣкоемъ общемъ фонѣ, о которомъ самъ Бюффонъ совсѣмъ не думалъ, ибо это былъ общій стиль, общій языкъ его времени. Личный стиль въ литературѣ и въ искусствѣ вполнѣ выражаетъ человѣка вовсе не когда онъ выдуманъ изъ ничего, а напротивъ, когда онъ рождается въ глубинѣ надличнаго стилистическаго потока. Когда потокъ черезчуръ развѣтвляется, мелѣветъ, а то и совсѣмъ уходитъ въ пески, когда недостающее общее приходится замѣнять личнымъ, тогда какъ разъ самый «оригинальный» стиль становится часто всего лишь искусною маской личности (таковъ стиль Вирджини Вульфъ, стиль Жироду, стиль Пастернака, Сирина). Если же потребность выразиться, высказаться все же беретъ верхъ, она стремится разорвать словесную ткань, косноязычно исковеркать слово, она съ небывалой силой ощущаетъ его обыденность, негибкость, мертвенность, она хотѣла бы вовсе обойтись безъ словъ. «Мысль изреченная есть ложь», «О, если-бъ безъ словъ сказаться душой было можно», — въ этомъ всегда была правда, но нашъ вѣкъ сюда вложилъ новую правду, болѣе страшную, чѣмъ прежняя.

Всякій элементъ стиля можетъ выродиться въ эффектъ, въ приемъ, — этому и отвѣчаетъ въ теоріи литературы формализмъ, т. е. поэтика приема. Выборъ словъ, сочетаніе ихъ, ритмъ — все можетъ превратиться въ разсудочную формулу. Больше того: сама непринужденность, искренность можетъ стать манерой; манерой могутъ стать даже нечленораздѣльный вопль и предсмертный стонъ. Отъ истеріи къ схематизму (а можетъ быть и отъ схематизма къ истеріи) только одинъ шагъ, какъ видно на примѣрѣ ритмической прозы Андрея Бѣлаго. Чувство «невсамдѣлщины», онтологической ирреальности поэзіи мучило Блока и оно же вѣроятно оторвало отъ поэзіи Рембо. Чувство это питается прежде всего тѣмъ, что всякая манера, всякій стиль кажутся одинаково возможными. Андрѣ Жидъ выразилъ свое восхищеніе однажды передъ неисчерпаемыми возможностями, какія представляются писателю при видѣ бѣлаго листа на его столѣ; но изъ этихъ возможностей какую же выбрать? — и Малларме тотъ же самый нетронутый бѣлый листъ казался лишь символомъ безплодія. Въ искусствѣ, а не только въ морали, есть свое трагическое

«все позволено», когда благословенное слияние необходимости и свободы распадается на принуждение и мертвый произвол. Вместо единого и обязывающего дара, художник получает в удѣлъ неограниченныя способности; онъ дѣлаетъ съ ними, что хочетъ, — но хочетъ ли онъ вообще чего-нибудь? Стоить ли игра свѣчь? Нужно ли еще писать стихи? Рембо, Валери, въ разное время, на разныхъ полюсахъ поэзіи уже отвѣтили: не нужно. Такъ отвѣтилъ въ сущности и Блокъ, такъ отвѣчаютъ и тѣ, кто просто «бросили писать» по причинамъ на первый только взгляды житейскимъ и случайнымъ. Тѣ же, кто такъ не отвѣчаютъ, все же, чѣмъ дальше, тѣмъ больше переходятъ отъ творчества къ упражненію въ творчествѣ и отъ искусства къ показыванію искусства. Въ «Улиссѣ» Джойса все время мѣняется стиль и языкъ, такъ какъ авторъ «владеетъ» всѣми стилями и всѣми языками, причемъ каждый ему равно близокъ или равно далекъ. Точно также Т. С. Эліотъ, самый вліятельный изъ современныхъ англійскихъ поэтовъ (американецъ по рожденію), въ своей поэмѣ «Опустошенная земля» постоянно переходитъ отъ одного размѣра, интонаціоннаго движенія, стиля къ другому, возможно болѣе несходному съ первымъ, и въ этихъ контрастахъ, еще усиленныхъ цитатами и примѣненіемъ иностранныхъ языковъ, находитъ основной формирующей принципъ всего произведенія. Но и Эліота (человѣка глубоко одареннаго, кстаті сказать, и остро переживающаго трагедію собственнаго творчества), и самого себя, и писавшихъ на заумномъ языкѣ русскихъ, итальянцевъ и американцевъ превзошелъ Джойсъ въ своей послѣдней, только что законченной книгѣ, гдѣ языкъ отъ перваго до послѣдняго слова переломанъ, вывихнутъ, возвращенъ наизнанку, гдѣ каждая фраза — ребусъ и каждое слово — каламбуръ, гдѣ двусмысленно все вплоть до правописанія и гдѣ тѣмъ не менѣе до смысла можно докопаться (при помощи справочныхъ изданій и словарей десяти европейскихъ языковъ), — хотя дѣло не въ немъ, а какъ разъ въ предполагаемомъ удовольствіи до него докапываться.

Въ этомъ огромномъ дарованіи, быть можетъ гениальномъ, работающемъ впустую, строящемъ бессмысленно дерзновенный вавилонскій небоскребъ, всего яснѣе, быть можетъ, обнаруживаются судьбы современнаго искусства и въ частности катастрофа чистой поэзіи. Прозаическіе

опыты Джойса как бы цинически разоблачают, выводят на чистую воду возвышенные порывы Малларме, Валери и их учениковъ. Малларме вѣрилъ въ поэзію, вѣрилъ въ нее и Валери, хотя предпочелъ бы не вѣрить и потому отказался подконецъ отъ поэтического священнодѣйствія. Изъ вѣры въ поэзію рождается идеаль ея совершенства, ея чистоты, то, что было уже религіей Леконтъ де Лиля, Флобера и множества другихъ европейскихъ поэтовъ и писателей. Мистическое заостреніе этой религіи составляетъ ядро поэзіи Малларме. Для него и въ самомъ дѣлѣ нѣкая субстанція искусства, чистая поэзія, была самодовлѣющимъ безконечнымъ бытіемъ, бессмертной сущностью, формула которой дана въ стихахъ ліонскаго поэта, взятыхъ эпиграфомъ къ этой статьѣ. Но тутъ и открывается послѣдній смыслъ великаго заблужденія, о которомъ мы все время говорили. Два стиха эти вовсе не относятся къ искусству, къ поэзіи, хотя бы къ самой возвышенной и «чистой» изъ всѣхъ возможныхъ на землѣ; они въ «Микрокосмѣ» Мориса Ссева опредѣляютъ самого Создателя. Въ основѣ «чистой поэзіи» лежитъ идолопоклонство и разоблачено оно было ею же порожденнымъ окончательнымъ безбожіемъ. Поэты ея уже отвернулись отъ чуда и не совершали таинства, но имъ казалось, что они занимаются алхиміей, магіей, таинственнымъ и быть можетъ священнымъ колдовствомъ. Наслѣдники ихъ показали, что тутъ можетъ идти рѣчь не объ алхиміи, а просто о химіи. Поэзію, литературу требуется просто очистить, какъ очищаютъ спиртъ, выварить изъ ея живой ткви сильно дѣйствующій экстрактъ, замѣнить лишу питательной пилюлей. Джойсъ и другіе могли бы, вспомнивъ знаменитую реплику изъ «Отцовъ и дѣтей», сказать, что литература для нихъ не храмъ, а мастерская. Въ мастерской, при помощи всѣхъ тѣхъ инструментовъ, какими работало искусство, изготовляются сложнѣйшіе механизмы, при видѣ которыхъ рассыпается въ прахъ мсчта о чистой поэзіи. Капище разрушено. На его мѣстѣ не будетъ ничего и развалины порастутъ травой, если религія, вѣками оторванная отъ искусства, не введетъ его снова въ свой подлинный, нерушимый храмъ.

**В. Вейдле.**

## Лица и книги

Эти замѣтки — не столько о писателяхъ, сколько по поводу ихъ. Ни на какую систематичность или полноту въ характеристикахъ онѣ не претендуютъ. Въ нихъ собраны случайныя мысли.

Полнота и систематичность неминуемо привели бы насъ къ вопросу о эмигрантской литературѣ «вообще». А этой темы сейчасъ, мнѣ кажется, касаться не слѣдуетъ: отъ долгаго, пристального взглядыванія рябитъ въ глазахъ, все сказано и ничего не выяснено. Существуетъ? Не существуетъ? Жива? Мертва? Гибнетъ? Развивается? Куда идетъ? Чего хочетъ? И такъ далѣе, и такъ далѣе.

Отъ усиленнаго ухода дитя, какъ извѣстно, хирѣетъ. Отъ чрезмѣрныхъ заботъ и непрерывнаго вниманія можетъ и словесность въ самомъ дѣлѣ зачахнуть.

Предположимъ же, что жива, что развивается, что растетъ. Система Кузъ въ наши дни находитъ много послѣдователей, да говорятъ она дѣйствительно не плохо. Надо надѣяться, что и увѣренность въ жизнеспособности нашей литературы принесетъ пользу. Поэтому обратимся къ отдѣльнымъ явленіямъ: общее выяснится, можетъ быть, само собой.

Одно замѣчаніе — въ заключеніе. Иногда приходится говорить о себѣ, о своихъ вкусахъ и пристрастьяхъ. Безъ этого очень трудно, почти невозможно обойтись, какъ бы ни досадно было занимать читателя самимъ собой.

### I.

Бунинъ. Каждый изъ насъ знаетъ, что говорится противъ него. Кое-что вѣрно. «Декаденты» не простили ему упорной, насмѣшливой вражды, и такъ какъ въ конечномъ счетѣ за ними осталась побѣда, Бунинъ теперь расплачивается... Впрочемъ, не совѣмъ ясно, кто побѣдилъ (Въ особенности, если принять во вниманіе совѣтскую Рос-



сію). Только правильно то, что художникъ, которому въ девяностыхъ годахъ прошлаго столѣтія было двадцать лѣтъ, долженъ былъ быть декадентомъ. Хотя не долго, хоть однимъ краемъ души. Былъ же не только бредъ, была и ослѣпляющая воздухъ братства въ открытіяхъ, содружества въ служеніи высокой новизнѣ, были догадки, проблемски и «шорохи», которые потомъ, много позже, передъ войной, мы еще доглядывали и дослушивали. Если изъ всего этого ничего не вышло, то развѣ это доводъ? Не изъ чего ничего не выходитъ: все только приносится въ жертву. (Или въ удобреніе.) Кто-то очень остро и зло замѣтилъ о Бунинѣ: «не кончилъ консерваторію». Да, ему пришлось навестывать потерянное, — и съ неизбежными пробѣлами.

Но есть культура книжная и есть культура личная, опытная; пожалуй, не столько умственная, сколько душевная. Первой — грошъ цѣна, если она замыкается въ самой себѣ: это совершеннѣйшая бессмыслица. У насъ о Леконтъ-де Лиляхъ разсуждали иногда подлинные дикари. Въ противорѣчьяхъ же «провинціализма» и «столичности» Бунина, въ долгой его борьбѣ съ навалившейся на него смолоду, тяжелой, сонной, ужасной матушкой-Русью, въ томъ медленномъ проясненіи матеріи, которое является его творческимъ дѣломъ, во всемъ этомъ есть личный даръ міру. И теперь, когда леконтъ-де-лилитъ почти всё уже бросили, выясняется, что, не попавъ въ «консерваторію», онъ обточилъ душу. Всего, чего онъ добился, добился онъ самъ, — ничему не повѣривъ на слово.

Блокъ, кстати сказать, понималъ это всегда, отстаивая Бунина отъ приравненія его къ «только бытовикамъ» и отъ высокоумныхъ улыбокъ модернистическихъ мальчишекъ (многіе изъ нихъ къ 14-му году не слышали изъ той, тайной и чудной, ослабѣвавшей музыки уже ничего, и не чувствовали, что безъ нея осталась только пошлость). Бунинъ въ пылу воспоминаній и вражды, еще и до сихъ поръ для него живой, въ запальчивости внутреннихъ, безмолвныхъ споровъ иногда объѣдняетъ самъ себя: прикидывается проще и проще, чѣмъ есть на самомъ дѣлѣ... Но этимъ никого не обманешь.

---

Замѣчательный писатель. Оглядываясь и подводя итоги, надо признать, что въ области чистой «беллетристики» это лучшее наше достояніе со временъ Толстого... Не исключая и Чехова, насчетъ котораго, скажу мимоходомъ, я лично еще остаюсь при «особомъ мнѣніи», — вопреки теперешнему хорошему тону, требующему преклоненія (Конечно, дѣло не всегда въ «хорошемъ тонѣ». Кат. Мансфильдъ даже русскій языкъ любила только потому, что это языкъ Чехова, а такіе люди, какъ она, съ модой никакъ не считаются). Чеховъ разнообразнѣе, психологически зорче, и какъ то весь свободнѣе Бунина; помню того, онъ сердечнѣе его, неизмѣримо милосерднѣе къ людямъ, къ «людишкамъ». Акакіе-акакіевическая русская традиція, которая въ послѣднія десятилѣтія слишкомъ торопливо была объявлена несуществующей, будто это только измышленіе школьныхъ учителей, въ немъ живѣе. Но Чеховъ душевно — разсвѣянъ и разслабленъ, и оттого то онъ на жалость такъ и напираетъ, что ему жаль прежде всего самого себя. «Мы отдохнемъ, мы увидимъ все небо въ алмазахъ...». Въ Чеховѣ порочень лирический звукъ, тонъ, надтреснутый и стремящійся сойти на гармонической, сбивающійся на стыдливый юморъ, когда уже не хватаетъ силъ скрывать опустошеніе (вестерлимы нѣкоторые его письма). Образъ Чехова, какимъ онъ запечатлѣлся въ нашемъ сознаніи, вызываетъ въ памяти любую стихію, кромѣ одной: стихіи огня. Бунинъ же именно сгораетъ.

---

Ну, не все ли равно: подмѣчаетъ писатель ту или иную психологическую черту или не подмѣчаетъ, рисуетъ «типы» или обходится безъ нихъ, развиваетъ фабулу или не особенно внимательно слѣдитъ за ней, — если за этимъ, надъ этимъ, послѣ этого не рвется весь онъ сказать лучшее, самое нужное, самое высокое, что ему доступно? Передать свое завѣщаніе, послужить всѣмъ своимъ творчествомъ единому, неизвѣстному человѣческому дѣлу? Не поддаться лѣни, не оказаться дезертиромъ? Трудно тутъ что-либо обстоятельно объяснить, да, какъ остроумно сказала одинъ современный мыслитель: «если надо объяснять, то не надо объяснять». Конечно, не обязательны «всякія слова», большей частью пустыя и лживыя, не нужна романтическая взвинченность, — но нужно устремленіе,

цѣнно и дорого кровное участіе въ творествѣ, полная заинтересованность и переплавка въ немъ: именно сгораніе, какъ сгорѣлъ Толстой — отъ утренней прелести «Казанковъ» къ старческому бормотанію послѣднихъ рукописей, какъ сгораетъ Бунинъ (въ отличіе отъ Толстого безъ всякой моральной боли, а въ какомъ-то другомъ болѣе ограниченно «художественномъ», менѣе библейскомъ и грозномъ плавлѣ) — отъ давнихъ деревенскихъ разсказовъ къ «Митиной любви» и «Арсеньеву». Каждому писателю предъявимъ требованія литературныя, но до нихъ общетворческія. Не только, какой у тебя талантъ, но и что ты дѣлаешь со своимъ талантомъ.

---

Два слова въ плоскости «какой». Талантъ Бунина родствененъ толстовскому по внутренней своей правдивости, Жизненность? Да, естественно было бы произнести это слово. Но вопросъ о «жизненности» запутанъ и теменъ. Все въ немъ упирается въ противорѣчія. Конечно, дѣло не въ той легкой наглядности изображенія, которой привычно достигаютъ и второстепенные беллетристы. Если бы все сводилось къ ней, были бы правы тѣ, кто не придаетъ пресловутой «жизненности» большого значенія. Но они не совсѣмъ правы.

Двусмысленность появилась недавно, въ послѣднія десятилѣтія, съ развитіемъ литературнаго натурализма, когда распространилось механическое правдоподобіе. Только теперь вопросъ получилъ и остроту. Но существовалъ онъ всегда.

Художникъ, разсказчикъ, повѣствователь строить нѣкій міръ, населяетъ его образами, подчиняетъ какимъ-то законамъ, заставляетъ «жить». Онъ воленъ сочинить и выдумать все, рѣшительно все, — кромѣ общаго принципа движенія, кромѣ ритма, который всѣмъ управляетъ: это должно быть дано, въ крайнемъ случаѣ найдено, — но не избрѣтено. Если принципъ не абсолютно безошибоченъ, получается какой-то домъ сумасшедшихъ, витрина съ манекенами, т. е. фальшь всѣхъ степеней отчетливости и уловимости, порой тончайшая, но все-таки неустраняемая. Читаешь — и чувствуешь «не то». Похоже, наглядно, искусно, — но мертво. Въ созданіи нѣтъ творческой логики, оно не можетъ жить, потому что замыселъ его не провѣренъ

всѣмъ опытомъ художника, оно не продолжаетъ этого опыта, не вышло изъ него, какъ выходить изъ реальной жизни всякое подлинно-бывшее сочетаніе отдѣльныхъ судебъ или волей... Одинъ изъ французскихъ критиковъ спросилъ недавно съ торжествующей усмѣшкой: «неужели же Данте менѣе жизненъ, чѣмъ Мопассанъ?» — и признался, что, склоненъ считать весь вопросъ объ условности и правдивости искусства абсурднымъ. Напрасно. Данте ни въ чемъ не уступаетъ Мопассану (съ поправкой на эпоху, на школу, на совсѣмъ другія задачи). Не надо только придавать фотографическому правдоподобию значенія, котораго оно не заслуживаетъ.

У Бунина нѣтъ фальши. Бывали огромные писатели, которые этимъ похвастаться не могли бы (Гоголь, который весь стоналъ отъ ощущенія порочности своего искусства, а иногда, будто забывшись, съ видимымъ удовольствіемъ, размалевывалъ чудовищныя «панно» вроде «Тараса Бульбы»; кстати, по Розанову, Гоголь писатель «дьявольскій», «нашептанный дьяволомъ»; очень вѣрно по ощущенію, или въ качествѣ «рабочей гипотезы»: дѣйствительно, невѣроятная, по-истинѣ колдовская, почти что безпримѣрная сила и вмѣстѣ съ тѣмъ безплодіе, сплошь черный и бѣлый тонъ, тайное уныніе, какая-то «всемирная скука», исходящая отъ Гоголя въ цѣломъ... Не только величайшій русскій писатель, но и величайшая русская загадка. — Затѣмъ Достоевскій, который, по Бунину, «соваль Христа во всѣ свои бульварные романы». Напоминаю фразу, заставившую многихъ людей, цѣнящихъ превыше всего культурную благопристойность мысли и выраженной, безмолвно поднять очи къ небу. Дѣйствительно, несправедливо. Но вѣдь какъ сказано, съ какой страстью! Если и придиричиво, то все-таки какой свѣтъ, мгновенный, будто вспыника молніи!). Но Пушкинъ и Толстой учатъ чистотѣ. Пушкинъ по глубокой своей сдержанности и какому-то душевному «иммунитету», не дававшему ему даже возможности рискнуть въ игрѣ искусства, всегда для Пушкина безпроигрышной. Толстой... но тутъ въ двухъ словахъ ничего не скажешь. Конечно, это художникъ «мутный» по сравненію съ Пушкинымъ, лишенный легкости, абсолютно неспособный къ скольженію. Но у Толстого было глубокое

чувство основательности въ первоначальномъ замыслѣ. Онъ азартничалъ онъ брался за все, что видѣлъ, ни передъ чѣмъ не отступалъ, но въ пониманіи отношеній духа съ матеріей, и взаимной ихъ связи, имъ руководилъ безошибочный инстинктъ. Оттого Толстой такъ и «жизнененъ». У Достоевскаго герои слишкомъ духовны, и въ этой своей чрезмѣрной духовности слишкомъ свободны: т. е. имъ уже «все позволено» — любой взлетъ, любое паденіе, разъ они лишены контроля земли и плоти. У Достоевскаго вообще — сплошной полетъ, и потому не полная убѣдительность, «чуть-чуть бредъ». Если порвался связъ, мало ли что можно сочинить еще? Если человѣкъ слушаетъ только самого себя, мало ли что можетъ ему прислышаться? Это какъ бы вѣчный упрекъ Толстого Достоевскому. И вмѣстѣ съ тѣмъ въ этомъ же источникѣ толстовской художественной совѣстливости, его чувства ответственности: связъ никогда не рвется, человѣкъ всегда остается человѣкомъ, а не ангеломъ или демономъ, — и мѣръ, конечно, грубѣе и душибѣе, чѣмъ при вольныхъ блужданіяхъ въ небесномъ эфирѣ, въ немъ, конечно, меньше ликованій, ужасовъ, волшебствъ и надежды, но, конечно, въ немъ больше мужества и безстрашнаго согласія принять бытіе. Бунинъ въ этомъ отношеніи покорный ученикъ Толстого, — и если вернуться къ его распрѣ съ декадентами, не здѣсь ли придется искать и корень ея? Тѣ, какъ блудные сыновья, отправились въ далекую, изнуряющую прогулку. Онъ остался дома... Хорошо было уйти и возвратиться. Но мало у кого нашлись на это силы, да и разлюбить прелести и соблазны «тѣхъ долинъ» не легко. Зинаида Гиппіусъ, поэтъ, которому декаденство (особенно, во второй, символической, бѣло-блоковской его стадіи) всегда было довольно чуждо, но который разеудкомъ привязался къ его темамъ и тонамъ, скорѣй догадавшись о нихъ, нащупавъ ихъ, чѣмъ органически съ ними слившись, — Зинаида Гиппіусъ и та, при всей ея свободѣ отъ власти времени, сказала недавно о возвращеніи: — Такія, какъ я, — не можемъ!

Бунинъ на всѣхъ этихъ путешественниковъ поглядываетъ искоса, съ ироніей. Ему-то «возвращаться» некуда. Онъ никогда не обманывался, насчетъ того, чѣмъ кончатся эти блудныя прогулки.

---

Когда читаешь Бунина, неизмѣнно кажется: онъ все понимаетъ, все видитъ насквозь — людей, природу, вещи, мѣръ. Не много было у насъ писателей умнѣе его. Умъ называется не въ томъ, конечно, что Бунинъ заставляетъ своихъ героевъ предаваться глубокомысленнымъ разсужденіямъ: наоборотъ, бунинскіе люди разсуждаютъ и разговариваютъ мало, въ болтливости ихъ упрекнуть никакъ нельзя. Нельзя сказать и того, чтобы Бунинъ увлекался «психологіей» и стремился объяснять или освѣщать изнутри каждое душевное движеніе своихъ персонажей. Но онъ дѣйствительно создатель своихъ созданий, онъ знает о нихъ больше, чѣмъ сами они о себѣ, — и описывая какой-нибудь степной закатъ или передавая разговоръ двухъ крестьянъ, онъ не остается постороннимъ свидѣтелемъ, а въ нихъ какъ бы перевоплощается. Сказано бываетъ немного, но ясно становится все, что можно было бы сказать; нити тянутся впередъ и назадъ; передъ нами не случайная, ни съ чѣмъ не связанная «картинка», а кусокъ мѣра, къ которому намъ данъ ключъ. Очень легко быть умнымъ писателемъ при умныхъ герояхъ — но это не умъ, а умничаніе. Умъ творческій проявляется въ знаніи и въ способности это знаніе передать. Кстати, чаще всего онъ довольствуется людьми, которые никакимъ чрезмѣрнымъ «интеллектуализмомъ» не отличаются, хотя и не являются идиотами, конечно, — людьми, въ которыхъ все болѣе или менѣе уравновѣшено. Анна Каренина не глупа и не умна. Но романъ о ней уменъ до ясновидѣнія.

Я сказалъ: кажется, что Бунинъ все понимаетъ и все видитъ. Подчеркиваю слово «кажется». Еще сильнѣе эта иллюзія, когда читаешь Толстого, потому что творческая его лабораторія обширнѣе. Часто это и приходится слышать: «Толстой все понималъ». Если не измѣняется мнѣ память, фраза эта дословно встрѣчается въ дневникѣ П. И. Чайковского, — въ записи, сдѣланной тотчасъ послѣ чтенія «Смерти Ивана Ильича». Да какъ въ самомъ дѣлѣ, подъ такимъ впечатлѣніемъ было и не сказать этого! Кажется, что и правда — надо поставить точку: больше не о чемъ писать, не о чемъ говорить.

Обобщеніе происходитъ оттого, что мѣръ, въ который мы при чтеніи вошли, гипнотически убѣдительно. Пока мы въ немъ — будто ничего другого и не существуетъ. Но потомъ, мало-по-малу, гипнозъ разсѣивается. Нѣтъ, Толстой не все понималъ: есть цѣлые пласты жизни, кото-

рые ему остались неизвѣстны и недоступны, «міры, міры», какъ любилъ говорить Блокъ. Міры, міры... какъ бы о нихъ яснѣе сказать? Есть въ нашемъ существованіи области данныя намъ и есть «завоеванныя», тѣ, въ которыхъ человѣку еще одиноко и страшно, въ которыхъ ему еще мало воздуха, но гдѣ онъ можетъ быть когда-нибудь и утвердится. Обманщики и хитрецы слѣшно забираются туда и съ кокетливо-надменной улыбкой утверждаютъ, что имъ только тамъ и хорошо (девять десятыхъ вульгарнаго «декадентства»). Они компрометируютъ то, къ чему прикасаются. Но всего они испортить не могутъ: «что-то» есть, — и началось это, и впервые это блеснуло не теперь, а много вѣковъ тому назадъ. Толстой въ сущности не понимаетъ уже и христіанства, — не въ морали его, конечно, а въ его музыкѣ (Пишешь это и тутъ же чувствуешь, какъ эти области скомпрометированы и искажены, какъ по своему Толстой и Буининъ правы. «Музыка христіанства»... это конечно звучитъ отвратительно, парфюмерно-эффектно. Но какъ сказать иначе? Для всего этого вѣтъ еще настоящихъ словъ). Толстой не понимаетъ влюбленности въ ея внѣ-животномъ, лунномъ, безнадежномъ томленіи, въ тристановскихъ, уже послѣ-вертеровскихъ тонахъ, влюбленности, которая есть, которую нельзя же исключить изъ бытія! Вообще не понимаетъ «неба новаго», которое люди надъ собой создали: идейнаго, чувственнаго, мечтаемаго... Толстой весь въ природѣ и весь внѣ исторіи, которая ничуть же не менѣе реальна чѣмъ природа. И ужъ, конечно, онъ — внѣ культуры. Что въ «небѣ новомъ» скрыто что-то опасное, — кто же, не потерявъ разсудка, станетъ это отрицать? Но опасно было человѣку и подняться съ четверенекъ на ноги, — однако человѣкъ устоялъ. Устоять можетъ быть и теперь.

Есть не только упрекъ Толстому Достоевскому — есть и отвѣтный укоръ, отъ Достоевскаго къ Толстому. Неодолимая власть карамазовскихъ и ставрогинскихъ діалоговъ надъ многими современными душами вовсе не въ навязчивомъ ихъ глубокомысліи, а въ «химическомъ составѣ» ихъ: есть въ нихъ новый элементъ, подлинно вошедшій въ нашу жизнь, и Толстому еще невѣдомый. Есть какой-то лучъ, еще темный, есть капля яда, которымъ міръ уже отравлен... У Толстого человѣкъ плотно и прочно всей ступней стоитъ на землѣ, въ «Карамазовыхъ» онъ поднялся на цыпочки (какъ у Бодлера или у Ибсена, ко-

торые оказались настолько чужды Толстому, что онъ, со всѣмъ своимъ сердцеви́дѣніемъ, принялъ ихъ за пошляковъ, Бодлера въ особенности, не разслушавъ и не почувствовать мученическаго склада всей его поэзіи). Вообще, порывъ человѣка и тоска, какъ расплата за порывъ, — внѣ поля зрѣнія Толстого.

Бунинъ продолжаетъ «стояніе всей ступней»... Въ этихъ предѣлахъ онъ видитъ все (рѣчь идетъ, конечно, о личности, а не о сферѣ общественныхъ явленій и отношеній). Но непогрѣшимость зрѣнія и передачи, то отсутствіе фальши, о которомъ я только что упоминалъ, дается ему сравнительно легко: въ тѣ области, гдѣ почти невозможно шагнуть, не сорвавшись, онъ не заглядываетъ. Удивительно все-таки, что въ послѣдніе годы начало его къ нимъ тянуть. «Митина любовь» уже на порогѣ ихъ, но точно испугавшись болѣзненного одухотворенія своего бѣднаго героя, Бунинъ заставилъ его накануне самоубійства согрѣшить съ деревенской бабой: эти страницы — рѣдкій образецъ «непогрѣшимости», доказательство рѣдкаго художественнаго чутья, мастерской поворотъ въ сторону спасительной «жизненности» чуть ли не въ послѣднюю минуту. Именно что-то такое и нужно было ввести въ рассказъ, чтобы человѣкъ не превратился въ тѣнь, чтобы «идеаль» и реальность были сбалансированы. Но холодкомъ обреченности, отрѣшенности, безадежности — тристановской грустной пастушьей дудочкой — отъ повѣсти все-таки вѣетъ. Это во всякомъ случаѣ ужъ не Толстой. Толстой, пожалуй бы нахмурилъ брови, удивленно покачалъ головой и сказалъ: «не то, не то...», — какъ сказалъ онъ на старости лѣтъ о Достоевскомъ... Еще замѣтнѣе это истонченіе, это истаяніе въ нѣкоторыхъ главахъ «Арсеньева». Бунину душно въ его мірѣ, онъ изъ него рвется. Но инстинктъ самосохраненія, инстинктъ художника «*roug qui le monde visible existe*» его сдерживаетъ. Только безотчетный восторгъ и безотчетная печаль, разлитые во всемъ повѣствованіи, выдаютъ тревогу человѣка, который глядитъ въ неизвѣстность.

---

Еще объ отношеніи Бунина къ Толстому.

Но это ужъ — изъ области недоумѣній. Это одинъ изъ вопросовъ, которые къ Бунину хотѣлось бы обратиться.

Толстовское воздѣйствіе нельзя испытать или пере-



жить только въ плоскости искусства: оно или вовсе не доходить до сознанія, или доходить цѣликомъ. Толстой не былъ «только романистомъ». Да вѣдь и въ романахъ его, помимо слѣдовъ опыта писательскаго, есть слѣдъ опыта нравственнаго, — отчетливый и ясный задолго до пресловутаго перелома, который будто бы заставилъ Толстого взглянуть на людей и жизнь по новому. «Войну и миръ» можно, конечно, разсматривать какъ національную героическую эпопею. Но въ этой эпопеѣ съ точки зрѣнія любви къ отечеству и народной гордости столько страннаго, столько двусмысленнаго, что для воспитанія юношества въ национально-патріотическомъ духѣ она во всякомъ случаѣ не пригодна. А о позднѣйшихъ вѣщахъ нечего и говорить. Тутъ, въ этой сферѣ, Толстой вѣрнѣ кого бы то ни было перенялъ и воспринялъ опаляюще-развѣдающую сущность евангельской проповѣди. Она осложнилась въ его сознаніи личными его чертами, измѣнилась въ окраскѣ, потеряла внутреннюю свободу и легкость, но не ослабѣла въ тѣхъ своихъ свойствахъ, которыя ужаснули когда-то устоявшійся, облѣнившійся міръ. «Померкъ» міръ подъ первыми дуновениями христіанства. Такъ меркнетъ душа подъ внушеніями Толстого, — и если потомъ опять возрождается въ ней вкусъ къ дѣятельности, работѣ и благополучію, то во всякомъ случаѣ выходитъ она изъ этой передѣлки сильно помятой. Не настаиваю: возможно полное, рѣшительное отталкиваніе, возможно равнодушіе къ толстовскимъ темамъ, ко всему этому строю мысли и чувства, встрѣчается «моральная глухота при метафизической чуткости», или чуткости эстетической, культурной, политической.. Но кто это слышитъ, тотъ Толстого пойметъ. Соглашаясь или не соглашаясь, онъ утратитъ вкусъ ко внѣшнему жизненному благолѣлію во всѣхъ его проявленіяхъ. Слава, величье, доблесть, честь, сила, іерархизмъ, и прочее, и прочее — все склонится передъ «единымъ на потребу», и текучее начало любви займетъ мѣсто впереди закона, власти, права.

Бунинъ очень близокъ къ Толстому. Онъ его очень глубоко ощутилъ. Но при этомъ въ немъ остался «стражъ порядка», и не въ какомъ либо расплывчато-туманномъ смыслѣ, а въ хорошо знакомомъ, традиціонно-россійскомъ, безсмертно-дворянскомъ. Сѣрная кислота ничего въ душѣ Бунина не развѣла, онъ ни въ чемъ не усомнился. Иногда за нѣкоторыми бунинскими фразами чувствуется этакій

отрывистый, энергичный командирскій басокъ: «здоровье государя императора!» А рядомъ, тутъ же, неукротимое, правдивое, чудное вдохновеніе живая мысль, полные отзвуки стихіямъ. Не понимаю:—ставлю только вопросительный знакъ. Какъ могло одно ужиться съ другимъ? Не знаю. Конечно, у принципиальныхъ стражей порядка и столповъ преемственной законности сейчасъ къ услугамъ множество хитрыхъ, блестящихъ теорій, въ которыхъ все, что нужно доказано и все, что нужно, опровергнуто, всѣ волки сыты, всѣ овцы цѣлы, и на всякое недоумѣніе данъ исчерпывающій отвѣтъ. Была бы охота, а ужъ въ «обоснованіяхъ» всего, что только угодно, недостатка въ наши дни нѣтъ. Но Бунинъ не изъ числа потребителей этой приперченной пищи. Онъ глубже, требовательнѣе, — и проще. Играть въ то, чтобы «всѣмъ да сказать нѣтъ, а всѣмъ нѣтъ сказать да!», для него едва ли интересно.

Только, вѣроятно, «стрѣла христіанства», пронзившая Толстого, прошла мимо него. Даже Чехова она задѣла, хотя воздѣйствіе Толстого на Чехова было не такъ непосредственно. Бунинъ же принялъ здоровье, крѣпость, первоначальную неразмышляющую довѣрчивость, — и отошелъ отъ того, чѣмъ все это въ его учительѣ было испепелено. Просто онъ любить міръ, въ которомъ родился и жилъ, и благодарность за бытіе распространяетъ на все.

Георгій Адамовичъ.

# Христіанство и политика

## I.

### Католическая, протестантская и православная тенденціи разрѣшенія вопроса.

Еще недавно вопросъ объ отношеніи христіанства и политики могъ казаться вопросомъ, не имѣющимъ прямого отношенія къ политикѣ. Нынѣ это уже никому казаться не можетъ. Событія, охватившія Россію и Германію, придаютъ новѣйшей исторіи Европы поистинѣ средневѣковый характеръ. Большевики обѣщаютъ черезъ нѣсколько лѣтъ убить во всѣхъ русскихъ людяхъ всякую память о христіанской вѣрѣ. Національ-соціалисты, считающіе своею главною задачею борьбу противъ коммунизма, рассчитываютъ принудительно возстановить христіанство, какъ основу семейной и общественной жизни. Государственная власть Россіи вскрываетъ раки съ мощами, налаживаетъ скоромощи потѣхи вокругъ алтарей, взрываетъ церкви, разстрѣливаетъ священниковъ; а государственная національ-соціалистическая партія Германіи развѣшиваетъ по церквамъ флаги со свастикой, полу-принудительно насаждаетъ «коричневое, солдатское христіанство» и проповѣдуетъ Христа какъ арійца, возставшаго противъ еврейскаго закона Моисея. О томъ, что религія есть «частное дѣло» (*Privatsache*), говорить, такимъ образомъ, больше не приходится. Наша идеократическая эпоха снова волнуется основною идеей европейской культуры, идеей христіанства. То, что міръ сейчасъ не столько входитъ въ Разумъ христіанской Истины, сколько сходитъ на ней съ ума, этого положенія не отрицаетъ. Во-первыхъ, потому, что исторія христіанства никогда не была исторіей его благополучнаго и безкровнаго процвѣтанія, а, во-вторыхъ, потому, что и въ наше время гоненія враговъ и «насажденія» друзей вызываютъ истинное ис-

повѣдничество и готовятъ новыя концепціи подлинной христіанской общественности.

Передъ лицомъ такого положенія вещей разрѣшеніе вопроса объ отношеніи христіанства и государства, христіанства и общественности становится одною изъ наиболѣе неотложныхъ задачъ какъ религіознаго, такъ и политическаго сознанія.

---

Вопросъ о взаимоотношеніи христіанства и политики не можетъ ставиться, какъ вопросъ взаимоотношенія христіанства, какъ такового, и политики, какъ таковой. На столь отвлеченный вопросъ невозможенъ конкретный, т. е. единственно насущный политическій отвѣтъ; отвѣтъ-указаніе: что-же намъ дѣлать и какъ намъ жить. Для полученія такого отвѣта вопросъ о взаимоотношеніи христіанства и политики долженъ быть поставленъ исторически конкретно, какъ вопросъ о возможной роли православія въ судьбѣ поореволюціонной Россіи. Выясненіе-же себѣ этой роли невозможно, въ свою очередь, безъ предварительнаго выясненія православнаго взгляда на отношеніе христіанства и политики, отличающагося какъ отъ католическаго такъ и отъ протестантскаго. Такъ какъ послѣдніе весьма опредѣленны и другъ другу противоположны, то выясненіе болѣе спорнаго православнаго удобнѣе всего начать съ раскрытія этой отчетливой противоположности.

Католическое разрѣшеніе вопроса, сводящееся въ своемъ классическомъ видѣ къ идеѣ теократіи, т. е. къ защитѣ возможности и обязательности христіанской политики, творимой силами и средствами подвластнаго церкви государства, связано съ основною сущностью общественной этики католицизма, съ ея благополучною двуполностью, или съ ея «биполярностью», какъ говоритъ Гейлеръ. Какъ въ классической системѣ Фомы Аквинскаго вѣра, откровеніе, царство Божіе, христіанство и церковь приведены въ гармонію съ разумомъ, философійю, земствомъ (обществомъ), античностью и государствомъ, такъ и въ общественной этикѣ и еще больше въ общественно-политической практикѣ католицизма господствуетъ точная вывѣренность, «выбалансированность» основного для христіанства противорѣчія между природно-разумнымъ и сверхприродно-откровеннымъ началами міра. Эта гармоничность

католическаго сознанія представляет собою очень сложный результатъ вѣковой педагогической работы, во главѣ которой стоитъ законнически-іерархическая идея — инстанція вселенскаго папы. Въ психологій католической религіозности есть несвойственная другимъ вѣроисповѣданіямъ особая умѣренность, вѣкое особое прочное здравомысліе, благополучная уживчивость «безумія креста» и житейскаго разума.

Приведу примѣры. Католическая общественно-политическая мысль, какъ извѣстно, глубоко консервативна и враждебна всякой революціи. Въ продолженіе всего 19-го вѣка она являлась неизблѣмымъ оплотомъ теоретической и практической борьбы противъ просвѣщенскіи-прогрессивной идеологій французской революціи. Вѣрная этимъ завѣтамъ католическая партія Германіи — центръ; шла до революціи 1918 г. рука объ руку съ нѣмецкими монархистами. Несмотря на это, она сразу-же, какъ только выяснилась побѣда революціи переметнулась на сторону социаль-демократіи, что не помѣшало доброму католику, искреннему гуманисту и честнѣйшему политику Брюнингу, столь долго пользовавшемуся благожелательнымъ нейтралитетомъ демократіи, первому высказаться за союзъ съ національ-соціалистами. Было-бы невѣрно думать, что такая чрезмѣрная уживчивость характерна только для свѣтской политики католицизма. Тѣмъ-же путемъ шла и церковь. Начавъ съ угрозы отлученій и запретивъ церковныя похороны національ-соціалистовъ, она послѣ двухъ сдержанныхъ, но твердо-обличительныхъ посланій епископскихъ конференцій въ Фульдѣ, кончила папескимъ конкордатомъ, т. е. очень выгоднымъ для себя обмѣномъ принципиально-благожелательнаго отношенія къ національ-соціалистамъ на весьма конкретныя преимущества, предоставленныя ей нѣмецкимъ правительствомъ въ дѣлѣ воспитанія и организаціи католической молодежи. Тѣмъ же практицизмомъ проникнуто и отношеніе католицизма къ войнѣ. Однажды мнѣ пришлось присутствовать при горячемъ спорѣ протестанта-націоналиста и католика-пасифиста на тему о томъ, является-ли убійство на войнѣ предметомъ исповѣди для вѣрующаго христіанина. Протестантскій священникъ, несмотря на весь свой пламенный націонализмъ, доказывалъ, что является, католическій-же прелатъ опредѣленно утверждалъ, что нѣтъ; что убійство на

войнѣ не есть личный грѣхъ солдата и что покаяніе въ немъ церковно безпредметно.

Протестантскимъ противникамъ католицизма и его политики такая предѣльная уживчивость со всеѣмъ новымъ и такое мастерство религиознаго самоустроенія въ міру всегда казались (нынѣ въ особенности кажется) совершенно недопустимымъ оппортунизмомъ. Сужденіе это на поверхностный взглядъ какъ будто-бы вѣрное, по существу конечно ложно. Оппортунизмъ означаетъ готовность къ постояннымъ измѣнамъ себѣ и своему подлинному служенію. Обвинять католицизмъ въ этой готовности не приходится. Успѣшно приспособляясь къ міру и ко все новымъ фазамъ его развитія, католицизмъ не только не измѣняетъ себѣ, а напротивъ, глубочайшимъ образомъ осуществляетъ себя, ибо приспособленность къ постояннымъ приспособленіямъ составляетъ его глубочайшую природу, всей исторіей взращенную въ немъ мудрость. Открытымъ остается только вопросъ, правильно-ли ту «службу связи» между здѣшнимъ и нездѣшнимъ мірами, которую съ такимъ упорствомъ и мастерствомъ вотъ уже вѣка осуществляетъ римско-католическая церковь, называть х р и с т і а н с к о й политикой. Не соблазнительны-ли, не утопичны-ли самое словосочетаніе и та идея теократіи, что явственно стоитъ за нимъ и слышится въ немъ? Отвѣтъ Лютера на этотъ вопросъ извѣстенъ. Для протестантскаго сознанія, въ особенности въ той формѣ, которую ему придало модное нынѣ теченіе діалектическаго богословія, идея х р и с т і а н с к о й политики, идея теократіи, хотя бы и свободной въ духѣ Вл. Соловьева, представляется явнымъ языческимъ соблазномъ.

Объясняется этотъ радикализмъ тѣмъ, что по Лютеру реальна въ жизни христіанства только вѣра, даруемая по благодати, пути нисхожденія которой неисповѣдимы, и, главное, человѣкомъ ни въ коей мѣрѣ и степени не уготовимы. Человѣкъ, какъ таковой, ничего не стоитъ и ничего не можетъ. Никакой свободной воли, о которой учитъ католичество, у него нѣтъ; никакой доброй волей онъ добра не строитъ и строить не можетъ. Добрыя дѣла, какъ все внѣшнее, равны нулю. Не только массивная католическая теократія, но даже высказываемыя епископомъ Феофаномъ пожеланія, чтобы «всѣ учрежденія освящались симъ (религиознымъ) духомъ», чтобы «жизнь въ обществѣ сливалась съ жизнью религиозной» и чтобы

«крестъ Христовъ все покрываль», для типичнаго протестанта не только безпредметны, но и соблазнительны. Крестъ Христовъ, согласно протестантской точкѣ зрѣнія, ни при какихъ условіяхъ не можетъ «покрывать» міра, ибо такое покрытие было-бы прикрытіемъ его грѣховъ. Задача же креста въ раскрытіи неизбывной грѣховности міра. Протестантскій крестъ не благословеніе міра, а судъ надъ нимъ. Исходя изъ этихъ одностороннихъ, мрачныхъ, но религіозно глубокихъ положеній протестантизмъ пришелъ къ полной капитуляціи передъ міромъ и его властью. Такъ какъ религіозное преображеніе міра, «лежащаго во злѣ», утопично, а въ послѣднемъ счетѣ даже и безожно, то протестантизму не остается ничего, кромѣ покорнаго пріятія свѣтской власти и всѣхъ земныхъ «устоевъ» и «порядковъ», какъ Богомъ установленныхъ началъ. Продиктованная въ свое время Лютеру не только религіозными мотивами, но и политическими обстоятельствами эта точка зрѣнія въ послѣдствіи настолько упрочилась, что даже въ спеціальныхъ энциклопедіяхъ официальные и осторожныя статьи опредѣленно высказываютъ мысль, что «требованіе примѣненія ученія Христова къ государственной жизни равносильно уничтоженію смысла христіанства». Богословамъ вторятъ философы: «смѣшеніе христіанства и политики непереносимо для христіанской совѣсти, потому что государство не можетъ не воевать, не судить, не карать; воевать-же, судить и карать во славу Божию недопустимо».

Изумительно яркій примѣръ такого раздвоенія религіознаго сознанія представляетъ собою недавнее поведеніе берлинскихъ студентовъ богословскаго факультета. Во время прочтенія группою «нѣмецкихъ христіанъ», примыкающихъ къ національ-соціалистамъ, призыва къ низложенію свободно избраннаго епископа объединенныхъ протестантскихъ церквей Бодельшвинка, 90% всѣхъ студентовъ покинуло аудиторію въ знакъ протеста противъ государственнаго вмѣшательства въ церковныя дѣла. Но покинувъ ее, выстроились на площади передъ университетомъ и заявили о своемъ полномъ и добровольномъ подчиненіи Гитлеру, какъ главѣ государства. Несостоятельность этой усложненной точки зрѣнія не замедлила сказаться. Германскому правительству не пришлось насиловать совѣсти христіанъ-протестантовъ. Восемьдесятъ процентовъ изъ нихъ, вѣрные ложно понятому слову, что

нѣтъ власти «еще не отъ Бога», такъ радикально отдѣлили христіанство отъ политики, что «нѣмецкимъ христіанамъ» безъ труда удалось низложить законно и свободно избраннаго епископа въ пользу угоднаго партіи «военно-окружнаго» проповѣдника Мюллера, чѣмъ лишний разъ была доказана очевидная истина, что безразличіе къ политикѣ неизбѣжно ведетъ къ политическому заслію церкви и христіанства.

Обвинять католическую церковь въ оппортунизмъ современному нѣмецкому протестантизму, такимъ образомъ, очевидно не приходится.

Къ какому же изъ двухъ рѣшеній примыкаетъ православіе? Стоитъ ли оно на католической точкѣ зрѣнія христіанской политики, или на протестантской — аполитичнаго христіанства? Отвѣтить на этотъ вопросъ не легко. У православной церкви нѣтъ ни своего Фома Аквинскаго, ни своего Лютера. Сильная своею мистическою традиціей и символическою глубиною культъ, восточная церковь уже съ VII-го вѣка утрачиваетъ напряженность и отчетливость богословски-спекулятивной мысли. Русскія религіозныя и религіозно-философскія рѣшенія вопроса объ отношеніи христіанства къ политикѣ страдаютъ потому исключительно широтою, включающей какъ типично-католическія, такъ и протестантскія точки зрѣнія. Ничего неестественнаго въ этомъ положеніи, на которое указывалъ еще Соловьевъ, нѣтъ. Начавъ углубленную разработку богословскихъ и религіозно-философскихъ вопросовъ лишь въ 19-омъ вѣкѣ, русская мысль не могла не исходить изъ богословскихъ системъ Запада, въ которыхъ за вѣка сложнѣйшихъ споровъ, и въ особенности споровъ между католиками и протестантами были продуманы всѣ рѣшенія всѣхъ проблемъ. Православно-русскаго рѣшенія вопроса объ отношеніи христіанства и политики быть можетъ правильнѣе потому искать не въ писаніяхъ восточныхъ отцовъ, чуждыхъ Россіи, и нашихъ религіозно-философскихъ писателей, еще не нашихъ отвѣта, а въ исторіи русской церкви и религіознаго опыта русскаго народа.

При такомъ подходѣ къ вопросу необходимо прежде всего отмѣтить существованіе двухъ отвѣтовъ: одного, въ извѣстномъ смыслѣ, католическаго, другого — протестантскаго. Оба опредѣленія примѣнимы къ русской исторіи лишь условно. Только въ томъ случаѣ, если мы условимся всякое стремленіе къ сліянію церкви и государства счи-



тать за католическую тенденцію, а удаление церкви отъ государства вплоть до полного отдѣленія — за протестантскую. Объ отличіи западно-католической формы сближенія церкви и государства отъ восточно-православной много писалъ Вл. Соловьевъ. Онъ, какъ извѣстно, считалъ ошибкою католическаго Запада превращеніе церкви въ государство и проповѣдывалъ обратный путь постепеннаго вращенія государства въ истину церкви. Эта, сама по себѣ очень существенная, разница для насъ не важна. Для нашей постановки вопроса важно только установленіе того факта, что официально господствующею формою взаимоотношенія христіанства и политики была въ Россіи укорененная въ византійскомъ цезарепапизмѣ и націоналистическомъ іосифлянствѣ «тѣсная связь государства и церкви», которую П. Н. Миллюковъ считаетъ «одною изъ самыхъ характернѣйшихъ чертъ русской церковности» и которая и нынѣ традиціонно господствуетъ «въ обновленчески-сергіевскомъ оппортунизмѣ революціонной синодальности». Оспаривать на первый взглядъ очевидную правильность Миллюковскаго положенія очень трудно. И все же нельзя не усумниться, дѣйствительно-ли тѣсная связь государства и церкви является «характернѣйшею» чертою русской церковности. Не вѣрнѣе ли будетъ сказать, что тѣсность этой связи является характернѣйшею чертою русской государственности? Будь эта связь дѣломъ церкви, какъ объяснить себѣ, что, не въ примѣръ Западу, она не дала на русской почвѣ никакихъ значительныхъ плодовъ. Іосифъ Волоколамскій и его послѣдователи сыграли, конечно, весьма существенную роль при построеніи государства Московскаго, но они не только не дали ни одного великаго подвижника, ни одного крупнаго богословскаго мыслителя, но и снизили, по мнѣнію Г. П. Федотова, мистическій уровень церковной жизни. Съ «государствленіемъ» православія грубѣетъ русская икона и мельбѣтъ потокъ русской святости. Учитывая все это и принимая во вниманіе, что своей религіозной глубиной русская исторія и русская культура обязаны съ одной стороны отшельничеству, а съ другой — вольному и даже свѣтскому религіозному творчеству, не будетъ, думается, ошибкою заключить, что теократическая идея, являющаяся на католическомъ западѣ дѣйствительно идеей церковной, является въ православной Россіи лишь идеей государственной.

Но если такъ, то невольно возникаетъ мысль не правильнѣ-ли въ цѣляхъ отысканія православно-русскаго разрѣшенія вопроса о роли христіанства въ построеніи государственной, общественной и культурной жизни исходить не отъ доминирующей іосифлянски-синодальной линіи, а отъ болѣе тихой и прикровенной, берущей свое начало въ жизни и ученіи Нила Сорскаго?

Многое говорить за то, что возможность положительнаго отвѣта на этотъ вопросъ должна быть очень серьезно взвѣшена.

Исповѣдуемое заволжскими старцами отдѣленіе церкви отъ государства, ихъ требованіе, чтобы пастыри «не страшились власти» и чтобы свѣтскіе государи не вмѣшивались въ дѣла духовныя, ихъ протестъ противъ церковнаго благословенія ссылокъ и казней за государственныя преступленія и еретическія мнѣнія, ихъ стремленіе къ духовной напряженности и свободѣ духовной жизни, все это гораздо глубже связано съ исторіей русскаго религіознаго творчества, чѣмъ официальная іосифлянски-синодальная линія.

«Тихія и кроткія словеса» митрополита Гермогена, напомнившаго Грозному «о страшномъ судѣ Божіемъ, взыскающемъ со всѣхъ царей яко простыхъ», слова св. Филиппа: «не могу повиноваться повелѣнію Твоему паче нежели Божьему... мы, о государь, приносимъ здѣсь безкровную жертву, а за алтаремъ льется кровь христіанъ», публично высказанное молодымъ Соловьевымъ пожеланіе, чтобы Александръ III простилъ въ качествѣ православнаго государя убійцъ своего отца, внѣцерковное, но все же глубоко христіанское «не могу молчать» Толстого и наконецъ борьба патріарха Тихона съ большевицкой властью, — вотъ тотъ путь вольнаго, обличающаго и пророчествующаго служенія церкви государству, по которому въ сущности шла Россія. Путь этотъ одинаково далекъ какъ отъ теократической вѣры въ возможность христіанской политики, такъ и отъ радикальнаго протестантскаго отдѣленія церкви отъ государства, при которомъ церковь уже не считаетъ своимъ правомъ протестовать противъ смертной казни, если только она совершается на основѣ точно сформулированныхъ и правильно примѣненныхъ государственныхъ законовъ.

Участіе церкви въ государственныхъ дѣлахъ отнюдь не должно, однако, ограничиваться только протестомъ

противъ преступлений. При нормальномъ теченіи народной жизни мыслимо и желательно творческое сотрудничество церкви и въ текущихъ мірскихъ дѣлахъ: прежде всего въ дѣлахъ народнаго образованія и національнаго культурнаго творчества. Насколько такое сотрудничество въ условіяхъ зависимости церкви отъ государства можетъ быть вредно для вѣры, настолько же оно можетъ быть полезно для міра при условіи полной свободы церкви и исполненности ея живымъ и творческимъ духомъ.

Драгоценнымъ залогомъ возможности въ будущемъ такого сотрудничества является та изумительная, въ условіяхъ европейскаго 19-го вѣка почти чудесная связь православнаго монастыря съ глубиной народной жизни и съ вершинами національной культуры, что на протяженіи почти цѣлаго вѣка осуществлялась въ Оптиной пустыни. Старецъ, пишетъ Розановъ, никогда не ограждалъ себя отъ міра, онъ ставилъ свою келью вблизи мужицкихъ избъ и барскихъ палатъ, чтобы всегда быть вблизи тѣхъ, кому нужна помощь. Когда старца Льва духовное начальство упрекало въ забвеніи монашескаго обѣта, онъ указывалъ на стекавшіяся къ нему народныя толпы и спрашивалъ, — можно ли передъ ихъ нуждою закрыть свои двери. И тѣ же оптинскіе старцы, что словомъ и совѣтомъ помогали народу, сумѣли связать свою обитель съ духовной нуждой величайшихъ русскихъ людей, съ творчествомъ Гоголя, Кирѣевскаго, Леонтьева, Достоевскаго и Соловьева.

Точной формулы православнаго рѣшенія вопроса о взаимоотношеніи христианства и политики все сказанное выше конечно не даетъ, но направленіе, въ которомъ ее надо искать, оно все же указываетъ. Правильная связь между христианствомъ и политикой осуществима, согласно подчеркнутымъ мною указаніямъ русской исторіи, только при слѣдующихъ трехъ условіяхъ: 1) отдѣленіе церкви отъ государства, 2) неустанная религіозная забота церкви о праведности государственныхъ путей, 3) внутренняя мистическая связь церковной жизни и національной культуры. Эти три тенденціи русской исторіи дѣлаютъ одинаково чуждыми русскому религіозному сознанію какъ «христианскую политику» католицизма, предполагающую реальную власть церкви надъ государствомъ, такъ и «аполитическое христианство» протестантизма, отказывающагося отъ всякой власти надъ міромъ.

## II.

**Ученіе о первоуродномъ грѣхѣ, какъ основа христіанской политики.**

Подойдемъ къ тому же вопросу съ совершенно другой стороны, не съ религіозной, а съ политической, и посмотримъ сможемъ ли мы свести концы съ концами.

Одинъ изъ наиболѣе глубокихъ и одновременно блестящихъ представителей современной германской науки, католикъ Карлъ Шмиттъ, нынѣ членъ Гёрингскаго прусскаго сената, выпустилъ съ годъ тому назадъ нашумѣвшую въ Германіи небольшую книжку, посвященную анализу понятія политики \*).

По мнѣнію Шмитта всѣ сферы человѣческой жизни покоятся на нѣкихъ изначальныхъ противоположностяхъ. Нравственная сфера живетъ противоположностью добра и зла; художественная — прекраснаго и уродливаго; теоретическая — истины и лжи; экономическая — рентабельности и нерентабельности. Чѣмъ же жива политическая сфера? На какой противоположности покоятся ея самостоятельность и ея значеніе? Отвѣтъ Шмитта напоминаетъ Колумбово яйцо. По его мнѣнію политика есть лишь постольку самостоятельная сфера жизни, поскольку противоположность дружбы и вражды не сводима ни къ какимъ инымъ противоположностямъ. Врагъ не есть носитель зла или лжи; не есть онъ и воплощеніе уродства; онъ не конкурентъ, въ котораго его пытался превратить экономическій либерализмъ и не инакомыслящій собесѣдникъ, за котораго его принимала демократія. Врагъ есть врагъ, т. е. существо, процвѣтаніе котораго не совмѣстимо съ благополучіемъ моей жизни и который долженъ быть обезвреженъ; если нѣтъ другихъ средствъ — уничтоженъ, убить. Въ подтвержденіе вѣрности своего тезиса Шмиттъ остроумно указываетъ на то, что рѣчь о соціальной политикѣ зашла лишь съ выдвигенія марксизмомъ теоріи классовой борьбы, что проблема церковной политики выросла на почвѣ вражды между церковью и государствомъ, церковью и обществомъ. На обычное для христіанскаго сознанія возраженіе, что Христосъ повелѣлъ любить враговъ своихъ, Шмиттъ отвѣчаетъ указаніемъ, что приводимыя обыкновенно мѣста Нагорной проповѣди

\*) Carl Schmitt. Der Begriff des Politischen. Duncker und Humblot. München. 32.

(Матѣ. 5, 44; Лука 6, 22) имѣють въ виду частную, а не общественную жизнь. Евангельскій текстъ «любите враговъ вашихъ» гласить по латыни «diligite inimicos vestros», а не «diligite hostes vestros». Врагъ же въ широкомъ смыслѣ слова значить «hostis», а не «inimicus». Правильность этого толкованія подтверждаетъ, по мнѣнiю Шмитта, и тысячелѣтняя борьба христіанства съ Исламомъ, въ теченіе которой ни одному христіанину ни разу не пришло въ голову, что любовь къ врагу требуетъ сдачи христіанской Европы туркамъ и сарацинамъ. Изъ этого слѣдуетъ, что христіанство не имѣетъ основанія протестовать противъ основнаго закона всякой политической жизни, противъ вражды къ противнику, устремленной въ предѣлѣ къ его физическому уничтоженію (Totschlag). Парадоксальная теорія Шмитта въ очень многомъ убѣдительна, но въ главномъ все же глубоко ошибочна. Дѣлавшееся Шмитту возраженіе, что грызущіе другъ друга звѣри, убивающіе другъ друга дикари и стрѣляющіеся на дуэли ревнивыцы никакъ не могутъ быть причислены къ политикамъ, формально вѣрно, но, по существу, не состоятельно, ибо Шмиттъ не утверждаетъ, что всякая борьба не на животь, а на смерть, есть политика, а лишь обратное — что всякая политика есть борьба съ врагомъ, допускающая въ качествѣ послѣдняго средства убійство противника.

Оспаривать правильность этого положенія, поскольку рѣчь идетъ не о томъ, чѣмъ политика должна быть; а лишь о томъ, чѣмъ она всегда была и понынь осталась, весьма трудно. Великіе политики всегда дѣлили людей не на добрыхъ и злыхъ и не на умныхъ и глупыхъ, а, согласно теоріи Шмитта, на друзей и враговъ. Друзей они заставляли служить своимъ цѣлямъ, а съ врагами боролись, причемъ, любя власть и стихію борьбы, никогда не останавливались передъ послѣднимъ средствомъ—физическимъ уничтоженіемъ противника. Современная Европа, только что пережившая страшную войну, не даетъ, къ сожалѣнію, никакихъ основаній надѣяться, что исторія собирается измѣнить своей древней традиціи. Идея пасифизма на нашихъ глазахъ превращается въ одну изъ наиболее позорныхъ идей недавняго прошлаго. Все растущая власть фашизма начинается захватывать и наиболее демократическія страны. Ясно, что завтра передъ демократами и демократіями встанетъ вопросъ — предавать-ли имъ свои идеалы или защищать ихъ политическими средствами до-

инствующаго фашизма. Еще пытающимся защищать гуманитарный политическій идеалъ, все чаще приходится выслушивать возраженіе, что гуманизмъ аполитиченъ и политически безсиленъ, такъ какъ отъ его правды становится невыносимо скучно крови. Такія мысли высказываютъ люди, никогда конечно Карла Шмитта не читавшіе, но своимъ умомъ дошедшіе до «послѣдняго слова» современной науки. Ученые и неучи сходятся въ самомъ главномъ. Такое совпаденіе психологически очень показательно и социологически важно. Оспаривать шмиттовскій анализъ сущности политики сейчасъ труднѣе, чѣмъ когда бы то ни было. Поле политической дѣятельности въ наши дни есть больше, чѣмъ когда бы то ни было поле брани, опоясанное горизонтомъ смерти. Идеи-истины все больше и больше теряютъ всякое значеніе и власть надъ міромъ. Дѣйствуютъ и развиваются лишь идеи-силы (Бунаковъ).

Но Шмиттъ правъ не только въ своемъ анализѣ реальной политической жизни, правъ онъ и въ своемъ утвержденіи, что заповѣди Нагорной проповѣди имѣютъ въ виду не общественно-политическую, а частную жизнь людей. Доказывается это не только филологическимъ анализомъ текстовъ и приведеннымъ Шмиттомъ примѣромъ борьбы христіанства съ Исламомъ, но и тѣмъ, что большинство учителей христіанства и христіанскихъ мыслителей защищали и защищаютъ патріотическія войны и власть государства съ ея жестокостями и насиліями. Толстовская проповѣдь непротивленія злу потерпѣла на нашихъ глазахъ величайшее пораженіе. Причемъ не внѣшнее, а внутреннее: — несостоятельность толстовства проявилась не въ томъ, что при объявленіи войны многіе толстовцы подчинились государственной власти (это дѣло житейское), а въ томъ, что проявившимъ геройское упорство удалось всего только самимъ отойти отъ грѣха, но не удалось не только изъять войны изъ міра, но хотя-бы сократить ея ужасы и размѣры. Трагедія толстовства и всякаго христіанскаго пацифизма есть убѣдительнѣйшее доказательство того, что безотнositельное къ состоянію міра исполненіе заповѣдей Христовыхъ далеко не всегда ведетъ къ его христіанизации. Любовь къ своему врагу и готовность лучше самому умереть, чѣмъ поднять на него руку навсегда останется верховной нормой личной нравственности. Но осуществленіе этой нормы очевидно теряетъ свою правду при условіи, что разящая рука врага оказывается занесенной не надъ

тобою, а надъ головою твоего ближняго. При такой постановкѣ вопроса рѣчь идетъ уже не о томъ, умереть-ли самому или убить другого, а о томъ, убить-ли низменнаго врага, или, спасая свою душу (спасешь-ли ее этимъ?), допустить убійство ни въ чемъ не повиннаго существа. Вопросъ этотъ ни въ коей мѣрѣ и степени не отвлечененъ и не казуистиченъ. Всѣмъ намъ, активнымъ участникамъ войны и революціи, приходилось его не только теоретически ставить, но и практически рѣшать. Когда взбѣщенные дезертиры обнажали окопы, вѣшали на телеграфныхъ столбахъ начальниковъ станцій и, грозя машинистамъ разстрѣлами, самовольно подавались въ тылъ, громя по пути деревни, насильничая и грабя, тогда и для отвѣтственной христіанской власти не оставалось ничего кромѣ пулеметовъ и смертныхъ казней. Боязнь поднять мечъ, дабы отъ него не погибнуть, была бы при указанныхъ условіяхъ ничѣмъ инымъ, какъ казнью многихъ тысячъ ни въ чемъ неповинныхъ людей. Большевики, начавшіе съ отмѣны смертной казни, не только какъ лжецы, но и какъ утописты, кончили невиданными еще въ мѣрѣ казнями.

Но если такъ, если Шмиттъ дѣйствительно правъ въ своихъ размышленіяхъ, то не слѣдуетъ ли изъ этого полная невозможность христіанской политики, или, говоря иначе, полная совмѣстимость любой большевицкой и фашистской общественности съ духомъ христіанской нравственности?

Никакихъ основаній для отрицанія этихъ выводовъ Шмиттъ не даетъ; и въ этомъ величайшая ошибка его во многихъ отношеніяхъ блестящаго построенія.

Какъ же уйти отъ этой ошибки, дабы не сказать — лжи? Какъ, не оспаривая вражды и смертной борьбы какъ непреложнаго закона политической жизни и не закрывая глазъ на очевидный фактъ, что Христова заповѣдь любви къ врагамъ легко перерождается въ политической сферѣ въ убійство неповинныхъ людей и въ предательство добра и истины, все же отстоять и защитить идею христіанской политики? Чтобы отвѣтить на этотъ вопросъ, необходимо прежде всего идею христіанской политики въ ея т о ч н о м ъ и прямомъ смыслѣ тщательно отграничить отъ того обличительнаго и пророческаго блюденія праведности государственныхъ путей и общественныхъ начинаній, о которыхъ рѣчь шла выше. Христіанская политика не

возможна, конечно, безъ наличія въ странѣ углубленной религіозной жизни, безъ раздающагося во всеуслышаніе пастырскаго и пророческаго голоса, но ни пастыри, ни пророки не политики. Вл. Соловьевъ былъ безспорно одною изъ самыхъ глубокихъ религіозныхъ натуръ послѣдняго времени. Десять лѣтъ онъ занимался почти исключительно политическими вопросами. Его статьи и сейчасъ волнуютъ религіозной подлинностью и глубиной нравственной озабоченности судьбами міра и Россіи, и все же каждая строчка этихъ статей говорить о томъ, что Соловьевъ въ томъ же смыслѣ не былъ политикомъ, въ какомъ не были политиками Платонъ и Данте. О чемъ-бы онъ ни писалъ, — о соединеніи церквей, о полякахъ, о евреяхъ, о русскомъ націонализмѣ, онъ все время говорить о нормахъ религіознаго сознанія, и о томъ, какъ все сразу стало-бы по мѣстамъ, если-бы всѣ люди руководились нравственными нормами. Вопроса же о томъ, какъ же приудить людей руководиться этими нормами, онъ серьезно нигдѣ не рѣшаетъ, хотя и признаеть, вопреки Толстому, государственное принужденіе и войну. Въ немъ нѣту самаго главнаго для политика качества: нѣтъ политическаго глазоумѣра и точнаго знанія той психологически-соціологической территоріи, которую онъ обстрѣливаетъ изъ своихъ публицистическихъ орудій. Онъ все время стрѣляетъ на перелетахъ..., т. е. обстрѣливаетъ горизонтъ, мѣсто, гдѣ земля сходится съ небомъ, т. е. мѣсто, котораго на самомъ дѣлѣ нѣту. Все это ничего не говоритъ противъ Соловьева и его дѣятельности. Все это лишь разграничиваетъ два понятія: говорить о томъ, что дѣло христіанской публицистики не есть еще дѣло христіанской политики. Соловьевъ былъ совѣстью русской политики, но русскимъ политикомъ онъ не былъ. Ставь имъ, онъ долженъ былъ-бы заплатить за это чистотой своей совѣсти.

Но если смыслъ христіанской политики не въ вольной и безвластной проповѣди христіанства, даже если-бы эта проповѣдь была организована въ грандіозныхъ и интернаціональныхъ масштабахъ, по образу, на примѣръ, «Арміи спасенія», то въ еще меньшей степени его можно искать въ насильственномъ насажденіи христіанства при помощи государственнаго законодательства и государственныхъ органовъ власти. Этотъ же-теократическій путь привелъ даже такого религіозно-глубокаго человѣка, какъ рефор-



матора Кальвина, къ сожженію на кострѣ своего богословскаго противника Михаила Сервета.

Можно съ увѣренностью сказать, что въ будущей Россіи, если бы она встала на путь военно-государственнаго возстановленія «православной Руси», дѣло однимъ костромъ не обойдется. Тутъ завтрашніе національ-большевики раздуютъ такое пламя, въ которомъ мигомъ сгорятъ послѣднія оставшіяся отъ большевиковъ церкви и послѣдніе пережившіе большевиковъ христіане.

Но и оставляя въ сторонѣ вопросъ о религіозной недопустимости и практической безсмыслицы насильственнаго насажденія христіанства, нельзя не видѣть, что насажденіе это, если бы оно даже было допустимо и возможно, не есть центральная проблема христіанской политики. Центральнѣе вопросовъ народнаго воспитанія суть вопросы хозяйства, соціальной борьбы, борьбы съ преступными элементами въ государствахъ и борьбы между государствами, т. е. вопросы хлѣба, порядка и власти. Нравственно-воспитательная задача въ сущности ясна и проста. Она почти цѣликомъ сводится къ созданію въ странѣ той свободы, внѣ которой невозможно не только христіанская, но и просто духовная жизнь. Чистая духовная сфера не есть по существу сфера политической. Она становится таковой лишь съ того момента, когда въ духовный споръ въ качествѣ послѣдняго аргумента вводится физическое насиліе; въ послѣднемъ счетѣ уничтоженіе противника. Случается-же это тогда, когда, произнося слова «Богъ или духъ», люди имѣютъ въ виду, какъ гласитъ извѣстная англійская поговорка, «ситецъ». Такихъ «ситцевъ», именовавшихъ себя Богомъ въ мірѣ всегда было очень много. А сейчасъ развелось тьма. Изъ-за нихъ, т. е. изъ-за хлѣба, изъ-за рынковъ, изъ-за власти, изъ-за міроваго первенства, изъ-за національнаго самолюбія, равсого самоутвержденія и идетъ та подлинная политическая борьба, которая ведется сословіями, классами, націями, государствами и развертывается въ циклахъ войнъ и революцій.

Изъ всего сказаннаго вытекаетъ съ полной ясностью, что вопросъ христіанской политики не есть ни вопросъ вольной христіанской проповѣди, (это вопросъ христіанскій, но не политическій), ни вопросъ государственно-принудительнаго насажденія христіанства (это вопросъ политическій, но не христіанскій), а есть прежде всего вопросъ о религіозномъ смыслѣ участія христіанъ въ той конкрет-

ной политической жизни, непреложный законъ которой вражда и уничтоженіе противника. Отвѣтъ на этотъ вопросъ очень простъ и на первый взглядъ врядъ-ли для многихъ убѣдительно. Смыслъ участія христіанъ въ дѣлѣ вражды, насилія и даже убійства очевидно заключается только въ томъ, что, борясь, воюя, казня и убивая, они не въ силахъ дѣлать все это съ тою чистою совѣстью, съ тѣмъ легкимъ дыханіемъ, съ которыми все это производится современнымъ цивилизованнымъ язычествомъ. Признавая для себя обязательнымъ судить, карать и воевать, всякій человѣкъ христіанской совѣсти не можетъ одновременно не признавать и того, что судъ надъ ближнимъ, тюрьма для ближняго и убійство ближняго, хотя бы и врага — есть тягчайшій грѣхъ. Вся несостоятельность Шмиттовской концепціи въ томъ только и заключается, что, правильно разгадавъ законъ политической жизни, онъ не окрестилъ его именемъ грѣха.

Возможно конечно возраженье, что для объективныхъ судьбъ міръ совершенно безразлично совершаются ли преступления, именуемая политическими необходимостями, безъ всякихъ угрызений совѣсти, или въ тяжкихъ нравственныхъ мукахъ, но оно явно несостоятельно. Причемъ не только съ религіозной точки зрѣнія, съ которой не можетъ быть спора о томъ, что смертный грѣхъ не въ томъ, что люди грѣшатъ, а въ томъ, что они своего грѣха не чувствуютъ, но и съ житейски-политической. Если-бы всѣ участники міровой войны и вырвавшейся изъ ея нѣдръ революціи разстрѣливали-бы своихъ ближнихъ въ окопахъ и на баррикадахъ въ тяжкомъ сознаніи, что, исполняя свой гражданскій долгъ, они губятъ свою христіанскую душу, то ни міровая война, ни въ особенности большевицкая перелицевка міра не достигли бы тѣхъ чудовищныхъ размѣровъ, которыхъ онѣ достигли. Безмѣрность эта не только «планетарные масштабы», не только рекордное число, столь характерное для капиталистической культуры 19-го вѣка, не только количество, но и качество. Весь ужасъ нашего положенія въ томъ, что исторія выдвинула въ качествѣ властителей и руководителей міра совершенно особую породу людей: смѣлыхъ, волевыхъ, страстныхъ, умныхъ и злыхъ, но нравственно предѣльно страшныхъ, ибо совершенно безскорбныхъ, даже приблизительно не знающихъ, что значитъ сокрушаться сердцемъ и разрушеніемъ собственнаго духовнаго бытія

оплачивать свое нравственно обязательное и все же неизбежно грѣшное участіе въ развертывающихся міровыхъ событіяхъ.

Въ этой, несмотря на всѣ костры инквизиціи все же новой для христіанскаго міра глухотѣ къ основному факту человѣческаго бытія, къ «безъ вины виноватости», къ неизбежности грѣха даже и на путяхъ обязательной защиты добра и истины, т. е. ко всему тому, что христіанство называетъ первороднымъ грѣхомъ, коренится та безмѣрность лжи и крови, которою большевики залили Россію и которая съ каждымъ днемъ все страшнѣе и безумнѣе отражается въ глазахъ ихъ наиболѣе страстныхъ противниковъ-близнецовъ. Много грѣховъ разрушаютъ міръ, но нѣтъ болѣе разрушительнаго грѣха, какъ грѣхъ невѣрія въ грѣхъ, т. е. грѣхъ убѣжденности въ своей праведности.

Путь, пройденный человѣчествомъ отъ временъ Блаженнаго Августина, создателя церковнаго ученія о первородномъ грѣхѣ, до нашего времени, которому это ученіе, — если говорить не объ отдѣльныхъ личностяхъ, а о широкихъ массахъ, — представляется сплошною нравственной и логической невнятицей, очень дологъ и сложенъ. За время этого пути древнее ученіе Августина, восходящее, какъ извѣстно, къ апостолу Павлу, истолковывалось самымъ различнымъ образомъ. Исключительное обиліе истолкованій объясняется, очевидно, тѣмъ, что въ основѣ ученія о первородномъ грѣхѣ лежитъ опытъ той религіозной глубины, которая вообще не допускаетъ рациональнаго раскрытія. Еще Іоаннъ Златоустъ указывалъ на возможность такой интерпретаціи, при которой въ душѣ грѣшника неотвратимо возникаетъ соблазнъ перенесенія своей вины на голову Адама. И дѣйствительно, достаточно утратить то рационально трудно объяснимое и никакъ недоказуемое чувство, что быть человѣкомъ и быть грѣшнымъ существомъ одно и то же, что человѣкъ виноватъ передъ Богомъ не своими отдѣльными дѣлами и поступками, а всѣмъ своимъ бытіемъ, которое очевидно лежитъ въ основѣ ученія о первородномъ грѣхѣ, чтобы превратить праотца Адама и его прегрѣшеніе въ первопрічину всѣхъ дальнѣйшихъ міровыхъ грѣховъ. При такомъ поворотѣ мысли ученіе о первородномъ грѣхѣ естественно превращается въ классическую модель всѣхъ послѣдующихъ ученій о наслѣдственности и средѣ, т. е. о

безответственности человѣка. Выработанныя въ просвѣщенствѣ 17-го и 18-го вѣковъ эти ученія достигли въ 19-омъ всенароднаго распространения. Заглавіе извѣстнаго романа Верфеля «Виновать не убійца, — виновать убитый» является классической популярной формулой секуляризованнаго пониманія теоріи первороднаго грѣха. Въ гуманный 19-й вѣкъ отрицаніе за человѣкомъ всякой вины, въ виду связанности его воли наслѣдственностью и средой, вело къ теоріи замѣны наказанія преступника его изоляціей, врачеваніемъ и воспитаніемъ. Большевики, додумавшіе до конца всѣ идеи 19-го вѣка, додумали до конца и формулу Верфеля. Если не виновать убійца, то, очевидно, не виновать и убитый. Но изъ своего послѣдовательнаго положенія, что никто не виновать, что никакой вины вообще нѣтъ, они сдѣлали выводы прямо противоположные гуманистическимъ идеямъ 19-го вѣка. Карать буржуя и по большевицкой теоріи бессмысленно, ибо въ томъ, что онъ буржуй, онъ не виновать, но ликвидировать его, какъ буржуя необходимо, ибо человѣкъ ни въ чемъ не виноватый, неизбежно и человѣкъ во вѣки вѣковъ неисправимый. Ясно, что въ большевицкой теоріи замѣны казни виновныхъ ликвидаціей невинныхъ просвѣщенски-атеистическій гуманизмъ возвращается къ своимъ религиознымъ истокамъ и отравляетъ ихъ явнымъ сатанизмомъ. Какъ въ центрѣ ученія о первородномъ грѣхѣ, такъ и въ центрѣ большевицкаго ученія стоятъ не отдѣльные поступки человѣка, а само человѣческое бытіе.

Но в то время какъ христіанинъ въ осознаніи своего грѣха обрѣтаетъ свое бытіе, большевикъ въ сознаніи своей правды лишаетъ другихъ жизни.

Большевизмъ есть максимальное отпаденіе отъ всѣхъ основъ христіанской политики. Борьба за христіанскую политику невозможна потому безъ внутренняго преодоленія большевизма. Внутреннее же преодоленіе большевизма невозможно на путяхъ большевицкой борьбы противъ большевиковъ. Въ полномъ непониманіи этой связи вещей наиболѣе активными противниками большевизма таится не только страшная религиозная опасность, но и политическая проблематичность «христіанской борьбы противъ большевицкаго окаянства».

**Федоръ Степунъ.**

# Міровой хозяйственный кризисъ

1. Поворотъ въ хозяйственной конъюнктурѣ. — 2. Послѣдствія кризиса. — 3. Особенности пережитаго міровымъ хозяйствомъ кризиса. — 4. Задачи хозяйственной политики.

## 1. Поворотъ въ хозяйственной конъюнктурѣ.

Давая обзоръ судебъ мірового хозяйства за послѣдніе годы, я долженъ былъ бы начать съ того, какъ подготавлилась разразившаяся въ концѣ 1929 г. катастрофа; за этимъ слѣдоваль бы рассказъ о томъ, какъ въ теченіе трехъ лѣтъ непрерывно падали цѣны, сокращалось производство, росла безработица, прекращали платежи банки, раззорялись цѣлыя отрасли промышленности, сокращались обороты международнаго товарообмѣна. Лишь въ концѣ изложенія я подошелъ бы къ нынѣшнему положенію мірового хозяйства и могъ бы заняться новѣйшими признаками поворота въ хозяйственной конъюнктурѣ...

Но въ рамкахъ журнальной статьи, передъ лицомъ читателя, требующаго выводовъ и обобщеній и готоваго ради краткости пожертвовать строгостью доказательствъ и полнотой статистическихъ справокъ, историческое изложеніе вопросовъ, связанныхъ съ міровымъ кризисомъ, — къ сожалѣнію, — невозможно. Для того, чтобы съ самаго начала уяснить мою точку зрѣнія на изслѣдуемый отрѣзокъ хозяйственной исторіи міра, я начну съ конца, съ тѣхъ явленій въ области мірового хозяйства, которыя побуждаютъ меня смотрѣть на міровой хозяйственный кризисъ, какъ на процессъ, въ основныхъ чертахъ уже завершенный, принадлежащій исторіи.

«Міръ», о которомъ мы думаемъ, говоря о «міровомъ хозяйствѣ», «міровой промышленности», «міровомъ кризисѣ», отличается не только отъ «міра» астрономовъ (Вселенная), но и отъ «міра» географовъ (Земля). Нашъ экономическій «міръ» гораздо уже: онъ покрываетъ собой

совокупность странъ европейско-американской хозяйственной культуры, изъ которыхъ каждая входитъ въ него лишь въ мѣру своей доли въ общей суммѣ производства, въ общихъ оборотахъ товарообмѣна и т. д. Согласно этому — а экономисты или статистики иначе мыслить мѣняють — границы «мірового хозяйства» мѣняются въ зависимости отъ того, о какой отрасли хозяйственной дѣятельности идетъ рѣчь. Но во всѣхъ случаяхъ «міръ» остается собирательнымъ понятіемъ, суммой опредѣленныхъ, доступныхъ наблюденію и измѣренію слагаемыхъ.

Процессы мірового хозяйства почти всегда слагаются изъ противорѣчивыхъ элементовъ и признаковъ. Конечно, въ предѣльномъ случаѣ, въ видѣ исключенія, возможно такое положеніе, при которомъ развитіе всѣхъ сторонъ хозяйства во всѣхъ странахъ направлено въ одну и ту же сторону. Но обычно однѣ изъ нитей хозяйственной ткани тянутся вверхъ, другія внизъ. Характеръ міровой хозяйственной конъюнктуры опредѣляется преобладаніемъ восходящихъ или нисходящихъ линий, причемъ, само собой разумѣется, эти линии приходится не считать, а оцѣнивать. Начало мірового кризиса характеризуется накопленіемъ множества нисходящихъ движеній въ отдѣльныхъ областяхъ хозяйства, въ отдѣльныхъ странахъ; конецъ кризиса опредѣляется замираніемъ этихъ движеній и появленіемъ восходящихъ линий.

Нерѣдко впрочемъ примѣняется иной приемъ. При накопленіи явленій, противорѣчащихъ взгляду изслѣдователя на міровую хозяйственную конъюнктуру, начинается разъясненіе неудобныхъ признаковъ, и всѣ явленія, вытекающія изъ особыхъ мѣстныхъ условій, вычеркиваются изъ общей картины. Напр., изслѣдователь знаетъ, что свирѣпствующій въ мірѣ кризисъ долженъ былъ еще болѣе обостриться вслѣдствіе событий въ Японіи, Германіи, Соед. Штатахъ и т. д. Натолкнувшись на рядъ явленій, повидимому, противорѣчащихъ этому взгляду, онъ принимается «глубже» изслѣдовать ихъ и убѣждается, что объясняются они въ Японіи — военными приготовленіями, въ Германіи — скрытой инфляціей, въ Америкѣ — спекуляціей и «искусственными» мѣропріятіями и т. д.

Этотъ методъ хорошъ для спасенія теоретическихъ построеній, вступившихъ въ противорѣчіе съ дѣйствитель-

ностью, но онъ непригоденъ для изученія того, что есть. Кто хочетъ познать дѣйствительность, долженъ прежде всего наблюдать, затѣмъ изучать результаты наблюденій и лишь послѣ этого дѣлать выводы.

Такое изслѣдованіе даетъ съ конца 1929 г. вполнѣ четкую картину непрерывно обостряющагося упадка мірового хозяйства. Примѣрно въ срединѣ 1932 г. нисходящее движеніе достигло предѣльной точки или вплотную приблизилось къ ней. Во вторую половину 1932 г. стали наблюдаться признаки перелома: движеніе внизъ замедлилось, появились тамъ и сямъ признаки расширенія хозяйственной дѣятельности, начали вырисовываться условия благопріятствующія новому подъему. Само собой разумѣется, кривыя хозяйства не могли всѣ разомъ сдѣлать поворотъ вверхъ, какъ солдаты въ строю. Поворотъ совершался постепенно: начинающееся восходящее движеніе не разъ прерывалось встрѣчными ударами. Но вотъ прошло уже болыше года съ того момента, который многими экономистамъ и статистикамъ — въ частности, и мнѣ — въ свое время представлялся поворотнымъ пунктомъ въ развитіи мірового кризиса. Теперь можно судить о пройденномъ пути на основаніи положительныхъ данныхъ хозяйственной статистики

\*\*

Самымъ характернымъ признакомъ послѣдняго хозяйственнаго кризиса было рѣзкое сокращеніе объема промышленности и продукціи. Развитіе ее характеризуется движеніемъ индексовъ промышленности, выражающихъ продукцію каждого мѣсяца (или каждой четверти года) въ процентахъ средней мѣсячной продукціи за опредѣленный годъ (или иной промежутокъ времени), выбранный за основу сравненія.

Такіе индексы ведутся въ настоящее время, круглымъ счетомъ, въ 4 десяткахъ странъ, причемъ каждая страна стремится охватить всѣ значительныя отрасли своей промышленности (включая и горное дѣло).

На основаніи индексовъ отдѣльныхъ странъ статистика вычисляетъ индексъ міровой промышленности, — индексы отдѣльныхъ странъ учитываются при этомъ пропорціонально мощности ихъ промышленности

въ тотъ годъ, который служитъ основой сравненій. Само собой разумѣется, общій индексъ, который пытается въ одномъ рядѣ цифръ или въ одной кривой передать бѣніе пульса мірового хозяйства, не можетъ обладать безупрочной точностью. Но частичныя поправки, которыя могутъ быть внесены въ него, лишь въ малой степени вліяютъ на общее направленіе его движенія.

Индексъ Берлинскаго конъюнктурнаго Института (продолженный мною) даетъ слѣдующую картину:

До середины 1929 г. міровая промышленность быстро развивалась (приростъ съ іюня 1928 по іюнь 1929 г. +12%); затѣмъ началось стремительное сокращеніе производства (съ іюня 1929 по іюнь 1930 г. — 15%, съ іюня 1930 по іюнь 1931 г. — 10%, съ іюня 1931 по іюнь 1932 г. — 18%); въ іюль 1932 г. была достигнута низшая точка (она лежала почти на 40% ниже точки наибольшаго расцвѣта наканунѣ кризиса 1929 г.); съ этого момента начинается вновь расширеніе производства (несмотря на перебои, продукція въ маѣ 1933 г. лежала уже примѣрно на 18% выше продукціи іюля 1932 г., приче́мъ въ этомъ подъемѣ еще не отразились результаты Рузвельтовскаго «эксперимента» въ Соед. Штатахъ!).

### ИНДЕКСЪ ПРОДУКЦИИ МІРОВОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ

Средняя мѣсячная продукція 1928 г. = 100

Годъ	Янв.	Февр.	Март	Апр.	Май	Іюнь	Іюль	Авг.	Сент.	Окт.	Нояб.	Дек.
1928	97,3	99,1	99,2	98,1	98,6	98,5	98,7	99,4	100,7	102,6	102,3	104,2
1929	106,1	105,4	106,4	108,7	109,1	110,3	109,5	108,3	107,8	107,7	104,1	100,1
1930	101,5	101,1	99,2	98,4	97,2	93,8	90,9	89,4	89,3	88,8	87,8	86,0
1931	84,0	85,1	86,1	86,8	86,5	84,7	84,2	81,7	80,6	79,4	79,5	78,0
1932	77,6	76,0	75,0	72,4	71,2	70,8	69,1	69,7	73,3	74,4	74,6	75,1
1933	73,7	74,3	71,6	76,1	81,8	—	—	—	—	—	—	—

Ср. діаграмма на стр. 358.

Поразительно, что переломъ въ развитіи кризиса около середины 1932 г. наблюдался въ цѣломъ рядѣ странъ сразу. Если среднюю мѣсячную продукцію за 1929 г. принять за 100\*), то слѣдующія цифры передадутъ состоя-

\*) Въ нашей таблицѣ и диаграммѣ за 100 принято положеніе въ 1928 г.



ніе наибольшаго сжатія производства лѣтомъ 1932 г. и его состояніе весной 1933 г. (май).

Годы:	1929	1932	1933
		лѣто	весна
Германія	100	58	68
Великобританія	100	77	83
Франція	100	66	78
Бельгія	100	49*)	74**)
Австрія	100	57	61
Венгрія	100	53	67
Польша	100	53	55
Швеція	100	65	80
Соед. Штаты	100	49	63

Итакъ, въ разгаръ кризиса (середина 1932 г.) промышленное производство въ рядѣ странъ сократилось на 40-50% по сравненію съ предшествовавшимъ состояніемъ подъема, что означало также соотвѣтствующее увеличеніе безработицы и обѣднѣніе населенія. Весной же 1933 г. (до выявленія въ полной мѣрѣ благоприятнаго вліянія лѣтняго времени и американскаго «бума») промышленность расширилась вновь на 10-15, въ нѣкоторыхъ странахъ даже 30% по сравненію съ состояніемъ лѣтомъ 1932 г. Какую чудовищную судорогу пережило міровое хозяйство и насколько за послѣдніе мѣсяцы ослабѣла эта судорога, можно видѣть на примѣрѣ добычи угля, чугуна и стали:

Мѣсячная добыча въ 1.000 милл.

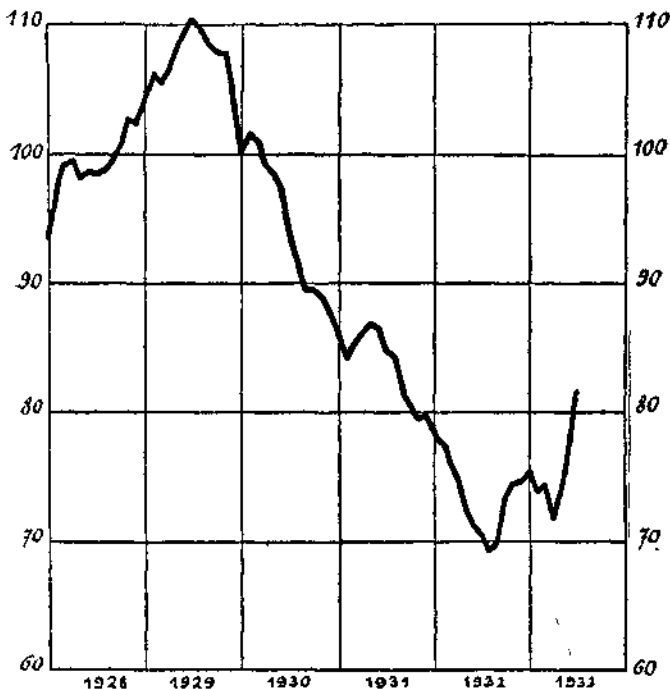
	1929	1932	1933
	въ среднемъ	лѣтомъ	май
Уголь	106.980	62.529	71.369
Чугунъ	7.856	2.804	3.550
Сталь	9.665	3.532	5.540

Итакъ, за 10 мѣсяцевъ (съ іюля 1932 г. по май 1933 г.) міровая добыча угля возросла почти на 15%, выплавка чугуна на 25%, а выплавка стали даже на 57%. Въ сравненіи

\*) Забастовка въ угольной промышленности. Безъ забастовки бы бы, приблизительно, 62-63.

\*\*\*) Мартъ 1933 г.

съ 1929 г. эти цифры все еще лежат очень низко. Но заслуживаетъ вниманія поворотъ въ направленіи движенія.



Сходное явление наблюдается и въ области международной торговли. Обороты ея составляли въ милліонахъ золотыхъ долларовъ \*):

	Ввозъ	Вывозъ
1929 г.	35.606	33.035
1930 г.	29.083	26.492
1931 г.	20.847	18.922
1932 г.	13.885	12.726

Цѣнность товаровъ въ мировомъ обмѣнѣ сократилась за три года кризиса болѣе чѣмъ на 60%. Правда, приблизительно половина этого сокращенія объясняется паденіемъ

\*) Статистика Лиги Наций, охватывающая 83 страны.

емъ цѣнъ (прежнее количество угля, стали, хлопка, машинъ было представлено въ 1932 г. меньшей денежной суммой, чѣмъ въ 1929 г.). Но и при переоцѣнкѣ всѣхъ товаровъ въ международной торговлѣ по цѣнамъ 1929 г. получается сжатіе международного товарообмѣна на 25-30%.

Этотъ процессъ далеко не такъ болѣзненный и опасенъ, какъ сокращеніе производства: вопреки широко распространенному представленію о рѣшающемъ значеніи вывоза для капиталистическаго хозяйства, страна можетъ имѣть огромный вывозъ на душу населенія и оставаться нищей, а наоборотъ процвѣтать при сравнительно низкихъ цифрахъ вывоза. Но во всякомъ случаѣ, паденіе международной торговли характерно для лѣтъ кризиса, — съ начала 1930 г. до конца 1932 г. И не менѣе характерно, что съ начала 1933 г. наблюдается обратное движеніе: объемъ міровой торговли обнѣруживаетъ тенденцію роста (правда, на первыхъ порахъ довольно слабую).

Еще показательнѣе, какъ признакъ поворота въ хозяйственной конъюнктурѣ, движеніе товарныхъ цѣнъ. Средній уровень оптовыхъ цѣнъ на главные виды предметовъ питанія, промышленнаго сырья и готовыхъ издѣлій по сравненію съ уровнемъ 1913 г., принимаемымъ за 100, составлялъ:

Годы:	1929	1930	1931	1932
в Германіи	137	125	111	96
« Великобританіи	134	113	98	95
« Франціи	127	112	102	87
« Голландіи	142	117	97	79
« Соед. Штатахъ	136	124	105	93

За три года цѣны упали: въ Германіи на 30%, въ Великобританіи на 29%, во Франціи на 32%, въ Голландіи на 44%, въ Соед. Штатахъ на 32%. Расхожденія въ этихъ цифрахъ зависятъ отъ различія въ составѣ товаровъ, которые учитываются при выводѣ показателей цѣнъ въ различныхъ странахъ. На нѣкоторые виды сырья (напр., каучукъ) цѣны упали на 80-90%, для большей части сельскохозяйственныхъ продуктовъ паденіе цѣнъ колеблется между 50 и 60%.

Это небывалое въ исторіи міроваго хозяйства паденіе

цѣнь было не только характернымъ признакомъ нынѣшняго кризиса, но и источникомъ его необычайной остроты. Но объ этомъ — позже. Пока отмѣчу, что съ конца 1932 г. паденіе цѣнь замедлилось и отчасти смѣнилось обратнымъ движеніемъ. Въ Германіи показатель цѣнь въ маѣ 1933 г. стоялъ на 1% выше чѣмъ въ январѣ, въ Англіи цѣны повысились за тотъ же промежутокъ времени на 2%, въ Соед. Штатахъ уровень цѣнь остался почти неизмѣннымъ, во Франціи и Голландіи паденіе цѣнь продолжалось, но быстрота его уменьшилась.

Примѣрно съ іюня или іюля 1933 г. стали сказываться на цѣнахъ и мѣропріятія по борьбѣ съ кризисомъ въ Америкѣ, получившія въ европейской печати общее уничтожительное обозначеніе: «экспериментъ Рузвельта». Въ настоящее время на мировыхъ рынкахъ господствуетъ въ общемъ и цѣломъ повышательная тенденція.

Подобный же поворотъ проявляется и въ движеніи курсовъ и акцій. Биржа недаромъ считается чуткимъ барометромъ общаго положенія хозяйства: независимо отъ вызываемыхъ спекуляціей кратковременныхъ колебаний биржевыхъ курсовъ, паденіе на биржѣ отражаетъ пониженіе доходности соответствующихъ предпріятій, обезцѣненіе вложеннаго въ нихъ капитала, пессимистическое настроеніе публики. Повышеніе биржевыхъ курсовъ имѣетъ противоположное значеніе. Въ то же время движеніе акцій вверхъ создаетъ новую покупательную силу (порой только воображаемую), паденіе же курсовъ означаетъ наоборотъ разрушеніе существующей покупательной силы.

Съ 1929 г. курсы акцій во всѣхъ странахъ стремительно падали. Низшей точки достигли они въ серединѣ 1932 г., съ тѣхъ поръ они почти повсюду идутъ вверхъ. По сравненію со среднимъ уровнемъ 1929 г., который мы примемъ за 100, курсы середины 1932 г. и мая-іюня 1933 г. выражаются слѣдующими цифрами:

Годы:	1929	1932	1933
		лѣто	іюнь
Германія	100	36	57*)
Великобританія	100	53	73
Франція	100	43	48

\*) Май.

Годы:	1929	1932	1933
		лѣто	іюнь
Бельгія	100	28	33*)
Голландія	100	21	33
Швейцарія	100	44	68
Швеція	100	30	39
Польша	100	21	30*)
Соед. Штаты	100	18	41

Итакъ, лица, которыя въ 1929 г. помѣстили свои средства въ акции промышленныхъ или торговыхъ предприятий, къ лѣту 1932 г. потеряли въ среднемъ въ Германіи 64% своего капитала, въ Великобританіи 47%, во Франціи 57% и т. д. Въ Соед. Штатахъ потери составляли въ среднемъ 82%.

\* За послѣдніе 10-12 мѣсяцевъ биржевые курсы поднялись (въ сравненіи съ положеніемъ въ серединѣ 1932 г.) въ Швеціи на 30%, въ Англии на 40% въ Голландіи, Швейцаріи и Польшѣ въ среднемъ на 50%, въ Соед. Штатахъ болѣе чѣмъ вдвое. Во Франціи и Бельгіи наблюдается менѣе сильное повышеніе биржевыхъ курсовъ (всего на 10-20%), но и здѣсь произошелъ характерный переломъ въ ихъ движеніи.

Перечисленные признаки достаточно ясно показываютъ, что въ положеніи мирового хозяйства около года тому назадъ произошелъ переломъ и что съ этого времени хозяйство вступило въ новую полосу развитія.

Я могъ бы ограничиться приведенными соображеніями, если бы не предвидѣлъ со стороны читателей одного, на первый взглядъ весьма вѣскаго возраженія: можетъ быть, по статистикѣ и выходитъ, будто кризисъ прекратился или перешелъ въ какую-то новую фазу, но каждый по непосредственнымъ наблюденіямъ знаетъ, что безработица не уменьшилась!

Это возраженіе — а мнѣ приходилось слышать его за послѣдніе мѣсяцы несчетное число разъ — неправильно.

1. Расширеніе производства не сразу влечетъ за собой сокращеніе безработицы. Въ теченіе нѣкотораго времени предприятия обходятся прежними рабочими силами, полнѣе используя ихъ.

2. До середины 1932 г. мы наблюдали не только массо-

\*) Май.

вую безработицу, но ес непрерывный ростъ. Такъ, среднее за годъ число зарегистрированныхъ безработныхъ составляло въ тысячахъ:

Годы:	1929	1930	1931	1932
в Германіи	1.679	3.139	4.573	5.580
« Италіи	301	425	734	1.006
« Голландіи	28	41	88	162
« Швеціи	33	42	65	90
« Чехословакии	24	52	102	185

Только въ Англии въ 1932 г. безработица была меньше, чѣмъ въ предыдущемъ году, во всѣхъ прочихъ странахъ число безработныхъ росло непрерывно до середины 1932 года \*). Съ тѣхъ поръ ростъ безработицы остановился, такъ что теперь число безработныхъ въ большей части странъ колеблется приблизительно на уровнѣ прошлаго года и по движенію цифръ можно предвидѣть, что зимой 1933-34 г. кривая безработицы пройдетъ значительно ниже, чѣмъ въ прошлую зиму. Это относится къ Великобританіи, Франціи, Италіи, Голландіи, Бельгіи, Венгрии, Румыніи, Югославіи.

3. Въ рядѣ странъ можно уже теперь отмѣтить чувствительное сокращеніе безработицы. Достаточно назвать Соед. Штаты и Японію. До прихода къ власти Гитлера постепенно уменьшалась безработица и въ Германіи, — объ измѣненіяхъ ее за послѣднее время судить трудно изъ-за отсутствія сколько-нибудь надежной статистики.

Такимъ образомъ, состояніе безработицы отнюдь не опровергаетъ той оцѣнки положенія мирового хозяйства, къ которой пришли мы на основаніи данныхъ о производствѣ, международномъ товарообмѣнѣ, движеніи цѣнъ и развитіи биржевыхъ курсовъ:

нисходящее движеніе мирового хозяйства закончилось около года тому назадъ; съ тѣхъ поръ происходитъ начавшійся на необычайно низкой точкѣ возстановительный процессъ.

А если это такъ, то не представляется преждевременнымъ бросить взглядъ на то наслѣдіе, которое оставилъ мировой хозяйственный кризисъ народамъ.

\*) Не считая сезонныхъ колебаній.

## 2. Послѣдствія кризиса.

Послѣдствія кризиса, свирѣпствовавшего въ мѣрѣ съ возрастающей силой съ конца 1929 г. до второй половины 1932 г. и лишь съ этого времени идущаго постепенно на убыль, чрезвычайно разнообразны. Главнѣйшія изъ нихъ могутъ быть сведены въ три группы: послѣдствія хозяйственныя, общественно-политическія и идеологическія.

### а) Хозяйственныя послѣдствія кризиса.

Хозяйственныя послѣдствія кризиса выражаются главнымъ образомъ въ обѣднѣніи міра и въ сдвигахъ, связанныхъ съ паденіемъ цѣнъ.

Мѣру обѣднѣнія міра вслѣдствіе кризиса даютъ потери въ мировой промышленной продукціи.

Цѣнность годовой продукціи промышленности всего міра оцѣнивалась въ 1929 г. въ 180-200 миллиардовъ долларовъ брутто или 90 миллиардовъ нетто. Безъ кризиса продукція 1930, 1931 гг. и т. д. должна была бы держаться на этомъ уровнѣ или же возрастать, какъ въ минувшія десятилѣтія, примѣрно на 3-4% ежегодно. Но указатель промышленной продукціи міра, которымъ мы пользовались въ началѣ этой статьи, показываетъ рѣзкое паденіе. Если продукцію 1929 г. принять за 100, то для послѣдующихъ лѣтъ получится:

Годы:	1930	1931	1932	1933
	87	76	62	65-70

При переводѣ на деньги это даетъ (въ миллиардахъ долларовъ):

	Цѣнность продуктовъ		Выпаденіе	
	Брутто	Нетто	Брутто	Нетто
	по сравн. съ 1929 г.			
1929	180	90	—	—
1930	157	78	23	12
1931	137	68	43	22
1932	112	56	68	34
1933	122	61	58	29
1929/1933	—	—	192	97

Потери нетто (97 миллиардовъ долларовъ) не включаютъ ни сокращенія въ производствѣ сырья, ни сжатія торговли, транспорта, страховыхъ и кредитныхъ операций и т. п. Подсчеты, въ которые я здѣсь не могу углубляться, показываютъ, что всѣ эти потери не многимъ уступаютъ сокращенію цѣнности промышленной продукціи нетто. Въ общей сложности, кризисъ обойдется человечеству (до конца 1933 г.) приблизительно въ 180 миллиардовъ золотыхъ долларовъ съ покупательной силой 1929 г.

Ровно столько стоила всемирная война 1914-18 гг. \*).

Потери мирового хозяйства вслѣдствіе кризиса превышаютъ вдвое цѣнность всѣхъ существующихъ въ мірѣ желѣзныхъ дорогъ съ ихъ подвижнымъ составомъ, шоссейныхъ дорогъ съ ихъ автомобилями, судовъ, гаваней, каналовъ, телеграфныхъ линий, телефонной и почтовой сѣти. Они превышаютъ въ 8 разъ цѣнность всего существующаго въ мірѣ золота и въ 40 разъ цѣнность годовой добычи мировой горной промышленности.

Такова цѣна, уплаченная человечествомъ за ошибки или недостатки механизма, обусловившіе послѣдній хозяйственный кризисъ! Къ уплатѣ этой цѣны были привлечены различные слои общества — рабочіе, оставшіеся безъ работы; крестьяне, лишившіеся сбыта; ремесленники, торговцы, промышленники, держатели акцій.

Но обратимся ко второй сторонѣ хозяйственныхъ послѣдствій кризиса, къ тому сдвигу цѣнъ, который произошелъ за время съ середины 1929 до середины 1932 года.

Какъ я упомянулъ выше, въ среднемъ цѣны упали за это время на 30-40%, а для большей части сельскохозяйственныхъ продуктовъ даже на 50-60%. Нерѣдко приходится встрѣчаться съ мнѣніемъ, что общее равномѣрное повышение или пониженіе всѣхъ цѣнъ (включая и цѣну рабочей силы) не имѣетъ большого хозяйственнаго значенія, — значеніе имѣютъ лишь «ножницы цѣнъ», т. е. расхожденіе между движеніемъ цѣнъ различныхъ группъ товаровъ. Согласно съ этимъ и въ нынѣшнемъ кризисѣ общее паденіе цѣнъ не могло оказывать вліянія на хо-

---

\*) Ср. мои подсчеты въ 7-омъ томѣ «Die Welt in Zahlen», стр. 124 и слѣд.



зяйственную конъюнктуру, пагубнымъ могло быть лишь разсѣяніе цѣнъ (ихъ д и с п е р с і я).

Этотъ взглядъ основанъ на глубокомъ недоразумѣніи.

Цѣна выражаетъ количественное соотношеніе, въ которомъ опредѣленный товаръ обмѣнивается на деньги. Соотношеніе цѣнъ различныхъ товаровъ опредѣляетъ условія обмѣна между различными участниками хозяйственного оборота, покоющагося на раздѣленіи труда. Но деньги въ капиталистическомъ обществѣ являются не только мѣриломъ цѣнности, онѣ выполняютъ и иные не менѣе значительныя функціи: сбереженіе, накопленіе, кредитъ, капитальныя вложенія, всѣ сдѣлки, связанныя съ движеніемъ капиталовъ, протекають въ денежной оболочкѣ. Передвиженіе уровня цѣнъ означаетъ измѣненіе покупательной силы денегъ не только въ товарообмѣнѣ, но и въ этихъ сдѣлкахъ. Паденіе всѣхъ цѣнъ, скажемъ, на 40%, не измѣняетъ количественнаго отношенія въ обмѣнѣ хлѣба и масла на желѣзо и мануфактуру или въ обмѣнѣ рабочей силы на предметы питанія, квартиру, одежду и пр. Но при новыхъ цѣнахъ на 100 денежныхъ единицъ можно купить столько товаровъ, сколько раньше на 167 единицъ. Съ повышеніемъ цѣнности денежной единицы (выраженной въ товарахъ) на 67%, настолько же повышается и реальная цѣнность всѣхъ долговыхъ обязательствъ.

Между тѣмъ огромное большинство промышленныхъ, торговыхъ и сельскохозяйственныхъ предприятий работаетъ, какъ извѣстно, чужимъ, занятымъ капиталомъ. Часть своихъ доходовъ они отдають займодавцамъ. Паденіе цѣнъ за время 1929-1932 гг. означало повышеніе бремени долговъ чуть ли не всѣхъ предприятий во всѣхъ странахъ, круглымъ счетомъ, на 50-60%.

Огромное большинство предприятий не могло бы выдержать подобнаго повышенія задолженности даже и въ хорошее время, работая полнымъ ходомъ. По давню не могли они осилить такую нагрузку въ разгаръ кризиса, при затрудненномъ сбытѣ и сокращеніи оборотовъ! Паденіе цѣнъ должно было поэтому привести къ потрясенію самыхъ основъ доходности множества предприятий, къ потоку банкротствъ, вынужденной отсрочкѣ платежей по внѣшнимъ и внутреннимъ долгамъ и т. д.

Пріостановка паденія цѣнъ ни въ какой мѣрѣ не разрѣшаетъ возникшихъ въ этой области

затрудненій. Если бы цѣны установились на нынѣшнемъ уровнѣ, то это означало бы, что въ результатѣ кризиса, одновременно съ обѣднѣніемъ всего міра, тяжесть долговъ (какъ частныхъ, такъ и государственныхъ) возросла на 50-60%. Нужно ли говорить, какое препятствіе представляло бы это для возвращенія хозяйственной дѣятельности къ уровню 1929 г.! Безъ сниженія задолженности до прежняго уровня возвращеніе хорошей конъюнктуры представляется поэтому мало вѣроятнымъ. Практически рѣчь идетъ о возвращеніи къ уровню цѣнъ, существовавшему до кризиса.

#### б) Общественно-политическія послѣдствія кризиса.

Общественно-политическія послѣдствія кризиса учесть труднѣе, нежели вызванные имъ хозяйственные сдвиги. Но было бы чудомъ, если бы кризисъ, обрекшій десятки милліоновъ рабочихъ на длительную безработицу и вызвавшій разореніе дальнѣйшихъ десятковъ милліоновъ крестьянъ, ремесленниковъ, мелкихъ торговцевъ и др., прошелъ бы безслѣдно для общественно-политической жизни капиталистическихъ государствъ. «Фашизація», признаки которой наблюдаются во многихъ странахъ, является прямымъ отраженіемъ кризиса. Объективно фашизмъ спланиваетъ силы враждебнаго социализму и лишь постольку обращается противъ либеральныхъ группировокъ, поскольку онѣ недостаточно — съ его точки зрѣнія — борются противъ социалистической и коммунистической опасности. Но субъективныя паюсы фашизма заключаются въ возстаніи противъ либерализма, при чемъ социализмъ является для убѣжденнаго фашиста лишь носителемъ либеральныхъ идей, на почвѣ борьбы съ которыми онъ готовъ многое заимствовать даже изъ идейнаго арсенала коммунизма.

Трагическая гибель Германской республики и торжество Гитлера — наиболѣе бросающееся въ глаза политическое послѣдствіе хозяйственнаго кризиса. Но ядъ разложенія былъ внесенъ кризисомъ не только въ общественно-политическую ткань Германіи.

Если послѣ всемірной войны такъ долго наблюдались признаки глубокаго одичанія народныхъ массъ, то сходные слѣды оставить въ народной душѣ и массовая безработица. Трудно сказать, что въ большей степени должно развратить человѣка: четыре года военной

страды, порой въ окопахъ, порой въ тылу или въ вагонѣ, съ короткими перерывами для побывки дома, въ кругу семьи, или четыре года безработицы, бесплодныхъ поисковъ заработка, жизни за счетъ государства или благотворительности, сознанія собственной ненужности, растушей ненависти къ сытымъ, довольнымъ, устроившимся?

Война оставила послѣ себя 10 милліоновъ труповъ. Отъ безработицы, нужды и голода умерли лишь немногіе. Но число душевно сломленныхъ, на всю жизнь или на долгіе годы внутренне изувѣченныхъ людей будетъ послѣ нынѣшняго кризиса больше, нежели послѣ всемірной войны. Это вноситъ въ политическую жизнь міра источникъ неустойчивости.

#### в) Идеологическія послѣдствія кризиса.

Къ хозяйственнымъ и общественно-политическимъ послѣдствіямъ кризиса присоединяется его идеологическое наследіе. Наши представленія о хозяйствѣ и законахъ общественнаго развитія не выдержали испытанія. Господствовавшія въ политической экономіи ученія оказались не въ состояніи ни объяснить теченіе кризиса, ни указать пути борьбы съ нимъ.

Приведу нѣсколько примѣровъ.

Долгое время шли споры о томъ, что представляетъ собой нынѣшній кризисъ: очередной кризисъ такъ называемаго «капиталистическаго цикла» или послѣдній кризисъ капитализма? Послѣдняя точка зрѣнія имѣла убѣжденныхъ сторонниковъ и внѣ рядовъ коммунистовъ. Я имѣю здѣсь въ виду не историко-философскую или социологическую оцѣнку той фазы, въ которой находится капиталистическій строй, не утвержденіе, что капитализмъ перевалилъ черезъ зенитъ своей славы и клонится къ упадку, а совершенно независимую отъ этой точки зрѣнія оцѣнку нынѣшняго хозяйственнаго кризиса, какъ такового: нынѣшній кризисъ, утверждаютъ многіе, не можетъ разсосаться, если онъ и ослабѣетъ на время, то въ ближайшемъ времени онъ возобновится съ прежней или еще большей силой. Поворотъ въ хозяйственной конъюнктурѣ пришелъ настолько неожиданно для сторонниковъ этого взгляда, что имъ пришлось для спасенія схемы упорно отрицать факты. Этимъ была подорвана убѣдительность ихъ предсказаній. Обосновать научнымъ образомъ эти предсказанія имъ не удалось. Но характер-

но, что ихъ противники не сумѣли выдвинуть противъ нихъ ничего лучшаго, чѣмъ весьма спорную теорію «ц и к л а». Всѣ свои усилія они сосредоточили на установленіи сходства нынѣшняго положенія съ кризисами минувшихъ лѣтъ, что само по себѣ представляется довольно бесплоднымъ занятіемъ.

1. Перечисленіе чертъ сходства между хозяйственными затрудненіями 1929 - 1932 годовъ и явленіями 90-хъ или 900-хъ гг. не исключаетъ того, что между этими явленіями имѣются также существенныя различія. Множество болѣзней характеризуются одинаковыми признаками (повышенная температура, упадокъ силъ большого, отсутствіе аппетита). Но что сказали бы мы о врачѣ, который вмѣсто того, чтобы изслѣдовать особенности болѣзни и, главное, лѣчить своего пациента, занялся бы перечисленіемъ тѣхъ признаковъ, которые сопровождаютъ всякое заболѣваніе.

2. Несомнѣнно, что если бы наступилъ послѣдній кризисъ капитализма, то многіе признаки его — особенно въ началѣ — были бы сходны съ признаками прежнихъ кризисовъ. Различіе было бы только количественное. А количественныхъ различій между послѣднимъ хозяйственнымъ кризисомъ и кризисами довоеннаго времени не можетъ отрицать ни одинъ сторонникъ классическаго «цикла».

3. Практической смыслъ теоріи «обыкновеннаго конъюнктурнаго цикла» сводится къ тому, что нынѣшній кризисъ долженъ пройти («разсосаться») самъ собой, въ силу законовъ «автоматизма» капиталистическаго оборота, безъ какихъ бы то ни было особыхъ мѣропріятій со стороны государственной власти. Но отъ этого взгляда вынуждены были отказаться одно за другимъ почти всѣ государства. Мысль о необходимости «активной конъюнктурной политики», казавшаяся три года тому назадъ опасной ересью, превратилась въ самоочевидность.

Въ спорѣ — «очередной циклъ» или «кризисъ капитализма»? — обѣ стороны оказались неправы. Въ дѣйствительности на лицо былъ кризисъ исключительной остроты, грозившій существованію цѣлыхъ государствъ, но не заключавшій въ себѣ предпосылокъ для перехода отъ капиталистическаго строя

къ нимъ, высшимъ хозяйственнымъ формамъ.

Экономическая наука, не оцѣнившая своевременно этого положенія, оказалась неспособна намѣтить мѣропріятія, которыя вели бы къ преодолѣнію кризиса. Отсюда безплодность ее практическихъ совѣтовъ и лозунговъ.

Напомню теорію борьбы съ кризисомъ путемъ пониженія цѣнъ безъ пониженія заработной платы (соціалисты), или путемъ пониженія заработной платы безъ пониженія цѣнъ (буржуазные реакціонеры), или путемъ одновременнаго пониженія и цѣнъ и заработной платы. Напомню попытки возмѣстить сокращеніе внутренняго рынка путемъ расширенія вывоза (неизвѣстно куда). Напомню благочестивую теорію преодоленія кризиса путемъ восстановленія «довѣрія», — какъ будто паденіе «довѣрія» было не слѣдствіемъ кризиса, а его причиною!

Поразительную картину разброда научной мысли представляла собой и мировая хозяйственная конференція въ Лондонѣ, гдѣ столкнулись двѣ школы, начисто отрицавшія другъ друга. Для американцевъ и отчасти англичанъ «классическая» теорія, на почвѣ которой стояла французская делегация, представлялась давнымъ давно оставленнымъ суевѣріемъ «временъ очаковскихъ и покоренія Крыма». Французы, со своей стороны, считали англо-саксонскихъ теоретиковъ фантазерами-неучами.

Правда, практически углы обѣихъ теорій уже нѣсколько пообтерлись. Въ частности, «классическая» школа за послѣднее время сдѣлала значительныя уступки тому теченію, на почвѣ котораго стоятъ англичане и американцы и которое можно было бы связать съ именами Кейнеса, какъ теоретика, и Рузвельта, какъ практика. Но идеологическій разбродъ этимъ еще далеко не устраненъ.

Самое поразительное то, что водораздѣлъ между обѣими школами пересѣкаетъ всѣ обычные дѣленія по социальнымъ классамъ и политическимъ партіямъ.

Въ Германіи, напр., социалдемократическая партія до самаго конца стояла на точкѣ зрѣнія весьма близкой къ взглядамъ французской делегации на мировой конференціи, тогда какъ профессиональные союзы два года тому назадъ приняли выдвинутую мною платформу, во многомъ совпадающую съ программой Рузвельта и его совѣтниковъ — молодыхъ профессоровъ Колумбійскаго университета. Характерно, что позиція нѣмецкой социалдемокра-

тической партіи въ вопросѣ о кризисѣ и возможности (или невозможности) борьбы съ нимъ раздѣлялась въ Германіи почти всѣми буржуазными партіями, платформа же профессиональных союзовъ была перенята въ избирательной агитаціи гитлеровцами.

Сходную группировку можно до сихъ поръ наблюдать въ Австріи.

Въ Англіи трэдъ-юніоны въ вопросахъ хозяйственной политики поддерживаютъ правительство Макдональда. Въ Америкѣ рабочіе синдикаты безоговорочно слѣдуютъ за Рузвельтомъ, — не только тогда, когда его правительство обѣщаетъ «дать сапогомъ по мордѣ» упрямымъ промышленникамъ, но и въ вопросахъ, классовая подоплека которыхъ далеко не въ такой степени ясна и прозрачна.

Правда, подъ теоретическіе споры можно въ данномъ случаѣ подвести опредѣленные матеріальные интересы: политика повышенія цѣнъ (хотя бы путемъ девальваціи или ограниченной инфляціи) непосредственно выгодна крестьянамъ-фермерамъ, самостоятельнымъ производителямъ и, прежде всего, безработнымъ; она должна быть соединена съ опредѣленными условіями, чтобы быть выгодной рабочимъ; она противорѣчитъ интересамъ финансового и ростовщического капитала и легко вызываетъ недоувѣрчивое и враждебное отношеніе среди рентьеровъ, пенсіонеровъ и т. п., какъ и среди вкладчиковъ сберегательныхъ кассъ (хотя въ дѣйствительности она ни правъ, ни интересовъ этого слоя населенія не затрагиваетъ). Но свести все къ этому противорѣчію интересовъ трудно. На лицо глубокой идеологической разброда, стоящей на пути къ преодолѣнію, какъ чисто хозяйственныхъ, такъ и общественно-политическихъ послѣдствій кризиса.

Разногласія по вопросу о путяхъ хозяйственной политики неразрывно связаны со спорами объ источникахъ особенностей послѣдняго кризиса. Обратимся къ намѣтившимся въ этой области точкамъ зрѣнія.

### 3. Особенности пережитаго міровымъ хозяйствомъ кризиса

Особенности послѣдняго кризиса по сравненію съ предыдущими сводятся къ четыремъ пунктамъ:

- 1) Этотъ кризисъ распространился на весь міръ,

тогда какъ кризисы довоеннаго времени ограничивались обычно лишь немногими странами.

2) Этотъ кризисъ охватилъ всѣ стороны хозяйства, тогда какъ до сихъ поръ конъюнктурныя колебанія не выходили изъ рамокъ тяжелой промышленности, машиностроения и нѣкоторыхъ другихъ отраслей производства.

3) Этотъ кризисъ достигъ не бывалой остроты.

4) Этотъ кризисъ длился необыкновенно долго.

Все это — лишь количественныя различія. Но коэффициентъ различія въ данномъ случаѣ очень высокъ: по потерямъ въ производствѣ кризисъ 1929-1932 гг. былъ примѣрно въ 20 разъ тяжелѣе, нежели послѣдній кризисъ передъ войной (1907 г.). Почему же очередная «заминка» въ капиталистическомъ хозяйствѣ приняла на этотъ разъ столь грозный характеръ?

Чаще всего приходится встрѣчаться съ шестью объясненіями:

а) Послѣдствія всемірной войны! Если подъ «послѣдствіями всемірной войны» понимать и образование новыхъ государствъ, и новыя явленія въ области техники, и измѣненіе хозяйственныхъ формъ, и возникшія во время войны и послѣ нея международныя долговыя обязательства, и инфляцію 1919-1923 гг., и послѣдующую стабилизацию денежныхъ системъ и пр., и пр., и пр., то проведенная формула сводится къ утверждению, что все, что міръ переживаетъ теперь, имѣетъ свое объясненіе, въ совокупности событій прошедшихъ лѣтъ.

б) Репарации и международныя долги! И это объясненіе никуда не годится. Какъ извѣстно, Германія репарационныхъ долговъ со времени стабилизации не платила, а лишь переписывала ихъ, ежегодно набирая за-границей кредиты на большую сумму, чѣмъ сколько слѣдовало ей уплатить по счету репараций. Капиталы текли не отъ должниковъ къ кредиторамъ, а наоборотъ. Помимо этого, кризисъ разразился съ одинаковой силой въ Соед. Штатахъ, являвшихся кредиторомъ міра, въ Германіи и Австріи, переобремененныхъ политическими долгами, въ Англии, выступившей въ политическихъ международно-долговыхъ обязательствахъ лишь въ качествѣ посредницы, въ южно-американскихъ стра-

нахъ, которыя къ этимъ обязательствамъ вообще не имѣли никакого отношенія!

в) Вытѣсненіе живой рабочей силы машиной! Это объясненіе примѣнимо лишь къ опредѣленнымъ отраслямъ хозяйства въ опредѣленныхъ странахъ. Если бы прогрессъ техники (особенно, въ связи съ простомъ населенія) неизбѣжно велъ къ росту безработицы, то наканунѣ всемірной войны въ Европѣ были бы десятки милліоновъ безработныхъ. Между тѣмъ въ это время, завершавшее длительный періодъ бурнаго развитія техники, безработица была меньше, чѣмъ на зарѣ капитализма. Кромѣ того, «механизация» и «раціонализация» труда могутъ объяснять ростъ безработицы, несмотря на хозяйственный подъемъ (Соед. Штаты, 1925-1929 гг.), но никакъ не сокращеніе объема производства, характерное для нынѣшняго кризиса.

г) Протекціонизмъ и потрясеніе международнаго довѣрія! Но въ 1929 г., когда разразился міровой кризисъ, «международное довѣріе» было растворено въ воздухъ въ такомъ количествѣ, что хоть отбавляй (позднѣйшія событія въ Германіи достаточно это доказали). Протекціонизмъ поднялся именно на дрожжахъ кризиса, послѣ того какъ цѣны полетѣли внизъ и каждое государство стало искать спасенія въ расширеніи вывоза, стараясь забить рынки сосѣдей дешевой. Международное довѣріе поколебалось не отъ того, что у людей пробудились воинственныя наклонности, но когда полетѣли въ трубу лучшія фирмы, крупнѣйшіе банки и цѣлыя государства, когда выяснилось, какъ призрачны выгоды заграничныхъ высокопроцентныхъ вложеній и во что превращаются капиталы, помѣщенные въ первоклассныя акціи, міромъ — естественно — овладѣло «недовѣріе».

д) Неподвижныя монопольныя цѣны! Это объясненіе было особенно въ ходу въ 1930-1931 гг., когда многимъ казалось, что цѣны падаютъ недостаточно быстро и что все зло въ «островахъ дороговизны», создаваемыхъ монопольными соглашениями производителей. Теперь всѣ мы знаемъ, что несчастье было въ чрезмѣрномъ паденіи цѣнъ, разрушившемъ всѣ хозяйственные расчеты, подорвавшемъ доходность внутренне здоровыхъ предпріятій, отраслей промышленности и цѣлыхъ странъ, раззорившемъ широкіе круги населенія,



увеличившемъ бремя внѣшнихъ и внутреннихъ долговъ, убившемъ и духъ предприимчивости, и «довѣріе». Въ свѣтъ этого опыта монополизмъ цѣны (которыя, къ слову сказать, тоже не остались неподвижными, но опускались равномернѣе и медленнѣе, нежели цѣны, предоставленныя свободной игрѣ силъ спроса и предложенія) представляются скорѣе факторомъ, смягчавшимъ кризисъ, тормозившимъ его распространеніе, нежели источникомъ его исключительной остроты.

Сказанное относится и къ неподвижности (или недостаточной подвижности) заработной платы.

е) Жизнь не посредствомъ государства и народовъ! Это объясненіе заслуживало бы вниманія, если бы кризисъ былъ вызванъ медленностью капиталообразования, недостаткомъ машинъ, отсутствіемъ сырья, — явленія, которыя должны были бы выростать изъ чрезмернаго потребленія, изъ жизни не по средствамъ! Но мировой хозяйственный кризисъ характеризовался чертами прямо противоположными: капитала, машинъ и проч. орудій производства, сырья и живой рабочей силы оказалось слишкомъ много, единственное, чего не хватало, былъ достаточный рынокъ сбыта! Равновѣсіе между средствами производства и потребленіемъ было нарушено не въ томъ смыслѣ, что люди потребляли слишкомъ много, а въ томъ, что ихъ потребленіе отставало отъ роста производительныхъ силъ и производства.

Итакъ, обычныя объясненія особенностей нынѣшняго кризиса плохо согласуются съ фактами дѣйствительности. Ближе подходятъ къ существу вопроса болѣе спеціальныя объясненія, отмѣчающія совпаденіе цѣлаго ряда неблагоприятныхъ условій: напр., совпаденіе промышленнаго и сельскохозяйственнаго кризиса, длинной и короткой волны паденія цѣнъ, различныхъ структурныхъ измѣненій въ хозяйствѣ отдѣльныхъ странъ и т. д.

Единое объясненіе здѣсь непригодно, плодотворнымъ можетъ быть лишь изслѣдованіе, учитывающее многосторонность и сложность явленій. Но какимъ же образомъ отдѣльныя явленія хозяйственнаго упадка оказались связаны въ единый, охватывающій всѣ части свѣта, все убивающій и разрушающій на своемъ пути смерчъ мирового кризиса?

Этотъ процессъ представляется мнѣ въ слѣдующемъ видѣ:

а) Уже при ликвидациі послѣвоенной разрухи возникли условія, глубоко подорвавшія хозяйственное равновѣсіе міра. Въ однихъ странахъ (Германія, Австрія) старые долги были погашены инфляціей, въ другихъ (Франція, Италия) — они были списаны на 80-85%, въ третьихъ (Великобританія, Соед. Штаты) — они остались въ силѣ по золотому паритету. Въ страны, освободившіяся путемъ инфляціи отъ своихъ старыхъ долговъ, хлынули иностранные капиталы. Страны, стабилизировавшія на золотомъ паритетѣ, оказались подъ угрозой: въ случаѣ паденія цѣнъ при измѣненіи хозяйственной конъюнктуры бремя внутреннихъ долговъ должно было стать чрезмѣрнымъ, непереносимымъ для ихъ хозяйства.

б) Подъемъ 1925-1929 гг. протекалъ въ различныхъ странахъ неравномѣрно и не сопровождался обычнымъ при конъюнктурномъ подъемѣ повышеніемъ цѣнъ. Это усилило опасность, которую таило въ себѣ паденіе цѣнъ при неблагоприятномъ поворотѣ хозяйственной конъюнктуры. Помимо этого, въ періодъ подъема накопились новые условія неустойчивости:

потребленіе отставало отъ роста производительныхъ силъ;

развивалась биржевая спекуляція (Соед. Штаты), причѣмъ извлекаемые изъ нее барыши лишь временно уравновѣшивали перевѣсъ текущаго производства надъ нормальнымъ потребленіемъ;

росли международные долги, особенно въ ихъ наиболее опасной формѣ краткосрочныхъ кредитовъ;

сельское хозяйство Америки и Зап. Европы расширяло продукцію, не учитывая ни возможности поворота въ конъюнктуру, ни вѣроятія возвращенія на міровой рынокъ Россіи.

в) Кризисъ разразился въ Соед. Штатахъ, странѣ, сосредоточившей въ своихъ рукахъ львиную долю міровой промышленной продукціи (44%), потребленія, капиталовъ и золота. Толчкомъ послужило крушеніе вздутыхъ безмѣрной спекуляціей биржевыхъ курсовъ. Потери на нью-йоркской биржѣ достигли въ два мѣсяца 60-70 миллиардовъ долларовъ. Хотя большая часть этихъ потерь была столь же призрачна, какъ предыдущіе доходы отъ повышения биржевыхъ курсовъ, но все же изъ хозяйственнаго круговорота Соед. Штатовъ и всего міра внезапно ис-

чезла покупательная сила въ 10-15 миллиардовъ долларовъ въ годъ. Это дало толчокъ паденію товарныхъ цѣнъ.

г) Дальнѣйшее обостреніе кризиса было тѣснѣйшимъ образомъ связано съ крушеніемъ цѣнъ. Процессъ этотъ былъ усиленъ: 1) тѣмъ, что уже во время предшествовавшаго подъема производительныя силы сырьевыхъ странъ использовывались не въ полной мѣрѣ; 2) тѣмъ, что въ Соед. Штатахъ было на лицо лишь временно скрытое спекуляціей перепроизводство; 3) тѣмъ, что Англія уже раньше находилась въ состояніи длительныхъ хозяйственныхъ затрудненій; 4) тѣмъ, что около этого времени вернулась на міровой рынокъ Россія.

д) Единственной разумной хозяйственной политикой въ это время (примѣрно съ начала 1930 г.) была бы планомѣрная борьба противъ паденія цѣнъ. Сюда относятся слѣдующія мѣры: 1) противодѣйствіе пониженію заработной платы и жалованья; 2) охрана всѣхъ существующихъ «монопольныхъ» цѣнъ; 3) дальнѣйшія соглашенія торговцевъ и производителей; 4) въ случаѣ надобности контингентированье ввоза, вывоза и производства; 5) расширеніе банковскихъ кредитовъ; 6) просвѣщеніе общественнаго мнѣнія относительно послѣдствій, которыя влечетъ за собой дальнѣйшее паденіе цѣнъ и соответствующее «вздорожаніе» денегъ. Короче, надо было 3 года тому назадъ, пока денежная и кредитная система міра была еще въ полной сохранности, дѣлать то, что пыталась продѣлать въ 1933 г. на развалинахъ мірового хозяйства лондонская конференція.

е) вмѣсто этого въ теченіе трехъ лѣтъ дѣлалось все, чтобы побить Сатану кризиса Вельзевуломъ дешевизны. Почиталось незыблемой истиной, что паденіе цѣнъ должно облегчить распродажу накопившихся запасовъ, повысить покупательную силу населенія и т. д. Но къ удивленію сторонниковъ этой теоріи, чѣмъ ниже сползали цѣны, тѣмъ болѣе сжималось производство и росли запасы. Оказалось, что пріемъ «сольдированья» по пониженнымъ цѣнамъ, дающій прекрасный эффектъ въ универсальныхъ магазинахъ, приводитъ къ совершенно инымъ результатамъ въ примѣненіи къ міровому хозяйству. Когда въ направленіи самодушенія производства путемъ пониженія цѣнъ и въ области разрушенія міровой торговли путемъ заваливанья чужихъ рынковъ дешевойкой былъ достигнутъ предѣлъ и даль-

ше идти было некуда, рядъ странъ принялся искать выхода въ другомъ направленіи.

ж) Начало было положено осенью 1931 г. Англіей. Путемъ пониженія на четверть цѣнности фунта она облегчила бремя долговъ своего хозяйства, непомерно возросшее вслѣдствіе паденія цѣнъ. Результаты этой мѣры (отчасти вынужденной) оказались благопріятны: процессъ сжатія производства въ Англіи былъ приостановленъ, безработица уменьшилась на 25-30%. Правда, при этомъ Англія должна была «списать» соотвѣтствующую долю обязательствъ своихъ должниковъ, заключенныхъ въ фунтахъ стерлинговъ. Но повидимому, руководители англійской политики ставили оживленіе хозяйственной дѣятельности въ странѣ выше, нежели «охрану валюты» или защиту требованій англійскихъ заимодавцевъ на заграничу.

Опасенія пессимистовъ, ожидавшихъ отъ обезцѣненія фунта стерлинговъ потрясенія кредита Англіи, потери ею руководящаго положенія на мировомъ рынкѣ капиталовъ и т. п., не оправдались. Равнымъ образомъ, не оправдались и предсказанія объ ожидающихъ Соед. Королевство ужасахъ инфляціи, о предстоящемъ рѣзкомъ паденіи реальной заработной платы и пр. Ни одна изъ странъ, послѣдовавшихъ примѣру Англіи («клубъ фунта стерлинговъ»), не горитъ желаніемъ вернуться къ покинутому золотому паритету: стабилизировать валюту готовы всѣ, но только — во благовременіи и по соотвѣтствующему курсу.

Съ весны 1932 г. началась новая хозяйственная политика въ Америкѣ. Она была полна зигзаговъ и противорѣчій, но цѣль ея была съ самаго начала ясна: п о в ы ш е н і е цѣнъ путемъ созданія новой покупательной силы.

Въ серединѣ 1932 г. пало послѣднее республиканское правительство Германіи (кабинетъ Брюнинга), связавшее свою судьбу съ «защитой валюты» и доведшее число безработныхъ въ странѣ до 8 милліоновъ. Новое правительство открыло эру тайной инфляціи въ пользу имущихъ классовъ за счетъ неимущихъ («налоговые бонусы» Папена, выдававшіеся всѣмъ налогоплательщикамъ, кромѣ рабочихъ и служащихъ).

Весной 1933 г. новая политика Соед. Штатовъ приняла болѣе рѣшительный темпъ, началась эра «экспериментовъ» Рузвельта...

Такъ рисуется мнѣ, въ общихъ чертахъ, развитіе ми-

рового хозяйства за послѣдніе годы и такъ объясняю я себѣ особенности пережитаго міромъ кризиса.

Иныя подробности намѣченной схемы могутъ быть опущены или измѣнены. Существенны здѣсь два положенія: 1) Что носителемъ заразы кризиса было паденіе цѣнъ, 2) что особая острота кризиса зависѣла отъ накопленія ошибокъ хозяйственной политики, начиная съ періода стабилизаци (1923-1924 гг.).

И здѣсь я позволилъ бы себѣ выставить одно еретическое утверждение:

При изученіи хозяйственныхъ кризисовъ возможны лишь двѣ точки зрѣнія: или надо вѣровать, что кризисы происходятъ отъ Бога, или надо знать, что источникъ ихъ въ поступкахъ людей. Въ первомъ случаѣ хозяйственная политика по отношенію къ кризису исчерпывается заповѣдью: терпѣть и ждать! Во второмъ случаѣ съ кризисомъ можно и должно бороться и основная задача хозяйственной науки и политики сводится къ предупрежденію кризисовъ и ихъ преодоленію въ зародышѣ.

Въ рамкахъ первой, фаталистической установкѣ возможны различные варианты. Можно, напр., формулу «кризисы — отъ Бога» замѣнить свѣтскимъ выраженіемъ: «кризисы неизбежны при капиталистическомъ строѣ!» Можно вмѣсто этого выраженія, звучащаго критической укоризной противъ существующаго хозяйственнаго строя, выставить болѣе благонамѣренное разсужденіе о положительной роли кризисовъ для устраненія накапливающихся въ хозяйствѣ диспропорцій. Такъ же можно варьировать и заповѣдь «терпѣть и ждать!» Отрицательное или положительное отношеніе къ капиталистическому обществу мѣняетъ въ данномъ случаѣ словесную оболочку нашихъ сужденій о кризисѣ, но не затрагиваетъ самого подхода къ вопросу о борьбѣ съ нимъ. Практически существенно здѣсь признаніе кризисовъ за явленіе, не зависящее отъ воли людей, злѣдствіе, отъ котораго нельзя защититься ни крестомъ, ни пестомъ.

Совершенно иной кругъ идей, задачъ и возможностей открывается при подходѣ къ хозяйственному кризису, какъ къ результату ошибокъ, нецѣлесообразныхъ дѣйствій людей. Этимъ подходомъ опредѣляется задача изслѣдователя — выяснить, въ какой моментъ и гдѣ возникли наиболѣе губельныя ошиб-

ки и какъ могли быть онѣ предотвращены. Этимъ же опредѣляется и требованіе дѣйственной борьбы съ кризисомъ: если источникъ кризиса въ поступкахъ людей, то и хорошая конъюнктура не съ неба ниспосылается людямъ, по нихъ моливаемъ, а должна быть добыта, построена ими.

Такимъ образомъ, экскурсъ въ область объясненій нынѣшняго кризиса вновь подводитъ насъ къ тѣмъ задачамъ хозяйственной политики, которыя какъ наслѣдіе кризиса стоятъ передъ народами.

#### 4. Задачи хозяйственной политики.

Хозяйственный строй, вызвавшій къ жизни сказочно могущественныя производительныя силы и до такой степени запутавшійся въ портиворѣчьяхъ, что въ теченіе ряда лѣтъ половина этихъ силъ оставалась не использованной и десятки милліоновъ рабочихъ и служащихъ были осуждены на унизительное состояніе отверженцевъ-безработныхъ, — такой строй не имѣетъ права на существованіе. Въ этомъ смыслѣ то, что пережилъ міръ въ послѣдніе годы, было, несомнѣнно, кризисомъ капитала.

Но кризисъ капитализма страннымъ образомъ оказался осложненъ другимъ кризисомъ, — кризисомъ рабочаго движенія и социализма. Источникъ этого кризиса заключается, думается мнѣ, въ томъ, что рабочія социалистическія партіи — за исключеніемъ англійской — не выдвинули за эти годы практическихъ требованій, осуществленіе которыхъ могло бы чувствительнымъ образомъ улучшить положеніе хозяйства и уменьшить безработицу\*).

Задачи хозяйственной политики въ борьбѣ съ кризисами одинаково настойчиво требуютъ рѣшенія отъ сторонниковъ существующихъ капиталистическихъ отношеній и отъ ихъ принципиальныхъ противниковъ.

Въ странахъ, сравнительно слабо пострадавшихъ отъ

\*) Лозунгъ «социализмъ!», само собой разумѣется, такимъ требованіемъ не является. Скорѣе онъ можетъ быть характеризованъ, какъ бѣгство отъ практическихъ задачъ въ область теоретическихъ построений. Партія, претендующая на полноту хозяйственной власти, должна предварительно доказать, что она умѣетъ цѣлесообразно использовать ту — правда, не полную, но все же огромную — власть надъ хозяйствомъ, которою уже теперь располагаетъ государство.

кризиса, особенно во Франціи, гдѣ благодаря особымъ условіямъ безработица не приняла особенно грозныхъ размѣровъ, до сихъ поръ распространено мнѣніе, будто событія послѣднихъ лѣтъ оправдали «классическое» ученіе о народномъ хозяйствѣ и путяхъ хозяйственной политики. Это мнѣніе справедливо лишь съ большими оговорками.

1) Даже Франція сдѣлала большія уступки идеямъ пла- нового хозяйства (общественныя работы не только въ видѣ трудовой помощи безработнымъ, но и какъ средство оживить хозяйственную дѣятельность; система международныхъ соглашеній производителей въ цѣляхъ ограниченія производства и повышенія цѣнъ). Отъ классической теории остался здѣсь, собственно говоря, лишь страхъ передъ «экспериментами» съ валютой. Если бы Рузвельтъ согласился на немедленную стабилизацию доллара (особенно по золотому паритету!), французскіе экономисты простили бы ему многое въ его политикѣ планированія хозяйства и «картій труда».

2) Особенностью классическаго ученія о народномъ хозяйствѣ является независимость его «истинъ» отъ условій мѣста и времени. Если опредѣленное положеніе оказалось вѣрнымъ для Франціи, но непригоднымъ для ряда другихъ странъ, то это само по себѣ уже означаетъ поражение «классической» школы. Между тѣмъ проваль точки зрѣнія «автоматизма» въ Англіи, Соед. Штатахъ и, особенно, въ Германіи несомнѣненъ.

Тамъ, гдѣ кризисъ былъ немногимъ острѣе, чѣмъ кризисы прежнихъ лѣтъ, можно было безъ видимаго вреда вести освященную традиціей «классическую» политику (экономія въ расходахъ, пониженіе цѣнъ, дефляція, распродажа запасовъ); за опредѣленной чертой эта политика становилась опасной; дальнѣйшее обостреніе кризиса вызывало переходъ къ прямо противоположнымъ мѣрамъ (политика п о в ы ш е н і я ц ѣ н ѣ, устройство общественныхъ работъ, созданіе новой покупательной силы, девальвация, расширеніе кредитовъ, редефляція или даже дозированная инфляція).

Быль ли такой поворотъ — а его можно было наблюдать въ нѣсколькихъ десяткахъ странъ — непонятнымъ ослѣпленіемъ (въ родѣ того, какъ изображала одно время французская печать «экспериментъ» Рузвельта)? Или здѣсь были нащупаны неизвѣстные классической наукѣ

рычаги для регулированія дѣйствія слѣпыхъ хозяйственныхъ силъ?

Если послѣднее предположеніе правильно, то мы стоимъ на порогѣ величайшаго перелома въ наукѣ о народномъ хозяйствѣ и вмѣстѣ съ тѣмъ передъ крупнѣйшимъ открытіемъ въ области техники управленія хозяйственнымъ развитіемъ отдѣльныхъ странъ и всего міра.

Рѣчь идетъ не объ устраненіи частной инициативы и ответственности, не о замѣнѣ личной предприимчивости приказаніями сверху, не о созданіи безконечныхъ хозяйственныхъ совѣтовъ, совѣщаній и иныхъ органовъ управленія и даже не о замѣнѣ здраваго смысла и интуиціи статистическими таблицами. Для ѣзды на велосипедѣ не требуется предварительнаго расписанія того, на какомъ оборотѣ педали, на сколько градусовъ долженъ быть повернуть руль, — требуется лишь зоркій глазъ и твердая рука, готовая въ зависимости отъ неровностей почвы, потока автомобилей, движенія пѣшеходовъ на перекресткахъ и т. п. въ нужный моментъ повернуть налѣво или направо ровно настолько, чтобы избѣжать столкновенія и выравнять ходъ машины. Въ распоряженіи современнаго государства имѣется достаточно средствъ для подобнаго регулированья хозяйственныхъ процессовъ: политика заработной платы, налоговъ, кредита, капитальныхъ вложеній, таможенныхъ пошлинъ. Государство должно научиться сознательно пользоваться этими рычагами, чтобы регулировать ходъ хозяйственной машины и предупредить катастрофы въ родѣ той, которую пережилъ міръ въ эти годы. «Должно научиться!» — въ этомъ — Моисей и пророки.

На этомъ мѣстѣ я предвижу недоумѣнно протестующій вопросъ: Какъ? Вы предлагаете безконъюнктурное хозяйство при капиталистической анархіи производства и обмена? Но вѣдь это невозможно, это утопія!

Но развѣ специалисты въ свое время не доказали невозможность движенія поѣзда по гладкимъ рельсамъ (особенно по утрамъ, при росѣ послѣ дождя)?

Еще убѣдительнѣе была доказана невозможность ѣзды на двухколесномъ велосипедѣ (такой велосипедъ долженъ при малѣйшемъ толчкѣ упасть либо направо, либо налѣво).

О невозможности летать по воздуху, видѣть сквозь непрозрачную стѣну, путемъ прививки предупреждать зара-



зу и т. п. и говорить нечего. Развѣ не была неопровержимо доказана невозможность войны при современномъ вооруженіи? Развѣ мало было политиковъ, считавшихъ невозможнымъ — въ рамкахъ капитализма — страхование отъ безработицы или установление минимальной заработной платы?

На самомъ дѣлѣ, какъ показываетъ опытъ, невозможно въ области хозяйственной техники лишь опредѣленіе границы, за которой начинается область невозможнаго.

Тамъ, гдѣ лѣнивый разумъ говорить: «невозможно», въ дѣйствительности должно стоять «трудно», — а это слово можетъ имѣть лишь одно значеніе: «Сюда должна быть направлена наша мысль и воля!»

Очередная задача хозяйственной политики — вернуть промышленную продукцію 1929 г., что означаетъ ея расширеніе на 45-50% по сравненію съ нынѣшнимъ состояніемъ.

Но возвращеніе производства, скажемъ, въ 1934 или 1935 г. къ уровню 1929 г. не устранило бы безработицы, такъ какъ за два года на рынокъ труда придутъ новыя рабочія силы, а въ производство будутъ введены новыя приемы, повижающіе спросъ на рабочія руки. Производство должно быть поэтому расширено въ ближайшіе годы до уровня, лежащаго на 10-15% выше нормъ 1929 г. (если бы это заданіе оказалось непосильнымъ, можно было бы, впрочемъ, ограничиться и нормами 1929 г., но только при соответствующемъ сокращеніи рабочаго времени).

Разрѣшеніе этой задачи отнюдь не требуетъ созданія сѣти «госплановъ», возглавляемыхъ сверхпремудрымъ, всевѣдущимъ и всемогущимъ «мірпланомъ». Трудность заключается лишь въ обезпеченіи промышленности и сельскому хозяйству доходности и сбыта.

Доходность могла бы быть обезпечена пониженіемъ заработной платы при неизмѣнныхъ цѣнахъ, — но при этомъ сократился бы сбытъ.

Сбытъ же можно было бы расширить путемъ пониженія цѣнъ при неизмѣнной платѣ, — но тогда была бы разрушена доходность.

Все дѣло въ совмѣщеніи обоихъ заданій. Рѣшенія усложненной такимъ образомъ двойной задачи можно искать лишь въ одновременномъ повышеніи и заработной платы и цѣнъ, при

томъ такъ, чтобы цѣны подымались медленнѣе, нежели заработная плата, и расхожденіе между обѣими величинами покрывалось бы:

а) пониженіемъ постоянныхъ издержекъ производства на единицу товара вслѣдствіе расширенія продукціи;

б) пониженіемъ тяжести долговъ предпріятія вслѣдствіе сокращенія товарной цѣнности денежной единицы;

в) прогрессивнымъ движеніемъ цѣнъ вверхъ, вслѣдствіе чего издержки производства единицы товара (опредѣляющія цѣну) оказываются нѣсколько выше издержекъ производства.

Въ этихъ рамкахъ задача относительнаго равновѣсія потребленія и производства при полномъ использованіи наличныхъ производительныхъ силъ можетъ быть найдена безъ большихъ затрудненій. Строгое регламентированіе въ производствѣ (въ видѣ производственныхъ заданий отдѣльнымъ отраслямъ промышленности) не представляется при этомъ необходимымъ: оно можетъ быть замѣнено регулирующимъ дѣйствіемъ дисперсіи цѣнъ. Въ качествѣ мѣры переходнаго времени, при ликвидаціи кризиса, заслуживаютъ наибольшаго вниманія:

1) Общественныя работы, финансируемыя специальными кредитами, не обременяющими общаго рынка капиталовъ (эта задача въ различныхъ странахъ допускаетъ различныя рѣшенія);

2) сокращеніе рабочаго времени безъ пониженія заработной платы;

3) частичное обезцѣненіе денежной единицы, предвосхищающее повышение цѣнъ и могущее быть отмѣненнымъ въ тотъ моментъ, когда золотыя цѣны достигнутъ желательнаго уровня;

4) преслѣдующее ту же цѣль расширеніе кредитовъ.

Въ различныхъ сочетаніяхъ эти мѣры выдвинуты въ отдѣльныхъ странахъ на очередь дня. Намѣчаются и болѣе рѣшительныя мѣропріятія: временное сокращеніе производства въ цѣляхъ повышения цѣнъ, возстановленія доходности и послѣдующаго расширенія продукціи, — мѣра, по внутреннему механизму своему, напоминающая извѣстный пріемъ тушенія лѣснаго пожара.

Разумѣется, на почвѣ международнаго соглашенія — хотя бы ограничивающагося общимъ заданіемъ и остав-

ляющаго широкую свободу отдѣльнымъ странамъ — хозяйственное возстановленіе протекало бы несравненно успѣшнѣе, чѣмъ въ атмосферѣ взаимнаго недовѣрія и обостренной конкуренціи. Но я не думаю, чтобы международное соглашеніе было необходимою предпосылкой активной борьбы съ кризисомъ: Англія сумѣла въ сентябрѣ 1931 г. переломить падающую кривую своей конъюнктуры, не дожидаясь, пока всѣ теоретики и правительства міра столкнутся о томъ, надо ли повышать или понижать товарныя цѣны. Международное соглашеніе возможно и на позднѣйшей ступени борьбы съ кризисомъ, когда останется позади полоса валютныхъ мѣропріятій.

Равнымъ образомъ, не думаю я, чтобы успѣхъ борьбы съ кризисомъ зависѣлъ отъ предварительной отміны таможенныхъ перегородокъ. Смыслъ этой мѣры былъ бы въ удешевленіи производства, — объ этой задачѣ будетъ время подумать, когда производственная машина будетъ снова приведена въ движеніе. Пока гораздо важнѣе дать работу безработнымъ, сократить ростовщически вздутое бремя долговъ, повысить цѣны до уровня, при которомъ предпріятія могли бы работать. Въ частности, на очереди стоитъ вопросъ о возстановленіи здоровыхъ цѣнъ на сельскохозяйственные продукты. Поскольку это невозможно безъ таможенныхъ пошлинъ, приходится повременить съ осуществленіемъ свободной торговли.

Возстановительный процессъ, къ которому относятся развитія здѣсь соображенія, потребуешь, вѣроятно, нѣсколькихъ лѣтъ. Послѣ этого придетъ чередъ думать о предупрежденіи новыхъ кризисовъ. Методы разрѣшенія этой задачи, въ общихъ чертахъ, все тѣ же, повторять ихъ врядъ ли необходимо. А огосударствленіе средствъ производства? А плановое хозяйство, приспособляющееся къ потребностямъ населенія? — спросить читателей.

Огосударствленіе (или: обобществленіе) придетъ, когда государство докажетъ свою способность управлять хозяйствомъ. Что же касается до плановости, то на нынѣшней ступени развитія, она должна, по моему, заключаться въ томъ, чтобы государство, уже теперь держащее въ своихъ рукахъ достаточныя средства для воздѣйствія на теченіе хозяйственной жизни, сознатель-

но и цѣлесообразно использовало эту свою силу. Если правительство не умѣетъ использовать для борьбы съ кризисомъ свое положеніе арбитра въ социальныхъ спорахъ, свою роль крупнѣйшаго работодателя, промышленника и потребителя, свою налоговую власть, свой кредитъ и пр., то передача въ его руки командующихъ высотъ хозяйственной жизни не улучшитъ положенія.

\*\*

На предыдущихъ страницахъ я не останавливался специально на задачахъ социалистовъ въ борьбѣ съ хозяйственной разрухой. Но читатель, интересующійся этимъ вопросомъ, найдетъ отвѣтъ на него въ развитыхъ мною соображеніяхъ.

Правда, представленіе о социализмѣ, изъ котораго я исхожу, нѣсколько отличается отъ представленій, господствовавшихъ въ социалистической литературѣ довоеннаго времени.

Для меня сущность социализма въ экономическомъ смыслѣ—не сосредоточеніе фабрикъ, заводовъ и банковъ въ рукахъ государства, которое не знаетъ, чтѣ съ этимъ добромъ дѣлать. Социализмъ — это, прежде всего, побѣда человеческого разума надъ слѣпыми хозяйственными силами. Въ этомъ смыслѣ въ политикѣ Рузвельта, пытающагося организовать всенародную борьбу съ кризисомъ, больше практическаго социализма, чѣмъ въ резолюціяхъ иной социалистической партіи, видящей верхъ хозяйственной и политической мудрости въ защитѣ валюты.

Въ ходѣ кризиса, въ клубкѣ новыхъ, не предусмотрѣнныхъ программой задачъ, социалистическія партіи еще не успѣли найти своего пути и заняты четкую позицію по отношенію къ хозяйственно-политическимъ идеямъ, которыя носились въ воздухѣ съ самаго начала кризиса и наши отчасти свое осуществленіе въ англо-саксонскихъ странахъ.

Эти идеи, сами по себѣ, не социалистичны и не буржуазны. Онѣ принадлежатъ къ области техники управленія хозяйственными силами. Онѣ могутъ быть вѣрны или ошибочны, — какъ формула полета ядра или сопротивленія матеріаловъ. Но если онѣ вѣрны, то вѣрны онѣ для

в сѣхъ политическихъ партій, а если онѣ ошибочны, то для всѣхъ партій онѣ одинаково непригодны.

Ихъ надо провѣрить — опытомъ и углубленнымъ изученіемъ пережитаго кризиса. Инициатива такой работы должна исходить отъ людей, взоръ которыхъ устремленъ впередъ, паюсъ которыхъ — въ исканіи высшихъ, лучшихъ формъ общественной и хозяйственной жизни. Они должны найти въ себѣ силы и мужество изучить пережитый кризисъ и совершенныя въ ходѣ его ошибки съ тѣмъ беспощаднымъ вниманіемъ, съ какимъ генеральный штабъ изучаетъ законченную — и проигранную — кампанію.

**Вл. Войтинскій.**

## О „нео-большевизмѣ“ и „нео-соціализмѣ“

Политическая жизнь Европы продолжаетъ опредѣлять-ся происходящимъ въ Германіи. Во внѣшней политикѣ это обнаружилось съ полной очевидностью. Не только ближайшіе сосѣди — Франція, Австрія, Польша, Чехо-Словакія но и «чрезполосные» съ Германіей СССР и Италія явно измѣнили, если не характеръ своей политики, то пункты приложенія своихъ внѣшне-политическихъ рычаговъ. Достаточно взглянуть, съ какой быстротой и рѣшительностью измѣнилась политика Франціи въ отношеніи къ Совѣтамъ подъ вліяніемъ прихода къ власти Гитлера, и съ какой послѣдностью, съ другой стороны, Муссолини, въ принципѣ крайній врагъ большевизма, боясь отстать и быть обойденнымъ франко-совѣтскимъ сближеніемъ, — чтобы не употребить ненавистнаго Совѣтамъ выраженія: «Антантой», — заключилъ договоръ «подлинной дружбы» и «ненападенія», фашизма на коммунизмъ и обратно.

Съ перваго же дня прихода къ власти Гитлера было ясно, что это усилитъ, а не ослабитъ позиціи СССР, усилитъ его и морально, и политически. Было ясно, что отъ торжества Гитлера, кромѣ Гитлера, можетъ выиграть одинъ лишь Сталинъ. Онъ и выигралъ морально, ибо снова оправдался тезисъ большевиковъ, что открывшаяся эра гражданской войны неминуемо должна захватить и Европу, — а «среднія» демократическія рѣшенія для ближайшаго историческаго періода исключены. Онъ выигралъ и политически, потому что съ очевидностью вскрылась вся близорукость и иллюзорность расчетовъ правыхъ круговъ на какой-то крестовый походъ тевтонскихъ коричневыхъ рубашекъ противъ засѣвшей въ Москвѣ «интернаціональной кучки». Еще полгода тому назадъ, составляя прошлую книгу журнала, мы предвидѣли, что «всѣмъ угнетеннымъ и оскорбленнымъ гитлеровщиной естественно будетъ направить свой духовный взоръ и симпатіи въ сторону таин-

ственной и далекой, но, какъ ихъ давно уже убѣждаютъ, единственно сильной Москвы» («С. З.» № 52, стр. 409).

Теперь съ горечью приходится констатировать, что въ ту же сторону обратили свои взоры и симпатіи и руководящіе внѣшней политикой Европы круги, — не слишкомъ «угнетенные и оскорбленные». Независимо отъ отношенія къ факту, самый этотъ фактъ уже не подлежитъ отрицанію: послѣ прихода къ власти Гитлера и в слѣдствіе его прихода европейское — или «буржуазно-демократическое» — отталкиваніе отъ Совѣтовъ стало значительно слабѣе. Правда, это совпало во времени и съ ослабленіемъ революціонной «вирулентности» Совѣтовъ. Отъ былого анти-европейскаго наскока большевиковъ на старый міръ, отъ похвалы и попытокъ «на горе всѣмъ буржуямъ» раздуть міровой пожаръ, остались одни лишь воспоминанія и груды литературы, до времени упрятанной въ погреба. Проваль каторжной «пятилѣтки» вызвалъ хозяйственную катастрофу, голодъ, нищету и раззореніе страны. Онъ же вызвалъ и острый припадокъ повышеннаго миротворчества у власти, заставилъ ее въ спѣшномъ порядкѣ подписать тысячу и одинъ «клочекъ бумаги» о ненападеніи: на фашистскую Италію, на «панскую» Польшу, на «феодално-помѣщичью» Румынію и т. д.

Можно какъ угодно низко расцѣнивать и боеспособность Совѣтовъ, и ихъ «пасифизмъ», вынужденный, неискренній и лживый, противорѣчащій всему ихъ духу и практикѣ. Не слишкомъ дорожащіе русскими «клочками» земли, могутъ при этомъ доказывать и «чисто логически», и отъ противорѣчія «военныхъ доктринъ», что ни одно европейское государство не можетъ «извлечь для себя пользу отъ военного союза съ СССР и отъ сотрудничества своихъ вооруженныхъ силъ съ совѣтскими въ случаѣ войны» («Возрожденіе» отъ 17 сентября). Европейскія государства (какъ, впрочемъ, и азіатская Японія) упорно не вмешиваются въ дѣла Совѣтовъ П. Муратова и расцѣниваютъ свою «пользу» по своему.

Такъ или иначе, но Совѣты вновь стали очередными героями дня европейской политики. вмѣстѣ съ Гитлеромъ и в слѣдствіе его успѣховъ, Совѣты достигли такой популярности, которой не знали и въ моментъ высшаго своѣго международнаго подъема, на конференціи въ Генуѣ въ 1922 году. И не только въ безответственныхъ «салонахъ» или у «снобовъ», но и въ серьезныхъ политическихъ кру-

гахъ. И не только у лѣвыхъ, но и у правыхъ. И не только въ обезпеченныхъ, сосѣднихъ съ Германіей странахъ, но и въ странахъ, непосредственно съ ней не соприкасающихся. Достаточно упомянуть позицію, которую занялъ въ Англіи вліятельнѣйшій консервативный публицистъ Гарвинъ. Между Сталинымъ и Гитлеромъ онъ рѣшительно выбираетъ Сталина и, по сравненію съ тѣмъ, какими ему представляются внѣшняя политика и военные замыслы Гитлера, «продиктованные Мефистофелемъ и Вельзевуломъ», даже большевизмъ ему кажется факторомъ европейскаго мира и порядка.

Большевикомъ не надо учить «использованію» создавшейся ситуациі. Быстро учтя «конъюнктуру», они не только переучли свои долговыя обязательства, но и подготовили новые кредиты, — прежде всего въ Америкѣ и Франціи. Какъ раньше американскіе и англійскіе кредиты дали возможность Германіи исправно расплачиваться, чужими деньгами, по репарациямъ и даже кредитовать другихъ — Совѣты, такъ и нынѣшніе кредиты дадутъ возможность не только Совѣтамъ освободиться отъ задолженности, но и гитлеровской Германіи получить полностью отъ своего должника. Но одна матеріальная выгода не удовлетворяетъ Совѣты, такъ и нынѣшніе кредиты дадутъ возможность партію въ обще-европейской политикѣ, и они выдаютъ себя за защитниковъ международнаго статус-кво и неприкосновенности договоровъ, — хотя бы и Версальскаго (незабываемая передовая Радека въ «Правдѣ» отъ 10 мая).

Въ прошлой книгѣ намъ пришлось возражать противъ положительной оцѣнки и радужныхъ надеждъ, которыя въ то время возлагать на Гитлера, какъ на государственнаго дѣятеля, П. Б. Струве. Не стоить останавливаться на запальчивомъ отвѣтѣ, которымъ отозвался Струве на сдѣланныя ему въ печати указанія о недопустимости даже для праваго русскаго націоналиста, даже съ узко-националистической и только анти-коммунистической точки зрѣнія расцѣнивать торжество наци, какъ фактъ положительный для русскаго дѣла. Но мы не можемъ не отмѣтить, съ чувствомъ не только личнаго удовлетворенія, что, въ отличіе отъ многихъ другихъ правыхъ, глухихъ и слѣпыхъ, П. Б. Струве не слишкомъ долго упорствовалъ въ отстаиваніи своего взгляда. Присмотрѣвшись внимательнѣе и глубже къ событіямъ въ Германіи, онъ имѣлъ мужество радикально — на всѣ 180° — отойти отъ своей прежней позиціи и,



не отмѣчая, правда, происшедшаго сдвига, а механически соединяя свои прошлыя, неоправдавшіяся «надежды» съ новымъ «видѣніемъ» предмета, съ полной убѣдительностью стали избличать гитлеровщину, какъ нео-большеви́змъ.

Мы позволимъ себѣ привести рядъ извлеченій изъ июльскаго и августовскаго № № «Россіи и Славянства», въ которыхъ П. Струве счелъ нужнымъ формулировать свое пониманіе происходящаго въ Германіи «въ виду того разброда, который обнаруживается въ русскомъ зарубежномъ общественномъ мнѣніи», — на нашъ взглядъ, обычный, естественный и законный «разбродъ» между правой, реакціонной, и лѣвой, демократической общественностью. Мы приведемъ эти извлечения не потому только, что они содержатъ въ себѣ рядъ удачныхъ формулировокъ, но и потому, что повседневный политическій опытъ учить, какъ одно и то же положеніе, высказанное разными авторами, въ разной общественной средѣ звучитъ по разному, обладаетъ различной степенью убѣдительности, производитъ различный политическій эффектъ.

Продолжая думать, будто «своимъ началомъ» національ-соціалистическій режимъ нанесъ сильнѣйшій ударъ не германскому лишь коммунизму, но «міровому» (?), Струве полагаетъ теперь, какъ и мы, что «политически и психологически гг. Геринги и Геббельсы дѣлаютъ все, чтобы подготовить возрожденіе коммунистическаго пыла въ Германіи и, въ частности, возрожденіе революціонно-утопическихъ энергій, почти совершенно изсякшихъ въ германской соціаль-демократіи». Повторяя свое утвержденіе о якобы «оздоровляющемъ дѣйствиіи прихода къ власти Гитлера», П. Струве тутъ же ослабляетъ его поясненіемъ, что отрицательныя черты гитлеровской внѣшней политики, не только ослабившей, но и изолировавшей Германію, почти автоматически пошли на пользу міровому коммунизму, въ лицѣ засѣвшей въ Россіи совѣтской власти»...

И въ самомъ дѣлѣ, единственнымъ международнымъ «именинникомъ» или «третьимъ радующимся» приходу Гитлера оказалась, какъ мы и отмѣчали, московская власть.

Ибо она не только выиграла отъ переменъ къ ней отношенія цѣлаго ряда враждовавшихъ съ ней государствъ — отъ Франціи и до Польши, Румыніи, Югославіи, Болгаріи, Ватикана и т. д. Она не потеряла существенно въ симпатіяхъ къ ней и гитлеровской Германіи. Гитлеръ официально заявилъ, что не собирается вмѣшиваться во внутреннія дѣла совѣтскаго Союза, не имѣетъ видовъ на Украину и не намѣренъ поддерживать уповающихъ на его освободительную миссію тупыхъ и близорукихъ національ-активистовъ \*).

Правда, новый «подлинный другъ, Сталина Муссолини еще не закончилъ своей сложной роли честнаго маклера по примиренію диктатуры «пролетаріата» съ диктатурой «арійцевъ». Организационно сошлись пока что лишь Муссолини со Сталинымъ. Но по духу и методамъ диктаторы всѣхъ странъ неизбежно «созвучны» другъ другу. На съѣздѣ въ Нюрнбергѣ нео-большевикъ Гитлеръ лишь повторилъ матерата большевика Сталина, признавъ негодность идейныхъ способовъ борьбы съ противниками и обязательность террора въ управленіи государствомъ. Съ другой стороны и Сталинъ лишь перефразировалъ Муссолини, сокрушившаго коммунизмъ у себя, чтобы заклю-

---

\*) Это послѣднее намѣреніе получило и практическое выраженіе въ арестѣ предсѣдателя общесоюзнаго русскаго союза въ Берлинѣ, генерала Лампе, и въ еще болѣе сенсационномъ обыскѣ, допросѣ и чуть ли не высылкѣ проф. Ильина, наиболее громогласнаго пропагандиста «коричневаго» дѣла, родственнаго, по его убѣжденію, «бѣлому».

Не за страхъ и не за деньги, а за совѣсть служилъ дѣлу и славы Фюрера нашъ правовѣдъ. Знаетъ Гегеля, онъ легко отыскался въ германскомъ національ-соціализмѣ «новый духъ» и прославилъ его, какъ образецъ достойнаго подражанія, въ большевицко-планетарныхъ масштабахъ. «Да есть ли на свѣтѣ народъ, который не захотѣлъ бы создать у себя движеніе такого подъема и такого духа!», — восклицалъ въ экстазѣ Ильинъ. И издвигая надъ несчастными жертвами режима, превеличавшими со страха «случайныя некорректности» (!), онъ утверждалъ, что изъ Германіи «удаляются» лишь «тѣ, кому явно неприемлемъ новый духъ»... — На личномъ опытѣ Ильинъ убѣдился теперь въ ложности своихъ утвержденій. Онъ ли не пріялъ «новый духъ» съ вѣрой и надеждой, восторгомъ и упоеніемъ! И все же не избѣжалъ «удаленія». Можетъ быть, теперь онъ согласится признать, что изъ предѣловъ Германіи «удаляются» не только противниковъ, а противниковъ иногда «удаляютъ» не только изъ Германіи, но и — несравненно дальше...

чить дружбу съ коммунизмомъ во внѣ, когда, на манеръ отцовъ иезуитовъ, провель тонкое «дистингво» между злымъ «міровымъ фашизмомъ», съ которымъ коммунизмъ продолжаетъ «безпощадную борьбу», и кроткимъ «итальянскимъ фашизмомъ», который, какъ объясняютъ «Извѣстія», «никогда не призывалъ къ кровавымъ походамъ противъ СССР» и потому ничего, кромѣ дружбы, не заслуживаетъ. О маломъ—о международной солидарности коммунистовъ всѣхъ странъ «Извѣстія», конечно, забыли...

Подъ знакомъ Гитлера протекаетъ не только внѣшняя, но и внутренняя политика ряда странъ.

Въ Германіи все пришло къ своему естественному и логическому завершенію. «Национальная» революція оказалась структурно, какъ двѣ капли воды, схожей съ революціей «соціалистической». При различіи въ «намѣреніяхъ» тамъ и тутъ одинаково исключены изъ легальной жизни опредѣленные классы, партіи, группы, признанные неспособными, негодными или недостойными строить «соціализмъ» и «третій райхъ». Войдя въ правительство въ качествѣ меньшинства, партія Гитлера безъ долгихъ словъ отѣснила отъ власти всѣ другія группы. Исключивъ «однихъ, поглотивъ другихъ, заставивъ капитулировать третьихъ, она, по совѣтскому образцу, упразднила демократическія учрежденія \*) и оказалась единой и единственной держательницей власти.

---

\*) Среди ряда откликовъ, печатныхъ и рукописныхъ, которые до меня дошли въ связи со статьей, помѣщенной въ прошломъ № журнала, я хочу отмѣтить одно полу-легальное письмо читателя-друга изъ Германіи. — Возражая противъ моего утвержденія о приходѣ къ власти наши съ соблюденіемъ почти всѣхъ правилъ «демократической игры», «во всеоружіи не только террора, но и формально-юридической законности», авторъ письма рѣшительно утверждаетъ, что при свободномъ голосованіи правые никогда не получили бы большинства. Это однаково признавали и демократическіе, и не-демократическіе органы печати. Но послѣ того, какъ окруженіе Гинденбурга лишило своего довѣрія Брюнинга, не переставшаго имѣть большинство въ рейхстагѣ, — началась эра беззаконія, на помощь которой пришла и техника «Последніе выборы были сплошной комедіей. Соціалистамъ была запрещена всякая агитация. Представители лѣвыхъ партій не допускались въ избирательныя бюро. Не было увѣренности, что сейчасъ же послѣ выборовъ не будутъ запрещены всѣ партіи, и поданные голоса не пропадутъ зря. При монополизациі печатнаго слова и, главное, радио — свободнаго волеизъявленія не могло быть. Надо

Что продолжает поражать — и отличать — германский нео-большевизмъ отъ его русскаго оригинала, это — предѣльная податливость исключаемыхъ изъ жизни, ихъ

учесть назойливую власть гудящаго изъ миллионъ рупоровъ, изъ всѣхъ домовъ, изъ каждаго окна насыщеннаго демагогическою и отравляющаго соблазна, металлическаго слова. Если бы техника пропаганды и рекламы не оказалась въ монопольномъ обладаніи беззащитной партіи, большинство никогда не оказалось бы на сторонѣ Неправды! — вѣруеть и исповѣдуетъ авторъ письма.

Къ этимъ извлеченіямъ изъ интереснаго свидѣтельства я хочу прибавить, не въ качествѣ возраженія, а поясненія, что я отнюдь не думаю — и не утверждалъ — будто Гитлеръ пришелъ къ власти одною только законною «игрою» демократическихъ началъ. Нѣтъ, активную роль игралъ и терроръ — сначала психологическій, а потомъ и физическій. Но для того, чтобы подойти къ событіямъ въ Германіи не описательно, а какъ къ проблемѣ общаго значенія, я намѣренно опустилъ эмпирически трудно доказуемый фактъ фальсификаціи выборовъ. Условно допустивъ, что 17 миллионъ голосовъ были поданы не только съ соблюденіемъ «спятихвостки», но и съ соблюденіемъ болѣе элементарнаго требованія о «неподсыпкѣ» фиктивныхъ голосовъ, о не-воскрешеніи мертвыхъ специально для подачи голосовъ и временно умерщвленіи живыхъ съ противоположными цѣлями, — я намѣренно обнажалъ проблему, или бралъ ее въ болѣе чистомъ видѣ.

Изъ другихъ откликовъ общественнаго вниманія заслуживаетъ еще недовольство, которое встрѣтило у одного изъ читателей-критиковъ утвержденіе, что «когда въ теченіе долгихъ мѣсяцевъ германскіе большевики и гитлеровцы ежедневно подстрѣливали другъ друга, можно было отъ души желать полнаго успѣха **обвиня** сторонамъ» («С. З.» № 52, стр. 403). Намъ казалось, что оспаривать это положеніе можно, либо будучи толстовцемъ («интеллигентскимъ хлюпикомъ», по издѣвательскому выраженію Ленина), либо въ той или иной мѣрѣ, можетъ быть даже безсознательно, сочувствуя — или, по русской традиціи, «жалѣя» — ту или другую сторону. Съ политической точки зрѣнія нельзя не желать ослабленія кадровъ и силъ противника. Тѣмъ законнѣе, естественнѣе и, прибавлю, **обязательнѣе** этого хотѣть въ условіяхъ навязанной гражданской войны. Чѣмъ меньше, въ результатъ взаимной перестрѣлки, оказалось бы охотниковъ и любителей, идеологовъ и вионониковъ гражданской войны, тѣмъ больше уцѣлѣло бы непониманья въ войнѣ.

Можно утверждать, что такое пожеланіе утопично, — большевики и наци гораздо больше ненавидятъ демократію, нежели другъ друга, отсюда и тотъ «треугольникъ», который задушилъ германскую демократію, тѣснимую съ двухъ равно-враждебныхъ ей фланговъ, нерѣдко заключавшихъ «пактъ дружбы» между собою. Но что политически недопустимаго въ такого рода пожеланіи, — намъ и сейчасъ остается непонятнымъ.

готовность не къ бою, а къ самоубійству. Въ количественномъ, по сравненію съ большевизмомъ, мягкосердечіи нео-большевизма явственно проступаетъ тотъ фактъ, что террористическій режимъ въ Германіи не встрѣчаетъ почти никакого сопротивленія. Мечу диктатуры почти некого разить, ибо почти нѣтъ непокорныхъ, всѣ готовы слушаться и повиноваться, нѣкоторые съ какимъ-то сладострастнымъ самозабвеніемъ. Меньшая комбативность германской ГП, по сравненію съ совѣтскимъ ГПУ, вызывается, въ частности, и отсутствіемъ комбатантовъ.

Можно какъ угодно сурово критиковать германскую социаль-демократію за то, что она переоцѣнила уровень сознательности — и, въ частности, правосознанія — массъ и конституціонныхъ гарантій; недооцѣнила призрачности «сверхъ-партийныхъ» рѣшеній райхспрезидента Гинденбурга и верховнаго суда въ Лейпцигѣ; не учла мѣры вражды къ республикѣ, затаенной всѣми потревоженными въ своихъ социальныхъ привиллегіяхъ слугами и сановниками стараго режима и т. д. Можно упрекать ее за то, что, избѣгая преждевременнаго выступленія, она, увы, упустила всѣ времена и сроки для какого бы то ни было выступленія; что изъ праведнаго страха передъ гражданскою войною, не желая давать другимъ предлога для возбужденія междоусобія, она повторила ошибку россійской демократіи въ 17 году, не рискнула заглушить самые истоки и очаги грядущей смуты. Словомъ, социаль - демократію можно осуждать за ошибки политической перспективы, за оппортунистическое упорство, во что бы то ни стало, удержаться на поверхности легальной жизни, не уходить въ революціонное подполье, за недостаточную комбативность и т. д.

Но что сказать, какъ назвать тактику другихъ партій и, въ первую очередь, центра, партіи построенной не на социаль-политическомъ интересѣ, а на міросозерцательномъ базисѣ, при томъ на базисѣ мистическомъ, чуждомъ земныхъ расчетовъ и конъюнктурныхъ соображеній? Въ теченіе долгихъ десятилѣтій опредѣлявшій не только политическую, но и духовную жизнь Германіи, центръ въ два счета, съ благословенія папы, калитулировалъ передъ Гитлеромъ и согласился на добровольное самоупражденіе.

Внутри-германскія событія не замедлили оказать свое вліяніе на разстановку внутри -политическихъ силъ и внѣ Германіи. Острѣе и осязательнѣе всего это обнаружилось

въ Австріи, — обнаружилось совершенно неожиданно для всѣхъ дѣйствующихъ и противодействующихъ силъ. И на самомъ дѣлѣ, Дольфусъ и гаймверъ въ роли активнѣйшихъ борцовъ противъ австрійскихъ, и тѣмъ самымъ германскихъ, наци, были бы совершенно неправдоподобной фантазмагорией, если бы не были реальностью, вызванной особой международной ситуацией Австріи и стечениемъ случайныхъ обстоятельствъ \*).

Фактъ пораженія демократіи въ Германіи и торжества въ ней національ-соціализма до уровня общей проблемы объ отношеніи къ системѣ демократіи и предотвращеніи національ-соціализма поднять былъ правымъ крыломъ французскаго соціализма на недавнемъ конгрессѣ партіи въ Парижѣ. Этой внутривнутрипартійной и какъ будто лишь теоретической дискуссіи предстоитъ въ ближайшемъ же будущемъ имѣть практическія послѣдствія, — весьма серьезныя для судебъ не только французскаго соціализма, но и Франціи въ цѣломъ и, тѣмъ самымъ, для политическихъ судебъ всей Европы.

\*

Французскихъ соціалистовъ мало интересовала «кантовская» постановка вопроса о томъ, какъ сталъ возможенъ національ-соціализмъ въ Германіи\*\*). И психологически, и

\*) Послѣ заявленія Дольфуса объ устроеніи имъ Австріи на социальнo-христианскихъ началахъ фашистскаго корпоративнаго государства о немъ, какъ о защитникѣ демократической системы, говорить не приходится: «фантазмагорія» разсѣивается.

\*\*) «Историческую» произвольность отвѣтовъ, даваемыхъ «кантовской» постановкой вопроса, хорошо иллюстрируетъ отвѣтъ, данный редакцией «Новаго Града» въ его послѣднемъ номерѣ. — Наши стали возможны, оказывается, только въ силу отрицательныхъ качествъ ихъ противниковъ и прежде всего — германскихъ социаль-демократовъ, марксистовъ и матеріалистовъ. Не замѣчая, что она повторять почти дословно официальную версию шпѣтшлихъ властителей Германіи, редакция «Н. Г.» находитъ «главныя причины» случившагося въ «духовномъ провинціализмѣ» офиціозно-марксистскаго міросозерцанія; въ нечувствительности, а зачастую и враждебности марксистскихъ вождей ко всѣмъ первоэданностямъ духовной и социальной жизни, къ Богу и родинѣ, къ нерасторжимой связи крови и духа и мистикѣ власти; въ мѣшанскомъ укладѣ большинства социаль-демократическихъ душъ, жаждавшихъ успокоенія и тишины въ эпоху зем-

по существу имъ гораздо ближе чисто политическая «установка», — что надо сдѣлать, чтобы сталъ невозможенъ національ-соціализмъ во Франціи и въ другихъ

летрасеней и смерчей». И далѣе — побѣда гитлеровщины, оказывается, стала возможной только потому, что, возглавляемая социаль-демократіей, лѣвобуржуазная Германія не могла «ни понять, ни принять» поднявшейся «волны эсхатологическихъ чаяній и темныхъ суевѣрій», «въ мукахъ народной души не услышала голоса Божьяго».

Не будемъ допытываться, почему, съ точки зрѣнія «Н. Г.» и темныхъ суевѣрій надо было обязательно не только понять, но и «принять»? Отмѣтимъ лишь крайнюю предвзятость и пристрастность всей этой «установки».

Въ отличіе отъ руководителей социаль-демократіи, руководитель партіи центра Брюнингъ пользуется всѣми симпатіями «Н. Г.». И естественно, — ему ли не близки всѣ «первозданности духовной и социальной жизни», мистика власти и прочее. Казалось бы, именно «новотрадская» точка зрѣнія обязывала съ вѣрующаго въ абсолютныя первозданности Брюнинга спросить больше, чѣмъ съ плоскихъ, жаждущихъ мѣшанскаго только благополучія душъ. Съ другой стороны, развѣ связанность съ «первозданностями» въ какой-либо вѣрѣ ослабила ударъ или предотвратила партію центра отъ той же участи, которая постигла партію, не услышавшую «голоса Божьяго» въ мукахъ народной души. Больше того, развѣ можно снять съ «исторіософскаго» учета тотъ неоспоримый фактъ, что партія центра и лично Брюнингъ открыли дверь Гитлеру не только иносказательно, но и въ прямомъ смыслѣ этого слова. Не только хронологически Гитлеръ замѣстил Брюнинга, но и по существу дѣла — не взорви центръ веймарской коалиціи, побѣдившей на выборахъ 1928 г., не произведи Брюнингъ, низвергшій правительство Германа Мюллера, досрочныхъ выборовъ въ 30-мъ году, когда впервые въ рейхстагѣ появились коричневые рубахи въ болѣе чѣмъ замѣтномъ числѣ (107), политическая исторія Германіи пошла бы, конечно, совсѣмъ иначе. Мы не говоримъ уже о такихъ шагахъ и мѣропріятіяхъ Брюнинга, какъ управленіе Германіей не только безъ социалистовъ, но и противъ нихъ: о рѣзкомъ пониженіи цѣнъ и заработной платы, вызвавшемъ сокращеніе емкости внутренняго рынка и обостреніе кризиса; о гибельной идеѣ наглядной демонстраціей низкаго уровня жизни германскихъ массъ добиться освобожденія отъ непосильныхъ репараций, не достигавшихъ фактически, за время съ 25 по 29 г., и 2% національнаго дохода Германіи и т. д. Нельзя все же забывать и того, что именно при Брюнингѣ число безработныхъ стало возрастать катастрофически: съ 2,8 милл. въ іюль 30 г. до 5,4 милл. въ іюль 32 г. (по цифрамъ Вл. Войтинскаго — съ 3,1 до 5,6 милл.), не считая частичныхъ или временно безработныхъ, число коихъ за то же время возрасло съ 2,9 до 5,1 милліона.

«Н. Г.», конечно, знаетъ, что ни релігіозность Брюнинга, ни его «живая и сильная вѣра въ какую-то міровую справедливость» не убе-

страхахъ или, примѣнительно къ германскому прошлому, что надо было сдѣлать, чтобы предупредить торжество Гитлера?

регли его и руководимой имъ партіи отъ судьбы, которая была уготована и «духовно-провинціальнымъ» «марксистамъ». Но характерно, какъ объясняетъ «Н. Г.» неудачу своего героя! «Будучи во многомъ челоѡвкомъ новаго по-революціоннаго сознанія (высшій комплиментъ въ устахъ «новоградца»), Брюнингъ не проявлялъ на посту канцлера достаточно остраго ощущенія стила той эпохи, въ которой ему суждено было дѣйствовать»: въ его мѣропріятіяхъ «не было ощущенія стила современной массовой души, не было мистики современности»; «ощущая Брюнингъ сильнѣе требованія эпохи: ея коллективистическій духъ, жажду толпы сгрудиться, жажду массы выстроиться, всеобщую любовь къ спорту и рекорду, привычку всѣхъ автомобилистовъ и мотоциклистовъ къ бѣшенымъ скоростямъ, всѣхъ лыжниковъ и пловцовъ къ головокружительнымъ прыжкамъ и т. д., — онъ, быть можетъ, и справился съ социальными-политическими трудностями, которыя стояли на его пути. Такъ пишется «новоградская» исторія и историософія.

«Стиль». «Эпоха». «Стиль эпохи». «Стиль массовой души». «Пореволюціонное сознаніе». «Пореволюціонное добро и пореволюціонное зло». Эти туманности, по убѣжденію редакторовъ «Н. Г.», даютъ «анализъ» происшедшаго въ Германіи и отвѣчаютъ на вопросъ, какъ стало возможно торжество національ-соціализма. Больше того: «разгромъ Веймарской Германіи гитлеровскимъ движеніемъ, взшедшимъ, какъ тѣсто на дрожжахъ, на идеѣ коммунистической опасности, на двадцать процентовъ реальной, на восемьдесятъ вымышленной, является безспорнымъ (!) доказательствомъ... Ну, чего бы вы думали?.. «Правильности «новоградскаго» ощущенія эпохи!». Можно ли откровеннѣе подчеркнуть предазкую тенденціозность всей этой историософіи, во всѣхъ событіяхъ жизни ищущей — и, конечно, обрѣтающей — подтвержденія собственной, взятой изъ «ощущеній» тезѣ.

Мы не можемъ поздравить редакцію «Н. Г.» ни съ ея «анализомъ», ни съ ея «ощущеніемъ». Ибо совершенно очевидно, что если разгромъ Веймарской Германіи объяснять ощущеніемъ — или неощущеніемъ — стила эпохи, а правильность собственнаго ощущенія доказывать фактомъ разгрома Веймарской Германіи, такой «анализъ» ни на іоту не подвинетъ насъ къ познанію предмета.

Мы рекомендуемъ вниманію читателей — и редакторовъ «Н. Г.» — подлинный анализъ внутренней динамики германскихъ событий, напечатанный въ № 342 «Ди Ва Соціаліст» отъ 19 августа. Авторъ социализма, прорицавшій съ германскимъ гражданствомъ, даетъ яркую и убѣдительную сводку всѣхъ обусловившихъ торжество Гитлера причинъ. Схематически онъ ихъ сводитъ къ тремъ категоріямъ: къ вліянію Версальскаго договора, внутренней слабости республики, родившейся изъ военнаго разгрома, и экономическому кризису.



То обстоятельство, что гитлеризмъ оказался не одной только диктатурой удачливаго «вождя», сумѣвшаго захватить власть, но и результатомъ массоваго движенія, давшаго «вождю» возможность добиться власти съ внѣшнимъ соблюденіемъ демократическихъ формъ, заставилъ поставить общій вопросъ о смыслѣ и назначеніи этихъ формъ. Или иначе — о томъ, какъ предупредить, чтобы демократія не становилась трамплиномъ или подножкой для торжества деспотіи? Въ условіяхъ развитія французскаго социализма этотъ общій вопросъ неминуемо скрещивался съ другимъ, болѣе конкретнымъ и частнымъ — объ отношеніи социализма къ государственной власти и общенациональнымъ задачамъ.

Этотъ вопросъ насчитываетъ три земскія давности, получивъ международно-обязательное для социалистическихъ партій рѣшеніе на конгрессѣ въ Амстердамѣ въ 1904 году. Два голоса Японіи, брошенныхъ на лѣвую чашку вѣсовъ нынѣшнимъ коммунистомъ Катаямой, обусловили тогда пораженіе Жореса и всѣхъ тѣхъ, кто вмѣстѣ съ нимъ, Вандервельде, Викторомъ Адлеромъ и другими, возражали противъ недооцѣнки социализмомъ положительныхъ задачъ и творческихъ возможностей государства и политической власти. Марксистско-прудоновское отрицаніе этихъ задачъ и возможностей, или «гэдистское» рѣшеніе вопроса сдѣлалось съ того времени прочной традиціей французскаго социализма. Оно формально отстаивало свою непогрѣшимость и послѣ того, какъ систематически стали отъ него отступать во время войны и послѣ нея социалисты почти всѣхъ странъ Европы: Германіи, Австріи, Бельгіи, Россіи, Швеціи, Дани, Чехословакіи, Польши, Болгаріи и т. д. — и даже самъ Гэдъ во Франціи во время войны. Несмотря ни на что, французская социалистическая партія оставалась послушной рѣшенію, принятому тридцать лѣтъ тому назадъ и не перестававшему всѣ три десятилѣтія изматывать ея энергію, стреножить ея активность, парализовать ея усилія. Преодолѣть свое исконное недовѣріе къ государственной власти и тѣмъ болѣе къ «сильной» власти французскій социализмъ оказался не въ силахъ, несмотря на всѣ сдвиги въ сознаніи и жизни міра. Апелляція къ прошлому, къ п а м я т и, къ старому тексту резолюціи и устава, замѣнила разсмотрѣніе по существу и въ связи съ реальной жизнью, — апелляцію къ разуму и непредвзятой адогматической критикѣ.

Острую постановку вопросъ приобрѣлъ въ 26-мъ году послѣ ухода въ отставку правительства Эррио, знаменовавшаго побѣду лѣваго картеля на выборахъ 24 года. Внутреннее положеніе Франціи было тогда незамаанчиво. Франкъ неудержимо падалъ, и казначейство систематически пустѣло. Соотвѣтственно съ пониженіемъ франка повышалась напряженность политическихъ страстей. Исконные защитники парламентаризма констатировали, что парламентъ начинаетъ терять кредитъ и почву въ широкихъ кругахъ населенія. Стали отмѣчать рѣчи, которыя слышались во Франціи только «передъ 18 брюмера и 2 декабря». Несмѣняемый лидеръ французской социалистической партіи Леонъ Блюмъ тоже призналъ, что положеніе «болѣе серьезно, чѣмъ все, что знала Франція за послѣднее столѣтіе. Ни консулатъ по-революціонный, ни монархія императорская не находились въ столь тяжкомъ положеніи. Надо вернуться къ 1789 г., къ дѣлу Учредительнаго Собранія, чтобы встрѣтить подобныя трудности».

И тѣмъ не менѣе, невзирая на необычныя трудности и не считаясь съ ними, партія, руководимая Блюмомъ, ни на іоту не отступила отъ своего традиціоннаго отношенія къ «буржуазному» государству и его власти. Лишь партійный лексиконъ — и архивъ — обогатился субтильно-тонкимъ и трудно удержимымъ въ сознаніи особенно широкихъ массъ расчлененіемъ и различеніемъ: участія во власти и ея завоеванія, взятія власти и ея осуществленія, воздержанія и поддержки власти, постоянной и перемежающейся (*à éclipses*) и т. п. Соціалисты отказались поддерживать лѣвое правительство Бриана-Кайо, атакованнаго радикалами, во главѣ съ Эррио, по мотивамъ внутри-партійнымъ и отвлеченно-доктринерскимъ. И за этотъ отказъ имъ, вмѣстѣ съ Франціей — и всѣмъ міромъ, — пришлось заплагити утратой лѣваго руководства Франціей и внѣшней политикой Европы. Отдѣльные представители картеля, все съ тѣмъ же Эррио во главѣ, вошли «персонально» въ новый, умѣренный кабинетъ Пуанкарэ. Однако, уже не лѣвые, а «правый» Пуанкарэ, со всѣмъ авторитетомъ и престижемъ стабилизатора франка и спасителя Франціи отъ хозяйственной разрухи, снова сталъ направлять и опредѣлять внѣшнюю политику Франціи и, тѣмъ самымъ, міра въ теченіе трехъ, полныхъ рѣшающаго значенія лѣтъ.

Только теперь, въ связи съ дебатами на социалистическомъ конгрессѣ, вскрылось, что у Леона Блюма въ 26-омъ

году существовалъ не только отрицательный планъ отказа въ довѣрїи всякому, даже лѣвому правительству. У него былъ и положительный: какой смыслъ содѣйствовать картелю выйти изъ тулика, разъ Блюмъ полагае, что такимъ выходомъ окажется не созданіе праваго кабинета Пуанкаре, а созданіе лѣвѣйшаго — по отношенію къ картелю — его собственнаго, кабинета Блюма. Определенно рассчитывая на «цѣлостное» овладѣніе властью мирнымъ путемъ, безъ объявленія «каникулъ» легальности, Блюмъ приступилъ даже къ формированію своего кабинета, предлагая портфель министра иностранныхъ дѣлъ покойному Альберу Тома и... лишній разъ просчитался.

Кто знаетъ, если бы правое крыло французскаго социализма рѣшилось въ 26-мъ году на тотъ «бунтъ» противъ пагубной безплодности традиціонной тактики социалистовъ, на который оно рѣшилось въ этомъ году, можетъ быть, вся вѣдшая политика Франціи — и Европы — пошла бы инымъ путемъ. Определенная и рѣшительная уступка Германіи, возглавляемой Германомъ Мюллеромъ, вмѣсто той рѣзкой отвѣдки, которая ему была дана Брианомъ осенью 28 г. на сессіи Лиги Націй, — укрѣпила бы авторитетъ лѣвыхъ въ Германіи и выбила бы изъ рукъ, во всякомъ случаѣ ослабила бы, силу того оружія, которое сыграло едва ли не рѣшающую роль въ демагогическомъ напорѣ и успѣхѣ наци. Не пришлось бы, можетъ быть, тогда и французскимъ правымъ публицистамъ, вроде Жоржа Сюрэза, видѣть «последніе шансы мира» въ полюбовномъ и мирномъ соглашеніи Даладье съ Гитлеромъ о пересмотрѣ версальскаго «диктанта». Не пришлось бы, можетъ быть, тогда и французскимъ лѣвымъ политикамъ, типа Эрріо, съ такой безразсудной стремительностью бросаться въ объятія Кемаль-паши и Сталина, не видѣть ни ужасовъ террора, ни мукъ голода и нищеты, а, наоборотъ, видѣть въ совѣтской Россіи то, что въ ней нѣтъ. Не пришлось бы, можетъ быть, и съ парламентской трибуны убѣждать Францію, что «последній шансъ» ея на сохраненіе неприкосновенности версальскаго договора въ... словахъ Радека!.. \*).

\*) Ср. «историческую» рѣчь Эрріо въ палатѣ депутатовъ 18 мая с. г. въ защиту франко-совѣтской антанты, въ оправданіе роли большевиковъ въ заключеніи бресть-литовскаго мира, и о многомъ другомъ. — Пространно цитирую статью Радека въ «Правдѣ», въ которой

Не восторжествуй въ 26-мъ году во французской социалистической партіи прогнозъ и директива Блюма, можетъ быть, ни французскому, ни международному социализму не пришлось бы сейчасъ заниматься обсужденіемъ вопроса о предотвращеніи въ демократическихъ странахъ гитлеровщины. Этого, увы, не случилось, и французскій социализмъ, вынуждаемый событіями и подталкиваемый активностью своего праваго крыла, оказался вновь передъ терзающимъ его три десятилѣтія вопросомъ.

ловкій демагогъ, въ погонѣ за французскими сердцами — и капиталами, — доказывалъ, что «пересмотръ» договоровъ есть не что иное, какъ синонимъ новой мировой войны, Эррио патетически вопрошалъ французскихъ парламентаріевъ: «Не считаете ли вы, что для палаты и для министровъ, призванныхъ изыскивать средства защиты интересовъ Франціи, — я обращаюсь къ вашему патриотизму, — не считаете ли вы цѣннымъ результатомъ самый тотъ фактъ, что Радекъ, какой бы онъ былъ его мотивы, говорить интернаціональному пролетаріату: «коммунизмъ является, мы являемся противниками пересмотра договоровъ»? (См. Journal Officiel du 19 mai. Débats Parlementaires. № 70, р. 2435). — Что Радеку «однова дыхнуть», не моргнувъ глазомъ, доказать обратное тому, что онъ доказывалъ 15 лѣтъ сряду, въ этомъ не можетъ быть никакихъ сомнѣній ни у кого изъ знающихъ этого субъекта. Но что и руководителей французской и европейской политики можно и сейчасъ такъ же легко провести на мякини, какъ удалось провести темныя русскія массы въ 17-мъ году, во время войны, это, признаться, для насъ было нѣсколько неожиданно!

Эррио и Суарезъ не были бы французскими публицистами, если бы, говоря о политикѣ и приходя, при этомъ, къ различнымъ выводамъ, они оба не связывали бы большевиковъ съ Достоевскимъ, Толстымъ и даже Тургеневымъ. Суарезъ, въ своей книгѣ «Les hommes malades de la paix», защищаетъ необходимость сближенія Франціи съ гитлеровской Германіей, на томъ, въ частности, основаніи, что въ союзъ Франціи съ совѣтской Россіей онъ не вѣрится, не вѣрится и Совѣтамъ, а Россіи, — «нездоровой странѣ Толстого и Достоевскаго, непротивленія злу и страданій, принимаемыхъ за благодѣяніе неба». Эррио, какъ разъ противоположную политику въ отношеніи къ Гитлеру и къ Сталину, мотивируетъ аналогичной литературной справкой: «социалистическая революція (большевикова) была въ концѣ концовъ не чѣмъ инымъ, какъ осуществленіемъ идей, возвѣщенныхъ (!) въ романахъ Достоевскаго, Толстого, Тургенева»!.. (Тамъ же стр. 2437).

Поѣздка Эррио въ Россію, конечно, обогатила его познанія русскаго фольклора и русской литературы. Не знаемъ, оцѣнили ли б. французскій премьеръ всю глубину русской народной мудрости, хотя бы въ словахъ: У страха глаза велики... Такіе «глаза» видятъ и то, чего въ жизни нѣтъ, и не видятъ того, что въ ней есть.

«Романтическая» идея насильственного или революціоннаго захвата власти въ условіяхъ демократическаго режима была отвергнута съ полной рѣшительностью и почти единодушно. Устами лѣваго Поля Фора, генеральнаго секретаря партіи, совершенно неадауслысленно было заявлено: «Никакихъ иллюзій. Мы знаемъ, какъ и всѣ, что романтическія представленія о революціи минули. Мы знаемъ, что въ состояніи учинить 200 пулеметовъ въ рукахъ центральной власти... Революціонныя мостовыя мы представляемъ уличнымъ сторожамъ». — Тотъ же смыслъ по существу заключаея и въ заостренной противъ праваго крыла полемической бутадѣ того же Фора: — «Вы реформисты безъ реформъ!», вызвавшей отвѣтную реплику Грумбаха: — «А вы революціонеры безъ революціи!»... Попытка Фора уйти отъ компромитирующей его антитезы укзаваніемъ на то, что реформы, на которыя ставить правое крыло, рассчитаны на короткій срокъ, и потому ихъ несостоятельность гораздо очевиднѣе несостоятельности лѣвыхъ, была неубѣдительна. Ибо положительная его ставка на «широкія народныя движенія» и насажденіе «могучихъ массовыхъ организацій» не только не творитворчила планамъ реформистовъ, но, въ случаѣ своего осуществленія, только болѣе глубокими и крѣпкими узами связала бы власть съ ея «источникомъ».

Если отъ революціонныхъ методовъ въ условіяхъ демократическаго режима пришлось разъ на всегда отказаться — пользоваться ими только въ качествѣ неизжитаго еще штампа партійной фразеологіи, — остается лишь — реформистское преобразование формально-демократическаго государства въ государство реальной демократіи, гдѣ фактическое большинство народа, его трудящійся классы, не только въ правѣ опредѣлять свою жизнь по собственному разумѣнію и усмотрѣнію, но и на самомъ дѣлѣ ее опредѣляютъ. Или — третій и послѣдній выходъ; формально отвергающій и немедленную революцію, и немедленную реформу, фактически же уповающій на «революціонную ситуацію» или «прерывъ» легальности, которые придуть въ свое время, когда исполнятся всѣ времена и сроки.

Именно къ этому, третьему рѣшенію тяготѣетъ всѣ послѣдніе годы лѣвое большинство французскаго социализма. Именно противъ него и возстало правое крыло, заслужившее и отъ лѣвыхъ своихъ товарищей и со стороны

враговъ социализма кличку «нео-социалистовъ», — въ отличіе, видимо, отъ старо-социалистовъ или социалистовъ архангелскихъ, по остроумному замѣчанію Деа.

Лѣвое большинство французскаго социализма отказывается вступать въ устойчивое морально-политическое общеніе съ классами и партіями, вершащими судьбы французской націи на сей несправедливой капиталистически-буржуазной землѣ. Свои надежды и расчеты оно не связываетъ съ сегодняшнимъ днемъ. Оно связываетъ ихъ съ будущимъ, съ надеждой на время, которое медленно, но вѣрно работаетъ на — и за — социализмъ, съ мессіанской мечтой и вѣрой въ чудеса республики, которыя осуществятся на слѣдующій день не послѣ «соціальной революціи», какъ гласилъ прежній марксистскій канонъ, а на слѣдующій день послѣ «цѣлостнаго» овладѣнія властью социалистической партіей.

Тогда — и активность, и энергія, и призывъ ко всѣмъ живымъ силамъ націи. До того — лишь пропаганда этого будущаго, терпѣливое выжиданіе конъюнктуры, воздержаніе отъ компрометирующихъ будущихъ шаговъ, больше того — неустанная агитация и борьба противъ всякой, даже лѣвой, но не «своей» власти... Словомъ, руководство формулой: все или ничего, годной, по выраженію покойнаго Германа Мюллера, для богослововъ, но не для политиковъ.

Если Блюмъ и сейчасъ рекомендуетъ въ качествѣ политической директивы для социалистовъ воздержаніе отъ «почина въ созданіи переходныхъ (отъ капитализма къ социализму) формъ», то правое крыло увлекаютъ и активность его питаютъ какъ разъ обратныя настроенія: готовность вложиться во всякое, большое и малое, государственное дѣло, отнюдь не безразличное для всѣхъ классовъ населенія, и сознаніе необходимости ведущаго, творческаго участія социалистовъ въ переустройствѣ жизни, несмотря на всѣ трудности психологическія, идеологическія, политическія, хозяйственныя и т. д. Больше того, — въ слѣдствіе всѣхъ этихъ трудностей: чѣмъ серьезнѣе трудности, тѣмъ непреложнѣе необходимость активнаго вмѣшательства въ ходъ событій.

Ибо если не революція, то только реформа. А реформа это — законъ, пишетъ Ренодель въ своей «Ви Сосиалистъ», ставшей боевымъ органомъ праваго крыла, — который обсуждается въ комиссіяхъ, гдѣ социалисты участвуютъ въ выработкѣ закона, во внесеніи къ нему попра-

вокъ и въ ежедневной работѣ ищутъ компромисса и соглашенія съ другими партіями. Пока социалисты не въ абсолютномъ большинствѣ, всякая реформа можетъ быть проведена лишь въ сотрудничествѣ съ буржуазными партіями. Эту, можно сказать, арифметическую самоочевидность Ренодель подкрѣпляетъ ссылкой на непререкаемый авторитетъ Жореса: «По мѣрѣ того, какъ социализмъ растетъ, онъ расширяетъ площадь своего сопрیکосновенія съ другими классами и тѣмъ самымъ вынуждается смѣшивать свою дѣятельность съ дѣятельностью другихъ классовъ. Мы хотимъ Революціи, говоритъ французскій трибунъ, — но не вѣчной ненависти. И мы всегда съ радостью взираемъ на то, какъ зажиточные классы привлекаетъ наша дѣятельность, — до того дня, когда наша встрѣча станетъ окончательной».

«Допустимо для сокращенія, чтобы однимъ словомъ дать наиболѣе броскую характеристику, говорить о «буржуазномъ» государствѣ! Но было бы бѣдствіемъ (*désastre*) для разума, если бы онъ сталъ понимать въ буквальномъ смыслѣ это противозаконное упрощеніе. Оно отняло бы у рабочаго класса пониманіе жизни и исторіи, пониманіе большой политики, которая должна приспособливаться къ мѣняющейся сложности вещей» (*L'Armée nouvelle*, p. 434).

Еще выразительнѣй, можно сказать, злободневнымъ является другое указаніе на то, какъ Жоресъ возражалъ противъ утвержденія, что социалистическая партія будто бы должна всегда оставаться въ оппозиціи. — «Да, нынѣшнее общество раздѣлено на капиталистовъ и рабочихъ. Но одновременно съ этимъ ему угрожаетъ наступленіе и возвращеніе всѣхъ силъ прошлаго, наступленіе и возвращеніе феодальнаго варварства, всемогущества церкви, и долгъ социалистовъ, когда на ставкѣ республиканская свобода, когда подѣлъ угрозой свободѣ совѣсти; когда слово но воскресаютъ снова старые предрасудки, возбуждающіе расовую ненависть и жестокую религіозную свару былыхъ вѣковъ, долгъ социалистическаго пролетаріата ити вмѣстѣ съ тою буржуазной группировкой, которая не хочетъ возвращаться вспять»

Ставя на реформу, которую приходится проводить въ сотрудничествѣ съ другими, но при проведеніи которой можетъ въ той или иной мѣрѣ сказаться и разумъ, и воля социалистовъ, правое крыло — и въ этомъ и заключается его «модернизмъ» и «новаторство» или разрывъ съ обветшалой традиціей — расцѣпляетъ положительно творческія возможности даже современнаго государства. Больше того: въ условіяхъ нынѣшняго развала и необходимости радикальныхъ мѣръ правые социалисты рискуютъ отстаивать цѣлесообразность сильной демократической власти, сильной политически и экономически. — Цѣлую часть своей книги о «Соціалистическихъ перспективахъ», выпущенной въ 1930 г., Марсель Деа, въ которомъ видятъ звѣзду первой величины на социалистическомъ небосклонѣ, посвящаетъ «соціализаціи государственной мощи». Защищая «отдѣленіе капитализма отъ государства», онъ рекомендуетъ «сцѣпленіе экономики съ политикой». — «Власть и порядокъ — два полюса предстоящей намъ дѣятельности», — говорилъ Маркс на конгрессѣ: «Громадная сила, которую мы представляемъ, должна оказаться способной сдѣлаться оплотомъ порядка, полюсомъ притяженія власти и порядка среди безпорядка и хаоса».

Эта перспектива и вызвала «испугъ» у Блюма, показала ему «страшно опасной», не потому, впрочемъ, что бы онъ боялся сильной власти или даже временной, на короткій срокъ, диктатуры, — но потому что онъ продолжаетъ не довѣрять и боится государственной власти и тѣмъ болѣе сильной власти до цѣлостнаго овладѣнія властью социалистами. «Берегитесь, какъ бы въ вашей ненависти къ фашизму, въ вашемъ устремленіи его одолѣть, вы не заимствовали у фашизма его методовъ и его идеологіи, — предостерегалъ Блюмъ правое крыло. Я — авторъ формулы о «каникулахъ легальности», но я утверждаю, что социалистическая пропаганда не есть пропаганда авторитета и порядка, а пропаганда свободы и справедливости». — Этимъ заключеніемъ Блюмъ на мѣсто дебатировавшагося вопроса о томъ, какъ обезпечить — или спасти — хотя бы неполную свободу и справедливость, подставилъ совсѣмъ другой вопросъ о конечныхъ цѣляхъ социализма. Въ качествѣ «революціонныхъ добродѣтелей», лидеръ партіи провозгласилъ заразъ «и дерзаніе, и терпѣніе». Сторонники авторитета и порядка были ошельмованы — слѣва и справа, реакціонной печатью, — какъ «неофашисты».



Лѣвые продолжаютъ думать, что время еще терпятъ. Правые —, что истекають послѣдніе отпущенные исторіей сроки, и наступаетъ время «камни метать», а не только «собрать»... «Кончилась эпоха анализова. Пробилъ часъ практическаго дѣйствія и реализаціи», — писалъ еще въ 29 году одинъ изъ главныхъ идеологовъ нынѣшняго «неосоціализма», Монтаньонъ. «Мы уже вышли изъ романтическихъ періодовъ, когда роль человѣка дѣйствій заключалась въ возбужденіи трепещущихъ рабочихъ кварталовъ пламеннымъ словомъ и въ разрушеніи мостовыхъ для построения баррикады. Теперь требуется болѣе сложная дѣятельность, болѣе разносторонняя и болѣе трудная. Она требуетъ того же порыва, той же вѣры, но вмѣстѣ съ тѣмъ и большаго постоянства и большихъ знаній\*).

Пассивности и фатализму лѣвыхъ правое крыло противопоставляло борьбу на скорость (*course de vitesse*) социализма съ фашизмомъ. Если не направить все растущую анти-капиталистическую стихію въ демократическое ложе, связанное неизбѣжно съ обращеніемъ социализма не только къ рабочему, но и къ среднимъ классамъ, и съ осуществленіемъ социализмомъ предварительныхъ, не терпящихъ отлагательства общедемократическихъ и национальныхъ реформъ, эта стихія устремится и будетъ капитрована активными ниспровергателями демократическаго строя — большевиками или нео-большевиками. Большевики такіе же и неменьшіе враги демократическаго социализма, какъ и нео-большевики, гитлеровцы и фашисты. Это положеніе не только характерно для нео-соціалистовъ, оно является — еще недостаточно, правда, осознаннымъ и оформленнымъ — и пунктомъ расхожденія правыхъ съ лѣвыми.

Въ своей книгѣ Монтаньонъ отдастъ себѣ ясный отчетъ въ томъ, что угрожаетъ социалистамъ, если они подойдутъ ближе къ управленію государствомъ, а не станутъ соучаствовать въ этомъ тайно и условно, путемъ «давленія» на правительство, предъявленія ему ультиматумовъ и своеобразнаго «вымогательства» желательныхъ реформъ. Онъ предвидитъ, что съ участіемъ социалистовъ въ правительствѣ «демагогическое воздѣйствіе московскихъ агентовъ станетъ проявляться еще рѣзче». Тактика коммунистовъ будетъ проста. Они будутъ рассчитывать на сенти-

\*) В. Montagnon: «Grandeur et servitude socialistes». P. 176-77.

ментальность правительства, будутъ считать, что имъ все дозволено. Они спроводируютъ шумныя манифестаціи въ расчетъ на кровавыя столкновенія. «Для социалистовъ создастся деликатное положеніе. Если они обнаружатъ малѣйшую слабость, большевистская дерзость увеличится. Подонки страны прибѣгнутъ къ жестокостямъ. Реакція можетъ смести новую власть и унести съ собой самый республиканскій режимъ. Если социалисты захотятъ быть энергичными, насиліе московскихъ агентовъ ихъ заставитъ прибѣгнуть къ крайнимъ средствамъ. Надо хладнокровно предусмотрѣть эти возможности, этотъ драматическій рокъ социализма! Отвѣтственный передъ человѣчествомъ за достигнутый прогрессъ и за рождающійся порядокъ, социализмъ долженъ будетъ — даже силой — подавить возставшихъ противъ него экстремистовъ. Это вѣнчаетъ, но это такъ».

И, далѣе — : «Надо предвидѣть борьбу, борьбу на ножахъ, борьбу на смерть. И социализмъ безъ колебаній долженъ выбрать наилучшую тактику, чтобы устоять и побѣдить. Что долженъ сдѣлать социализмъ теперь же? Онъ долженъ прежде всего самымъ отчетливымъ и самымъ рѣзкимъ образомъ отмежеваться отъ московскаго коммунизма, какъ демагогіи и безразсуднаго насилія. Если социализмъ немедленно не возстанетъ противъ демагогіи, ему не удастся позднѣе ограничить предѣлы ея злодѣяній. Нельзя остановить опредѣленные теченія однимъ только фактомъ прихода къ власти. Надо тормозить заранѣе. Чѣмъ дальше уйдетъ социализмъ отъ демагогіи, тѣмъ сильнѣе ослабитъ онъ трудности своей будущей задачи». Монтаньонъ опасается, какъ бы «реакція не коснулась и социализма, если тотъ недостаточно опредѣленно обозначитъ свое отдаленіе отъ большевизма, Дебютъ фашизма начался какъ разъ съ такого рода реакціи! Поэтому прежде всего необходимо сдѣлать очевиднымъ различіе въ методахъ и тактикѣ социализма и коммунизма» (Тамъ же, стр. 168-174).

Приведемъ еще слова Деа, сказанныя на ту-же таму на конгрессѣ, и этимъ сразу опредѣлится отношеніе къ большевизму и къ «единому фронту» не только со стороны главныхъ идеологовъ «нео-социализма», но и со стороны традиціонныхъ приверженцовъ «старога». Лѣвое большинство думаетъ, говорилъ Деа, что «рабочее единство» является достаточнымъ для всего, отвѣчаетъ на все, справится

само по себѣ со всѣми препятствіями. Однако, «объединеніе не достигается однимъ объединеніемъ. Оно возможно лишь въ томъ случаѣ, если имѣются общія цѣли, общіе методы. Но ни большевизмъ, ни мы не думаемъ этого... Чтобы достигъ единства, котораго товарищи хотятъ добиться любой цѣной, они вынуждены для сближенія съ большевизмомъ, подчеркивать узко-пролетарскій характеръ социализма, усваивать ученіе о диктатурѣ и насиліи, ставить средніе и крестьянскіе классы передъ мнимой необходимостью выбирать между диктатурой фашистской и диктатурой пролетаріата... Увлекаемые своимъ желаніемъ, они ведутъ партію къ тройной ошибкѣ: социализмъ окажется отрѣзаннымъ отъ среднихъ классовъ, отъ демократіи и отъ націи» (См. подробный отчетъ о конгрессѣ въ «Ля Ви Соціалистъ» № 339. — Рѣчь Деа на стр. 56).

Намъ не приходится подчеркивать свои симпатіи къ нео-соціализму. Не повторяя всего, что намъ приходилось высказывать и доказывать въ статьяхъ «Кризисъ власти», «Демократія въ Европѣ» и «О Диктатурѣ» (въ № № 29, 37 и 39 «Соврем. Записокъ»), мы можемъ лишь распространить выводы, сдѣланные нами по отношенію къ большевикамъ пять и семь лѣтъ тому назадъ, и на нео-большевиковъ — гитлеровцевъ и фашистовъ.

Какъ въ свое время демократія въ Россіи, такъ теперь демократія на Западѣ сплошь да рядомъ пасуетъ передъ іезуитскимъ силлогизмомъ, заимствованнымъ большевиками и нео-большевиками у извѣстнаго Луи Вейо. И тѣ, и другіе для себя требуютъ всей полноты демократическихъ гарантій и гражданскихъ свободъ — личности, собраній, союзовъ, совѣсти, слова, печати, радіо, на основаніи чужихъ, отрицательныхъ ими, «вашихъ» принциповъ демократіи». Противникамъ же они отказываютъ предоставить эти свободы и гарантіи въ какой-либо мѣрѣ, на основаніи уже своихъ принциповъ, отвергающихъ всѣ эти начала. Этотъ силлогизмъ внѣшне кажется логичнымъ, но внутренне онъ гниль и политически пагубенъ. Если бы свобода въ демократіи предполагала не только идейное отрицаніе демократіи и свободы, но и фактическое ея упраздненіе и подавленіе, это означало бы, что демократія предполагаетъ — и допускаетъ — возможность самоупраздненія и самоотрицанія. Положительное утвержденіе демократіи приводило бы въ такомъ случаѣ къ возможности положительнаго отрицанія

положительнаго, т. е. къ явной нелѣпости. Въ непротивленіи — или недостаточно рѣшительномъ противленіи — большевицкому и нео-большевицкому подкосу и взрыву системы демократіи сказывается не вѣрность началамъ права и свободы, а малодушное отступничество отъ нихъ, гипнозъ разума и воли.

Воззрѣнія нео-соціализма совпадаютъ съ нашими не только въ части, касающейся признанія очередной задачи демократіи и ея соціалистическаго крыла всяческое укрѣпленіе власти, усиленіе авторитета демократіи дѣятельнымъ и органическимъ соучастіемъ во власти партіи, связанной съ массами. Они совпадаютъ и въ части, отрицающей всѣ виды диктатуры: класса такъ же, какъ и расы; демократической диктатуры такъ же, какъ и національной; диктатуры большинства не въ меньшей мѣрѣ, чѣмъ диктатуры меньшинства; диктатуры коллектива такъ же, какъ и диктатуры какого-либо лица; диктатуры безсрочной, какъ и диктатуры, определяемой истеченіемъ установленнаго срока или выполненіемъ опредѣленнаго заданія. Можно принять или отвергнуть демократію, — предпочесть ей диктатуру или, наоборотъ, ее предпочесть диктатурѣ. Нельзя одного: реально смѣшивать систему демократіи съ приемами диктатуры, хотя идеологически — или вѣрнѣе фразеологически — такія смѣси и пользуются сейчасъ широкимъ распространеніемъ въ смежныхъ съ «неосоціалистами» группировкахъ. Тѣ, кто слѣва отъ нихъ, сбиваются въ условное или временное признаніе марксистской диктатуры класса \*); тѣ же, кто правѣе, сбиваются, часто

\*) Анализируя событія въ Германіи, правотѣрный русскій меньшевикъ примѣняетъ къ нимъ ту же ошибочную формулу, которую, въ отношеніи къ Россіи, выставилъ тридцать лѣтъ тому назадъ Плехановъ: «Германская революція можетъ побѣдить только какъ революція пролетарская и социалистическая» («Соц Вѣстникъ» отъ 25 сентября). — А главный идеологъ 2-го Интернаціонала Отто Бауэръ, формально отвергая «диктатуру пролетаріата», фактически защищаетъ ея существо. Справедливо утверждая, въ «Кампфѣ», что послѣ совѣтскаго опыта «диктатура пролетаріата» не способна «сводоушевить» широкія массы германскаго народа — «германскіе интеллигенты вспомнятъ о «вредительскихъ» процессѣхъ» противъ инженеровъ и врачей, германскіе крестьяне о насильственной коллективизаціи, мѣшане, служащіе, чиновники о полномъ безправіи всѣхъ не-пролетарскихъ элементовъ въ совѣтскомъ государствѣ; боевой лозунгъ диктатуры пролетаріата изолируетъ германскій рабочій классъ, прикуетъ средніе

не зная этого, въ не менѣе архаическую директиву Наполеона III передъ 2 декабря: надо опереть режимъ на рабочихъ, принося имъ благополучіе, но отнявъ у нихъ свободу и самодѣятельность.

Организуютъ ли диктатуру для спасенія страны и культуры или для обезпеченія интересовъ пролетаріата и трудящихся, учреждаетъ ли ее вождь или партія, диктатура всегда и повсюду перерождается въ диктатуру надъ страной и культурой, надъ рабочимъ классомъ и народомъ.

Только въ одномъ пунктѣ мы должны оговорить свое несогласіе съ утвержденіями «нео-соціалистовъ», — въ томъ, гдѣ они въ радикализмъ «обходятъ» даже лѣвыхъ. Мы приветствуемъ ихъ активность. Мы раздѣляемъ ихъ требованіе быстрыхъ рѣшеній и инициативы.

Но когда Деа говорилъ на конгрессѣ, обращаясь къ лѣвымъ, объ «измѣнѣ социализму» со стороны тѣхъ, кто «безконечно откладываютъ его часть, подъ предлогомъ, что ничто не готово, и экономика не созрѣла», — если это не было полемическимъ увлеченіемъ въ порядкѣ законной

---

классы къ колесницѣ фашизма, — Бауэръ столь же справедливо отмѣчаетъ, что только «жажда свободы» можетъ подвинуть отдѣльнаго человѣка, какъ и массы, на борьбу противъ насилія. Борьба противъ національ-соціализма лишь въ томъ случаѣ будетъ близка сердцу крестьянина, интеллигента, мелкаго буржуа, если она будетъ сулить ему восстановленіе личной, духовной свободы и равенства, т. е. демократіи. «Но истинной демократіей, продолжаетъ Бауэръ, является только социалистическая демократія». Завоеванная въ борьбѣ противъ фашизма демократія должна будетъ превратить обманчивый «нѣмецкій социализмъ», который фактически является лишь монопольнымъ госкапитализмомъ, въ социализмъ настоящий. Если пролетаріатъ придетъ къ власти, онъ, учтя опытъ 1918 г., «используетъ свою власть не только для того, чтобы обезоружить фашизмъ, но и для того, чтобы нѣсколькими отважными ударами разрушить хозяйственныя основы капитализма». Правда, Бауэръ общается — или рекомендуетъ, — что «лишь только эта задача будетъ выполнена, лишь только будетъ создана социалистическая основа для будущей германской демократіи, наша революціонная власть осуществить свободное демократическое самоопредѣленіе всего германскаго народа». Но это уже — область мечтаній и обѣтованій, въ свое время высказывавшихся и большевиками, и уже ни въ какой мѣрѣ не реализуемыхъ по заранѣе установленному плану. Такова уже внутренняя «диалектика» или фатумъ диктатуры, что задуманная въ качествѣ переходной мѣры, она пять минутъ, всего для нѣсколькихъ отважныхъ ударовъ, она затягивается и во времени, и въ количествѣ «ударовъ». Оттого оказываются не только уто-

самозащиты отъ встрѣчнаго обвиненія въ отступничествѣ отъ социализма, мы считали бы такой взглядъ серьезнымъ заблужденіемъ. Мы говоримъ объ этомъ условно, потому что въ своей книгѣ Деа защищаетъ менѣе радикальную программу. Онъ доказываетъ тамъ, что сейчасъ рѣчь можетъ идти лишь о государственномъ контролѣ и контролѣ ограниченномъ, а не о «внутри заводскомъ рабочемъ контролѣ» или объ участіи въ управленіи предпріятіями, желѣзными дорогами и рудниками или—тѣмъ менѣе—о социализаціи доходовъ или собственности. Национализація предпріятій представляется Деа задачей не слишкомъ простой и жизнеспособной. Онъ довольствовался тогда подчиненіемъ всей промышленности началу компромисса и контроля, обезпечиваемаго и осуществляемаго государственной властью. Государство, напоминаетъ Деа слова Жореса, должно уравновѣшивать борющіяся экономическія силы<sup>\*)</sup>.

Такимъ же заблужденіемъ было, на нашъ взглядъ, и точное исчисленіе Монтаньяна, что при благоприятныхъ обстоятельствахъ «черезъ 12 или 15 лѣтъ» сильная политическая и экономическая власть, руководимая социалистами или опирающаяся на активное ихъ содѣйствіе, можетъ привести, правда, не къ коллективизму, такъ какъ патронатъ полностью еще не будетъ упраздненъ, но къ переходному къ социализму строю, — къ «синдикальному режиму съ участіемъ въ управленіи и контролѣ рабочихъ» (стр. 84).

Мы не раздѣляемъ ни моднаго нынѣ увлеченія синдикализмомъ, ни популярнаго, пошедшаго изъ Англии лозун-

---

ничными, но и глубоко трагичными тѣ укоризны и увѣщанія, которая вотъ уже сколько лѣтъ Бауэръ повторяетъ, вслѣдъ за русскими меньшевиками, по адресу большевиковъ, — повторяетъ и сейчасъ: «Вѣдь большевизмъ всегда признавалъ, что диктатура является лишь переходной формой, послѣ которой должно начаться «отмираніе государства» Отчего бы большевизму не начать осуществлять это «отмираніе» диктатуры?.. Почему бы ему не демократизировать свою систему?.. — Вотъ именно: отчего и почему? Въ отвѣтъ на эти вопросы — отвѣтъ и на мечты Бауэра и его единомышленниковъ о «единомъ фронтѣ» съ большевиками.

Если воспользоваться формулой Струве, мы присутствуемъ при явленіи «возрожденіи революціонно-утопическихъ энергій» подъ вліяніемъ шока отъ національ-соціализма.

\*) «Perspectives socialistes», p. 181-190.

га: «соціализмъ въ наши дни!», хотя бы въ національныхъ предѣлахъ. — Соціализмъ въ одной странѣ намъ всегда казался утопій и абсурдомъ, — еще до того, какъ Сталинъ пришелъ къ нему въ результатъ крушенія расчетовъ на мировую революцію, а Гитлеръ въ порядкѣ борьбы съ марксистами за голоса — И. И. Бунаковъ сказалъ бы: за души — германскихъ избирателей. Опытъ насаждаемаго въ одной Россіи «русскаго» и въ одной Германіи «нѣмецкаго» соціализма только подтверждаетъ нагляднымъ образомъ, къ чему можетъ привести — можетъ ли не привести? — «национальное» насажденіе «соціализмовъ». Подлинное преобразование общества на соціалистическихъ началахъ возможно лишь въ международномъ масштабѣ. И, конечно, не на томъ уровнѣ человѣческой культуры, котора ея вождями и свѣточами являются такіе «гении», какъ истребитель русской интеллигенціи и крестьянства Сталинъ, какъ истребитель евреевъ Гитлеръ, истребитель армянъ Кемаль, гаситель духа Муссолини и т. д., и т. д.

Когда страны европейской культуры поочередно впадаютъ или еле-еле удерживаются, чтобы не власть въ варварство и одичаніе давно ушедшихъ вѣковъ, болѣе чѣмъ утопично рассчитывать на осуществленіе царства мира и свободы. Изъ хаоса «нашихъ дней» легко можетъ выйти война, — но соціализму изъ него никакъ не выйти. Вѣрно, капитализмъ подгнилъ и утратилъ не только физическую свою устойчивость, но и вѣру въ себя: капиталисты хоронятъ капитализмъ и ищутъ спасенія у всякихъ національныхъ соціализмовъ. Но соціалисты не могутъ не сознавать, что ростъ анти-капиталистическихъ настроеній, какъ и крушеніе самаго капитализма, отнюдь не равнозначны торжеству подлиннаго соціализма. Подгнившее капиталистическое древо можетъ упасть вовсе не въ ту сторону, гдѣ рассчитываютъ его подхватить наследники и суетливые звѣздочеты соціально-политическихъ судебъ чело-вѣчества.

Таково, каково чело-вѣчество «въ наши дни», — у него гораздо больше шансовъ очутиться въ пред-капиталистической фазѣ своего развитія, еще глубже окунуться въ стихію «феодалнаго варварства», по выраженію Жореса, и вернуться къ режиму такъ наз. «полицейскаго» государства, нежели выбраться на путь по-капиталистическаго соціализма и свободы.

М. В. Вишнякъ.

# КУЛЬТУРА И ЖИЗНЬ

## При чтеніи Тургенева

(Нѣсколько замѣтокъ).

«Врагъ мистицизма и абсолютизма, ты мистически преклоняешься передъ русскимъ тулупомъ, и въ немъ ты видишь великую благодать и новизну, и оригинальность будущихъ общественныхъ формъ, das Absolute... Богъ вашъ любить до обожанія то, что вы ненавидите, и ненавидитъ то, что вы любите, богъ принимаетъ именно то, что вы за него отвергаете... «Изъ всѣхъ европейскихъ народовъ именно русскій меньше всѣхъ другихъ нуждается въ свободѣ. Русскій человѣкъ, самому себѣ предоставленный, неминуемо вырастаетъ въ старообрядца: вотъ, куда его гнетъ и претъ, а вы сами лично достаточно обожгли на этомъ вопросѣ, чтобы не знать, какая тамъ глушь, и темъ, и тиранія. Что же дѣлать? Я отвѣчаю, какъ Скрибъ: *prenez tout ouis, возьмите науку*».

Нѣтъ, думаю, строкъ болѣе характерныхъ для всего круга философско-политическихъ мыслей Тургенева, чѣмъ этотъ отрывокъ изъ его письма къ Герцену. Прежде замѣчаніе это казалось мнѣ элементарнымъ: ученіе свѣтъ, а неученіе тьма. Вдобавокъ, Герценъ, одинъ изъ самыхъ блестящихъ публицистовъ всѣхъ вре-

мень, относился нѣсколько иронически къ своему противнику.

Тургеневъ и въ самомъ дѣлѣ былъ не Богъ знаетъ какой публицистъ. Особенно въ романахъ. «По милости нерасположенныхъ къ Литвинову дворянъ его уѣзда, проникнутыхъ не столько западною теоріей о вредѣ «абсентеизма», сколько доморощеннымъ убѣжденіемъ, что «своя рубашка къ тѣлу ближе», онъ въ 1855 году попалъ въ ополченіе и чуть не умеръ отъ тифа в Крым, гдѣ, не видавъ ни одного «союзника», простоялъ шесть мѣсяцевъ въ землянкѣ на берегу Гнилого моря...», — плохая публицистика второй половины прошлаго вѣка частью вышла именно изъ такихъ его фразъ. Но, какъ большой художникъ и очень умный человѣкъ, онъ видѣлъ и понималъ многое такое, чего не видѣло и не понимало большинство его современниковъ. Такъ и въ приведенномъ выше отрывкѣ — кое-что въ немъ и сейчасъ спорно — Тургеневъ въ сущности намѣтилъ тѣ предѣлы, въ которые жизнь замкнетъ политику на очень долгія десятилѣтія, и не только въ Россіи. Послѣ событій, произошедшихъ недавно въ од-



ной чрезвычайно ученой странѣ, позволительно даже усомниться, такимъ ли ужъ спасительнымъ лѣкарствомъ противъ глуши, тьмы и тирании является его хваленая «наука» — или, по нѣсколько упрощенной формулировкѣ, всеобщее поголовное знакомство съ четырьмя правилами ариеметики.

Б. К. Зайцевъ написалъ о немъ превосходную книгу. Нѣсколько книгъ написано о Тургеневѣ и на западѣ: много меньше, чѣмъ о Достоевскомъ, гораздо больше чѣмъ о Пушкинѣ или о Гоголѣ. Голсуорси, восторженный его поклонникъ, посвятилъ одно изъ своихъ произведеній госпожѣ Гарнетъ въ благодарность за то, что она перевела на англійскій языкъ Тургенева. Продержится ли его слава въ Европѣ, въ Россіи? Вѣроятно, съ нимъ будетъ то самое, что неизмѣнно было со всѣми большими писателями: періодъ увлеченія — періодъ охлаждения, будутъ хвалить и развѣнчивать у него то одно, то другое. Французы это называютъ шотландскимъ душемъ: жаръ — холодъ, жаръ — холодъ. Сейчасъ у насъ, кажется, холодъ. Время наше элементарное, но катастрофическое, а онъ катастрофѣ терпѣть не могъ: немудрено, что его у насъ меньше читаютъ, чѣмъ въ Англии.

Достоинства его произведеній такъ признаны и очевидны, что о нихъ и говорить не стоитъ; невольно ловишь себя на повышенномъ вниманіи къ недостаткамъ. Главный изъ нихъ, на мой взглядъ, въ легкой слабости къ литературному шоколаду. Онъ сказался даже въ заглавіяхъ нѣкоторыхъ его

произведеній (какъ «Новъ», какъ «Вешнія воды»). У Толстого нѣтъ ни одного шоколаднаго заглавія; у него и просто-литературное заглавіе, кажется, только одно — и какое превосходное: «Крейцеровъ соната». Да еще, пожалуй, «Власть тьмы». (Въ звуковомъ отношеніи это ужасно: подрядъ два ть. Напротивъ, «Пѣснь торжествующей любви» въ звуковомъ отношеніи — чудесное заглавіе). Другія свои книги Толстой называлъ «Анна Каренина», «Хозяинъ и работникъ», «Казакъ», «Смерть Ивана Ильича», «Дѣтство, отрочество, юность». Одно заглавіе — «Война и миръ» — циклопическое, но оправданное: теперь и представить себѣ нельзя, чтобы эта книга называлась иначе, — самая слова эти приобрѣли у насъ новый звукъ, котораго до Толстого не имѣли. Когда Тургеневъ называетъ рассказъ просто по имени героини, это «Клара Миличъ». Ни одна русская артистка, конечно, не избрала бы для себя такого псевдонима; но не могъ же Тургеневъ озаглавить свой символическій рассказъ: «Катерина Миловидова». Да и нельзя было бы тогда вставить несчастную Клару, безумную Клару, несчастную Клару Мобрайъ.

Трудно согласиться съ Зайцевымъ въ его исключительно высокой оцѣнкѣ этой знаменитой поэмы. Тургеневъ въ ней явно искалъ новой формы и не нашелъ ея. «Клара Миличъ» начинается какъ обыкновеннѣйшій бытовой рассказъ, вродѣ тѣхъ, что онъ писалъ въ молодости. Въ ней даже больше, чѣмъ обычно, его стилистическихъ прѣмовъ, теперь рѣ-

жущихъ слухъ: «Человѣкъ онъ былъ, что называется, «добрѣйшій»... «Онъ рѣшилъ, какъ говорится, «взять на себя» и похрипеть всю эту исторію»... «Чудакаъ пресестественный, по словамъ сосѣдей»... «Подавали шампанское (нижегородскаго издѣлія, замѣтимъ въ скобкахъ)»... «Онъ даже приобрѣлъ англійскій кипсаъ — и (о, позоръ!) любовался «украшавшимися» его изображеніями разныхъ восхитительныхъ Гюльваръ и Медоръ»... «Въ то время, о которомъ идетъ наша рѣчь, обрѣталась въ Москвѣ нѣкая вдова, грузинская княгиня, — личность неопредѣленная, почти подозрительная»... Эта княгиня, обрѣтавшаяся въ Москвѣ въ то время (четырема страницами выше сказано, что дѣйствіе происходитъ въ 1878 году!) долго обличается, какъ шампанское нижегородскаго издѣлія, но затѣмъ почти никакой роли не играетъ, точно авторъ о ней и забылъ (можетъ быть, и въ самомъ дѣлѣ забылъ)... Однимъ словомъ бытовой, рассказъ вродѣ тѣхъ, что писали многочисленныя его последователи. Тургеневъ самъ какъ будто это чувствовалъ: Герою рассказа дается не вполне естественная фамилія, Аратова, — русская фамилія изъ французскаго романа. Вскользь сообщается, что онъ правнукъ знаменитаго чернокнувника Брюса. Тургеневъ, клякъ бы дасть поинти читателямъ, что рассказъ все-таки необыкновенный и что произойдетъ нѣчто странное и страшное. Но достаточно сопоставить все эти «что называется» и «какъ говорится» съ первой фразой «Пиковая Дама»: «Однажды играли въ карты у конногвардейца Нарумова. Долгая

зимняя, ночь прошла незамѣтно, — и станетъ ясно, какъ за пятьдесятъ дѣтъ ушло назадъ искусство символическаго разсказа.

Сравнимъ и финалы:

«Странное обстоятельство сопровождало его второй обжорокъ. Когда его подняли и уложили, въ его стиснутой правой рукѣ оказалась небольшая прядь черныхъ женскихъ волосъ. Откуда взялись эти волосы? У Анны Семеновны была такая прядь, оставшаяся отъ Клары; но съ какой стати было ей отдать Аратову такую для нея дорогую вещь? Развѣ какъ-нибудь въ дневникъ она ее заложила? — и не замѣтила, какъ отдала?

Въ предсмертномъ бреду Аратовъ называетъ себя Ромео... посялъ отравы; говорилъ о заключенномъ, о совершенномъ бракѣ; — о томъ, что онъ знаетъ теперь, что такое «наслажденіе»...

«Чекалинской стали» метаяъ, руки его тряслись. Направо легла дама, налево тузаъ.

— Тузаъ выигралъ! сказала Германнъ и открытъ свою карту.

— Дама ваша, убита, сказала ласково Чекалинской:

Германнъ вдрогнулъ: въ самомъ дѣлѣ, вмѣсто туза у него стояла пиковая дама. Онъ не пририлъ своимъ глазамъ, не понимая, какъ могъ онъ обдернуться.

Въ эту минуту ему показало, что пиколоя дама прищурилась и усмѣхнулась. Необыкновенное сходство поразило его.

— Старуха! закричалъ онъ въ ужасѣ.

Чекалинской потянулъ къ себѣ проигранныя билеты. Германнъ стоялъ неподвижно. Когда отошелъ онъ отъ стола, поднялся шумный говоръ, «Славно спонти-

роваль!» говорили игроки. Чекаленский снова стасовал карты: игра пошла своим чередом».

Нѣтъ, это и сравнивать трудно.

Онъ въ «Кларъ Миличъ» два раза, по поводу Миловидовой, упоминаетъ о Виардо. «Мы затѣяли литературно - музыкальное утро», — говоритъ Аратову Купферъ, — «и на этомъ утрѣ ты можешь услышать дѣвушку... необыкновенную дѣвушку! — Мы еще не знаемъ хорошенько, Рашель она или Виардо?»... «Аратовъ досталъ Пушкина, прочелъ письмо Татьяны и снова убѣдился, что та «цыганка» совсѣмъ не поняла настоящаго смысла этого письма. А этого шутъ Купферъ кричить: Рашель! Виардо!»...

Вѣроятно, это упоминание — всетаки не вполне удобное для Тургенева — въ свое время въ литературныхъ кругахъ «связывало много толковъ». Едва-ли умирающій старикъ хотѣлъ тутъ сдѣлать рекламу бывшей пѣвицы. Съ другой стороны двадцатилѣтній москвичъ Купферъ въ 1877 году, по всѣмъ соображеніямъ художественной правды, долженъ былъ бы сослаться никакъ не на Виардо, о голосѣ которой никто давно и не говорилъ, а на Патти или на Нильсонъ.

Вполнѣ возможно: этимъ двукратнымъ упоминаніемъ (Рашель — для уменьшенія «замѣтности») Тургеневъ хотѣлъ дать понять будущимъ биографамъ, что самъ онъ имѣетъ какое-то отношеніе къ сюжету «Клары Миличъ». Въ повѣсти изреченіе «Любовь сильнѣе смерти» приписано «одному англійскому писателю! Однако настроеніе «Клары Миличъ», ко-

нечно, именно таково: «сильна, какъ смерть, любовь». То же въ «Пѣсни торжествующей любви» Не очень удался и этотъ разсказъ. Стиль его недостаточно наивенъ для «феррарской рукописи 16-го вѣка» (разумѣется, говорю только о стилѣ: время было вислоко не наивное). Есть что-то отъ «Князя Серебрянаго» во всѣхъ этихъ «кубкахъ, украшенныхъ финифтью», въ «бархатныхъ и парчевыхъ одеждахъ», въ «богатомъ жемчужномъ ожерельѣ, одаренномъ какой-то странной теплотой», въ шираскомъ винѣ Мушья, — «чрезвычайно пахучее и густое, золотистого цвѣта съ зеленоватымъ отливомъ, оно загадочно блестяло, калитое въ крошечныя яшмовыя чашечки». «Пѣсни торжествующей любви» — превосходный оперный сюжетъ для очень большого композитора, слова къ еще не написанной гениальной музыкѣ. Но безъ музыки она — «не убѣдительна».

Смѣшное, вдобавокъ затасканное, слово. Однако смыслъ въ немъ есть. Въ неполной «убѣдительности» Тургенева — второй его грѣхъ (или; если угодно, тотъ же, во всякомъ случаѣ тѣсно связанный съ первымъ). Толстой въ «Крейцеровой Сонатѣ» въ сущности возвелъ поклѣпъ на одного, изъ самыхъ чистыхъ людей міра. Но мы ему вѣримъ. Мы вѣримъ, что Позднышевъ почувствовалъ въ первомъ престо тѣ бездны порока, разврата или даже преступленія, о которыхъ онъ говоритъ. — «Знаете ли вы первое престо? Знаете?! — вскрикнулъ онъ. — У! ууу!». Страшная вещь эта соната... Развѣ можно допустить, чтобы всякій, кто хочетъ,

гипнотизировалъ одинъ другого или многихъ и потому бы дѣлалъ съ ними, что хочеть? И, главное, чтобы этимъ гипнотизаторомъ былъ первый попавшійся безнравственный человѣкъ! А то страшное средство въ руки кого пошло! Напримѣръ, хоть бы эту Крейцерову сонату, первое престо, — развѣ можно играть въ гостиной среди декольтированныхъ дамъ? Это престо сыграть и потомъ похлопать, а потомъ ѣсть мороженое и говорить о послѣдней сплетнѣ... Да, мы этому вѣримъ. Но что же дѣлать, — можетъ быть, все это и «субъективно», — я не могу повѣрить, что Вѣрочка Ельцова, когда ей Павелъ Александровичъ Б. сталъ читать Гетевского «Фауста», «отдѣлилась отъ спинки кресла, сложила руки и въ такомъ положеніи оставалась до конца», и что отъ этого чтенія произошла трагедія, и что на смертномъ одрѣ та же Вѣрочка «вдругъ раскрыла глаза, устремила ихъ на меня, взглядълась и, протянувъ исхудалую руку —

Чего хочеть онъ на освященномъ мѣстѣ,

Этотъ.. вотъ этотъ...

произнесла она голосомъ до того страшнымъ, что я бросился бѣжать»...

Здѣсь какъ будто и самое построение фразы свидѣтельствуеетъ, что Павелъ Александровичъ Б. снѣжкомъ долго жилъ въ Берлинѣ. — въ сантиментально-слащавомъ Берлинѣ 30-хъ годовъ. Да и весь этотъ «Фаустъ» — изъ шоколадной фабрики Тургенева.

Это, какъ извѣстно, романъ въ письмахъ. У Тургенева было пристрастіе къ неудобнымъ, стѣсни-

тельными формамъ. Въ частности въ «Фаустѣ» форма писемъ была какъ будто недопустима: Павелъ Александровичъ Б., по замыслу автора, человѣкъ благородный и возвышенно-настроенный, рассказываетъ Семену Николаевичу В., со всѣми именами и подробностями, какъ Вѣрочка, замужняя женщина, объяснилась ему въ любви и какъ онъ съ ней цѣловался.

Напомню и начало «Первой любви». Три человѣка, — хозяинъ, Сергѣй Николаевичъ и Владиміръ Петровичъ — ужинаютъ; описывается Сергѣй Николаевичъ, рассказывается о томъ, какъ хозяинъ познакомился съ женой, Анной Ивановной; а затѣмъ больше ни слова не говорится ни о хозяинѣ, ни объ его женѣ, ни о Сергѣѣ Николаевичѣ. Все дѣло въ рассказѣ Владиміра Петровича, который онъ записываетъ по просьбѣ своихъ пріятелей, «Черезъ двѣ недѣли они опять сошлись, и Владиміръ Петровичъ сдержалъ свое обѣщаніе. Вотъ что стояло въ его трагикѣ»... Чудесному рассказу предпосланы двѣ совершенно ненужныя страницы, вдобавокъ и не очень правдоподобныя. Чѣмъ Тургеневъ руководился, непонятно. Форма — дѣло условное. Какія-то соображенія, конечно, у него были, но они отъ насъ ускользаютъ. Непонятно и то, зачѣмъ онъ въ фабулѣ такъ злоупотреблялъ смертью: въ «Первой любви», напр., отецъ умеръ молодымъ, и Зинаида умерла молодой... Однако весь рассказъ и въ чисто-техническомъ смыслѣ написанъ съ удивительнымъ совершенствомъ. Романъ отца съ Зинаидой проходитъ цѣлкомъ за кулисами! За исключеніемъ сцены съ ударомъ хлыста, мы

ничего не видимъ — и знаемъ рѣшительно все! «Первая любовь», быть можетъ, самое лучшее созданіе Тургенева. Въ рассказѣ нѣтъ и ста страницъ, но въ немъ создано человекѣкъ десять и все они живутъ. Вотъ развѣ только отецъ не безъ шоколада. Но отъ Вольдемара и Зинаиды до ея матери княгини Застѣиной, всѣ другія лица — живыя.

На почти той же высотѣ стоятъ «Отцы и Дѣтя». Нѣкоторыя дѣйствующія лица этого романа сдѣланы изумительно. Не удались Одинцова, Аркадій, Катенька. Базаровъ не въ такой мѣрѣ живой человекѣкъ, какъ Пьеръ Безухой или князь Андрей. Ему дана искусственная жизнь; однако эта дана надолго, если не навсегда. Я зналъ людей, которые, сами того не замѣчая, жили и думали подѣ Базарова. Людей, живущихъ по Рудину, я не видалъ, — увѣренъ, что были и такіе. Рудинъ писанъ Тургеневымъ съ Бакунина? Очень въ этомъ сомнѣваюсь, но вполнѣ допускаю, что Бакунинъ въ концѣ своей жизни немного стилизовалъ себя подѣ Рудина.

Къ сожалѣнію, далеко не во всѣхъ своихъ романахъ и рассказахъ Тургеневъ проявлялъ ту же мощь въ дарованіи жизни, какая свойственна лучшимъ его твореніямъ. Онъ (наряду съ Достоевскимъ) — самый неровный изъ всѣхъ классическихъ русскихъ писателей. Среди небольшихъ его рассказовъ есть высокіе шедевры искусства; есть среди нихъ и слабые, почти ничтожные (случай довольно рѣдкій: лучшее — то, что мы съ дѣтства знаемъ по хрестоматіямъ), Достоевскій по за-

слугамъ высмѣялъ «Призраки», — вся его злобная пародія написана съ огромной силой. Но ужъ будто нельзя было бы написать пародію на книги самого Достоевскаго? Признаемъ же, ради справедливости, и то, что въ «Повѣдкѣ въ Полѣсье», въ нѣкоторыхъ страницахъ «Записокъ Охотника» больше искусства и поэзіи, чѣмъ въ «Подросткѣ» и «Униженныхъ и оскорбленныхъ», взятыхъ вмѣстѣ.

Прочитавъ первую часть «Войны и Мира», Тургеневъ писалъ одному изъ своихъ друзей: «Нѣтъ, это не то, не то, не то!»... Думаю, писалъ искренно или почти искренно, — не сразу и могъ принять революцію въ искусствѣ такой большой художникъ, какъ онъ. Однако «внутренній голосъ» вѣрно, все громче ему твердилъ: «Да, то, то, то самое!»... Рене Буалевъ, очень замѣчательный писатель, пережилъ такую же драму (иначе это и назвать нельзя) при чтеніи Марселя Пруста...

Тургеневъ всю жизнь искалъ новыхъ формъ въ искусствѣ, — это и само по себѣ заслуга немалая. Если не ошибаюсь, и сейчасъ не существуетъ ни одной такой формы, которой онъ не испробовалъ бы. Иногда кажется, что онъ предвидѣлъ и кинематографъ: «Сонъ», напримѣръ, чисто кинематографическій рассказъ. Разумѣется, не всѣ его исканія были удачны. Надо однако цѣнить большихъ писателей по тому лучшему, что они дали. Совершенно справедливо говоритъ Б. К. Зайцевъ, что «въ золотомъ вѣкѣ нашей литературы мѣсто Тургенева въ числѣ четырехъ-пяти первыхъ».

М. Алдановъ.

## Женское творчество в чешской литературе

Конечно, тот критик, который на вопрос — какой жанр он предпочитает — ответил: «хороший», теоретически был совершенно прав, но литература не является фактором только эстетическим, она есть и явление порядка этического и социального. Если литература может быть обособлена по признаку национальному, то значит закономерно и выделение особой ее категории, носящей не совсем точное название — литературы «женской».

Правда, определение «женский», прилаживаемое к какому-либо роду искусства или творчества, как бы понижает его ценность, отодвигает на задний план. Так не только думает публика, так не только пишет критика, но так чувствуют очень часто и сами женщины. Как бы ни изменялась наша культура, как бы ни шло вперед законодательство, но до сих пор «общечеловеческое» почти всегда совпадает в понимании людей с «мужским». Желая стать на признанный уровень, женщины поэтому невольно подражают мужчинам. Они забывают, что, разная свои особая дарования, они бы сделали больший вклад как в культуру вообще, так и в ту отрасль искусства, в которых они работают. Было бы по меньшей мере пристрастно отрицать, что так называемое женское движение влило и поднесло впадет в уродливые крайности, но это уже судьба каждого, замыкающегося в самом себе, духа, будь-то кастового, сословного или классового.

За примерами не приходится далеко ходить, стоит лишь посмотреть, что представляет из себя так называемое «пролетарское» искусство.

Но сделавши эти оговорки и предъявляя к женскому творчеству столь же строгие требования, как и ко всякому иному, мы должны считаться с ним, как с каким-либо иным, имѹющим свою специальную ценность. В нашу эпоху женское творчество, если оно является только подражательным, свидетельствует о выступлении на литературную арену нового, недавно еще не пользовавшегося признанием фактора, силы которого насильственно тормозились. Поэтому их обнаружение служит доказательством значительной культурной зрелости данного народа, а уровень женского искусства является характерным для общего состояния его литературы. Очень показательны в этом отношении примеры женской литературы в Англии, для известной части которой прилагательное «женская» вовсе не означает пониженной ценности, но лишь указывает на ее особенность и специфичность, заслуживающую внимания и уважения.

Ничто аналогичное можем мы наблюдать и в чешской литературе (подразумеваю в данном случае новую чешскую литературу, связанную с национальным возрождением и начавшую формироваться с конца 18-го столетия), где женщины писательницы с самого начала шли ногой в ногу с писателями. Показательны

въ этомъ отношеніи тотъ фактъ, что у самой колыбели новой чешской литературы стояла какъ разъ женщина, главный романъ которой до сихъ поръ не только считается классическимъ образцомъ чешской прозы, но и остается любимѣйшимъ чтеніемъ наравнѣ съ лучшимъ, что даетъ современная литература. Среди немногихъ писателей, пережившихъ эпоху возрожденія, какъ-то: Тыль, Рубешъ, Чалаковскій, Эрбенъ, Маха и еще двое-трое, равноцѣнное и почетное мѣсто занимаетъ Б. Немцова, прославившаяся по преимуществу своимъ романомъ «Бабушка». Подобно тому, какъ Тыль, не представляя себѣ, что музыкальная вставка въ комедіи «Фидловачка» — «Гдѣ моя отчизна» превратится въ національный гимнъ, такъ и Б. Немцова, описывая отрывокъ своей жизни, не предчувствовала, вѣроятно, что «Бабушка» станетъ итѣмъ знаменемъ въ дальнѣйшей жизни чешскаго народа.

Однако, наававъ Б. Немцову первой женщиной писательницей въ чешской литературѣ новаго времени, мы были правы лишь наполовину, такъ сказать, въ порядкѣ качественномъ, но не хронологически. Безспорной родоначальницей огромнаго племени писательницъ должна быть названа Магдалена Добромилла Реттигова, представляющая собой въ литературномъ отношеніи итѣкое сочетание Карамзина въ юбкѣ и поваренной кнѣжки «Подарокъ молодымъ хозяйкамъ». Если мы присмотримъ внимательнѣе къ жизни чешской женщины начала 19-го столѣтія, то подобное смѣшеніе перестанетъ поражать насъ своей неожиданностью. Национальное возрожденіе призвало къ жизни

не только мужчину, но и женщину, поставивъ передъ ней по существу огромную задачу — переустройство семьи на новыхъ національныхъ началахъ. Какъ уже не разъ намъ приходилось говорить, составъ наиболѣе передовыхъ и борющихся элементовъ былъ мелко-буржуазный, — лишь зажиточное крестьянство и мелкая городская буржуазія были тѣми общественными слоями, которые не были лишены національнаго чувства и потому не поддали германизации. Женщина, которую привлекли къ общественной жизни новыя идеи, воплощенные для болѣе серьезныхъ въ книгахъ и театрѣ, для менѣе вдумчивыхъ въ національныхъ балахъ и «бесѣдахъ», была вѣрной подругой мѣщанъ, создававшихъ въ Чехіи свою культуру, основу для будущаго возстановленія государства. Она, какъ хорошая хозяйка, точно разграничивала и въ духовной сферѣ праздники отъ будней, раздѣляя время между реальными жизненными заботами и сентиментальными переживаниями, удерживая равновѣсіе, необходимое въ жизни и для кошелка и для сердца. Именно такъ строила свою жизнь и литературную дѣятельность весьма типичная для своего времени М. Д. Реттигова, воспитательница и руководительница сотенъ молодыхъ дѣвушекъ какъ въ провинціи, такъ и въ Прагѣ.

Жизнь М. Д. Реттиговой охватываетъ почти полностью первую половину прошлаго столѣтія, но ея духовное вліяніе кончилось, пожалуй, раньше ея смерти (род. въ 1785, ум. въ 1845), въ то время какъ ея кулинарные совѣты далеко не потеряли цѣны и въ наши дни. Дочь графскаго управляю-

шаго и жена чиновника, Реттигова начала писать стихи, какъ это до сихъ поръ дѣлаютъ многія молодыя барышни. Любопытно, что первая ея литературная вещь была написана на нѣмецкомъ языкѣ, и только подъ вліяніемъ мужа она обращается къ рѣчи своего народа, любовь къ которому растетъ у нея съ годами. Сентиментализмъ и романтизмъ, господствовавшіе въ это время въ литературѣ большинства народовъ Европы, захватили и Реттигову, но однако скорѣе какъ мода, чѣмъ какъ подлинное переживаніе. Въ результатъ появляется рядъ небольшихъ повѣстей, сказокъ и даже драматическихъ произведеній, носящихъ характерныя названія: «Нарциссы», «Майскіе цвѣты», «Корзинка Маріанны», «Ярославъ и Терина», «Арноштъ и Белла» и т. д. Во всѣхъ этихъ произведеніяхъ, даже сугубо романтическихъ, больше дидактики, чѣмъ подлиннаго чувства и лирики; всѣ они даютъ нежизненный и ходульный идеалъ дѣвушки или женщины, одаренной всевозможными добродѣтелями и снабженной здоровымъ практическимъ умомъ. Единственно, что читательницы могли вынести положительнаго изъ подобной литературы, это было сознание долга по отношенію къ окружающему, прежде всего по отношенію къ своему народу въ цѣломъ. Эти же идеи проводила наша писательница и иными способами, — занявшись воспитаніемъ женской молодежи. Занятія не вращались въ возвышенныхъ сферахъ, они сводились къ ружейбѣлю, кулинаріи, поучительнымъ разговорамъ и чтенію на чешскомъ языкѣ. Для этихъ-то своихъ воспитанницъ, точно такъ

же какъ и для болѣе широкаго круга молодыхъ чешскихъ женщинъ и были написаны книжки «Домашняя поваренная книга», «Кофеекъ и всякія сладости къ нему», «Разсужденіе о телятинѣ» и т. д. Сейчасъ это намъ кажется комичнымъ, но сто лѣтъ тому назадъ такія вещи являлись событіемъ. Только подумать—первая поваренная книга на родномъ языкѣ! Изъ такихъ мелочей ссоставлялась подлинная жизнь, которую приходилось шагъ за шагомъ отвоєвывать для своего народа. Введеніе чешскаго элемента въ самую будничную часть жизни — въ кухню, должно было заложить нѣкій, мало поэтический, но крѣпкій фундаментъ для дальнѣйшей стройки. Что это не было лишь женскимъ баловствомъ, свидѣтельствуеетъ одинъ фактъ, могущій ярко иллюстрировать тогдашнее положеніе вещей. На одномъ изъ первыхъ чешскихъ баловъ, служившихъ важнымъ средствомъ пропаганды въ широкихъ массахъ, большой сенсацией было чешское меню ужина и буфета. Переводилъ его и приспособлялъ къ родному языку не кто иной, какъ самъ Ф. Палацкій, историкъ и позднѣйшій историографъ земли чешской, который подобную задачу вовсе не считалъ для себя слишкомъ низкой. И авторы, и посѣтители не безъ гордости отмѣчаютъ въ своихъ письмахъ и мемуарахъ, что всѣ необходимыя названія для кушаній, кромѣ бифштекса и салъиона, нашлись въ чешскомъ языкѣ.

Если сегодня нравоучительныя повѣсти Реттиговой мало кто, кромѣ специалиста да любителя этой эпохи, можетъ одолѣть, то все же нельзя отрицать ея значенія. Какъ



женщины-пionера, вышедшей, хотя бы и при помощи кухни, на иной, болѣе широкий путь. Хронологически, но отнюдь не духовно, слѣдуетъ за М. Д. Реттиговой та, именемъ которой мы начали нашъ этюдъ, Божена Немцова (1820-1862). Она вышла почти изъ той же среды, что и ея предшественница — ея отецъ былъ служащимъ въ имѣннн герцогини Заганьской, послужившей впоследствии прототипомъ для одного изъ дѣйствующихъ лицъ романа «Бабушка». Для русскаго читателя будетъ, быть можетъ, безынтересно, что герцогиня Заганьская была внучкой временщика Бирона и въ то же время одной изъ трехъ красивѣйшихъ женщинъ, на которыхъ указалъ Александръ I во время Вѣнскаго конгресса. Вообще герцогиня Заганьская имѣла большое отношенiе къ русской политикѣ во время наполеоновскихъ войнъ, въ ея замкѣ въ Ратиборицахъ состоялось свиданiе русскаго и прусскаго монарховъ, въ ея будуарѣ въ Прагѣ подписалъ Меттернихъ манифестъ объ объявленii войны Францiи, манифестъ, подготовленный заранее съ согласiя русскаго правительства. Сама герцогиня, бывшая вторымъ бракомъ за княземъ Трубецкимъ, выведена три раза въ чешской литературѣ: впервые у Божены Немцовой въ упомянутомъ романѣ, во второй разъ у Ираски въ романѣ «При дворѣ веводы» и, наконецъ, въ одной изъ частей романизированной хроники Ржезничка «Наша золотая матушка-Прага».

Но вернемся къ непосредственной темѣ, отъ которой мы отклонились въ сторону. Изъ первоначальныхъ вещей Немцовой, кото-

рая она писала еще только для себя, до насъ ничего не дошло. Критики полагаютъ, что подобно своей предшественницѣ она начала писать по-нѣмецки, и что первый толчекъ къ переходу на родную рѣчь былъ данъ ей мужемъ, а потомъ рядомъ ея друзей, принадлежавшихъ къ романтико-патриотической группѣ «Молодая Чехiя». Самое названiе кружка является уже программой, которую выдвинула послѣ наполеоновскихъ войнъ молодежь различныхъ народовъ находившихся подъ бременемъ національнаго или политическаго гнета. «Молодая Чехiя» возникла по аналогii съ «Молодой Италией», «Молодой Польшей» и, конечно, «Молодой Германiей», и отличалась отъ нихъ тѣмъ; что была болѣе теоретична, увлекалась исторiей, или вѣрнѣе популярнымъ тогда во всей Европѣ историческимъ сказанiемъ, и не проявляла себя активной политикой а тѣмъ болѣе террористическими актами въ стилѣ Занда. Понятно, что подъ такимъ влиянiемъ начальныя произведенiя Б. Немцовой, ея стихи, полны патриотическихъ призывовъ, славянской мифологii и героическаго пафоса. Въ отличiе отъ своихъ современниковъ, писателей и писательницъ, она выдвигаетъ новый идеалъ женщины, патриотизмъ которой уже заключается не только въ любви къ народному герою, въ веденii его хозяйства и воспитанii его дѣтей, но и въ активномъ участii самой женщины въ новомъ строителствѣ. Искренняя любовь къ народу да вотъ эта новая для женщины программа спасаютъ отъ полнаго забвенiя такiе, помимо этого мало цѣнныя стихи Б. Немцовой, какъ «Чеш-

скимъ женщинамъ», «Мое огечество», «Безсмертное утро» и пр.

Центръ тяжести творчества Б. Немцовой лежалъ однако въ прозѣ. Патриотическія и національныя переживанія не входили непосредственной темой въ прозу Б. Немцовой, но были все же побудительной силой, толкавшей ее въ опредѣленную сторону; они же были причиной того, что въ ее творчествѣ стали играть значительную роль элементъ этнографической. При изученіи литературы первой половины 19-го столѣтія нельзя упускать изъ виду, что новыя соціальныя условія, вызванныя къ жизни революціями, ввели и въ искусство доселѣ мало извѣстныя черты. Подъ влияніемъ сентиментализма и національной романтики въ литературу стали изображать простыхъ людей, въ частности крестьянъ. Простонародье было объявлено основой подлинной жизни націи, откуда усиленный интересъ къ его обычаямъ, сказкамъ и всему обиходу его жизни. Въ Чехіи все это обострилось еще тѣмъ, что дѣйствительно лишь низшіе классы не были германизированы. Ухвативъ съ разбитымъ сердцемъ изъ Праги въ Домажлицы, Немцова начинаетъ изучать жизнь народа, собирать его сказки, которыя вышли потомъ подъ общимъ названіемъ «Народныя сказки и повѣсти». Конечно, это не были чисто научныя собранія, отвѣчающія требованіямъ современной этнографіи, но все же народныя сказки Б. Немцовой выгодно отличались отъ того, что дѣлалось тогда въ этой области, и не только въ Чехіи. Обычно любители народного творчества плохо разбирались въ томъ, что подлинно и что фальшиво, и

при литературной его обработкѣ дополняли своей фантазіей незнание подлиннаго быта. Врожденное чутье, талантъ и хорошій стиль сдѣлали то, что черная изъ дѣтскихъ воспоминаній, наблюденій въ Домажлицкомъ краѣ, а частично и изъ книгъ, Б. Немцова создала подлинно художественныя произведенія на сюжеты изъ крестьянской жизни. Въ нихъ сливаются возвышенный романтизмъ настроеній съ яснымъ реализмомъ описаній и съ простонароднымъ юморомъ. Въ слѣдующемъ сборникѣ, озаглавленномъ «Словацкія сказки и повѣсти», наша писательница отстываетъ, къ сожалѣнію, отъ этого своего метода, много ближе держится подлиннаго оригинала и такимъ образомъ почти ничего не вноситъ въ чешскую изысканную литературу.

Однако первый шагъ былъ сдѣланъ и Б. Немцова могла идти по открывшемуся ей пути. Желанія, воли и таланта судьба отпустила ей достаточно, скупа она оказалась лишь на личное счастье и матеріальныя блага, отсутствие которыхъ мѣшаетъ вполне отлаться душевной работѣ. Бракъ съ человекомъ, за котораго она вышла по полѣ матери, но безъ всякаго внутренняго аленія, очень скоро оказался неудачнымъ; къ недоразумѣніямъ и раздорамъ прибавилась и нужда, вызванная тѣмъ, что глава семейства былъ лишенъ мѣста изъ-за своихъ національно-чешскихъ убѣжденій. Вся тяжесть матеріальныхъ заботъ легла на плечи еще очень молодой женщины, которая при этомъ хотѣла воспитывать и дѣтей въ духѣ своихъ взглядовъ и новаго времени. Что же можно было заработать въ Прагѣ сороко-

выхъ годовъ, когда каждое слово, написанное по-чешски, подвергалось а priori преслѣдованію, можно легко себѣ представить. И тѣмъ не менѣе Б. Немцова пишетъ, не покладая рукъ. Въ журналѣ Гавличка «Чешская пчела» появляются «Картинки изъ окрестностей Домажлицъ», и къ нимъ же примыкаетъ цѣлый рядъ полуэтнографическихъ этюдовъ и описаній путешесствій. Частью изъ любви къ народу, а частью изъ-за куска хлѣба она и позднѣе не оставляетъ этотъ второстепенный для ея творчества жанръ; но уже съ 1846 г. мы можемъ замѣтить первую попытку ввести хотя бы слабое дѣйствіе въ этнографическую канву. Такъ возникаютъ первыя сказки Б. Немцовой. Однако лишь въ пятидесятыхъ годахъ изъ-подъ ея пера выходятъ такія подлинныя повѣсти, какъ «Бабушка», потомъ «Сестры», «Розарки» и наконецъ «Бышная Бара», на которую бесспорно оказали вліяніе сельскія повѣсти Ж. Сандъ; сходство обихъ писательницъ сказывается тутъ не только въ выборѣ среды и сюжета, но и въ яркой соціальной тенденціи авторовъ и въ ихъ симпатіи къ простому классу земледѣльцевъ. Но это уже совсѣмъ зрѣлая писательница, которая въ области разсказа и повѣсти мало что добавитъ къ уже созданному. Прибавитъ еще нѣсколько названій, какъ-то: «Горная деревня», «Учитель», «Бѣдные люди», «Въ замкѣ и въ слободѣ»; остальное осталось или незаконченнымъ или лишь набросаннымъ въ видѣ плана.

Перечисляя произведенія Б. Немцовой, мы сознательно не касались наиболѣе важнаго изъ нихъ, названіе котораго мы упомянули

въ началѣ нашего этюда, — романа «Бабушка». По своимъ размѣрамъ и характеру «Бабушка» выходитъ за предѣлы той мелкой повѣсти, которая количественно составляетъ основу творчества Б. Немцовой, и несмотря на то, что романъ этотъ хронологически относится къ серединѣ ея литературной дѣятельности, онъ значительно превосходить все то, что было ею написано и до того и впоследствии.

Если подойти къ «Бабушкѣ» съ формально-эстетической мѣркой, то это произведеніе, пожалуй, и не выдержитъ критики; окажется, что конструкція его слаба, дѣйствія почти нѣтъ, и ни подъ однимъ изъ установленныхъ жанровъ подвести его нельзя. И точно, это не совсѣмъ романъ, такъ какъ здѣсь нѣтъ стройнаго дѣйствія, обнимающаго хотя бы значительную часть жизни героя или героини; по существу тамъ нѣтъ и главнаго дѣйствующаго лица, такъ какъ бабушка, которая почти не сходитъ со сцены, обладаетъ лишь духовной активностію. Вѣрнѣе всего, это нѣчто въ родѣ хроники, гдѣ переплетаются судьбы людей различныхъ сословій; имѣется множество чудесныхъ описаній природы, дѣтскихъ воспоминаній, претворенныхъ въ художественныя шедевры, цѣлая галерея характеровъ, надъ которыми, какъ чистѣйшій бриллиантъ, сияетъ образъ деревенской старухи, склоняющей голову лишь передъ Господомъ Богомъ. Въ самый тяжелый моментъ своей жизни; когда нужда, измѣна и смерть тѣснились со всѣхъ сторонъ около Б. Немцовой, обратила она свой взоръ къ прошлому и какъ бы по контрасту съ окружающею

жизнью написала самую оптимистическую из своих книг. По существу это вещь автобиографическая, в которой лишь под иной, слегка измененной фамилией описывается судьба семейства самой писательницы; даже место действия не изменено, и лишь смягчены темныя и рѣзкія краски. Свою личную жизнь Б. Немцова отражает тутъ два раза — то въ видѣ ребенка, любимой внучки, то въ лицѣ чужой трагически страдающей дѣвушки. Въ этого плана развивается еще цѣлый рядъ второстепенныхъ романовъ, протекающихъ какъ въ высшемъ обществѣ въ замкѣ герцогини, такъ и среди крестьянъ крѣпостныхъ деревень. Наконецъ, на третьемъ планѣ идетъ описаніе крестьянской жизни со всеми обычаями и повѣрьями въ теченіе цѣлаго года. Уже критика того времени встрѣтила болѣе чѣмъ одобрительно появленіе романа Немцовой; позднѣйшіе же историки литературы единогласно признали «Бабушку» классическимъ произведеніемъ чешской новеллистики.

Изъ совсѣмъ иной среды вышли двѣ слѣдующія писательницы — Каролина Светлая и ея младшая сестра Жофія Подлипская. Не зная онѣ горькой нужды, не чувствовали поэтому такъ остро и непосредственно притѣсненія, хотя уже тѣмъ самымъ, что обѣ писали по чешски, онѣ боролись противъ существовавшаго порядка вещей.

Начнемъ со старшей и болѣе знаменитой сестры, Каролины Светлой (1830-1899). Дѣвичья фамилія обѣихъ сестеръ была Роттовы, и это имя до сихъ поръ носитъ одна очень крупная фирма въ Старомъ городѣ, въ Прагѣ. Смѣ-

шанная чешско-нѣмецкая семья Роттовыхъ принадлежала къ весьма зажиточной группѣ мѣшанъ-торговцевъ и была обременена какъ всеми предрассудками этого класса, такъ и всеми благами, которыя проистекаютъ изъ спокойной и сытой жизни. Все это отрадилось, конечно, на характерѣ будущей писательницы, которой пришлось самой немало бороться за право проявить свою человѣческую личность, а тѣмъ болѣе свое литературное дарованіе. Уже за первыя свои попытки писать не по-нѣмецки, какъ это полагалось образованной барышнѣ, она подвергалась систематическому преслѣдованію со стороны всей родни, которая считала подобное занятіе несомвѣстнымъ съ положеніемъ богатой невесты. Если бракъ для Б. Немцовой былъ тяжелымъ, а можетъ прямо непосильнымъ игомъ, то для К. Светлой онъ былъ подлиннымъ освобожденіемъ. И именно ея мужъ, П. Мужокъ, будучи еще женихомъ, познакомилъ какъ ее, такъ и ея сестру съ Б. Немцовой. Отмѣтимъ однако съ самаго начала, что, хотя К. Светлая и считается послѣдовательницей и ученицей своей великой чешской предшественницы, но по существу она гораздо ближе къ Ж. Сандѣ, какъ своими сильными женскими типами, такъ и той жертвенной любовью, которая въ произведеніяхъ писательницы разрѣшаетъ всѣ конфликты. Но нужно, конечно, считаться и съ вліяніемъ иной литературной среды, которая съ теченіемъ времени стала много обширнѣе и богаче. Въ то время какъ личное вліяніе Б. Немцовой простиралось лишь на юность К. Светлой, ея болѣе продолжительными художественными со-

братьями и друзьями были уже Галекъ и Неруда, изъ которыхъ второй оставилъ навсегда неизгладимый слѣдъ въ чешской литературѣ.

Литературная дѣятельность К. Светлой, начавшаяся за нѣсколько лѣтъ до смерти Б. Немцовой, продолжалась, съ малыми перерывами, болѣе двадцати лѣтъ. Страстная въ жизни, она вносила эту черту и въ работу, которую откладывала лишь по нуждѣ, изъ-за болѣзни глазъ. Но кромѣ непосредственнаго писанія, у нея были и другія занятія, въ частности, она интересовалась активно женскимъ вопросомъ, добываясь прежде всего правъ на образование для чешекъ. Послѣдніе годы жизни, оставшись почти совсѣмъ одинокой, писательница, несмотря на преклонный возрастъ, погружается въ изученіе философіи и религіозныхъ дисциплинъ. Вообще къ старости ея взгляды сильно мѣняются, идетъ на убыль Сандовскій титаниззмъ, совсѣмъ исчезаетъ байронизмъ; зато усиливается направленіе, которое требуетъ подчиненія литературы національно-педагогическимъ цѣлямъ, — народъ, какъ таковой, съ его жизнью и развитіемъ, заполняетъ всѣ ея мысли.

Романы и повѣсти К. Светлой, въ отношеніи ихъ сюжета, распадаются на два цикла: городской и деревенскій. Въ этомъ сказывается, съ одной стороны, ея городское происхожденіе, съ другой — интересъ и увлеченіе деревней подъ вліяніемъ мужа и его родни. Оставивъ въ сторонѣ первые литературные опыты, которые относятся къ условно салонному жанру и показываютъ неопытность, но въ то же время и добрые за-

мысли молодой писательницы, мы перейдемъ непосредственно къ деревенской повѣсти и роману, которые и составляли при жизни главный источникъ ея славы. Городская жительница, она столкнулась впервые съ настоящимъ народомъ, лишь попавъ въ родной край мужа, называемый «Ещедскимъ». Много лѣтъ подрядъ жила она въ этотъ край; изучала его жителей, собирала различныя преданія и создавала одно за другимъ произведенія, которыя извѣстны подъ общимъ названіемъ «Ещедскихъ разсказовъ». Въ отличіе отъ своихъ предшественниковъ, К. Светлая вноситъ въ произведенія изъ деревенской жизни чѣмъ дальше, тѣмъ меньше этнографическихъ подробностей; по мѣрѣ роста таланта, ея занимаютъ уже не обычаи, а нравы и характеры, формирующіеся подъ вліяніемъ сельской среды. Эта манера также сближаетъ ее съ Ж. Сандъ, которая тоже разрабатывала деревенскіе сюжеты болѣе съ соціальной и индивидуальной, чѣмъ съ этнографической точки зрѣнія. Упомянемъ, кстати, что одинъ изъ крупныхъ деревенскихъ романовъ К. Светлой «Крестъ у порога» былъ еще до войны переведенъ на русскій языкъ.

Въ количественномъ отношеніи произведенія, разрабатывающія деревенскіе сюжеты, много превышаютъ все остальное. Мы уже говорили, что въ свое время они также пользовались и гораздо большей популярностью. Съ современной намъ точки зрѣнія нельзя вполнѣ съ этимъ согласиться, такъ какъ мало кто такъ подробно, добросовѣстно и документально отразилъ въ литературѣ

жизнь пражского мѣщанства середины 19 ст., какъ К. Светлая. Для произведеній, дѣйствіе коихъ она переносила въ прошлое, служили ей основной семейные легенды и воспоминанія, для вещей изъ современной жизни она пользовалась своими собственными наблюденіями. Острый глазъ отказывался ей вѣрно служить лишь тогда, когда она описывала дворянство, изображаемое ею почти всегда условно и нежизненно; очевидно, выше ея силъ было перекинуть мость черезъ социальную пропасть, отдѣляющую дочь купца отъ князей и даже болѣе мелкаго дворянства. Зато люди ея круга со всѣми ихъ достоинствами и недостатками какъ живые проходятъ на страницахъ повѣстей, собранныхъ въ двухъ циклахъ: «Подъ старыми крышами» и «Изъ жизни старой Праги»; изъ отдѣльныхъ вещей этого же рода слѣдуетъ отмѣтить «Чернаго Петричка» и «Королеву колокольчиковъ». Ближе къ этому же жанру примыкаетъ циклъ «Отголоски 1848-го года», который рисуетъ главнымъ образомъ студенческую жизнь въ революціонномъ году. Наконецъ, она оставила еще двѣ книги, весьма цѣнные какъ для историковъ быта, такъ и для историковъ литературы, — свои мемуары, первая часть которыхъ озаглавлена «Воспоминанія», а вторая — «Изъ частной литературной жизни». Надо, однако, сказать, что несмотря на богатый матеріалъ, который мы находимъ въ обѣихъ книгахъ, къ нимъ нужно относиться весьма осторожно, такъ какъ фантазія и пылкій женскій темпераментъ завладѣли писательницу иногда очень далеко отъ правды. Въ этомъ отношеніи весьма показателенъ хо-

тя бы слѣдующій фактъ, надѣлавшій немало хлопотъ какъ чешскимъ, такъ и французскимъ историкамъ литературы. К. Светлая вполне категорически утверждаетъ, что Ж. Сандъ была въ Чехіи, и что она при этомъ чуть ли не лично съ Сандъ встрѣчалась, указывается, въ какомъ это было году, и кто ее сопровождалъ при осмотрѣ Праги; съ другой стороны, изъ Сандовскихъ документовъ слѣдуетъ, что французская писательница, беря сюжеты изъ чешской жизни, никогда однако этой страны не посѣщала. Ученымъ историкамъ литературы пришлось примѣнить немало остроумія, чтобы распутать этотъ узелъ, созданный поэтической фантазіей à la Мериме и чисто дамской страстью къ сенсаціонной сплетнѣ. Этотъ и подобные факты послужили причиной тому, что чешскіе критики до сихъ поръ раздѣлены на два враждебныхъ лагеря, изъ которыхъ одинъ клянется именемъ К. Светлой, другой же отрицаетъ все, и даже ея талантъ, что уже, конечно, несправедливо.

Жофія Подлипская вышла не только изъ той же среды, но и изъ той же семьи, что и К. Светлая, но тѣмъ не менѣе это былъ совершенно иной человѣкъ и иное дарованіе. Болѣе глубокая и сердечная, чѣмъ старшая сестра, она была чужда ея свѣтскости и страстности, что позволяло ей отдаваться въ болѣе широкомъ масштабѣ воспитательной дѣятельности и женскому вопросу. По свидѣтельству современниковъ, да и самой Каролины, Ж. Подлипская, несмотря на то, что была на три года моложе сестры, оказывала на нее благотворное моральное вліяніе, стирая острые углы и умѣ-

рая крайности. Так же благотворно действовала она и на более широкие круги, как личным общением, лекциями и докладами, так и своими педагогическими трудами, популярными биографическими и культурно-историческими работами, окрашенными этической тенденцией.

Чисто художественный талант Ж. Подлипской был невелик, но симпатичен, как и она сама. Городская жительница до мозга костей, никогда не покидавшая Праги, кроме коротких поездок на дачу, она не отдала дань модному в то время направлению и не писала ни деревенских повестей, ни романов. Ея излюбленными сюжетами были или перипетия женского волнующаго сердца или рост пробужденнаго къ новой жизни чешскаго, преимущественно пражскаго, мѣщанства. Въ нѣслях педагогическихъ обраша-

лась она довольно часто къ темамъ историческимъ, но для большихъ полотенъ со сложной конструкцией у нея не хватало таланта. Наиболее удачными изъ ея произведений считаются ея романы съ социальнымъ оттенкомъ — «Судьба и дарованіе», «Родственники», «Анна» и «Берегъ»; къ этому перечню необходимо прибавить автобиографическое произведение «Пегрегинусь».

Ж. Подлипской мы и закончимъ первую, самую старшую группу чешскихъ писательницъ. Какъ видно, она не была многочисленна, но всѣ ея участницы были пионерами, работавшими на дѣвственной почвѣ. Однако по дарованію онѣ не уступали своимъ современникамъ-мужчинамъ, а двѣ изъ нихъ занимаютъ поднесъ первенствующее мѣсто въ чешской литературѣ 19-го столѣтія.

Н. Мельникова-Папоушкова.

## У корней

### 1. Слесарь Дрекслеръ.

Сейчасъ очень трудно предсказать дальнѣйшіе пути нѣмецкой молодежи, заполнившей националь-соціалистическую партію. Въ космической туманности зарожденія новаго міра или распада стараго, въ сумеречномъ свѣтѣ заката или восхода — распознавать всѣ дороги и предвидить будущее только тотъ, кого ведетъ собственное желаніе. Несомнѣнно лишь одно: нынѣшняя форма движенія не будетъ его послѣднимъ словомъ. Побѣдители и побѣжденные въ своихъ попыткахъ освѣтить германскія событія удѣляютъ

слишкомъ много вниманія тактикъ и политикъ вождей. Не меньшій интересъ представляетъ психологія низовъ — рядовыхъ членовъ партіи, мелкихъ капель, бурно слившихся въ мощную волну, поднимающую вождей къ неограниченной власти надъ большой и культурной страной...

Антонъ Дрекслеръ, слесарь желѣзнодорожныхъ мастерскихъ, имѣетъ всѣ основанія утверждать, что онъ былъ у корней движенія, вызывающаго теперь вниманіе и тревогу всего міра. 5-го января 1919-го года Дрекслеръ основалъ нѣмецкую рабочую партію. Собственно даже не партію, а «по-

стоянный столь» въ пивной. Всѣхъ послѣдителей было сорокъ. Подъ № 1 значился Дрекслеръ, подъ № 7 — привлеченный имъ Гитлеръ. Въ часъ побѣды о Дрекслерѣ забыли: вожди Германіи не считаютъ его героемъ движенія. Они совершенно правы. Дрекслеръ дѣйствительно не герой. И этимъ онъ интересенъ. Отъ миллионѣвъ, создавшихъ вполсѣдствіи могущество партіи, онъ отличается лишь тѣмъ, что съ неутомимостью графомана записывалъ и предавалъ гласности свои мысли. Въ статьяхъ и рѣчахъ Дрекслеръ мало считался съ собственной партійной программой. Онъ клялся, что говорить «отъ всей души» — ему вѣрили и враги — и поставлялъ обильный матеріалъ для юмористическихъ отдѣловъ социаль-демократическихъ газетъ 1919-1922 гг. Черезъ десять лѣтъ все это оказалось значительно серьезнѣе. Выяснилось, что такъ-же «социалистически ненаучно», «скоряво» и «физиологически» мыслили, или вѣрнѣе чувствовали, миллионы молодыхъ рабочихъ.

До войны Дрекслеръ не подавалъ со своимъ профессиональнымъ союзомъ. Онъ предъявлялъ къ союзу странныя обвиненія: союзъ слишкомъ автоматиченъ, «лишенъ тепла» и не можетъ понять многихъ потребностей рабочихъ. Въ тѣ идиллическіе дни незамутненнаго «классоваго сознанія» неуклюживый слесарь со своими необычными требованиями прослылъ ненормальнымъ. Старыя статьи и рѣчи Дрекслера убѣждаютъ еще въ томъ, что въ политикѣ, какъ и въ природѣ, ничто не пропадаетъ. Вдохновеніе для многолѣтней упрямой борьбы Дрекслеръ черпалъ изъ рѣчей социаль-демокра-

тическихъ депутатовъ, въ августѣ 1914 года голосовавшихъ за военные кредиты. Стенограммы «великаго дня въ рейхстагѣ» онъ зналъ наизусть. Съ особой любовью повторяетъ Дрекслеръ рѣчь Шейдемана: «мы будемъ биться не за коммерціи совѣтниковъ, не за промышленниковъ или богатыхъ крестьянъ. Война ведется за немущихъ рабочихъ на заводахъ, у верстака и на вспаханной нивѣ». Слова эти давно забыли или старались не вспоминать тѣ, что ихъ произносили и тѣ, что ихъ слушали. Но въ грозные годы войны для сотенъ тысячъ людей они были единственнымъ оправданіемъ права отнимать жизнь у другихъ и въ мукахъ отдавать свою. Овѣянные дыханіемъ смерти они запали слишкомъ глубоко и вполсѣдствіи, при благоприятной политической температурѣ, дали неожиданный и буйный ростъ.

Соціальная концепція Дрекслера проста до убожества и можетъ быть сформулирована въ нѣсколькихъ словахъ. Міръ полонъ богатства и безграничныхъ возможностей, пропадающихъ совершенно зря. Его можно превратить въ цвѣтущій садъ, населенный довольными людьми. Мѣшается уродливый социальный строй и неспособность многихъ народовъ упорядочить свою жизнь. Нѣмецкіе социалисты превосходные организаторы и не плохіе воины. Они призваны наладить разумную жизнь, «крестить мечомъ» и теперь же справедливо подѣлить земное обиліе. Никакая схоластика не можетъ оправдать дальнѣйшей бездѣятельности.

Возможно, что въ варварскіи аморфномъ видѣ подобныя мысли бродили въ головахъ юнмеровъ и



тевтоновъ, пробивавшихся изъ сырыхъ и скудныхъ германскихъ лѣсовъ въ солнечныя долины Италіи. Но развѣ въ послѣвоенныхъ сумеркахъ, въ книгѣ Шпенглера («Соціализмъ и пруссизмъ») за кружевомъ сужденій объ ощущеніи божественнаго порядка, о прусскомъ гениіи соціального устроения и безоговорочнаго повиновенія не сквозятъ грубыя схемы наивнаго Дрекслера? Шпенглеръ врядъ-ли интересовался сѣрыми листовками мюнхенскаго слесаря, а Дрекслеръ ровно ничего не понималъ бы въ книгѣ Шпенглера, какъ не понималъ онъ скептической сентенціи Вальтера Ратенау. Ибо если любовь Дрекслера вдохновлялась словами Шейдемана, то его неутолимая ненависть питалась опредѣленіемъ революціи, вычитаннымъ у Ратенау. «Міровая революція началась въ день возникновенія войны. Ея скрытой практической цѣлью будетъ замѣна остатковъ власти феодаловъ владѣтельствомъ верховъ буржуазіи въ формѣ плутократически - конституціоннаго режима». Всесторонне одаренный и суетный скептикъ, владѣлецъ крупнѣйшаго въ мірѣ промышленнаго предпріятія, ходившій въ тюрьму бесѣдовать съ Радекомъ и по своему, не безъ салоннаго кокетства хоронившій капитализмъ. — Ратенау влилъ въ эту фразу горечь разочарованія и скорбную иронию. Дрекслеръ, а за нимъ миллионы національ - социалистовъ поняли его буквально. Въ теченіе десяти лѣтъ «еврейское опредѣленіе задачъ революціи» не сходило съ предвыборныхъ афишъ и прокламацій. «Хрупкій фарфоръ» затаенной грусти они превратили въ наконецникъ для боевой дубинки, — жалуется одинъ изъ бю-

графовъ погибшаго министра. Плохіе дни наступаютъ для скептическихъ стилистовъ: ихъ начинаютъ понимать дословно.

Физическія немощи не позволили Дрекслеру пойти на войну. Баварскіе социаль - демократы прозвали его «инвалидомъ-сторожемъ» военнаго кладбища. Опредѣленіе не лишнее мѣткости. Значительно позднѣе пришлось убѣдиться, что и могильный прахъ можетъ быть претворенъ въ реальную силу. Въ Германіи оказалось слишкомъ много кладбищъ. Почти въ каждой рабочей семьѣ были павшіе. Сознаніе близкихъ не воспринимало самоотверженной гибели цѣлаго поколѣнія, какъ результировать «жадности акулъ империализма» или какъ послѣдствіе дипломатическихъ ошибокъ изгнанаго Вильгельма. Давно «окончилась война, шли годы, а мертвые не уходили. Они оставались съ живыми и заклясть ихъ можно было, оправдавъ ихъ смерть. Ихъ братья вернулись съ фронта есъ воронкой въ душѣ». «Въ этой воронкѣ, вспоминаетъ Ремаркъ, погибло все, чѣмъ жили отцы и что дѣлало ихъ жизнь осмысленной и понятной». Погибли не только «сѣбности буржуазной культуры», но и примать классовой борьбы. Ибо то, что вскрыла война, было огромно и материалистическимъ пониманіемъ исторіи не разяснялось. Сознаніе всечеловѣческой винны и апокалипсическое предчувствіе гибели міра четырнадцать лѣтъ тому назадъ пронизывали самый воздухъ Германіи. Искупленіе было корыстно локализовано. Для молодежи, не знавшей окопа, ощущеніе винны оказалось опозореннымъ, какъ и гуманная предпосылка, на которыхъ строилась

выгодная побѣдителямъ кара пролившихся и ихъ потомковъ.

На мюнхенскомъ слесарѣ его будущіе политическіе руководители могли великолѣпно изучить ожогъ войны въ душѣ средняго рабочаго, какимъ по существу былъ Дрекслеръ. Соціалъ - демократы не приняли и не смогли преодолѣть темное и грузное наслѣдіе войны. Оно цѣликомъ досталось національ - социалистамъ. Употребленіе, которое сдѣлали изъ него пропагандисты партій, смутно Дрекслера. Испугала его и связь руководителей движенія съ военными авантюристами и промышленниками. Онъ пытался бороться. Въ іюль 1921 года его молодые друзья выпустили прокламацію, крайне враждебную по отношенію къ Гитлеру. Но было ужъ поздно. На расколъ Дрекслеръ не рѣшился: молодежь жаждала крутыхъ переменъ любой цѣной и шла за тѣмъ, кто громче звалъ и сулилъ немедленное воздѣйствіе на опостылѣвшую жизнь. Это происходило въ эпоху, когда власть принадлежала партіи, выросшей на мечтѣ о коренномъ, послѣднемъ переворотѣ. Соціалъ - демократы правили, а жизнь словно заворожженная оставалась неподвижной и въ своихъ тягостяхъ неизмѣнной: дуть леденящій вѣтеръ съ сѣверо-востока и парализовать всѣ движенія.

## 2. Синія тетрадки.

Въ истекшія десять лѣтъ средня и высшая школа въ Германіи выходились въ плѣну у политики. Политика пробивалась снизу: не только студенчество, но и учащееся среднихъ школъ были распи-

саны по партіямъ. Профессура и преподаватели безуспѣшно боролись съ этимъ явленіемъ. Министертво народнаго просвѣщенія, гдѣ было много социалъ - демократовъ, не поощряло дѣтской политики, но и не принимало крутыхъ мѣръ. Вышнее давленіе считалось принципиально недоустримымъ, тѣмъ болѣе, что энергичную работу среди учащихся вель союзъ социалистической молодежи. «S. A. J.» — одно изъ важнѣйшихъ и старѣйшихъ учрежденій германской социалъ - демократической партіи. Его задача — заботиться о физическомъ и моральномъ развитіи молодежи, выявляя, конечно, «классовое самосознаніе». Справедливость требуетъ признать, что это была самая честная изъ партійныхъ организаций, работавшихъ среди дѣтей и юношества: тамъ не ударивали формой, эффектной маршировкой, соблазномъ авантюры и фиска; не пользовались ложью для натаскиванія на злобу и ненависть, не запугивали словомъ «предатель». Каждый «Zug» имѣлъ еженедѣльный «Heftabend» для политическихъ бесѣдъ. Разрѣшалось свободно высказываться. Синія тетрадки, куда юные участники заносили конспекты дискуссій, представляютъ высокой интересъ. Въ нихъ явно чувствуются зародыши нынѣшняго движенія въ Германіи. По этимъ записямъ можно также прослѣдить какой дорогой цѣной платила социалъ - демократическая партія за противодѣйствіе коммунистическому напору съ востока. Въ размышленіяхъ молодежи поражаетъ отсутствіе твердой вѣры въ «прогрессъ». Еще у старшихъ братьевъ была прочная и упрошенная увѣрен-

ность, что история человечества объективно разворачивается в сторону предоставления максимального количества благ наибольшему числу людей. Последние годы, повидимому, похоронили это вынесенное из обязательной школы представление. Подъ его обломками потускнели прежде влиятельные образы. Ссылки на биографии Оуэна, Сент-Симона дѣлаются не безъ добродушной насмѣшливости. Въ идеализмъ проглядываетъ своеобразная корысть: общая польза должна быть и моею личной пользой, иначе нѣтъ смысла бороться. Люди, жертвующіе собой за строй, который имъ лично принесетъ лишения, большинству совершенно непонятны. Сказались, вѣроятно, и мѣстные причины. Въ великой скудости войны на истощеніе, а за ней инфляціи дѣти росли въ атмосферѣ фетишизма вещей и матеріальныхъ цѣнностей. Съ возрастомъ перелѣвка конкретнаго перешла въ специфическій социальный утилитаризмъ. Самое стремленіе къ общему дѣлу и желаніе совместно съ другими овладѣть жизнью чрезвычайно велики, гораздо больше, чѣмъ у отцовъ въ дни молодости. Но въ той сторонѣ, куда еще съ надеждой смотрѣли отцы, зияла для дѣтей безысходность. Ихъ сознательная жизнь протекла въ завершенномъ демократическомъ строѣ. О борьбѣ за этотъ строй они только читали. Неустройства жизни вали къ работѣ, но пути къ этой работѣ не были видны. Ихъ надо было пролагать самимъ. Нить преемственности гдѣ-то оборвалась. «Демократія», пишеть въ своемъ рефератѣ восемнадцатилѣтній мальчикъ, можетъ погибнуть, какъ

прусская армія — отъ безрезультатнаго перенапряженія». Въ этомъ настроеніи молодежи лучше всѣхъ разбирались коммунисты. Съ поразительной настойчивостью, используя все могущество дѣли и вульгаризаціи, они звали къ себѣ молодежь. Они сулили немедленную осуществимость универсальной идеи, выходъ изъ тупика, оправданный трудъ и матеріальное благоденствіе, стоящее у порога болѣе счастливой Россіи. Синія тетрадки свидѣтельствуютъ, что именно черезъ юношество шли яростныя и побѣдныя атаки коммунизма на социаль-демократическую партію. Руководитель преній обыкновенно не выходилъ изъ состоянія обороны. Линія защиты шла по реальнымъ результатамъ русскаго опыта. Германію отъ коммунизма спасало Раппалло: ни одинъ изъ западныхъ народовъ не знаетъ такъ много о Россіи, какъ нѣмцы послѣ Раппалло. Три крупныхъ института, снабженные первоклассными научными силами цѣлкомъ посвятили себя изученію страны советовъ. Выходили серіи превосходныхъ монографій. Диссертациі на русскія темы затопили университеты. Наконецъ — и это сыграло исключительную роль — тысячи мастеровъ и рабочихъ устремились въ Россію. Преобладали коммунисты или имъ сочувствующіе. Возвращаясь по истеченіи контракта на родину, они за рѣдкимъ исключеніемъ сѣяли въ рабочей средѣ скептицизмъ къ коммунистическимъ достижениямъ и злобу къ кремлевскимъ сидѣльцамъ. Замѣчательно, что порвавъ съ коммунизмомъ, они не возвращались въ социаль-демократическую партію, а уходили къ націо-

наль - социалистамъ. Туда-же шла и часть молодежи, которая въ социаль-демократическихъ Zug'ахъ познала подлинное лицо Россіи. Въ предѣлахъ социаль - демократической партіи ужъ не было мѣста активности, развѣ только для обороны принциповъ, къ которымъ молодежь въ лучшемъ случаѣ относилась академически. Были и побочныя причины.

Социаль - демократы шепетильно не прибѣгали къ прямому или косвенному обману молодежи. Сейчасъ очень интересуются психологіей послѣвоенной нѣмецкой молодежи. Книга Günter Gründel'a «La mission de la jeune generation» выдержала даже во Франціи 8 изданій. Въ ней есть кое-какія вѣрныя наблюденія и мѣткія характеристики, но всякому, кто долго жилъ въ Германіи, бросается въ глаза стилизація, недопустимая даже для апологін. Утвержденія, что нѣмецкой молодежи свойственна сейчасъ любовь и чуткость къ истинѣ, что она презираетъ подкрашенную правду и ненавидитъ дурманъ возвышенныхъ рѣчей — свидѣлствуютъ или о слѣпотѣ авторовъ или о завѣдомой недобросовѣстности. Молодежь не можетъ обладать этими качествами уже въ силу того, что она слишкомъ страстно жаждетъ чуда, знаменія и указующаго перста.

Побѣду 14 сентября 1930 года, впервые давшую националь - социалистамъ право претендовать на власть, подарила партіи молодежь. Наклонивъ выборы въ широкій пропаганды былъ выдвинуть планъ воздѣйствія не на прежнихъ избирателей, а на тѣхъ, кто еще не подходилъ къ урнамъ. Среди молодежи наблюдалось

сильное отталкиваніе отъ старыхъ «программныхъ» партій. Мечтали о «народномъ движеніи», выходящемъ изъ партійныхъ береговъ и рушащемъ рамки партійной бухгалтеріи. Соответственно велась и пропаганда националь - социалистовъ. Расчетъ-былъ правиленъ. Число голосовавшихъ увеличилось на 4,6 милліоновъ. Въ рейхстагѣ оказалось на 87 депутатовъ больше. Всѣ они были националь - социалисты. Уходъ молодежи изъ рядовъ социаль - демократической и коммунистической партій принялъ съ тѣхъ поръ массовый характеръ.

Кто сейчасъ не осуждаетъ германскую социаль - демократическую партію? Самая сильная въ странѣ она слалась безъ боя, пала безславно. Этотъ упрекъ плодъ оптической aberrации. Какъ носительницы революціоннаго пафоса и боевого дѣйствія партіи уже давно не было. За нее только голосовали. Укоръ въ бездѣятельности 20 июля 1932 года, когда Папенъ подвергъ временному аресту Северинга, не справедливъ. Партія въ тотъ день могла начать кровопролитную гражданскую войну съ нѣкоторыми шансами на успѣхъ. Но не подлежить ни малѣйшему сомнѣнію, что съ 1927 года всякій революціонный ударъ направо неминуемо привелъ бы къ власти коммунистовъ. Въ первый-же день уличныхъ боевъ инициатива перешла бы къ Москвѣ. Ударная энергія и жертвенность молодежи на лѣвомъ секторѣ были сосредоточены только у коммунистовъ. Социаль - демократы, подавившіе спартаковское движеніе, вооружившіе гамбургскихъ рабочихъ для разгрома коммунистическихъ баррикадъ, не

рѣшились и въ этотъ роковой для нихъ часъ отдать родину кремлевокимъ распорядителямъ. Судьба русскаго народа ихъ гипотичировала. Старая рабочая партія, подточенная войной, медленно и не эффектно изошла на лютую нордь-остъ. Быть можетъ, черезъ много лѣтъ эту гибель назовутъ героической.

### 3. Борьба съ разумомъ.

Послѣ стабилизации нѣмецкой валюты промышленность лихорадочно рационализировалась за счетъ экспортной прибыли инфляционныхъ лѣтъ и иностранныхъ займовъ. Спасение экономически ущербленной Германіи видѣли въ перенесеніи на родную почву американскаго чуда - конвеера. О конвеерѣ и рационализациі писались ученые изслѣдованія, газетныя статьи и стихи. Каѳедры научной организациі труда были основаны во всѣхъ высшихъ школахъ и съ энтузіазмомъ приняты студенчествомъ. Страна, ежегодно высылавшая за море нѣсколько десятковъ тысячъ человекъ, лишилась послѣ войны этой возможности. Перепроизводство квалифицированныхъ интеллигентскихъ силъ, въ особенности въ области техники съ каждымъ годомъ увеличивалось. Весной въ газетахъ печатались воззванія къ молодежи — не поступать въ высшія школы, а каждую осень академическая статистика отмѣчала катастрофическій ростъ числа молодыхъ людей, не знавшихъ, гдѣ имъ примѣнить полученные знанія. Надъ академической молодежью повисла угроза дисквалификаціи и голода. Конвееръ могъ сдѣлать Германію снова непобѣдимой на международномъ рынкѣ

и вернуть промышленности прежнюю емкость.

Рационализированное предприятие, завод — единая машина — стоило огромныхъ средствъ. Соотношеніе между основнымъ и оборотнымъ капиталомъ рѣзко измѣнилось. Новая промышленность можетъ снабжать человечество всѣмъ необходимымъ въ кратчайшій срокъ и по самымъ дешевымъ цѣнамъ — при условіи равномернаго и массоваго потребления. Гибкость и приспособляемость къ возможностямъ рынка фабрики 19-го столѣтія, съ ея многочисленными самостоятельными цехами, была навсегда утеряна. Здѣсь не мѣсто излагать острый и сложный конфликтъ между новымъ производствомъ и прежней системой распределенія. Разыгравшійся кризисъ углубилъ этотъ конфликтъ до катастрофы. Слишкомъ много надеждъ возлагали въ Германіи на техническую революцію, и реакція здѣсь была особенно болѣзненной. Она шла въ двухъ направленіяхъ: въ сторону идеализаціи хозяйственныхъ формъ середины прошлаго вѣка и въ сторону сомнѣній въ благодатномъ значеніи человѣческаго разума.

Рационализація — изумительное сочетаніе ума, таланта, предѣльной цѣлесообразности имѣла слѣдствіемъ тяжелую бессмыслицу: уничтоженіе товаровъ при наличіи нуждающихся въ нихъ; появленіе семимилліонной арміи нищихъ, вызванное избыткомъ создаваемыхъ благъ. Дѣти интеллигенціи и разоренныхъ инфляціей людей средняго достатка были сбиты съ пути и не видѣли въ жизни своихъ мѣстъ — въ прямомъ и переносномъ смыслѣ. Ихъ сомнѣнія и еретическія мысли на-

шли принять на страницах националь-социалистических листов. Впоследствии из этой среды вышли партийные теоретики режизционных экспериментов, проповедники новой нации, как экономического единства, искатели «арийской» религии, сожигатели книг. Социаль - революционная часть молодой партийной интеллигенции группировалась вокруг Кернера и Ю. Штрайхера — сумбурных проповедников националь - коммунистического переворота и антисемитского интернационала. Идущие с реальны откровений вошли в такъ назыв. «кружокъ братьевъ Штрассеръ». Тамъ пытались создать стройную систему, дать Германіи новую «националь-социалистическую» философію и экономическую науку. Осенью 1929 года талантливый физикъ Эрвинъ Штредингеръ опубликовалъ работу, въ которой усумнился въ приматъ закона причинности для нѣкоторыхъ физическихъ явленій. «Палъ законъ причинности, ликовала Штрассеръ въ своей «Berliner Arbeiterzeitung», возвращающа на тронъ владыки жизни — въра въ судьбу и въ суверенное, независимое дѣйствіе. Рухнулъ міръ рациональнаго не только въ физикѣ, но и въ жизненныхъ процессахъ. Гдѣ жалкій и бессильный разумъ видятъ хаосъ и безвыходность, тамъ говорятъ подлинно сознательное чутье и замѣщаютъ безнадородную логику. Националь-социализмъ - могучій таранъ бьющій по законамъ причинности» и т. д.

Въ толкованіи идей Штредингера Штрассеръ проявилъ невѣжество, недопустимое даже для аптекаря, но въ студенчества его «борьба съ разумомъ» встрѣтила

восторженный откликъ. Любопытно, что въ мюнхенскихъ университетскихъ кружкахъ пытались опереться и на русскаго философа Льва Шестова, который съ арийской смѣлостью развѣнчиваетъ еврейское дѣтище.

Мѣсто разума занялъ мифъ. Въ моментъ возникновенія националь-социалистическаго движенія мифическіе образы нужны были для успѣха пропаганды. Вожди партии откровенно подчеркиваютъ, что созданный ими призракъ еврейдемона имѣетъ весьма мало общаго съ реально существующимъ нѣмецкимъ евреемъ. Онъ необходимъ какъ условное вмѣсталище всего зла веймарской системы, ибо массу убѣждаютъ не разумные доводы, а яркіе образы.

Академическая молодежь весьма сочувственно относится къ новому объединенію Германіи. Задача гораздо сложнѣе, чѣмъ кажется со стороны и ея вышнее насильственное разрѣшеніе не даетъ гарантій прочнаго сліянія. Адекватность понятій Парижъ и французскій народъ или Лондонъ и англичане теряется въ сопоставленіи Берлинъ и германцы. Тисячелѣтняя самостоятельная жизнь отдѣльныхъ странъ и племенъ, своеобразіе культуръ, разнообразіе влияній, развитіе религій — создали между нѣмецкими землями не только юридическія, но и внутреннія границы. Нѣтъ единого культурно - психологическаго типа, нѣтъ одинаковаго жизненнаго стиля. Между тѣмъ грядущее величіе нѣмецкаго народа рисуется молодой интеллигенціи только на путяхъ созданія Пангерманіи. На помощь призваны мифы. Мифъ объ избранной расѣ, мифъ о врагахъ на всѣхъ границахъ, мечтающихъ

объ истребленіи германскаго народа. Агрессивность академической молодежи диктуется не столько идеями экспансии, сколько недоверіемъ къ силамъ національнаго сдѣланія внутри страны. Слова оживаетъ традиціонное представление: нѣмецкій народъ сдается передъ лицомъ врага и его единство выковывается войной.

Здѣсь скрыты взрывчатая противорѣчія новой Германіи. Массы воспринимаютъ мнѣ какъ ре-

альность. Онѣ остались вѣрно-подданными разума. Отъ новаго строя они ждутъ не національнаго, а социальнаго переустройства. Эти противорѣчія скрыты пока въ кипящемъ тиглѣ, куда брошены классы, сословія и обломки прежнихъ партій. Ихъ заглушаетъ трескъ ракетъ на непрерывныхъ празднествахъ. Процессъ застыванія вызоветъ опаснѣйшія напряжения, которыя станутъ видны въ ближайше же годы.

А. Савельевъ.

## Парадоксы французскаго социализма

На мрачной политической картѣ современной континентальной Европы Франція нынѣ является единственной большой и вліятельной страной, гдѣ политической демократіи пока не угрожаютъ никакія серьезныя опасности. Французская демократія нынѣ является единственнымъ опорнымъ пунктомъ континентальной демократіи вообще, и если политическая демократія рухнетъ и во Франціи, то — это нужно сказать прямо и открыто — и фактически и идеологически пѣсенка демократіи будетъ на долгій историческій періодъ снѣта. Тогда надо будетъ захлопнуть книгу демократическихъ судебъ и сдать ее въ архивъ на предметъ исторической любознательности будущихъ дальнихъ поколѣній, которымъ въ своемъ прѣвосходствѣ пріятно будетъ узнать, какими глупцами были ихъ прадѣды.

Изъ сказаннаго ясно, какая исполнинская историческая отвѣтственность интернаціональнаго мас-

штаба ложится на плечи тѣхъ политическихъ партій, на какихъ французская демократія держится. Это отвѣтственность не только передъ своимъ народомъ, но и передъ всѣмъ міромъ, не только передъ будущими судьбами міровой демократіи, но и передъ великимъ ея прошлымъ. Можетъ быть никогда еще исторія не учиняла такого ревниво строгаго и дьявольски труднаго экзамена, какой она нынѣ учиняетъ двумъ партіямъ французской демократіи — радикальной и социалистической, отъ позиціи и поведенія которыхъ сейчасъ, безъ всякаго преувеличенія, зависятъ судьбы всего міра. Выдержать ли онѣ этотъ экзаменъ? Достаточно ли онѣ подготовлены къ нему?

Судьбы этихъ двухъ партій значительно болѣе связаны между собою, чѣмъ онѣ сами объ этомъ думаютъ, и во всякомъ случаѣ болѣе, чѣмъ онѣ сами въ этомъ сознаются. Тѣмъ не менѣе здѣсь остановлюсь только на

социалистической партіи, официально именуемой «Французская секція социалистической Интернационала» (S. F. I. O.).

Не вдаваясь въ историческія изысканія, надо констатировать сначала простой и несомнѣнный фактъ: безъ активной поддержки французскаго социализма и безъ принятія имъ на себя прямой и близкой отвѣтственности за судьбы демократическаго режима, режимъ этотъ нынѣ во Франціи обреченъ сначала на замаскированную, а затѣмъ, по нынѣшней логикѣ вещей и событий, и на подлинную гибель. Серьезность положенія сводится въ основѣ къ тому, что безъ голосовъ 130 социалистическихъ депутатовъ нельзя получить парламентарскаго большинства для лѣваго правительства, и оно должно пасть, чтобы уступить мѣсто слѣдующимъ въ быстрой смѣнѣ новымъ правительствамъ, все болѣе сомнительнымъ съ точки зрѣнія демократіи, покада безконечная кадрили министерскихъ кризисовъ не подорветъ довѣрія массъ къ парламентарскому режиму вообще, и ко власти не придутъ консервативные и реакціонные элементы, которымъ, пользуясь оборотомъ одного героя Успенскаго, «въ кулакъ вошло желѣзное расположеніе духа», и они вмѣстѣ съ пляской министровъ на горячей парламентарской сковородѣ не покончатъ и съ самимъ демократическимъ режимомъ. Грозитъ ли такая опасность Франціи, если французскій социализмъ, наконецъ, доведется до того, что ему болѣе всего по душѣ — до систематической оппозиціи всякому буржуазному правительству?

На этотъ счетъ существуютъ

глубокія разногласія между лѣвнымъ большинствомъ и правымъ меньшинствомъ французской соц. партіи. Если отъ тактическихъ формулъ и програмныхъ зачатій опуститься вглубь психологически-волевой направленности лѣваго большинства, то тогда легко обнаруживается источникъ его политической драмы. Фактически оно чувствуетъ себя безсильнымъ справиться со сложностью выпадающихъ на него задачъ, вытекающихъ изъ факта пребыванія у власти радикальныхъ кабинетовъ, которые недостаточно правы, чтобы ихъ безжалостно убивать, и недостаточно лѣвы, чтобы ихъ безъ боязни приласкать. При тѣхъ програмныхъ предпосылкахъ, политическихъ навыкахъ и міросозерцательныхъ устремленіяхъ, которые владѣютъ умомъ, сердцемъ и волей французскаго социализма, онъ можетъ быть въ согласіи съ самимъ собою, чувствовать себя привольно въ стихіяхъ политической борьбы и социальныхъ страстей только при наличіи, вообще говоря, праваго правительства, относительно котораго ни у кого не было бы сомнѣній, что оно дѣйствительно правое.

Всякій живой организмъ инстинктивно ищетъ такую жизненную среду, въ которой съ наибольшей силой и максимумомъ биологическаго самоудовлетворенія могли бы проявляться, упражняться и развиваться специфическія свойства именно даннаго организма. Но примѣрно такъ же устроенъ и подсознательный душевный міръ политическихъ партій. Большинство французской социалистической партіи инстинктивно стремится къ болѣе благоприятной для проявленія, упражненія и раз-



вития своихъ специфическихъ особенностей, политической и социальной обстановкѣ, и эта обстановка легче всего для него можетъ создаться при наличіи не дѣяго, а праваго правительства. Мало того, можно со значительной долей вѣрности сказать, что при такой «подходящей» обстановкѣ, когда партія будетъ, такъ сказать, «въ своей тарелкѣ», она окажется гораздо болѣе притягательной для стоящихъ вѣдъ ея массъ, т. е. при наличіи всего 130 тысячъ членовъ партіи не трудно въ концѣ концовъ найти еще такое же количество людей, которымъ этотъ выдержанный стиль партіи, находящейся въ полномъ согласіи съ самой собою, будетъ гораздо болѣе импонировать, чѣмъ нынѣшнее безстыльное и междуумочное состояние, порожденное размигачающимъ влияніемъ этого нуднаго лѣваго правительства, которое выплюнуть жалко, а проглотить—страшно.

Понятно, поэтому, почему перспектива провала лѣваго правительства и прихода къ власти замаскированно или откровенно праваго правительства не можетъ столь пугать лѣвое большинство партіи. Для него въ этой перспективѣ дѣйствительно нѣтъ ничего устрашающаго, скорѣе наоборотъ. А когда правое меньшинство партіи бьетъ тревогу и указываетъ на катастрофическія національныя и интернациональныя послѣдствія распада нынѣшняго большинства палаты, то ихъ слѣва успокаиваютъ тѣмъ, что есть же все-таки кромѣ социалстовъ, которымъ незачемъ тащить на себѣ бремя парламентскаго большинства, радикалы, которымъ не пристало выдать на сѣденье ихъ правитель-

ство и которые на то и существуютъ, чтобы всѣми силами отстаивать буржуазную демократію.

Здѣсь обнаруживается еще одинъ изъ поучительныхъ парадоксовъ, характеризующихъ идеологическій міръ французскаго социализма. По самому существу своей позиціи лѣвое большинство партіи относится къ радикаламъ куда болѣе враждебно и недоувѣрчиво, чѣмъ правое меньшинство. То, что здѣсь именуется «классовой борьбой», то въ значительной части состоитъ въ разоблаченіи недостатковъ того ближайшаго сосѣда справа, который притягиваетъ на выборахъ къ своимъ урнамъ, примѣрно тѣ же классы, что и социалисты. Но именно на этого безпощадно разоблачаемаго сосѣда справа сосѣди слѣва и возлагаютъ всѣ надежды, что онъ справится съ задачей охраны основъ демократическаго режима, оставивъ тѣмъ самымъ свободу социалистамъ заниматься болѣе важными по нынѣшнимъ временамъ дѣлами, освободивъ ихъ отъ демократической суеты-суеты, которая «собственно» не является ихъ дѣломъ.

И наоборотъ, правая часть французскаго социализма, которая всема далека отъ этой невинной «классовой борьбы» и стремится наладить по возможности болѣе тѣсный парламентскій контактъ съ радикалами, она то какъ разъ и отказывается передовѣрить дѣло защиты демократіи радикаламъ. И поступать такъ не только потому, что считаетъ эту защиту и своимъ прямымъ дѣломъ, вытекающимъ изъ самой концепціи социализма, но и потому, что весьма основательно опасается, что радикалы сами съ этой задачей не справ-

вятся, и изъ разнохарактерной массы французскаго радикализма выделяются кадры мягкотѣлыхъ, достаточные для того, чтобы дать перевѣсъ разнаго рода предфашистскимъ теченіямъ, съ увѣренностью ожидающимъ часа распада лѣваго парламентскаго большинства, вышедшаго изъ блестящей избирательной побѣды 1932 года.

Ключъ къ этому парадоксу заключается въ томъ, что лѣвая часть французскаго социализма въ концѣ концовъ и не особенно заботится о томъ, насколько радикалы единолично справятся съ задачей защиты демократіи. Въ концѣ концовъ, на самый тяжкій случай имѣется магическое средство, которое называется «революціей» и которое имѣетъ то чудесное свойство, что оно вмѣстѣ со спасеніемъ демократіи, приправленной для крѣпости диктатурой пролетаріата (временной, только временной!) послужить также и непосредственной увертюрой къ переустройству общества на социалистическихъ началахъ. Вотъ изъ этихъ двухъ представленій о томъ, что защита демократіи — это «собственно» не социалистическое дѣло и надежды на то, что на худой конецъ поможетъ революція, которая явится добрымъ началомъ социализма — изъ нихъ и вытекаеть въ значительной мѣрѣ та политическая безпечность относительно судьбы лѣваго прашительства, которая за послѣднее время все болѣе усиливается въ рядахъ французскаго социализма. При этомъ надо постоянно имѣть въ виду, что эти худые концы, въ видѣ провала лѣваго правительства и прихода къ власти праваго, составляютъ по существу предметъ

безсознательнаго соблазна для партіи, которая умѣетъ дѣйствовать только тогда, когда все «просто и ясно», а эта простота и ясность воплотить законно могутъ выразиться лишь въ систематической и рѣшительной оппозиціи, окрашенной при томъ въ яркіе революціонные цвѣта.

И въ этомъ и состоитъ трагедія французскаго социализма и опасный подводный камень для французской демократіи. Несчастье французской социалистической партіи состоитъ для нея самой въ томъ, что она слишкомъ политически сильна и велика для того, чтобы быть вѣрной тѣмъ своимъ принципамъ и тому своему міросозерцанію, которые были общи всѣмъ социалистическимъ партіямъ, когда онѣ были молоды, слабы и невлиятельны. Французская социалистическая партія слишкомъ сильна для реализаціи своей ортодоксіи и слишкомъ ортодоксальна для реализаціи своей силы. По малому числу своихъ членовъ она имѣетъ всѣ психологическія и, пожалуй, даже и политическія основанія быть юношески ортодоксальной и съ искреннимъ увлеченіемъ предаваться тѣмъ идеологическимъ и программнымъ восторгамъ, которые когда-то воплотить соотвѣтствовали не только буквъ закона и канона, но и объективной социально-политической дѣйствительности того времени. Но по громадному числу своихъ парламентскихъ представителей, по своей громадной парламентски-политической силѣ она стоитъ къ этимъ своимъ идеологическимъ восторгамъ въ жестокомъ и несправедливомъ объективномъ противорѣчьи. Для того, чтобы въ согласіи съ самой собою и сво-

одно отдаваться своим влечениям, ей нужно было бы иметь в палате маленькую удобную фракцию примерно в 30-40 депутатов.

Чтобы конкретнее себя представить эти неудобства, это горе от числа, полезно познакомиться с позицией партии в вопросе о голосовании бюджета, вопрос, поглотившем массу сил французского социализма и породившего жестокие внутрипартийные страсти.

Когда социалистическое представительство в парламентах было очень слабым, когда всѣ бюджетные предложения и поправки социалистических фракций почти неизменно проваливались, тѣмъ самымъ сгущая радикализмъ дѣлѣйшихъ поправокъ и дѣлая ихъ принятіе еще болѣе безнадежнымъ; когда, съ другой стороны, государственные бюджеты довоеннаго времени слишкомъ часто грубо и толорно воплощали въ себѣ дѣйствительно почти ничѣмъ неограниченное господство реакціонныхъ имущихъ классовъ, — тогда принципъ социалистическаго голосованія противъ бюджета «буржуазнаго государства» былъ оправданъ не только дальнимъ идеологическимъ прицѣломъ, но и реальной социально-политической обстановкой, въ которой слабымъ социалистическимъ партиямъ приходилось бороться.

Но съ тѣхъ поръ все это во многихъ отношеніяхъ радикально измѣнилось. Въ громадной степени выросли влияние и сила социалистическихъ партий. Ихъ бюджетныя требованія стали все чаще и чаще находить болѣе или менѣе адекватное выраженіе въ отдѣльныхъ параграфахъ и статьяхъ

бюджета. Государственная власть въ значительной мѣрѣ демократизировалась, во главѣ или въ составѣ правительствъ стали появляться партійно на то уполномоченные социалисты, и проекты бюджетовъ въ этомъ случаѣ уже съ самаго начала отражали какой-то добровольный компромиссъ между социалистическими и буржуазными партиями, хотя эти бюджеты все еще были бюджетами «буржуазнаго государства».

При такихъ условіяхъ принципиальное голосованіе социалистовъ, всегда и всюду при всѣхъ обстоятельствахъ, противъ бюджета стало политически бессмысленнымъ, а зачастую и совершенно невозможнымъ. Нельзя же въ самомъ дѣлѣ проваливать бюджетъ и представившее его правительство послѣ того, какъ въ результатѣ жаркаго парламентарскаго боя, а иногда предварительныхъ переговоровъ съ правительствомъ въ бюджетъ этотъ внесены тѣ или ниня пожеланія социалистовъ; нельзя проваливать бюджетъ, выработанный правительствомъ, въ которомъ участвуютъ представители самой партии.

Для французской социалистической партии эта измѣнившаяся историческая ситуация неожиданно осложнилась еще тѣмъ, что противъ бюджета стали голосовать правые. Социалисты хотѣли голосовать противъ бюджета, такъ сказать, со всѣми удобствами: чтобы была выдержана позиція и чтобы эта позиція не провалила лѣваго правительства, возложивъ на партію прямую и явную отвѣтственность за приходъ къ власти реакціи. При 30-40 депутатахъ это было бы вполне осуществимо. Социалисты проголосовали бы про-

тивъ, всё буржуазныя партіи обязательно голосовали бы за, бюджетъ прошель бы, лѣвое правительство осталось бы у власти, — все было бы хорошо и удобно.

Но когда въ палатѣ оказалось не 40, а 130 социалистовъ и когда противъ бюджета «буржуазнаго государства» стали голосовать отъявленно буржуазныя партіи, тогда стало все крайне неудобнымъ. Уже тотъ самый фактъ, что противъ буржуазнаго бюджета голосуютъ буржуазныя партіи ослабилъ демонстративную принципиальность анти-бюджетнаго голосования социалистовъ\*). Во-вторыхъ, оказалось, что, голосуя противъ бюджета, можно его и въ самомъ дѣлѣ провалить, къ чему партія не привыкла и что совсѣмъ ей не нужно, хотя по существу всякое голосованіе противъ чего-нибудь выражаетъ намѣреніе провалить то, противъ чего голосуешь. Въ-третьихъ, оказалось, что въ бюджетъ все-таки проскочилъ рядъ пожеланій социалистовъ, благодаря чему правые и голосовали противъ бюджета и тѣмъ самымъ лишили социалистовъ пріятной и легкой возможности голосовать противъ бюджета безъ всякаго вреда для тѣхъ его частей, на которыхъ лежитъ печать социалистическихъ требованій. Въ-четвертыхъ, оказалось, что голоса социалистовъ плюсъ голоса правыхъ совершенно достаточны для образования социалистическо-реакцион-

\*) Случаи одинаковаго голосования крайнихъ полюсовъ парламента бывають, но въ нихъ нѣтъ ничего компрометирующаго ни для кого, если эти голосованія лишены міросозерцательно-символическаго характера.

наго большинства, обрекающаго на позорную гибель всё результаты блестящей побѣды лѣвыхъ на послѣднихъ выборахъ.

Передъ лицомъ такихъ неудобствъ и затрудненій національный конгрессъ партіи въ апрѣлѣ 1933 года внесъ въ свое постановленіе объ обязательномъ голосованіи противъ бюджета оговорку въ томъ смыслѣ, что это голосованіе не должно играть на руку реакціоннымъ партіямъ, которыя, присоединивъ свои голоса къ социалистическимъ, стремятся провалить ненавистное имъ лѣвое правительство. Резолюція конгресса по существу убила всю принципиальность голосования противъ бюджета, подчинивъ это голосованіе оглядкѣ на намѣренія правыхъ. Но это создало для социалистической фракціи крайне конфузное положеніе, такъ какъ правые не оказались настолько любезными, чтобы заранѣе освѣдомлять социалистовъ о томъ, какъ они будутъ голосовать и тѣмъ самымъ облегчить имъ точное выполненіе резолюціи ихъ конгресса. Въ результатѣ лѣтомъ 1933 года социалистическая фракція палаты голосовала за бюджетъ, полагая, что на лицо именно та политическая ситуація, которая предусматрѣна въ оговоркѣ конгресса, а лѣвое партійное большинство усмотрѣло въ этомъ грубое и рѣзкое нарушеніе партійной дисциплины, измѣнивъ основнымъ принципамъ социализма и т. д. Нѣсколько депутатовъ, голосовавшихъ, въ разрѣзъ съ постановленіемъ фракціи, противъ бюджета, были возвеличены до степени героическихъ смѣльчаковъ, спасшихъ честь французскаго социализма. Надо, впрочемъ, оговориться, что эти смѣльчаки

могли съ легкимъ сердцемъ такъ именно спасать честь социализма, такъ какъ они не могли не знать, что ихъ изолированное выступленіе не повредитъ ни бюджету, ни кабинету Даладье. Они могли показать себя правовѣрными только потому, что громадное большинство фракціи покажетъ себя еретиками.

Внутри партіи вспыхнула междоусобица, принявшая не слишкомъ изящныя и не слишкомъ толерантныя формы. Чтобы положить конецъ смятенію умоу Л. Блюма изложилъ въ рядѣ статей основной смыслъ голосованія противъ бюджета. Согласно его теории, голосованіе это имѣетъ чисто символическій, ритуальный смыслъ и выражаетъ собою не отношеніе къ данному бюджету и къ данному правительству, а только отрицательное отношеніе къ буржуазному строю вообще. Голосуя противъ бюджета, мы этимъ насколько не голосуемъ противъ правительства, и никто не долженъ принимать это голосованіе за выраженіе парламентскаго недоверія. Какъ буржуазія всегда голосуетъ за бюджетъ, хотя иногда въ немъ имѣются очень непріятныя для нея вещи, такъ мы всегда голосуемъ противъ бюджета, хотя иногда въ немъ имѣются и пріятныя для насъ вещи. Голосованіе противъ бюджета — это символическій жестъ нашего отрицательнаго отношенія къ буржуазному строю и никакого актуальнаго политическаго значенія оно не имѣетъ.

Эта теоретическая попытка Л. Блюма вся дышала желаніемъ успокоить и социалистическую фракцію, и радикаловъ, и лѣвое правительство, чтобы они не очень

волновались по поводу этого традиціоннаго голосованія, не принимали его слишкомъ трагически и былинисходительны къ людямъ, которымъ очень дорогъ ихъ культъ, ихъ ритуаль, ихъ привычка — вторая натура.

Къ сожалѣнію, это ласково-аполитическое истолкованіе традиціонной позиціи ничего не могло измѣнить въ той реальной политической обстановкѣ, при которой правительство, которому отказано въ средствахъ, подаетъ въ отставку. Политическая кастрация бюджетнаго голосованія осталась только мечтою политики, не имѣющаго мужества ни отказаться отъ стѣсняющихъ его самого догматическихкихъ оковъ, ни нести на себѣ отвѣтственность за вѣрность этимъ священнымъ оковамъ. Тутъ съ печальной наглядностью обнаружился кабинетный характеръ социальнаго политическаго мышленія талантливаго лидера французской социалистической партіи. Буржуазныя партіи всегда голосовали за бюджетъ, а мы всегда голосовали противъ, и все было хорошо и правильно. Но вотъ буржуазныя партіи нарушаютъ свою традицію и норовятъ голосовать противъ бюджета не потому, что онъ бюджетъ, «буржуазнаго государства», а потому, что онъ — бюджетъ лѣваго правительства. Буржуазныя правыя партіи не хотятъ быть принципиальными. Все перемѣнилось, все пошло по новому, а намъ все-таки дозвольте дѣйствовать такъ, какъ будто ничего не измѣнилось, и мы не больше и сильныя, а маленькія и слабыя.

Замѣчательна во всемъ этомъ перепутѣ за свои принципы та истойчивость, съ какой французская партія подчеркиваетъ, что

она «классовая партія», — подразумевается классовая партія пролетариата. Между тѣмъ и по составу своихъ членовъ и въ особенности по составу своихъ избирателей французская социалистическая партія наименѣе пролетарская партія изъ всѣхъ социалистическихъ партій промышленныхъ странъ. Съ реальнымъ организованнымъ рабочимъ движеніемъ, представленнымъ во Французской Генеральной Конфедерации Труда, она связана менѣе чѣмъ какая-либо другая социалистическая партія связана съ профессиональнымъ движеніемъ своей страны. Среди генералитета и офицерства партіи почти безраздѣльно господствуютъ столбовые интеллигенты, и слой рабочихъ, выбившихся впередъ на руководящіе посты движенія, во Франціи чрезвычайно жалокъ.

Та степень приспособленія ко вкусамъ, требованіямъ и настроеніямъ мелко-буржуазной массы деревень и провинциальныхъ городовъ, какую во время избирательныхъ кампаній дозволяетъ себѣ французскій социализмъ, можетъ возмутить марксистскую совесть и не особенно лѣваго социалиста другихъ странъ. Благодаря особенностямъ французской избирательной системы до 3/4 всѣхъ социалистическихъ и всѣхъ радикальныхъ депутатовъ побѣждаютъ на второмъ турѣ только потому, что радикальные избиратели першаго тура дружно голосуютъ за стоящихъ впередъ по числу голосовъ социалистическихъ кандидатовъ, а социалистические избиратели при соответствующихъ условіяхъ столь же дружно голосуютъ за радикальныхъ кандидатовъ. Принято поражаться,

до чего сильна при этомъ такъ назыв. «республиканская дисциплина», приводящая къ такимъ блестящимъ и притомъ вѣрнымъ результатамъ. Но ничего удивительнаго въ этомъ нѣтъ, такъ какъ и у социалистовъ и у радикаловъ имѣется по существу одна и та же масса мелко-буржуазныхъ избирателей деревни и города, не слишкомъ всерьезъ принимающая раздѣляющія радикаловъ и социалистовъ разногласія и полагающая, что «милые братятся — только тѣшатся», и по такому случаю, отчего же не голосовать за радикаловъ, если объ этомъ просятъ социалисты, и отчего же не голосовать за социалистовъ, если объ этомъ просятъ радикалы. И тѣ и другіе «добрые республиканцы», и тѣ и другіе, когда они будутъ въ Парижѣ, съ полнымъ радушіемъ используютъ свой парламентскій мандатъ для того, чтобы помочь вліятельнымъ избирателямъ своей округи въ ихъ личныхъ административныхъ, хозяйственныхъ и прочихъ дѣлахъ.

И такая именно социалистическая партія стремится въ своей идеологіи и въ своей фразеологіи быть неукратно ортодоксальной, марксистской, классовой и пролетарской. Нельзя не видѣть, что такое стремленіе является совершенно утопическимъ между прочимъ и на основаніи самой социологіи марксизма, исключающаго возможность пролетарски-классовой идеологической надстройки на мелко-буржуазной базѣ. Какъ же, однако, разрѣшается это очевидное противорѣчіе въ жизни французскаго социализма? Тутъ мы вплотную подходимъ къ еще одному поучительному парадоксу въ его развитіи.

При слабости партийной организации, при слабой ее связи с экономическими рабочими организациями, при отсутствии такой густой сети разнообразных партийных учреждений и объединений для обслуживания духовных, моральных и житейски-бытовых нужд рабочих масс, какая имѣется, скажемъ, въ Бельгiи, Австрiи, Дании и была въ полномъ расцвѣтѣ въ до-гитлеризованной Германiи, центр тяжести работы французской социалистической партiи и весь ея практический паюсъ находится все-таки въ парламентской работѣ и въ избирательной борьбѣ. Но именно эта центральная и главная функція французскаго социализма находится въ рукахъ социалистической фракціи, которая въ подавляющемъ своемъ большинствѣ состоитъ изъ правыхъ, «реформистовъ», «ревизионистовъ» и т. п. Вся партiя въ цѣломъ отъио лѣвая и ортодоксальная, а самый важный и отвѣтственный отрядъ ея работниковъ, выдвинутый самой же партiей на передовой для нея постъ политической борьбы, состоитъ изъ лравыхъ и ревизионистовъ. Какъ это возможно? Что они правые, что они пренебрежительно относятся къ официальной ортодоксiи — вѣдь это партiя знала еще до того, какъ она стала выдвигать и защищать ихъ кандидатуры въ парламенты? Зачѣмъ же она это дѣлала?

Конечно, это наблюдается во всѣхъ странахъ: социалистическая фракціи въ представительныхъ учрежденияхъ всюду въ общемъ правѣ своихъ партій въ цѣломъ. Обстановка парламентской работы и борьбы тамъ, гдѣ социалистическая фракціи не является ничтожной численно группой, объективно

но такова, что фракціи не можетъ не быть болѣе оппортунистичной, болѣе считающейся съ перемѣнчивой игрой политическихъ силъ, чѣмъ центральное руководство партiи, имѣющее дѣло съ куда болѣе податливымъ объектомъ своей работы въ лицѣ своихъ единомышленниковъ. Но во Франци это обычное расхождение между фракціей и партiей приняло настолько острую форму, что здѣсь по существу передъ нами явленіе совсѣмъ иного порядка. И когда мы ищемъ причину такого именно рѣзкаго расхождения, то ее нельзя не найти именно въ томъ, что въ партiи существуетъ непримиримый расколъ между ея идеологiей, съ одной стороны, и той социальной средой и фактическими условіями, въ которыхъ протекаетъ ея реальная работа — съ другой. Партийные верхи подбираются и выдѣляются по линiи идеологiи, парламентская фракціи подбирается и выдѣляется по линiи социальной среды и практической работы. И такъ какъ базисъ и надстройка находятся во французскомъ социализмѣ въ рѣшительномъ разладѣ, то въ рѣшительномъ разладѣ находятся и обѣ части движенія, соответственно выражающія каждую сторону указанного противорѣчiя.

При этомъ становится уже менѣе удивительнымъ, что та самая партiя, которая на своихъ конгрессахъ, насыщенныхъ духомъ идеологiи, безусловно съчтетъ свою фракцію за ея правизну и соглашательство, въ избирательной борьбѣ, насыщенной духомъ компромисса и приспособленія къ той массѣ, голоса которой хотять получить, выдвигаетъ въ большинство именно этихъ, съчтенія до-

стойныхъ, социалистовъ, какъ болѣе импонирующихъ этой избирательной массѣ, болѣе пригодныхъ для достиженія поставленной практической задачи: провести въ палату возможно большее число своихъ сочленовъ. А затѣмъ, когда эта задача разрѣшена и фракція начинаетъ работать, подымаетъ вновь голову «надстройку» и вступаетъ въ рѣшительный бой, принимающій иногда скандальныя формы, съ враждебнымъ ей по существу «базисомъ», нашедшимъ свое выраженіе въ составѣ и направленіи парламентской фракціи: на послѣднемъ конгрессѣ въ Парижѣ въ июль 1933 года выносятся своей же парламентской фракціи публичное порицаніе съ угрозой при повторномъ неповиновеніи выкинуть ослушниковъ изъ партіи.

И такъ поступаетъ партія, въ которой за вычетомъ парламентской и избирательной работы мало что вообще остается! И такъ какъ побѣжденная на конгрессѣ парламентская фракція не проявляетъ никакихъ признаковъ раскаянія и не даетъ никакихъ обѣщаній исправиться въ будущемъ, то начинается нѣчто мало чѣмъ отличающееся отъ травли своей фракціи съ обвиненіемъ выдающихся ея представителей въ «фашизмъ» или фашистскому уклонѣ.

Такъ висящая въ воздухѣ идеология вступаетъ въ конфликтъ съ дѣйствительностью своей же собственной партіи, и мы понимаемъ, когда Рендель и его друзья обрашаются съ настойчивымъ предложеніемъ къ лѣвому партійному большинству: или говорите то, что вы дѣлаете, или дѣлайте то, что вы говорите, хотя послѣдняя часть

этого предложенія явно невыполнима: дѣлать ту «классовую политику», о которой говоритъ лѣвое большинство, при нынѣшнихъ французскихъ условіяхъ, при слабости партіи и силѣ ея парламентской фракціи, абсолютно невозможно, если не ставить себѣ сознательной цѣлью гибель демократическаго режима страны.

И тутъ я долженъ сдѣлать существенную оговорку къ тому положенію, которое было выдвинуто въ самомъ началѣ этой статьи. Да—Франція дѣйствительно нынѣ является единственной большой и вліятельной континентальной страной, гдѣ политической демократіи пока не угрожаютъ никакія серьезныя опасности. Но эти опасности могутъ скоро стать весьма серьезными, если одна изъ важнѣйшихъ основъ французской демократіи, въ лицѣ французскаго социализма, будетъ и дальше выгибаться въ сторону тѣхъ тенденцій, которыя роковымъ образомъ могутъ превратить социалистическую партію въ элементъ разложенія французской демократіи. Пока что два послѣднихъ партійныхъ конгресса и печатная кампанія противъ фракціи уже много сдѣлали для подрыва ея политическаго авторитета. Въ атмосферѣ зараженной духовными миазмами фашизма такая политическая дискредитація большой парламентской фракціи со стороны своей же партіи можетъ только морально усилить станъ враговъ демократіи и влить въ его еще пока робкія во Франціи души недостающую ему бодрость. Въ моментъ, когда даже и самый лѣнливый осель не отказывается отъ удовольствія лягнуть своимъ копытомъ парламентскій режимъ,



въ такой момент лѣвое большинство партій не можетъ удержаться отъ травли парламентскаго представительства своей партіи, отъ безответственныхъ декламаций о «революціи», «диктатурѣ пролетариата», за которыми нѣтъ не только ни реальной силы, ни реальныхъ возможностей, но нѣтъ даже и достаточной воли, чтобы на соответствующія авантюры рѣшиться.

Хорошо сейчасъ, что во Франціи отсутствуетъ практика роспуска парламента до окончанія нормальной легислатуры, и выборы произойдутъ только весной 1936 года, если не случится чего-либо непредвидѣннаго, что такъ часто теперь случается. Но стоить себѣ только представить выборы сейчасъ, въ моментъ ожесточенной драки между партіей и фракціей, чтобы понять, какую изобильную пищу для избирательной борьбы получаютъ реакціонныя, все крѣпнущія въ населеніи партіи, какъ реализуется въ цифрахъ избирательныхъ итоговъ этотъ натискъ социалистовъ на свое парламентское представительство. Социалистическая фракція можетъ сжаться до той маленькой группки, которая какъ разъ подходитъ для идеологич. партіи, и тогда она ощутитъ полную свободу своей политической безответственности. Хорошо еще будетъ, если мѣста, проигранныя социалистами, достанутся радикаламъ, хотя безъ сильной социалистической фракціи въ парламентѣ французскій радикализмъ начнетъ выцвѣтаетъ еще быстрее, чѣмъ онъ выцвѣтаетъ сейчасъ. Но есть много оснований думать, что значительная масса социалистическихъ избирателей изъ среднихъ классовъ можетъ пере-

кинуться сразу ко всякаго рода новымъ фашистскимъ или фашистообразнымъ образованиямъ, въ какихъ очевидно въ ближайшее время недостатка не будетъ. Эти избиратели, ушедшіе отъ социализма, не будутъ голосовать за радикаловъ, такъ какъ въ ихъ представленіи радикалы это «почти то же самое», что социалисты, а социалисты — это тѣ же радикалы, только немного «бойчѣе».

Но намъ незачѣмъ заниматься гипотезами объ исходѣ ближайшихъ выборовъ. Если уже этой осенью фракція социалистической партіи начнетъ дѣйствовать въ духѣ послѣднихъ партійныхъ конгрессовъ, тогда неизбеженъ рядъ министерскихъ кризисовъ, который еще больше подорветъ въ населеніи авторитетъ парламентской машины и который, какъ это показалъ опытъ, неизбежно приведетъ къ безнадежному распаду лѣваго большинства и образованию какой-нибудь, тоже нестойкой комбинаціи въ духѣ Тарлье, за это время многому у фашизма научившагося. Если же фракція не подчинится, тогда неизбежно ея расщепленіе, при которомъ станетъ подѣл въ вопросѣ нынѣшнее лѣвое большинство, и если въ ослабленномъ видѣ оно даже останется, картина раскола социалистической фракціи будетъ до того безотрадной, что авторитетъ социалистовъ въ палатѣ и въ странѣ будетъ подорванъ, къ какому бы теченію они не принадлежали.

Возможно, что тогда, когда большинство фракціи очутится внѣ партіи, возникнутъ министерскія комбинаціи при участіи правыхъ социалистовъ. Ошибочно возлагать на такое коалиціонное министерство большія надежды. При

томъ условіи, что партія въ цѣломъ такое участіе социалистовъ въ правительствѣ осуждаетъ, социалистическіе министры, съ партией порвавшіе или изъ партіи исключенные, будутъ подвергаться столь ожесточеннымъ атакамъ, что ихъ вліяніе въ кабинетъ и авторитетъ въ странѣ должны будутъ неизбежно упасть. Наличіе ихъ въ кабинетъ будетъ тогда совершенно достаточнымъ для того, чтобы довести до бѣлаго каденія правыхъ, но совершенно недостаточнымъ для того, чтобы наложить свою замѣтную печать на дѣятельность правительства. Коалиціонное правительство можетъ замѣтно отразить въ своей дѣятельности наличіе въ его составѣ социалистовъ только въ томъ случаѣ, если за министрами-социалистами имѣется внушительная организованная масса, вліяющая на общественное мнѣніе всей страны и тѣмъ самымъ диктующая несоциалистической части кабинета опредѣленный образъ поведенія. Когда этого условія нѣтъ, тогда неизбеженъ процессъ социальнаго - политическаго линіянія социалистическихъ «заложниковъ» кабинета, а во французскихъ условіяхъ, когда разрывъ со своей партией и всякаго рода политическія метаморфозы вознаграждаются сугубо щедро, такое изолированное отъ партійной массы участіе социалистовъ въ правительствѣ таитъ въ себѣ особенно большія морально-политическія опасности.

Въ концѣ концовъ проблема французской демократіи меньше всего упирается специально въ вопросъ о коалиціи, которому и справа и слѣва придаютъ во Франціи слишкомъ большое значеніе.

Ключъ къ разрѣшенію кризиса французскаго социализма, а тѣмъ самымъ и кризиса французской демократіи, заключается въ образованіи сильной и въ странѣ, а не только въ парламентѣ, массовой партіи съ социалистической программой, партіи, которая вобрала бы въ свои ряды основной социальный слой французскаго народа — мелко - буржуазные слои города и деревни, страдающіе отъ капиталистической анархіи и капиталистическаго гнета, и которые наряду съ компактными массами организованнаго пролетаріата составляли бы единую антикапиталистическую массу, доступную внушеніямъ и выучкѣ демократическаго социализма.

Такая партія не можетъ быть, конечно, классово - пролетарской. Такая партія неизбежно будетъ въ своей идеологіи отражать извѣстный компромиссъ между пролетаріатомъ и средними классами. Эта идеологія несомнѣнно будетъ менѣе стройной, менѣе логически-последовательной, чѣмъ классическая концепція марксизма, но зато она будетъ болѣе соответствовать реальному составу движенія и реальнымъ задачамъ такого именно объединенія.

Если французскій социализмъ не въ состояніи дѣлать то, что онъ говоритъ, то онъ обязанъ горючить то, что дѣлаетъ. Въ противномъ случаѣ межеумочнымъ, противорѣчивымъ и мало эффективнымъ будетъ и его слово, и его дѣло.

Фактически французскій социализмъ уже нынѣ представляетъ такое сочетаніе элементовъ рабочаго класса и среднихъ классовъ. Но все это пока въ микроскопи-

ческих размѣрахъ, одобренныхъ при томъ громадными дозами совершенно не вяжущейся ни съ ея социальнымъ составомъ, ни съ ея политической практикой догматической словесности. Французскому социализму, слѣдовательно, нужно только осознать и принять законы своего бытія, для того, чтобы стать могущественной определяющей силой всего социально-политическаго развитія Франціи.

Осознавъ и принявъ законы своего бытія, французскій социализмъ можетъ рассчитывать на то, что онъ перетянетъ на свою сторону большія массы, слѣдующія пока за радикалами, но все болѣе чувствующія недостаточность и робость ихъ социальной воли, ихъ боязнь «социальнаго эксперимента» въ эпоху, когда расшатаны всѣ основанія стараго міра и когда только смѣлый творческій социальный порывъ, не считающійся съ социальными догматами либерализма, можетъ открыть выходъ изъ маразма, охватившаго все буржуазное общество.

Проблема среднихъ классовъ стоитъ передъ всѣми социалистическими партіями. Даже въ Англіи съ ея 80% пролетаризованнаго населенія находятся социалисты, и притомъ въ рядахъ Независимой Рабочей Партіи, которые утверждаютъ, что безъ перехода на сторону социализма среднихъ классовъ Англіи социализмъ останется неосуществимой мечтой. Тѣмъ острѣе эта проблема стоитъ передъ социализмомъ французскимъ, развивающимся въ странѣ съ необычайно живучими средними классами, пока еще не особенно сильно задѣтыми фашистской волной. Но эта волна бьетъ

ся и у стѣнъ Франціи, и имѣть недостатка въ разнаго рода организационно-политическихъ импровизацияхъ фашистскаго типа. Подойти къ этой встревоженной массѣ среди ихъ классовъ пока еще не поздно. Отлить въ демократическія и социалистическія формы ихъ анти - капиталистическія настроенія — это задача не только насущная, но и крайне спѣшная.

Но она, конечно, неразрѣшима, при томъ условіи, что партія хочетъ и ортодоксальную невинность соблюсти, и избирательный капиталъ приобрести. И здѣсь нельзя себя тѣшить тѣмъ, что можно заполнить симпатію среднихъ классовъ, ничѣмъ не пожертвовавъ изъ сокровищницы своей идеологии. Это утопія. Средніе классы всюду въ мірѣ вышли изъ того пассивнаго состоянія, когда ихъ можно было получить въ качествѣ пушечнаго мяса той или иной партіи, на политику и идеологию которой эти классы не оказывали никакого прямого и часто даже и косвеннаго вліянія. Въ томъ и заключаются громадныя затрудненія практическаго характера, возникшія передъ социализмомъ послѣ войны, что почти совершенно исчезли пассивныя массы, охотно и легко слѣдовавшія за ранѣе сложившимися и окрѣпшими партійными штабами. И поэтому — можно отказаться на пути къ социализму отъ активнаго участія среднихъ классовъ и уповать, что одинъ пролетаріатъ, даже въ мелко-буржуазной Франціи, все наладитъ и устроитъ. Но если этой вѣры въ достаточность только пролетарскихъ силъ для осуществленія социально-политическихъ задачъ социализма имѣть, если есть серьезно обоснованное опасеніе,

что безъ среднихъ классовъ, а значить и **противъ** нихъ, не только неосуществимо социалистическое преобразование общества, но грозитъ погибнуть и система политической демократіи, тогда надо изъ этого сдѣлать практической и тактической выводъ и видоизмѣнить ту идеологию социализма, которая выросла изъ опровергнутаго жизнью представленія о томъ, что эти средніе классы исчезнутъ и во всякомъ случаѣ никакой самостоятельной социальнополитической воли не проявятъ.

Способна ли французская социалистическая партія пережить эволюцію въ указанномъ направленіи? Пока что нѣтъ не только никакихъ признаковъ этого, но съ июльскаго конгресса партія какъ будто намѣренно стремится потерять и ту долю вліянія на средніе классы, какую она до сихъ поръ имѣла. Никогда она еще такъ демонстративно не подчеркивала свой, по существу мнимый, «пролетарскій характеръ», какъ именно теперь, въ эпоху глубокаго социальна - политическаго броженія среднихъ классовъ, могущаго стать чрезвычайно опаснымъ, если оно не будетъ отведе-

но въ демократически - социалистическое русло.

Съ этой точки зрѣнія ближайшія перспективы французской демократіи не могутъ не внушать безпокойства. Всего, однако, вѣроятнѣе, что глубокой консерватизмъ, свойственный всѣмъ общественно - политическимъ силамъ Франціи дасть въ результатѣ картину топтанія на одномъ мѣстѣ, при которомъ социалистическая партія все-таки удержится отъ роли погубительницы министерствъ и будетъ лабирировать между Синлой ея идеологій и Харидлой ея бытія, оставляя открытыми всѣ наболѣвшіе вопросы, покуда, съ разными перебоями, такъ и дотянуть до выборовъ 1936 года, когда основные вопросы социальнополитическаго развитія будутъ поставлены со всей той остротой, которая въ нихъ заключается нынѣ и которая еще усилится въ дальнѣйшемъ.

Устоитъ ли консервативный духъ всей французской жизни противъ натиска катастрофическихъ тенденцій нашей эпохи — на этотъ вопросъ отвѣтитъ недалекое будущее.

Ст. Ивановичъ.

## Русская эмиграція и Лига Націй

Лигѣ Націй посвящено большое количество образцовыхъ изслѣдованій — казалось бы совершенно излишнимъ отвлекать читателя къ настоящей, краткой замѣткѣ, но, хотя Лига Націй существуетъ уже 14-й годъ и двѣнадцатый, какъ печется о насъ, все же, въ широкихъ кругахъ понятія о ней — самая смутная. Поэтому пишущему эти

строки представляется полезнымъ, даже съ такимъ опоздашемъ, попытаться уточнить о ней представление въ эмиграціи; ибо для многихъ она — «символъ гуманныхъ идеаловъ нашего времени», для другихъ — «учрежденіе, призванное заниматься самыми разнообразными вопросами»; для третьихъ — «ея фирма стоитъ на на-

шихъ паспортахъ, слѣдовательно она — морально обязана въ отношеніи насъ»; и т. д. Подобная путаница въ умахъ несомнѣнно является не только слѣдствіемъ нашей въ этой области политико-юридической неосвѣдомленности, но объясняется несомнѣнно своеобразнымъ необычайнымъ свойствомъ этого юридическаго построения а также болѣе всего столь живымъ въ русскомъ человѣкѣ требованіемъ справедливости, въ особенности, когда онъ искренне считаетъ, что является жертвою ея нарушенія: вѣдь, въ условіяхъ нашего разсѣянія, обидъ, увъ, не оберешься, и трудно человѣку мириться съ неосуществленіемъ его чаяній. Отсюда, зачастую, не сохвѣтъ правильное огульное осужденіе Женевскаго международнаго центра. — Итакъ, цѣль настоящаго очерка: попытаться разъяснить читателю менѣе освѣдомленному въ этой области — что такое Лига Націй съ точки зрѣнія нашихъ нуждъ.

Свѣдѣнія эти, хотѣлось бы думать, могутъ оказаться нелишними тѣмъ, для кого Лига Націй, несмотря на частыя наши разочарованія, слѣжала столь много, хотя бы уже однимъ тѣмъ, что сплотила безсвязную человѣческую пыль внѣшне въ одно цѣлое, чѣмъ дала возможность пережить самый критическій періодъ разсѣянія въ болѣе достойныхъ нравственныхъ условіяхъ; къ тому же она и нынѣ продолжаетъ, по мѣрѣ возможности, пытаться улучшать обстоятельства нашего существованія. Если это ей не всегда удается, то винить слѣдуетъ не столько Лигу Націй, сколько самотность отдѣльныхъ государствъ, ее образующихъ: или, быть можетъ,

порою, чрезмѣрныя, пожалуй, нами къ ней предъявляемая требованія.



Прежде всего мы должны освоиться съ существеннымъ положеніемъ что вообще нѣтъ или, по крайней мѣрѣ, нѣтъ еще международной особи, сверхгосударства, именуемаго Лигою Націй. Въ дѣйствительности это — рядъ странъ, заключившихъ межъ собою союзъ, обязавшихъ къ извѣстнымъ дѣйствіямъ въ цѣляхъ предупрежденія «нападенія и войны»; или, какъ сказано во вступленіи къ основному договору: «ради развитія сотрудничества межъ народами и обезпеченія имъ мира и безопасности необходимо, чтобы были приняты обязательства не прибѣгать къ войнѣ» и т. д. Лучшимъ доказательствомъ того, что Лига Націй — союзъ государствъ, а не союзное государство, это — право ея членовъ на выходъ.

Такимъ образомъ Лига Націй является первою попыткою установить между странами тотъ же правопорядокъ, что нынѣ обезпечиваетъ отдѣльнымъ гражданамъ въ предѣлахъ каждаго государства безопасное бытіе. Но это кажущееся сходство сейчасъ же разбивается о безжалостную дѣйствительность: внутри государства, правительство располагаетъ нужными средствами, достаточною мошью, дабы поддерживать такой необходимый для всѣхъ правопорядокъ. Государства же, подписавшія «договоръ» и тѣмъ самымъ ограничившія принадлежавшій имъ суверенитетъ, въ дѣйствительности, настаиваютъ на самостоятельной, въ нарушение подписанныхъ международныхъ со-

глашений, оградить своихъ правъ такъ, какъ «они» ихъ понимаютъ; другими словами, желаютъ продолжать быть судьями въ своемъ собственномъ дѣлѣ.

Въ этомъ заключается рокъ, обрекающій на неуспѣхъ Лигу Наций. Сама по себѣ она ничего не можетъ «создать», ибо черпаетъ свою силу у образующихъ ее членовъ и, естественно, не можетъ воплотить ихъ политику и ихъ стремления. Национальные суверенные права являются главнымъ препятствіемъ, мешающимъ Лигѣ Наций осуществить поставленные въ ея основаніе нравственные начала.

Цѣль Лиги Наций, стало бытъ, безусловно политическій, исключая всякую благотворительность. Правда, подъ предлогомъ «обезпеченія мира», Лига Наций нѣсколько расширила первоначальныя рамки своей дѣятельности, — такъ она, напр., озабочилась нами, когда исходъ изъ Крыма въ 1920 г. поставилъ въ затрудненіе правительство передъ столь сложною, какъ она представлялась тогда, задачею; также печется она, между прочимъ, о здравоохраненіи (борьба съ такими заразными болѣзнями, какъ чума, и т. п., съ торговлею опиумомъ, съ торговлею живыми товаромъ) и т. д. Это даетъ поводъ новейшей наукѣ отнѣсать въ такой дѣятельности Лиги Наций какъ бы проявленіе нарождающагося общечеловѣческаго принципа (Ср. А. Mandelstam: La protection internationale des droits de l'homme). Пока что, однако, «Союзъ оказанія помощи при чрезвычайныхъ народныхъ бѣдствіяхъ» (U. I. S.) помѣщенъ подъ свѣтъ международнаго комитета Краснаго Креста

— предвѣстникъ того, что, нѣроятно, постигнетъ и насъ, когда закончится ликвидаціонный періодъ Международнаго, имени Нансена, Присутствія по бѣженскимъ дѣламъ.

Если то, ради чего Лига Наций была собственно создана, является столь недостижимымъ, то тѣмъ труднѣе ожидать отъ нея помощи въ вопросахъ, выходящихъ изъ границъ прямыхъ ея заданий. Наибольшимъ источникомъ горечи приходится признать область политико-юридическую нашей жизни. «Паспорта», которыми мы, по личину Лиги Наций, снабжаемся полицейскими властями странъ, въ которыхъ пребываемъ, не обезпечиваютъ намъ возможности выѣзжать, когда и куда намъ бываетъ нужно; недостижимы для бѣженскаго кармана визы даже транзитныя, какъ, напр., у лимитрофныхъ государствъ. Съ тѣхъ поръ, однако, что на «Нансенскихъ удостовѣреніяхъ о личности», какъ наши паспорта официально называются, красуется обратная виза въ страну, въ которой такое свидѣтельство было выдано, эта виза позволяетъ намъ считать себя какъ бы дома, тамъ, куда мы можемъ, по закону, вернуться или изъ-за границы быть «возвращенны». Но и тутъ чувство благополучія подточено произвольными высылками, на кои поступаютъ почти отовсюду жалобы. Такими дѣйствіями правительства нарушаютъ права не только лицъ, не могущихъ защищаться, но и сосѣднихъ странъ, спавая въ нихъ тѣхъ, отъ кого желаютъ освободиться; награвленные послѣдними, государства не стѣсняются возвращать ихъ туда, откуда ихъ по-

лучали; плодомъ такой «игры» съ живыми существами являются возмутительныя издѣвка и глумленіе надъ человѣческимъ достоинствомъ; было бы цѣлесообразнѣе лишь, совершившихъ какой либо проступокъ, наказывать какъ мѣстныхъ урожденцевъ или даже строже — остальныхъ же оставить въ покоѣ.

Мировая хозяйственная разруха взорвала повсюду условия рабочаго рынка. Если даже мѣстные рабочіе страдаютъ отъ безработицы, ясно, насколько тяжелѣе положеніе бѣженцевъ: лишеніе ихъ права работать отнимаетъ у нихъ единственную возможность честнымъ трудомъ прокормить себя и семью тѣмъ болѣе, что они не могутъ вернуться къ себѣ на родину; переселеніе за океанъ въ вышшихъ условияхъ почти неосуществимо, но и оно не могло бы улучшить ихъ положеніе, ибо кризисъ распространился на всѣ страны.

Международное соглашеніе (Agreement), заключенное въ 1928 году въ Женевѣ, не дало всего того, что мы отъ него ожидали; но оно, во всякомъ случаѣ, обнаружило явныя нашего быта, установило нѣкоторыя неопредѣлимая данныя. Если бы удало превратить рекомендаціи, на основаніи которыхъ договоръ построенъ, въ обязательство для подписавшихъ его признавать извѣстныя права и льготы за бѣженцами, несмотря на то, что послѣдніе не могутъ представить взаимность, непремѣнное условіе подобныхъ международныхъ соглашеній, то положеніе наше нѣсколько утратило бы остроту напряженности; хотѣлось бы надѣяться, что заключеніе новаго,

столь желаннаго соглашенія — наканунѣ осуществленія. Вопросъ этотъ былъ возбужденъ председателемъ межправительственной совѣщательной комиссіи въ августовской Сессіи 1931 г. Мѣсяць спустя XII Общее собраніе Лиги Націй намѣтило шаги, которые должны быть предприняты въ этомъ направленіи; къ нему вернулась межправительственная Комиссія въ январѣ текущаго года, и когда эта ступень будетъ достигнута, подъ наше существованіе будетъ подведена прочная основа.

Послѣднимъ — послѣднимъ-ли? — упрекомъ нашимъ по отношенію Лиги Націй можно считать недостаточность денежной оказываемой намъ помощи. Съ самаго начала взятія Лигою Націй бѣженцевъ подъ свое покровительство, было твердо установлено, что помощь, оказываемая намъ, не будетъ благотворительнаго свойства, а лишь защитой нашихъ правъ, содѣйствіемъ къ расселенію и къ приспособленію къ производительной дѣятельности. Оттого-то Лига Націй ограничивается лишь оплатою всѣхъ расходовъ по содержанію канцеляріи и представительствъ Присутствія на мѣстахъ. Правда, слѣдуетъ признать, что никакими капиталами Лига Націй не обладаетъ; необходимая для ея дѣятельности (содержаніе аппарата) средства отпускаются ежегодно общими ея собраніемъ. Смѣта составляется чрезвычайно бережно и точно и расходы распределяются между членами объединенія на основаніи соотношенія ихъ паевъ въ содержаніи всемірнаго почтового бюро въ Бернѣ.

Деньги на помощь бѣженцамъ

черпаются, главнымъ образомъ, изъ а) поступленийъ отъ обложений болѣе обезпеченныхъ изъ нихъ на пользу менѣе состоятельныхъ — такъ наз. марочнаго сбора; б) изъ благотворительнаго капитала Д-ра Ф. Нансена, переданнаго Присутствію братомъ его, душеприказчикомъ покойнаго, и в) изъ пожертвованій на фондъ въ память Ф. Нансена, при чемъ каждаго изъ жертвователей можетъ указать на чтó данныя имъ деньги надлежатъ расходованію. Марочный сборъ привноситъ въ среднемъ въ годъ около 80.000 шв. фр. на русскую долю, какъ сказано выше, собираемыхъ съ насъ же. Они предназначаются для выдачи ссудъ на переселеніе, на оборудованіе предприятий, которыя позволили бы бѣженцамъ прочно стать на ноги. Лишь въ послѣднее время начали выдавать въ видѣ опыта безвозвратныя пособия организациямъ, пекущимся объ инициативѣ, о студентахъ, о болящихъ, о дѣтяхъ; но ограниченность средствъ, которыми располагаетъ Присутствіе, служить препятствіемъ не только къ расширенію, но порою и къ продолженію столь желательной помощи.

Конечно, если бы выданныя ссуды возвращались правильно, какъ на то рассчитываютъ обычно обѣ стороны при заключеніи сдѣлки, то удовлетвореніе нуждъ могло бы происходить безостановочно; но, увы, мировыя хозяйственныя условія, а также, зачастую, неумѣнныя дожитковъ справиться съ дѣломъ, за которое они берутся, не позволяютъ надѣяться на сохраненіе средствъ на Уровнѣ благоприятномъ для самихъ же заинтересованныхъ и отсюда горькая необходимость

«дозированія» помощи въ зависимости отъ находящейся на рукахъ свободной наличности.

Картина довольно безотраднa: ни въ одной области нѣтъ возможности рассчитывать на удовлетвореніе нашихъ нуждъ въ размѣрахъ намъ желательныхъ. И все же, тѣмъ не менѣе, нѣтъ повода отчаиваться или негодовать; несмотря на исключительность нашего печальнаго положенія, несмотря на то, что и сочувствіе ему должно, естественно, съ теченіемъ времени ослабѣвать, хотя бы потому, что новыя бѣдствія создаютъ безостановочно новыя жертвы, все же мы должны, по совѣсти признать, что помощь оказанная намъ Женевскимъ Международнымъ Центромъ — къ вышей выгодѣ его же членовъ — несомнѣнно внесла улучшеніе въ нашу бытъ; что въ самый трудный періодъ посланнаго намъ испытанія, приспособленія къ новымъ условіямъ существованія, мы не были оставлены на произволъ судьбы; къ тому же болѣе удачливые изъ насъ въ большей степени воспользовались предоставленными намъ «возможностями».

Если, дѣйствительно, «рекомендаціи» соглашенія (Agreement) 1928 г. будутъ въ скоромъ времени превращены въ опредѣленныя обязательства со стороны странъ, которыя ихъ подпишутъ, то ждаться намъ на людское равнодушіе, безучастіе къ нашему горю, какъ будто было бы не пристойно, въ особенности если принять во вниманіе, съ какими трудностями сопряжено согласованіе многоголоваго и далеко не единодушнаго Женевского Международнаго Центра.

К. Гукльевичъ.



## КРИТИКА И БИБЛИОГРАФІЯ

---

Галина Кузнецова. Прологъ. Изд. «Совр. Записки». Парижъ, 1933.

Произведенія повѣствовательной литературы можно распределить по двумъ главнымъ категориямъ: одни остаются въ нашемъ сознаниі какъ прежде всего памятники искусства, воплощенной въ художественныхъ образахъ мысли; между нами и ими всегда остается какое-то разстояніе, они всегда сохраняютъ для насъ свое собственное, объективное существованіе. По мѣрѣ того, какъ сами мы измѣняемся, мѣняется и наше отношеніе къ нимъ, — но такъ, что мы можемъ прослѣдить этапы этого, т. е. такъ, что въ сущности, при повторномъ чтеніи одной изъ подобныхъ книгъ, мы ее воспринимаемъ какъ другую, новую книгу. Другія воспринимаются совершенно иначе: воспринимаются не повѣствованіе о людяхъ и событіяхъ, но сами люди и эти событія, сливаясь въ нашей памяти съ людьми, которыхъ мы лично знали и съ событіями, которыхъ мы сами были участниками или свидѣтелями. Надо сдѣлать надъ собою большое усиліе, чтобы дать себѣ отчетъ, какъ написаны «Война и Миръ» или рассказы Чехова, ибо, однажды воспринявши эти произведенія, мы уже не мыслимъ ихъ внѣ насъ. Къ этой категоріи принадлежитъ романъ Г. Кузнецовой. Сперва одно можетъ показаться страннымъ. Казалось-бы, что произведеніе тѣмъ должно быть жизненнѣе, чѣмъ оно нагляднее и чѣмъ больше подробностей мы узнаемъ о людяхъ и о томъ, что съ ними случилось. Между тѣмъ, по прочтеніи романа Г. Кузнецовой, мы чувствуемъ, что, такъ сказать, расширили кругъ нашихъ знакомствъ, мы «вѣрнемъ» въ героиню романа, въ ея мужа, ея родителей, ея подругъ — и въ то же время мы имѣемъ о нихъ и о ихъ жизни лишь самое смутное представленіе, — какіе то безформенные обрывки впечатлѣній, подобные ключьямъ готового разсѣяться тумана. Но именно потому содержаніе книги такъ легко и становится нашимъ собственнымъ содержаніемъ, частью нашего собственного запаса воспоминаній и переживаній: вѣдь мы самихъ себя, нашихъ знакомыхъ, ихъ и нашу жизнь помнимъ такъ, какъ помнить «героиня» романа себя и своихъ знакомыхъ. Авторъ искусно обновилъ и осмыслилъ избранную имъ форму романа-воспоминаній. Обычно подобныя фиктивные воспоминанія являются на самомъ дѣлѣ «хроникой», такъ сказать, слѣдующей, шагъ за шагомъ, за событіями, регистрирующей ихъ по мѣрѣ ихъ протеченія. Авторъ тогда поступаетъ какъ историкъ, ставящій себѣ цѣлью изобразить прошлое, согласно требованію Ранке, «какъ оно было на самомъ дѣ-

тѣхъ, объективируя его. Но подлинныя воспоминанія даютъ совсѣмъ иную картину жизни. Только путемъ провѣрки ея воспоминаніемъ о ней искрывается весь ея своеобразный трагизмъ. Во-первыхъ, — ея однообразіе, въ силу чего дни и тоды наславляются другъ на друга, образуя, въ памяти, всего лишь нѣсколько мгновений, такъ что оказывается, что мы жили очень недолго. Во-вторыхъ, ея — съ точки зрѣнія воспринимающаго субъекта, — отрывочность, несогласованность, неполнота, неясность. Я хочу интегрировать береженные памятью образы человѣка, съ которымъ прожилъ всю жизнь — и не могу: они остаются разсѣянными, другъ на друга не накладывающимися; въ одномъ изъ нихъ я не узнаю другихъ — и я уже не знаю, не понимаю, какъ они все-таки объединяются моею любовью, и спрашиваю себя: той ли самой любовью я люблю его сейчасъ, какою любилъ когда-то, или, что то же: того-же ли самаго человѣка я люблю. И если я все-таки люблю его, то это потому, что, утративъ тождественность самому себѣ, онъ — по разному въ разные моменты моей и его жизни — мой, мнѣ принадлежитъ, какъ и я самъ, распавшись на множество различ- ся», все-же принадлежитъ себѣ. Такъ любовью возстанавливается единство жизни, состоящей изъ ряда послѣдовательныхъ умираній. Функция любви — биологическая. Любовью мы держимся за жизнь, сопротивляемся ей. Поэтому роль выбора здѣсь такъ ничтожна: мы любимъ тѣхъ, съ кѣмъ столкнула насъ жизнь, какъ любить героиню романа Г. Кузнецовой своихъ подругъ, своего мужа. Въ томъ, что авторъ заставляетъ и насъ любить его героиню и съ нею вмѣстѣ тѣхъ, кого она любитъ, хотя мы, подобно ей, почти ничего о нихъ не знаемъ, какъ не знаемъ и о ней, — тайна его искусства, дѣйствующаго тонкими и безошибочными внушеніями. Это — женское въ высшей степени искусство. Женское начало и есть начало неразсуждающей, не основанной на выборѣ, на оцѣнкѣ, обусловленной непосредственнымъ чувствомъ благодати всякой жизни, все пріемлющей любви, начало чисто душевное, одушевляющее, животворящее, но еще не осмысливающее жизни, требующее своего восполненія въ началѣ духовномъ, мужскомъ, которое въ свою очередь нуждается въ женскомъ, ибо безъ него становится безблагодатнымъ, демоическимъ, мертвящимъ. Мнѣ кажется, что размноженіе и повышеніе качества женской литературы — характерная черта какъ разъ нашего времени, этого поистинѣ жестокаго вѣка: жизнь словно сама вноситъ «поправки» въ свою эволюцію.

## П. Бицилли.

Екатерина Бакунина. Тѣло. Романъ. Изд. «Парабола», 1933 г.

«То, что я пишу отъ перваго лица, вовсе не значить, что я пишу о себѣ», съ первыхъ строкъ предупреждаетъ читателя Екатерина Бакунина, какъ будто предчувствуя, что ея книгу будутъ воспринимать какъ биографію или исповѣдь и тѣмъ оспаривать за нею рангъ художественнаго произведенія. И, дѣйствительно, въ этомъ духѣ высказались нѣкоторые критики, независимо отъ своего положительнаго

или отрицательного отношения къ роману. Такъ, одинъ критикъ, давший въ общемъ положительный отзывъ о «Тѣлѣ», смягчить и ослабить его, озаглавивъ свой фельетонъ «Человѣческой Документъ».

Эти осторожныя, словно извиняющіяся за положительную оцѣнку, слова не даютъ правильнаго представленія о романѣ Бакуниной. Вѣрны ли вышеупомянутыя строки автора, т. е. о ней ли самой написана книга — не имѣетъ значенія. Какъ всякое художественное произведеніе, независимо отъ того, создано ли оно по личнымъ воспоминаніямъ, по наблюденіямъ или свободной игрой воображенія, этотъ романъ написанъ не только о себѣ, въ немъ есть «общезначимость», сверхъиндивидуальность.

Извѣстное утвержденіе, что каждый человѣкъ можетъ написать одинъ романъ — романъ своей жизни, имѣетъ только видимость истины. Казалось бы, трудно представить себѣ, чтобы цѣлая человѣческая жизнь не накопила опыта, переживаній, наблюденій, достаточныхъ для одной книги. Вѣроятно, это такъ и есть и матеріала для одной книги хватитъ у каждаго. Но чтобы создать ее изъ этого матеріала, нужно художественное дарованіе, мало того, даже одаренный человѣкъ въ первой книгѣ легче изложитъ реминисценціи прочитанныхъ книгъ отголоски чужихъ переживаній, чѣмъ покажетъ свое лицо, воплотитъ свои переживанія. Умѣніе говорить правду дается не многимъ. Екатерина Бакунина этимъ умѣніемъ обладаетъ въ большой степени. Зоркость, напряженная воля къ правдѣ, способность эту правду видѣть, чувствовать и показывать другимъ въ ней незаурядны. Поэтому книга ея не «человѣческой документъ», не рассказъ о случайныхъ индивидуальныхъ переживаніяхъ, а художественный синтезъ, искусство. Такъ любить своего ребенка, такъ ходить на рынокъ, такъ готовить пищу, такъ тоскуетъ не какая то опредѣленная женщина, Екатерина Бакунина, нѣтъ, это правда о многихъ, обо всѣхъ, это общезначимая, хотя и субъективная, художественная правда.

Книга Бакуниной показываетъ намъ жизнь женщины въ эмиграціи въ Парижѣ. Но какъ въ каждомъ истинномъ художественномъ произведеніи — это не только Парижъ и эмиграція, но и какой то особый, «свой» міръ. Очень тяжелый, болѣзненный, неприятный міръ. Все тяжелое, «неуютное» выражено въ книгѣ съ большой силой. И то, какъ унижены покупки на базарѣ при бюджетѣ въ десять франковъ на цѣлую семью и какъ отвратительна варка обѣда изъ отбросовъ или стирка грязнаго бѣлья, и какъ болѣзненно чужда русской интеллигентной матери ея, выросшая на парижскихъ улицахъ дочь, и какъ гнусенъ неприятный отъ трудовой жизни и нелюбимый мужъ. Все тяжкое и отвратительное: обезображивающее приближеніе старости, уродство неодоухотворенной физической любви, неприглядность бѣднаго и грязнаго быта, наконецъ, болѣе духовныя переживанія — боязнь людей, одиночество, нелюбовь, переходящая въ жалость — все это передано превосходно.

И все это связано единымъ фономъ, одной объединяющей темой — «тѣла». Физическая близость безъ любви, материнская связь съ ребенкомъ безъ симпатіи, наконецъ даже ѣда безъ... аппетита... Цѣлая

симфонія голодовъ, болей, тошнотъ, влеченій, отталкиваній и отаршеній гѣта.

Во всемъ этомъ много правды, хотя, можетъ быть, и не совсѣмъ простой, а стилизованной. Но только ли правды? Къ сожалѣнію, на этотъ вопросъ приходится отвѣтить отрицательно. Въ книгѣ есть и ложь. Для художественной правды вѣдь недостаточно субъективной правдивости автора. Произведеніе правдиво, если истоки его самостоятельны, а не замутнены подражаніемъ, признакомъ слабости. Но рѣдко бываетъ, что творческое усиліе выразить себя, воплотить свое видѣніе жизни, не ослабѣетъ на протяженіи всей книги. Разумѣется, какъ бы ни было автономно, первично творчество художника, въ немъ всегда можно найти литературныя вліянія. Но плохо, когда эти вліянія внѣшнія, не переработаны и когда это — плохія вліянія.

Въ книгѣ Бакуниной можно найти такія вліянія — отголоски одной нацумѣвшей книги. Мы не будемъ здѣсь касаться вопроса — оправданъ ли романъ «Любовникъ Лэди Чаттерлей» въ своей необычайной еще въ непорнографической литературѣ откровенности. Но откровенность Лоренса объясняется его міровоззрѣніемъ, его философией. Лоренсъ очень тенденціозный писатель, и книги его не менѣе открыто тенденціозны, чѣмъ «Что дѣлать?» Чернышевскаго или «Санинъ». Но по крайней мѣрѣ, его проповѣдь, его романтика и метафизика физической любви самостоятельны и цѣльны, а не подражательны, какъ у Бакуниной. Бакунина тоже, какъ всѣ тенденціозные романисты, захотѣла на ряду съ отрицательнымъ показать положительное, «случъ свѣта въ темномъ царствѣ». И она, какъ это дѣлали ея предшественники отъ Чернышевскаго до Эренбурга, постаралась нарисовать рядомъ съ отрицательными и положительный типъ, «героя». Такого она нашла въ лицѣ моряка англичанина, обладающаго изумительными свойствами, умѣющаго давать «сказочныя» любовныя утѣхи. Она попыталась сказать въ своей книгѣ: все въ мірѣ отарнительно, кромѣ истинной любви, зато эта любовь восхитительна. Для изображенія этой восхитительности она не пожалѣла яркихъ, олеографическихкихъ красокъ. Но талантъ ея, сильный въ изображеніи отвратительнаго, тутъ ей измѣнилъ и на иной вкусъ «восхитительное» покажется, пожалуй, противнымъ. Но страницы, о которыхъ мы говоримъ, не противны, а скорѣе смѣшны въ своей наивной убѣжденности и безпомощной фантазии. Жаль будетъ, если онѣ оттолкнутъ отъ книги многихъ читателей и привлекутъ другихъ, тѣхъ, которымъ лучше бы предославить авторамъ, находящимся внѣ литературы.

М. Цетлинъ.

*Alfred Haeckel. Die Trinität in der Kunst. Reuther und Reichard. Berlin.*

Иконографическія изслѣдованія столь долгое время преобладали въ области византійскаго и русскаго искусства, надъ изученіемъ самаго художественнаго стиля, въ причіи нась въ концѣ концовъ относиться къ нимъ съ недовѣріемъ, неоправданнымъ существомъ дѣ-

па. Христианская иконография по отношению къ исторіи христианскаго искусства — наука вспомогательная, но такая, безъ помощи которой и въ самомъ дѣлѣ невозможно обойтись. Къ тому же значеніе ея не ограничивается исторіей искусства, но простирается и на исторію самого христианства, а значить культуры вообще. Трактовать даже и чисто-иконографическія темы можно весьма различно, — начиная отъ работъ, классифицирующихъ изображенія Благовѣщенія, исходя изъ того находится ли въ нихъ Богоматерь направо отъ Ангела или наоборотъ, и кончая такими замѣчательными культурно-историческими изслѣдованіями, какъ работы Эмиля Маля, посвященные религиозному искусству западнаго средневѣковья и Возрожденія.

Книга А. Г. Гаккеля объ иконографіи Св. Троицы, изданная по нѣмецки, но извлеченіе изъ которой появилось въ печати и на русскомъ языкѣ, относится ко второй категоріи иконографическихъ изслѣдованій, т. е. не механически, а осмысленно изучаетъ какъ западныя, такъ и восточно-христианскія изображенія одной изъ самыхъ трудно-изобразимыхъ, хотя и самыхъ существенныхъ темъ христианскаго искусства. Вопросъ о томъ, какимъ способомъ зрительно передается тайна троичности, одинаково важенъ съ точки зрѣнія художественной и съ точки зрѣнія религиозной. Различія суть одновременно религиозныя и стилистическія различія. Вотъ почему такъ важно указаніе автора на предпочтеніе отдаваемое восточнымъ христианствомъ тому символическому изображенію Св. Троицы, прекраснѣйшій образецъ котораго являетъ собой знаменитая икона Андрея Рублева; тогда какъ на Западѣ преобладаетъ болѣе конкретное и буквальное изображеніе, такъ что именно здѣсь, въ концѣ концовъ, создается типъ нѣкогда трехголоватаго божества, повліявшій въ XVI вѣкѣ и на русское иконописаніе.

Превосходная, необыкновенно тщательно исполненная работа А. Г. Гаккеля принесетъ большую пользу исторіи русскаго и европейскаго религиознаго искусства, а также изученію историческихъ судьбъ самой христианской религіи.

В. Вейдле.

П. Биццлли. Мѣсто Ренессанса въ исторіи культуры. Ежегодникъ Софійскаго Университета, т. 29 (1). Софія. 1933.

Краткій, всего въ сто съ небольшимъ страницъ, синтетическій обзоръ италянскаго Возрожденія и роли сыгранной имъ въ развитіи европейской культуры, только что опубликованный однимъ изъ лучшихъ нашихъ историковъ, глубиной мысли и мастерствомъ исторической характеристики превосходитъ большинство написанныхъ на эту тему объемистыхъ трудовъ. П. М. Биццлли указываетъ въ предисловіи, что не ставилъ себѣ дѣлью заново пересмотрѣть установившіяся за послѣднее время воззрѣнія на жизнь и творчество руководящихъ дѣятелей эпохи. Его задачей было скорѣй установить внутреннее ихъ взаимоотношеніе, уловить точку пересѣченія индивидуальных ихъ путей и такимъ образомъ найти то, что онъ называетъ «формулой» Возрожденія, т. е. возможность опредѣлить

общий его облик или образъ. Задачи такого рода нужно признать очередными для исторической науки вообще, слишкомъ часто въ недавнемъ прошломъ забывавшей цѣлое за изученіемъ частей, хотя безъ пониманія цѣлаго не могутъ быть поняты и части. Успѣхъ П. М. Бицилли въ достиженіи поставленной имъ себѣ цѣли имѣеть поэтому значеніе выходящее за предѣлы той области, которую онъ избралъ на этогъ разѣ предметомъ своего изслѣдованія.

Подробный разборъ книги потребовалъ бы много мѣста; ограничусь поэтому краткими замѣчаніями по вопросамъ кажущимся мнѣ особенно существенными. Вниманіе автора главнымъ образомъ обращено на тѣ представленія о человѣкѣ и мѣстѣ его въ мірѣ, что господствовали или, лучше сказать, творчески вырабатывались въ изучаемую имъ эпоху. Область изслѣдованія эта давно уже была указана Дильтеемъ, но серьезныхъ работъ, къ ней относящихся, имѣется все еще мало, такъ какъ она предъявляетъ высокія требованія къ уму, воображенію и синтезирующему дару историка. Книга П. М. Бицилли — и это, быть можетъ, самое цѣнное и новое, что въ ней есть — съ небывалой еще проникательностью разсматриваетъ лежащее въ основѣ Возрожденія представленіе о личности. При различныхъ отбѣнкахъ пониманія личности у разныхъ дѣятелей Возрожденія, ихъ всѣхъ объединяетъ то, что они видятъ ее не въ становленіи, не въ развитіи, а въ неподвижной законченности, въ готовомъ совершенствѣ. Далѣе П. М. Бицилли чрезвычайно убѣдительно показываетъ, что эта черта Возрожденія есть его итальянская черта и что дальнѣйшее развитіе представленій о личности происходитъ уже въ Испаніи, Франціи, Англійи и (прибавимъ отъ себя) Германіи. Онъ къ тому же съ самаго начала отказывается — въ этомъ тоже огромная его заслуга — путемъ механическаго истолкованія «вѣяній» переносить, какъ это часто дѣлалось до него, черты итальянскаго Возрожденія въ характеристику нѣкакого абстрактнаго «Возрожденія вообще»; скорѣе онъ думаетъ, что «красивѣтъ французской культуры, какъ и германской, и англійской, и испанской начинается столько же съ усвоенія отдѣльныхъ элементовъ культуры Ренессанса, сколько съ преодоленія ею въ цѣломъ, съ осуществленія тѣхъ духовныхъ тенденцій, которыя знаменуютъ собою исходъ Ренессанса».

Наибольшія сомнѣнія (за исключеніемъ мелочей, о которыхъ не стоить говорить) вызываютъ въ книгѣ П. М. Бицилли какъ разѣ пониманіе этого «исхода». Думаю даже, что единственная слабая сторона его работы заключается въ недооцѣнкѣ той эпохи итальянской культуры, что пришла на смѣну классическому періоду Возрожденія. Въ исторіи искусства (да и литературы) эпоха эта связывается съ понятіемъ стиля барокко, восторжествовавшаго изъ Италіи послѣ смерти Рафаэля и Аріосто и отсюда распространившагося по всей Европѣ, гдѣ творческая переработка его оказалась еще болѣе плодотворной, чѣмъ такое же усвоеніе культурныхъ формъ quattrocento и ранняго cinquecento. Кроме въ своей недавней книгѣ («Исторія Италіи въ эпоху барокко») все еще защищаетъ старую точку зрѣнія на это время, какъ на время уладка и разложенія. П. М. Бицилли напрасно слѣ-

дусть за нимъ; взгляды эти давно поколеблены въ исторіи литературы и въ исторіи искусства. Микель-Анджело былъ однимъ изъ главныхъ творцовъ этого новаго стиля, захватившаго все искусство, весь укладъ жизни, творчества, религии. Духовныя тенденции, о которыхъ говорится въ только что приведенной цитатѣ, неотрывны отъ этого стиля и ихъ обнаруженія въ Италіи готовятъ многія ихъ послѣдствія въ остальной Европѣ. Даже враждующая съ этой эпохой итальянскаго искусства (и мысли! — она въ концѣ концовъ приводитъ къ Вико) нельзя игнорировать ея особенность, нельзя (ср. стр. 60) брать за одну скобку Аріосто и Тассо: ихъ глубокое стилистическое расхождение показалъ еще Ранке въ юношеской своей работѣ объ итальянской поэзіи. — Конечно, центрального мѣста въ книгѣ П. М. Винидли этотъ вопросъ объ исходѣ итальянскаго Возрожденія отнюдь и не занимаетъ, — но такова ужъ судьба рецензента: говорить о томъ, что ему кажется недостаткомъ, именно тамъ, гдѣ онъ не въ силахъ перечислить безспорныя и трудно исчерпаемыя достоинства.

В. Вейдле.

Свящ. Г. В. Флоровскій. Византійскіе Отцы. V-VIII. УМСА-Прессъ, Парижъ, 1933.

По поводу книги о. Г. Флоровскаго «Восточные Отцы IV-го вѣка», я старался показать (см. «Современныя Записки», вып. 43), что темы, волновавшія Отцовъ Церкви, имѣютъ существенное значеніе для философіи и для всего направленія культурнаго творчества. Новая книга его о «Византійскихъ Отцахъ V-VIII вв.» блестяще подтверждаетъ эту мысль, открывая глубокомысленную сущность христологическихъ споровъ V-VII вв. Она показываетъ, что въ спорахъ о чело́вѣчествѣ Спасителя обсуждалась также и антропологическая проблема. Ученія, отвергнутыя церковью, говоритъ Флоровскій, содержатъ въ себѣ или «антропологическій минимализмъ», т. е. самоуничиженіе чело́вѣка и гнушеніе имъ (напр., въ монофизитствѣ, въ монофелитствѣ) или противоположную крайность — антропологическій максимализмъ (напр., въ несторіанствѣ). Согласно ученію Церкви, Богочело́вѣкъ Иисусъ Христосъ есть Богъ-Слово, ставшій чело́вѣкомъ, не переставая быть Богомъ, т. е. сочетая въ одномъ лицѣ неслиянно, но нераздѣльно двѣ природы — Божественную и чело́вѣческую. По своему Божеству, Онъ единосущенъ Богу-Отцу, по своему чело́вѣчеству, Онъ единосущенъ намъ, людямъ. Только при условіи возможности такого сочетанія достигимъ отстаиваемый Отцами Церкви идеалъ «обоженія» чело́вѣка, т. е. осуществленія абсолютнаго нравственнаго совершенства и абсолютной полноты жизни. Кто отвергаетъ идею Богочело́вѣка въ указанномъ смыслѣ, или принимая чело́вѣческую природу или наоборотъ, слишкомъ возвеличивая ее, тотъ роковымъ образомъ принужденъ отказаться отъ идеала «обоженія» чело́вѣка. Такъ, говоритъ Флоровскій, «въ созерцаніи монофизитовъ чело́вѣчество во Христѣ было какъ бы пассивнымъ объектомъ Божественнаго воздѣйствія. Обоженіе представлялось какъ односторонній актъ Божества, безъ достаточнаго учета синергизма чело́вѣческой свободы».

Въ то же заблужденіе впадали, какъ это раскрылъ Максимъ Исповѣдникъ, также и монофелиты, растворявшіе человѣческую волю Христа въ Его божественной волѣ. Но безъ свободнаго сотрудничества человѣка съ Богомъ невозможно обоженіе, т. е. вѣстстороннее участіе въ полнотѣ и совершенствѣ Божественной жизни.

Къ тому-же результату приводитъ и антропологическій максимализмъ. Такъ, напр., согласно Несторію, Богъ-Слово и Христосъ суть два различные субъекта; поэтому для Несторія «Спасителемъ былъ человѣкъ, хотя и соединенный съ Богомъ». Спасеніе для Несторія исчерпывалось моральнымъ, волевымъ, а не онтологическимъ соединеніемъ человѣчества съ Богомъ, — своеобразнымъ нравственнымъ согласованіемъ человѣка съ Богомъ. И объ «обоженіи», какъ религиозномъ идеалѣ, Несторій не могъ и не рѣшался говорить.

Такимъ образомъ, споръ, начавшійся вопросомъ, какъ называть Дѣву Марію — Богородицею или Христородицею и тянувшійся три вѣка, пройдя весьма различныя фазы, оказывается выраженіемъ существенныхъ различій въ міропониманіи, сохраняющихся и до нашего времени только подъ другими терминами и вообще въ иной внѣшней формѣ. Особенное значеніе приобретаетъ сущность его въ наше время: отрицаніе идеала «обоженія» (часто даже просто полное невѣдѣніе о немъ), отрицаніе абсолютной цѣнности личности и абсолютныхъ правъ ея, въ связи съ односторонними идеалами коммунизма, шовинистическаго націонализма, расизма и т. п. повели уже за собою крайній упадокъ уваженія къ личности, помраченіе правосознанія и т. п. проявленія варварства. Нельзя не приветствовать поэтому появленіе книги, содѣйствующей изученію и пониманію цѣнныхъ сторонъ христіанства, которое, несмотря на всѣ искаженія, какимъ подвергалось оно въ теченіе своей многовѣковой исторіи, несомнѣнно остается носителемъ наиболѣе гуманнаго, гармоническаго и возвышеннаго міропониманія.

Также и послѣдняя глава книги, гдѣ излагается исторія иконоборчества, посвящена все той же проблемѣ высокаго человѣческаго достоинства. Цѣнность православнаго иконопочитанія и значительныя истины, связанныя съ нимъ, въ высокой мѣрѣ уже выяснены въ русской литературѣ, напр., въ трудѣ о. П. Флоренскаго «Столпъ и утвержденіе истины» и о. С. Булгакова «Икона и иконопочитаніе».

Трудъ о. Г. Флоровскаго посвященъ весь замысловатымъ проблемамъ, но исторія ихъ изложена простымъ, яснымъ и живымъ языкомъ, который составляетъ также немалое достоинство книги.

Н. Лосскій.

*Marquis de Lur-Saluces. Lomonossov le prodigieux moujik. Paris, 1933.*

Ломоносовъ-естествоиспытатель въ Европѣ извѣстенъ и оцененъ давно, — раньше чѣмъ въ Россіи. Ломоносова-филолога Европа не знаетъ совсѣмъ. Ломоносовъ-поэтъ въ Россіи извѣстенъ по хрестоматіямъ, но оцененъ лишь очень немногими. Общепринятое представленіе о немъ, какъ поэтѣ, — что онъ былъ «представителемъ лож-



но-классицизма». Но гений Ломоносова проявлял себя во всемъ, за что этотъ поистинѣ «чудесный» (prodigieux) человекъ ни брался. Въ книгѣ маркиза де Луръ-Салюса дана всесторонняя характеристика оубка Ломоносова, какъ дѣятеля и какъ человека, характеристика умная, правильная и тонкая. Чувствуется, что автора увлекъ человекъ, о которомъ онъ пишетъ. Ломоносовъ у него вышелъ какъ живой\*). Впрочемъ любовнымъ, такъ сказать, пристрастіемъ автора къ своему герою объясняются тѣ подробности (о семьѣ Ломоносова, о его родинѣ), которыя можетъ быть и излишни для французскаго читателя, но которыя для русскаго не могутъ не представлять интереса. Было бы очень желательно, чтобы эта превосходная книга была переведена на русскій языкъ: въдъ такой общедоступной по изложенію и вмѣстѣ съ тѣмъ основанной на основательномъ знакомствѣ со всей литературой о Ломоносовѣ и освѣщающей всѣ стороны его жизни и дѣятельности биографіи его нѣтъ до сихъ поръ у насъ. Есть въ книгѣ нѣкоторыя неудачныя формулировки, спорныя утверждения, неточности — безъ нихъ обходится рѣдкая книга, — которыя я позволю себѣ отмѣтить въ томъ порядкѣ, въ какомъ онѣ слѣдуютъ. Расколъ былъ не ересью, а буквально расколомъ (схизма). Въ VII-ой гл. «Оубина» не Татьяна, а самъ Пушкинъ приветствуетъ Москву: Ахъ, братцы, какъ я былъ доволенъ... Сумароковъ не заслуживаетъ того пренебреженія, съ какимъ къ нему принято относиться (можетъ быть, въ этомъ повиненъ Пушкинъ), но великимъ поэтомъ (le grand poète) я бы все же его не назвалъ. Авторъ недооцѣнилъ роли Кантемира, какъ одного изъ создателей русскаго литературнаго языка, и онъ напрасно придаетъ значеніе тому, что Кантемиръ былъ выходцемъ изъ Молдавіи: языкъ сатиръ Кантемира, а также мало кому извѣстныхъ его дипломатическихъ депешъ поражаетъ своей свѣжестью, чистотою и богатствомъ. Аксаковъ и Самаринъ не были реакціонерами. Авторъ утверждаетъ, что Державинъ писалъ всего чаще «на заказъ» и совсѣмъ не пытался освободиться отъ «парализующаго ярма мепенатства». Какъ видно, онъ забылъ о Посланіи къ Храповицкому, а также о томъ, какъ объяснял Державинъ, почему, познакомившись ближе съ Екатериной, онъ уже не могъ написать ничего «вродѣ Фелицы». Гнѣдичъ не является создателемъ русскаго гексаметра: создатель его Тредьяковскій. Гнѣдичъ лишь оживилъ его переводомъ Иліады. Пушкинъ обновилъ языкъ, отойдя безповоротно отъ старо-славянскаго и обратившись къ фольклору, утверждаетъ авторъ. На самомъ дѣлѣ Пушкинъ черпалъ изъ обоихъ источниковъ. Старо-славянскій языкъ былъ и остается для русскіихъ вторымъ роднымъ языкомъ. Въ этомъ специфическая особенность отношенія, въ Россіи, перваго «чуждаго» языка къ бытовому — въ отличіе отъ отношенія латыни къ «простонароднымъ» языкамъ въ Европѣ. Это понялъ Ломоносовъ и въ этомъ главная заслуга его ученія о трехъ стиляхъ. П. Бицилли.

\*) Въ частности глубоко и мѣтко указаніе на духовную связь Ломоносова съ древней Русью, пережитки культуры которой сохранились на его родинѣ.

*Georges Vernadsky. La Charte constitutionnelle de l'Empire Russe de l'an 1820. Traduit du russe par Serge Oldenbourg. P. 1933.*

Трудъ проф. Вернадскаго посвященъ составленной Новосильцевымъ «Уставной Грамотѣ» — послѣднему конституціонному проекту царствованія Александра I. Дана исторія Грамоты, причемъ выискала связь ея происхожденія съ вышней политикой Александра, главнымъ образомъ, съ проблемой отысканія компромисса, при разрѣшеніи польскаго вопроса, между стремленіемъ Польши къ самостоятельности и желаніемъ сохранить цѣлостность Имперіи. Подробно анализировано содержаніе Грамоты и вскрыты ея источники — конституція Польши, Французская «Хартія» 1814 г., Конституція Вюртемберга, а также теоретическія сочиненія; при сопоставленіи Новосильцовскаго проекта съ его образцами, авторъ, путемъ пристальнаго изслѣдованія текстовъ, устанавливаетъ главныя тенденціи Грамоты, опредѣливши собою то, что «конституціонныя учрежденія обратились, въ ней, въ quasi-конституціонныя» (simili-constitutionnelles), а федеративныя начала въ «quasi-федеративныя». Очень интересна параллель, проводимая авторомъ между исторіями проектовъ Сперанскаго и Новосильцова. Въ обоихъ случаяхъ было приступлено къ ихъ частичному осуществленію. Въ первомъ случаѣ дѣло началось — и кончилось — съ органа, вѣнчающаго собою систему конституціонныхъ учреждений, предусмотрѣнныхъ проектомъ (Госуд. Совѣтъ), во второмъ — съ базиса этой системы: созданіе одного изъ намѣченныхъ проектомъ генераль-губернаторствъ. Тонкость и строгость историческаго и юридическаго анализа дѣлаютъ работу проф. Вернадскаго одними изъ цѣннѣйшихъ вкладовъ въ науку русской исторіи. Кажется, что о предметѣ, которому она посвящена, автору удалось сказать послѣднее слово. Сомнѣнія вызываютъ лишь общія заключенія относительно характера правленія Александра, къ какимъ пришелъ авторъ въ результатѣ своего изслѣдованія. Въ предисловіи и въ другихъ мѣстахъ, онъ возражаетъ противъ общепринятаго взгляда, согласно которому это царствованіе распадается на два періода: «прекрасное начало», затѣмъ — реакція. Правъ авторъ, указывая, что трудно провести точную хронологическую грань между обоими періодами, почему историки и разногласятъ въ этомъ между собою, — что Александръ никогда окончательно не отказывался отъ мысли ввести въ Россію конституцію и что его опытъ съ генераль-губернаторствомъ. Балансина доказываетъ, что онъ отнесся серьезно къ Новосильцовскому проекту, хотя дальнѣе этого опыта и не пошелъ. Надо отмѣтить, что авторъ и въ этомъ случаѣ не измѣняетъ своей обычной осторожности, и лишь предположительно и съ оговорками высказываетъ мысль, что если бы Александръ прожилъ дольше, быть можетъ, Уставной Грамотѣ суждено было бы войти въ жизнь. Но въ этомъ вопросѣ есть еще другая сторона: фактъ тотъ, что правительственная практика послѣднихъ лѣтъ царствованія все же сильно отличалась отъ той, которая была усвоена въ пору «дней Александровыхъ прекраснаго начала». Ее-то и приходится имѣть въ виду при разрѣшеніи вопроса, слѣ-

дуге-ли или нѣтъ говорить о реакціонномъ характерѣ конца царствованія. Есть доля правды и въ томъ, что высказываетъ авторъ по поводу насмѣшекъ современниковъ надъ медлительностью и колеблѣніями Александра I, проявленными имъ въ вопросѣ о введеніи конституціонныхъ учрежденій въ Россіи: «Ему не было бы ничего легче, какъ подписать какой-либо изъ подносимыхъ ему проектовъ. Но нельзя сказать съ увѣренностью, что бы изъ этого вышло». Нѣсколько выше авторъ отмѣчаетъ, что ни у Сперанскаго, ни у Новосильцова нѣтъ даже упоминанія о крѣпостномъ правѣ. Если бы тотъ или другой проектъ вошелъ въ жизнь, освобожденіе крестьянъ было бы сильно затруднено. Надо полагать, что именно это имѣетъ въ виду авторъ, оправдывая Александра. Однако, можно сомнѣваться въ томъ, чтобы нерешительность царя была обусловлена въ первую голову его обращеніемъ къ крѣпостному праву. Скорѣе — его автократическими влеченіями, которыя всегда какъ-то уживались въ немъ съ теоретическимъ, отвлеченнымъ либерализмомъ, той его двойственностью, которая едва-ли не коренилась въ его угаданномъ современниками «двоедушіи».

П. Бицилли.

*Prof. Dr W. Poeltka. Die Geobotanischen und klimatischen Verhältnisse der russischen Steppen (Verl. Paul Parey, Berlin).*

Книга В. Полетки является частью серіи научныхъ изслѣдованій по сельскому хозяйству, выпускаемой германскимъ министерствомъ земледѣлія. Трудъ В. Полетки вѣдьше не выходитъ изъ рамокъ климатическаго и геоботаническаго изученія русскихъ степныхъ странствъ. Систематизированный матеріалъ представляетъ несомнѣнный интересъ для специалистовъ-агрономовъ. Но книгѣ В. Полетки присущъ и другой признакъ значительности: выводы ея бросаютъ новый свѣтъ на области, не входящія какъ будто въ кругъ научной компетенціи автора. Новое изслѣдованіе степныхъ почвъ и климата мѣняетъ оцѣнку культурно-хозяйственныхъ перспективъ Россіи. Для русскаго читателя главнымъ образомъ въ этомъ интересъ нѣмецкой книги автора.

Работы В. Полетки, опубликованныя въ специальныхъ иностранныхъ журналахъ и его послѣдняя книга свидѣтельствуютъ, что русское крестьянское «дешевое», «самотечное» заселеніе великихъ равнинъ пришло теперь къ концу, натолкнувшись на непреодолимыя преграды стихійнаго порядка — ландшафты тайги и сухихъ степей. Мы присутствуемъ при переломѣ историческаго пути. Россія перестаетъ быть страной колонизирующей и колонизируемой внутри своихъ собственныхъ предѣловъ. Увеличеніе запасовъ питанія для растущаго населенія возможно, слѣдовательно, не путемъ увеличенія земельного фонда, а путемъ его интенсификаціи. Центръ тяжести геоботаническихъ и климатологическихъ выводовъ автора въ томъ, что и возможности интенсификаціи по сравненію съ европейскими условіями весьма ограничены. Мы приходимъ къ парадоксальному заключенію: Россія по природѣ не есть аграрная страна и остается въ формахъ

хозяйственного уклада только аграрной она не имѣть будущаго. Пять процентовъ территории Россіи занято ея посѣвной площадью. Исключительнаго заключенія В. Полетники убѣдительно свидѣтельствуя, что не по винѣ политической или социальной обстановки не освоены для земледѣльческой культуры эти пространства.

Пять «посѣвныхъ» процентовъ отъ общей территории расположены на земляхъ, называемыхъ В. Полетникомъ «атлантическимъ клиномъ» максимальнаго увлаженія Восточной Европы. Это треугольникъ, охваченный западной границей и линіей Петербургъ—Н Новгородъ—Одесса

Сейчасъ рушится въ Россіи одинъ изъ крупнѣйшихъ блефовъ совѣтской пятилѣтки; попытка создать грандіозныя «зернофабрики» на русскомъ Юго-Востокѣ и въ Киргизской степи. Было бы весьма неосмотрительно приписать это крушеніе только мертвающему воздействию системы. Излюбленная въ нынѣшней Россіи аналогія Америка-Россія въ этой области увлаженія Восточниковъ — на ряду съ представленіемъ о безконечномъ земельномъ резервѣ она всегда служила источникомъ туманныхъ и преувеличенныхъ надеждъ. Между тѣмъ степныя пространства С-Штатовъ не только расположены въ болѣе благоприятныхъ широгахъ, но представляютъ собой форму клина съ направлениемъ съ сѣвера на югъ, въ то время какъ евразійскія степи лягутъ полосой съ запада на востокъ. Распреденіе осадковъ въ степномъ «зерновомъ» районѣ Штатовъ равномернo, что чрезвычайно существенно съ продвиженіемъ на востокъ отъ «атлантическаго клина» максимальнаго увлаженія» прогрессивно и неуклонно падаютъ возможности интенсификаціи русскаго земледѣтія. Будь то примитивное крестьянское хозяйство или опытное поле подъ воздействиемъ научныхъ методовъ обработки — относительное паденіе аграрныхъ возможностей неизмѣнно. Дѣло не столько въ качествѣ почвъ степныхъ или таежныхъ пространствъ, сколько въ воздействіи климата на культивируемое растеніе. Колебанія не только годового хода температуръ, но и суточного, при общемъ недостаткѣ влажности, увеличиваетъ рискъ позднихъ весеннихъ и раннихъ осеннихъ заморозковъ. Степень континентальности по мѣрѣ продвиженія на Востокъ неуклонно растетъ, ставя непреодолимые предѣлы интенсификаціи и самой возможности сельскаго хозяйства. Уже въ Поволжьи земледѣліе является крайне неустойчивымъ и мыслимымъ лишь при наличіи большихъ страховыхъ резервовъ зерна или денежныхъ средствъ. Въ Самарской и Саратовской губ. за время съ 1891 г. по 1921 г. было пять полныхъ и «бѣдосходныхъ» неурожаевъ изъ-за засухи. Осѣдлая земледѣльческія хозяйства въ Киргизскихъ степяхъ, созданныя до войны переселенческимъ управлениемъ, такъ быстро распались не только по причинамъ политической смуты: они были обречены на неустойчивость въ силу геоботаническихъ и климатическихъ условий.

Котонизація Россіи, ея социальная исторія и психологія населенія складывались подъ влияніемъ мечты о «вольныхъ земляхъ» за далекимъ горизонтомъ, смутнаго ощущенія неиспользованныхъ возможностей и неразбуженныхъ силъ. Время трагическихъ переломовъ ого-

лило предель и этих возможностей. При все растущей аграрной перенаселенности, при очень высоком коэффициенте рождаемости населению некуда уйти. Продвижение в пространстве не разрешает проблемы, а только гасит надежды. Надо оставаться на месте, и идти вглубь — «землю рыть» в переносном и прямом значении этих слов. Как чисто аграрная страна, Россия обречена на вырождение и вымирание.

С. Шермань.

*Dr. Otto Schiller. Die Krise der sozialistischen Landwirtschaft in der Sowjetunion. 79. Sonderheft. «Berichte der Landwirtschaft». Verl. Paul Parey, Berlin 1933. S. 82.*

*Prof. Dr. H. Zörner. Das Agrarexperiment Sowjet-Russlands. Verl. Paul Parey, Berlin, 1933, S. 30.*

Появившуюся в февраль тек. года книгу Отто Шиллера: «Кризис социалистического сельского хозяйства в Советском Союзе», следует признать основоположной для изучения состояния русского сельского хозяйства в результате 3-летнего опыта его социализации. Автор ряд лет практически работал в русском сельском хозяйстве в рамках немецкой концессии, и третий год после ухода проф. Ауагена он занимает пост сельскохозяйственного эксперта при немецком посольстве в Москве. Автор не только располагает всеми необходимыми материалами, но он имеет возможность их проверять непосредственным наблюдением действительности. При большой сжатости изложения небольшая книга прямо насыщена материалом. Книга написана в объективном тоне, но, конечно, официальное положение автора заставляет его быть сдержанным в оценках.

Русское сельское хозяйство находится, по мнению Шиллера, в кризисе, который не является следствием какого-либо случайного неурожая, а его «ослабленной насильственными воздействиями последних лет производительности». Население бежало густыми толпами на новостройки, в промышленность, в города и забивало в своих подчас бесплодных скитаниях по странам все пути сообщения «В 1932 г. значительная часть населения находилась в непрерывном передвижении (курсив Шиллера)... Целые деревни запустели, и в кризисных районах можно было встретить оставленные избы с окнами заколоченными досками». С сокращением строительства в текущем году бежать уже будет некуда; наоборот, многим отходникам придется вернуться.

Данным советской статистики о громадном росте посевов под пятилеткой автор мало доверяет. В самых различных местах крестьяне заврали автора, что «земля пустует». «Если бы не статистика», пишет автор, «то по внешнему взгляду трудно себе представить, чтобы в последние годы произошло расширение посевной площади. В лучшем случае земледельцы несколько продвинулись в районы низкой производительности земли, в то время

какъ въ старыхъ земледѣльческихъ районахъ въ результатѣ этихъ кризисныхъ явленій и отлива населенія плодородная земля лежитъ въ пустѣ». Да и какой толкъ въ расширеніи посѣвовъ, когда поля находятся «прямо въ одинакомъ состояніи».

Снабженіе тракторами не могло помочь земледѣлю хотя бы уже потому, что параллельно численность живого инвентаря сократилась примѣрно наполовину; тяговая сила земледѣія не возросла, а сократилась на одну треть (авторъ ошибочно пишетъ на 50%). Тракторами было обработано въ 1932 г. не болѣе 15-20% пашни. Благодаря частой порчѣ тракторовъ нельзя ожидать быстрого роста доли пашни, обработанной тракторами. Агрикультурныя мѣропріятія, энергично проводящіяся Совѣтской властью, вроде введенія улучшенныхъ сѣмянъ, примѣненія минеральныхъ удобреній и т. д., безплодны, пока поля плохо обрабатываются. Наиболѣе разрушительныя послѣдствія принудительная коллективизация имѣла въ сферѣ скотоводства. По вычисленіямъ Шиллера поголовье пользовательнаго скота сократилось на 60% за пятилѣтку.

При сборкѣ хлѣба въ 1932 г. впервые обнаружилось, что крестьянство, объединенное въ колхозы, способно оказывать активное сопротивленіе. Даже мѣстные коммунисты оказались не совсѣмъ надежными. О репрессіяхъ авторъ упоминаетъ вскользь: «Дѣло дошло до новыхъ массовыхъ выселеній. Цѣлыя деревни, на Сѣверномъ Кавказѣ даже три района въ полномъ составѣ, были сосланы. Идетъ грандіозная чистка въ колхозахъ...»

Рядъ главъ посвященъ характеристикѣ и оцѣнкѣ послѣднихъ zig-zagовъ Совѣтской политики. «Аграрно-политическія мѣропріятія 1932 года (колхозная торговля, сокращеніе контрактации, постоянныя бригады, новыя указанія о распредѣленіи доходовъ), не привели къ сколько-нибудь существенному улучшенію. Это были полумѣры, которыя только при послѣдовательномъ ихъ развитіи въ теченіе долгаго времени могли-бы оказаться дѣйствительными». Что касается послѣднихъ мѣропріятій Совѣтской власти, то авторъ характеризуетъ ихъ, какъ введеніе въ земледѣіи осаднаго положенія. Населеніе отдано во власть командированныхъ на мѣста партійцевъ. «Кризисъ», по мнѣнію автора, «своего апогея еще не достигъ. Соціалистическое земледѣіе еще не стабилизировано».

Лишь въ одномъ пунктѣ мы не согласны съ почтеннымъ авторомъ. Онъ постоянно подчеркиваетъ, что «въ минимумѣ» въ этой системѣ находится русскій «человѣкъ». Однако, тотъ-же русскій крестьянинъ въ весьма трудныхъ условіяхъ Нэпа сумѣлъ возстановить разрушенное подъ военнымъ коммунизмомъ сельское хозяйство. Изъ этого явствуетъ, что «въ минимумѣ» не человѣкъ, а система.

На этой послѣдней точкѣ зрѣнія стоитъ авторъ брошюры. «Аграрный экспериментъ Совѣтской Россіи», профессоръ с.-х. экономіи Гансъ Цернеръ. И его работа является результатомъ научной поѣздки по Россіи. Однако, задачей Цернера не является систематизированіе фактовъ, а лишь теоретическое объясненіе неудачи соціалистическаго эксперимента, каковую онъ считаетъ данной. Съ этой точки зрѣнія зада-

ча выполнена удачно, и брошюра Цернера является полезным дополнением къ труду Шиллера.

Въ заключительной части авторъ разсматриваетъ вопросъ, является ли неудача слѣдствіемъ недостатковъ выполненія, слишкомъ стремительныхъ темповъ или несостоятельности самого задания. Цернеръ считаетъ несостоятельнымъ самое задание. «При свободномъ экономическомъ развитіи», говоритъ Цернеръ, люди ставятъ себѣ задачи, которыя соотвѣтствуютъ ихъ умственнымъ даннымъ, ихъ способностямъ... Попытка въ рамкахъ государственнаго плановаго хозяйства обслужить громадную русскую хозяйственную область обозначаетъ постановку неисполнимой задачи... Вообразили себѣ, что людей можно «закъ колесики вправлять въ огромный механизмъ, что одни техническія преимущества должны уже тѣмъ самымъ обезпечить успѣхъ въ сельскомъ хозяйствѣ. Не дооцѣнивали хозяйственной мощи индидида въ узко очерченныхъ рамкахъ крестьянскаго семейнаго хозяйства, и переоцѣнивали эффективность человѣческаго труда въ техническихъ болѣе совершенномъ хозяйственномъ аппаратѣ... Плановое строительство, какъ его предполагалось осуществить въ Россіи, необходимо требуетъ далеко идущей централизаціи и концентраціи диктаторской власти у верхушки; въ этомъ лежитъ трагизмъ данной системы». Въ этомъ усматриваетъ Цернеръ корень неизбѣжнаго конфликта такой власти со всякой критически мыслящей интеллигенціей. Замѣчанія прф. Цернера намъ представляются правильными.

**Б. Бруцкскъ.**

*Lancelot Lawton. An economic history of Soviet Russia. V. I a. II. P. IX+629. London, Macmillan and Co.*

«Моя задача», пишетъ Лотонъ въ предисловіи, «состоитъ въ томъ, чтобы дать обстоятельный и объективный обзоръ важнѣйшихъ теченій и событій русской революціи въ такой формѣ, которая была-бы доступна не только для экономистовъ, но и для читателей, не обладающихъ специальными экономическими познаніями». Эту задачу авторъ въ своемъ двухтомномъ трудѣ выполнилъ удачно. Последнѣйшесколько главъ, посвященныхъ до-коммунистической Россіи, авторъ шагъ за шагомъ прослѣживаетъ за 15 лѣтъ многообразное развитіе экономической жизни Россіи подъ большевистской властью, останавливается подробно на вопросахъ, которые жизнь послѣдовательно ставила, и на спорахъ, которые возникали въ средѣ большевиковъ, по поводу ихъ рѣшенія. Мѣстами историческое изложеніе, прерывается систематическимъ разсмотрѣніемъ того или другаго вопроса, какъ положеніе рабочихъ, состояніе сельскаго хозяйства, аккумуляція капитала, кредитная система и пр. Авторъ не только хорошо знакомъ съ совѣтской литературой, но, повидимому, имѣлъ возможность непосредственно наблюдать русскую жизнь. Благодаря этому онъ совершенно иммуненъ по отношенію къ большевистской пропагандѣ и составляетъ себѣ самостоятельное и объективное сужденіе о событіяхъ.

Книга рассчитана больше для широкой публики, чѣмъ для экономистовъ. Для послѣднихъ она недостаточно документирована, и статистическія цифры въ ней недостаточно систематизированы и обработаны.

Слабой стороной книги является тотъ фактъ, что автору, посвятившему 600 страницъ детальному разсмотрѣнію развитія величайшей социальной революціи, не удалось на основаніи своего изслѣдованія сдѣлать какіе-либо интересные общіе выводы. Заключительная часть книги занимаетъ всего 2 съ половиной страницы, и высказанныя въ ней сужденія частью плохо вяжутся со всѣмъ предыдущимъ изложеніемъ.

Большевизмъ, по мнѣнію Лотона, есть социализмъ, осуществляемый серьезно и фанатично. Капитализмъ и социализмъ стремятся къ одной и той же цѣли — къ созданію изобилія матеріальныхъ благъ, какъ основы достойнаго человѣческаго существованія. Капитализму дѣйствительно удалось создать изобиліе матеріальныхъ благъ, но ему не удалось всѣхъ обезпечить покупательными средствами для ихъ пріобрѣтенія. Большевизму тоже удалось создать изобиліе матеріальныхъ благъ, но только не тѣхъ, которыя нужны для удобной жизни. Деньги большевизмъ раздаетъ щедро, но, въ противоположность капитализму, онъ не заботится объ ихъ покупательной силѣ. Неравенство имѣется и здѣсь, и тамъ, но подъ большевизмомъ оно слабѣе выражено. Надежда, что подъ социализмомъ эгоизмъ исчезнетъ, въ Совѣтской Россіи не оправдалась; наоборотъ, съ. проявится здѣсь въ самыхъ отвратительныхъ формахъ. «Объ такъ назыв. системы, капитализмъ и социализмъ, построены на ложной основѣ, которая лишаетъ большинство человѣческихъ существъ дѣйствительнаго самоуваженія и отнимаетъ у нихъ радость и гордость творческой работы».

Можно быть любого мнѣнія о капитализмѣ, но изъ книги Лотона съ очевидностью вытекаетъ, что сравнивать экономическіе результаты капитализма и совѣтскаго социализма не приходится. Лотонъ многократно указываетъ, что коммунистическое хозяйство производитъ не тѣ блага, которыя служатъ удовлетворенію потребностей населенія. Въ сущности это вѣдь самое худшее, что можно сказать про экономическую систему.

Неудача большевизмаго опыта не разочаровываетъ, впрочемъ, Лотона въ социализмъ. Онъ пытается установить наличность особыхъ причинъ, обусловившихъ эту неудачу. Во-первыхъ, по мнѣнію Лотона, «развитіе революціи было опредѣлено не кучкой идеалистовъ-большевиковъ, а полуиталистическимъ, полуварварскимъ духомъ массъ...» Это утвержденіе несомнѣнно ошибочно, ибо въ русской революціи какъ разъ наоборотъ, хорошо организованная кучка фанатиковъ навязала народнымъ массамъ формы жизни, которыя имъ въ сущности были чужды. Во-вторыхъ, Лотонъ указываетъ, что на смѣну старымъ большевикамъ выдвинулись теперь люди, которые по существу «связаны не авангардомъ пролетаріата, а авангардомъ буржуазіи». И это утвержденіе явно ошибочно. Совершенно очевидно, что подборъ теперешнихъ руководителей совѣтскаго хозяйства совершилъ-



ется на основанияхъ, которыя не имѣютъ ничего общаго съ тѣми, на которыхъ происходитъ подборъ руководителей капиталистическаго хозяйства.

Эти скудные и ошибочные теоретическіе выводы автора свидѣтельствуютъ о томъ, что ему не удалось использовать свои цѣнныя наблюденія надъ большевицкимъ экспериментомъ для углубленнаго его пониманія.

Наши критическія замѣчанія о теоретическихъ выводахъ автора не умаляютъ нашей положительной оцѣнки его работы, какъ труда историческаго. Другой подобной работы въ мрiовой литературѣ о большевизмѣ не имѣется. Она способна разсвѣтъ тотъ розовый туманъ, изъ котораго рождаются иллюзіи о русской дѣйствительности. Надо поэтому пожелать книгѣ Ланселота Лотона самаго широкаго распространенія.

Б. Бруцкусъ.

## СПИСОКЪ НОВЫХЪ КНИГЪ, ПОСТУПИВШИХЪ ДЛЯ ОТЗЫВА ВЪ РЕД. «СОВРЕМ. ЗАПИСОКЪ».

- Галина Кузнецова: Прологъ. Романъ. Изд. «Совр. Зап.» Парижъ.  
Вл. Крымовъ: Сидорово Ученіе. Т. I Петропольск. Берлинъ.  
Вл. Крымовъ: Хорошо жили въ Петербургѣ. Т. II Петропольск.  
Вл. Крымовъ: Дьяволенокъ подъ столомъ. Т. III Петропольск.  
Романъ Гуль: Ворошиловъ, Буденный, Блюхеръ, Котовскій. «Парабола»  
Александровъ: Кто правитъ Россіей?. Изд. «Парабола»  
За Рулемъ. № № 1 и 2. Парижъ, 1933.  
Н. В. Устряловъ: Германскій національ - социализмъ. Харбинъ, 1933.  
З. I: Гибель цивилизаціи и предстоящій переворотъ (Изъ бывшихъ  
подъ запретомъ сочиненій Л. Н. Толстого о нашемъ времени).  
«Соціалистическій Вѣстникъ» № 6/7 — 18. Парижъ.  
Путь. № 38, 39. Органъ русской религіозной мысли. 1933.  
Сверчокъ. № 1. Еженед. Иллюстр. Дѣтскій Журналь.  
Центральная Европа. № 3. Двухмѣсячникъ. Прага, 1933.  
Завтра. № 3. Ежемѣсячникъ утвержденцевъ. Парижъ, 1933.  
Вѣра Наваль: Навожденіе. Романъ. Книга 2-ая. Рига, 1932.  
В. Булгаковъ: Духоборцы. Софія, 1933.  
А. И. Завротскій: Выборы и демократія въ СССР. Вып. I. Харбинъ.  
Г. Г. Гемелинскій: Объ искусствѣ. 1933.  
Новый Градъ. № 7.  
II. Бицилли. Мѣсто Ренессанса въ исторіи культуры. Ежегодн. Софійскаго Университета. 1933.  
Числа. Сборникъ № 9. Парижъ, 1933.  
Пути. Ежемѣсячникъ № № 1 и 2. Нью-Йоркъ, 1933.  
А. А. Успенскій: Въ плѣну. Изд. автора. Ковно, 1933.  
А. А. Успенскій: На войнѣ. Изд. автора. Ковно, 1933.

- C. Цвейгъ:** Мария Антуанета. Изд. «Жизнь и Культура». Рига, 1933.
- Marquis de Lur-Saluces:** Lomonossouf. Le prodigieux moujik. — Paris, 1933.
- Histoire de Russie par P. Milioukov, Ch. Seignobos et L. Eiseemann.** — Tome III. (1855-1832). Paris.
- Dr. J. Prziel:** La Protection des Minorités (en serbe). Beograd, 1933.
- Le Monde Slave.** N° 3-7. 1933.
- Orient und Occident.** 13 und 14 Heft.
- Prof. M. Laserson:** Die russische Rechtsphilosophie. — Mit einem Vorwort von Prof. G. Radbruch. Berlin, 1933.
- O. Schiller:** Die Krise des sozialistischen Landwirtschaft in der Sowjetunion. 1933.
- H. Zörner:** Das Agrarexperiment Sowjet-Russlands. 1933.
- L. Lantton:** An economic history of Soviet Russia. London.
- F. Grenard:** La Révolution Russe. Ed. A. Colin. Paris, 1933.
- M. Slonim:** De Pierre le Grand à Lenine. Ed. Nouv. Revue Franç. Paris, 1933.
- M. Buchanan:** La Dissolution d'un Empire. Ed. Payot. Paris, 1933.
- S. A. I. Marie de Russie:** Une Princesse en exil. Ed. Stock. Paris.
- L. Ftscher:** Les Soviets dans les affaires mondiales. Ed. Nouv. Revue Franç. Paris, 1933.
- R. Martel:** Le mouvement antireligieux en URSS. Ed. Rivière. Paris.
- Yvon Delbos:** L'expérience rouge. Ed. Au sans pareil. Paris, 1933.
- V. Boret.** Le Paradis Infernal. Ed. Quillet. Paris, 1933.
- K. Mehnert:** La jeunesse en Russie Soviétique. Ed. Grasset. Paris.
- E. de Gramont:** Le Chemin de l'URSS. Ed. Rieder. Paris, 1933.
- V. Timoshenko:** Agricultural Russia. Publ. Hoover War Library.
- Dr M. Hoffmann:** Die agrarische Uebervölkerung Russlands. R. Mannheim. Verlag. Berlin, 1832.
- Volkmann:** La Révolution allemande. Ed. Plon. Paris, 1933.
- K. Tschouppik:** François-Joseph. Ed. A. Colin. Paris, 1933.
- F. Strowski:** Nationalisme ou Patriotisme. Ed. Grasset, 1933.
- Research Work in Slavonic Countries I.** Czechoslovakie. II. Poland. Russian Depart. Univers. of Birmingham.
- L. Bauer:** L'agonie d'un Monde.
- W. Huntington:** Homesick Million. Stratford Publ. Boston, 1933.
- Boris Zaitsev:** «La Guirlande dorée». Edit. Hachette. Paris, 1933.
- Boris Zaitsev:** L'Athos. Ed. Biette. Milano.
- Dr. Josef Pflitzner:** Bakuninstudien. Prag, 1933.
- G. Vernadsky:** La charte constitutionnelle de l'Empire Russe de Pan 1820. — 1933.

# Из-во „Современныя Записки“

## ВЫШЛИ ВЪ СВѢТЪ:

- И. А. Бунинъ: Жизнь Арсеньева (Романъ).  
И. А. Бунинъ: Избранныя стихотворенія.  
И. А. Бунинъ: Божье древо.  
И. А. Бунинъ: Тѣнь птицы.  
Б. К. Зайцевъ: Анна (Романъ).  
М. А. Алдановъ: Ключъ (Романъ).  
М. А. Алдановъ: Десятая симфонія (Романъ).  
М. А. Осоргинъ: Повѣсть о сестрѣ.  
М. А. Осоргинъ: Чудо на озерѣ.  
Ф. А. Степунъ: Николай Переслѣгинъ.  
Георгій Песковъ: Памяти твоей (Разказы).  
Гал. Кузнецова: Утро (Разказы).  
Гал. Кузнецова: Прологъ.  
А. Ладинскій: Черное и голубое (Стихи).  
Т. И. Полнеръ: Толстой и его жена.  
В. Ф. Ходасевичъ: Державинъ (Худож. біографія).  
В. А. Маклаковъ: Левъ Толстой.  
Левъ Шестовъ: На вѣсахъ Юва.  
В. М. Зензиновъ: Безпризорныя дѣти.  
П. Н. Милуковъ: Очерки по ист. русск. культуры т. II ч. 1.  
П. Н. Милуковъ: Очерки по ист. русск. культуры т. II ч. 2.  
П. Н. Милуковъ: Очерки по ист. русск. культуры т. III.  
М. И. Ростовцевъ: О Ближнемъ Востокѣ.  
Б. Э. Нольде: Далекое и близкое.  
М. В. Вишнякъ: Два пути (Февраль и Октябрь).  
Ст. Ивановичъ: Красная армія.  
Сборникъ, посвящ. 175-лѣтію Московск. Университета.  
Н. Лосскій: Типы міровоззрѣній.  
Н. А. Бердяевъ: О назначеніи человѣка.  
Ф. И. Шаляпинъ: Воспоминанія.  
М. В. Вишнякъ: Всероссійское Учредительное Собраніе.  
М. О. Цетлингъ: Декабристы.  
В. В. Сиринъ: Подвигъ (Романъ).

## ГОТОВЯТСЯ КЪ ПЕЧАТИ:

- В. В. Сиринъ: Соглядатай (Романъ).  
В. А. Маклаковъ: Изъ прошлаго.  
П. Н. Милуковъ: Очерки по исторіи русск. культуры т. I.

Заказы принимаются въ конторѣ издательства.

основанный Н. Д. Авксентьевымъ, И. И. Бунаковымъ, М. В. Вишняковымъ,  
А. И. Гуховскимъ (†), В. В. Рудневымъ.

Въ вышедшихъ по настоящее время книжкахъ «Современныхъ Записокъ» напечатаны беллетристическія произведенія: Леонида Андреева, М. Алданова, К. Бальмонта, И. Бунина, Андрея Бѣлаго, Б. Вышеславцева, Ал. Гейгера, Г. Гозданова, Г. Гребенщикова, Д. Мережковского, Б. Заицева, Е. Замятина, П. Иванова, А. Куприна, А. Ладинскаго, I. Матусевича, С. Мищидова, Мих. Осоргина, Георгія Пескова, А. Ремизова, Н. Рощина, В. Сирина, Д. Скобцова, Ив. Соколова-Микитова, С. Соколь-Слободского, Ф. Степуна, Ильи Сургучева, Ю. Терапиана, гр. А. Толстого, Софін Федорченко, Ю. Фельзена, Е. Чирикова, Ив. Шмелева, С. Юшкевича, В. Яновскаго. — Стихотворенія: Г. Адамовича, А. Гари, К. Бальмонта, Н. Берберовой, И. Бунина, Максимилиана Волошина, А. Герцыкъ, З. Гиппиусъ, И. Голенищева-Кутузова, А. Головиной, Вячеслава Иванова, Г. Иванова, Н. Крадівскаго, Д. Кнута, Галины Кузнецовой, А. Ладинскаго, Н. Ландау, Сергѣя Маковского, Ю. Мандельштама, А. Несмѣлова, Н. Оцула, В. Познера, Б. Поллавскаго, В. Сирини, В. Смоленскаго, П. Соловьевой (Аллего), Ф. Сологуба, Ю. Софьева, Е. Тауберъ, Тэффи, В. Ходасевича, Марины Цвѣтаевой, А. Эйснера. — Дневники и воспоминанія: Е. Брешковской, О. Грузенберга, Ел. Джанумовой, К. Ельцевой, В. Зезинова, А. Керенскаго, В. Короленко, В. Маклакова, кн. В. Оболенскаго, Т. Полнера, И. Рѣпина, Ал. Толстого, Льва Толстого, В. Ходасевича, М. Цвѣтаевой, Н. Шкляевой, М. Щербакова. — Статьи по вопросамъ литерат., искусства, философ., полит., эконом. и социальнымъ: С. Абрамова, Н. Авксентьева, М. Алданова, П. Апостола, А. Аргунова, А. Байкалова, К. Бальмонта, А. Бема, Н. Бердяева, П. Бицилли, Е. Богданова, М. Брайковича, В. Брейтвейта, Б. Брудкуса, В. Булгакова, И. Бунакова, В. Вейдле, П. Виноградова, М. Вишняка, В. Водовозова, кн. С. Волконскаго, Н. Ганца, М. Гершензона, С. Гесена, Б. Геддяга, М. Гофмана, М. Гошиллера, К. Грюнвальда, А. Гуховскаго (А. Сѣверова), К. Гулькевича, Г. Гурвича, Ю. Данилова, Юрія Давилова, Ю. Делевскаго, И. Демидова, Дюнео, Н. Долинскаго, С. Жаба, С. Загорскаго, С. Завадскаго, П. Зернова, В. Зѣньковскаго, Ст. Иваницыча (В. Талина), С. Иванова, Л. Карсавина, С. Карцевскаго, К. Качоронскаго, А. Керенскаго, А. Кизеветтера, С. Кобякова, А. Койбранскаго, В. Короленко, С. Корфа, Ант. Крайниго, М. Кроля, А. Кулишера, Е. Кусковой, В. Ладыженскаго, М. Лазерсона, З. Ленскаго, А. Леонтьева, Г. Ловицкаго, Н. Люсскаго, С. Лурье, Г. Лунца, В. Маклакова, А. Мандельштама, С. Мельгунова, С. Метельникова, П. Милюкова, Н. Минскаго, Б. Миркина-Гецевича, А. Михельсона, П. Муратова, В. Мякотина, Л. Неманова, С. Николаева, бар. Б. Нольде, А. Орлова, М. Осоргина, Н. Мельниковой-Попоушскъ, А. Петрищева, П. Пильскаго, С. Полякова-Литовцева, П. Прокофьева, Л. Пумпянскаго, А. Пѣехонова, Ф. Родичева, М. Ростовцева, В. Руднева, С. Сазонова, Ю. Сазоновой, Д. Святополькъ-Мирскаго, М. Слонима, Б. Соколова, Д. Соколыцева, С. Соловѣичка, П. Сорокина, Ф. Степуна, Н. Тимашева, С. Тюрина, А. Ульяновъ, Г. Федотова, Г. Флоренскаго, Д. Чижевскаго, А. Чупрова, И. Хераскова, М. Цетлина, Б. Шацкого, С. Шермана, Л. Шестова, Б. Шлецера, Е. Юрьевскаго, Ив. Якушева и др.

Цѣна отдѣльнаго номера 25 франковъ.

Адресъ Редакціи и Конторы:

6, Rue Daviel, PARIS (XIII<sup>e</sup>)

Téléphone : Gobelins 48-87